



С падением СССР прекратила существование и советская литература, включавшая такие понятия как темплан, заявка, тираж, гонорар, Коктебель, должности в секретариате Союза и прочее. Быть писателем научить нельзя. Писателем может быть только одиночка, вышагнувший из социума и сидящий на облаке, наблюдающий бесконечное воспроизводство человекoв.

Юрий КУВАЛДИН

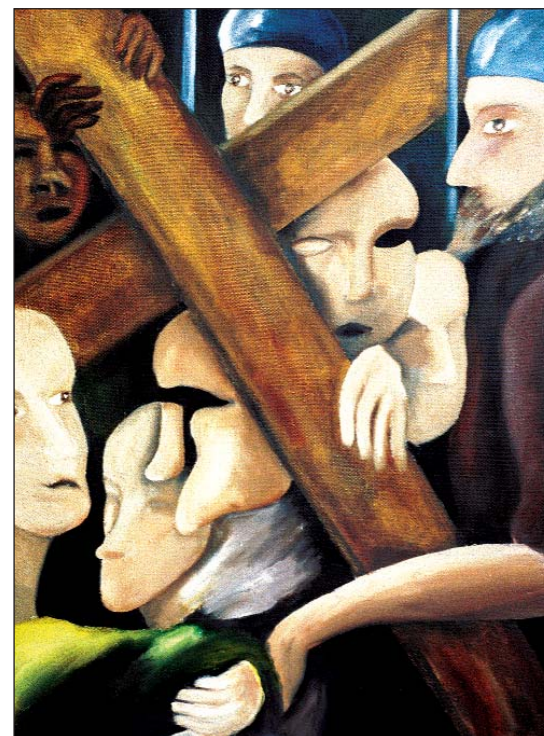
Издательство
"Книжный Сад"
Москва 2006

Юрий Кувалдин

4

Собрание сочинений в десяти томах

Юрий Кувалдин



Том 4

АКАДЕМИЯ РЕЦЕПТУАЛИЗМА

ЮРИЙ
КУВАЛДИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ
4

Издательство
Книжный сад
Москва
2006

ББК 84 Р7

К 88

Издание осуществляется
под наблюдением Президента Академии Рецептуализма
академика Юрия Кувалдина

Общая редакция и составление Юрия Кувалдина

Редакционная коллегия:

Ю. А. Кувалдин (главный редактор, академик),
Н. П. Краснова (академик), Слава Лён (академик),
Э. А. Сокольский (академик),
А. Ю. Трифонов (заместитель главного редактора, академик)

Оформление художника
Александра Трифонова

На обложке воспроизводится картина художника Александра Трифонова "Несение креста", х. м. 75 x 55, 2000 г.

ISBN 5-85676-114-6 (Т. 4)

ISBN 5-85676-111-1

ББК 84 Р7

© Юрий Кувалдин, 2006

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

роман

Глава I

Знакомая спина мелькнула впереди в толпе у булочной. Узкие опущенные плечи, длинная шея. Беляев не мог ошибиться. Ратинное потертое пальто болталось как на висельнике, из выдавшей виды кроличьей шапки торчали клочья. Беляев забежал сбоку и с расстояния двух метров увидел изможденное пьяненькое лицо. Это лицо обращалось к мужчине в пыжиковой шапке с портфелем. Губы изможденного лица шевелились, и Беляев расслышал:

- В дурацкой ситуации... Поймите правильно... Три рубля... На билет... В командировке из Орла... Три рубля не хватает...

Мужчина с портфелем сделал грозную мину и отчеканил:

- Не подаю!

Изможденное лицо сложило посиневшие губы в трубочку, присвистнуло и проводило презренным взглядом пыжиковую шапку. Пьяненькие глаза принялись высматривать в толпе кого-нибудь поговорчивее. Но у булочной, видимо, таковых не обнаружилось, и изможденное лицо очень быстрым, нервным шагом направилось на противоположную сторону, пропуская автомобили, к книжному магазину. Беляев, замирая, бросился следом, но не приближался к этому изможденному, а держал известную дистанцию.

У витрины книжного магазина стояла хорошо одетая стройная женщина и рассматривала книги. Время от времени она бросала взгляд на свои маленькие наручные часы, озиралась по сторонам и вновь принималась рассматривать обложки на витрине. Изможденное лицо с блестящей увлеченностью последовало примеру женщины и буквально впилось в витрину. То с одной стороны от женщины, то с другой, причем с быстротой необычайной, переме-

шалось это изможденное лицо. На длинных ногах были надеты какие-то тряпочные летние полуботинки, стоптанные, один шнурок развязался и мокрым червячком шнырял то туда, то сюда. Покашляв, изможденное лицо обратилось к женщине:

- Извините милостиво... Даже неудобно обращаться... Только что у булочной утерял кошелек... Кхи-кхи... А там - билет... Трех рублей не хватает... Из Орла я командировочный...

Женщина брезгливо окинула взглядом спросившего, открыла сумочку с видом - лишь бы отвязаться, протянула просившему зелененькую бумажку. Улыбка пробежала по изможденному лицу. Рука выхватила из-за пазухи мятый блокнотик.

- Разрешите адрес... Я вышлю!

- Что вы... бывает... Я сама однажды из Сочи могла не вылететь... Хорошо, знакомую встретила... Украли кошелек тогда.

- Премного благодарен! - скривилось изможденное лицо, приложило костлявую руку к своей груди и поклонилось.

Беляев в сильном волнении наблюдал эту сцену от соседней витрины. Когда изможденное лицо склонилось и попятилось, Беляев на всякий случай отвернулся, чтобы остаться незамеченным. Потом он увидел, как изможденное лицо энергичным шагом двинулось к бульварам. Беляев, забыв о хлебе, за которым он собственно и вышел, последовал за скороходом. А в голове промелькнуло: надо же, встретился на Сретенке, у нее и название-то от "сретения", то есть торжественной встречи на этом месте принесенной из Владимира в четырнадцатом веке иконы Богоматери, когда Москве угрожал Тимур-хан.

Тем временем изможденное лицо перемахнуло улицу и устремилось к центру по улице Дзержинского. У рыбного магазина оно остановилось и закурило, поглядывая на прохожих и внимательно рассматривая их. Беляев встал у телефонной будки с видом человека, которому нужно звонить. Несколько раз изможденное лицо бросало беглый взгляд в его сторону, но Беляев быстро отворачивался. Да и расстояние было надежное. Наконец, изможденный бросил окурок и резко подошел к военному, полковнику. Беляев приблизился ровно настолько, чтобы был слышен разговор. Изможденный торопливо сказал:

- Капитан в отставке Морозов. Разрешите, товарищ полковник, обратиться? - И прищелкнул стоптанными башмаками.

- Слушаю, - разрешил полковник.

- Случилась незадача... Я сам из Питера третьего дня приехал... На сварочном производстве... Все как положено, сегодня отбываю назад... Дал сейчас одному десятку, чтобы выпить взял... А он, - тут "капитан в отставке" соорил такую физиономию, что полковник сочувственно закивал, - слинял... А у меня паровоз через сорок минут... Тройка на билет не хватает...

Полковник некоторое время смотрел себе под ноги, затем откинул полу шинели и полез в карман брюк за бумажником. Три заветных рубля перекечевали в карман изможденного. И опять - блокнотик, даже карандашик нашелся, мол, адресок, верну как приеду... Но полковник похлопал изможденного по плечу и сказал:

- Меньше доверяйте людям, капитан, среди них много проходимцев!

И пошел.

Изможенный резко сменил диспозицию: сначала вернулся к бульвару, затем свернул направо и зашагал к Мархлевке. Беляев шел сзади шагах в десяти-пятнадцати. Да и оглянись изможенный, из-за прохожих он его бы не заметил.

На углу остановился, потоптался и двинулся далее, к Кировской. А там - нырнул в здание Почтамта. Беляев - за ним. На втором этаже, в зале телеграмм, изможенный схватил бланк, сел к столику и принялся что-то писать. Из дальнего угла Беляев, которого уже покинуло волнение и осталась лишь одна страсть преследователя, наблюдал за происходящим.

Нацарапав текст на бланке, изможенный с независимым видом встал в очередь. Он стоял спокойно, даже пьяненького теперь в нем ничего не осталось, дожидаясь своего черед. Когда он наступил и телеграмма была передана в окошко, изможенный оглянулся на стоящих позади себя, как бы невзначай, но Беляев понял, что он моментально оценил всех и остановил свой взгляд на женщине в дорогой шубе, и улыбнулся. Из окошка попросили деньги. Изможенный не спеша полез в карман, лицо сосредоточилось, полез в другой - огорчилось, в третий - смутилось, в четвертый - приняло вид ограбленного. И тут началось: то он кричал: "Кошелек", то падал на колени и ползал под столами, то опять вставал и кидался к окошку.

Из окошка послышалось:

- С вас всего пятьдесят семь копеек.

- Да у меня и мелочь и крупные в кошельке были! - чуть не плача, вскричал изможденный.

Женщина в дорогой шубе важно подала ему рубль.

- От спасибо, от премного благодарен!

Расплатившись и получив сорок три копейки сдачи, изможденный пересек зал и остановился при выходе. И смотрел только на женщину в шубе. Когда и она отбила телеграмму, он сделал шаг навстречу и они вместе вышли из зала и пошли к лестнице. Беляев на опасном расстоянии устремился за ними. Изможденный горючил:

- Вот незадача... Дал телеграмму - встречайте... А тут кошелек посеял... или того... украли... Хотел уже на вокзал бежать за билетом... поезд через час... с Ленинградского... Ох ты, Господи!

Женщина вновь с важным видом покопалась в сумочке и протянула просившему красную бумажку. Успех был налицо. Успех, переходящий в азарт. Появился блокнотик, карандашик, затем - рука к груди, поклон и пяченье.

Первоначально возникавшие в Беляеве чувства стыда, позора, хотя и остались, но ушли куда-то далеко. Он как бы был готов измерить всю степень падения этого изможденного человека, изучить все его приемы, все повадки, все маски, все его лицедейство, весь арсенал его бесовского таланта.

От Почтамта изможденный бодро направился к магазину "Инструменты". Здесь людей было побольше и Беляеву трудно было следить за ним. Беляев сначала было вошел следом в магазин, но затем решил ожидать его на улице. Ровно через две минуты изможденный вышел и остановился у витрины. Взгляд его поник, губы поджалась, но глаза продолжали свою работу. Беляев уже из-за угла поглядывал за ним. Наконец, изможденный решился и подошел к солидному гражданину в кожанке.

- Громада бедствий и буря испытаний, - начал печально изможденный. - Только что в магазине, - он кивнул на витрину, - вытащили кошелек... А меня главный инженер послал купить внутренний замок и квитанцию принести. Всего-то три рубля...

Изможденный еще что-то хотел продолжить, но солидный небрежно бросил:

- Недопил?

Изможденный округлил глаза, хотел возразить, но тот оттолкнул его, так что изможденный чуть не упал.

- Отвали!

Изможденный понял сразу и пошел в другую сторону, нежели солидный. Сорвавшаяся удача не вызвала в душе Беляева сочувствия, наоборот - он злорадно усмехнулся. Но изможденный уже подцепил подвыпившего морского офицера, у которого лоснилось от улыбки красное лицо.

Изможденный подтянулся, расправил худые плечи и отекал:

- Капитан в отставке Близнецов! Разрешите, товарищ капитан второго ранга, обратиться?

- Валяй! - засмеялся кавторанг.

- Прибыл из Калининграда в командировку в понедельник... Все дела сделал...

- В Калининграде живешь?

- Так точно.

- С какого завода?

Минутного замешательства изможденного кавторанг не заметил.

- Если б с завода... С ТЭЦ я, Калининградской, - бухнул первое пришедшее в голову изможденный и продолжил, как по маслу: - Приехал в Главснаб, Минэнерго... за газосварочным оборудованием... Ну все выписал и...

- Короче? - продолжал улыбаться кавторанг.

- Короче, только что дал одному типу червонец, а он испарился... Выпить перед дорогой хотел... Теперь вот трояка на билет не хватает.

- Покажи деньги! - вдруг перестал смеяться кавторанг.

Ситуация складывалась острая.

Но изможденный, успев приготовиться и к такому раскладу заранее, видимо, в инструментальном магазине, извлек из кармана шесть рублей.

Кавторанг понимающе улыбнулся, достал из бумажника трешку и протянул изможденному.

- А что там дают? - кивнул кавторанг на продовольственный.

- Водку, - сказал изможденный, достал блокнот, потом убрал, видя, что кавторанг поспешил на противоположную сторону к продовольственному магазину.

Беляев стоял почти за спиной изможденного, который, сунув блокнот за пазуху и проговорив: "Брабантские деньги конфиско-

ваны, заграничное имущество описано!”, направился на бульвар к трамваю. Но, потоптавшись на остановке, плюнул, закурил и пошел к Сретенке пешком. Беляев не отставал и в голове по-своему оценивал изворот ума изможденного, приятность оборотов речи, быстроту реакции. Но на Сретенку изможденный сворачивать не стал, пошел прямо, через улицу, по Рождественскому к Трубной. Здесь, на хорошо просматриваемом участке, Беляев отпустил его на метров пятьдесят.

На Трубной изможденный приклеился еще к одному военному, видимо, он понял, что на военных ему везет, и, что уж он плел этому военному, но синяя пятерка довольно-таки легко перекечевала в карман изможденного. Блокнотик, карандашик, поклон.

Затем постоял просто так, это было заметно, что просто так, потому что курил не спеша, с чувством и был совершенно трезв, и глаза смотрели ясно. Швырнув окурок в сугроб, направился по Цветному в винный. Отстоял небольшую очередь и купил шесть бутылок вина по рубль тридцать семь и сложил эти бутылки в откуда-то явившуюся матерчатую сумку. Из винного он перешел в булочную. Тут и решил убить двух зайцев Беляев: и хлеба купить и...

Прямо в булочной он и дернул изможденного за рукав, и, смутившись, подавляя отвращение, сказал:

- Здравствуй, папа.

Отец сначала судорожно вздрогнул, но затем, узнав сына, взял себя в руки и, кивая на сумку с бутылками и хлебом, проговорил:

- А у меня, вот, аванс сегодня... В “Книжной палате” получил... за переводы... Приятель устроил, с испанского...

И у Беляева вся заготовленная мстительная речь куда-то провалилась. Он покраснел и сказал:

- А я за хлебом вышел...

А сам смотрел на отца и не верил в то, что он мог так ходить по улицам...

Покинув булочную, они некоторое время постояли на Цветном.

Вдруг отец схватился за сердце и сдавленным голосом сказал:

- Что-то плохо мне... Отведи к скамейке.

Беляев взял его под руку и повел на аллею. Скамейки были засыпаны снегом и сидеть можно было только на спинках. Отец поспешно достал из пальто складной стаканчик, затем перочинный ножичек со штопором, откупорил бутылку.

- Николай, извини меня, но мне необходимо выпить.

Беляев вгляделся в желтоватое, тощее, морщинистое лицо и, ни слова не говоря, кивнул. Он сидел рядом с отцом и смотрел в одну точку, в белый снег, различая в нем хрусталики голубого и красного свечения. В душе был сильный беспорядок.

Отец выпил тихо, беззвучно и так же беззвучно сидел несколько минут. Затем отломил кусочек от батона и пожевал. Через некоторое время налил еще стаканчик, выпил тише прежнего, медленно, очень медленно, боясь расплескать каплю.

После этого глаза отца повеселели, он закурил и сказал:

- Спасибо, Коля. Не бросил отца. Хороший ты малый и не сердись на меня. Я тебя люблю, но что значит моя воздушная любовь? Я сам еле свожу концы с концами. Здоровья нет. А всего-то мне сорок пять лет! Но ты не сердчай на меня, дорогой. Жизнь такая штука, что сердчать на нее бесполезно. Она и умного и глупого равняет могильной землей. Но ты меня не брани, я тебе ничего плохого не сделал. Я и к матери ни-ни, не пристаю, не звоню. Кончено, так кончено.

Он помолчал, затем несколько оживился и предложил:

- Выпей со мной, Коля. Не бросай. Поддержи. А то я сейчас к Филимонову пойду, а там - до утра пьянка. А я хочу домой попасть. Три дня не ночевал. Анна Федосьевна выгонит из дому, хотя и не прописана у меня, а все ж хозяйка. Выпей, Коля, поддержи отца. Ну, Коля, поддержи!

Беляев словно увидел невидимые слезы отца и самому стало так тошно, что он покорно согласился. Отец разложил стаканчик, налил доверху, передал сыну и сказал:

- Выпей за всех убиенных лагерем, выпей, сынок! Господь не обидит, не покинет тебя.

Беляев держал охотничий стаканчик и чувствовал, что его прекрасный мир разваливался, хотя он знал, что этот мир хрупок, еще не устоявшийся мир, и под его обломками еще жило все, на что он надеялся. Он посмотрел на отца с необыкновенной грустью и выпил, ощутив всю полноту невкусности дешевого вина.

- Дай и я пригублю еще, - сказал отец. Потом он сложил стаканчик, сунул его в карман, а заткнутую бутылку, в которой оставалась еще целая половина, в сумку. Подумав, встал и попросил: - Проводи меня до дому... Как бы опять не зашалило сердечко!

И не глядя, пойдет ли сын за ним, двинулся по аллее к Самотеке. Беляев неуверенно пошел следом. Отец все более расправлялся и через минуту шел уже легким упругим шагом, будто возвращался домой после великих дел и спешил навстречу еще более великим.

Начинала уже перемешиваться тень со светом, наступали сумерки.

В конце аллеи отец резко остановился, достал бутылку, вытиснул зубами пробку и одним махом выпил все содержимое. Бутылку бросил в сугроб.

- Что говорил Заратустра?! - вдруг спросил он у сына.

Беляев вздрогнул от неожиданности. Изможденное лицо отца приняло возвышенное выражение, тощая рука в ратиновом пальто была вскинута вверх. Беляев поспешно схватил его за эту руку, опустил ее и потянул отца к переходу.

- Я повторяю вопрос: что говорил Заратустра?! - Отец вдруг вызывающе повысил голос: - Так! Он говорил так!

Прохожие с недоумением и испугом поглядывали на него.

- Помолчи, пап, - попросил Беляев, ускоряя шаг на переходе.

Миновав площадь, они свернули в переулок. Отец вырывал руку, ему хотелось жестикулировать.

- Как философствуют молотом? - кричал он. - Как? - Он вырвал руку и резко вытянул ее перед собой и вверх. - Хайль Сталин, хайль Гитлер! Государство? Что это такое? Я вас спрашиваю? Встать, смирно, руки по швам! Государство - самое липкое, самое мерзкое из всех холодных чудовищ! Холодно лжет оно - я народ! Государство лжет на всех языках о добре, и что оно говорит, оно лжет - и что есть у него, оно украло! Хайль Сталин! Хайль Хрущев! Виват, Гай Юлий Цезарь и Фиделька Кастров в придачу!

Визгливый крик отца разносился по темнеющему переулку. Беляев не мог ни простить ему этого крика, ни посочувствовать, но Беляев каким-то неясным чувством понимал, что отец имеет право на этот крик, на эту истерику, что этот крик где-то в высших мировых пространствах будет оправдан.

- Кто в силах меня отогреть, кто меня еще любит?! - взвыл он сильнее прежнего и вдруг остановился, как бы поникая. - Коля, - прошептал он. - Заведи меня домой, а то я убегу куда-нибудь. Заведи меня в квартиру. Анна Федосеевна тебя постесняется. Увидишь. При людях она не кричит и руками не машет. Заведи...

Беляев начинал себя тихо ненавидеть, презирать за то, что послушался отца, выпил вина и пошел его провожать. Это же могли быть уловки. Кто его отец? Никто, без роду и племени, хотя и род и племя были когда-то... Но тогда по прихоти безликого правительства его зашвырнули на другой конец света и забыли, а он выкарабкался, вернулся, живет в Москве и занимается чистокровным мошенничеством.

Тем временем отец стоял на пороге подъезда своего двухэтажного дома и громким шепотом взывал:

- Заведи меня домой, Филимонов...

- Я не Филимонов, - сказал, подходя к нему, Беляев.

- А, это ты, Коля, сын. Пошли наверх! Я угощаю...

В дверь долго звонили, но никто не открывал. Отец нащупал в карманах ключи и несколько раз попытался попасть ими в замочную скважину. Наконец попал. Квартирка была небольшая, перегороденная комната, кухня и уборная. Ванной не было. Анны Федосьевны дома не оказалось и отец вспомнил, что она работает во вторую смену. В квартирке было очень чисто. Каждая вещь знала свое место. Отец сразу же сбросил с себя ботинки, снял пальто и шапку. Редкие волосы были примяты набочок.

- Ну, я пойду, - сказал Беляев, комкая в руках шапку.

- Э, нет! Через пятнадцать минут! Проходи!

Качнувшись, отец шагнул в комнату. За перегородкой над письменным столом были прибиты книжные полки, на столе лежала стопка словарей, неоконченная рукопись и книга с крупно набранным словом "Madrid".

- Ты действительно переводишь? - удивился Беляев.

- Перевожу и получаю деньги! - отчетливо произнес отец.

Беляев чуть не сорвался и не выпалил отцу всю правду о нем, но каким-то чудом сдержался, заинтересовавшись испанским текстом.

На кухне, перед тем как сесть за стол, отец схватил влажную тряпку и принялся усердно драить плиту, подоконник, раковину, шкафчик и гладкую пластиковую поверхность стола, на котором стояла лишь солонка с веером дырочек. Затем подставил тряпку под струю воды и намыл ее, простирнул, аккуратно расстелил ее на батарее. После этого тщательно вымыл руки. Все это он делал быстрыми рывками, угловато, но точно. Помыть руки сыну он не предложил. После того как отец выпил граненый стакан, Беляев

поднялся и направился к двери. Отец, покачиваясь, озирая сына остекленевшими глазами, взвизгнул:

- Что говорил Заратустра?!

Беляев только махнул рукой и сказал:

- Ложись спать.

- Я повторяю вопрос, - еще громче закричал отец, - что говорил Заратустра?!

- Так! - злобно выкрикнул и Беляев.

Отец вскинул руку, вытянул пальцы и воскликнул:

- Так! говорил Заратустра!

Глава II

Каждый москвич впадает время от времени в меланхолическое состояние при упоминании с младых ногтей знакомых переулков, улиц, зданий: и он там бывал - у друзей ли, у родственников, у любимой... Сретенка, Неглинка, "Метрополь"... В "Метрополь" собирались за полгода: отметить двадцатилетие ли, совершеннолетие, сыграть ли свадьбу, "так, как надо", "по полной программе", "с шампанским и с официантом во фраке"...

- А помнишь, под Новый год бежали с Трубной в горку?! Шел снег, и Лева поскользнулся и разбил бутылку водки?!

Трамвай на Трубной делал круг и со звоночком поднимался по Рождественскому бульвару в горку к Сретенским воротам, а дальше к Чистым прудам. Куда бежали? К кому? Разве это важно! Главное - падал снежок, наступал Новый год, ждал стол с крахмальной скатертью и было легко бежать быстрее трамвая. Лева Комаров, разбивший водку и удерживающий две других за пазухой, Толя Пожаров с магнитофоном "Чайка", Коля Беляев с серебристоголовым шампанским и тортом "Сказка". Самое существенное в шампанском - эта серебристая одежда, окутывающая пробку с провололочкой, которая должна вскоре выстрелить и пролететь над елкой, украшенной зеркальными шарами...

Шестьдесят третий год. Всем по семнадцать! Вступают в шестьдесят четвертый, в год совершеннолетия.

В заснеженном дворе светятся все окна и от них падают на гробы желтые квадраты. Темп передвижения снижается. Ребята

смотрят на окна. На одном из них Лева Комаров видит свисающую сетку с каким-то кульком и бутылкой водки.

Взгляд Комарова останавливается на ней.

- Мы ее сейчас ножичком, - говорит Комаров, поправляя на носу очки и доставая перочинный нож из кармана.

Пожаров ставит магнитофон на снег и собирается помочь Комарову взобраться по уступу в кирпичной стене и водопроводной трубе к окну.

У Беляева перехватывает дыхание от страха, он с мольбой в голосе произносит:

- Не надо, Лева... Толя... У людей же праздник...

Но Комаров уже на плечах Пожарова, схватился за трубу, далее - за сетку. Сверкнуло белое лезвие. Дело сделано. Кто-то, кашляя, надвигался из подъезда.

- Атаc! - шепотом воскликнул Беляев, дрожа от страха и бесстыдства содеянного.

Комаров с Пожаровым быстро подошли к Беляеву. Комаров как ни в чем не бывало, держа сетку в руке и поглядывая на выходящего из подъезда пьяненького жильца с мусорным ведром, сказал:

- У Светки записи "Битлов" есть. Не волнуйся, Коля. Пошли!

Пожаров добавил своим басовитым ломающимся голосом:

- Сами споем.

Они идут в подъезд. Беляев плетется сзади и с брезгливым презрением смотрит в спину Комарова. Там, за тем окном, готовятся к празднику, сейчас кто-то потянется за сеткой и - на тебе! Нет ни выпивки, ни закуски. Ну, что у нас нет этой выпивки? Ведь есть, и предостаточно. А людям испортили настроение. Конечно, не стоило им заниматься соблазном прохожих. Прохожие - это мы. Соблазнились! Может быть, у них вообще была эта единственная бутылка и вся надежда была на нее. Готовятся в эти минуты на кухне, ждут гостей или - пусть - никого не ждут, но ощущение праздника отчасти вызвано и мыслью о том, что там, за окном, в форточке, есть кое-что горячительное.

Беляев с волнением думает о том, как бы все уладить, косится на Комарова, который уже надавливает пальцем на кнопку звонка.

Ребята стоят на плохо освещенной площадке второго этажа перед новой, недавно обитой дерматином дверью. Видя, что Комарову неудобно держать бутылки за пазухой, Беляев говорит вяловато:

- Вытаскивай, я подержу, а то раскокаешь...

Комаров быстро, услышав за дверью шаги, передает бутылки из-за пазухи Беляеву. Тот сует поспешно эти две бутылки в карманы брюк, под пиджак.

Дверь открыла сама Света, смеется, что-то восклицает. Шум, гам, приветствия. Пахнет елкой и пирогом. Все раздеваются, Беляев медлит, затем, задумавшись, спрашивает:

- У кого есть две копейки? Сестре обещал позвонить...

- У меня их целая копилка, - говорит Светка и исчезает в комнате.

Беляев делает пару шагов по прихожей и заглядывает туда. Видит накрытый стол, елку с шарами, Лизу и Веру. Лиза при виде Беляева краснеет. Они сидят на старом огромном, покрытом толстым ковром диване. Беляев перехватывает взгляд Лизы и тоже краснеет. Светка протягивает ему несколько монет.

- Хватит?

- Достаточно. Благодарю.

Пожаров уже стоит у зеркала и тщательно расчесывает свои жесткие волосы. Комаров за его спиной протирает очки носовым платком.

- Я сейчас, - говорит Беляев и хочет уйти, но видит на столике перед зеркалом авоську с кульком.

Чтобы затянуть время, Беляев достает записную книжку и начинает выискивать телефон сестры, как будто он его не помнит наизусть, затем, обращаясь к ребятам, говорит:

- Что вы топчетесь, идите в комнату...

Светка кричит с кухни:

- В комнату, в комнату!

Комаров с Пожаровым, который даже на ходу продолжает причесываться, направляются в комнату. Беляев, обращаясь к Свете, говорит:

- Свет, возьми авоську с бутылкой.

- А?

Он берет авоську, быстро вынимает из нее кулек и сует его за пазуху.

- На, - протягивает он бутылку из авоськи, а саму авоську кладет себе в карман.

Во дворе Беляев быстро ориентируется и входит в нужный подъезд, поднимается к двери, звонит. Через некоторое время от-

крывает пожилой мужчина с книгой в руке. Беляев успевает прочитать название:

“Один день Ивана Денисовича” и вздрагивает. Недавно он прочел эту повесть в “Новом мире”.

Смутившись, Беляев спросил:

- У вас из форточка ничего не упало?

- Из какой форточка?

- Из вашей.

- М-м, - помедлил мужчина, как бы что-то вспоминая, - сейчас взгляну. Он быстро вернулся. - Да.

- Что?

- Бутылка.

Беляев улыбнулся.

Он протянул хозяину сначала авоську с отрезанными ручками, затем из-за пазухи кулек с чем-то и из кармана бутылку “Московской”.

- Я тут рядом... Справляем... Иду, смотрю...

Мужчина пылливо уставился на Беляева.

- Там ручки на форточке остались...

- Остались? - начал краснеть Беляев, понимая, что мужчина заподозрил его.

- Не прикидывайся дураком! - вдруг побагровел мужчина. - Я тебе уши сейчас все оборву! - И он протянул руку с книжкой.

Беляев пригнулся и быстро, пристыженно побежал вон.

- Я тебя в БУР упрячу! - летело вслед.

Беляев был в чрезвычайном волнении. Он мог все что угодно предположить, но не такое. Мужчина, по крайней мере по некоторым признакам: поначалу спокойный, задумчивый, с книжкой, показался ему человеком весьма почтенным, но вышло вон что! Потому что это дело очевидное - Комаров был не прав. И хозяин бутылки - не прав. И он, Беляев, - не прав. Или прав? Теперь Комаров с Пожаровым спохватятся из-за этой бутылки и Беляеву придется что-то бормотать в ответ, что-то врать. А, быть может, сказать просто, что пошел звонить, вспомнил про форточку и отдал водку? Комаров спросит про кулек, наверняка спросит, ради интереса. Что Беляев про кулек ответит. Ничего не ответит. Скажет, что не знает, куда этот кулек Комаров положил.

Из подворотни сквозило, покачивалась лампочка, слабо освещавшая арку, падал легкий снежок. Металлический абажур над

лампой походил на мужскую шляпу: мужчина ушел, а шляпа осталась покачиваться на ветру. С улицы во двор вбежала кошка, помедлила и быстро юркнула в подъезд, из которого только что вышел Беляев.

Беляев махнул рукой, сказал сам себе - ладно, и побежал к своим. Дверь была открыта. Он разделся. Из комнаты доносился магнитофонный визг "Битлов". Беляев прошел в комнату, извлек из кармана оставшуюся "Московскую" и поставил ее к другим бутылкам.

- Свет, ты не знаешь, зачем живые деревья... Я имею в виду елку... Зачем их ставят? - спросил, чтобы что-то спросить, Беляев и взглянул на Комарова.

- Философский вопрос! - усмехнулся Пожаров и погладил коком надо лбом.

- Не знаю, - простодушно усмехнулась Света.

- И я не знаю, - сказал Беляев, хотя прекрасно знал.

Его усадили на диван между Лизой и Верой. Было уютно и напряженно. Все время Беляева мучило смущение. Внутренне он готов был стать разговорчивым и веселым, но смущение не позволяло. И он молчал. А касаясь руки Лизы краснел. Да и Лиза, кажется, краснела. На диване сидели вчетвером. Слева от Веры - Пожаров. Он ей что-то шептал, а Вера хихикала. Комаров сидел на стуле справа. Напротив дивана была елка. А слева на стуле сидела Света.

Комарову хотелось быть оригинальным, во всяком случае, так Беляеву показалось, Комаров воскликнул:

- Вниманье дружное преклоним ко звону рюмок и стихов...

Беляев улыбнулся, а Светка выпалила:

- И скуку зимних вечеров вином и песнями прогоним!

Голосом рассудительного старика Пожаров пробасил:

- Старый год положено проводить...

Между прочим, когда водка была налита в хрустальные рюмки, Комаров, Пожаров и Беляев, поднимая эти рюмки и собираясь чокаться с девушками, переглянулись и смущение было написано не только на лице Беляева. Дело в том, что друзья еще ни разу водки не пили. Было дело на ноябрьские - "Шартрез", сухое. А тут Комаров перед самым Новым, когда деньги собирали, говорит: "Купим водяры!". Это он сказал тоном завязатого пьянчуги.

- Лева, где нас потом искать?! - возразил тогда Беляев.

Не моргнув глазом, Комаров отвечивал:

- В постели!

И сам покраснел, и Пожаров потупился, и Беляев покраснел.

Так вот теперь они с некоторой долей страха переглянулись. Странно, конечно, что девочки не переглядывались, хотя им Комаров тоже налил по полрюмки.

И сейчас, поднимая рюмку, Беляев вспомнил комаровское “в постели”, и почему-то эта рюмка стала ассоциироваться у него с этой самой постелью, не с конкретным, допустим, диваном или кроватью, которые стояли в комнате Светы, а с постелью, как с чем-то загадочным, расплывчатым, какими-то белыми складками простыней и пододеяльников, наволочек и, главное, с нежным девичьим телом, таким притягивающим и прекрасным, что дрожь сводила скулы.

- Одним махом семерых убивахом! - голосом дьякона произнес Пожаров, и все выпили.

Лиза, поставив рюмку, вскинула руки вверх и затрясла ими перед ртом, как будто все она в этом рту себе сожгла. У всех примерно была такая же реакция. Беляев сунул Лизе дольку лимона и сам принялся жевать лимон, слышав от кого-то, что именно лимон лучше всего отбивает запах водки. Выражение лиц у Лизы и Беляева было соответствующим.

Часы ударили двенадцать. Шампанское...

Порозовевшая Света через минуту воскликнула:

- А теперь звоним Татьяне Федоровне!

Все бросились в прихожую одеваться.

- Телефон работает у ворот? - спросила Света у Беляева.

- Не знаю, - машинально ответил тот.

- Ты же ходил звонить?!

- Ах да, - смутился Беляев. - Вроде работает.

Шумно выбежали во двор. Комаров поправил очки, поднял рюмку вверх и скомандовал:

- Три-четыре...

И все грянули:

- С Новым годом!

И эхом отдалось в арке:

- ... вым... дом...

Шестером толкнулись в телефонную будку. Света сняла трубку, опустила монету и набрала номер.

- Занято, - сказала она.

- Набирай еще!

Лиза и Беляев вышли из будки. Край неба за бульварами расчистился, показались звезды. Смущение понемногу отпускало Беляева, и ему становилось хорошо, и все было ясным и понятным в жизни.

- Смотри, звезды! - восторженно сказал он Лизе.

- Надо же, звезды! - воскликнула она, глядя на небо. - Как это здорово! Новый год, снег, звезды!

Из будки послышался голос Светы:

- С Новым годом, Татьяна Федоровна! Желаем вам...

И далее, как в новогодних открытках. Потом трубка пошла по кругу.

- Это я, Комаров... Да нет... Веду себя прилично... Работаю с энтузиазмом...

- Это я, Пожаров... Учусь хорошо... Да... На экономическом...

- Это я, Вера Глухова... Хорошо... Зачеты сдала...

- Это я, Лиза Севергина... Мы с Верой... Сессия... Хорошо...

- Это я, Коля Беляев... С Новым годом, Татьяна Федоровна!.. Нравится... Грызу гранит науки...

Закончив разговор с бывшей классной руководительницей, ребята взяли друг друга под руки и, входя под арку двора, запели:

Ах, какие удивительные ночи!

Только мама моя в грусти и в тревоге:

“Что же ты гуляешь, мой сыночек,

Одинокий, одинокий?..

На лестнице было тихо, точно все спали. И только внимательно прислушавшись, можно было различить за дверями слабые голоса или работающий телевизор. Удивительная ночь, никто не спит! Сговорились и не спят. Беляев думал, что это будет не то, будет что-то совсем непредсказуемое, и Лиза хороша для него, когда находится на расстоянии. Он уже знает это, когда ездил летом на Север, на быструю и холодную порожистую речку, деревенская девушка, была далека, потом стала близка до противоположного, видеть ее не мог больше. И хорошо, что только на неделю ездил, перед экзаменами, чтобы сил набраться и развеяться. Сближение убивает впечатление. Должен быть люфт. Воздух. Расстояние до объек-

та. Иначе объект исчезает, просто-напросто ты сам его поглощаешь и больше нечем любоваться. Яблоком можно любоваться до съедения.

Когда вошли в квартиру, Комаров подмигнул Беляеву и отозвал на кухню.

- Зря ты отнес этому, - Комаров поправил очки на переносице и кивнул куда-то за стену, - бутылку...

- Откуда ты знаешь? - чуть не покраснел от такого провидения Беляев.

- Знаю. У тебя на лице написано.

- Неужели? - пытался отшутиться Беляев.

- Ладно. Чего говорить. Зря отнес. Я, конечно, не обижаюсь. Но, клянусь, зря ты это сделал. Светка мне говорила, что за тем окном, с которого мы сетку срезали, бывший палач живет.

Беляев вздрогнул.

- Палач?! - переспросил он с долей испуга.

- Палач. Стрелял в затылок своим жертвам.

Беляев взглянул в темное окно, затем, подумав, сказал:

- И все же... Пусть палач... Но нечего тырить... Чего у нас своего питья нет?!

Комаров посмотрел ему прямо в глаза.

- Есть. Но дело не в этом.

- А в чем, по-твоему?

- В том, что вешать их нужно...

- Око за око, зуб за зуб?

- Так точно, ваше превосходительство... Ладно, не буду спорить, пошли выпьем... Ты с Лизкой где ляжешь? - вдруг спросил он.

Беляев опешил и, пожимая плечами, ответил:

- Где хозяйка постелет...

- Вот это правильно, - засмеялся широко Комаров. - Только, чур, мы со Светкой на диване...

- Это твое дело, - сказал Беляев, о чем-то напряженно думая. - Как-то неудобно...

- Чего неудобного-то? Дуралей. Они сами хотят. Хочешь я спрошу?

Беляев в испуге схватил его за руку.

- Не смей! Это же личное...

Комаров поднял ладонь.

- Понимаю, - сказал он.

Пожаров возился с магнитофоном, что-то в нем заело, ленто-протяжка, наверно. Он ковырялся в нем ножом и громогласно скандировал:

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана...

- Из рюмки! - крикнул Комаров. - Выпьем за новое безграничное счастье!

К этому никто ничего не добавил. Беляев смотрел на Лизу. Она взяла рюмку и сделала попытку встать с дивана - слегка подалась вперед с задумчивым выражением, но тут же засмеялась звенящим смехом, и Беляев тоже засмеялся и шагнул к дивану.

- Какой же Комаров смешной, - сказала она.

Беляев взял ее руку и некоторое время не отпускал. Все выпили. Пожаров что-то принялся рассказывать. А Беляев смотрел на Лизу. Выпитое приятнейшим образом действовало на него и смущение пропадало. Смотреть на Лизу ему было радостно. Она была стройная, с маленькой грудью, с очень прямой спиной, что еще подчеркивала ее манера держаться - плечи назад, словно у балерины. И в эту минуту Беляеву хотелось ее поцеловать, но вновь стало страшно.

Погасили свет, горели только лампочки на елке. У Пожарова наконец-то заработал магнитофон, но с более медленной скоростью, звук плыл и голоса "Битлов" стали походить тембром на низкий голос самого Пожарова. Образовались три пары танцующих

- А я хочу обрезать волосы, - шепнула Лиза Беляеву.

Он, высокий, склонился и заглянул ей за спину, как бы еще раз проверяя, на месте ли длинная русая коса, спадающая до того места, где кончается талия.

- У тебя такие прекрасные волосы! - воскликнул Беляев. - Особенно, когда ты их распускаешь... Помнишь, как ты их распустила на выпускном вечере?

- Ты хочешь, чтобы я их сейчас распустила?

И так выделявшиеся на худом лице Беляева темные глаза стали еще больше. А серые глаза Лизы с ответным загадочным любопытством смотрели на него. Словно чего-то испугавшись, Беляев отклонил это пожелание.

- Мне нравится твоя коса... Именно коса... Как у маленькой девочки, которую хочется ласкать, гладить по голове...

И он, осмелившись, погладил вздрагивающей рукой ее волосы.

- А кто будет на санках кататься?! - воскликнула Света и потащила размякшего в танце и от выпитого Комарова в прихожую.

- Какие санки? - с обидой в голосе сказал Пожаров, плотнее прижимаясь к Вере.

Но Света, уже успевшая накинуть шубку, стояла на пороге комнаты и командовала:

- Свет - раз, - и включила люстру, - на санки - два!

Пожаров быстро чмокнул Веру в щеку, как бы все еще находясь в полумраке, но все-таки понимая, что полумрак кончился.

- Погибоша аки обры! - прогудел он.

- Кто такие обры? - спросила Вера, проводя руками по своим бедрам, как бы оправляя юбку плиссе.

- Да, кто такие обры?! - весело крикнула Лиза, отступая с некоторой неохотой от Беляева.

- Сам ты обр! - сказал Беляев.

- Эх! Темный вы народ, - сказал Пожаров. - "Повесть временных лет" не читали!

- А у тебя это настольная книга? - съязвил Беляев.

- Представь себе, - добродушно ответил Пожаров, извлек из кармана пиджака расческу и принялся наводить лоск на своей голове.

- Уже красиво! - засмеялся Беляев. Все вышли в прихожую и начали одеваться. Света достала из темной комнаты двое санок, причем одни были со спинкой.

- Обры - это авары... Или просто - враги славян. В "Повести временных лет" и рассказывается в одном месте о том, как эти обры завоевали одно из славянских племен, уж не помню какое... А Бог покарал этих обров...

- На что ты намекаешь?! - с показной обидой спросила Света. - Это я, что ли, обр, что вас на санках кататься зову? Сам сейчас вкусишь наслаждение от быстрой езды...

Пожаров перебил ее:

- Какой же русский не любит быстрой езды?!

Выбежав из подъезда с санками в руках, Беляев вдруг остановился и уставился в то окно. Сзади в него врзался и чуть не сбил Комаров. У самого Комарова с носа соскочили очки и упали в

снег. Беляев быстро нагнулся, продемонстрировав тем самым за-видную реакцию, поднял очки и протянул их другу. В том окне горел свет. Беляеву внезапно очень захотелось каким-нибудь образом отомстить тому человеку за светящимся окном, и даже он стал судорожно подыскивать в уме какую-нибудь месть, ну что-нибудь такое, чего бы сам т о т не сумел в своих изощрениях подыскать, но тут же словно кто-то остановил Беляева, какой-то внутренний голос будто бы шепнул ему о том, что не все люди на свете обладают чувством сдержанности, будь сдержан и тебе покорятся народы. Ну, уж это слишком, подумал Беляев, народы! Мама, преподавательница французского языка университета с детства неустанно повторяла ему это слово, вдабливала в сына это понятие, почти что регулярно добавляя, что отец был несдержан.

Все побежали на бульвар, такой прекрасный в эту звездную новогоднюю ночь. Черная чугунная классическая ограда, припорошенная снегом, напомнила о каких-то иных временах, о балах, о дамах в кринолинах, о чем-то идеальном, что поселяется в юношеских головах после прочтения “Евгения Онегина” или “Бедной Лизы”, преобразуясь в мечты не столько о будущем, сколько о прошлом, как будто именно в прошлом будет суждено жить этим молодым людям.

И полетели санки вниз по аллее бульвара к Трубной. В одних - Комаров со Светой, в других - Пожаров с Верой. Лиза заложила руки за спину, прошла, поскрипывая снегом, два шага вперед, два шага назад, затем остановилась перед Беляевым и сказала:

- Им долго ехать... Поцелуй меня по-настоящему!

Лиза медленно, привстав на цыпочки, подняла к нему лицо для поцелуя.

Он посмотрел на нее с волнением, положил ей руки на плечи и прикоснулся к ее губам, теплым и свежим, только прикоснулся, как будто не было самого поцелуя, а было лишь нежное касание, кожа почувствовала кожу, и губы, еще сухие на воздухе, погладили губы. Лишь после этого Лиза приоткрыла рот, как бы приглашая для глубокого поцелуя, и Беляев принял приглашение, так что захватило дух и как будто сама Лиза исчезла, была поглощена им без остатка. Ее дыхание чуть-чуть отдавало шампанским и шоколадом. И вся Лиза была какая-то очень вкусная.

Послышались голоса - это снизу приближались Пожаров с Верой, Комаров со Светой. Беляев смущенно прервал поцелуй и опу-

стил руки по швам. Руки Лизы все это время находились за спиной. Лиза стояла совсем близко, но так, что они не касались друг друга. Нежное, белое лицо ее разрумянилось и в эти минуты напминало розовую гвоздику, принесенную на свадьбу. На меховом воротничке ее пальто серебрились снежинки.

- Кати свою Снегурочку! - пробасил Пожаров, подбегая к ним и передавая веревку санок Беляеву. - Ух, здорово!

- Коля, скорей, пожалуйста! - приказным тоном сказала Лиза.

Беляев сел в санки и усадил на колени Лизу. Санки скрипнули полозьями и понеслись вниз, разгоняясь все более и более, так что Беляеву приходилось тормозить каблуками ботинок, сдерживать и выправлять движение. Лиза ликующе визжала. В конце спуска Беляеву все же не удалось окончательно смирить санки, они налетели на сугроб и перевернулись. Вставить не хотелось. Сквозь сети ветвей деревьев виднелось звездное небо. Лиза сняла рукавичку, протянула руку к лицу Беляева и погладила тонкими, холодными пальцами его губы. Он принялся жадно целовать эти пальцы.

Когда вернулись домой, Комаров тут же предложил выпить, а затем, буквально минут через сорок, после утомительно-любвных танцев, его вдруг развезло, он сел на диван и тут же уснул. Света подложила под его голову огромную подушку и сняла очки. Пожаров предложил сыграть в лото и все почему-то согласились. Но уже в конце первого кона, когда банкивавший Пожаров выкрикнул: "Дед девяносто девять лет", Лиза вдруг зевнула, а Беляев подумал, что момент был упущен, что ожидание чего-то необычного закончилось и что, самое главное, самое необычное уже миновало, осталось где-то позади, на бульваре ли, в первом танце ли... И вдруг всем стало скучно, и все вспомнили о доме, стали спрашивать время.

Беляев пошел провожать Лизу. Она жила на Петровке. В ее огромном подъезде были лепные потолки и перила в стиле модерн. Лиза придвинулась к Беляеву, но как-то вяловато, скорее по необходимости, чем по зову чувств. И он с таким видом, что колья уж начали целовать там, то теперь от этого куда не деться, поцеловал ее поцелуем, лишенным всякого вкуса. Чтобы каким-то образом побороть вялость в себе, Лиза постаралась тесней прижаться к нему, но это выглядело натянутым, и Беляев понял эту натянутость, однако, преодолевая сдержанность, постарался искусствен-

но возбудить себя и поцеловал ее еще раз с деланной страстью, хотя тут же эту страсть погасила невинность ее холодноватых губ. Беляев отстранился и посмотрел на ее лицо. Взгляд Лизы был устремлен вроде бы в его глаза, но на самом деле шел мимо него сквозь стекла подъездных дверей куда-то в темноту ночи.

- Звони, - сказала Лиза, поднимаясь по лестнице.

И сказала это так, как будто все в жизни ей опостылело.

Беляев примерно с тем же чувством, некстати зевнув, произнес:

- Обязательно...

Глава III

Не прошло и недели, как Беляев стал думать о Лизе буквально каждую минуту. Причем вспоминалась она ему в моменты поцелуев, и чувство влюбленности лишало Беляева возможности нормально заниматься. Один экзамен уже сдал, надвигался второй, самый сложный, а у Беляева в голове вместо формул возникала целующаяся с ним Лиза. Он, как и обычно, старался себя сдерживать, и время от времени ему это удавалось, когда был увлечен удачным решением задачи, но тут же за этим удачным решением возникал образ Лизы, к которому примешивались совершенно свадебные аксессуары с розовыми гвоздиками, распущенной косой и почему-то прозрачными чулками. Ему вдруг представилось, как Лиза, не смущаясь его, снимает со своих стройных ножек прозрачные чулки. Беляеву живо представилось, как эта прекрасная девчонка мечется без сна в ожидании утра, чтобы позвонить ему. Но он сам пошел, поколебавшись, в коридор к телефону. Однако звонок опередил, и это была Лиза.

- Чем занимаешься? - спросила она.

- Всякой чепухой.

- Чепухой?

Пауза.

По коридору прошла, косясь на Беляева, соседка с кастрюлей в руках. Сам Беляев уже рисовал на обоях карандашом, привязанным к гвоздику, вбитому рядом с телефоном в стену, крестики и нолики.

- А я - одна! - вдруг как-то зло-весело сказала Лиза и тут же, чтобы не потерять темпа, добавила: - Приходи?!

У Беляева екнуло сердце, но он расхрабрился и каким-то чужим голосом твердо сказал:

- Жди!

В трубке наступила оторопелая тишина, а потом послышались короткие гудки. Беляеву показалось, что свету в коридоре прибавилось и цвет обоев изменился.

Он не помнил, как вернулся в комнату. Зачем-то сел за стол, раскрыл конспект, даже начал что-то читать. Потом отложил тетрадь, снял с полки книгу, полистал, но строчки расплывались перед глазами. Он пообещал прийти, а сам сидит за столом. Вот что странно!

За окнами светло от снежных крыш.

Потолок в комнате очень белый. Беляев с волнением стал разглядывать этот потолок. Потолки красят белой краской, чтобы в комнате было светлее. А если стены покрасить белой краской? И пол тоже? Совсем светло будет, как днем на снежной поляне.

Удивительно, но Беляев не мог в эти минуты управлять собой. Что это за новое состояние неуправляемости?

От предчувствия неведомого?

Спустя минут десять он выскочил на улицу и как после болезни стал глотать морозный воздух. Но тут с ним стало происходить что-то странное: затряслись при ходьбе и руки, и ноги, и голова. Он пытался успокаивать себя, но хорошие слова не помогали. Как он прошел краем бульвара, как миновал переулок, как вошел в подъезд - никак он не мог вспомнить, но он обнаружил себя перед ее дверью, и палец его нажимал на звонок.

Беляев не успел подумать, во что она будет одета, как Лиза отворила дверь и предстала перед ним в совершенно домашнем виде: в халатике и шлепанцах. Так как Беляев смущался поднять глаза на нее, а только машинально раза два глянул, но не в глаза, а в их сторону, так вот, пока он смущался поднять голову, он все это время смотрел вниз, точнее - на ее стройные ноги, - халатик прихотился даже чуть выше колен, - и эти стройные ноги были облачены в прозрачные чулки. Сам себе он внутренне сказал, что такого не может быть, но такое было, да ее ножки были в прозрачных чулках, и неужели она сама, Лиза сама станет при нем, не стесняясь, снимать эти прозрачно-прелестные чулки. Беляева даже бросило в жар от этих моментально пронесшихся в голове мыслей.

- Проходи, раздевайся, - с некоторой долей волнения сказала Лиза.

Она провела его на кухню, спросила, хочет ли он чаю, затем быстро потащила назад, толкнула первую дверь слева и сказала:

- Это комната родителей.

Беляев был тронут столь радушным приемом, что даже удостоился чести лицезреть комнату родителей с горкой хрусталя, с книжными шкафами, ковром на полу и огромной кроватью, покрытой лиловой с экзотическими алыми цветами накидкой.

- А твоя комната... там? - кивнул Беляев на вторую дверь слева.

- Нет, там ванная, дальше туалет...

Лиза вновь ухватила его руку и повела на кухню. Она усадила его за стол, на котором стояла сахарница и в плоской плетенке под салфеткой лежал хлеб. Сама Лиза быстро поставила на стол две рюмки из зеленого стекла и, нагнувшись, извлекла с нижней полки шкафчика бутылку коньяка, неполную, открыла, налила в рюмки, заткнула пробкой и вернула бутылку на место.

- У папы осталось, - сказала она. - Он и не заметит.

- Конечно, не заметит.

Лиза явно готовилась к его визиту. Иначе откуда бы столь быстро явилась закуска: тарелочка с аккуратно нарезанным сыром и красной рыбой, очевидно, семгой. Лиза подняла рюмку и, как бы торопя, чокнулась с Беляевым и выпила. Он машинально последовал ее примеру. Только прожевал кусочек рыбки, как Лиза молча взяла его за руку и повела в коридор. Дверь справа она открыла медленно, оглянулась на Беляева с улыбкой и шепнула:

- Это моя комната...

Комната была небольшая. Сразу бросилась в глаза Беляеву кровать, стоявшая слева в углу у окна. Лиза подошла к окну, отпустив его руку. Беляев успел оглядеть ее с головы до ног. Заплетенная коса, ноги в прозрачных чулках. Он подошел к ней. Она повернулась к нему лицом и посмотрела в его глаза, и ее взгляд как бы распахнулся навстречу ему. Он целовал ее так долго, что чуть сам не задохнулся в этом поцелуе. Он склонился еще ниже и поцеловал ее нежную шею. Затем на мгновение выпрямился и увидел, что Лиза подняла на него совершенно слепой, невидящий взгляд.

- Люби меня, - прошептала она.

И тут же ее взгляд принял какое-то жалобное выражение, словно бы только сейчас Лиза поняла, что делает, и словно бы все это время вовсе и не думала что-то делать, но она сделала и отступить было поздно. Ее руки безвольно были опущены. Он целовал ее, а его руки, дрожа, расстегивали пуговицы на халате, затем гладили обнаженные груди, белые, как снег. И вновь ему показалось, что стало как-то светлее, то ли от белого потолка, то ли от ясного света из окна.

Пронзительно белый свет, до боли в глазах белый!

Можно было подумать, что он сам стал частью снежного пространства, превратился в снег и кружился вместе с Лизой в метели, закручивался в воронки, вздымался, парил и падал.

Холодок пробежал по всему телу.

Снег шел, и все было снежным, тревожным, стремительным, болезненным и сладким. Так в детстве едят снег и он кажется сладким. Сладким, но с едва различимой горчинкой. Лицо Лизы вырвалось из метельного вихря, как бы сфокусировалось, и вновь исчезло, расплылось в белом пространстве. Что он знал о белом снеге?

- Побудь один, - шепнула она и вышла из комнаты.

Он встал и, как сомнамбула, стал бродить по комнате. На тумбочке лежал электрический фонарик. Он взял его, включил. Лампочка слабо светилась золотистым огоньком. Через минуту Беляев стоял на пороге ванной и смотрел, как Лиза принимает душ.

- Тебе приятно? - спросил он.

- Очень.

- Вода холодная или горячая?

- Теплая.

- Я замерз.

- Забирайся ко мне.

- Можно?

- Почему же нет!

- Все-таки...

Он встал под душ вместе с Лизой.

- Ошалеть можно! - сказал он.

- Шалей!

- С тобой готов шалеть весь день!

- Я сделаю воду чуть прохладнее, - сказала она.

- Сделай. Это очень холодно!

- Ничего. Мы немножко замерзнем, а потом сделаю горячую.
- Тебе так нравится?
- Я люблю контрасты.
- Контрасты? Вот уж не думал...
- А что ты вообще обо мне знаешь?
- В общем-то, ничего.
- И я о тебе - столько же!
- Какая ты белая!
- Как ты! - рассмеялась она.

Они оделись и вышли на улицу. Там все так же спешили прохождение, проезжали машины, как будто ничего в мире не произошло. А ведь произошло чудо, думал Беляев, поглядывая на Лизу, чудо, достойное отражения в летописях. Что бы Пожаров сейчас вспомнил из "Повести временных лет"?

Прежде Лиза не замечала Беляева, но к девятому классу он вырос, и сделался стройным, красивым юношей, она стала стыдиться его, потом полюбила безумно и всячески стремилась найти повод покороче сойтись с ним. Идея встречи Нового года витала в воздухе, и Светка здорово придумала, что все так удачно устроила. Ведь, по сути дела, около полугода Лиза не видела Беляева: он в одном институте, она в другом.

Теперь им хорошо было вместе идти и молчать, идти и говорить. Время от времени Лиза останавливалась и обводила Беляева взглядом, как будто давно не видела его. И при этом спрашивала:

- Я тебе нравлюсь?

Ему ничего не оставалось делать, как соглашаться. Слова "люблю", "нравлюсь" были для него новы, ему казалось, что никто и никогда не произносил этих слов. Только ему довелось их услышать и говорить самому. Он догадывался, что и для Лизы это были новые слова, обретшие теперь вполне осязаемый смысл. Как будто этих слов вовсе до настоящего времени не существовало на свете, как будто они с Лизой изобрели эти слова, и то, что означали эти слова, они проделали впервые в истории человечества, были первооткрывателями этой любви.

- Вот на том углу мы поцелуемся, - сказала Лиза.

Угол был знаком с детства, сколько здесь было хожено-перехожено, угол Трубной с Петровским.

- Лучше в ресторане, - сказал Беляев.

- В каком?
- В "Эрмитаже".
- Ах да, в этом доме был когда-то "Эрмитаж".
- Старый "Эрмитаж", - добавил Беляев.
- Старый, - задумчиво согласилась Лиза.
- Пойдем?
- Пойдем.

Они смело, не глядя на вахтера, а он их и не заметил, поднялись на второй этаж. Из комнат слышался стук пишущих машинок. Беляев приоткрыл белую дверь в зал: никого. Старинный зал ресторана, в котором когда-то гуляли купцы с цыганами, теперь был чем-то вроде актового зала. Над неказистой сценой, которой, разумеется, в те времена, когда здесь был ресторан, не было, висел огромный портрет Хрущева. По одной стене в ряд шли великолепные окна и столь же великолепные зеркала. Потолок был настоящим произведением искусства. В противоположной стене находилась раковина для оркестра, того, старого, который давным-давно веселил здесь тех самых купцов, а может быть, и самого Чехова.

- Там мы и поцелуемся, - сказал Беляев.

Он встал на стул и перелез через барьер, Лиза с его помощью проделала то же самое. Они с некоторым испугом поцеловались. Поскольку в этот момент в зал зашел какой-то человек с графином в руке. Он был сосредоточен и, не заметив влюбленных в раковине, поставил на стол перед сценой графин с водой. Когда он вышел, Беляев поцеловал Лизу по-настоящему и, едва кончив поцелуй, заметил, что человек вернулся в зал. В руках у него теперь была зеленая суконная скатерть и он принялся покрывать ею стол.

- Попали на заседание, - прошептала Лиза и хихикнула громче, чем следовало.

Человек оглянулся и заметил их.

- Вам что здесь нужно? - беззлобно спросил он. Беляев сразу нашелся, что ответить.

- Мы из архитектурного института... Осматриваем планировку этого здания...

- А-а... Смотрите еще пять минут... У нас заседание!

Он ушел, но через минуту вернулся с какими-то бумагами. Беляев заговорил:

- Товарищество “Эрмитаж”... Все здесь было: и гостиница, и баня, и ресторан...

- Салат “Оливье” здесь впервые придумали, - вставила Лиза.

- Это мы знаем, - сказал человек. - Сам Чайковский здесь свадьбу праздновал! Торжественные обеды тут давали для Тургенева и Достоевского...

Все в этом зале было сделано со вкусом. Мастерство архитекторов и строителей замечалось во всем. Беляеву приходилось лишь сожалеть, что теперь нет таких мастеров. Почему-то всегда, когда он смотрел на что-нибудь прекрасное, к чувству радости и восхищения примешивалось вот это самое чувство утраты мастерства: теперь так не сделают. Даже решетки на бульварах.

Выйдя на улицу, переглянулись и рассмеялись. Там, где обедал Достоевский, там, где праздновал свадьбу Чайковский - они целовались! Время исчезало, или его не было никогда на свете, время - фикция, время - облако, время - луч, время - повторение. Они взялись за руки, крепко-крепко, и пошли, как во сне вне времени, по Цветному, а там - вверх по Сухаревскому переулку, на домах которого сохранились надписи различных лавок, магазинов, трактиров.

- В Сухаревском нужно обязательно поцеловаться! - воскликнула Лиза, разругавшаяся на легком морозце, и в ее глазах появился масляный блеск.

Теперь Беляев считал Лизу красивее всех и находил в ней все, в чем до этого нуждался. О, это счастье! Он поцеловал ее на глазах у прохожих и сказал:

- Ты прелесть!

Лиза порывисто взяла его под руку, но он, казалось, был весь поглощен додумыванием сказанного. Может быть, его поразила мысль, что недостижимое иногда достигается, что он является обладателем этого недостижимого.

Старая Москва, старые слова, старые и новые любви. Снег на мостовой, воздух голубой, и трактир шумит за спиной с самоварами и блинами. Лиза нагнулась и скатала снежок.

- Иди сюда, - сказал он.

Держа снег в рукавичке, она подошла к нему и усмехнулась, не зная, что сказать. Да и говорить ничего не нужно было. Она приоткрыла рот и потянулась к его губам.

Они вышли на Сретенку к “Урану”.

- Пойдем в кино, - сказала она.

Беляев сосредоточенно покапался в карманах, извлек все что было: пятнадцать копеек.

- И у меня - десять, - сказала Лиза. - Поход в кино отменяется.

Беляеву стало неловко, хотя Лиза сгладила эту неловкость. Сегодня Беляев сидел дома и мама не оставила ему полтинник. В обычные дни, когда он уходил в институт, мама выдавала ему этот полтинник на день, а сегодня он оставался дома готовиться к экзамену, так что полтинника не полагалось.

- Тогда пойдем в кассу хоть поцелуемся, - засмеялась Лиза.

Они вошли в кассы "Урана", потолкались немного у сводной афиши и поцеловались, игнорируя устремленные на них взгляды.

- Что остается бедным студентам - только поцелуи, - сказал Беляев на улице.

Засигналила какая-то машина, Беляев оглянулся и увидел приближающееся такси с зеленым фонарем, а за рулем - Лева Комаров. Комаров махнул рукой вперед, показывая, что за перекрестком остановится и чтобы Беляев с Лизой шли туда.

- Левка! - воскликнула Лиза.

- Ас! - воскликнул Беляев.

Он схватил Лизу за руку и они побежали к машине.

Комаров поспешно открыл дверь и крикнул, чтобы они скорее садились, потому что сзади уже сигналили другие водители. Беляев с Лизой влетели на заднее сиденье, с необычайной радостью откинулись к спинке и затихли, наблюдая, как Комаров резво тронул и уверенно повел машину.

- Смотрю - идете! - крикнул Комаров, переключая скорость.

- Идем! - ответил Беляев.

- Думаю, сейчас я их! - продолжал кричать Комаров, хотя и так его было слышно.

- Удачно ты нас, - сказала Лиза.

- Еще бы... Вы что думаете, я это так... сию себе балбесом за рулем и ничего не вижу... А я все вижу! Это механик, старая вобла, сажать за руль все меня не хотел: восемнадцати нет, восемнадцати нет! Заладил, как попугай... Я с какого года, говорю, с сорок шестого, говорю. Ну? - говорит. Что, ну? Сложи и отними. Сколько будет? Что, сколько, спрашивает? Говорю ему: от шестьдесят четвертого отними сорок шестой? Ну?... - говорит. Потом отнял. А у меня по паспорту второго января день рождения! - Комаров

шмыгнул носом и повернул направо. - Вот, вторую езду по городу самостоятельно делаю. А то все в яме слесарил.

Беляев с Лизой переглянулись, склонились друг к другу и поцеловались.

- Целуйтесь, целуйтесь, - сказал Комаров. - Я не смотрю. Светку хотел покатать, да ее дома нету... Вот так вот!

Беляев сказал:

- Куда ты нас?

- До трех вокзалов и обратно, - ответил Комаров. - Механик сказал, что план мой ему не нужен. Езжай, мол, осваивать Москву. Ну, я и осваиваю. Сначала слесарей за водкой возил. Потом одну бабку от "Детского мира" в Измайлово. Вы третьи пассажиры. А в первый день час только проездил и стартер накрылся. От забора машину дали. Вся сыплется.

- А вроде бы ничего едет, - неуверенно сказала Лиза.

Беляев, поглядывая в окна по сторонам, зевнул. Лиза склонила голову к нему на плечо. Пошел снег, да такой сильный, что сразу потемнело. Зажглись уличные фонари, снег сдувало с крыш и крутило белыми воронками над мостовой, и воронки эти походили на космические туманности. Беляеву подумалось, что все живое вышло из этих туманностей, и живет в туманных предчувствиях радостей земных, уносясь в мыслях в прошлое, более или менее понятное и определенное в отличие от невнятного будущего.

И казалось Беляеву, что он спрятался от космических туманностей в темном коробке машины, отгородился от мира и летит в этой отгороженности в иные миры.

Насадить сад на земле в метели.

Черная коробка, черные окна, черный воздух и только изредка мелькают в этой черноте светлячки фонарей.

- Хорошо летим? - смеясь, спросил Комаров и дьявольски сверкнул очками, которые сползли на самый кончик его покрасневшего носа.

Окно с его стороны было приоткрыто, он любил ездить с ветерком.

Засвистели тормоза, машина прошла юзом поворот, Комаров успел выкрутить колеса в сторону начавшегося заноса, выровнял ее, дал газу и полетел по темному переулку. Еще один поворот, свет ударил в глаза и тут же исчез, Комаров увернулся от встречной машины.

- Ты же хотел до трех вокзалов? - спросил Беляев, ежась от быстрой и страшной езды.

- Сиди! Покатаю хоть!

Правая сторона улицы была освещена фонарями, под которыми все так же крутило, закручивало снег и швыряло его в темноту, как бесполезные драгоценности.

И опять нырнули в темный переулок. Необъятна и загадочна Москва в древней паутине своих улочек и переулков. Из черноты вспыхивают фонари, выхватывающие угол желто-белого особняка, фасад церкви, чугунную витиеватую решетку, арку двора... Дух захватывает от стремительной разновысокой красоты, но какая-то звенящая грусть возникает в сердце, что так быстро она уносится назад, не успеваешь как следует разглядеть, оборачиваешься - исчезла, но новая красота уже перекрывает прежнюю.

Еще один поворот и машина тормозит у знакомого дома. В нем живет Толя Пожаров. Посвистывает ветер, горит фонарь у подъезда.

- Прихватим, покатаем! - восклицает Комаров и дует на стекла очков, затем протирает их платком.

Лиза смеется и чмокает Беляева в щеку. Они входят в подъезд, и он им кажется очень чистым, чего раньше они не замечали. И очень много свету. Старинная мраморная лестница сверкает белизной, поручень перил отполирован и покрыт лаком, стены выкрашены в красные и синие тона.

- Когда же они тут успели ремонт сделать? - удивляется Комаров и идет по лестнице осторожно, как на прием к высокому начальству.

Все же на одной ступеньке Беляев замечает окурок, в самом уголке, у стены. Он нагибается и, как щепетильная хозяйка, поднимает его и даже дует на него, но пыли на окурке нет. Да это не окурок, а почти что целая сигарета с длинным и почему-то красным фильтром. На белой папиросной бумажке золотой вязью выведено название. Беляев пытается прочитать, но никак не может разобрать эту золотистую вязь.

- Это же по-арабски, - бросив взгляд на сигарету, говорит Комаров и добавляет: - "Вавилон"!

- Что, так сигареты называются? - спросила Лиза, извлекла из кармана губную помаду и принялась красить губы в ярко-красный цвет.

- Первый раз слышу, - сказал Беляев, удивляясь тому, что делает Лиза. - Что еще за "Вавилон"?

Лиза убирает помаду и говорит со смехом:

- Чудак. Это же дипломатический дом. Тут все что угодно может быть.

Беляев знает и помнит, что Пожаров - сын дипломата, но о таких сигаретах он никогда не слышал. Беляев склоняется к Лизе и спрашивает так тихо, чтобы не слышал Комаров:

- Зачем ты накрасила губы? Я никогда тебя не видел с накрашенными губами...

Столь же тихо Лиза ответила:

- Ты же меня не видишь в институте. Я всегда ношу с собой помаду. Это освежает лицо!

- Господи! Оно же у тебя младенческое! Какая помада! - уже громким шепотом проговорил Беляев и Комаров услышал.

Он обернулся, сверкнул очками и сказал:

- Пусть красит свои губки! Я разрешаю!

Все рассмеялись и остановились перед огромной двустворчатой дверью, почти что новой, лакированной, с линзой "волчка" на одной из створок. Из-за дверей глухо доносилась музыка. Прежде чем звонить, Комаров приложил ухо к двери и, задумавшись, сказал:

- Первая часть второго концерта для скрипки и фортепиано Малера.

- Чудесно! Звони! - поторопила Лиза.

Но Беляев опередил Комарова, сам нажал на кнопку звонка и услышал, что звонок-то был не обычный, а музыкальный, он сыграл первую фразу Мусоргского из "Рассвета на Москве-реке". Беляев с удовольствием еще раз нажал на кнопку. Дверь открылась, перед гостями предстал Пожаров в черном костюме, в галстучке-бабочке, рюмяный, веселый и от него легко пахивало шампанским.

- Прощу! - пробасил Пожаров и впустил друзей в огромную полутемную прихожую с красными стенами и слабо горящим золотистым бра.

В приглушенном, мягком свете под этим бра была прищиплена четвертушка ватмана и черной тушью красивыми буквами выведено: "Что мы знаем о самих себе, о судьбе, о мире и о судьбах мира?" Прочитав эту достаточно абстрактную фразу, Беляев подумал, что почти что ничего ни о самом себе, ни о судьбе, ни, тем бо-

лее, о судьбах мира он не знает. Но кое о чем смутно догадывается. Например, он уже твердо знает, что Лиза определена ему судьбой. Но каковы законы у судьбы? В метельной круговерти людей она избирает тебя и водит по давно ей известным кругам. И словно Лиза шепнула Беляеву: “Но это горькое познание ничего не изменит в жизни человека, в его ненасытном сердце”. Беляев закрывает глаза, но и сквозь сомкнутые веки отчетливо видит надпись на белой четвертушке. Затем он чувствует горячее прикосновение губ и вспоминает о красной помаде. Взглянув на себя в зеркало, он видит свои сильно покрасневшие губы, проводит по ним тыльной стороной ладони, но краска не смывается.

В глубине прихожей вспыхнул свет - это Пожаров открыл дверь в большую комнату. В руках он держал увесистый поднос, серебристо поблескивающий, как зеркало, как зеркальце, в которое ударяет солнечный луч. Беляев обернулся к Лизе. Она пристально смотрела на него, и в ее глазах он увидел какое-то новое, задумчиво-строгое, почти что недовольное выражение. Но тут же, при его взгляде, лицо ее оживилось, взгляд вспыхнул и прелестная улыбка раскрыла ее губы.

В это время Пожаров прошел мимо них с подносом, сказав:

- Прошу к столу!

Комаров уже развалился в кресле и листал какой-то пестрый иностранный журнал. Во рту его дымилась сигарета.

- “Вавилон”? - спросил Беляев.

- “Вавилон”, - ответил Комаров и положил ногу на ногу.

Появился Пожаров все с тем же огромным подносом, на котором теперь возвышалась дымящаяся гора красных раков. Усы и клешни, хвосты и панцири - ярко-красные, поблескивающие, влажные. Красные, вкусные, горячие, с огня, дымящиеся раки аппетитно лежали на серебряном блюде-подносе. Особенно красным был верхний рак, которого сразу же заметил Беляев. Этот верхний был краснее всех прочих и глазищи его торчали надо всеми, как бы следя за порядком на блюде. Черные бусинки глаз над красным панцирем.

- Я думаю, этот ужин вас устроит? - спросил Пожаров и, улыбаясь, поставил блюдо на белоснежную скатерть огромного круглого стола.

Все буквально бросились к столу и стали хватать раков, вылавливать белое мясо из-под красных одежд. Беляев успел схватить

своего приметного верхнего рака. Только он надломил его, как из-под панциря брызнула кровь и красными пятнами окропила белую скатерть. Беляев в страшном испуге отскочил от стола. А Пожаров громогласно захохотал.

- Это вино, - сказал он.

- Какое вино? - с волнением спросил Беляев.

- Вино Бога.

- Кровь, что ли?

- Как хочешь, так и понимай.

Лиза встала и стремительно вышла из комнаты. Беляев бросился следом, но никак не мог понять в полутьме прихожей, куда же она исчезла. Дернув наугад бронзовую ручку белой тяжелой двери, он увидел Лизу перед зеркалом в ванной комнате, в руках ее сверкнули ножницы. Прежде чем догадаться, что собирается делать Лиза, Беляев уже увидел в руках ее отрезанную косу. Даже сам лязг стригущих ножниц не услышал, а сразу увидел отрезанную косу. Лиза зачарованно смотрела на нее, затем отстригла небольшой завиток и протянула Беляеву. Он с любовью и горечью взглянул на эти волосы и зажал их в руке. Окликающий голос Комарова вывел его из оцепенения, Беляев оглянулся. На него смотрел красный рак с маленькими черными глазищами, в очках.

Глава IV

В букинистическом на Покровке, когда Беляев с пробитым чем-ком получал книгу, его кто-то тронул за плечо, тронул вкрадчиво, Беляев обернулся и увидел Заратустру, то есть отца. То же морщинистое лицо, и пальто то же, и шапка из меха кролика.

- Сынок, а ты что тут делаешь? - задал вопрос отец, как будто только он один посещал книжные магазины.

- Покупаю... книгу, - ответил чуть удивленно Беляев.

Он получил книгу и быстро сунул ее в портфель. Отец нервно усмехнулся и, когда они отошли от прилавка, около которого было довольно многолюдно, сказал:

- Я тоже книгу купил, - и добавил, похлопав по переплету, - по химии... словарь... испано-русский.

Беляев с некоторой заинтересованностью взглянул на солидный том.

- Ты что, химией занялся? - спросил он.

- Сейчас химия в ходу... Патенты с испанского перевожу. Платят неплохо. Скоро все химическое будет! - улыбнулся он. - А словарь этот еле нашел. Обегал сотню книжных. Плохо у нас со словарями.

- С другими книгами не лучше, - сказал Беляев, ощущая на лбу испарину.

В магазине было душно и стоял особый зимний запах, на покупателях таял снег, пол был мокрым от множества ног.

- Может быть, выйдем на улицу? - спросил Беляев.

- Да. А то здесь баней пахнет, - сказал отец.

На улице было нехолодно, шел крупный снег, клубился облачками в легкой ветерке над прохожими и машинами.

- В снежки бы поиграть! - сказал отец и засмеялся, но, заметив, что сын не смеется, стал серьезен.

- Некогда, - сказал коротко Беляев.

- Неужели? И чем же ты занят?

- Целыми днями в институте пропадаю.

- И кем же ты будешь? спросил отец.

- Строителем.

Помолчали немного. Отец как бы продумывал ответ сына.

- Хорошо, сказал отец.

Беляев посмотрел на него задумчиво, и ему в голову закралась странная мысль о том, что этот человек просто выдает себя за отца, что он вовсе не отец, а так, ни пришей ни пристебай, хотя после этой моментальной мысли, Беляев с некоторым усилием отогнал ее. Это был вне всякого сомнения отец, но очень далекий, случайный. Так ведь случайно встречаются с давними знакомыми, обмениваются стандартными репликами: "Как дела?" - "Нормально!" - жмут друг другу руки, договариваются о встрече или о том, чтобы созвониться, но никогда больше в жизни не встречаются.

Они дошли уже до бульваров.

- Хорошая погода! - сказал отец.

- Не очень, - отозвался сын.

- Хорошая в том смысле, что в душе хорошая погода. Когда в моей душе хорошо, мне все вокруг мило. То есть я хочу сказать, что душевная погода часто не совпадает с атмосферной. Иногда думаешь, чему радоваться: на улицах грязь непролазная, все бегут

спрятаться от такой погоды, а ты идешь и радуешься, потому что на душе хорошо. Вот и сегодня у меня хорошая в душе погода. Да и с атмосферной, вроде бы, совпадает. Я люблю, когда идет снег. Каким-то все вокруг чистым становится. В России очень многое от душевной погоды зависит. Почему? Потому что Россия - страна непогоды. Просторы, если по карте посмотреть, а на самом деле пятьдесят процентов - вечная мерзлота, болота, тайга и прочая, и прочая несуразность.

Беляев торопился, но не показывал перед отцом виду. Неудобно обижать его. Беляев раздумывал о том, здесь ли послушать отца, ожидая трамвая, или пройти по Чистым пару остановок. И как-то незаметно свернул к Прудам. Отец шел рядом, не заботясь, по всей видимости, о направлении движения и о времени.

- А почему ты с мамой не хочешь увидеться? - неожиданно для себя спросил Беляев.

Отец помедлил, затем ответил:

- А зачем? Мы совершенно разные, не понимающие друг друга люди. Потом, если хочешь, я с годами пришел к убеждению, что умные женщины вредны для меня. Вообще, умные женщины - это нечто такое... - Он повертел возле своего уха рукой. - Нечто такое малопонятное... Я люблю простых женщин теперь. И живу с очень простой, из глубинки, женщиной. Она всему внимлет, не противоречит. Скромна и без затей. Вот что мне нужно!

Беляев усмехнулся.

- И тебе советую искать простоту. Есть у тебя кто-нибудь?

Беляев пожал плечами.

- Пока очень неопределенно, - сказал он. - Не будет же он рассказывать отцу о Лизе!

- Ну это ничего, придешь когда-нибудь к определенности! - сказал с чувством отец и остановился, уставясь на заснеженный пруд. - Смотри - утки!

- Кормятся здесь, не улетают, - ответил Беляев.

- Интересно, был ли когда человек перелетной птицей? - заговорил отец. - Был конечно. Кочевником. Кочевал, где теплее. А мы урил не перелетные! - вздохнул он. - Зачем нам кочевать, когда, с одной стороны, на улице снегопад, а в квартире - далекие, жаркие страны. Но иногда очень хочется куда-нибудь улететь, таким журавлем стать!

- Можно купить билет на самолет...

- Конечно, можно. Но я не об этом. Я о полете духа, о всемирно-историческом полете! Что там говорил Заратустра? - спросил он.

- Так! - ответил сын.

Глава V

В старенькой "Волге" Комарова на передней панели не было предусмотренных конструкцией часов, вместо них в отверстие Лева вставил фотографию Светы и, пока ехали, довольно-таки часто бросал улыбающийся взгляд из-под очков на нее. Эта любовь казалась Беляеву несколько приторной, и он в глубине души посмеивался над Комаровым, который всю дорогу что-то болтал, травил какие-то анекдоты, громче обычного хохотал, в общем, был на эмоциональном взводе. Он так щедро сыпал расхожими байками, почерпнутыми у шоферов и слесарей, что Беляеву невольно стало казаться, а не поглупел ли Лева за эти два года.

Близился новый шестьдесят шестой...

- Ель - дерево вечнозеленое! - изрек Комаров и после значительной паузы, как некий сюрприз, преподнес: - В Новый год пригляшаю на свадьбу!

Для Беляева это, по сути дела, не было неожиданностью, поскольку

Лиза доверительно ему сообщила, что Света беременна, но Беляев все же сделал удивленную мину и воскликнул:

- Ого!

- Так вот, старик, конец холостой жизни. - И словно с ним кто спорил, продолжил: - А что? Баба под боком - замечательно. У нее дом в деревне. Поживем пока у меня. Буду размен подыскивать. У меня бабка на Таганке одна в тридцатиметровой комнате прописана. Я с матерью, да у Светы площадь... Чего-нибудь выменяю. Будь спокоен.

Пропустив трамвай, Комаров свернул на мост через железную дорогу. Беляев посмотрел вдаль, серебрились железнодорожные рельсы от яркого света пробившегося сквозь дымчатые облака солнца, предвещавшего мороз. Комаров проехал с моста направо - под мост, и, прибавив газу, помчался по узкому проезду, с грязноватыми сугробами у тротуара, вдоль бетонного забора.

- Я помню, кажется, этот заводик будет сразу же справа, - сказал Комаров.

- Точно. Не гони, - сказал Беляев, дожидаясь конца забора.

На площадке, где лед был черен от скатов грузовиков, Комаров остановил машину.

- Пять минут, - сказал Беляев и направился через проходную к главному инженеру.

В комнате было накурено, и Беляев, как свой, тоже закурил предложенную главным папиросу "Беломор". Он мял ее в зубах, пускал дым и растолковывал главному результаты технической экспертизы по керамическому кирпичу.

- Годится, - пыхтел полноватый главный инженер, - годится.

- Опытная партия когда будет готова? - спросил Беляев.

Через пять минут, как и обещал, он выкатил на тележке к машине упакованные в плотную бумагу и перевязанные проволокой две пачки по пять кирпичей в каждой. Комаров предупредительно открыл багажник и положил туда эти тяжелые пачки. Беляев взглянул на часы и сказал:

- За пятнадцать минут до Пожарова доедем?

- Будь спок! - усмехнулся Комаров, включая передачу.

Пожаров в своей заметной издалека дубленке поджидал их в одиннадцать на углу Рахмановского со стороны Неглинки. Щеки были красны, пыжиковая шапка золотилась в солнечных лучах. Заметив машину Комарова, он небрежно поднял руку в кожаной перчатке, как будто останавливал такси после сытного обеда в ресторане или в шашлычной... Он сел сзади и развалился, раскинув руки по спинке сидения.

- Какие новости? - спросил он. Беляев обернулся к нему и сказал:

- Главная новость - Лева женится на Новый год.

- И это настоящая любовь? - с ироничным подтекстом спросил Пожаров.

- Хочу венчаться к тому же, а не просто через загс! - торжественно сказал Комаров.

- Даже венчаться! - изумился Беляев.

- А что? Чтобы жизнь была вечнозеленой! - захохотал Комаров.

По Арбату он проехал к Смоленской и у гастронома остановился. Пожаров открыл дверь, осмотрелся и, заметив того, кто их ожидал, крикнул:

- Борис Петрович, пожалуйста в машину!

Достаточно молодой человек, Борис Петрович, гладковобритый, быстро сел в машину, Комаров тронулся, свернул на Садовое кольцо и метров через сто остановился.

- Лева, принеси один образец, - любезно попросил его Беляев.

Комаров послушно вышел из машины и пошел открывать багажник.

- Ваши условия? - спросил Борис Петрович, ощупывая и оглядывая оранжеватый, легкий, со щелями, кирпич. В глазах Бориса Петровича светилась некоторая алчность.

- Ваши предложения? - вопросом на вопрос ответил Беляев, снял черную вязаную шапочку и пригладил длинные волосы.

- Пятьдесят рублей за тысячу, - неуверенно произнес Борис Петрович и постучал по кирпичу извлеченными из кармана ключами. - Звенит, как амфора! - с улыбкой добавил он.

- Ну, вот видите! - воскликнул Беляев. - Как амфора! А вы за пять копеек хотите его купить...

Беляев достал из кармана бумаги, развернул и ударив по ним сверху тыльной стороной ладони, сказал:

- По техусловиям ему цена три копейки...

- Так, - сказал Борис Петрович.

Беляев вдруг усмехнулся и громко, как бы ставя Бориса Петровича на место, произнес:

- Так! говорил Заратустра! - И продолжил: - Три копейки цена, плюс три - главному инженеру, да мне - три, и одна копейка, - он взглянул на Пожарова, - комиссионные! Итого - десять копеек стоит эта амфора...

- Дорого! - выпалил Борис Петрович.

- А чего ж тогда говорите: амфора, амфора! - ехидно процедил Комаров, до этого молчавший.

- Такого кирпича еще ни у кого не было, - достаточно мягко пробасил Пожаров.

- Ну да ладно! - отрезал Борис Петрович. - Когда забирать?

- Хоть завтра, - сказал Беляев и принял что-то прикидывать в уме. После паузы спросил: - Если у вас с собой задаток, то...

Борис Петрович полез в карман за бумажником.

- Как я понимаю, три копейки на двадцать тысяч штук это будет?

Он задумался, а Беляев ответил:

- Шестьсот рублей.

- Именно, - сказал Борис Петрович и отсчитал шесть сотенных бумажек. Затем подробно объяснил куда везти, кто там будет ждать для разгрузки и прочие подробности. И сам подъедет к трем...

Когда он покинул машину, все рассмеялись, а Комаров сказал:

- Да, Беляев, большое будущее тебя ожидает!

- И прокурор! - захохотал Пожаров. Его высадили на том же углу, где брали, и поехали опять на завод. Там Беляев быстро оформил сделку, внеся в кассу деньги, договорился с главным инженером о машине, кране...

- Тут машиной не обойдешься, - сказал главный инженер и, подумав, добавил: - Пошлю сразу четыре длинновоза... Да. Сразу ухнем все двадцать тысяч...

- Это будет правильно, - тоном бывалого строителя сказал Беляев и закурил "Беломор".

Если мерить личность умением себя проявлять, то в этих первых своих контактах с производственниками Беляев проявлял себя в полной мере как человек твердого слова и завидной пунктуальности. На первых порах главный инженер, когда Беляева прислали из института по линии связи производства с высшей школой, посмотрел на него снисходительно, мол, пусть студент практикуется, носит в свое студенческое СКБ (студенческое конструкторское бюро) образцы на испытания, пишет научные работы, чертит курсовые, но не тут-то было, во второй же свой приход на завод с результатами лабораторных испытаний нового кирпича Беляев решительно спросил:

- Мне нужна партия в двадцать тысяч штук, не продадите?

- Не продадим! - с улыбкой сказал тогда главный и стал думать.

Кирпич этот никто еще по фондам не заказывал, опытные партии были незначительными, все больше для испытаний - и здесь, на заводе, и в институте исследовательском, и в институте учебном, откуда был Беляев. Но вот как-то раз главный спросил:

- Кому нужен-то кирпич?

И Беляев, получивший заказ от Пожарова, все в деталях обрисовал, и калькуляцию полную сделал... Главный инженер понял, что в Беляеве была поистине великолепная деловая жилка, какая-то повышенная реакция проникать в сердцевину проблемы. Основное же в этом было то, что Беляев как бы прочитал мысли главного инженера, ибо тот уже собирался подработать на опытных

партиях, которые, в принципе, шли как неучтенная продукция, но покупателей он еще не нашел, а тут - вот он, стоит перед тобой, молодой, проворный...

Комаров подбросил Беляева до дому и назавтра обещал быть у подъезда в семь тридцать утра, а пока помчался делать план.

Целый вечер Беляев просидел за письменным столом, энергично просчитывая различные задания для Баблояна, однокурсника. Мать пыталась отвлекать его какими-то вопросами. Торможение сына этими вопросами, беспричинными и бессмысленными, как казалось Беляеву, доставляло ей удовольствие чисто профессиональное, как в университетской аудитории она любила тормозить вопросами студентов, считая, что таким образом она их вызывает на искренний диалог и тем самым обеспечивает совершенное усвоение материала.

Голос у матери был низкий и властный. После двух-трех вопросов Беляеву хотелось заткнуть уши, уйти в себя, забаррикадироваться, что, впрочем, он успешно освоил. Задав эти два-три вопроса и не получив ответа, мать, как правило, отставала. Она легла в своем черном шелковом, расшитом алыми розами халате на диван, подбив высоко подушку, надевала очки, закуривала и принималась за чтение очередного толстого романа по-французски. Прочитав несколько страниц, она начинала позевывать, затем Беляев слышал, как падала на пол книга и как сначала тихо, а потом громче комнату оглашал грассирующий храп. Зато какой неотразимой, красивой становилась мать, когда к ней приходил Герман Донатович! Ей было только сорок три года, и она была стройной, фигуристой женщиной.

За последние два года мать и сын подладились друг под друга: когда собирался прийти Герман Донатович, Беляев уходил к Лизе.

Наконец к полуночи, Беляев закончил все расчеты, зевнул, встал, подошел к дивану и потрогал мать за плечо. Она, как и обычно, быстро открыла глаза и спросила:

- Который час?!

- Уж полночь близится, а Германна все нет! - сказал Беляев и пошел умываться перед сном, шаркая шлепанцами, надетыми на босу ногу.

В длинном обшарпанном коридоре было тихо, соседи уже спали. Только рук Беляева коснулась струя воды, как он подумал о том, что неплохо бы всю квартиру занять самому. Живут здесь три

семьи, четвертая - он с матерью. Надо думать, просчитывать варианты... Вариант первый: мать выдать за Германа Донатовича и прописать его сюда. Но прежде Герману нужно развестись. Нет, это не то. Даже если он разведется, распишется с матерью и пропишется к нам - это перспектива нового размена. Не будет же Беляев всю жизнь с ними жить в одной квартире. Вариант второй: он женится на Лизе, прописывает ее сюда, в первые же три года она рождает троих детей... Вот тебе и квартира! Но сразу Лиза вряд ли согласится рожать - нужно закончить институт... Одно другому - не помеха! Пусть и рождает, и учится!

- Ну сколько можно умываться! - услышал он сзади раздраженный голос матери.

Он закрыл воду над раковиной и принялся утираться полотенцем. Мать подошла к ванне, заткнула, нагнувшись, дырку, включила горячую воду и, не обращая внимания на сына, сняла халат.

- Спокойной ночи! - сказал Беляев, выходя из ванной и слыша, как за его спиной щелкнула задвижка.

Беляев лег на свою кровать за шкафом и включил ночник. Некоторое время он смотрел в потолок, украшенный в местах соединения стен с потолком прекрасной лепниной, затем взял с тумбочки первую попавшуюся книгу, - а на тумбочке лежала добрая дюжина книг, - это оказался "Большой шар" Андрея Битова, и начал читать... "Трень-бом-динь! Трень-бом-динь!"

- Трень-бом-динь! - зазвонил в семь утра будильник.

Беляев резко сбросил с себя одеяло и тут же встал. Еще, казалось, был во сне, но уже стоял. Это лучше, нежели давать себе послабление, успокаивать словами, что еще одну минуточку подремлю и тогда уж поднимусь. Сон накроет с головой и все планы, все обещания - под откос, весь день пойдет наперекосяк!

Беляев вышел из подъезда, огляделся, Комарова еще не было. Шел редкий снег, темный переулочек был перечерчен длинными желтыми полосами света фонарей. Кое-где в домах горели окна. Беляев смотрел на снег, дышал нежным морозным воздухом, оглядываясь на свой трехэтажный старинный дом и ему грезилось, что весь этот дом принадлежит ему...

Зеленый огонек Комарова показался внезапно.

- Долго спишь, - сказал Беляев, усаживаясь в теплую машину.

- Еле завел! Аккумулятор ни к черту... Пока искал "катушу", потерял двадцать минут...

- Надо было прийти раньше на эти двадцать минут! - жестковато сказал Беляев.

- Подумаешь, опоздал на пятнадцать минут, - отшутился Комаров.

- Не подумаешь! - резко остановил его Беляев.

- Я же не нанялся тебя возить...

- Нанялся!

- Да я без тебя заработаю...

- Я тебе плачу больше!

- Ты еще ничего не заплатил!

- Слушай, кончай пререкаться...

- А ты чего возникаешь?!

- Я не возникаю, а там машины грузятся!

- Они и без нас погрузятся, - сказал Комаров, шмыгая носом.

- Это тебе так кажется!

- Посмотрим!

- Посмотрим! - повысил голос Беляев, видя, что Комаров заметно прибавляет скорость. Он обиделся, насупился и до самого завода не проронил ни слова.

Беляев оказался прав. Машины еще не загружались. Главный инженер где-то бегал по территории, и его пришлось дожидаться. Когда он появился, выяснилось, что он не сумел достать кран, поэтому и не загружал машины. Но Беляев попросил все же загружать.

- Как вы там двадцать тысяч разгрузите?

- Разгрузим, - усмехнулся Беляев.

- Ну, смотрите, - сказал главный инженер и дал команду на погрузку машин.

Беляев вернулся к машине Комарова и сообщил ему эту "радостную" весть.

- Да ты с ума сошел! - раздосадованно воскликнул Комаров и принялся подсчитывать вслух: - Даже если кладем по десять секунд на кирпич, то это будет двести тысяч секунд... А в одном часе три тысячи шестьсот секунд... Стало быть, за час... мы выгрузим триста шестьдесят кирпичей...

Беляев возразил:

- Это один человек выгрузит триста шестьдесят... А там четверо ждут и нас двое... Да еще сейчас в институт заскочим, я пару человек возьму...

Комаров почесал затылок.

- Это еще куда ни шло, - сказал он. - Но лучше бы кран!

- Вот ты и будешь кран искать, пока мы занимаемся разгрузкой.

Мостовой кран загрузил все четыре машины за каких-нибудь полчаса - кирпич был аккуратно уложен на поддоны, оставалось цеплять, поднимать и ставить в кузов. Объяснив шоферам подробный адрес, Комаров повез Беляева в институт. Баблюяна Беляев нашел в просторной комнате СКБ, сразу же передал ему расчеты и спросил, как идут дела. Невысокий, плотный Баблюян, стекливший в это время очередной лист курсовой, обрадованно оторвался от работы, достал из портфеля сверточек и, передавая Беляеву, сказал:

- Здесь триста...

Беляев сунул деньги в карман, улыбнулся и устался, не отводя взгляда, на Баблюяна. Затем, сменив улыбку на серьезность, сказал:

- Берешь Манвеляна и вниз! Есть работа.

- У меня еще два заказа, - сказал Баблюян, подтягивая брюки и заправляя в них сзади рубашку, которая выбивалась во время работы над копированием чертежей.

- Завтра закончишь, - твердо сказал Беляев.

Видимо, Баблюяну казалось, что ехать ему незачем, но он повиновался отчетливому, твердому голосу Беляева. Если бы не Беляев, то Баблюян и все его многочисленные "горцы" вылетели бы из института сразу же после первого курса. Большого труда стоило Беляеву заставить этих "студентов" хотя бы переписывать, копировать подготовленные им работы. Под видом СКБ - студенческого конструкторского бюро - Беляев организовал нечто вроде фирмы по гарантированной сдаче зачетов, экзаменов и выполнения всевозможных графически-расчетных работ. Разумеется, не бескорыстно. Баблюян с Манвеляном сели сзади.

- Как здоровье мамы? - спросил Беляев у Манвеляна.

- Спасибо, очень хорошо.

- Отец работает?

- Да, папа тоже работает.

Беляев еще что-то, для разговора, хотел спросить, но Баблюян перебил его вопросом:

- Слушай, Коля, - у него получилось "слушай", - может, в общагу заскочим? Мои прислали чачу...

- Нет, - сказал Беляев.

- Ну что ж, очень хорошо, - сказал Баблюян. - Очень хорошо, что мы сейчас едем за город.

Выехали из Москвы. Белые поля, как чистые листы ватмана, лежали справа и слева. Потом они исчезали за деревьями. Свернули к железнодорожному переезду. Одну платформу отремонтировали и рядом с нею строили какой-то служебный кирпичный домик. Кран разгружал с грузовика бетонные перекрытия.

- На ловца и зверь бежит! - воскликнул Беляев.

- Что? - спросил Комаров, включая щетки, чтобы очистить лобовое стекло от налипшего снега.

- Кран! - крикнул Беляев, попросил остановить машину и побегал вдоль платформы, засыпанной снегом.

Подошла электричка, высадила людей, тронулась.

Впереди и сзади на снежном фоне темнеют фигурки людей, идущих с электрички. Слышны разговоры и смех.

Автокрановщик выслушал Беляева, подумал и согласился на четвертной билет. Через пятнадцать минут Беляев сидел уже рядом с водителем крана и указывал дорогу, следом, не спеша, ехал Комаров. Въехали в дачный поселок. Многие дачи стояли совсем глухие, темные, в них, по-видимому, зимой не жили. Но были и обустроенные, кирпичные дома, из труб которых шел дымок. Наконец нашли участок Бориса Петровича.

В глубине этого довольно-таки большого, в соток двадцать, участка под березами стоял небольшой голубенький павильончик, в нем у электрообогревателя грелись ожидавшие машин грузчики. Подходя к этому павильончику, скрипя снегом, Беляев вскинул взгляд на заснеженные ветви берез и почувствовал запах березовых почек. Воздух здесь был по-снежному чист, не как в Москве.

- Труба зовет! - сказал Беляев грузчикам, заглянув в комнатку.

- Это мы мигом! - сказал один, убирая под стол порожнюю бутылку из-под водки.

Перехватив вопросительный взгляд Беляева, все тот же грузчик сказал:

- Ждали-ждали вас, смотрели-смотрели на нее, заразу, да и...

- Пошли, Миша, хватит ля-ля, - сказал другой.

Выйдя на крыльцо, грузчики потянулись, повздыхали, покурили и принялись за дело. Кран опускал кипы на снег, а грузчики и студенты быстро укладывали кирпич в штабель, освобождая поддоны, ко-

торые нужно было вернуть на завод. Штабелировка шла весело. Всем нашлись заранее заготовленные хозяином рукавицы и халаты.

Несколько раз останавливались на перекуры. Беляев, смахнув снег со ступеней павильончика, садился и смотрел на работающий кран, который снимал последний поддон. Оранжевый кирпич на снегу, напоминал рябиновые грозди. Три машины уже отпустили. Каждый шофер получил от Беляева по десятке и все поехали довольные. Четвертая машина должна была забрать все поддоны. Уехал и кран. Крановщик, с удовольствием убирая двадцатипятирублевую бумажку в бумажник, на прощание сказал:

- Когда понадоблюсь, найдете на Козловском повороте. Тама наша база...

Комаров подошел к Беляеву и сказал:

- Так мы и себе можем дома построить.

- Можем, - сказал Беляев. - На небе!

- Да-а... Если вот в деревне землю как-нибудь взять...

Беляев посмотрел на него с некоторым презрением.

- Когда возьмешь, доложи мне, - сказал он.

Ответа не последовало.

Закончили огромный штабель и перекидали поддоны в кузов, последняя машина уехала, а все прошли в павильончик греться к обогревателю в ожидании хозяина. Грузчики сначала мялись, но потом достали вторую бутылку водки.

- Я же говорил, нужно было чачу взять, - сказал Баблюян.

- Нет, - зло шепнул ему Беляев и еще тише добавил, - здесь мы не пьем!

- Понял.

Грузчики предложили, но студенты наотрез отказались, сославшись на то, что им еще сегодня идти в институт. Правда, от черного хлеба с салом не отказались.

В четверть четвертого подкатил на черной "Волге" Борис Петрович. Его глаза радостно заблестели от вида могучего кирпичного штабеля.

- Будем дружить, - сказал Борис Петрович, после того как рассчитался с Беляевым за кирпич, за машины, кран и разгрузку, и получил накладные и копию счета за оплату. - Есть много заманчивых предложений...

Темнело. В машине Комарова было тепло. Из окон некоторых дач на снег упали желтые пятна. Беляев в уме просчитал киломе-

траж, проделанный Комаровым за эти два дня. Выходило около ста километров. Это десять рублей, если километр стоит десять копеек. Десять умножить на три - тридцать. Итого Комаров заработал тридцатку.

Баблюяна с Манвеляном высадили у института. Беляев уплатил им по десятке, они сначала не хотели брать, но Беляев настоял. Затем заехали на завод. Шестьсот рублей обрадованно принял главный инженер и угостил Беляева "Беломором".

У дома Пожарова Комаров остановился. Беляев сунул ему три червонца. Комаров недоуменно пожал плечами и сказал с волнением:

- И это все?
- Три счетчика - мало?
- Да я заработаю...
- Заработай! - зло оборвал Беляев.
- Ну, не знал...
- Что ты не знал?
- Что ты такой хмырь!
- В следующий раз будем оговаривать условия заранее, - сказал чуть спокойнее Беляев и добавил еще одну десятку со словами: - Это за помощь при разгрузке.
- Спа-асибо! - с издевкой выпалил Комаров.
- Слушай, Лева, если не доволен - организуй сам что-нибудь!
- И организую!
- Вот-вот, организуй, а я посмотрю!
- Организую! - крикнул Комаров, когда Беляев, выйдя из машины, захлопывал дверь.

Беляев вошел в старый, гулкий подъезд со стершимися ступенями лестницы, с грязными стенами и сломанными перилами. На втором этаже остановился у массивной двери, обитой дерматином, прорваным в некоторых местах, и позвонил. Открыл сам Пожаров, в байковой клетчатой рубашке, как всегда, аккуратно причесанный.

- Ну, как? - спросил он.
- По расписанию, - сказал Беляев и, не раздеваясь, прошел следом за Пожаровым в комнату.

На огромном круглом столе стояла ваза с хризантемами.

Беляев молча достал деньги и отсчитал двести рублей десятками.

- Разденься, - сказал Пожаров. - Хочешь чаю?

- Некогда, у меня гора работы.
- У меня тоже, - сказал Пожаров. - Сижу, не разгибаясь!
- Беляев посмотрел на полноватые, с ямочками, щеки Пожарова.
- Этот тип сказал, что есть у него какие-то предложения...
- Да я знаю, - сказал, зевнув, Пожаров.
- Проработай эти предложения... Сырые не предлагай, понял?
- Понял.

Беляев минуту стоял и о чем-то думал, вспоминал, потом достал пять рублей и, протягивая их Пожарову, попросил:

- Возьми, пожалуйста, для меня два билета в Станиславского на "Записки сумасшедшего"... Говорят, какой-то Бурков там творит чудеса...

- Будет сделано, - сказал Пожаров.

Выйдя от Пожарова, Беляев по Неглинке отправился в ЦУМ. Толпы людей вливаются и выливаются из этого огромного дома. Беляева толкали, задевали сумками, но он не спеша двигался вдоль прилавков, осматривая товары и ища что-нибудь подходящее. Вот привлекли его внимание ложки и вилки - синеватая сталь перемежалась серебром и позолотой, и все это сочеталось с игрою света, причудливо отраженного в зеркалах. Но это было не то, что хотелось. Беляев пошел этажом выше и вдруг увидел Лизу, вернее, сначала узнал ее шубку, а потом понял, что это Лиза. Она стояла у прилавка с каким-то высоким офицером, капитаном, и что-то весело ему говорила.

- Лиза! - обрадованно крикнул Беляев.

Лиза круто обернулась и, как показалось Беляеву, веселость сразу же схлынула с ее лица. Беляев подошел к ней и вопросительно посмотрел на офицера.

- А это - Коля, - сказала офицеру Лиза, - мы с ним вместе учились в школе.

Беляев почувствовал фальшивость в ее голосе. Втроем они стояли в неловком молчании. Офицер пожал руку Беляеву и представился:

- Владимир.

Нельзя было не оценить его величавого достоинства, но Беляева пугала неопределенность его присутствия с Лизой.

- Можно тебя на минуточку? - отозвал Беляев Лизу в сторону.

На губах Лизы мелькнула едва заметная гримаска горечи, - офицер не уловил ее, или просто сделал вид, что ничего не видел.

Что было у Лизы в мыслях? Всякий раз, оставаясь вдвоем с Лизой, Беляев как бы заново изумлялся счастливой судьбе, спаявшей их воедино, но в эти минуты, хмурый и замкнутый, он ни словом, ни жестом не выказывал подобных чувств.

- Что это за тип? - холодно спросил он.

Лиза сначала покраснела, потом побледнела.

- Да так, - взмахнула она рукой, пытаясь отшутиться, - один знакомый... Попросил поводить его по магазинам...

- Говори правду! - грозно прошипел Беляев.

- Правду?

- Да!

- Неужели ты не понимаешь? - усмехнулась нервно Лиза.

Беляев похолодел - до него дошла суть слов Лизы. Он с неприязнью взглянул на офицера, тот делал вид, что рассматривает что-то на витрине.

- Стой здесь! - приказал он Лизе и подошел к офицеру.

- Слушаю? - сказал тот, когда его тронул за локоть Беляев.

- Извините, но нам с Лизой нужно уйти, - твердо, даже со злобой, сказал Беляев.

Не слушая офицера, он жестко схватил Лизу за локоть и буквально потащил ее, но не вниз, а наверх, приговаривая:

- Я тебе покажу офицеров! Ты у меня увидишь офицеров!

- Перестань! - едва заметно сопротивлялась Лиза. - Нам нужно поговорить. Ты понимаешь, что нам нужно объясниться?!

- Чуть позже я с тобой объяснюсь, - прикрикнул на нее Беляев, - а пока купим подарок Комарову.

Лиза оглядывается, смотрит, не следует ли за ней офицер...

В отделе мужской одежды Беляев говорит:

- Все! Покупаю Леве вот этот костюм! И смотрит на Лизу.

- Хороший костюм, - говорит она равнодушно.

И только в этот момент Беляев начинает кое-что замечать. Не то, даже, что замечать, а чувствовать. Глаза Лизы, прежде отдававшие ему свою теплоту, свой блеск, свою жизнь, глаза ее теперь были равнодушны, как и слова. Ведь Беляев ее совсем недавно видел и не заметил этой новизны.

Отчаяние и злоба охватили Беляева. Сжимая сверток с костюмом под мышкой, он вел, как собачку на поводке, Лизу к себе, зная, что мать сегодня придет поздно, у нее отчетно-выборное собрание в университете. Лиза теперь шла послушно сама, но вид ее

был прежним. Хотя она говорила с Беляевым, слушала его, даже смеялась, но была вся в себе, в своем равнодушии к Беляеву.

Как только он привел ее к себе в комнату, стал раздевать ее, нет, срывать с нее одежды, она не противилась, но и не зажигалась, была холодна, но Беляев должен был во что бы то ни стало доказать ей, что только он имеет право любить ее...

Глава VI

Пожаров приятно улыбнулся, полез во внутренний карман пиджака, помедлил и достал красную книжечку.

- Понял! - воскликнул он. - Вчера выдали! Приняли...

- Теперь тебе зеленый свет прямо до Нью-Йорка, - сказал Беляев.

Пожаров несколько раз прошел, мягко ступая по ковру, из угла в угол. Щеки его порозовели и более отчетливо стали заметны на них ямочки. Глаза Пожарова блестели, и он, как некую драгоценность, несколько раз принимался рассматривать книжечку.

- Ну, кто я до этого был? Раб Господен. А теперь? Для нас открыты солнечные дали, - пропел он и продолжил: - А то каждая гнида - ты не член, тебе нельзя... Понимаешь?

Пожаров был возбужден и говорил с чувством.

- Просчитываешь правильно, - сказал Беляев.

- Еще бы!

- Я как-то все откладывал, - начал Беляев.

- Дооткладываешься! Потом взвоешь... Ты только посмотри, что у нас делается в институте! Доцент один, нормальный мужик, я с ним выпивал пару раз, пятый год не может вступить! Все. Финиш. После института не прорвешься и локти кусать будешь. Я не знаю, как этот доцент на доцента без этого дела вышел...

- Для процента, - сказал Беляев.

- Именно.

- Чтобы сказать, что у нас никто не зажимается... И вот примерчик - беспартийный доцент! Его поэтому никогда не примут. Зря старается, - сказал Беляев. Он сидел на диване, поджав под себя ногу, и курил.

- А тут сразу нас, студентов, пятнадцать человек приняли...

- Списком?

- За полчаса отстрелялись... Пару вопросов задали... А я как врезал: коммунизм есть высшая, против капиталистической, производительность труда добровольных, сознательных, объединенных, использующих передовую технику, рабочих! - так они сразу проголосовали единогласно. Понял?

Беляев встал и взволнованно, как и Пожаров, заходил по мягкому ковру. Множество мыслей нахлынуло на него.

- Понимаешь, - сказал он, - у меня же с отцом не все в порядке...

- Ерунда! - отмахнулся Пожаров. - При чем теперь твой отец! Дело это решенное. Он сам по себе, ты сам по себе. Твоя мать с ним разведена. Мало ли что было раньше... Он же реабилитирован?

- Реабилитирован, - как-то нехотя подтвердил Беляев. - Только его в милицию таскают, участковый приходит: почему, мол, не работаешь? Черт, я понимаю, он пьяница, но работу же он берет, делает!

- Для них нужно, чтобы он где-нибудь числился, - сказал Пожаров.

- Я то же самое отцу говорил: устройся куда-нибудь. Бесполезно! Говорит, что он вольный стрелок...

- Пусть живет так, как ему хочется!

- Анкету же мне заполнять...

- Об отце не пиши вообще...

Пожаров остановился и торжественным басом проговорил:

- Смысл нашей социалистической работы заключается в построении такой жизни, которая дала бы возможность развернуть все тающиеся в человеке возможности, которая бы сделала человека в десятки раз умнее, счастливее, красивее и богаче, чем ныне!

- А еще? - усмехнулся Беляев.

- Пожалуйста, - согласился Пожаров и, выбросив вперед руку, загудел: - Коммунизм вырастает решительно из всех сторон общественной жизни, ростки его есть решительно повсюду!

Беляев одобрительно закивал головой и сказал:

- Хорошо у тебя получается, очень хорошо!

- У тебя тоже получится, - сказал Пожаров.

- Ты мне подбери какие-нибудь цитаты, чтобы и я, как ты говоришь, врезал там...

- Хоть сейчас! - воодушевился Пожаров, сбегал в кабинет отца и притащил синий пухлый том.

Он принялся листать книгу. Найдя подходящее, прочитал с выражением, меняя силу голоса:

- Коммунизм - это бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью...

Беляеву эта цитата очень понравилась, и он сел ее переписывать. Тем временем Пожаров сходил на кухню, приготовил чай и бутерброды с сыром и колбасой. Все это он принес в комнату на подносе.

Сунув листок с цитатой в карман, Беляев подошел к столу и, подумав, сказал:

- Жизнь - театр, и мы в ней актеры...

- Без этого нельзя, - согласился поспешно Пожаров.

- Только актеры мы вшивые! - резко бросил Беляев. - Были бы настоящими актерами, то и коммунизм бы разыгрывали по-настоящему... Ведь, посудите, в самой идее коммунизма что-то есть настоящее, искреннее. Я это чувствую.

- Тебе и карты в руки!

Пожаров засмеялся и поднес чашку к губам. Беляев был не в духе и все эти разговоры о партии были абстрактными, поверхностными, а в глубине души он думал о Лизе, о ее неожиданной перемене к нему.

Зная свою обостренную чувствительность к чужому поведению, Беляев предпочитал не встречаться с людьми, если был не в духе, и малейшая бесцеремонность, допущенная в его присутствии, как бы нарушала фальшивой нотой его жизненный лад. Он еще находился в том возрасте, когда собственную бесцеремонность не анализировал, да и просто не брал в расчет, не замечая ее.

- А как у тебя с Верой? - вдруг спросил он.

- Ничего.

- В смысле?

Пожаров достал расческу и медленно провел ею по волосам, затем нехотя ответил:

- Да надоела она мне, Коля. Эти постоянные разговоры о женитьбе меня расстраивают. Надо думать о будущем, конечно, но так, с бухты-барахты жениться?! Нет уж, увольте! И потом, знаешь что?

- Что?

- Она много обо мне знает. С первого класса. А это плохо. Жена не должна все знать о муже, - принялся рассуждать Пожаров. - Чем меньше информации, тем лучше. Женщины любопытны. Ты не замечал, что женщины всегда разговаривают вопросами?

- Замечал.

- Смотрит на тебя, особенно в постели, и... вопрос за вопросом. Раскалывает, раскалывает, как следователь. Иногда мне жутко делается от ее вопросов. Обязательно должен полный отчет давать...

- Каков же вывод? - спросил Беляев, стараясь быть спокойным.

Пожаров некоторое время смотрел на него, не отводя взгляда.

- Огорчу тебя, Коля, - сказал он. - Они готовятся замуж. Только замуж. Вот их теоретическая и практическая цель. То ли у них природа такая, то ли еще что-нибудь... Но Верка со мной сто раз уже заводила разговор на эту тему. Да и Светка ее подзуживает. Комаров решился, а мы делаем вид, что не понимаем, о чем идет речь. Не знаю, как ты, а я-то прекрасно понимаю, что не нужна мне Вера, понимаешь, не нужна! Сейчас я сам себе хозяин. А представь, ну, женюсь я на ней. Вот ты бы пришел ко мне, а она бы тут обязательно крутилась и разговора бы нашего не состоялось. Это я сердцем чувствую. Ну не даст она ни поговорить, ни поюродствовать!

- Я это знаю. Это типично женская особенность: не дать возможности уединиться, - сказал Беляев. - Да что там говорить! У меня мать такая. Сто вопросов в минуту. Где был? Что делал? До тошноты накормит этими вопросами. Как будто не понимает, что человек на девяносто процентов состоит из тайн. Да и Лиза такая же...

- Я знаю, - сказал Пожаров.

- Что ты знаешь?

- То же, что и ты.

- Что именно?

- Как будто ты не понимаешь... Ты прекрасно понимаешь, о чем идет речь... Неужели ты думаешь, что Верка мне ничего не рассказывает... Да они все друг другу рассказывают, даже о том, когда и как мы с ними спим! - Пожаров говорил с чувством. - Пойми, сейчас они находятся в том возрасте, когда у них на уме толь-

ко одно, нет, не трахнуться с кем-нибудь, а выйти замуж. Они понимают, что мы крутим-вертим, ведем, так сказать, с ними добрачную половую жизнь и все! И это их бесит. Они же дуры абсолютные!

- Ну, уж ты хватил! - удивился Беляев, с повышенным вниманием слушая Пожарова, с которым прежде столь углубленно о женщинах не говорил, да и повода, в общем-то, не было.

- Ничего не хватил, а говорю то, что есть на самом деле. Так что твоя Лиза подала уже заявление в загс, нашла себе военного ученого. Он на десять лет старше. В общем, нашла то, что ей нужно.

Беляев покраснел, словно его уличили в импотенции. Пожаров, видимо, заметив эту покраснелость, успокоил его:

- Ничего, Коля. Не переживай. Это нам будет наука. Нашим будущим женам, я считаю, сейчас семь лет и они ходят в первый класс! А трахаться нам нужно с опытными женщинами, со взрослыми, понимающими.

- Но я же люблю ее! - сжав кулаки, со злостью крикнул Беляев.

- Плюнь и разотри, - небрежно сказал Пожаров. По всему было видно, что то и другое в отношении Веры он уже проделал.

- Умом понимаю, но сердцем не могу понять! - сказал Беляев.

- Это привычка, - сказал Пожаров. - Не более того. Какой-то инстинкт природный на нас действует. И что такое любовь? Не подвластное нам чувство, спущенное свыше, чтобы поддерживать род человеческий в его размножении. Вот тебе и главный смысл любви! Ты хочешь участвовать в размножении рода человеческого? - вдруг задал вопрос Пожаров.

- А зачем?

- Ну уж, дорогой друг, хотя бы для того, чтобы отблагодарить предшественников за собственное появление на свет. - Пожаров говорил ласково и убедительно.

Беляев снисходительно улыбнулся. Он как бы не старался развязать затянувшийся узел отношений с Лизой, потому что не придавал этому сейчас значения и знал, что он развяжется сам собой. Его волновало другое - собственное поражение и то, как оно воспринимается окружающими. Он не мог еще себе сказать, что заботится о собственной репутации в глазах окружающих его людей, но чувство, близкое к этому, в нем жило. Он как бы приберегал свои силы для более значительного момента (а Беляев был уверен, что рано или поздно, этот момент наступит: через год, через

два, через десять лет!), когда можно будет доказать и окружающим, и, главным образом, Лизе свое несомненное превосходство.

- Тебе не приходило в голову, - говорил Пожаров, - что с новыми знакомыми чувствуешь себя лучше, чем со старыми?

Беляев отреагировал достаточно быстро:

- Новые знакомые закрыты для тебя, а ты закрыт для них. В этом вся соль. - Он подумал и продолжил: - Я вообще заметил, чем холоднее ты относишься к людям, тем они лучше к тебе относятся. Меньше лирики. Люди - хамы, и они любят, когда с ними говоришь только о деле. Стоит чуть-чуть расслабиться, как они уже лезут в душу! Особенно, когда ты признаешь свои ошибки. Ни в коем случае нельзя признавать свои ошибки, и тогда люди будут думать, что эти ошибки тобою запланированы и составляют сильную сторону твоей личности. - Голос Беляева вдруг зазвучал неискренно, и он смутился.

Но Пожаров, не заметивший смущения, тут же подхватил:

- Это ты точно ухватил. Но тут может быть перебор... В том смысле, что люди любят лесть. Понимаешь? А если ты с порога, без вступления, о деле, да еще в резких тонах, как это у тебя иногда выходит, можно испортить и само дело. Ты вообще, я заметил, в последнее время как-то странно себя ведешь. Проваливаешься на неделю-две, не звонишь. Что ты там, думаю, напридумывал?

- А я закрываюсь, - усмехнулся Беляев. - Что я баба, что ли, что буду тебе каждый день звонить. Чем меньше каждый из нас посвящен в механизм дела, тем лучше. Или ты так не считаешь?

- Для других - ты, может быть, прав, но мне-то ты можешь подробнее рассказывать?

- Могу. Но не успеваю, - сказал Беляев и тут же перешел на другую тему: - Ну, что там за предложения у Бориса Петровича?

Пожаров загадочно посмотрел на Беляева и с улыбкой сказал:

- Не знаю.

- Я серьезно.

- И я серьезно.

- Но он что-то хотел мне сказать.

- Что? - спросил Пожаров.

- Что-то важное... Ты же с ним общаешься...

- Вот-вот... Ты знаешь, Коля, а ты ведь прав в своей закрытости... И знаешь, мне даже очень нравится эта закрытость...

- Что ты хочешь сказать?

- Я хочу сказать, что твою карту я буду бить твоими же козырями... И это будет справедливо.

- Ты говоришь таким тоном, как будто подозреваешь меня в чем-то!

- Подозревать тебя будет прокурор! Беляев рассмеялся, но внутренне насторожился, поскольку отчетливо понял, что Пожаров врубился в его тактику и сам теперь ее хочет использовать. Пусть!

- Что-то ты часто о прокуроре вспоминаешь, - с металлом в голосе сказал Беляев.

- Да просто вижу, что ты как бы заранее готовишься к встрече с ним... Тайны мадридского двора... Что ни спросишь, ответа от тебя не получаешь... Если мне это, твоему старому другу, неприятно, то каково же Лизе... Да я тебе не всю правду сказал... Ты просто надоед Лизе своей невоспитанностью!

Беляев вздрогнул и, прикусив губу, спросил:

- В чем же она проявляется?

- Да все в том же! Не звонишь ей, приходишь только, чтобы переспать, ни о чем не расспрашиваешь...

- Ты же говорил, что это бабья участь расспрашивать! - выпалил Беляев.

- Пойми, любезности в тебе нет, интеллигентности.

- А зачем она мне? - спокойно спросил Беляев.

- Ты же в обществе живешь, и должен стремиться быть культурным, воспитанным, - рассудительно проговорил Пожаров и налил себе еще чаю из заварного фарфорового чайника, на котором был нарисован индеец в чалме на слоне.

- Слушай, Анатолий, - побелев, нервно заговорил Беляев, - ты поешь чужую песню. Ты прекрасно знаешь, что девяносто из ста процентов людей - стадо баранов. Им нужен пастух! Они даже не знают, что им нужно делать в жизни. Они живут вслепую. Да вон, хоть взять мой институт. Около ста горцев учится, и ты думаешь, они что-нибудь сами могут сделать? Один-два человека сами учатся, а остальные? Тыркаются на кафедры с коньяком или взятками, как котятка. Покупают и зачеты, и экзамены... Но не всегда им это удается, потому что не могут додуматься, как все обучение поставить на производственную основу...

- И ты ими занялся? - с некоторой долей снисходительности спросил Пожаров.

Об этой стороне деятельности Беляева Пожаров не знал. Зарытость в этом деле у Беляева была абсолютной. И теперь Беляев понял, затеяв этот спор, что был близок к тому, чтоб открыться Пожарову, что он, Беляев, дело обучения бездарных, но состоятельных студентов поставил на научную основу. На Беляева работали и сами горцы, выполнявшие лишь техническую работу, и более или менее талантливые, но нищие студенты. Все имело свою таксу: и зачет, и экзамен, и курсовая...

- У меня своих забот хватает, чтобы я занимался еще разными оболтусами, - достаточно равнодушным тоном ответил Беляев.

Пожаров взглянул на часы и в это время раздался звонок в дверь. Приехал шофер отца и привез елку, завернутую в плотную бумагу и обвязанную бечевкой. В прихожей приятно запахло хвоей. Когда шофер ушел, Пожаров вопросительно посмотрел сначала на завернутую елку, похожую формой на кипарис, потом на Беляева и спросил:

- Нарядим?

- Давай нарядим.

Поставили елку в ведро с песком, за которым сбегал к детской песочнице во дворе Беляев. Сначала расчистил снег, затем надолбил совком мерзлого песку. Елочные игрушки были в трех коробках, которые Пожаров достал с антресолей. Еще в одной коробке лежали лампочки с серебристыми отражателями. Елка оказалась густой, с толстыми иголками и, поэтому, очень колючей. Чтобы она не качалась и вдруг не упала, ее привязали веревками к трубе и к шкафу.

Несколько одурманенные запахами хвойного леса, друзья, окончательно установив и закрепив елку, отошли в сторону полюбоваться ею. Все споры и разговоры, казалось, были забыты. Что-то с елкой пришло такое, чего не было весь год, и все разговоры, да и все дела показались в сравнении с этой красавицей мизерными. Друзья сели на диван и некоторое время молчаливо смотрели на нее. На душе вдруг стало хорошо.

Беляев открыл одну из коробок и увидел лежавшие сверху яркие разноцветные флажки.

- Давай их сначала повесим! - сказал он, беря эти флажки и во всю ширину распахнутых рук растягивая их на веревке, на которую они были нанизаны.

Пожаров сосредоточенно задумался, потом сказал:

- Нет. Сначала лампочки.

И Беляев согласился.

Пожаров встал на стул и стал закреплять гирлянду лампочек, подаваемую ему другом, на верхних ветках елки.

Беляев громко засмеялся. Без причины.

- Что это ты? - спросил Пожаров.

- Вспомнил... Помнишь, что в Китае и сам император, и все его подданные - китайцы.

- Конечно, помню.

- Откуда это? - спросил Беляев. Пожаров застыл с вытянутой рукой, в которой была очередная лампочка с прищепкой.

- Уже не помню, - сознался он.

- Эх ты! Это же "Снежная королева"!

- При чем здесь китайцы? - пожал плечами Пожаров.

- Да, действительно, при чем здесь китайцы? - повторил вопрос Беляев и продолжил: - Разумеется, это "Соловей", а не "Снежная королева"! Вот что значит с детства воспитываться на одной и той же книжке. Вся книжка называется "Снежная королева", но в этой книжке помещено много сказок Андерсена, и начинается книжка сказкой "Соловей", с этих самых китайцев начинается, но я всегда считал, что и китайцы относятся к "Снежной королеве"...

- А как "Снежная королева" начинается? - спросил Пожаров, прицепляя к новой ветке лампочку.

- Кажется, что-то про тролля в начале говорится...

- А про Кая и Герду что там говорится? - спросил Пожаров.

Беляев минуту вспоминал, пока с полной отчетливостью не вспомнил:

- Кай сказал Герде, что ему разрешили покататься с мальчишками на большой площади. И он один побежал туда. Там катались толпы детей. Самые смелые цеплялись за крестьянские сани и отъезжали довольно далеко. Кай увидел большие белые сани, которые выехали на площадь и сделали большой круг. Сидящий в них обернулся на Кая и подмигнул ему, чтобы он цеплялся и ехал за этими санями. И понесли его белые сани за город...

Пожаров, стоя на стуле, застыл весь внимание.

Беляев говорил:

- Кай, испугался, что так далеко укатил и пытался отцепиться от белых саней, но ему не удавалось. Снег взвивался кругами, закручивался в воронки, в метельные туманности. Уже нельзя было

разобрать - где сани, где снег, где деревья. Вдруг как бы все стихло, а закрученный в туманность снег превратился в великолепную красавицу, сходящую с саней. И шлейф ее белой длинной шубки превращался в снег, а снег - в шубку. Снежная королева - а это была она - подхватила мальчика, прижала к себе, и расцеловала. Холодом повеяло на Кая от этого поцелуя. Снежная королева поцеловала его еще раз и вознеслась с ним в холодную туманность, в небеса... И у Кая сердце стало ледяным, - закончил Беляев.

- А тебя не целовала Снежная королева? - спросил Пожаров.

Беляев вздрогнул, услышав за спиной голос:

- С наступающим Новым годом!

Он обернулся и увидел Деда мороза. Это вернулся с работы отец Пожарова и нацепил для удивления маску. Когда он снял маску, было заметно, что на работе он уже немного выпил.

- Великолепная елка, - сказал он и, подумав, предложил: - Так, пока суть да дело, пока не пришла хозяйка, мы сейчас чего-нибудь организуем, а? - и он подмигнул Беляеву.

Когда отец вышел, Пожаров слез со стула и последние лампочки прикрепил к нижним веткам. Беляев нерешительно, как-то боком подошел к нему, кашлянул и сказал:

- Как-то неудобно...

- Чего неудобного-то?! - удивился Пожаров, приглаживая волосы.

- Все-таки... Да и к Комарову пора двигать...

- Пора, - со вздохом произнес Пожаров. - А там эти... - он помолчал и закончил: - Вера и Лиза.

- Ты думаешь, они придут?

- Приползут.

- После того, что...

- Им наплевать! - воодушевился Пожаров. - Ты представить себе не можешь степень наглости этих барышень! Куда нам с тобой. Ты-то иногда прешь, как бульдозер, но они - истинные танки! Вообще, у женщин несколько иное понятие о такте, приличии... Потом, они же не к тебе со мною идут, а к Светке. Их же Светка пригласила, своих подруг, черт бы их побрал! - довольно-таки громко произнес Пожаров и оглянулся.

В дверях стоял отец с тремя рюмками и бутылкой коньяка.

- Кого это ты, Анатолий, поминаешь? - спросил он.

- Да-а-а, - протянул Пожаров, - подружек одних...

Отец поставил рюмки и бутылку на стол, снял пиджак, оправил жилет и сел на стул.

- Вот что, ребятки, - сказал он, провел ладонью по лысой голове, открыл бутылку и принялся наливать в рюмки. - Забудьте вы всех этих подружек, забудьте сегодня обо всем и вспомните, что в пределах вечности это ничто. Грядет Новый год, лучший праздник на свете! Поэтому поднимем тост за жизнь, за то, что мы живы и здоровы! Согласны?

- Хорошо! - воскликнул Пожаров.

- Прекрасно! - добавил Беляев.

Выпив, Беляев прищурил глаза и резко выдохнул.

- Прикажете лимончик? - спросил отец и сказал сыну: - Толя, я забыл, там на холодильнике приготовил...

Пожаров принес с кухни нарезанный лимон.

- Какая сегодня великолепная погода! - сказал отец. - Небо сейчас все в звездах, а днем великолепно сияло солнце. Удивляюсь вам, ребята, как это вы можете сидеть в комнате.

- Мы не сидим, мы елку наряжаем, - сказал Беляев.

Отец подумал о чем-то своем, налил еще по рюмке и, поднимая свою, сказал:

- Не знаю почему, но под Новый год никогда не хочется спать. Сегодня с утра, сижу у себя за столом на работе, просматриваю бумаги и спать не хочется. Удивительно, а ведь вчера читал до двух ночи...

- Что же ты читал? - спросил Пожаров.

- Что я могу читать?

- Что?

- "Войну и мир"... Пожалуй, ничего более художественного и более значительного на свете не написано...

Выпили, закусили лимоном. Беляев чувствовал, как приятная теплота и душевная сладость разливается по телу.

- Очень вам благодарен за угощение! - вдруг сказал он. - Но нам пора уходить.

- В компанию?

- В компашку, в компашку, - сказал Пожаров и, оглядев себя, сказал: - Надо еще переодеться.

Когда он вышел, отец спросил:

- Много будет народу?

- Должно быть, много... Ведь свадьба! - вырвалось у Беляева.

Отец задумался, потом сказал:

- Да. Вам с Анатолием, конечно, еще рановато об этом думать. Мужчине должен хорошо погулять, прежде чем заводить семью. Я не советую Анатолию раньше тридцати вступать в брак.

- Правильно, - сказал Беляев.

- Женильба - шаг серьезный, - сказал отец Пожарова. - А кто женится?

Беляев с некоторым замешательством сказал:

- Вы не знаете... Это с кафедры...

- Понятно. Так-с, - сказал отец. - Еще по рюмке?

- Нет, довольно. Нам еще предстоит.

- Это правильно. Мне тоже еще сегодня предстоит. Брат с женой придет, да сестра жены с мужем. Так что, наверное, заправимся как следует.

И разговор прекратился. На улице, действительно, погода была великолепная, самая настоящая новогодняя погода, и звезды светили и морозец был. Зашли на минуту к Беляеву. Мать собиралась в гости к дочери, сестре Беляева.

- С наступающим! - пробасил Пожаров.

- И вас также! - откликнулась мать.

Беляев надел белую рубашку, галстук и костюм. Взял подарок для Комарова.

Как только они пришли на свадьбу и Беляев увидел Лизу, нарядную, с крашеными губами, то тяжелая злоба, словно льдина, повернулась в его душе, и ему захотелось сказать Лизе что-нибудь грубое и даже подбежать к ней и ударить. Чтобы не сказать лишнего и успокоиться, Беляев сразу двинулся навстречу Комарову, обнял его, расцеловал и вручил сверток с костюмом. Беляеву казалось, что все знают о том, что Лиза ему изменила, что все смотрят на него, только что пальцем не показывают. Но все делали вид, что ничего не произошло, все скрывали свои истинные чувства и помыслы, свое недовольство жизнью и окружающими, и сам Беляев, чтобы не выдавать своего нервного состояния, беспричинно улыбался и говорил о пустяках.

В это время Комаров в соседней комнате вскрыл подарок Беляева и был потрясен и обрадован им.

- Какой великолепный костюм! - сказал он Беляеву. - Да, до хмыря тебе еще далеко! Великолепный подарок! От души спасибо! Ты, оказывается, щедрый человек!

Глава VII

Неверно было бы думать, что Герман Донатович раздражал Беляева, нет, просто он все в разговоре сводил к одному и тому же, как бы зациклился на своей идее. Теперь он гораздо чаще приходил к матери, потому что находился в бракоразводном процессе и жил у какого-то своего приятеля по работе.

Герман Донатович носил аккуратную бородку, слегка тронутую сединой, и Беляев почему-то довольно часто, глядя на эту бородку, представлял себе Германа Донатовича у зеркала с ножницами, поправляющего ее. Он был худощав и даже красив: глаза у него были пронзительной голубизны, а все выражение лица - каким-то улыбающимся. Быть может, он был печален, но лицо все равно улыбалось. Голос у него был тихий, нежный, высокий.

Мать смотрела на него с некоторым снисхождением и называла шуточно Гермашей, изредка даже - Машей.

- Гермаша! Как ты сидишь? Выпрямись! - говорила она, видя, что увлеченный разговором с Беляевым, он почти что ложился на стол.

Герман Донатович послушно повиновался и с любовью оглядывался на мать, которая сидела с вязанием на диване.

- Так вы говорите, что все в жизни заключено в этом уплотнении? - спрашивал Беляев для поддержания разговора.

- Только в нем! - восклицал Герман Донатович и развивал свою мысль: - Как я раньше не пришел к этой очаровательной мысли! Прежде она неосознанно, конечно, приходила, но я не мог ее зацепить. В лагере пришел общий сгусток идеи, что Бог создал вселенную...

Беляев оборвал:

- Да это не новость...

- Я понимаю, но дело не в этом... Мы говорим - "В начале было слово"... А это ведь то, что всему предшествовал замысел Бога, как бы предназначавший весь путь развития вселенной...

- И это известно. В чем ваша новизна?

- Э-э... Новизна?

- Да.

- Новизна в том, что я открыл закон уплотнения... Ну, что такое вещь? Ведь это уплотненные частицы, которые воспринима-

ются человеком. Вещи созданы либо Богом, либо силами природы, либо человеком... Вселенная с ее мирами, как физическим, так и трансфизическим, носителями жизни и человеком могла быть создана только творческим путем...

Беляев слушал и думал о том, что Герман Донатович был таким же лагерным посланником, как и его отец. Отец тронулся на пьянстве, а этот - на своей теории уплотнения вселенной.

Господи, да он, наверно, учебник по диамату не читал!

Там же все это есть, что он выдает за новизну: и элементарные частицы, и законы движения материи, и законы перехода количества в качество, и...

Только там - саморазвивающаяся материя, достигшая своего совершенства в образе человека, а у него-под руководством Бога...

- Ведь существование законов природы невозможно без Законодателя! - с улыбкой воскликнул Герман Донатович и поднял бейлий палец с ровно остриженным ногтем.

- И это известно! - подзадоривал Беляев и спрашивал: - Укажите точное место расположения Творца во вселенной.

- Идея Бога в течение веков преодолела страшные испытания, она выдержала все нападки и отрицания, она не боится свободы исследований...

- И это известно, - нетерпеливо прервал его Беляев. - Вы укажите место, где находится Бог! Укажите... Неужели вы думаете, что и я не смогу также абстрактно рассуждать, как вы!

- Можешь, Николай, - согласился мягко Герман Донатович и почесал бородку. - Но ты же не создал теории, законченной теории, а я создал...

- Мне ближе другая теория... Теория саморазвивающейся материи до уровня божественного совершенства... От простого - к сложному. А идея Бога вся состоит из преданий и условностей... Библия написана людьми, Христос подан в образе человека... А почему не в образе Земли? Или звезды?

- Бог един, но троичен в лицах, - сказал Герман Донатович. - Это Божественное откровение дано самим Иисусом Христом. Для каждого верующего это истина, не требующая доказательства. Тем не менее, я, преисполненный смирения, пытаюсь прикладывать к самому Богу...

- Да где же, наконец, он у вас находится?

- Везде и во всем...

- Везде - значит нигде!

- Если Бог был бы в одном лице, то по этому закону... По этому закону каждое развивающееся единство представляет собой борьбу добра и зла...

- Это известно! - раздражался Беляев. - Проходили по философии... Борьба и единство противоположностей...

Герман Донатович провел ладонями по скатерти, как бы разглаживая ее. Время от времени он оглядывался на мать и смотрел на нее так, как будто прощал ее за грубоватого, раздражительного и неверующего сына. Мать с улыбкой перехватывала его взгляд, поправляла очки и, продолжая вязать, говорила:

- Продолжай, Гермаша! Так хорошо вязать под твой голосок...

И Герман Донатович продолжал развивать Беляеву свою теорию о том, что Бог один, но троичен в лицах, что это сразу исключает наличие зла в его сущности, что каждое лицо Бога дает преимущественное воплощение особых свойств, например, Бог-Отец - выразитель творческой мудрости и энергии, Бог-Сын - претворитель в действие любви и блага, а Дух Святой - непосредственный управитель мирами вселенной. Далее он говорил о том, что зло не в состоянии находится в Боге. Для этого есть дьявол - гигантское зло в нем уравновешивается малой толикой доброго начала, необходимого для скрепления этого жуткого единства, и Священное Писание подтверждает наличие в дьяволе доброго зерна - в описании происхождения демонов из духов добра: денница, падшие ангелы...

- А поле битвы, - сказал Беляев с усмешкой, - сердца людей!

Беляев встал из-за стола и заходил по комнате.

- Я-то думал - у вас действительно новая теория... А у вас все повторение оригиналов. Нет у вас новизны, Герман Донатович... Я начал понимать, что у вас получается...

Глаза Германа Донатовича посерьезнели и в них блеснула некоторая тревога.

- У вас получается легендарная компиляция! Вы соединили материализм с идеализмом и приплюсовали туда же Священное Писание... Понимаете? А новизна должна заключаться в совершенно новом подходе.

Мать остановила спицы на очередной петле и сказала:

- Гермаша, а ведь Коля дело говорит... Что-то ты все в одну кучу свалил: и науку, и Бога...

- Я и не отрицаю этого... Теория сильна только в законченном виде, - начал он рассуждения. - Понимаете, когда мы получаем что-то в законченном, готовом виде, то нам кажется, что и мы могли бы создать нечто похожее. Читая "Войну и мир", мы как бы живем естественной жизнью вместе с героями Толстого и думаем про себя, что вполне бы могли точно так же написать. Но беда в том, что написать не можем. Так и моя теория. Она, конечно, пока сыровата, но она будет написана глава за главой. Это будет солидный, подробный том. И прочитав его, не будет никаких сомнений в том, что вселенную действительно создал Бог...

- Но об этом же написана гора книг! - распалился Беляев.

- Все равно у меня будет - свое! Я привношу в теорию последние достижения науки, я использую свой лагерный опыт, у меня будут главы социальной и политической значимости...

- Это все хорошо, - сказал Беляев, - но все равно это-сборная солянка из давно известного...

- Как же известного? - голубые глаза усталились на Беляева. - А твоя жизнь известна?

Он замолчал. А Беляев на минуту задумался.

- Нет, моя жизнь в будущем мне неизвестна, Так что же из этого?

- А то, что у Бога в его вычислительной машине, допустим, твоя жизнь вся уже расписана до последнего атома...

- Так вы - фаталист? Вы верите в судьбу?

- Тот, кто верит в Бога, тот верит и в судьбу! - чуть громче обычного сказал Герман Донатович. - Когда я подыхал в карцере (и подох бы!), вдруг меня пронзила словно спасительная молния... и рука сама стала креститься... Я уверовал. Я понял, что только Бог может спасти меня... Так же я понял, что человек лишь разгадыватель Божественных тайн. Все тайны физики, небесной механики, химии - тайны только для нас. А Бог сам творец этих законов. Мы - читатели небесных свитков Божественных диссертаций, мы ничего нового не привносим в этот мир, мы лишь копируем секреты Божественной теории уплотнения, мы из одних веществ получаем другие, из одних форм движения материи получаем другие формы движения... Задачи, которые Бог поставил перед носителями свободной воли, - исследования в чистом виде. Всеведение позволяет Богу заранее предвидеть всевозможные комбинации, знать заранее наиболее вероятные решения, в некоторой мере содействовать достижению желательных Ему целей...

- И в этом нет ничего нового, - настаивал на своем Беляев.

- Ну как же нет?! Ведь Бог не насилует волю людей... Поэтому наши действия часто противоречат Его рекомендациям...

- В этом главный вопрос к Богу, - сказал Беляев. - Зачем ему нужна свобода воли людей? Чтобы убивать друг друга, чтобы гноить в лагерях? Получается, что Бог - зритель. Или в лучшем случае - режиссер известного ему спектакля. А актеры - живые существа, играют неведь что, с чистого листа... И что за задача у Бога? Размножение людей? Нет. Овладение законами мироздания и жизни? Сделать жизнь индивида бессмертной? Чушь. Это противоречит теории размножения, любви, рождения и смерти... Или человек создан Богом лишь как промежуточное звено в какой-то невысказанной цепи? Опять не понятно. Когда у Станислава Лема океан - мыслящее существо, так сказать, местный Бог, это понятно. А то, что у нас Бог воспринимается и изображается в человеческом облике, это не понятно! И потом, на Земле столько у каждого племени богов, что это рушит стройность теории...

Герман Донатович вновь почесал бородку.

- Господь предвидит своеволие и заблуждения людей. То, что Он начал и проводит эксперимент...

- Вот! - прервал его Беляев. - Вот в чем абсурд! Бог проводит эксперимент... Дело ведь в том, что эксперимент проводят от незнания! От самого примитивного незнания! А Бог не может чего-то не знать! Он Бог. Он всеведущ, всеведущ... Вы сами себе противоречите!

- И все же... Он начал и проводит свой эксперимент, основываясь на своем всеведении... Так что человечество имеет большие шансы выйти на правильную дорогу...

- А в чем эта правильная дорога? Можете не говорить, это хорошо известно - до похорон с почестями... Будьте хорошими, добрыми, отзывчивыми... А как насчет конкуренции, зависти? Конкуренцию отбросить, уравнивать...

- И об этом в моей теории я рассуждаю...

Делая вид, что он продолжает слушать, Беляев на самом деле перестал это делать. Ему казалось, что Герман Донатович занимается переливанием из пустого в порожнее. Практической пользы от этого переливания - ноль. Ну, закончит он свой труд. А дальше что? Тупик. Продать за хорошие, да ни за какие деньги ему не удастся. Про Бога у нас книжек не печатают, разве только разоб-

лачительные. Да и для себя Беляев вполне не решил проблему Бога. Земной шар вращается вокруг Солнца, планеты, звезды, живые существа... Конечно, легко все эти чудеса передать в творческую лабораторию Бога... И вдруг он выпалил нервно:

- Элементарного вопроса решить не можете, жилищные условия улучшить, а про Бога все знаем! Как же... Высокие матери!

Герман Донатович осекся, а мать тревожно посмотрела на сына.

- Мы же предпринимаем всяческие усилия! - резко сказала она. - Герман Донатович получает развод, в исполкоме мы стоим на очереди, моя кафедра и партбюро хлопочут... Делаем, делаем, Коля!

- Сто лет будете делать!

- А ты что предлагаешь? - спросила мать.

- Вам я ничего предложить не могу!

- Не груби!

- Я не грублю, а тупею от разных теорий! - уже кричал Беляев. - Своего угла нет, а тут теории!

- Замолчи! - бросила мать.

- А чего молчать, - помягче заговорил Беляев. - Тема известная. Мы даже своих жизненных ориентиров боимся, а туда же - про строение вселенной...

Да какая разница, как она устроена! Черт с ней! Устрой свое жильё по-человечески!

- Не горячись, Николай, - сказал Герман Донатович. - Ведь мы делаем все возможное. Нужно время...

- Устрой жильё! А там и о Боге можно с комфортом подумать, книги почитать после трудового дня... Но нужен этот трудовой день, нужна каждодневная отдача, прирост средств...

- Не тебе уж об этом говорить! - сказала строго мать.

И Беляев понял, что его не туда понесло. О своих доходах, достаточно стабильных, о своей сберкнижке он молчал, и ничем не показывал матери, что у него есть доход. Он как отличник к четвертому курсу стал получать Ленинскую стипендию в сто рублей, но матери отдавал сорок, как обычную, и получал ежедневно свой полтинник.

- Это я так, - поправился он, - тоже, возможно, в плане теоретическом...

Он покраснел. Сам только что отрицал абстрактные теории и вдруг принялся резонерствовать. Он взглянул на часы, извинился,

что торопится, поспешно надел пальто и шапку и вышел на улицу. Было холодно. Дул пронзительный ветер.

Снег сметало с крыш и крутило над землей. Он вышел на угол и огляделся. Черная “Волга” Комарова уже стояла на месте. Беляев быстро подошел к машине, сел рядом с Комаровым.

- Едем? - спросил он.

- Едем, - сказал Комаров и тронул машину.

Комаров включил приемник. Пел Александрович: “Белла-белла...”

Беляев уютнее устроился на сиденье.

- Только задний мост у нее скрипит, - сказал Комаров. - Я осматривал, но разве так заметишь... Ничего, достанем потом новый.

- А кузов как?

- Как новенький! - выпалил Комаров и закурил.

Беляев смотрел на дорогу, на красные огоньки машин, на прохожих и вдруг спросил:

- Есть Бог? Или нет?

Комаров недоуменно блеснул на него линзами очков.

- Конечно, есть, - неуверенно ответил он.

- Нет, ты твердо скажи!

- Бог есть! - с усмешкой и громко сказал Комаров и, подумав, добавил: - Иначе жизнь в копейку превратится...

Подъехали к таксопарку, в котором прежде работал Комаров. Он поставил машину между сугробами, сказал: “Подожди!” - и побежал за механиком, которого привел буквально через пять минут, пока Беляев с наслаждением слушал по радио “Неаполитанские песни” в исполнении Александровича. Механик был бородат, но молод.

- Егор, - сказал он.

- Николай, - сказал Беляев. Егор кашлянул и закурил.

- Машина, что надо, сейчас увидишь, Коля! - сразу же запанибрата заговорил Егор и облокотился на спинку сиденья, где сидел Беляев.

- Посмотрим, - неопределенно сказал Беляев. - Сколько просяшь? - столь же бесцеремонно спросил он.

- Как договорились, - сказал Егор. - Шестьсот - в кассу, кусок - мне с ребятами...

- Ты помнишь, куда? - спросил Беляев у Комарова.

- Да он туда дорогу проложил, - сказал Егор. Быстро добрались до окраины Москвы, свернули на узкую дорожку и мимо каких-то домиков и сараев, мимо заснеженных заборов, выехали к гаражам. Один гараж, обшитый поржавевшим листовым железом, был открыт и из него падал на снег желтый квадрат света. Остановились. Беляев вышел из машины и увидел великолепную серую, поблескивающую "Волгу". Егор тут же с хозяином гаража принялся открывать капот, багажник, поднимать коврики в салоне, приговаривая:

- Смотрите, смотрите, все как новое... Беляев посмотрел на двигатель, спросил:

- Сколько прошел?

Егор ударил ладонью по черной шляпе воздушного фильтра.

- Это чужой... Двигатель без номера... Так что можно будет ставить какой угодно...

- В ГАИ ничего не скажут? - поинтересовался Беляев.

- А чего там скажут... Так выпущен. Без номера. Комаров, заложив руки в карманы, с барственным видом ходил вокруг машины. Изредка произнося:

- Будь здоров аппарат!

- И покраска замечательная! - воскликнул Беляев.

- Ну, это Жора у нас мастер! - сказал хозяин гаража, кивая на Егора и подмигивая ему.

- Даже я бы так не покрасил, - сказал Комаров.

- Поднатаскан! - сказал Егор.

Отозвав Комарова в сторону, Беляев спросил:

- Ну как твое мнение?

- Машина, конечно, не новая, - начал Комаров. - Я знаю, как их в такси бьют, но еще поедит... Коробку новую сунули, движок - в порядке, резина - новая, салон - весь обновили... Днище, конечно, гниловато, - сказал он, - но ничего, поможем обработать...

- Значит, договариваемся?

- Конечно!

Они вернулись в гараж, Беляев еще раз обошел машину, потом полистал техпаспорт и сказал:

- Через час устроит?

- Подождем, - сказал Егор.

- Ну, мы тогда сейчас мигом покупателя привезем! - сказал Беляев и, не оглядываясь, пошел к МОСовской "Волге" Комарова.

Вот уже год Комаров работал в Совмине РСФСР и все нахваливал эту работу: отвезешь-привезешь начальника и халтура! Без всякого там счетчика, контроля, сдачи кассы, чаевых...

Как и договорились, Сергей Николаевич ожидал Беляева в кабинете партбюро факультета, и только Беляев вошел и улыбнулся, Сергей Николаевич понял, что фортуна на его стороне. На всякий случай он спросил:

- Ну как!

Беляев не ответил, лишь поднял большой палец, отчего Сергей Николаевич как-то радостно завибрировал, накинул дубленку, меховую шапку, шарф и уже бежал по длинному институтскому коридору за длинноногим Беляевым.

- Вот уж не думал, не гадал! - приговаривал Сергей Николаевич.

Он был крепким, коренастым, со вздернутым носом. Как секретарь партбюро факультета он всюду двигал Беляева в очереди на вступление в партию, и вот уже продвинул его почти что к самому вступлению. Год уже Беляев был кандидатом и вот через два дня - 27 декабря 1967 года - на парткоме института его должны были принять в партию окончательно. А не будь этой "Волги"? Неизвестно... Желающих, как говорится, как мух на сахаре...

- Как за министром! - рассмеялся Сергей Николаевич, садясь в черную "Волгу", да еще с такими номерами. При виде этих номеров и инспекторы ГАИ честь отдают.

- Добрый день! - поприветствовал Сергей Николаевич водителя Комарова.

И тот очень любезно, но не опускаясь все же до какого-то рядового доцента, пусть и секретаря факультетского партбюро, произнес:

- Здравствуйте... и уже: добрый вечер!

- Да, уже вечер... Дни мелькают, как спицы в колесе, - сказал Сергей Николаевич, поудобнее устраиваясь на заднем сиденье...

Через двадцать минут были на месте. Снег скрипел под ногами, а в гараже уже оказалась обкрученная веревкой елка.

- Только что перехватил, - сказал Егор, кивая на нее.

А Сергей Николаевич ошалело стоял перед сияющим капотом "Волги" и все дальше сдвигал свою пыжиковую шапку на затылок.

- Неужели это моя машина! - произнес он голосом драматического актера в сцене получения золотых монет. - Не может быть!

По всему было видно, что Сергей Николаевич ошарашен, взгляд его вожделенно блуждал то по мотору, то по салону, то по вновь открытому багажнику.

Для порядка Беляев отошел с ним в сторону и тоном серьезным, близким к равнодушию, спросил;

- Берете?

Сергей Николаевич несколько раз, как бы исполняя чечетку, притопнул ногами.

- Хватаю! Ну, ты, Коля, молодец... А я ведь сомневался... Думаю, ну откуда может студент... Впрочем, я вижу... Молодец! Что касается меня, то тоже можешь быть спокоен...

После этого Беляев сел с Сергеем Николаевичем в машину Комарова. Сам Комаров курил с Егором и хозяином у гаража. Сергей Николаевич переспросил:

- Значит, как договорились, три тысячи?

- Три, - сухо подтвердил Беляев.

Взволнованный Сергей Николаевич вытащил из внутреннего кармана пиджака приготовленную в бумажке пачечку полусотенных бумажек. Не глядя на нее, Беляев сунул ее к себе в карман.

- Пересчитал бы! - сказал Сергей Николаевич.

- Я вам доверяю, как себе, - твердо сказал Беляев.

Затем в машину сел Егор, а Сергей Николаевич вышел. Беляев небрежно достал сверточек и спросил:

- Итак, Егор?

- Кусок шестьсот, - сказал Егор, понимая, что берет многовато для раскрашенной старой таксистской клячи, однако, приведенной им в божеский вид за счет разукomплектовки новых машин такси.

Беляев развернул сверточек, провел пальцем по торцу купюр, как по картам, чтобы услышать упругое шелестение, и наудачу снял чуть больше половины стопы. Егор, обхватив бороду рукой, сосредоточенно смотрел на деньги, а Беляев шлепал ему на колени одну за другой бумажки и вслух считал: раз, два... восемь... Отсчитав тридцать полтинников, Беляев почувствовал, что снял столько, сколько нужно было, и, шлепнув оставшимися двумя бумажками, воскликнул:

- Ровно!

- Да-а, - протянул Егор, складывая бумажки в ровную стопку и убирая ее в карман, подалее, к сердцу. - Фокусник! Надо же, ровно тридцать две бумажки вытащил...

Довольный Егор пошел к серой машине. Беляев пожал ему руку, затем Сергею Николаевичу, который пока садился пассажиром в свою машину, а за руль сел Егор, чтобы везти Сергея Николаевича на регистрацию машины в ГАИ, которая работала до шести.

Следом поехала черная "Волга" Комарова. Беляев пересчитал оставшиеся деньги. Комаров искоса поглядывал на этот пересчет.

- Все точно! - сказал Беляев. - Двадцать восемь пятидесятирублевков осталось, из которых двадцать твоих...

Он протянул Комарову его тысячу.

- Лихо! - сказал Комаров и даже мелко задрожал от разобравшего его смеха. - Лихо!

- Все по расписанию! - сказал Беляев. Вытянув ноги, Беляев прикрыл глаза, а Комаров включил приемник. Передавали последние известия. "Сегодня Леонид Ильич Брежнев принял в Кремле находившуюся в Советском Союзе делегацию..."

Глава VIII

В Елисеевском магазине Беляев купил бутылку коньяка, армянского, который предпочитал Сергей Николаевич, время еще оставалось, и Беляев пошел пешком домой по Страстному бульвару. С вечера выпал снег и теперь он поблескивал в ярких солнечных лучах. Беляеву нравилось ходить по бульварам и, если бы не ежедневная беготня, спешка, вечное волнение, как бы не опоздать туда или сюда, он бы прогуливался по бульварам чаще.

Главное в этих прогулках было то, что он незаметно для себя душевно переключался на какой-то иной лад, близкий к состоянию романтического или даже элегического философствования. Он смотрел на старинные дома, в которых преобладали желтый и белый цвета, на чугунные ограды бульвара, на деревья и как бы выключался из текущего времени, представляя себя то жителем девятнадцатого века, простым, обычным жителем Москвы, то из обычного он превращался в дворянина, имеющего солидный доход от своих поместий...

Когда-то здесь была узкая аллея, проложенная после Наполеоновской войны от Страстного монастыря до Петровских ворот, и лишь каких-то сто лет назад владелица дома № 9, помнил Беляев, Нарышкина, разбила большой сквер. И мало кто знает, что

прежде здесь была грязная Сенная площадь, на которой днем торговали сеном, а вечером, случалось, грабили прохожих. От того факта, что бульвар начинался с этой площади, зависела его ширина: самый широкий, более ста метров. А в девятом домике, на который сейчас смотрел, остановившись, Беляев, и любовался этим особнячком с заснеженной крышей, после Нарышкиной жил Сухово-Кобылин, обвиненный в убийстве француженки... Жил-был богач, аристократ Сухово-Кобылин, подсчитывал свои доходы, и вдруг такое дело. Разумеется, убийцей был не он, но мытарства, испытанные им при столкновении с полицейской машиной, окончили жизнь богача и начали, по освобождении, другую жизнь - творца "Свадьбы Кречинского", "Дела" и "Смерти Тарелкина"...

Беляев всегда поражался этой судьбе и думал - неужели Богу было угодно так спланировать эту жизнь?!

- Коля! - услышал вдруг Беляев женский голос.

Он обернулся и увидел у скамейки, шагах в пятнадцати, детскую коляску, этакий симпатичный бордовый фазтончик, освещенный солнцем, и покачивающую за ручку эту коляску Лизу. У него сильно забило сердце. Всего его охватил какой-то стыд. Но ноги сами повели Беляева к Лизе.

У нее были подкрашены ресницы, и от этого они казались очень длинными и пушистыми, и все лицо Лизы лучилось в солнечном морозном свете. При взгляде на это по-прежнему прекрасное лицо, Беляева охватила мелкая дрожь, а может быть, это морозец делал свое дело?

- Ты изменился, - сказала как ни в чем не бывало Лиза. - Повзрослел, возмужал...

- А ты - нет, - с волнением выдавил он и смущенно отвел взгляд от ее лица.

Лиза же продолжала рассматривать его. И Беляев понимал, что она гораздо смелее него, не вообще, а в этих отношениях, в семейно-брачно-любовных, что ли... Здесь не было простора для Беляева, здесь он становился не похожим на самого себя - энергичного, властного, мрачного; здесь он шел на уступки, что противоречило всем его взглядам на жизнь. И эти мелкие уступки угнетали его. То он вступал в спор с каким-нибудь дураком о совершенно бесполезных материях, например, о предназначении русского народа или о том, призывали ли на Русь варягов или нет, то терял время на непроработанных вариантах Пожарова и Комаро-

ва, то уступал просьбам Сергея Николаевича и соглашался выступить на партийной конференции, то, вот как сейчас, шел на поводу у Лизы...

- Как ты живешь? - спросила Лиза, продолжая покачивать коляску.

Беляев заглянул внутрь коляски, но лица ребенка не увидел за какими-то рюшечками, одеяльцами, пеленками. Лиза перехватила его взгляд и, склонившись над коляской, приоткрыла розовощекое младенческое лицо с голубым кружочком пустышки во рту.

- Ты задаешь очень трудные вопросы, - покашляв для очистки горла, в котором вдруг образовался комок, сказал Беляев. - Жизнь - это нечто разнополюсное и многоярусное...

- Нет, вообще?

- Вообще, хорошо...

- Как мама?

- Вышла замуж.

Лиза заметно оживилась и с улыбкой спросила:

- За кого?

Беляев как-то рассеянно взмахнул рукой и ответил:

- За теоретика одного... Ты его не знаешь.

Сказав это, Беляев понял, что напрасно сказал. Вообще, зачем он разговаривает с изменницей, зачем выдал информацию о матери, зачем он тут стоит с нею на Страстном бульваре, может быть, просто убить ее, как любовницу-француженку Сухово-Кобылина, прокрутиться через тюремно-милицейскую машину и написать свои "Свадьбу Комарова", "Безделье" и "Смерть гулаговца"?!

Лиза в сапожках постукивала каблук о каблук, поскрипывая снегом. Валик снега на спинке скамейки напоминал крем на торте.

- Теоретика? - спросила Лиза.

И Беляев, против воли, опять выдал информацию:

- Доказывает бытие Бога и все из этого вытекающее...

- Как интересно! - воскликнула Лиза, и так это она хорошо воскликнула, так притягательна была ее улыбка, так адели нежные щеки, что Беляеву мгновенно захотелось поцеловать ее.

И этот порыв был столь странен и силен, что как во сне Беляев быстро качнулся к ней и отрывисто поцеловал.

Лиза ничего не сказала, но он заметил, что глаза ее вспыхнули, и он прочитал в них тайное желание, ответную реакцию на взаимность. Им стало неловко.

Чтобы как-то скрасить паузу, Беляев заговорил о Германе Донатовиче:

- У него эта теория получается довольно стройной... Но беда в том, что отовсюду его с этой теорией гонят...

- Ты спешишь? - вдруг спросила Лиза.

- И нет, и да, - сказал он. - Через два часа мне нужно быть в институте...

- А я взяла академический, - сказала Лиза, с оттенком любви поглядывающая на Беляева.

- Понятно.

- Где же теперь твои живут? - спросила Лиза.

- Снимают квартиру... Пока маме не дадут...

- Значит, ты один? - голос Лизы дрогнул и она замялась.

Время было неподвижно. Снег продолжал искриться. Беляев отвел взгляд от Лизы и смотрел на него, и чем дольше он смотрел, тем отчетливее различал каждую только что, казалось, упавшую снежинку, в которой, как в зеркале, преломлялся солнечный свет и раскладывался на голубой, красный, лиловый... Иногда Беляев прикрывал глаза, как птица, и прислушивался к себе. Страсть, которая возникла в нем, запульсировала, ожила, подхватила его и понесла, он с радостью ощущал это плавное покачивание и думал о том, что любовь в нем не оборвалась, не кончилась.

- Значит, ты один? - повторила вопрос Лиза.

- Пока один.

- Что значит - пока?

- Да нет, один.

Она улыбнулась.

Беляев взглянул в коляску на закутанного ребенка и тоска коснулась его души. Беляев подумал о том, что он какой-то невольник жизни. Ведь он не выбирал места и времени для появления на свет, да и вряд-ли сможет выбрать день и час ухода из этой жизни, это лишь удел самоубийц. По преимуществу люди смиряются с этим произволом сторонних сил и даже не задумываются о том, что право выбирать есть одно из бесценнейших свойств разума. Конечность жизни вызывает тоскливое чувство. А что вызывает тоска? Вот они эти умствования! Лежишь иногда на диване по-

давленный тоскливым чувством, смотришь на обои, разглядываешь мух и от этого ничегонеделания начинаешь плести паутину мыслей. Кто я? Зачем я появился в этом дремучем до пошлости мире? Виноваты ли мои родители в этом?

- Значит, ты один? - спросила Лиза или повторила свой вопрос? Или в первый раз спросила?

- Да, - сказал он.

Мысль, обращенная в себя, есть спутник, сподвижник страсти.

- Так пошли, - сказала она почти что шепотом и покатила коляску. - Куда?

- К тебе.

- С ним, - кивнул он на коляску.

- С ним.

- Странно.

- Ничего странного нет.

- Ты думаешь?

- Да, - сказала она.

- Ты помнишь тот Новый год?

- Новый?

- Старый...

Лиза звонко рассмеялась.

- Помню, - сказала она.

- Нам уже есть что вспоминать.

В один из моментов Лиза перехватила взгляд Беляева и ей показалось, что он посмотрел на нее как на вещь, которая не совсем ему принадлежала. Вроде бы была его и не его одновременно.

Снег мелодично поскрипывал в такт шагам.

- Сегодня мороз градусов пятнадцать, а может быть, и больше, - сказал Беляев.

- Изо дня в день мороз, - сказала Лиза. - Я люблю морозные дни. Особенно такие, как сегодня - солнечные. Я гуляю с ребенком и люблю зимним пейзажем. А у тебя гриппа нет? - вдруг спросила она.

- Нет. Почему ты спросила?

- Говорят, в Москве свирепствует грипп... Завтра будет тридцать градусов мороза. С ребенком в такую погоду не выйдешь!

И Лиза улыбнулась.

У подъезда сидела на старом стуле соседка, одетая по-зимнему тепло, в валенках с галошами, голова казалась огромной, закутанная в три или в четыре платка. Беляев быстро сказал:

- Посмотрите за коляской, мы сейчас, за конспектом...

Он сказал *за коляской*, но не *за ребенком*. Он даже не знал, кто там в коляске, девочка или мальчик.

С мороза щеки Лизы пылали, и вся она была прекрасна, как прекрасно было крепкое темное вино из винограда, настоящее в дубовых бочках где-то в Армении, прекрасна была эта малая толика коньяка, как поцелуй, соединение губ, как мысль Лизы - целует он меня, лобзает он меня поцелуем уст своих, и ласки твои прелестнее темного, крепкого вина, настоящего на любви. И Беляв вдыхал в себя нежный запах ее губ, ее щек, ее бархатистой кожи, и этот нежный запах, подобно лазурному морю, заполнял всего его, всю его душу, и разве мог он любить другую, разве мог он выделить из сонма женщин, кроме Лизы, другую.

И казалось, что они бежали вместе куда-то в поцелуе, влекомые неконтролируемой любовью, потому что любовь может быть только неконтролируемой, там, где возникает контроль над этим чувством, там начинается обыденность, физиологичность, пошлость. Побежим же вместе в поцелуе своем, в любви своей, превознося ласки друг друга до небес, похожих на море, до моря лазурного, соединяющегося с небесами в любви вечно, в любви воздуха с водою, потому что одно переходит в другое и этот переход незаметно длится вечно. Красива Лиза, как этот переход моря в небо!

И прекрасна она была в северной белизне своей, ибо жаркий солнечный луч редко касался ее тела, потому что не стерегла она виноградники под лучами солнца, а укрытая одеждами любовалась пронзительной хвоей на снегу, и душа твоя привязана к тому, кто празднует свой Новый год из года в год, на кругах жизни своей, с елкой и снегом. Он радуется елке, снегу и игрушкам - серебряным шарам, зеркально отражающим северную душу - хвойную и снежную. О, воистину, не нужен нам жаркий берег, бесснежный и безъелочный! Никакая фараонова колесница не пробьется по еловым заснеженным лесам, королева ты моя снежная, Снегурочка ты моя - и смерть твоя: Солнце и Костер.

Прекрасны щеки твои на морозе, в снежном свете! Прекрасна шея твоя, белая как снег. Украшения тебе мы сделаем из полированных льдинок-алмазов и превратим их в душе своей в бриллианты, играющие всеми оттенками Северного сияния! Девушки севера пахнут снегом.

Глаза твои цвета неба над заснеженным ельником.

Елочка ты моя новогодняя!

Хвойная веточка ты моя заснеженная!

Любовь твоя, как новогодний праздник, никогда не кончается,
и в то же время стремительно заканчивается каждый год.

- Что ты мне хочешь сказать? - спросила она.

- То, что ты хочешь услышать.

- Я хочу услышать слово "люблю"!

- Слушай его: люблю!

- Ты только меня любишь?

- Только тебя!

- Меня?

- Да.

- Нет, скажи яснее!

- Яснее: тебя!

- И я тебя люблю!

Поцелуй уста в уста, и уста ее словно говорили: я принадлежу тебе и только к тебе обращена любовь моя. Я чувствую, что страсть твоя в великом наслаждении растет все более, и поднимается, как гирлянда из светящихся льдинок летит к шпилью елки, и как хрустальная нота вспыхивает на этом шпиле!

О, елочка моя новогодняя! О, любимый!

- Ты только меня любишь? - спросила она.

- Только тебя.

- И я - только тебя!

- Одуреть можно...

- Мы вместе дуреем.

- Только с тобой!

- Да, только с тобой!

- Всегда?

- Всегда!

В комнате стало еще светлее. Прекрасно тело твое в снежном свете! Светлее светлого свет глаз твоих!

- Как ты любишь меня? - спросила она.

- Люблю.

- Как?!

- Очень крепко, крепче крепкого!

- Ты всегда меня будешь любить?

- Всегда.

- Не раздумывая?

- Да.

Ни она и ни он отдельно не были целым, но в этом единении и нежности, и добре, и поцелуе, и страсти, в этом неразрывном сплетении представляли то целое, что именуется прекрасным словом - человек!

И опять радость метнулась ввысь, к самому шпилю снежной и праздничной елки, и яркая вспышка страсти озарила взор, и светлее стало в комнате, как будто они были не в ней, а в белом поле, в метельном завитке, парили над землею и крылья у них вырастали белые, как у ангелов, радующихся чистому снегу.

Приди, возлюбленный мой, выйдем в заснеженное поле на краю ельника, найдем свою елочку любви. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, Лиза.

Какой ты стремительный, как ветер, метелью закручивающий снег в воронки!

О, елочка моя новогодняя! Прекрасна ты, белоснежная, в морозном свете, светлее снега любовь твоя чистая!

Падает снег, падает!

Птицей любовь в снегу метельном трепещет!

Светлее, светлее!

Дайте полный вселенский свет!

Ветер постанывает, подвывает, посвистывает, крутит снег, не дает ему упасть на землю, вздымает его белыми розами.

Ангелы в снегу рассыпают любовь.

- Не плакал? - спросила Лиза у соседки.

- Спит себе, сопит, - сказала та и морозное облачко окутало ее рот. - Мальчик?

- Мальчик, - ответила Лиза и покатила коляску, улыбнувшись Беляеву, который резко отвернулся от соседки, чтобы та чего-нибудь не заподозрила по его лицу.

Лиза вздохнула, когда они свернули на бульвар, и сказала:

- Как это быстро и как мало! - Затем почти что прошептала: - Я хочу, чтобы ты меня любил целый день, и целую ночь. У меня сейчас какая-то жажда любви.

- Я согласен делать то же самое! - страстно прошептал Беляев и уже более равнодушно спросил, без всякой ревности: - А как же твой офицер?

Лиза на это рассмеялась.

- При чем тут он?
- Все-таки...
- Он вялый и тупой, но важный и с деньгами. Беляев остановился.

- С деньгами? - переспросил он.
- У него отец не вылезает из "Кремлевки"... Месяц пьет, затем месяц лечится. При Сталине он был какой-то шишкой в Молдавии. Квартира у них - сто метров, на фрунзенской набережной. Но я там жить не могу... Теща тоже пьяница, и в квартире кругом грязь и дорогие вещи. Ты представляешь - у них золотые ложки все погросли грязью! - повысила она голос.

И вдруг Беляев увидел в ее глазах слезы.

- Что с тобой?
- Я так больше не могу! - воскликнула она и расплакалась. Она плакала самым серьезным образом, как девочка.
- Не нужно! - взволнованно произнес Беляев и протянул ей чистый носовой платок.

Она продолжала плакать, и не только платок, но даже перчатки у нее были влажны от слез. Беляев просил ее успокоиться, что-то говорил, но она все твердила о грязных золотых ложках, о богатстве и грязи.

- И он - грязный! От него всегда пахнет потом. Ноги не моет и под ногтями у него чернота!

- Господи! - взмолился Беляев. - Что же делать?

Лиза жалобно посмотрела на него. Глаза ее покраснели.

- Все читаю, все читаю, чуть не плача от какого-то злорадного чувства, и жду, когда придет он. Грязный и потный, как золотая ложка.

- Он что, не моется?

- Моется! - вскричала Лиза. - Но ни мыло, ни вода не берут его! Вообще этот последний год будет стоить мне, честное слово, не меньше десяти лет жизни! Он же стал толстомордый, как кот, и у него, как у кота, разноцветные глаза!

Беляев взял ее за руку и сказал:

- А ты очаровательна сегодня! Я никогда еще так не жалел, что ты поспешила замуж...

Судя по всему, Лиза была рада, что высказалась, и повеселела. Ей понравилось, что она так прямо высказалась, что высказалась честно. Но тут же как бы спохватилась, что чересчур сгустила

краски: вчера она повздорила с мужем и только черные краски сегодня нашлись у нее для него и его родителей.

- Вообще, они ничего, - вдруг сказала Лиза. - Теща добрая, когда приезжаем - кормит от души. Да и он добрый, ленивый. Может быть, я от этого впадаю в крик.

- Ты кричишь на него?

- Кричу. Потому что ничего делать не хочет. Лежит на диване, а я с ребенком устаю. Мама совсем не помогает. Ты представить себе не можешь, сколько стирки! А он приходит и обижается, что ужин не готов. Я ему говорю - иди на кухню и готовь! Вот он и ложится на диван...

- Только и всего?

- А что еще? Это же жизнь! - воскликнула Лиза. - И от нее никуда не уйдешь. И стирать, и гладить, и кормить...

- Это не жизнь - это обыденность! - с чувством сказал Беляев.

Лиза скривила губы и с долей презрения взглянула на него.

- Это ты сейчас так говоришь, потому что живешь один!

Беляев слегка покраснел, нахмурился и сурово взглянул на нее.

- Так ты полагаешь, что если бы я женился на тебе, то у нас тоже бы началось такое?! - спросил он.

- Не думаю.

- Почему?

- Потому что ты бы меня не взял в жены.

- Нет. Это ты бы не вышла за меня! - он снял перчатку и принялся кусать ногти.

- Может быть, ты прав, - сказала она и пожала плечами. Затем добавила: - Но мне до боли в душе нравится твое тело, такое чистое! - и засмеялась, обнажая ряд белых зубов.

Услышав это, Беляев улынулся этой, как ему показалось, шутке, но почему-то вздрогнул всем телом. В голове было много мыслей, но все они расплывались и не укладывались в слова.

- Что ж, совместная жизнь очень трудна, - сказал, наконец, он.

- Наверное, ты еще не нашла смысла в этой совместной жизни.

- Я бы хотела жить там, а любить тебя, - как-то вяло сказала Лиза, видимо, не до конца понимая то, что она сказала.

Беляеву стало неприятно. Он быстро попрощался с Лизой, не сказав ни слова о последующей встрече, чего, видимо, ждала Лиза, и побежал опять в Елисейский. Та бутылка, начатая, осталась дома, следовало взять другую для Сергея Николаевича.

Пошел снег, когда Беляев вышел из магазина и, взглянув на часы, стал ожидать такси. Спустя пять минут он уже сидел в машине, а через пятнадцать, с мокрою от снега шапкой, подходил теплым коридором к лаборатории, в которой Сергей Николаевич принимал экзамен.

Пожав руку Сергею Николаевичу, выслушивающему очередного студента, Беляев прошел за шкафы, где был отгорожен укромный уголок, разделся, поставил бутылку в шкаф и поспешил за стол экзаменатора помогать принимать экзамен.

Тут же к нему сел подготовившийся студент. Беляев бросил взгляд на его билет.

- Итак, - сказал Беляев, - как же ведут себя элементы железобетонных конструкций под действием статических и динамических нагрузок?..

Студент, возведя глаза к потолку, начал бубнить:

- ...на стадии вибрации бетонной смеси пылеватые частицы еще глубже проникают в поры заполнителя...

За полчаса остатки группы раскидали. Оставшись в лаборатории одни, Беляев обнял Сергея Николаевича, даже слегка чмокнув его в щеку, и поздравил с днем рождения. После этого Сергей Николаевич суетливо потер руки и сел к телефону вызывать гостей:

Валю из институтского архива, Нину - секретаршу ректора, Чернова - завкафедрой физвоспитания, кого-то с кафедры...

Первой пришла Валентина из архива, полногрудая, полнозаядая, могучая женщина, довольно-таки симпатичная, с маленьким пухлым ротиком. Она принесла бутылку водки и три алых гвоздички. Тут же побежала в туалет мыть стаканы и набирать в бутылку из-под молока воду для цветов. Длинный и тощий завкафедрой физкультуры Чернов, бывший призер первенства Союза по спринту, притащил две бутылки "Стрелецкой". Молоденькая Нина обрадовала всех шампанским и коробкой шоколадных конфет.

Дверь в лабораторию закрыли на ключ и сели за стол, покрытый газетами, за шкафами в укромном уголке. После первых тостов пошла обычная многоголосая, чуть восторженная болтовня. Затем, захмелев, Сергей Николаевич сказал:

- Я бы разогнал всех студентов! Знаний - никаких, практических навыков - тоже. Цена - сто рублей в базарный день...

Его курносое, несколько воинственное лицо покраснело и вспотело. Он сжимал крепкие кулаки, уложив их возле тарелки.

- И преподавателей! - захохотала Валя, и при этом затряслись ее просто-таки фантастических размеров груди.

Беляев против воли смотрел с каким-то странным вожделением на эти колышющиеся груди под тонкой тканью кофточки, и по мере пьянения ему все больше хотелось помять в ладонях эти пышности.

- Друзья мои! - воскликнул Чернов. - Мы делаем вид, что преподаем, а студенты - что учатся. Так выпьем за взаимность!

Через час, как это всегда почему-то случается, выпивка резко кончилась. Сначала хотели посылать гонца, но потом передумали, Валентина сказала, что можно продолжить у нее, все согласились, Беляев поколебался и тоже согласился. Поймали пару такси, заскакивали в гастронорм, купили какого-то портвейна бутылок семь, прибыли к Валентине на Профсоюзную. Сергей Николаевич агрессивно развивал мысли о ненужности институтов в таком виде, в каком они ныне существуют, потом плясал вместе с длинноногим Черновым, потом его тошнило и он кричал из ванной, что, бляха-муха, больше пить не будет, но тут же, выйдя после умывания из ванной, выпил стакан портвейна, закурил и запел:

Хорошо на московском просторе...

Все с удвоенной энергией грянули припев:

И в какой стороне я ни буду,
По какой ни пройду я траве,
Друга я никогда не забуду...

И Беляеву вдруг стало беззаботно радостно на душе, какая-то необыкновенная веселость подхватила его и понесла, он выпил вина, чмокнул и заголосил громче других:

Если с ним подружился в Москве...

Все рассмеялись, всем было весело, налили всем вина и все вместе выпили.

Потом кто-то заторопился домой, Валентина погасила свет, оставив включенным ночник. Беляев уже неотступно бродил за ней, поглаживал по спине, что-то шептал бессвязное.

Наконец он обнаружил себя в одиночестве. Да, он сидел за столом и пил портвейн, от которого ему становилось все лучше и лучше, веселее, беззаботнее. Он был в рубашке с закатанными до локтей рукавами.

Вдруг где-то щелкнула задвижка, наверное, в ванной, и в комнату вошла Валентина.

- А где - все? - спросил Беляев. Валентина рассмеялась.

- Уехали, - сказала она.

- А я? - удивился Беляев.

- Ты остался. Ты просто заснул за столом!

- Заснул?!

- А что тут особенного, - пожала плечами мощная Валентина. Она была в халатике.

Беляев качнулся, встал и подошел к Валентине. Она на мгновение отстранилась, включила приемник, полилась какая-то танцевальная мелодия, медленная и тягучая, как сироп.

Играл кларнет.

Беляев обнял Валентину и сделал несколько па.

- Выйди замуж! - сказал он.

- Кто меня возьмет?

- Кто-нибудь возьмет.

- Вот именно - кто-нибудь. А я не хочу, чтобы был этот кто-нибудь.- Она задумалась, затем сказала: - Давай спать.

- Давай, - согласился он.

Она по-хозяйски разделась и легла в постель. Когда и Беляев лег, она сказала:

- Совсем в монахиню превратилась...

Это была стихия. До того момента, пока не раздался звонок в дверь. Валентина испуганно сбросила Беляева, так что он упал на пол, вскочила, надела через голову подвернувшееся платье на голые тела и властно шепнула:

- Быстро оденься!

Так стремительно Беляев еще не одевался. Куда-то исчез один носок, и так, босой ногой в ботинке, пришлось плюхнуться на стул у стола и, схватив подвернувшуюся газету, читать. Из прихожей послышались восклицания Валентины и через минуту на пороге комнаты предстал в солдатском обмундировании ее сын, приехавший в отпуск из армии. Ослепительно блистала золотом пряжка ремня. Последовали какие-то нелепые оправ-

дания Валентины, что вот, мол, из института срочно приехали за ней.

Беляев почувствовал резкую смену настроения. Нет, он не корил себя, не обличал, он все воспринимал лишь как любовное приключение. Произошла резкая смена высокой страсти на пошлую обыденность.

И нужно было лишь выйти из квартиры, чтобы почувствовать, что он никак не связан ни с Валентиной, ни тем более с ее сыном...

Он свободен. Вот что Беляеву пришло в голову.

Глава IX

За окном был январский сумрак, на стеклах - морозные узоры, в форточку лился свежий воздух. В комнате стоял полумрак, лишь неярко горела настольная лампа, в свете которой Беляев пересчитывал деньги. На широкой поверхности письменного стола, на белой бумаге, он раскладывал купюры по кучкам. Самой ходовой купюрой были двадцатипятирублевки, "лиловенькие", как их называл Беляев. Уже составились четыре стопки из этих лиловеньких, по сто бумажек в каждой. Беляев аккуратно перехватывал их аптечными резинками, вставлял под эти резинки бумажки с надписью: "2500=". Многие лиловенькие шелестели, как металлическая фольга. Они были новые, руки людей не так часто касались их. Беляев с волнением вдыхал в себя запахи новых лиловеньких. Это был особый запах. В нем соединялись запахи высокосортной гознаковской бумаги, запахи превосходных красок, едва уловимые запахи типографского оборудования. Это был великолепный, изумительный букет, сравнимый разве с запахом розы.

Сортировка лиловеньких заняла у Беляева много времени. Сначала он сортировал их по степени износа. Были купюры совсем старушки, тысячи тысяч рук касались их. Какая-нибудь деревенская женщина складывала такую бумажку в шестую долю и засовывала в лифчик; какой-нибудь аккуратный служащий, получив ее в зарплату, разглаживал и прятал на черный день в паспорт; какой-нибудь пьяница мял ее в комок, совал в карман брюк, чтобы через полчаса таким же комком бросить на прилавок винного отдела; какая-нибудь продавщица гастронома шла с этой работя-

щей бумажкой на рынок и обменивала ее на мандарины; какой-нибудь азербайджанец вез эту бумажку в Агдам; оттуда она перелетала в Бухару...

Сбоку стояла пластмассовая розеточка с влажной губкой. Беляев смачивал пальцы и после этого вел молниеносный пересчет подготовленной к обвязке резинкой пачки. Попадались и совсем изношенные бумажки, склеенные папиросной бумажкой. Эти он со злостью откладывал в сторону и затем формировал из них кучки. Кто собирал, тому и попадут! Сколько раз Беляев говорил Баблюяну, чтобы брал в новых купюрах и с большим номиналом. Баблюян пожимал плечами, оправдывался: "У этого отец на рынке торгует. Не будет же он менять на крупные!" А Беляев парировал: "Вот пусть и сынок на рынке торгует! Чего он в институт лезет?!" Баблюян возводил глаза к потолку, говорил: "Надо".

Таких, кому "надо", с гарантированным поступлением в институт в текущем году, Беляев набрал пятнадцать человек. По две тысячи рублей с каждого. Предварительная калькуляция доходов и расходов говорила о следующем: общая сумма поступивших денег - тридцать тысяч рублей; пятнадцать тысяч рублей - на кафедры математики, физики, химии, а также тем, кто будет принимать экзамен по сочинению и иностранному языку; три тысячи рублей - секретарю приемной комиссии (в этом году там будет завкафедрой физвоспитания Чернов); пять тысяч рублей - на десятерых студентов-старшекурсников, которые будут осуществлять доставку готовых ответов, решений, сочинений в аудитории; три тысячи - Сергею Николаевичу; тысячу - Баблюяну за посреднические услуги; тысяча - накладные расходы; и две тысячи рублей остаются Беляеву.

Беляев обмакнул пальцы в губку и принялся пересчитывать тройки. Здесь новеньких бумажек почти что не было. Эти "зелененькие" трудились гораздо активнее лиловеньких. Трояк перешел в один день несколько раз из рук в руки.

Но самым трудягой был, несомненно, рубль. Этот затертый, маленький, желтенький "колик" просто сновал из рук в руки, из кассы в кассу, из пельменной в табачный киоск, из киоска "Союзпечати" в булочную...

Свою же долю Беляев взял хрустящими сотенными купюрами, всего двадцать бумажек...

Хорошо сидеть за столом в зимний долгий вечер, когда на улице мороз, когда скрип снега под ногами прохожих в тишине раз-

носятся на целый квартал, когда в комнату, жарко натопленную двумя старыми батареями, вливается свежий воздух, хорошо сидеть в свете настольной лампы и считать деньги! Беляев думал, что в деньгах есть все: и свобода, и власть, и счастье, и благополучие, и страдание, и тревога, и страх, и преступление. Сколь же велико по значению изобретение денег! Самое гениальное, радовался Беляев, изобретение в мире после колеса.

День. День проходит. Деньги день находит. Что-то есть родственное в этих словах: день делает деньги. День плюс ги равняется деньгам! А что такое ги? Или га, при - деньга?

Глухо протренькал телефонный звонок в коридоре. Беляев прислушался, продолжая считать деньги. Телефон настойчиво звонил, но никто к нему не подходил. И Беляеву не хотелось идти. Наконец послышались шаги и голос соседки. Потом шаги приблизились к его двери. Беляев моментально накрыл кучки чертежами и сверху бросил несколько книг. Раздался стук в дверь.

- Коля, Николай?! Это тебя, - услышал он голос соседки.

Раздражаясь, что его оторвали от важного дела, Беляев нервно встал и пошел к телефону.

Трубка висела рядом с настенным телефонным аппаратом на крючке. Беляев схватил ее и грозно крикнул:

- Да?!

В трубке что-то протрещало, потом раздался глухой кашель, и уже по этому кашлю Беляев сообразил, что звонит отец.

- Помоги, Коля! Моя старуха-то умерла только что. Прихожу, а она не дышит. А я сам еле живой... Неделю у Филимонова кочегарил.

Волнение охватило Беляева, смешанное с чувством крайнего недовольства этим звонком. Ему хотелось послать этого пьяницу куда подальше, но он сдержался и только воскликнул:

- Ну и сволочь же ты! Жди, скоро буду! - И повесил трубку.

В мучительно тяжелой настроении Беляев вышел на улицу. Снег заскрипел под ногами. На Трубной сел в тринадцатый троллейбус и доехал до Садового кольца.

Тощее лицо отца было небрито и зелено. Труп его жены покоился на кровати за перегородкой: рот был открыт, волосы налипли на лоб. Беляев обернулся и увидел, что отец плачет, содрогаюсь всем телом. Не раздеваясь, Беляев прошел на кухню, сел на табурет и только тогда снял шапку. Отец хотел закурить, но сига-

реты кончились. Он взял зачем-то спички, но руки так тряслись, что он не мог выдвинуть ящичек из коробки.

В каком-то отчаянии отец швырнул коробок на пол и взмолился:

- Похмели, Коля! Иначе, как вон она, подохну... Беляев сверкнул на него каким-то зверским взглядом.

- Подыхай! Обоих зарю! Но отец не отступал:

- Купи бутылку... еще работает... Весь пропился, ни копейки нет, занять негде...

Беляев встал, подошел к окну и, стоя спиной, выпалил:

- Иди на улицу побирайся!

- Да чтоб я и побираться! - дрожащим голосом проговорил отец.

- Не ври! - вскричал Беляев, но тут же остановился, потому что увидел, что отец осел по стене на пол и слезы ручьями полились из его красных глаз.

Этот мученик с похмелья, этот труп в комнате за перегородкой вызывали в Беляеве какое-то бунтарское чувство протеста: он-то здесь, Беляев, при чем? По характеру своему Беляев принадлежал к людям, отрицательно реагирующим на окружающую среду и склонным протестовать. Он никому и ничему никогда не мог подчиниться. Он считал себя свободной единицей, стоящей в стороне от человеческого стада, но стадо это постоянно твердило ему: иди к нам, иди к нам, ты наш! А Беляеву, как он считал, была изначально свойственна свобода. Этот тип, что сидит у стены на полу, никакого отношения к его воспитанию не имеет. Только умом Беляев мог сделать ему снисхождение за то, что сидел в лагере, страдал, истощался нравственно и физически. Но какое это имеет отношение к Беляеву? Благодарить, разве, отца за зачатие? Нет уж! Это слишком по-животному. Лучше уж Беляев будет считать свое собственное появление на свет непорочным зачатием. Родила мать - и довольно. Мать никогда не посягала на его свободу, никогда не наказывала. Что же касается ее регулярных вопросов, так к ним легко Беляев привык и они не мешали ему. В Беляеве образовался свой гордый и внутренний закрытый мир, который он противопоставлял миру внешнему. И теперь Беляев уж точно определился, что внешний мир - страшный враг его внутреннему миру. В сущности, Беляев стремился к созданию своего особого мира и к его защите.

И с детства Беляев жил в своем особенном мире, не сливаясь с миром окружающим, который всегда казался ему чужим. И еще его с детства преследовало одно чувство: избранности, единственности, непохожести ни на кого и неповторимости.

- Похмели, Коля! Подохну, - простонал отец сквозь слезы.

- Сейчас же "Скорая" приедет...

- Пусть приедет, а ты сбегай...

- Тьфу на тебя! - вспльчиво крикнул Беляев и бросился вон.

Стоя в очереди в кассу, Беляев мучительно соображал, что взять: то ли коньяк, то ли водку, то ли портвейн, то ли сухое. Все это было на витрине. Он вспомнил Сергея Николаевича, который после тошноты проклинал портвейн. Затем вспомнил его же слова о том, что водка лучше коньяка. И только после этого стал вспоминать свои состояния после выпитого. В итоге Беляев купил две бутылки водки, полкило колбасы, банку сардин в масле и триста грамм сыру. В булочной взял два батона и половину буханки.

Выйдя на морозную улицу вздохнул и оправдался сам перед собой: "Он все-таки отец мой!", и быстрым шагом направился к переулку.

На углу сидела, поджав одну лапу, дворовая собака с жалобными глазами. Видно было, что она дрожала от голода и мороза. Беляев развернул сверток с колбасой. Собака настороженно встрепенулась. Беляев бросил ей довесок и, не оглядываясь, пошел дальше.

У подъезда стояла "Скорая помощь" с работающим мотором. Дым из трубы глушителя плотными облачками поднимался вверх. Отец сразу же с порога сказал:

- Они там... Дай, пожалуйста, бутылку...

Беляев достал одну бутылку. Вторую оставил в пальто. Отец схватил протяную и скрылся в уборной. Через минуту он уже был в кухне.

- Хорошо! - выдохнул он, убирая початую (отпил грамм двести) бутылку в шкафчик.

Затем появились носилки и покойную увезли в морг.

- Жалко, конечно, - сказал отец, накрывая на стол в кухне, - но что делать? Все мы там будем.

В лагере каждый день кого-нибудь хоронили. И очень часто самому хотелось подохнуть. Умом понимал, что вот подохну и все муки побоку! А сердцем чувствую, что жить нужно... Для чего жить? Неизвестно. Но хочется жить...

Беляев молча резал колбасу и сыр, слушал. После выпитого отец стал спокоен и разговорчив. Руки перестали дрожать.

- Мое место в жизни давно мне было определено. И я не обижаюсь. Так Господь распорядился: посиди в тюрьме, да попей водки. Эх! Многого о себе не скажу, но я ископал вдоль и поперек свою душу. И чем больше ее копаю, тем меньше понимаю. Всякие идеалы пересмотрены мною и остались какие-то отребья истин. Я тебе скажу так, что истины вообще нет. Ну, в том понимании, что она мол где-то сидит и ждет, пока ты ее найдешь. А она нигде не сидит и не ждет. Человек - род фантома. Он есть и его нет. Вон, хозяйку в морг увезли. И что, есть она? Нет для всех, а во мне она до моей кончины будет. Это факт... Закурить бы, - мечтательно проговорил отец и вдруг оживился: - С похмелья совсем забыл... Ты, Коля, можешь себе представить, что со вчерашнего вечера просыхаю и подыхаю. Сука Филимонов обобрал всего. Звонит, мол, приезжай, Саша, есть бутылка. Ну, я и поехал к нему неделю назад... Есть же у меня заначка! - Он минуту, поблескивая глазами, сосредоточенно стоял, затем резко привстал на цыпочки и вытащил из дымоходного люка пачку "Примы".

С необычайной бережностью открыл пачку, достал сигарету и осторожно, двумя пальцами, при этом оттопырив мизинец, сунул сигарету, предварительно облизнув губы, в рот. Затянулся несколько раз, выпуская дым через ноздри, и воскликнул:

- Ну, я даю! Сам махнул, а сыну не налил!

Он достал стопки, бутылку из шкафчика и налил. Беляев сделал ему и себе бутерброды, открыл консервы.

Выпили. Через несколько минут Беляев почувствовал теплоту с оттенком радости во всем теле.

- Я - человек праздничный, - заговорил вновь отец. - Каждый пьющий человек - праздничный человек. Мы ожидаем праздника, готовимся к нему, а он в минуту проскакивает и начинаются угрюмые будни. А я хочу продлить праздник. Празднуешь и знаешь, что горечь наступит. Вот в чем дело. Плохо.

Беляев налил себе полную стопку, а отцу не налил, сказав:

- Пропускаешь в пользу сына!

Отец поднял руки вверх, сказал:

- Согласен.

- Ты ешь, - сказал Беляев.

Отец принялся уписывать бутерброд с сыром, очень свежим.

Прожевав, он заговорил:

- Если нам грозит смерть, то нужно праздновать жизнь!

- Ешь! - прикрикнул на него Беляев, и отец дожевал бутерброд.

Беляев с интересом следил за отцом и ждал, когда же тот воскликнет про Заратустру, но отец словно про него забыл. Тогда сам Беляев напомнил:

- Что там говорил Заратустра?

Но отец этого не принял. Он только заметил по этому поводу:

- Заратустра у меня идет на второй день... А в конце я меланхолично размышляю на более спокойные темы...

- А на третий?

- И на третий можно Заратустру... В общем, на подъеме... А на спуске... У меня иногда подъем в неделю бывает, а спуск - в месяц! На подъеме - радости, на спуске - печали. И печально думаю, что нас здорово дурачат разные Грозные, Сталины, Христы...

Беляев удивленно вздрогнул и спросил:

- А Христос тут при чем?

Отец сверкнул глазами, приставил ладошку козырьчком к губам и шепнул:

- При том... Его не было никогда! Вот какая истина мною свержена! Не истина он. Он - литературный герой. Ох, в лагере я насмотрелся на людей и понял, что дураят нас на полную катушку. Ну, вот смотри, давай разберемся... У нас что ни писатель, то кто? Правильно! Еврей. Во-первых, мало того, что Иисус литературный герой, он еще и еврей!

- Да при чем здесь это! - вскричал Беляев. - Он всечеловек... Без национальности...

- Брось ты эти поповские штучки! - перебил его отец. - Я тебе говорю, что путем двадцатилетней дедукции я вывел, что Христос литературный герой... Написан для того, чтобы нами, дураками, управлять... В лагере я с евреями дружил... С ними не так тоскливо. Они все в душе литераторы... Засирают мозги очень умело. Только их бывает трудно вызвать на откровение. Но я вызывал: делился пайкой, самогон доставал, деньги... В общем, много лет я дедуцировал и с одним Финкельштейном согласовывал...

Беляев следил за глазами отца, которые все больше и больше расширились и в них возникала сумасшедшинка.

- ...с одним Финкельштейном согласовывал... Он противник нашей веры, у них своя... Особая! Понимаешь? Сами для себя осо-

бую веру имеют, так сказать, для избранных, для кабинета министров земного шара, а нам Иисуса подкинули, но тоже своего... Не написали же, что грек там какой-нибудь проповедовал смирение, или итальянец, а именно написали, что еврей! Ты понял. Все колена перечисляют, от кого пошел, от Моисеев да Авраамов, доходят до Иосифа, мужа Марии, и тут у них забуксовало... Как же, должен ведь Богом быть, и придумали, что Мария забеременела от Духа Святого. Значит, от Бога-Отца Бог-Дух слетел и зачал еврейского наместника божественного на земле - Иисуса! Лихо обделано. На самом деле сидел писатель и заказную рукопись готовил: не ешь, не пей, не спи с женщиной и так далее. Карающая рукопись. На вымирание других народов рассчитана... Финкельштейну вопрос задаю: был такой замысел? Отвечает: был! Христианство постепенно оскотливляет, уничтожает все народы: мужчины - в монастырь, женщины - в монастырь, детей, приплода, - нет... И торжествуют еврейские люди! Одни они. Программу рассчитали на тысячу лет! В первое тысячелетие со дня запуска этого Христа ждали конца света. Не получилось. А по чьей вине?

- Атеистов?

- Точно! По вине тех, кто сомневался в единоучении... А оно, как видишь, земной шар не завоевало окончательно. В этом причина. И слава многорелигиозности! Слава Будде, Слава Аллаху, Слава Заратустре!

- Какой-то у тебя примитивный взгляд, - сказал Беляев.

- Ты слушай, не перебивай откровения святого Александра! - Отец был возбужден и говорил с чувством. Глаза у него блестели, он нервно взмахивал руками, подергивал плечами и изредка подмигивал. - Для меня не подлежит сомнению, что евреи раскрыли закон всеобщего гипнозизма слова. Стадо человеческое тупо и слепо! Этому стаду нужен поводырь, но к каждому человеку поводыря не приставишь... И вот слово стало поводырем! И первое слово каждого еврейского писателя - не подчиняйтесь властям земным! Все пророки и проповедники кричали на всех углах - не подчиняйтесь власти земной, подчиняйтесь небесной! Понял? А для чего? О, тут великая мысль заложена!

Отец вскочил из-за стола и заходил по кухне.

- Рим развалить им нужно было! Вот ответ! Простой, как похмелка! Для нас нацарапали, что все равны, а у себя - по углам шепчутся - они избранники Божий, а мы тля, рвань, жлобы, гои! Ты

понял! Какой коммунистический интернационал-манифест к нам с Христом послали! Они как черти на сковородке от нетерпения довести до каждого уха свое слово пляшут. Пока я пьянствую, сидя у Филимонова, какой-нибудь Мордыхай уже тысячу друзей своих обжегал и слово нужное прошептал: развалим, развалим и эту империю! Опыт тысячелетний за плечами! Блаженны нищие духом, говорят! Да не блаженны! А мудаки, что безголово живут и в рясы облачаются, не понимая, что творят. Поверили слову провокационному: будьте как птицы, не заботьтесь, что вам есть и пить, ни для тела вашего, во что одеться. Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут! А наши дураки и поверили, и на печку залезли, и Обломовку себе завели: зачем трудиться? Христос не велел. Нельзя зарабатывать, это на Маммону работать! А они будут под журчание талмуда золото складывать в сейфы?

- Да, ты уж очень много трудишься, - усмехнулся Беляев.

- Тружусь! - воскликнул отец. - Над устным словом работаю. Все мои тексты - магические. Слово нужно написать или сказать так, чтобы тебе, ни минуты не сомневаясь, поверили! Взяли на веру! Это особое искусство...

Беляев налил по рюмке, опять усмехнулся и сказал:

- Это я знаю... Наблюдал.

- Что наблюдал?

- Ну, как нужно пользоваться словом, чтобы тебе поверили.

- Хорошо. Правильно. Наблюдай. Это психологическая вещь. Все в мире на этой психологической вещи построено. Человек - радиоприемник. Что ему передашь, то он и воспроизведет! Понял? Нужно только на волну этого приемника выйти!

- Я думаю, у тебя какая-то болезненная неприязнь к евреям, - сказал Беляев, выпив стопку и закусив. - Мне кажется, на вещи нужно смотреть просто: по результатам деятельности. Болтовня, содрогание воздуха результата не дают. Ты вот праздничный человек. А чтобы вести такой образ жизни нужен приличный доход...

- Ерунда! - перебил отец.

Он закурил и вновь нервно заходил по кухне. Ему самому хотелось говорить, а не выслушивать сына. Если при нем говорили другие, то отец испытывал чувство, похожее на ревность. Он знал, что когда он пьет, ему нужен не собеседник, а слушатель, в уши которого он будет заталкивать свои сумасшедшие идеи.

- Ерунда! - повторил отец и продолжил: - Статика большинства не позволяет мне согласиться с этим. Истины нет. Истину ищут! Понял? Искать истину... Само слово "истина" - означает "искание". Искание, движение, сомнение, убегание, мелькание... Никакой остановки. Я это уяснил и нахожусь в вечном движении. Ни за что не цепляюсь. Цепляние - смерть! Смерть мысли, смерть чувства, смерть тела, - он остановился и заплакал. Слезы потекли по дряблым щекам. - Как я один буду жить? А? Где моя Анна Федосьевна? В морге лежит. Ты не бросай меня. Как я буду ее хоронить? Я ничего не знаю. Деньги нужны, у меня их нет. Может, у нее где были? Поищу...

Бутылка была пуста и при взгляде на нее у отца погрузнели глаза. Беляев поднялся из-за стола, сказал:

- Мне пора домой. Ты сейчас ложись. Отдохни. И не пей ты больше!

- Что пить? Откуда я возьму? Посиди еще. Не бросай, а то я с ума сойду. - И вдруг закричал пронзительно: - Что говорил Заратустра!?

Беляев не мог уже этого выносить. Все эти безудержные, топливые монологи отца, оторванные от жизни, ничего не приносящие в жизнь, не просто раздражали Беляева, а усиливали неприязнь к этому человеку. Хотелось бросить все и бежать.

- Что говорил Заратустра?! - вопил отец.

- На подъем пошел?

Отец качнулся к сыну, обхватил его костлявыми руками и поцеловал, затем всхлипнул и зарыдал на его груди. Состояние духа Беляева было угнетенное и томило такое чувство, словно на него вылили ведро помоев. Ему хотелось заступиться и за Христа, и за евреев, и за русских обломовцев, и за всех людей, потому что все они сейчас казались Беляеву необычайно хорошими, а этот человек, по названию отец, - отребьем. Ему стало ясно, что какие бы умные мысли ни высказывал пьяница, все они будут неприятны, все они будут пьяными истинами, которым грош цена. Ему было ясно, что отец неисправим, что он тяжело болен, и это еще сильнее угнетало его, потому что он понимал, что отец теперь не отстанет от него и превратится в обузу, в крест, который Беляеву нужно будет тащить. Никогда ранее он не смог бы подумать о том, что на его собственную внутреннюю свободу, на его собственный мир посягнет отец, как представитель враждебного внешнего мира.

Вдруг отец отстранился, посерьезнел и, положив руку на сердце, сел к столу.

- Недобор, - сказал он совершенно трезвым голосом. - Я знаю, у тебя есть еще выпивка. Дай. Мне сто пятьдесят не хватает до нормы.

- Да на! Пей! - вскричал Беляев, сбегал к вешалке и притащил вторую бутылку.

- Вот это сын!

Отец сам разлил водку, звякая бутылкой о стопки.

- Будем здоровы! - сказал он.

- Будем здоровы, - мрачно сказал Беляев, но выпил даже с удовольствием.

Ему казалось странным, что все вокруг клянут вино и никто не выступает в его защиту. Лично Беляеву выпитое доставляло удовольствие и выхилы отца не представлялись уже такими вызывающими. И еще одну важную деталь он заметил в себе, от водки по всему телу пробежала какая-то сладострастная дрожь и ему хотелось женщину. Он даже втайне подумывал организовать эту женщину на ночь (выписать Валентину), но отец препятствовал.

Беляев поглядывал на поблескивающий, как льдинка, циферблат часов и думал, что еще успеет позвонить ей. Шел девятый час вечера.

Заратустра неподвижно и долго смотрел в пустоту. Потом сказал:

- Продолжим о вечном.

Беляев рассмеялся.

- Ты посмотри, как это они хитро все придумали! А? Сами, ведь, знали тайну. Потянули на самую церковь: колокола - оземь, попов - в зону... А в те храмы, что остались, - своих поставили, чекистов. Почему? Да потому что знали, как разваливать Рим, но знали также, как Рим созидать!

Теперь по всему было видно, что отец пребывал на вершине блаженства. Хотя спуск с этой вершины был неминуем.

- ...пустили свой гипноз: коммунизм, равенство... Это они четко знали, что нужно пускать гипноз словесный. Партия передового отряда пролетариата... И стадо пошло! Двинулось, затопало копытами, затоптало по пути и честь, и совесть, и частный капитал... Так что Христа написали для своей власти. Заметь, не уничтожили совсем церкви, оставили, потому что смотрели далеко за

горизонт. Мол, оставим на всякий случай нашего раскольника, может быть, еще пригодится! Умно, ничего не скажешь.

Тут Заратустра замолчал, закурил, не спеша заткнул бутылку пробкой, которую достал из ящика стола, и убрал бутылку в шкафчик. Он это проделал довольно-таки быстро и уверенно, видимо, почувствовав, что сейчас его развезет. И действительно, минут через пять он просто упал с табурета на пол и Беляев отволол его, как мешок с цементом, на кровать, где несколько часов назад лежала покойная. Раздевать он его не стал, только снял ботинки и повернул на правый бок, лицом к стене.

Глава X

Сергей Николаевич делал свое дело: Беляева вызвал секретарь парткома Скребнев.

- Садитесь, - сказал он.

Беляев сел. Огромный стол, с полировкой, портрет Ленина за спиной секретаря, полки с трудами классиков марксизма-ленинизма, коричневый сейф. В углу - круглый столик на изогнутых ножках, на нем хрустальный графин на хрустальном подносе и хрустальные длинные стаканы.

Скребнев курил сигарету, щурился и некоторое время молча перебирал бумаги, затем, взглянув на Беляева, сказал:

- Через неделю - отчетно-выборное собрание. Будем рекомендовать вас в члены парткома, в сектор по работе с комсомолом. Требуется ваше согласие.

Скребнев был в спортивной куртке, без галстука, волосы торчали в разные стороны, хотя было заметно, что недавно эти волосы, какие-то непокорные, причесывались влажной расческой.

Никакой неожиданности для себя в этом предложении Беляев не услышал.

- Принимаю предложение! - сказал Беляев с улыбкой, а про себя подумал о прямо противоположном.

- Тем более, на вашем факультете нашли листовки против ввода наших войск в Чехословакию... Вы прекрасно знаете студенческую атмосферу. Надо поработать, разъяснить, выявить писак этих листовок...

- Выявим. Мои ребята уже занимаются.

- Отлично. Я вас включаю в список выступающих. Надо как следует поклеить чехословацких изменников, недобитую буржуазию...

- Поклеймим, - сказал Беляев.

- Отлично. Тезисы выступления мне покажете.

- Обязательно!

Скребнев протянул руку Беляеву.

В комитете комсомола Беляев нашел завсектором печати Берельсона, единственного еврея на весь комитет.

- Надо осудить чехословацких империалистов, - сказал задумчиво Беляев. - Скребнев дал указание.

- Понял! - сказал аккуратненький, с тонким горбатым носом Берельсон и поправил галстук на крахмальной сорочке.

- Текст дашь мне завтра.

Берельсон открыл блокнот и что-то записал в нем.

- Понял! - сказал он.

Беляев было пошел, но остановился, обернулся и сказал:

- Напишешь от первого лица. Я буду выступать.

Улыбка Берельсона была беспредельной и обнажала груды искривленных, росших один на одном зубов.

Беляев шел по длинному коридору и думал, что только так и нужно вести себя в этом "дружном коллективе". Под этим он понимал очень многое.

С кафедры он позвонил Пожарову на работу, в Академию народного хозяйства, куда тот распределился, и спросил, нашел ли он для него книжника.

- Коля, - кричал в трубке Пожаров, - я тебе такого гениального еврея нашел, у которого есть все!

- Прямо-таки все?

- Все!

На кафедру зашел Сергей Николаевич. Пиджак расстегнут, в карманчик голубого жилета, в тон костюму, тянется золотая цепочка к часам. Он обнял Беляева, когда тот положил трубку, отшел к окну и сказал:

- С тебя пузырь. Скребнева только что видел. Ты не подведи, Коля.

- За кого ты меня принимаешь. Выделено ему уже двадцать соток. В Жаворонках. Как встречу с одним человеком, так Скребневу и объявим. Пока не болтай.

- Понял, - сказал Сергей Николаевич.

Беляев поймал такси и через десять минут, подхватив Пожарова у метро, был на Пятницкой. Болтая о дачных делах, дворами прошли к средневековым палатам. Во дворе снег был бел и чист, не то, что на улице. Несколько дней стояла оттепель, хотя шел декабрь.

Под аркой располагалась железная, недавно выкрашенная зеленой краской дверь. Сбоку был звонок. Пожаров позвонил. Через некоторое время загремели какие-то замки и задвижки, и дверь открылась.

- Проходите, - деловым тоном сказал пожилой, грузный человек.

Он закрыл за вошедшими сначала железную дверь, затем вторую - деревянную, белую с бронзовой ручкой.

Небольшая комната со сводчатыми высокими потолками была книжным складом. Книги стояли на стеллажах, лежали стопами на столах, под столами, на полу, в маленькой подсобке, где был припилен западный лаковый плакат с голой девицей. На торцах стоек и полок кнопками были прикреплены многочисленные фотографии.

- Это - Николай, - пробасил Пожаров, снимая с головы шапку.

- Иосиф Моисеевич Эйхтель, еврей, - представился хозяин. - Прошу располагаться. Итак? Книжки?

- Да, - сказал Беляев, вешая свое потертое драповое пальто и кроличью шапку на вешалку.

Пожаров стоял в дубленке.

- Нет времени. Борис Петрович ждет.

- Давай, гони! - сказал Беляев. - Вечером сообщишь. Чтобы бумаги были готовы.

- Они уже готовы, - сказал Пожаров и вынужден был беспокоить Иосифа Моисеевича, чтобы тот его выпустил.

Когда двери вновь были закрыты, Иосиф Моисеевич сел за невысокий столик в прорванное старое кресло, закурил и предложил Беляеву садиться напротив, в такое же выдвинутое кресло.

- Итак? Книжки? - повторил вопрос Иосиф Моисеевич.

- Да.

- Голые девочки, тысяча способов любви?

- Это я предпочитаю на практике, а не по картинкам, - сказал Беляев.

- Я, представьте, тоже, - сказал Иосиф Моисеевич. - Девочками располагаете?

- В каком смысле?

- В прямом.

- В институте хватает.

- Студенточки?

- Именно.

Глаза Иосифа Моисеевича вспыхнули.

- Люблю молоденьких. У меня тут все условия, - сказал Иосиф Моисеевич, встал и приоткрыл дверь в еще одну комнатку, где стояла кровать, над которой на полке располагалась батарея импортных напитков, разных там джинов, бренди, виски... Другая стена была заклеена плакатами со смачными голыми девочками.

- Хотите коньячку? - вдруг спросил Иосиф Моисеевич.

- Не откажусь.

- Это мне нравится.

- Что?

- Что не отказываешься. Ты заметил, что я перешел на "ты"?

- Заметил.

- Переходи и ты на "ты". Зови меня просто - Осип. Как Мандельштама.

- Хорошо, - согласился Беляев. - Ося, у тебя есть кофе?

- Вот так. Просто Ося! Прямее связь. Точнее. Без интеллигентского мазохизма.

Коньяк был налит в рюмки, кофе варился на плитке. Выпили.

- Ты заметил, Коля, что я не подал тебе руки, когда ты вошел?

- Заметил. Я сам не всем протягиваю.

- Правда? - глаза Иосифа Моисеевича блестели.

- Правда.

- Так вот, Коля, люди по большей части - свиньи. Это не значит, что ты свинья. Но не следует каждому подавать руку. Люди обожаят, когда с ними обращаются грубо, но без хамства. И не надо называть их по отчеству. Попробуй того, кого ты величал полным именем, просто окликнуть, например, Ивана Петровича, который на тридцать лет тебя старше, - Ваней. Просто крикни ему - Ваня! И это сработает. Будут знать, с кем имеют дело. Со своим человеком!

Иосиф Моисеевич собрался налить по второй, но Беляев категорически отказался.

- Кофе, - сказал он.

- А второзаконие?

- Кофе! - настоял Беляев.

- Ты обаятельный парень, - сказал Иосиф Моисеевич. - Если есть обаяние, то оно неистребимо.

- Ты тоже, Ося, ничего! - с едва заметным оттенком надменности проговорил Беляев, принимая чашку кофе.

На столике появились "Мишки" и бисквиты. Вследствие скрытности Беляева и способности иметь внешний вид, не соответствующий тому, что было внутри него, о нем в большинстве случаев слагалось неверное мнение: и тогда, когда оно было благоприятным, и тогда, когда оно было отрицательным. Он всегда чувствовал мучительную дисгармонию между "я" и "не-я". Он был трудный тип, и переживал жизнь скорее мучительно, чем как везунчик.

Он просто понял, что основная линия поведения среди людей, завистливых и любознательных, должна быть ориентирована на закрытость "я".

Трудное переживание одиночества и тоски не делает человека счастливым. Таковыми его делает практическое отстаивание своей независимости, своей судьбы.

- Меня интересует все, что связано с христианством, - сказал Беляев.

- В богословие ударился?

- В коммунизм, - твердо, без иронии сказал Беляев.

Иосиф Моисеевич расхохотался так, что затрясся его жирный живот.

- Ося, зачем ты назвался евреем вначале?

- Это данность. Я - еврей. Об этом сразу и сказал, чтобы отбросить всякий нездоровый подтекст.

- Я же не назвался русским?

- Это по тебе, Коля, и так видно! - И вновь расхохотался.

- И что же ты увидел в русском лице?

Иосиф Моисеевич щелкнул пальцами, причмокнул губами и сказал:

- Отсутствие легкости. Какая-то вечная забота на челе. А это признак не совсем верной ориентации в жизни. Впрочем, это - тема трудная... Итак, христианство. Библия есть?

- Она-то в первую очередь и нужна.

- Вот тебе Библия! - он достал откуда-то из-за толщи книг небольшую книжечку в мягком переплете. - Бумага папиросная, издано в Дании. Правда, дорого.

- Ничего.

Далее пошли одна за одной ложиться на стол книги Штрауса, Ренана, Флоренского, Владимира Соловьева, Филона, Иосифа Флавия... А Беляев все говорил - беру.

- Денег не хватит! - смеялся Иосиф Моисеевич.

Когда скопилась гора книг и поиски были закончены, Беляев спросил:

- Сколько?

Иосиф Моисеевич не спеша сел к столу, достал из ящика счета и принялся стучать костяшками.

- Две семьсот! - подытожил он.

- Согласен, но со скидкой, - сказал Беляев, улыбаясь. - Как оптовый покупатель.

- У тебя, Коля, есть коммерческая жилка. Что ж, - задумался хозяин. - Десять процентов могу дать.

- Пятнадцать.

- Одиннадцать.

- Пятнадцать.

- Двенадцать.

- Съеду на четырнадцать, - сказал Беляев, - И соглашусь напоследок выпить рюмку коньяку!

- Черт с тобой! Так, две семьсот минус четырнадцать процентов...

- Триста семьдесят восемь... Я должен - две триста двадцать два, - в уме быстро решил задачу на проценты Беляев.

Иосифу Моисеевичу осталось лишь проверить эти данные на счетах. Беляев отсчитал двадцать сотен, двенадцать четвертаков, два червонца и два рубля.

Иосиф Моисеевич упаковал книги в удобный сверток с веревочной ручкой. Беляев оделся и после этого опрокинул прощальную рюмку.

- Не забудь, Коля, про девочек! - бросил с порога хозяин.

- Со скидкой сто процентов?

- Сто не сто, а пятьдесят дам!

Вечером, когда Беляев дочитывал первую книгу Бытия Моисея, зашел Пожаров. От него приятно пахло морозцем, на шапке искрился снег. Он принес документы на участок для Скребнева.

- Есть предложение от Бориса Петровича, - расстегнув дубленку и сядя на стул, сказал Пожаров.

- Ты проработал?

- Нет, пока черновой вариант.

Беляев вспыхнул:

- Я же сказал, не тащить мне сырые варианты.

- Чего ты орешь? Надо вместе покумекать. Есть возможность купить деревню...

- С крестьянами? - спросил Беляев.

- Там пять человек на всю деревню. Десять домов. Конечно, старых, венцы подгнили, но...

- Без крыш, без окон, без дверей?

- Что-то вроде...

- Дубина ты, Толя! Втягиваешь вечно... Кто их будет ремонтировать?

- Ремонт не нужен. Ничего не нужно. Нужен кирпич. Там председатель ставит дом для старых колхозников на центральной усадьбе... А эта деревенька - в лесу... Понял! Покупателей я нашел. Из Союза художников... Они уже проект ляпают, говорят, как в Архангельском будет... Правда, далековато от Москвы, но это их вопрос.

- Где?

- На Оке. Мещера.

- Хорошие места, - одобрил Беляев. - Расклад предварительный есть?

- Прикинул. Наварим штук десять.

Пожаров поднялся, прошелся по комнате, затем подошел к письменному столу, полистал Библию.

- Дашь почитать?

- Прочту, дам. Хочешь чаю?

- Нет. Пойду домой. Устал как собака... Никак не пойму, - вдруг сменил тему Пожаров, - куда эти долбоносы танки повели? Жалко чехов. Блеснул луч надежды и... Дегенераты!

- Хуже! - воскликнул Беляев. - Когда же этот концлагерь развалится? Ты посмотри на Политбюро! Урод на уроде, двух слов связать не могут. Все "бабки" на танки угрохали и довольны!

- Чехи же приличнее во много раз нас живут. И если бы не танки, зажали бы еще лучше. Вообще, не понимаю, как можно жить без частной собственности! Нет, соцсистема никогда работать не будет!

Осудив ввод советских войск в Чехословакию, приятели растались. Беляев сел читать Библию.

На другой день Берельсон притащил на кафедру тезисы доклада, отпечатанные на машинке. Беляев пробежал текст, абсолютно мертвый, и для проформы сделал пару замечаний.

- Не "советские войска", а "доблестные советские". Понятно?

- Понятно, - закивал Берельсон.

- И не "Л. И. Брежнев", а "Леонид Ильич Брежнев". Понятно?

- Понятно! Это проникновеннее, - догадался Берельсон.

- Ну, вот видишь, соображаешь... Ведь в каждом выступлении главное - проникновенность, - менторским тоном сказал Беляев.

- Да, пропаганда должна быть понятна массам, - сказал Берельсон.

Беляев видел, что Берельсон врет, откровенно, нагло, так, что и бровью не ведет, и понимал, что тот далеко пойдет во все нарастающей игре в коммунизм.

Положив тезисы в папочку, Беляев направился в партком. Скребнев сидел не в кабинете, а в зале заседаний парткома под портретом Брежнева. Перед Скребневым на столе лежали яркие билеты на детскую Новогоднюю елку. Скребневу было лет сорок и звали его, выучил Беляев, Владимиром Сергеевичем.

Беляев быстро подошел к нему и, не дожидаясь приглашения, сел на стул сбоку.

- Владимир, - и сделал паузу, затем без отчества, но пока на "вы": - я тезисы выступления по вашей просьбе подготовил.

- Молодец, Коля! - Этот сразу же перешел на "ты". А почему, спрашивается? Как старший к младшему?

Скребнев взял текст, пробежал глазами и, как Беляев перед Берельсоном, сделал пару замечаний.

- Здесь вот вместо "коллектив института" - "весь коллектив". Понимаешь?

- Понимаю.

- А вот здесь надо вставить слово "теснее", а то у тебя просто: "сплотимся вокруг Центрального Комитета". Понятно?

- Понятно! Конечно, с "теснее" будет убедительнее!

Довольный Скребнев тут же отпустил.

- Беляев нашел Сергея Николаевича, передал ему оформленные документы на участок. Он мог сам, напрямую, отдать их Скребневу, но субординация не позволяла. Сергей Николаевич сунул бумаги во внутренний карман пиджака и побежал в партком.

В коридоре встретила Валентина, накрашенная больше обычного. Видимо, накануне выпивала.

- Привет! - сказала она.

- Привет!

- Чем занят?

- Разработкой вяжущих элементов для бесшвейного скрепления блоков под нагрузкой, - сказал Беляев. - Устраивает?

- Нет. Чего не звонишь, не заходишь?

- Дел много.

- Завел себе, наверно, кого-нибудь! - захотала Валентина, так что затряслась ее огромнейшая грудь, и тронула Беляева рукой ниже пояса.

- Что ты! Некогда, - отшутился Беляев. - В аспирантуру готовлюсь. Да, - вспомнил он. - Тут один очень ценный человек спрашивал, нет ли у меня девочек.

У Валентины расширились глаза.

- Что за человек? - спросила Валентина.

- Пожилой еврей.

- Нет, я евреев, тем более пожилых, не люблю. Да у них хвостик с пальчик! - вновь захотала Валентина.

- Речь не о тебе, - успокоил ее Беляев. - У тебя там в архиве вечно пасутся какие-то бэ.

- Сам ты - бэ! Хорошие девчонки...

- Вот собери мне этих хороших и мы съездим к Осипу...

- Когда?

- Хоть завтра.

- Будет сде! - захотала Валентина и пошла к себе, покачивая необъятными бедрами.

Студенты бродили по коридору, и Валентина быстро исчезла в их толпе. Из толпы же выплыл Баблюян, инженер научно-исследовательского сектора, заметно пополневший за последнее время.

- Здорово!

- Здорово!

- Нашел я место, - сказал Баблюян. - В Москве, в зеленой зоне. Комар не пролетит, не то, что бутылка! Вот телефон, - добавил он и протянул Беляеву бумажку.

Беляев напелл Баблюяну когда-то, что ему нужно место для одного знакомого инженера, сильно пьющего, в каком-нибудь ку-

рортном санатории, с присмотром, с курсом анонимного антиалкогольного лечения.

- Сколько? - спросил Беляев.

- Три сотни.

Они отошли на лестницу, где было меньше народу, и Беляев отсчитал Баблюяну тридцать червонцев.

- Там знают, что Беляев придет от Сурена Ашотовича.

- Понятно.

С кафедры Беляев сразу же позвонил в это заведение, назвал себя и через минуту другой голос сказал, что его ждут в любое время.

Теперь оставалось поймать отца, отвезти и сдать. Нужен был отец, которого неделю уже не было дома.

Наверно, пьянствовал с Филимоновым. Отыскался он лишь на третий день. За это время Беляев успел раздобыть кирпич для Мещеры, побывать с девочками и Валентиной у Осипа, закрыть хоздоговор по своей кафедре и прочитать до конца Ветхий Завет.

Ситуация с отцом была та же, и теми же были возгласы: "Похмели!" Беляев сразу же купил водку, как будто был готов похмелять отца всю жизнь.

- Ты урод и тебя надо выправлять, - сказал Беляев, когда Заратустра набрал форму.

- Да, надо завязывать, - неожиданно просто согласился отец. - Чувствую, еще один такой запой, и я концы отдам.

Он вскипятил чайник и достал бритвенные принадлежности. Он весь зарос седой щетиной. Беляев сказал о санатории. Заратустра положил бритву на край раковины, но она со стуком соскользнула вниз. Он подхватил ее довольно быстро и теперь уже не выпускал из рук, пока намазывал помазком щеки.

- Тебе же лучше будет. Захвати свои переводы.

- Надо, Коля. Душой понимаю, что надо, но...

- Что но...

- Ни поможет, - сказал Заратустра.

- Посмотрим, Отдохнешь, как человек, на лыжах походишь. Там лес. Кормят замечательно.

Отец оперся руками о края раковины и чуть подался грудью вперед, не сводя глаз с эмалевой белизны.

Когда он побрился, то попросил налить еще стопочку, совсем немножко, для храбрости. Беляев незамедлительно исполнил

просьбу. Затем отец закурил. Он сидел на табурете совсем неподвижно. Делал частые затяжки. Уже маленький окурок дотлевал в его пальцах и обжигал их.

Отец как бы не замечал этого, затем загасил о край пепельницы. И тут же достал из пачки другую сигарету.

- Я заметил, - сказал он, - что в моей жизни есть закономерная ритмичность...

- Подъемы и спуски?

- Да, что-то в этом роде. - Заратустра обдумал сказанное и затянулся сигаретой, затем негромко добавил: - Одновременный страх - и перед жизнью, и перед смертью.

- Потому, что третьего, самого главного, нет.

Отец посмотрел на сына.

- Чего? - спросил отец.

- Деловой пружины.

- Наверно, ты прав.

- Ты - флюгер своего настроения.

- Флюгер?

- Да.

- Что ж, и это, по-видимому, верно. Но я ненавижу обыденность.

- Живи в экстазе дела. Ты же знаешь языки. Да я тебя завалю работой! Заведись в этой работе. Пей ее и похмеляйся ею.

Отец улыбнулся. Несколько секунд он просидел, глядя на дымящую сигарету. Затем сказал:

- Мне будет ужасно плохо завтра...

- Ничего. Настройся. Переболей. Я тебе книги буду приносить. Да ты не представляешь, куда ты едешь! Ты едешь в фешенебельный отель, а рассуждаешь, как о тюрьме. Будь свободен. Собирай вещи. Все точно так, как в дом отдыха.

- Я там никогда не был.

- Привыкай.

- Ладно, - сказал отец и начал собираться в дорогу.

Беляев молча наблюдал за ним и думал, что, в сущности, отец оставался вечным юношей. Это его постоянный возраст. Он был мечтателем и врагом действительности. И страдает он от недостатка мудрости, которая, обычно, в его годах приходит. Так как жизнь есть прежде всего движение, то и главное в ней - изменение во время движения, собственного изменения - хотелось бы к

лучшему, - и изменения окружающих. В связи с движением и изменением происходят переоценки. Может быть, теперь отец займется переоценкой собственной жизни.

Заратустра собрал свой чемоданчик. На лбу у отца выступила легкая испарина, очевидно, оттого, что в квартире довольно-таки сильно топили батареи, или от выпитой водки. На лицо отца легла печаль.

- Ты молодец! - сказал Беляев. - Я думал, будешь упрячиться.

- Чего упрячиться, я не бык, я ведь и сам решил тормознуться.

Отец надел свое выдавшее виды пальто. Наверно, он изредка спал в нем или на нем. Когда он поднял руку за шапкой, Беляев заметил, что под мышкой у него большая дыра. Пришлось пальто снимать и Беляев вооружился иголкой с ниткой.

Отец оделся.

- Ну что, все? - спросил он.

- Поехали, Заратустра.

- Ты знаешь, почему я, главным образом, согласился? - вдруг спросил отец. Беляев пожал плечами.

- Из-за тебя, Коля.

Слезы выступили на глазах отца.

- Самое тяжкое в жизни - это разочарование в людях, - сказал он. - Не буду оригинальным, но скажу, что они познаются в беде. Я думал, сначала, ты такой, как все... А ты не бросил меня. Поддержал.

- Это лирика, - оборвал его Беляев. - Пошли!

Отец потоптался на месте, посопел, кашлянул и сказал:

- С Богом!

Глава XI

Новый, 1970-й, год Беляев решил встречать в одиночестве. Он купил маленькую елку. Когда ее ставил, сосед, Поликарпов, позвал его к телефону. Звонил Герман Донатович, расстроенный, сказал, что мать попала в больницу. Утром Беляев купил фруктов и поехал к ней.

Мать лежала в гипсе.

- В воскресенье, в два часа дня я пошла в магазин, - сказала мать, с улыбкой оглядывая сына, и продолжила: - хотела купить

что-нибудь к обеду. Шел снежок, я не обратила никакого внимания. И вдруг на Арбатской площади, почти около часов, поскользнулась и упала. Чувствовала сильную боль в правом бедре. Для меня было ясно, что со мной случилось что-то серьезное. Милиционер вызвал “скорую”, и меня в беспомощном состоянии отвезли в Первую Градскую больницу. В восемь тридцать очутилась на койке в травматологическом отделении. Давление было 240 на 120.

- Вероятно, с испугу?

- Наверно. До того как попасть в палату, мне пришлось ждать очереди в приемном покое на рентген, потом раздеваться, облачаться в казенное белье, и на таратайке я очутилась в операционной, где мне наложили шину - проткнули кость и на иголке укрепили вроде подковы.

- Как твое самочувствие сейчас? - спросил Беляев, оглядывая мать. Несмотря на то, что она лежала в постели, лицо и губы были подкрашены.

- Ничего, - сказала она. - Но вначале была подавлена мыслью, что жизнь каждого человека - нечто такое, могущее каждую минуту оборваться. Гермаша почти каждый день навещает. Все охает. Теперь столько забот пало на него.

Мать задумалась, потом, словно что-то вспомнив, тихо сказала:

- Мы, наверно, уедем.

- Куда? - удивился Беляев.

- Во Францию...

Беляев вздрогнул и не нашелся, что сказать. В этом, разумеется, он не усматривал ничего особенного, но все же его это резануло.

- Ты не рад? - спросила мать.

- Вы вправе поступать так, как вам заблагорассудится.

Мать рассеянно перевела взгляд на потолок.

- Невозможно уехать из этой страны, - сказала она. - Столько мук! Гермаша с ног сбился. На работе у него скандал. Не хотят отпускать.

- А у тебя?

- Я пока молчу. Но предвижу бурю. Исключение из партии...

- Вступишь во французскую компартию, - пошутил Беляев.

- До Франции еще добраться нужно... Говорят, сначала через Австрию, потом через Израиль... В общем, не знаю.

- Что вы там будете делать?

- Гермаша сможет опубликовать свою книгу.

- Он ее закончил?

- По-моему, нет. Да и когда теперь этим заниматься? Сплошные нервы! - сказала мать и приложила ладонь к щеке.

Наступило молчание. Оба выдержали паузу без малейшего нетерпения или чувства неловкости. Можно было подумать, что у матери, которая все еще держала руку у щеки, сильно болит зуб, но выражение ее лица никак нельзя было назвать страдальческим.

- Как у тебя дела в аспирантуре? - спросила она.

- Нормально.

- Трудно?

- Нет.

- А ты бы поехал во Францию? - вдруг спросила мать.

- Чего я там забыл! - грубовато сказал Беляев.

- Прекрасная страна, - мечтательно произнесла она.

- Не знаю.

Он вернулся домой в каком-то всклокоченном состоянии. С одной стороны, он признавал за матерью полную свободу, но с другой... Было что-то в этом противоестественное для него.

Он никуда не хотел идти. Он хотел наряжать свою елку. Хотел запечь в духовке своего гуся с яблоками. Он подметил одну особенность: оттого, как он встречал Новый год, зависел весь год. Он не хотел, чтобы в его жизнь лез внешний мир, и одиночество в новогоднюю ночь сулило ему надежду на свободу от внешнего мира на год.

На большой кухне с кафельным полом было две плиты. У одной хозяйничала соседка, другая была свободна. Шел седьмой час вечера, и если сейчас поставить гуся, то он к двенадцати, на маленьком огне, как раз будет готов.

На кухню зашел другой сосед, Поликарпов. Он пользовался той плитой, на которую нацелился и Беляев.

- Хорош гусь! - сказал Поликарпов. - Ставь, я сверху мясо жарить буду. Купил в кулинарии антрекоты.

- В нашей? - услышав, спросила соседка.

- В угловой.

- А-а...

Беляев принялся за дело. Он хорошо очистил гуся, выпотрошил и обмыл под струей воды. Шею отрубил, крылья отрезал до

первого сустава, а ножки, желтоватые, что свидетельствовало о том, что гусь молодой, - до колен. Затем натер со всех сторон пупырчатую нежную кожу солью. Крылышки и бедрашки связал. Разогрел духовку. Выбрал яблоки средней величины, кисло-сладкие (покупал специально для этой цели на Центральном рынке, где, впрочем, брал и гуся), с чистой кожицей. Набил брюшко гуся этими яблоками, зашил его нитками. Положил гуся на противень спинкой вниз и поставил в духовку, убавив огонь до минимума.

Вернувшись в комнату, достал елочные игрушки и бережно стал ими украшать елку. Форточка была приоткрыта и было приятно ощущать морозное дыхание улицы. Когда елка была наряжена и зажглись лампочки на ней, Беляев погасил верхний свет и минуту стоял в полумраке, любясь вечными огнями. Затем подошел к письменному столу, включил настольную лампу, убрал со стола все лишнее: карандаши, кнопки, рейсфедер, линейку, скрепки, пишущую машинку... Пространство стола стало пугающе огромным. Это был старый стол, добрый друг, могучий, дубовый, двутумбовый, по пять ящиков в каждой тумбе. За этим столом Беляев рисовал в раннем детстве свои первые картинки, пачкал пальцы фиолетовыми чернилами, сидя над, прописями в первом классе...

И елка, и тишина, и одиночество - все радовало Беляева. Он бережно положил перед собою тяжелую книгу и принялся читать. Это был Флоренский. "Столп и утверждение истины". Сначала Беляев отталкивал магизм этой книги, какое-то первоощущение заколдованности мира, вызывающее пассивное мление. Но потом это же впечатление и затянуло. В нем было что-то соблазняющее и прельщающее, как в тихо падающем новогоднем снеге, как в пустынной заснеженной аллее...

Он не искал никакого ответа в книге, он для себя четко уяснил, что все ответы мнимы; нет ответа о смысле жизни, потому что сам вопрос об этом - просто-напросто глуп. В книгах теперь его интересовало другое: процесс. Умение автора вовлечь в этот процесс читателя, как река увлекает щепку. И тогда реальный мир исчезает, и ты живешь в другом, идеальном мире. Тут была, конечно, для Беляева кое-какая разгадка: многие так увлекались идеальным миром, что абсолютно разочаровывались в реальном мире, клеймили его и наглухо прятались от него, показывая свою полную неспособность творить свою судьбу в живой жизни.

Для перехода в идеальный мир нужна соответствующая обстановка. Тихая комната, свет настольной лампы, а за нею полумрак, и в углу - елка с самоцветами лампочек. Можно отвести глаза от текста и пробежаться глазами по корешкам книг, плотно стоящих на полках, высящихся от стола до потолка, потянуться, вспомнив о жарящемся на кухне в духовке гусе, улыбнуться самому себе, встать, пройти из угла в угол по комнате, беспричинно погладить бронзовый бюстик Пушкина, сдуть с него пыль, прилечь на диван, удобно положив ноги на валик, вновь встать, заглянуть в холодильник, где стоят несколько бутылок заиндевевшего шампанского, отщипнуть кусочек сыру, и вновь ходить, и вновь неспешно перебирать в уме разные мысли, останавливаться на полумысли, на какой-нибудь Франции, перескакивать оттуда во времена Христа, переносить Христа в зимнюю Москву, поставить его где-нибудь в ЦУМе, босого, в хитоне, пусть порезонерствует, поучит москвичей, в лучшем случае пятнадцать суток схлопочет, никому не нужны вечные истины, но всем очень надобен хлеб насущный, всем нужны деньги, но мало кто умеет их делать, и само понятие "делать деньги", подсудно в этой стране...

Голод давал о себе знать, потому что Беляев специально с утра ничего не ел, а нацелился на гуся.

Он так и сказал себе, что съест гуся без гарнира, так, немножко зелени прихватит. И уже сейчас, за каких-то три часа до Нового года, он уже готов был вонзиться зубами в этого гуся. От этого предчувствия во рту появлялась сладкая слюна, и всего Беляева охватывала предпраздничная дрожь.

У него не было телевизора и он не хотел его иметь. Не было по той же причине радио. Была "Спидола", но мать ее забрала. И телевизор, и радио - род вмешательства, причем довольно бесцеремонного, внешнего мира в твой особый, единственный, неповторимый мир. Если бы сейчас по Москве ходил и проповедовал Иисус, то, вероятнее всего, он догадался бы использовать современные средства коммуникации. Библия - телевидение времен Римской империи! Идеологичность библейских текстов неоспорима:

"И Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет больше тревожиться, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде...", "И кто подобен народу Твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог..." Да, не умрут

евреи от скромности, думал Беляев. Чем меньше народ, тем самонительнее. Даже неприятно. Миллион Израилев на территории России по площади поместится! Однако в Евангелии от Матфея, правда, по отношению к людям, а не к нациям, сказано: “Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот возвысится”...

Размышляя за и против, Беляев ходил не спеша из угла в угол полутемной комнаты, затем пошел на кухню, где свет был погашен и стоял необычайный аромат жарящегося гуся. Беляев включил свет, открыл духовку, взял тряпку, чтобы не обжечь руки, и выдвинул противень. Поверхность гуся со всех сторон зарумянилась. Беляев на минуту задвинул противень, налил полстакана воды из чайника, вновь выдвинул противень и осторожно вылил воду на гуся. Пар еще не успел подняться, как духовка была закрыта.

Беляев повторял про себя: “Кто возвысится, тот унижен будет. Кто унижен будет, тот возвысится. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а униженный - возвысится, а возвысившийся - унижится...” Ему казалось это какой-то морской волной, приливами и отливами, возвышениями, унижениями, возвышениями... Вот оно равенство: всех подравнять, кроме Христа, сына Давидова и избранного народа его. Но что-то тут не вязалось: по всей просвещенной Европе неужели не нашлось ни одного Беляева, который бы засомневался в священности библейских текстов. Нашелся, конечно нашелся, товарищ Беляев! Нашелся, да еще какой - Адольф Хитлер! Именно “Хи”, а не “Ги”. И чем это кончилось, известно...

В коридоре показался сосед Поликарпов со своим мясом на разделочной кухонной доске.

- С наступающим! - приветствовал он.

- И тебя также!

Поликарпов остановился.

- Слушай, Колька. Я тебе не хотел раньше срока говорить... К февралю мне квартиру дают. Понял?

У Беляева мгновенно улучшилось настроение, хотя и без того: с гусем, с Христом, да с елкой, да в одиночестве! - было прекрасное.

- Понял! - воскликнул он.

Поликарпов ткнул его кулаком в бок и пошел на кухню. А Беляев завелся. Флоренский встал на полку. Христос поставлен в

угол до выяснения. Итак, у Поликарпова двадцать метров на четверых: он, жена, старуха, его мать, и сын в армии. Дадут ему двухкомнатную. Впрочем, одернул себя Беляев, что он за Поликарпова беспокоится. Поликарпов останется с Поликарповой. А Беляев с кем? Положим, сейчас здесь мать прописана. И им, как разнополым, дадут эту двадцатиметровку. А могут и не дать. Соседка Рогачева - одна. А вот Моисеевых - трое. Трое, но все женщины, и дома не бывают. Бабка прописана тут, а живет на Плющихе с дочерью, а тут - две ее других дочери. Но живут где-то у мужей, а за площадь держатся. Конечно, правильно они делают, что держатся. Но и Беляев держится. Однокомнатную он бы давно себе сообразил. Но, спрашивается, зачем торопиться. Эта квартира должна быть его! Есть разница: с одной стороны Неглинка, а с другой - какое-нибудь Бирюлево-товарная?! Но дело даже не в этом. Если бы в Бирюлево-товарной стоял этот великолепный, семнадцатого века двухэтажный особняк, то Беляев бы и из Бирюлева не поехал. Вот в чем дело. Это сейчас кажется - коридор обшарпанный, обои засалились и оборвались, пол скрипит, двери износились... А пройтись здесь с бригадой, да паркет новый положить да люстры повесить в коридоре и в комнатах поярче... Резиденция патриарха будет, а не квартира! Неужели этот Поликарпов сам не смекает, что ему бы здесь расшириться? Наверно, не смекает. Их тянет в новую квартиру. А что это такое, Беляев прекрасно знает: бетономешалка! Здесь же кирпичная кладка на яйце!

Поговаривают, из центра выселять все равно будут. Но если покрутиться, постараться - не выселят. И тут - мысль в голову: позвонить Лизе. Без какой-то связи! Хотел ведь быть один. Хотел, но жизнь продиктовала свое.

Он набрал номер.

- Попросите, пожалуйста, Лизу, - не услышав еще, кто взял трубку, сказал Беляев в волнении.

- Это я... Коля?

- Да. С наступающим! - выпалил Беляев.

- Тысячу лет тебя не слышала! - порадовалась Лиза. - Где ты, в компании? С кем? Комаров где? Пожаров?

- При чем тут Комаров с Пожаровым?

- Ты где?

- А ты? - издевался Беляев.

- Как где? Дома...

Пауза длилась чуть дольше ожидаемого.
- Я развелась, ты знаешь?
И у Беляева отдалось в голове: знаешь, аешь, аешь, ешь...
- Нет, конечно. Могла бы позвонить!
- Это мужчине нужно делать, - пропела Лиза, и он на расстоянии увидел ее влажные губы, и ему ужасно захотелось ее.
- Я один.
- Один?
- Да, Лиза. Я один. И - гусь в духовке. Такой огромный, с яблоками... Я боюсь, что не осилю его... Приходи помогать? А?
- Подожди!
Она, по-видимому, положила трубку и побежала совещаться с матерью, или с сыном? Сколько ему, интересно? Года три?
- Я приду через полчаса, - вновь услышал он голос Лизы.
- Молодец!
- Уложу Колю и приду. А то он без меня плохо засыпает.
У Беляева сердце ушло в пятки.
- Кого ты уложишь? - спросил он.
- Колю...
- Его Колей зовут?
- Колей... Жди! - и сказав это, повесила трубку. И даже частые гудки были очень приятны Беляеву.

Он что-то замурлыкал себе под нос и побежал в комнату накрывать на стол. А кто всему виной? Какой-то сосед Поликарпов! Беляев тщательно выбирал из нескольких, а потом и расстилал скатерть. Ему казалось, что он готовится к самому торжественному событию в своей жизни, и без того полной событиями, которые, накладываясь одно на другое, и составляют эту жизнь, поскольку не может же так быть, чтобы жизнь шла без событий. Наблюдая за собой как бы со стороны, Беляев догадывался, что и самое торжественное событие уйдет в прошлое, ступается и, быть может, именно от этого чувства эфемерности любых событий в нем и разгоралась всегда радость сердца, потому что за любым из событий следовало новое, и это новое, неизвестное всегда придавало его жизни огромный смысл. Но также он уже знал и то, что очень сильно обжигающее, слишком быстро забывается. Или точнее так: что очень сильно обжигает, то слишком быстро забывается. Помнится долго лишь то, что построено по принципу айсберга: событие отдаляется, а ты видишь все новые и новые глубины в нем.

Раздался звонок в дверь. Беляев бросился открывать. Лиза вошла шумно и бойко:

- Ой, держи скорее, а то уроню!

Беляев подхватил огромный, со сковороду, сверток. То был домашний пирог, открытый, с малиновым вареньем, с румяной решеткой из сдобного теста. От него пахло счастливым детством.

Лиза была в состоянии подчеркнутой веселости. Быть может, когда шла сюда, то лицо ее было задумчиво и строго. Но перед самой дверью она сосредоточилась, растянула рот в улыбке и только тогда позвонила. А может, просто была весела весь день в предчувствии праздника. Что за идиотский праздник? Улыбаются, смеются, забывают горести и обиды, хором думают о счастье. С ума сойти можно, что за праздник! Зима, елка, год позади, год впереди. Торжественное ожидание, что вот-вот что-то произойдет замечательное. Вряд ли сыщешь по всей стране человека, который бы так или иначе не отметил Новый год. Уму непостижимо! Выпиваются моря шампанского и других напитков. Наверно, в новогоднюю ночь в стране столько выпивших, сколько произведено стаканов... фужеров... бокалов... рюмок... стопок...

Лиза сняла пальто, расправила и без того прямые плечи (осанка балерины), спросила:

- Как я тебе в новом платье?

Беляев увидел что-то в высшей степени оригинальное, темносинее, с чем-то белым и красным, сущий цветник, вызывающе красивое.

- Ты прекрасна! - с долей патетики сказал Беляев. - Именно в этом платье завершается круговорот годовой жизни, если у круга можно найти начало или конец...

Лиза зажмурилась и подставила щеку для поцелуя. Потом она села на диван, положила ногу на ногу, распустила "молнию" на сапоге, сняла его, затем теплый носок, и надела на маленькую ножку черную, лаково поблескивающую туфлю на высоком тонком каблучке. Поставила ногу на пол и потопала этой туфелькой. То же самое было сделано с другой ногой. Глаза Лизы заблестели вдохновением, лицо зажглось, она достала из сумочки зеркальце и, когда подносила его к лицу, заметила в нем отражение горячей елки.

- Какая маленькая! - воскликнула Лиза, останавливая на елке свой взгляд.

Она вошла и не заметила елку, подумал Беляев. Она сильно волновалась, когда вошла, поэтому не заметила елку. В Новый год многие не замечают елку. Чувствуется, что должна быть елка и все. Скорее замечаешь обратное, когда елки нет. А тут елка, как и положено, стояла. А то, чему положено быть, никогда не замечаешь. Не замечаешь батарею, не замечаешь утро и солнце, не замечаешь воду в кране, газ в плите, не замечаешь снег, стул, диван, шкаф, ложку... Не замечаешь, что у человека два глаза, у кошки - хвост, у стен - уши, у дна - крышка, у лампочки - спираль, у человека - скелет...

Беляев рассмеялся и побежал на кухню за гусем. Лиза тоже непринужденно засмеялась, как будто увидела скелет Беляева, убежавшего без него на кухню. Она встала, подошла к письменному столу и полистала книгу, не вглядываясь в строчки. Книга была старая и в ней было много страниц, а переплет был кожаный, или под кожу, с глубоким тиснением. Затем обвела взглядом книжные полки. Она протянула руку и пальцем с длинным алым ногтем провела по корешкам, как по зубьям расчески.

И отошла, заложив руки за спину. Затем приблизилась к столу, взялась за края скатерти распахнутыми руками, дунула на нее и встряхнула.

Беляев внес пышущего на большом блюде гуся.

- Ой! - воскликнула Лиза. - Какая прелесть!

- Для тебя старался.

- Не ври!

- Какой резон мне врать? Старался для тебя. Когда покупал этого гуся, то думал о тебе. Думаю, куплю гуся и приглашу Лизу. Зажарю его в духовке и приглашу, - посмеиваясь, говорил Беляев.

- Нет, правда?

- Правда.

Лиза захлопала в ладоши.

- У меня дело к тебе есть, - сказал вдруг Беляев.

- Какое?

- Давай распишемся!

- Шутишь? - Пришла она в себя.

- Нет, говорю серьезно.

Они накрывали на стол, потом сели за него.

- Шутишь? - пришла она в себя.

- Нет, говорю серьезно.

Они накрывали на стол, потом сели за него.

- Ты хочешь сказать, что мы будем мужем и женой? - спросила она.

- Разумеется.

Выпили по рюмке коньяка, проведив старый год. Некоторое время просидели в тишине, позвякивая вилками о тарелки.

Вдруг Беляев взглянул на часы, сорвался с места, достал из холодильника шампанское и начал скручивать с него проволочку, срывая попутно серебристую фольгу.

Раздался глухой шлепок, пробка полетела к елке, брызнула пена и газированная светло-янтарная жидкость наполнила два хрустальных фужера.

Все так знакомо, и все так ново!

- С Новым годом! - воскликнул он и подмигнул Лизе.

- С Новым счастьем! - отозвалась она, розовея.

Видно было, что ей крайне льстило и это приглашение, и, главным образом, предложение о законном браке.

- Ты много читаешь? - спросила она.

- Достаточно.

- Все подряд?

- Практически. В самом чтении нет никакого смысла, есть лишь увлекающий в иной мир процесс...

- Разве могут книги быть без смысла?

- Могут. Все книги без смысла. Но многие из них увлекают процессом, читаешь, читаешь и зачитываешься, потом бросишь и забудешь.

- Да, я тоже плохо помню содержание книг.

- Не стоит этим себя утруждать. Забывчивость присуща человеку. Но чем меньше напрягаешься, тем легче запоминаешь. Но помнишь до поры до времени. А потом - затмение.

Они немного помолчали, затем Лиза сказала:

- Верка родила второго ребенка!

- Она давно замужем?

- Давно. Отличная девчонка, жаль Пожаров не разглядел ее.

- А я тебя?

Лиза опустила глаза в тарелку.

- А девочку она назвала Варей.

- Хорошее имя... Ты работаешь?

- Да. В одной воинской части.

Беляев округлил глаза.

- И там - казарма, солдаты? Танки-пулеметы?

- Нет, что ты, - улыбнулась Лиза. - Институт один.

- И что же ты там делаешь?

- Начальник участка оперативной полиграфии, - чуть-чуть гордо сказала Лиза, отпила из рюмки глоточек коньяку и взяла лимон.

- Ксероксы?

- Есть ротапринты, есть и ксероксы... Книжки по вязанию делаю в свободное время... Разные выкройки. Подруги просят.

- Ты вяжешь?

- Научилась. Но не очень люблю. А вообще, успокаивает.

- Все женщины вяжущие так говорят. Семечки тоже, говорят, успокаивают. Грызешь, плюешь шелуху на пол и успокаиваешься.

- Ну и сравнение у тебя.

- А что?

- Кто же сейчас грызет семечки?

- Я не грызу.

- И я!

Оба рассмеялись.

Беляев встал, зашел к Лизе со спины и обнял ее. Она вздрогнула и закрыла глаза.

Он склонился и нашел ее губы.

- Какой у тебя сладкий рот! - сказал он.

Лиза засмеялась звонко и тоже встала.

- Как хорошо! - мечтательно сказала, часто дыша, Лиза. - Как я люблю Новый год, снег, мороз!

- И я люблю.

- Поцелуй меня, - сказала она и вновь закрыла глаза.

Он взял ее голову в свои ладони и поцеловал бережно, как ребенка. В ее присутствии он принадлежал себе как бы наполовину. Находясь в одиночестве, он полностью уходил, погружался в себя, спадало нервное напряжение, которое постоянно в нем возникало, когда рядом с ним находился кто-то, пусть даже мать. Он понимал, что в одиночестве та энергия, которая уходила на оборону себя от окружающих, полностью переключалась на внутреннюю работу, а физиологически он расслаблялся.

Это чувство было неподконтрольно. По-видимому, в человеке заложен инстинкт некой самообороны, или встроены в него некие

локаторы, которые при обнаружении излучения поля другого человека, дают команду всему организму быть настороже. Но и настороженность бывала в Беляеве разных качеств. Примитивно эту настороженность можно определить как положительную и отрицательную.

И теперь с Лизой, хотя он внешне старался казаться раскованным, нервное напряжение не покидало его, хотя доставляло Беляеву определенное удовольствие, потому что положительное нервное напряжение кроме удовольствия вряд ли могло вызвать что-нибудь иное. И он понемногу стал догадываться, что жизнь состоит из энергетических напряжений разных качеств и оттенков. Человек же по своей ипостаси не электрическая батарея, где есть четко выраженные плюс и минус.

Иногда нервное напряжение было таких сложных свойств и оттенков, что казалось - перемешались приязнь и неприязнь, симпатия и антипатия, радикализм и консерватизм, любовь и ненависть. Обладая минимальными способностями самоанализа, человек может легко уловить в себе эти клубки чувств, эти сгустки психологической неуравновешенности.

Баланс чувств практически невозможен: постоянно довлеет либо, грубо говоря, хорошее, либо плохое. Время от времени Беляеву удавалось разгадывать причины перепадов настроения и по ним достаточно конструктивно определять свое отношение к людям. Но бывали случаи сложные, клинические, не поддававшиеся диагностировке, как это было в случае с Лизой. Умом Беляев понимал, что по всем параметрам в нынешнем своем положении она ему была не пара, однако... "Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороную. За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там. И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими; а сначала не было так; но Я

говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует”, - читал Беляев у Матфея. “Опять собирается к Нему народ; и, по обычаю Своему, Он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая Его: позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ: что заповедал вам Моисей? Они сказали: Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ: по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь; В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочел, того человек да не разлучает. В доме ученики Его опять спросили Его о том же. Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует”, - поведал Беляеву Марк. “Всякий разводящийся с женою своею и женящийся на другой прелюбодействует; и всякий женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует”, - узнал он от Луки. А Иоанн взял все это и перечеркнул: “Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он восклонившись сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Он сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши”.

Обуюдоострый меч! На все случаи жизни. Была бы жизнь, и были бы действия, а судия найдется,

- Ты о чем-то думаешь, - спросила Лиза.
- Я думаю о тебе, - сказал Беляев.
- И что ты обо мне думаешь?

- Что ты седьмой лепесток розы! - воскликнул он и, подумав, начал: - Потому что совершенны небо и земля и все таинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, и почил в седьмой день, и благословил Бог этот день, и освятил его... А перед тем, в шестой день, Бог сотворил человека по образу Своему, мужчину и женщину. И прекрасна была женщина, как роза, и ты - среди пышных лепестков женских - седьмой лепесток, как седьмой день, в который Бог любовался созданиями своими...

- Это ты сейчас придумал? - спросила Лиза, чувствуя прилив сильного, какого-то экзальтированного чувства к нему.

Глава XII

Лиза засмеялась, взяла его руку и прижала к своей щеке.

- Ты меня любишь?

- Люблю! - не задумываясь, выпалил он.

- Не верю!

- Что сделать для того, чтобы ты поверила? Лиза, не мигая, уставилась на Беляева, губы ее открылись и меж белых зубов показался нежный язычок.

- Не нужно верить, - сказала она. - И так все видно. Любви не скроешь. Глаза все говорят.

- Верить все-таки нужно.

- Не знаю.

Он погладил ее руку, потом чуть сжал ее пальцы.

- Поцелуй меня, - попросила она.

Он различил в поцелуе вкус ее губ. Когда Лиза вдыхала в себя воздух, у Беляева возникало ощущение холода, а при выдохе он чувствовал струю теплого воздуха.

Ее губы пахли снегом.

- О чем ты думаешь? - спросила она.

- О тебе, конечно.

- Почему "конечно"?

- Потому что - о тебе.

- Мне приятно, что ты думаешь обо мне. А что ты думаешь обо мне, интересно?

- То, что ты мне нравишься.

- Нравишься или люблю?

- Скорее, люблю.
 - Зачем ты все время произносишь лишние слова?
 - Какие?
 - Ну, эти “конечно”, “скорее”? Неужели ты не можешь обходиться без этих лишних слов?
 - Конечно, могу.
 - Опять?
 - Что “опять”?
 - Да это твоё “конечно”!
 - Ладно, не буду.
 - Скажи просто - не буду. Без “ладно”.
 - Не буду.
- Он обнял ее и привлек к себе.
- Ты мне родишь ребенка? - вдруг спросил он.
 - Так сразу?
 - Безотлагательно. Желательно, завтра же. Учащенный ритм их дыханий слился воедино.
 - Это невозможно, потому что должно пройти девять месяцев...
 - Ты согласна родить? - повторил он свой вопрос.
 - Хочу!

Он был с нею чрезвычайно нежен, но и в этой нежности Лиза ощущала свою подчиненность, которая, впрочем, доставляла ей определенное удовольствие, чисто по-женски. Может быть, умом она бы не желала быть зависимым человеком, но женская природа делала ее таковой, помимо воли, помимо рассудка. Так! Он слишком сильно, до режущей боли, сжимал ее груди, мял их в каком-то диком экстазе, мял ее всю, вгрызался так, словно она была гранитная, придавал ее ногам, рукам, всему телу какие-то невыносимые положения, от которых и у него, и у нее просто захватывало дух, как будто они, свившись в клубок, летят в пропасть, но вдруг у них вырастали крылья, и падение, стремительное падение оканчивалось взлетом, неимоверными взмахами крыльев, и начиналось плавное парение, после чего начинался стремительный набор высоты, они перелетали через скалы, чтобы с каким-то трагически-радостным криком вновь ощутить сумасшедшее падение, столь молниеносное, что, казалось, еще одно мгновение и они насмерть расшибутся о скалы, но у самого дна ущелья они ухитрились делать мертвую петлю и выходить из пике, дабы набирать но-

вую высоту, недостижимую в представлении и достижимую в решительном действии, действии, которое опрокидывало все теоретические знания о любви, все описания эротических состояний, поскольку если бы люди довольствовались только теориями в этой области, то они бы никогда не стали людьми в полном смысле этого слова, потому что человек прежде всего существо рождающее, а не погребаящее. Хотя тут же в голове Беляева пронеслось, что человек - это то и другое: и рождающее, и погребаящее, и, возможно, воскресаящее.

Она надела его рубашку, пришедшуюся ей почти что до самых колен, и села к столу. Беляев обвязался полотенцем и тоже сел. Лиза налила по рюмке коньяку. Они с радостью выпили, чтобы утолить жажду и набраться сил. Лиза шелестела фольгой шоколада, ломала его тонкими пальцами с алым маникюром и кормила Беляева. Он, как тихое животное, жевал и постанывал от удовольствия. Затем он стал ломать шоколад и кормить Лизу. И она, подобно бессловесному животному, жевала и постанывала. Шоколад они заедали яблоком и лимоном.

- Ты не можешь сказать, с каких лет ты помнишь себя? - спросил Беляев, любуясь жующим красным ртом Лизы.

- Не помню.

- А я помню себя, наверно, с момента зачатия! - вдруг выпалил он. - Какое-то странное чувство темноты первой памяти иногда возникает во мне. Это я бы назвал - темной памятью. Как будто бы я был свидетелем своего зачатия...

- Невероятно! - улыбнулась Лиза, губы ее становились коричневыми от шоколада, изредка она облизывала их языком.

- Это странное чувство, которое приходит ко мне довольно-таки часто. И я со стороны вижу мою мать и моего отца. И у меня возникает немножко медицинское чувство. Знаешь... когда у кого-нибудь рана, или человеку делают операцию, все твои чувства как бы атрофируются, остается лишь одно - брезгливая необходимость. Понимаешь?

- Понимаю.

- И вот я думаю, что наш ребенок видел нас с тобою, и что у него сейчас возникло это чувство брезгливого безысхода... Его вроде бы нет, ребенка нет, и в то же время он уже есть, присутствует, сейчас выйдет и с ужасом спросит: что вы делали в постели? Почему так это по-животному, так дико, так варварски. Как вы могли

при мне выставить напоказ все свои члены, все свои мерзкие места? И что мы скажем с тобою в ответ?

- Ты говоришь черт знает что! Ты нарушаешь всякую последовательность! Ребенок со временем сам догадается, что для чего у него существует. Об этом не говорят. Мне, как и любой женщине, каждый день нужно подмываться, но я же не говорю об этом во всеуслышание! И тебе с медицинской точки зрения, - вдруг смело сказала она, глядя прямо ему в глаза, - нужно каждый день мыть с мылом свой орган! Но мыть и говорить - совершенно разные вещи. Ты должен каждый день принимать ванну, но не говорить об этом. Это великое ханжество, по-моему, присущее только русским, с презрением говорить о любви.

- Ты для меня сделала откровение! - изумился Беляев, теряя всякую надежду на новое возбуждение. - А ты - не русская?

- Русская! И считаю, что все проблемы деторождения, извращений, уродств идут от этого, от фанатического отвержения любви... Вся литература провоцирует к этому... За неудачной любовью-стреляться, после измены - в реку! Переоценка такой обычной вещи, как любовная жизнь, недопустима, - это уже говорила не просто Лиза, а мать, мудрая женщина. - Без любовной жизни - нет этой самой жизни, нет ее полноты! Это же элементарная физиология, как то, что мы едим, что, случается, заболеваем, да так, что не контролируем свои физиологические отправления. Да как я у Кольки возьму ползунки и скажу ему, что ты негодяй наделал, испачкал все штаны. Да он ничего не поймет! Будет прыгать в своей кровати, стоять у бортика, держаться за него и прыгать... Два зуба вперед! И протянет еще ручонкой мокрую пеленку!

Беляев с некоторым испугом слушал ее, сжимался и понимал, что эта женщина его вещью никогда не будет. Но ведь было, было ощущение вещи!

- И к тебе, Николай, пришла, потому что ты мне мил, потому что я хочу отдавать тебе все! Поэтому у нас может что-то склеиться. Не хочу вспоминать своего мужа. С ним ничего не клеивалось. Я хотела, а он спал рядом. Я тебе сознаюсь, Коля, раз уж ты решил на мне жениться, что я любвеобильная, люблю любовь любить, и говорю тебе об этом прямо. Если мы этот вопрос не решим, то остальное - мельтешенье! - она взяла бутылку и налила себе, а затем ему. - Это и есть - любовь, это и есть - семья! Нужно бежать домой для того, чтобы встретиться с тем, с кем ты нетерпеливо хочешь

броситься в постель, чтобы любить, и доставлять друг другу удовольствие. Ты мне его, любимый, доставляешь!

Она встала. Незастегнутая рубашка разошлась. Беляев увидел впадинку между грудями, живот... Лиза подошла к нему, взяла в руку край полотенца, закрывавшего бедра Беляева, и одним движением сдернула его. Только теперь Беляев догадался, что Лиза была пьяна. Да и он ощущал легкое опьянение.

- Ох, как же я люблю тебя, любимый, - забормотала Лиза, взяла его за руку и потянула.

Он ощутил прикосновение ее губ к своему плечу, и вместе с ней зарылся в снежной белизне простыней и пододеяльников... Он гладил волосы Лизы, гладил ее спину и восхищался ею, ее смелостью, ее прямоотой и беспощадной жизненной логикой.

Крылья ангелов подхватили их, как снежные звездочки, и понесли в круговерти метельных снов, свершающихся наяву.

Он открыл глаза, и увидел, что уже утро, что за окном светло и что в комнате горит свет. Лиза спала. Ее волосы разметались по подушке, губы были приоткрыты, она улыбалась во сне. Некоторое время Беляев неотрывно смотрел на нее и любовался ею. Она была тревожно-очаровательна. Он тихо встал, потянулся, выключил свет, погасил гирлянду на елке. Открыл бутылку шампанского, початую, в которой оставалось чуть меньше половины, налил себе полфужера и с удовольствием выпил. Затем надел трусы и накинул старенький халат, в котором еще когда-то ходил на уроки труда в школе, и который ему был сильно мал.

Сходил на кухню, поставил чайник и все думал о том, что говорила Лиза, какая она стала опытная и другая. Он немного побаивался теперь ее, но эта же боязнь толкала его к ней. Соседи уже пробудились, шастали по квартире, кто-то сидел в уборной, Поликарпов брился в ванной. Беляев попробовал свою щетину ладню и тоже решил побриться. Когда он это проделал следом за Поликарповым и вернулся в комнату со вскипевшим чайником, Лиза еще спала. Беляев сел за письменный стол, открыл книгу, но не читал, а лишь рассматривал черные знаки, их начертание, расположение на полосе, отбивку абзацев, пробелы между строками. Затем встал, подошел к Лизе, глаза ее не открылись. Она со сладкой улыбкой шевелнулась как бы во сне и повернулась на спину. Беляеву показалось, что она проснулась, но не хотела показывать это и не открывала глаз.

- С добрым утром! - сказал он.

- Приляг! - с ленивой страстью шепнула она.

Они привели себя в порядок в первом часу дня.

Лиза подкрасила губы и оделась. Они вышли на улицу. У подъезда Беляев, чуть не упал, поскользнувшись, и шапка упала с его головы. Надевая ее, он сказал:

- Смогу ли я съехать с бульвара?

- Ха-ха-ха! - громко рассмеялась она. Маленького Колю она вывела в шубке, подпоясанной армейским широким ремнем.

Беляев склонился к нему, рассмотрел синие глазищи.

- Мой папа офицей! - прокартавил Коля, ударяя по снегу лопаткой.

- Офицей! - переспросил Беляев, подлаживаясь под ребенка.

- Фицей, фицей, - согласился Коля, укоротив слово еще и на "о".

Лиза в глазах Беляева теперь окончательно и бесповоротно заматерела, как колхозница на скульптуре Мухиной.

Беляев перехватил у нее веревку санок. Они пошли на бульвар. Прохожих еще было немного. Видимо, спали, отходили после праздничной ночи. Был морозец, светило солнце. И была напряженность в душе Беляева от появления в поле его действия нового человека, пусть маленького, но все-таки. И этот маленький был более независим, чем большой Беляев. Маленький не вникал в тонкости переживаний Беляева. Да и, разумеется, не мог вникнуть в силу ряда объективных причин, одна из которых бросалась в глаза - его трехлетний возраст. Видимо, думал Беляев, он в своем возрасте владел абсолютной свободой. Конечно, внешний мир его связывал. Но он этого не понимал. Он обладал внутренней свободой. Не обременен был условностями человеческого общения.

А свобода - это воздух. Воздух может быть жарким, а может быть холодным. Стало быть, свобода включает в себя разное, от плюса до минуса. Далее Беляев не стал думать на эту тему, потому что об этом можно думать всю жизнь.

- Тламвал! - воскликнул Коля, увидев дребезжащий трамвай.

- Трамвай, - поправила Лиза.

- Трамвал! - твердо сказал Беляев и засмеялся. Маленький Коля тоже засмеялся. Ему понравилось, что Беляев его поддержал и не стал поправлять.

- Тламвал! - крикнул Коля и шлепнул лопаткой по санкам.

- Трамвай!

- Трамвал!

Все дружно рассмеялись. Они вышли на бульвар и остановились внизу спуска, чтобы мальчик сам мог кататься, не развивая большой скорости и не улетая далеко.

- Он упрямый, - сказала Лиза. - Не хочет говорить правильно, а ты ему потакаешь...

- Он не хочет быть правильным, потому что он свободен, - сказал Беляев, наблюдая за тем, как мальчик съезжает с небольшой горы.

- Не поняла?

- Люди сами для себя написали столько правил, что заковали себя в цепи... Мораль, право, этикет... А ребенок всего этого не знает. Поэтому он свободен...

Зимнее солнце блестело над бульваром. От заснеженных черных деревьев на снег ложились четкие тени. На черной ограде сидела ворона, нахохлившись. Казалось, что она наблюдала за Беляевым и Лизой. День был белый и немного грустный. В душе появилось странное чувство, сходное с чувством утраты. Конечно, это утрата: год ушел, улетел, скончался. Новый год - празднично-похоронный праздник, догадался Беляев. Поэтому он начинается за здравие, а кончается за упокой.

Румяные яблоки щек мальчика, блюдца голубых глаз.

Лечу с горы, качу с горы!

Беляев что-то забормотал себе под нос.

- Что ты? - заметив шевеленье его губ, спросила Лиза.

- Послушай, - сказал он и прочитал:

Людей теряют только раз,
И след, теряя, не находят,
А человек гостит у нас,
Прощается и в ночь уходит.

А если он уходит днем,
Он все равно от вас уходит.
Давай сейчас его вернем,
Пока он площадь переходит.

Немедленно его вернем,
Поговорим и стол накроем,
Весь дом вверх дном перевернем
И праздник для него устроим!

- Здорово! - воскликнула Лиза. - Давай тоже устроим праздник! Мне нравится быть с тобой, и сидеть с тобой за столом, и смотреть на тебя. Давай опять накроем стол!

- Давай! - воодушевился Беляев, чтобы погасить в себе чувство утраты. - Я сбегая на рынок, а вы тут ждите, катаетесь!

О, чудесный момент посещения московского рынка! О, это буйство красок среди заснеженного пространства! Лаково-красные, тяжелые помидоры...

- Почему?

Так, спрашивая, обойдя все ряды, Беляев уловил конъюнктуру, купил пару сумок в галантерейном киоске и пошел по второму кругу: покупать. На дно сумки ложатся только что вымытые, мокрые огурцы, пахнущие свежестью, от которых тут же пробуждается зверский аппетит. На них укладываются красные помидоры. Сверху - салат, петрушка, укроп, зеленый лук. Во вторую сумку Беляев набирает мандаринов, желтых, как цыплята, несколько крупных лимонов, красных, как щеки малыша, яблок, сочных огромных груш.

Здесь же покупается гроздь черного винограда, такого, что кажется только час назад эта кисть срезана с лозы.

Увидев виноград, малыш задрожал от нетерпения.

- Дай!

- Нужно помыть, потерпи! - прикрикнула на него Лиза.

- Дай! - настаивал Коля.

Лиза протерла несколько ягод платком. Малыш мигом их проглотил и потребовал новые.

Беляев молча спрятал виноград в сумку. Малыш взглянул на него вопросительно, подумал, и просить не стал. Его отвели домой, снабдили фруктами.

В комнате Белева было мягкое зимнее освещение.

Отварили картошку. Разрезали пополам несколько помидоров. Точно так же поступили с огурцами. Лиза разложила вымытую зелень, среди которой поблескивали белоснежные, свежие, сочные маленькие головки зеленого лука. Беляев достал из холодильника холодную бутылку "Столичной", со слезой.

Нарезали черный хлеб.

Водка налита в рюмки, которые невозможно было долго держать - мерзли пальцы. Пришлось немедленно выпить, макнуть зеленый лук в солонку и захрустеть им. А потом, обливаясь соком, откусить половину разрезанного помидора. Следом с тем же хрустом, что и лук, попробовать круто посоленную дольку зеленого огурца. И тут же, без промедления, бросить в горячую картошку кусок сливочного масла, посыпать ее укропом... И еще налить, и еще раз выпить!

- Я никогда не испытывала такого удовольствия от еды! - сказала Лиза с чувством.

- Представь себе, я тоже, - сказал Беляев.

- А я подумала, что ты так всегда теперь празднуешь. Это же очень дорого.

- Дорого, - согласился он, обжигая рот картошкой.

- Ты много зарабатываешь?

Пауза.

- А вот об этом, - строго ответил Беляев, - ты никогда меня спрашивать не будешь. Согласна?

Лиза удивилась, пожала плечами, и что-то в ее настроении в этот момент сломалось.

- Согласна, - вяловато ответила она.

Он почувствовал эту перемену и сказал:

- Не обижайся... Это жизнь. И она измеряется не одним днем... Ты хочешь жить со мной? Может, ты передумала? Нет?

Лиза с некоторым усилием улыбнулась. Почему-то ей казалось, что семейная жизнь должна состоять из откровений, то есть муж должен все о себе рассказывать жене, а жена - мужу. Но Беляев довольно-таки бесцеремонно, как ей показалось, поставил ее на место. Не грозит ли ей это впоследствии?

- Я знаю, сколько требуется денег для ведения хозяйства, - начал он, но споткнулся, понимая, что пошел не туда в этот праздничный, первый день Нового года.

- Сколько? - с язвительным подтекстом спросила Лиза, но Беляев уже, как говорится, поставил другую пластинку.

- Давай выпьем за понимание того, что мы не должны отравлять друг другу жизнь расспросами!

И еще раз налил. Он поднес рюмку к ее рюмке, посмотрел Лизе в глаза, улыбнулся и подмигнул. Они выпили.

Лиза выглядела рассеянной.

- Так, - сказал Беляев, - обиделась.

- Ничего я не обиделась. Наверно, устала.

Он взял нож с тяжелой мельхиоровой ручкой, потом взял яблоко, посмотрел на него, покрутил в руке, потом разрезал и половинку протянул Лизе.

После этого сосредоточенно стал чистить мандарины и размывать их на дольки.

- Я многое в своей жизни связываю с тобой, - сказал он глухо.

- Тебе, я чувствую, не чужда практичность. Где бы ты хотела жить? Конечно, со мной?

- Надо подумать...

- Думать некогда. Нам нужно идти в загс. Мы должны думать о будущем сейчас, в эту минуту. Ты согласна?

- Согласна, - чуть бодрее ответила Лиза. - Но что за спешка?

- Что? - спросил он, встал, взял ее за руку и потянул из комнаты: - Пойдем, посмотрим.

Они вышли в коридор, и Беляев говорил об этом огромном коридоре, затем показал Лизе кухню, пятнадцатиметровую, потом ванную, предложил заглянуть в туалет с трехметровым потолком... В общем все, что составляло коммунальную квартиру, с ее хламом, велосипедами и корытами на стенах, с сундуками и корзинами вдоль них, с коммунальным телефоном, с выбитым паркетом, с гудящим счетчиком электроэнергии...

- Стоит побороться за эту квартиру? - с каким-то азартом шептал Лизе Беляев.

Она пожимала плечами и говорила:

- Наверно, стоит.

- Дурочка, это все будет наше! - восклицал он.

- Наше? - переспрашивала Лиза, как глухая, пытаясь вникнуть в ход рассуждений Беляева. - Но здесь же так грязно... Какая-то казарма...

- Мы ее превратим во дворец!

- Вряд ли, - сказала она, когда они вернулись в комнату. - Куда денутся эти соседи? Ты что думаешь, они так просто тебе освободят эту квартиру? Жди!

- Я ждать не буду, я буду действовать!

- Каким образом?

- Увидишь!

Лицо Комарова сияло радостью, он держал граненый стакан в перепачканной нитроокраской руке, но пить не спешил, потому что предыдущий стакан уже вызвал в нем эту радость. Вельветовая кепка-шестиклинка с пуговкой лежала на ящике, и Беляев видел появившиеся залысины на его голове. Они сидели в гараже, в котором Комаров красил, как он говорил, старую галошу. То была списанная из такси “Волга”, многая из тех, что уже прошли через руки компаньонов.

- А может, махнешь грамм сто? - спросил Комаров.

- С какой стати? - буркнул Беляев. - И тебе не советую увлекаться.

Комаров почесал голову с редкими волосами, выдохнул с шумом и залпом выпил полстакана водки. Взял с газетки, расстеленной перед ним на ящике, соленый огурец и закусил.

- Вчера так наврезались, что не помню, как домой явился, - сказал Комаров, шмыгая носом.

От выпитого выступили слезы на глазах.

- Зря ты слез с машины, - сказал Беляев. - Сопьешься.

- Я?

- Ну не я же!

- Это мы еще посмотрим!

Беляев рассматривал старую, битую машину, вздыхал и морщился. Ему не верилось, что из нее что-нибудь выйдет. Собственно, сейчас это был голый каркас, осто, без стекол, без дверей...

- Да не бери ты в голову, - сказал Комаров. - Будет как новая!

В гараже сильно пахло нитроокраской и у Беляева начинала побаливать голова. Он уже сожалел о том, что приехал. Но не приехать было нельзя, потому что Комаров все время кормил по телефону обещаниями. Беляев вышел на воздух. У гаражей снег был притоптан, видны были следы протекторов машин. Сразу же от гаражей начинался овраг, поросший кустарником. Сейчас овраг был занесен снегом и казался девственно чистым. За оврагом, на холме, стояла какая-то деревенька, из некоторых труб над крышами вился дымок. Одна часть неба была в плотных облаках, на горизонте совсем лиловых, другая - сияла голубизной в солнечном

свете. Было холодно и у Беляева мерзли ноги, хотя он был в меховых сапогах.

Из гаража вышел заметно повеселевший Комаров. Беляев, взглянув на него, стал ругать себя за то, что привез водку.

- Что у тебя вообще там случилось, на работе? - спросил Беляев.

- Пошли они в рай! - отчеканил Комаров. - Возить их еще! Морды в телевизор не помещаются! Ненавижу! - заскрипел Комаров зубами. - Две извилины в мозгу, а подавай им черную "Волгу", икру и судаков в сметане!

- А все же? - пропустил это мимо ушей Беляев.

Комаров усмехнулся, махнул рукой, показывая всем своим видом, что прошлое его теперь меньше всего интересует. Не получив ответа, Беляев не стал настаивать на нем.

- Одолжи рублей двести, - вдруг выпалил Комаров и уставился на Беляева, поблескивая глазами.

- У меня нет денег, - сказал Беляев.

- Врешь!

- Сделаешь машину, получишь!

- Ах, вон ты как заговорил! - психанул Комаров и исчез в гараже.

Говорить сейчас с ним было невозможно, и бросать его здесь, в гараже было нельзя. Комаров, выпив еще, вышел через пару минут и сказал спокойнее:

- Аванс ты можешь выдать?

- Не здесь... Давай, закрывай ворота и поехали отсюда! - сказал довольно-таки нервно Беляев.

- Никуда я не поеду! Мне красить нужно тачку... Поеду я! Жди! Через пару часов ребята подойдут, помогут... Егор...

Беляев, поглядывая на заснеженный овраг и на далекую деревеньку, прохаживался у ворот гаража. Снег похрустывал под ногами.

Комаров, в подтверждение того, что ему надо красить машину, включил установку, взял в руку пульверизатор, нажал на курок и черная краска направленной пылью легла на крыло машины.

- Видал? - сквозь смех сказал Комаров.

Однако тут же качнулся и чуть не обдал струей Беляева, который успел сверху положить свою руку на руку Комарова с пульверизатором и нажать вниз. Струя покрасила земляной пол. Беляев выключил установку.

- Закрывай, поехали отсюда! - крикнул он.

- Сказал, что никуда не поеду!

Беляев понял, что тут нужно действовать хитростью, поэтому любовую атаку прекратил, даже налил себе грамм пятьдесят. Комаров воспрянул духом и поддержал. Чокнулись, выпили.

- Вот это по-деловому. А то жмешься, как этот...

Теплая волна на мгновение подхватила Беляева, подержала немного и отпустила. Комаров опустил на ящик и принялся рассказывать анекдоты, но они не трогали Беляева, он лишь из вежливости смеялся.

Вообще он не любил анекдоты, не запоминал их и сам не мог рассказывать. Для этого нужен был какой-то особый, как считал Беляев, дар, простонародный, просторечный. В анекдотах и анекдотчиках он видел пониженный интеллектуальный уровень, чуждый серьезному человеку. А Комаров, закончив один анекдот, тут же начинал другой:

- Приходит Петька к Василию Ивановичу...

Беляев за компанию смеялся.

- Опять приходит Петька...

Беляев усмехался.

- И опять приходит Петька и говорит...

Штук сто этих анекдотов, наверно, выпалил Комаров и, довольный собою, отыскивал в голове все новые и новые. Беляеву это порядком надоело. Он стал догадываться, что люди праздные знают неимоверное количество анекдотов. По-видимому, анекдот - явление типично советское.

- Жрать охота, - досказав последний анекдот, вдруг сказал Комаров. - Appetit пробудился.

Он с грустью посмотрел сначала на остатки водки в бутылке, затем на последний огурец на газете. Прежде чем выпить, он помыл руки в бензине и протер их концами. Пальцы у Комарова были длинные и тонкие. Взяв бутылку, он вздохнул, поделил поровну между своим стаканом и стаканом Беляева, и тут же выпил. Огурец он, сморщившись, разломил пальцами, и когда Беляев жевал его, то чувствовал привкус бензина.

Вдруг у Комарова на лице возникло какое-то мученическое выражение, он схватился за живот и согнулся в пояснице.

- Опять желудок, - простонал он.

Беляев взволнованно смотрел на него.

- Что, плохо? - спросил он.

- Сейчас пройдет, - сказал Комаров. - Собака! Не болит - не болит, а потом как схватит! - Через минуту он выпрямился и сказал: - Кажется, отпустило...

- Тебе пить нельзя, - сказал Беляев, сочувственно глядя на него.

- Мне много чего нельзя. Меня из-за этого в армию не взяли, мне острое есть нельзя, мне пить нельзя...

Он встал и походил по гаражу, сгибаясь и разгибаясь на ходу.

- Это оттого желудок заболел, что водка кончилась! - засмеялся он, каким-то странным образом трезвея. - Я заметил за собой эту вещь: как выпивка подходит к концу, так настроение падает и желудок начинает ныть. Вчера я, наверно, полтора литра один водки засадил... Сам удивляюсь, куда влезает?! Только сейчас более или менее в себя пришел... Кутнуть хочется! Так надоела однообразная жизнь. Дома - стоны, крики, писки. Светка грызет, а сама работу не ищет. Уволилась и говорит, что ей дома больше нравится. Сидит с детьми... Ну, готовит там, стирает... Это хорошо. А где взять денег? Раньше хоть она стельник приносила, а теперь? - спросил он и без перехода: - Дай пару сотен, а? Она себе сапоги купила, да мне шапку. Но я шапку принципиально не надел. Говорю, пока самовольничать не кончит. Без толку. Кричит, визжит...

- Ладно, пошли отсюда!

- Дай пару сотен! Будь другом...

- Зачем тебе?

- В семью.

- Вот Светке я и дам.

- За кого ты меня принимаешь? Мне самому нужно.

- Пошли, пошли, там разберемся, - сказал Беляев, не обращая внимания на уговоры. - Лева, ты слышишь меня? Собирайся, закрывай гараж. Послезавтра доделаешь...

- Завтра! - уверенно отчеканил Комаров и принялся протирать очки о полу куртки.

Беляев хмыкнул, подумал и сказал:

- Завтра ты похмеляться будешь...

Лицо Комарова расплылось в улыбке.

- А ты психолог, Колька! Так поддержи! Запил я, сознаюсь. А что вы все разбежались по углам? Бросили Левку, а? До Пожаро-

ва не дозвонишься, вечно где-то шляется. Ты постоянно занят. Я понимаю: аспирантура-купюра, диссертации-ассенизации, доцент-проценты... Но Левку-то помнить надо? Я спрашиваю? Надо или нет?!

- Надо, надо. Пошли!

- Куда пошли? Сбегай за бутылкой, здесь еще врежем. Здесь нас никто не потревожит. Смотри, - он обвел рукой довольно-таки просторный гараж, - апартаменты!

Беляев опустил глаза в пол и задумался. Через некоторое время, стараясь быть мягче, он сказал:

- Ладно, слушай меня. Сейчас мы отсюда уйдем, я позвоню на кафедре, чтобы меня подменили, а то у меня в два часа лекция, мы возьмем тачку, заедем к моей жене, заберем кое-что, потом перехватим Пожарова и пойдем в кабак...

В знак согласия Комаров упер руки в боки и закружился в цыганочке.

Беляев помог ему вскоре закрыть тяжелые железные ворота. Когда они шли по тропинке к дороге, Беляев спросил:

- Ты где-нибудь оформлен?

- Сторожем на Делегатской. Сутки дежурю, трое свободен.

Комаров шел впереди в своей кепочке-шестиклинке на морозе, ссутулившись, засунув руки в карманы зябкой куртки на ватине. На ногах его были войлочные ботинки на "молниях", как боты. У углового дома стояла телефонная будка с разбитыми стеклами. Пока Беляев дозванивался до института и отпрашивался, Комаров придерживал дверь, чтобы будка проветривалась.

В такси запах был не лучше, казалось, что в нем возили прокисшую квашеную капусту.

- Шеф, тормозни у шашлычной, - сказал Комаров. - Тут по ходу справа должна быть шашлычная.

- Зачем тебе? - спросил Беляев удивленно.

Комаров рассудительно объяснил, привалившись к Беляеву:

- Когда пьешь, то нельзя делать больших перерывов. Нужно как бы держаться всегда на поверхности. Вот представь. Ты плывешь по реке, а тебя тянет ко дну, но ко дну тебе идти не хочется... Ты гребешь, или переворачиваешься на спину, в тебе воздух, ты шевелишь руками и ногами. В общем, держись на поверхности. Так и во время пьянки. Нужно все время держаться на поверхности, а то утонешь. Понимаешь, очень мерзко становится на

душе, когда кайф выходит. Мы договорились, что сегодня гуляем. Завтра я отхожу. Послезавтра - заканчиваю тачку. Ясно, казалось бы. Поэтому через равные интервалы сегодня я должен заправляться, как автомобиль...

И он пустился в объяснения насчет автомобиля и того, сколько ему необходимо горючего для нормальной работы. И так далее. У шашлычной он закричал:

- Стоп!

Беляев расплатился.

- Зачем отпустил? - укорил его Комаров. - Потом будем дергаться, ловить...

- Ничего, подергаемся... Но в этой тухлой машине я ехать не мог.

- Я и не заметил, что она тухлая, - сказал Комаров.

За столик в шашлычной садиться не стали, а прошли прямо к стойке, где светились ряды бутылок.

- По сто пятьдесят коньячку? - спросил Комаров, поблескивая очками.

- Бери.

- На что?

- Ты заказывай, я заплачу, - сказал Беляев.

Толстая буфетчица презрительно посмотрела на Комарова, на его красный нос и сказала:

- Хоть бы кепку снял!

- Сама такая! - пошутил Комаров.

- В одежде обслуживать не буду! - уперлась буфетчица.

Пришлось идти в гардероб. Посетителей было немного. Разделись. Взяли по сто пятьдесят коньяку и пару шашлыков, сели к окошку, у тюлевой занавески.

- Ну, за что выпьем? - спросил радостный Комаров.

- За то, чтобы ты не пил.

Комаров скорчил дурацкую физиономию и всем видом показал, что он обиделся.

- Как ты не понимаешь, Коля, что нельзя в процессе напоминать об этом. Что толку говорить больному, который прикован к постели, что он больной. Ну, подойди к нему, он еле дышит, а ты ему еще ляпни: вы тяжело больны! Что за бред. Давай выпьем за веселье, за хорошее настроение, за то что еще один год подходит к концу... Сегодня какое число? - вдруг спросил он.

- Девятое декабря, - подсказал Беляев.

- Вот, девятое декабря 1971 года, нам по двадцать пять... Мне меньше чем через месяц стукнет двадцать шесть, все хорошо. И особенно мне хорошо сейчас, в этот момент, когда в стакане коньяк, когда я знаю, что не потону, когда ты, Колька, рядом со мной, когда все мысли - в сторону! Замечательно, просто замечательно. Мы всем тачки сделаем! Будь спок! Я наострился красить будь здоров! Но, понимаешь, мне самому тачка нужна. Чего я сторожем сажу у этих недоделанных? Пусть сами себя сторожат. Знаешь, сидишь иногда там, грустишь, тоска дикая, денег нет, курить хочется, выпить хочется, а не на что. Разве это жизнь?

- Ладно, давай выпьем за хорошее настроение, - прервал его Беляев. - Может быть, ты прав. Всею свое время.

Они выпили и с удовольствием съели горячий, довольно-таки сносный шашлык из свинины. Настроение самым заметным образом улучшилось, и уже самому Беляеву не хотелось, чтобы это настроение проходило. Следующее такси было новое, но и на нем не доехали до Лизиной работы, а тормознули у ресторана.

- У нас спецобслуживание! - преградил им дорогу швейцар и захлопнул перед носом стеклянную дверь.

Беляев быстро показал ему через стекло десятку. Дверь послушно открылась. Было два часа дня, на улице еще поблескивал под солнечными лучами снежок, на душе было хорошо и хотелось кутить. Разделись, взяли номерки, заказали триста коньяка и по котлете "по-киевски".

- Мне нужна тачка, - говорил мечтательно Комаров. - Ты сделаешь мне тачку?

- Подожди, будет тебе тачка.

- А ты что, сам не хочешь тачку? - спрашивал Комаров.

- Пока не хочу. Зачем выделяться.

- Нужно какое-нибудь дело повернуть, - после выпитого, вновь размечтался Комаров. - Надоело безденежье.

- Это я должен тебе дело придумать?

- Я вообще... На тачках много не заработаешь. Ну, что мы две-три машины в год толкаем? Разве это заработок.

- А ты думай, - сказал Беляев, ковыряя вилкой котлету.

- Я думаю...

- Что-то плохо думаешь, что без денег ходишь, бычки в гараже подбираешь... Лучше ты завязывай с этим делом. Возьмем, так и быть, тебе тачку...

- Точно?
- Точно. Будешь меня возить.
- Это другой разговор, Коля. А то бросили меня совсем. И оформи меня куда-нибудь.
- Подумаю. Ты только, - он хотел сказать не пей, но решил не портить Комарову настроения, - Светке позвони, скажи, что сегодня придешь поздно.
- Потом позвоню...
- Нет, ты сейчас позвонишь и скажешь, что придешь поздно.
- Я не хочу портить себе настроение, - сказал убежденно Комаров. - Понимаешь, когда пьешь, нельзя делать то, что может испортить настроение. Нужно держаться на поверхности. А ты все время меня толкаешь ко дну. Позвони сам, но так, чтобы я об этом не знал. И чтобы ее реакции не услышал.
- Вышли из ресторана в прекрасном настроении. Комаров стал поджидать такси, а Беляев в это время дозванивался до Светы. Когда она сняла трубку, он спросил:
- Как у Левы дела?
- Пьет.
- Он сегодня пьет со мной, чтобы больше не пить, - сказал Беляев.
- Так он и послушает тебя, - сказала Света.
- Я прошу тебя об одном: не кричи на него. Сегодня поздно я его привезу. И пусть он проспится как следует. А утром приготовь ему горячий завтрак и поставь четвертинку водки.
- Чтобы я! - закричала Света.
- Слушай меня. Прошу тебя, сделай как я говорю, а там посмотри. Ты можешь это сделать для меня?
- Для тебя - могу.
- Тогда разговор исчерпан! - И повесил трубку в самом хорошем расположении духа.
- Комаров стоял у края дороги и махал руками. Такси не было видно.
- Позвонил? - спросил он с улыбкой.
- Все в порядке.
- Что она сказала?
- Ты же сам сказал, чтобы я не портил тебе настроение. Я говорю, все в порядке, значит, все в порядке! - сказал Беляев и увидел свободное такси.

Через минут двадцать они были на Бауманской, на работе у Лизы. Лиза почувствовала запах водки и недовольно спросила:

- По какому случаю?

- Комарова из запоя вывожу, - сказал Беляев, принимая огромную спортивную сумку через прилавок проходной, где дежурил старый свехрсрочник. - Здесь заказы, - сказала для пущей важности Лиза, кивая на сумку.

- Хорошо, - сказал Беляев, передавая сумку Комарову.

- Что-то не заметно, чтобы Лева был сильно пьян, - сказала Лиза.

- А я и не пьян! - сказал Комаров и пошел на улицу, чтобы не светиться.

- За Сашкой, значит, мне в сад идти? - спросила Лиза и прикусила губу.

- Лиза, делай то, что я тебе говорю. Я буду поздно.

- Почему?

- Я же тебе говорю, что вывожу из запоя Комарова!

- Он же нормален.

- Это тебе так кажется.

На улице стемнело, когда к метро "Таганская" подъехал на такси Пожаров. Сунули в машину сумку, сели сами и поехали в "поплавок" у Краснохолмского моста. Деревянный плавающий ресторан был заснежен и освещен несколькими фонарями. Окна светились. Слышалась музыка. Беляев с Комаровым вышли, а Пожаров поехал, с сумкой, чтобы освободить ее и через полчаса вернуться на этом же такси...

Комаров с повышенным жизненным тоном выбрал столик с чистой скатертью и сел у окна. Заказали цыплят табака, но пока они жарились к приходу Пожарова, попросили принести закусок и выпивки.

Едва успели выпить по второй рюмке и закусить лаковыми влажными маслинами, явился Пожаров. Щеки его пылали с мороза. Он был подтянут, чуть-чуть полноват, в дорогом костюме и в галстук. Когда он садился и поправил рукава пиджака, мелькнули золотые запонки. От Пожарова приятно пахло цветочным одеколоном. Он извлек из внутреннего кармана бумажник и передал Беляеву тысячу рублей сотнями. У Комарова от этого свело челюсть. Он хотел что-то спросить, но не мог. Лишь после очередного тоста, спросил:

- На чем сделали “бабки”?

- Да так, - махнул рукой Беляев. - На Солженицыне.

- А, понятно, - сказал Комаров, хотел попросить свои двести, но передумал, потому что и эта просьба, как он теперь понимал, входила в перечень закрытых для хорошего кайфа тем.

Пожаров только что сбыл оптом десять ксерокопий, переплетенных, с романа А. Солженицына “В круге первом”, которые изготовила Лиза.

- Надо еще столько же, - сказал Пожаров, принимая от Беляева свою сотню комиссионных.

- Сделаем, - сказал Беляев.

- Роман, конечно, что надо! - сказал Пожаров и его глаза засветились. - Идет наотлет. Свою бы типографию завести! - мечтательно воскликнул он и добавил: - Но прокурор не позволяет.

Все рассмеялись.

- Странно, как это раньше все, кому не лень, имели свои типографии. Сами писали, сами печатали, - сказал Пожаров. - Пушкин печатал свой “Современник”, Достоевский печатал свои “Бесы”, и, к тому же, сам продавал. К нему приходили на квартиру покупатели и спрашивали: здесь продают “Чертей”?

- Было время! - воскликнул Комаров, наливая всем коньяк.

- У меня такое впечатление, - начал Беляев, - что все мы преступники. Ходишь и чувствуешь, как на тебя давит невидимая сила. Это нельзя, то нельзя! А представьте: у нас свой кирпичный завод, своя лесопилка, своя типография, своя ферма, свой транспорт... Кому бы мы мешали? Им! - он кивнул наверх. - В нашей стране на одного работающего, из ста, девяносто девять управляющих. Недаром система так строилась. Работай, Иван, я тебя прокормлю! Никто не считает собственную прибыль, потому что она изымается бандитским способом в бюджет... И этих бюджетников миллионы. Они отбирают то, что не заработали. Мол, армию надо содержать, а сами себе все гребут!

- Это правильно, - подхватил Комаров, уже заметно захмелевший. - В российском Совмине такие хари, ну такие хари!

Комаров поднял тонкий белый палец и погрозил кому-то. Пожаров как бы незаметно достал расческу и причесался. В некоторых местах у него появились седые волосы и от этого прическа его стала еще красивее.

Подали цыплят. Выпили под них и с аппетитом съели. Потом официантка сообщила, что привезли живых лещей, и спросила, не приготовить ли.

- Съедем по лещу! - крикнул Комаров.

Пока ждали леща, взяли еще пару бутылок коньяку.

- Пей, Лева, - говорил Беляев. - Пока через край не польется!

Комаров перегнулся через стол и громко сказал Пожарову:

- Толик, я вчера один полтора литра водки выпил!

Лещи были великолепны, хрустела кожаца, сочилось жиром нежное розоватое мясо.

Пожаров, по-барски развалившись на стуле, сказал:

- Прекрасный вечер!

Голова Комарова медленно клонилась к столу. Беляев потрогал его за плечо.

- Который час? - спросил Комаров.

- Одиннадцатый, - сказал Беляев.

- Отвезите меня домой! - твердым голосом приказал Комаров.

Беляев подозвал официантку и расплатился, после чего попросил с собой пару бутылок водки. Просьба была исполнена за приличные чаевые.

Уличные фонари голубоватым светом освещали сугробы. Беляев чувствовал, что сильно выпил. Когда он увидел такси, побежал к нему через сугроб, поскользнулся и упал в него. Встать не хотелось, потому что ноги словно налились свинцом. Пожаров протянул ему руку, отпустив Комарова, который тут же упал в этот же сугроб.

Таксист, грубый старик в очках, сначала не хотел сажать пьяных, но Беляев сказал, что заплатит три счетчика.

Сначала поехали отвозить Комарова. Таксист ждал на улице, а Пожаров с Беляевым тащили отключившегося Комарова наверх. Света злобно всплеснула руками, но, увидев однокашников, смирилась и даже предложила чаю. Беляев передал ей бутылку водки и напомнил:

- Обязательно горячий завтрак и четвертинка водки!

Пожаров уже распаковывал Комарова, не понимавшего где он и что с ним. Потом его уложили на диван.

Когда ехали к себе, Пожаров спросил:

- Чего это вы завелись?

- Так надо, Толя, - твердо сказал Беляев.

Они распрощались. Придя домой, Беляев застал Лизу за чтением. Маленький Саша спал в своей кроватке, Коля - в своей. Беляев пошел в другую, бывшую поликарповскую, комнату, разделся и, не умываясь, лег, повернулся лицом к стене и тут же заснул.

Глава XIV

Время шло к обеду, за окнами совсем стемнело, а Скребнева все не было. Утром Беляев забегал в партком, спрашивал у секретарши, старой сутулой девы, будет ли Скребнев. Она как всегда и как на всех презрительно взглянула на Беляева и сказала, что он звонил из дому и сказал, что ему нездоровится, но что он к обеду постарается быть. Она говорила нехотя, через губу, считая себя пупом парткома, и ее, надо заметить, многие побаивались. Очень она любила слово "коммунист". Она и Беляева называла "коммунист Беляев".

- Коммунист Беляев, остановитесь, - сказала она, когда он уже хотел убежать и дернул ручку двери, но при этом оклике остановился. - Вы должны постричься! Что это такое, вы заросли, как девчонка. Вы же член парткома, коммунист Беляев! Должны подавать положительный пример молодым коммунистам-студентам!

Она стояла у своей пишущей машинки, уперев в нее указательные пальцы. Голос у нее был отвратительный, голос коммунальной склочницы. Всю жизнь она проработала секретарем-машинисткой в райкоме партии, убрать ее оттуда на пенсию не удалось, и Скребнев согласился, дабы улучшить отношения с райкомом, взять ее в свой партком. Если раньше в парткоме можно было встретить праздношатающихся секретарей партбюро факультетов, кафедр, членов парткома, которые заходили сюда потравить анекдоты, покурить и просто потрепаться о том или другом, то теперь здесь даже пепельниц не было. Все было вылизано, появился огромный аквариум с рыбками, целый ботанический сад на подоконниках, на столиках и этажерках, а в углу - разлапистая пальма в кадке. Эту пальму особенно любила старуха, она ее с собою перевезла из райкома и каждый день теперь крутилась возле нее с влажной тряпочкой, протирая листья, которые в свете многоярусной люстры, в стиле церковных, сияли восковой зеленью.

Все ее ненавидели, а Скребнев оправдывался тем, что она прекрасно ведет делопроизводство. Каждая бумажка теперь знала свое место, пробивалась дыроколом и вставлялась в скоросшиватель. Она потребовала завести ей диктофон, записывала все заседания парткома, за день их перестукивала, редактировала и изготавливала протоколы. Раньше протоколы помещались на одной страничке, теперь же они были минимум на пяти.

- Коммунист Беляев, обязательно зайдите в парикмахерскую! - повторила она и ее понесло: - Вы посмотрите на студентов! В грязных джинсах, патлы свисают на плечи, да еще носят крестики на шее! Вы можете себе представить!

Беляеву, как последнему дураку, приходилось делать скорбную физиономию и выслушивать эту дребедень. И сорваться сразу было неудобно: стук пойдет на весь институт. Наконец он уловил паузу и резко выскользнул в коридор, плотно прикрыв за собой тяжелую дверь, обитую дерматином, с красной табличкой "Партком".

Стало уже совсем темно, когда Беляев вышел на улицу. Было холодно. И пока он ловил машину, защипало нос и щеки. Да еще вдобавок оставил на кафедре перчатки, пришлось часто переключать кожаную папку из руки в руку, чтобы свободную засовывать в карман.

Дорога вся обледенела, вчера была сильная оттепель и шел, кажется, даже дождь, а сегодня с утра подморозило. Таксист ехал медленно и все время трепался про хоккей. Он ненавидел ЦСКА и всю дорогу обзывал их то "конюшней", то "конями".

Скребнев жил в новой кооперативной башне на Ленинградском шоссе. У "Сокола" Беляев попросил таксиста тормознуть и сбежал за бутылкой коньяка в гастроном. На всякий случай. Еще неизвестно, что за болезнь у Скребнева. Россия поголовно впала в какую-то перманентную пьянку, подумал Беляев, может быть, и Скребнев вчера врезал больше нормы.

Скребнев жил на тринадцатом этаже и лифт, казалось, поднимался целую вечность. Прежде чем позвонить, Беляев принял вид независимый и неспешный. Открыл сам Скребнев в домашнем махровом полосатом халате. Вид у него был неважный.

- Коля! - сказал Скребнев, оживляясь. - Рад тебя видеть! Входи! Ты, наверно, закоченел? Мороз сегодня.

Беляеву показалось, что Скребнев и вправду был рад его видеть. Вообще Скребнев к нему относился хорошо. По крайней мере, Беляеву так казалось.

- Привет, Володя! - сказал Беляев. - Что с тобой случилось? Мы же договорились, что ты подпишешь сегодня бумаги.

- Давай-ка сначала твое пальто и шапку, - сказал Скребнев.

Он повесил их в шкаф в прихожей. Беляев посмотрел на себя в зеркало и пригладил волосы ладонью. Может быть, действительно постричься, подумал он.

- Радикулит прихватил, - сказал Скребнев и для пущей важности потрогал себя за поясницу.

Беляев достал из кармана брюк бутылку, протянул ему.

- Это что? - удивился Скребнев.

- Коньяк, - сказал Беляев небрежно. - С морозу хорошо!

Грудь у Скребнева была нараспашку, волосатая, прикрытая майкой. Незаметно глаза его посветлели, и он пошел впереди Беляева в комнату, сверкая голыми пятками. Он был в шлепанцах. Ноги были тонкие и жилистые.

- Я вообще-то не слишком люблю болеть, - сказал Скребнев, ставя бутылку на журнальный столик и доставая из горки пару хрустальных рюмок, - но сегодня, представляешь, Коля, подняться не мог, как будто кол проглотил. Вон, - кивнул он на кровать, - мешком с песком греюсь.

Беляев подошел к кровати, взял этот самый мешочек, тяжелый и еще горячий. Стало быть, Скребнев действительно приболел, а может, причиной болезни...

- Садись вон туда, в кресло, - сказал Скребнев.

Беляев сел в мягкое, с валиками, кресло, а Скребнев побежал на кухню за закуской. Беляев обвел взглядом довольно-таки большую комнату. На стене - ковер с вычурным узором, какой-то тусклый пейзаж - среди берез стоит лось. Над письменным столом теснились на двух застекленных полках книги. Бросились в глаза "Справочник партийного работника" и собрание сочинений Всеволода Кочетова. Беляев поморщился от этого сочетания.

Скребнев отварил несколько сосисок, принес к ним горчицу и черный хлеб.

- Замечательно! - сказал Беляев, откручивая пробку с коньяка. - Сегодня так и не удалось пообедать.

- Я ши могу разогреть, - сказал Скребнев и сел в другое кресло, напротив.

Не спеша налив коньяк в рюмки, Беляев сказал:

- Мне еще на завод надо попасть, а потом в министерство, - он взглянул на свои часы: была половина пятого. - Так что - к делу, - сказал он, чокаясь со Скребневым.

Скребнев с удовольствием опустошил рюмку, намазал хлеб горчицей и наколол на вилку сосиску. Беляев горчицу мазал прямо на сосиску. Горчица была свежая и пробила до слез, что было очень приятно. Давно Беляев не пробовал такой простоты, как сосиски с горчицей и черным хлебом. Лиза покупала только белый хлеб, да и он сам предпочитал белый.

После второй рюмки Беляев раскрыл свою папку и протянул на подпись Скребневу документы. Скребнев полистал их и спросил:

- Коля, я что-то не пойму, за какие шиши они нам триста тысяч отвалят? Не понимаю.

- Чего ж тут непонятного?! - удивился Беляев, наливая по третьей рюмке. - Так у них эти деньги срежут. Понимаешь, Вова! Срежут! Что были они, что не были! А по этим бумагам - у нас с ними хоздоговор!

- Это за твои вяжущие наполнители триста тысяч?! - поразился Скребнев. - Когда ты мне говорил об этом месяц назад, я думал, ты дурака валяешь. Ты ж за день придумал эти вяжущие...

- Разве день не может стоить триста тысяч?

- Конечно, нет.

- Ошибаешься, Володя! Ты вчитайся в договор, вчитайся!

Скребнев вновь зашелестел бумагами, приговаривая: "м-да, м-да, м-да".

- Хорошо. А юридически тут все в норме? - на всякий случай спросил он.

- Слушай, Володя, за кого ты меня принимаешь? Независимый эксперт смотрел из Академии народного хозяйства!

- Так-так, - почесал затылок Скребнев и подозрительно внимательно посмотрел на почти что опустевшую бутылку. - Ну и сколько мне тут перепадет? - в заключение спросил он.

- Как полноправному участнику разработки - пять тысяч.

Скребнев даже привстал немного.

- Ты что?! Да в институте меня сгноят. Ни в коем случае! Это ты себе можешь столько взять, а, - он сделал паузу, - потом мне отдать.

- Не понял? - сказал Беляев, хотя все прекрасно понял.
- Чего тут понимать! - грубо сказал Скребнев. - Меня вообще из списка участников вычеркни. Ясно?
- Ясно, - под дурака работал Беляев, не ожидавший от Скребнева такой прыти, и спросил: - А что с ректором?
- Скребнев выпил свою рюмку, понюхал черного хлеба и сказал:
- Ректора тоже вычеркни... Серегу, - он имел в виду Сергея Николаевича, - тоже долой... Что у тебя молодежи, что ли, нету?
- Беляев сделал вид, что наконец-то догадался, куда клонит Скребнев, и радостно сказал:
- Конечно! Так и сделаю. У меня молодежи много: Манвелян, Бабляян...
- Во-во! Главное, чтоб надежные были... А то бывает... Ну, сам знаешь. Так что этот листочек я подписывать не буду, - он отцепил и отдал Беляеву список участников хоздоговора.
- А его и подписывать не надо. Он идет как приложение. Я сейчас же перебею на заводе.
- Беляев сунул Скребневу ручку и тот поставил свой автограф в бумагах.
- Может, список тогда расширить. Загнать в зарплату тысяч пятьдесят? - спросил Беляев.
- А что скажет бухгалтерия?
- Что она может сказать. "Бабки" не бюджетные. Собственные. Напишу человек пятьдесят - вот и зарплата!
- У тебя столько людей найдется?
- Найдется. Я же без студентов - никуда! - сказал Беляев. - То одному помогаю, то другому. Я не забываю, как трудно было учиться. Да-а, - проговорил он и вдруг спросил: - Я слышал, ты, Володя, на докторскую хочешь пойти?
- Да надо. Вроде с кандидатской семь лет прошло. Пора.
- Скребнев выпрямился в кресле, сел поудобнее, взял сигарету, закурил.
- Если нужно, - сказал Беляев, - то я расчеты за месяц сделаю.
- Какие расчеты?
- Твоей докторской.
- Серьезно, Коля?
- Я не люблю трепаться.
- Может, ты мне и тему подберешь? - спросил Скребнев как-то извинительно. - Понимаешь, старик, за этой парттекучкой некогда

настоящей наукой заниматься... Ты выбери что-нибудь такое, чего еще не было... Найди какую-нибудь щель, а?

Беляев разлил остатки коньяка, причем большую часть влил в ямку Скребнева.

- Зачем щель, - сказал Беляев. - Я что-нибудь тебе придумаю по арочным перекрытиям с привязкой к реализации... По бетонам повышенной прочности...

Он это назвал потому, что подобные предложения уже поступали с ЖБИ. Там у них что-то не клеилось. Предложили хоздоговор. Можно было убить сразу двух зайцев: и хорошо заработать, и докторскую Скребневу параллельно настроичить. Но главное, что в этой теме привлекало Беляева, в институте был специализированный совет по бетонам, и тему нужно было брать такую, чтобы защищаться у себя в институте.

- Заодно и твою кандидатскую толкнем, - вдруг сказал Скребнев. - Как у тебя с ней дела?

- Осталось переплести и сделать золотое тиснение на папке, - сказал Беляев, подспудно ждавший этого от Скребнева.

На защиту была живая очередь. В этой очереди Беляеву нужно было ждать еще год. И вот Скребнев сам дал понять, что позаботится о том, чтобы Беляев проскочил пораньше. Замечательная прозорливость у Скребнева! Теперь важно было, чтобы он не забыл об этом.

- Через неделю предзащита, - сказал Беляев, - может быть, меня выслушают?

Скребнев почесал волосатую грудь и сказал:

- Я скажу Горелику.

У Беляева заметно улучшилось настроение. Горелик был ученым секретарем совета. С ним Беляев пару раз говорил сам, но без толкача это было впустую.

- Скажу Горелику, - повторил Скребнев. - Он кого-нибудь перенесет, а тебя поставит. Может же, в конце концов, кто-нибудь заболеть, а?! - и засмеялся, и сквозь смех добавил: - Я же взял и заболел. Ноет поясница, черт бы ее побрал! Говорят, пчелы помогают от радикулита?

- Это чтобы они кусали?

Какую-то чушь спросил Беляев и сам удивился этой чуши, но Скребнев вполне серьезно ответил:

- Жалили. Они жалят и подыхают.

Беляев увидел этих несчастных пчел на теле Скребнева, увидел как они подлетают к его больной пояснице, жужжат крыльями, садятся и кусают.

- А чем они кусают? - спросил он.

- Они не кусают, - растолковал Скребнев. - Они жалят. В заднице у них такое острое черное жало. Выпускают это жало вместе с ядом. Вот этот-то пчелиный яд и лечит. Черт, наверно, спина подходит, как на дрожжах пирог.

- Это очень больно?

- Не пробовал. Но один раз можно боль перетерпеть, чтобы потом всю жизнь не болеть.

Когда Скребнев говорил о боли, то лицо у него было суровое, с нависшими бровями, придававшими выражение сторожевой лохматой собаки. И осанка у него в этот момент была внушительная, несмотря на то, что он был худощав и жилист. Он сидел, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально крутил вилку другой рукой.

- Плохо, что теперь мало пасек, - сказал он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза Беляеву, - очень плохо. Да и вообще ничего в деревне не осталось. Какие-то трактора, комбайны, масштабы, гектары... А вот такого маленького, как пчелиный улей, не стало совсем. Есть еще, может, где-нибудь, но что это для нашей страны в сравнении с мировым капитализмом? Пустой звук. А я любитель природы. Люблю яблоневый сад, люблю вишни. Вообще люблю покопаться в огороде. Если бы каждый имел свой огород, то было бы сытнее жить.

- Это верно, - согласился Беляев, обнаруживая в Скребневе мужицкую закваску.

- У меня дед был, - продолжал Скребнев тихо и с расстановкой, - так сам умел плести корзины. Помню летом, в детстве, я с этими корзинами раков ловил. Нырлял с корзиной, а в нее тухлятину как-ку-нибудь положишь, вот раки в корзину и напоззали.

- Много?

- Мно-ого! - протянул, увлекаясь, Скребнев. - А то еще за налимами нырлял. Они по норам прячутся. Скользкие, заразы! Вообще, хорошо в деревне. Почему она распалась, не пойму. Хотя, с другой стороны и понимаю, что *большевички* постарались!

Он это сказал так, как будто сам не был большевиком, тем более секретарем парткома большого института. Это сильно удивило Беляева, но он пропустил это как бы мимо ушей.

- Город, как капкан, заманил всех, - сказал Скребнев и вдруг встал и сменил тему: - Слушай, Коля! Брось ты на сегодня дела. У меня кое-что еще выпить есть. Давай посидим как люди, а?

Беляев с сожалением посмотрел на часы, подумал и сказал:

- Действительно, чего я в конце работы попрусь? Завтра с утра все и сделаю.

Чего не сделаешь, если секретарь парткома просит.

- Ты хоть разомнись, - сказал Скребнев, - посмотри квартиру. Скоро жена придет с работы. Ужин нам фирменный заделает.

- Может, еще сбежать? - с некоторым сомнением спросил Беляев.

- У меня есть, - сказал Скребнев и, когда они вошли в другую комнату, Беляев увидел в баре батарею изысканных бутылок. - Вообще я не люблю пьянок, но застолья люблю. Между прочим, никогда не похмеляюсь. Дед научил. Похмелка - вторая пьянка! Кто этого не понимает, спивается. Подумаешь, голова утром болит. Поболит и к обеду перестанет, - засмеялся Скребнев, скинул халат и принялся надевать рубашку и брюки, хорошо отглаженные.

В этой комнате стоял старинный книжный шкаф и в нем репертуар был другой: серия "Литературные памятники", "Большая библиотека поэта", Стендаль, Томас Манн, Гете, Чехов, Достоевский... И Беляев догадался, что в эту комнату партноменклатура доступа не имела, а, может быть, и имела, только доверенная.

- Что мы будем пить? - спросил Скребнев, осматривая бутылки.

- То же, что и пили, - сказал Беляев.

Скребнев взял бутылку марочного армянского коньяка и заодно прихватил магнитофон со столика. Он поставил кассету Высоцкого и, когда хриплый голос огласил комнату, в которой они сидели, стал сам подпевать ему.

В меня влюблялася вся улица
И весь Савеловский вокзал...

И глаза его в этот момент были грустными. У Беляева было какое-то двойственное настроение, после выпитого он как бы воодушевился, повысился жизненный тонус, но, с другой стороны, он чувствовал в себе какое-то преступное бездействие, и то, что он мог повернуть сегодня, приходилось откладывать на завтра.

Из всех мыслей, лениво бродивших в его голове, только одна не раздражала его: нужный человек Скребнев и нужно посидеть у него. Может быть, это сидение, на первый взгляд бездеятельное, стоило с виду результативного мельтешения. С ним это часто бывало, когда он вдруг спохватывался и ловил себя на том, что делает что-то в высшей степени бессмысленное, ненужное, тратит даром время, нервничал, но спустя некоторое время, догадывался, что это - сама жизнь. В ней не может быть чего-то такого важного, что бы шло в ущерб неважному. Сколько в жизни времени вылетает на сон, но не станешь же злиться на этот сон, что он помешал твоей карьере?!

Высоцкий пел про муромские леса, и на одной его едкой фразе Скребнев засмеялся от удовольствия, на глазах у него даже выступили слезы, и, чтобы скрыть их, он, не вставая с места, потянулся за спичками, которые лежали на краю стола.

- Здорово! - сказал Скребнев, закуривая.

- Да, - согласился Беляев, продолжая ощущать в себе некую неудовлетворенность.

Вообще Беляеву почти что не было знакомо чувство душевного спокойствия. Может быть, это спокойствие возникало в нем только в периоды самой напряженной деятельности, когда он как бы забывал сам себя. В эти забвенные минуты, требовавшие от него всех его сил в преодолении опасностей и трудностей, ему некогда было осознавать наслаждение существованием. Лишь потом, на досуге, он мог вспоминать эти моменты душевного подъема и благополучия.

Выпили по две рюмки коньяка без закуски. Беляеву хотелось есть, и он все поглядывал на Скребнева, что, может быть, тот догадается принести что-нибудь. Но он блаженно покуривал в кресле и слушал Высоцкого. Беляев тоже закурил. В этот момент хлопнула дверь, послышались шаги и голоса, и в комнату вбежала жена Скребнева в норковой шубе, веселая и симпатичная. Следом заглянула в комнату шестилетняя дочь, крикнула:

- Привет! - И исчезла.

- Скребнев! - воскликнула жена, называя мужа по фамилии почему-то. - Как тебе не стыдно поить гостя без еды! Это сущее безобразие! В холодильнике все есть, а он сидит курит... А я себе рюмочку поставлю! - переменяла тон жена и выхватила из горки хрустальную рюмку. - Плесни мне, Скребнев!

Выпив, она умчалась на кухню. Через минуту крикнула Скребнева. Он, потирая руки, поднялся, и за ним на кухню пошел Беляев. Он вызвался чистить картошку. Скребнев колотил специальным молотком мясо. Жена резала соленую рыбу.

- Я взяла два билета в Большой, - сказала жена, продолжая улыбаться. Есть же такие легкие женщины, все время смеются, улыбаются, говорят весело, с подъемом, как будто они в самом деле рождены на этот свет для счастья.

Через полчаса все сидели за большим столом, с чистой скатертью, с цветами в вазе, с большими плоскими тарелками перед каждым, с двумя ножами и двумя вилками, это, видимо, жена так любила сервировать, с множеством тарелок, тарелочек, розеточек с хреном, маслинами, красной икрой, с фужерами и рюмками.

- Я люблю, когда на столе тесно! - воскликнула жена, когда Скребнев наливал в рюмки коньяк.

- Кто же этого не любит, - сказал он. - Все любят полную жизнь!

- Нет, не скажи, - возразила жена. - Есть такие скупердяи, сами над собой издеваются, копят, жалеют деньги. Да вон, моя тетка, ужас! Никогда на стол ничего не поставит. Все жалуется на мужа. А он полковник, зарабатывает хорошо...

- А те, кто не зарабатывают, - сказал Беляев, - любят еще более полную жизнь.

Жена удивленно посмотрела на него, видимо, не понимая этого высказывания, но переспрашивать не стала, а протянула свою рюмку и чокнулась сначала с Беляевым, а затем с мужем.

- У нас вообще не сформировано отношение к деньгам, - выпив, продолжил Беляев. - Мы получаем не то, что заработали, а то что нам пожаловали. Как прежде жаловали господа своим крепостным. Поэтому к жалованию и не может быть иного отношения как лишь к средству существования. Если бы мы распоряжались всей суммой заработанного, то мы бы смотрели на деньги иначе. Поскольку деньги должны работать. Они же у нас не работают. Вот мы заключаем договор с заводом, получаем прибыль более ста тысяч рублей...

- Триста, - поправил Скребнев.

- Триста - это вал. Прибыль будет где-то порядка ста тысяч. Я же учитываю издержки. Зарплата идет в издержки...

- А, понятно, - сказал Скребнев, разрезая кусок горячего жареного мяса.

- Так вот, если бы мы с Володей, - он кивнул на Скребнева, - распоряжались этой прибылью, мы бы, видимо, не стали проедать эти сто тысяч, а пустили бы их в дело, в оборот, чтобы они дали нам на первый случай прирост в двести тысяч, на второй - в пятьсот, на третий - в миллион... Вот в чем дело. Отсюда вытекает, что мы с Володей и еще человек десять сделали такую прибыль. Спрашивается, нужно ли держать в институте пятьсот нахлебников с разных кафедр, из научных секторов и так далее?

- Студентов кто-то должен учить, - сказала жена.

- Правильно. Учить нужно, - сказал Беляев. - Но не так, как мы это делаем сейчас. Учить их нужно в деле, чтобы каждый с первого курса знал, какую долю прибыли формирует его учение... Деньги, как река,двигающая мощные лопасти турбин, вырабатывающих энергию...

- Коля, хорошо сказал! - отозвался Скребнев. - Выпьем за реку!

Беляев быстро съел свое мясо с картошкой. Жена, заметив это, спросила:

- Добавить?

- С удовольствием! - с радостью согласился Беляев и добавил: - С утра не обедал...

Когда жена ушла на кухню за добавками, Скребнев сказал:

- Но это капитализм, Коля.

- А что такое капитализм, социализм, феодализм, коммунизм? Что это такое? - довольно громко и резко заговорил Беляев. - Это тавтология, пустой звук, лозунги... Есть живой человек, и у него есть интересы. Так было и так будет. Интересы движут людьми. Все стремятся к полной чаше, ты сказал. Так вот - полная чаша - это и есть основной интерес. Как добиться этого? Либо что-то произвести и продать, либо купить и продать, либо оказать услуги. Деньги - это всего лишь товар. Ты бумажки есть не будешь, не будешь жевать червонцы и столынки. Владея этим товаром, ты можешь поменять его на что-то. Вот в чем дело... Тебя что, Вова, социализм породил? Тебя самым обычным образом родила мать. И ты запросил еды, а не коммунизма! Ты индивидуален, частей. Твоя стихия, как и моя, как и любого человека - частная жизнь и частная собственность. Вот, как хорошо, когда у тебя квартира. Так ты брось ее как коммунист! Отдай ближнему!

- Ну, уж, отдай... Это ты перехлестнул!

Вошла жена и поставила перед Беляевым тарелку с дымящейся картошкой и сочным куском мяса.

- Благодарю! - сказал Беляев, хватаясь за нож и вилку.

- Скребнев, как твоя поясница? - спросила жена.

- Побаливает, - сказал он, - но меньше.

- А ну-ка, ложись на диван! - скомандовала жена.

Скребнев прошел к дивану и лег вниз животом. Жена вытащила рубашку из брюк, оголила поясницу и часть спины мужа и принялась энергично массировать.

- Коля, иди помогай! - позвала она Беляева, когда руки ее устали, и она покраснела.

Беляев с удвоенной энергией принялся массировать поясницу Скребнева, так, что тот застонал.

- Сильнее! - подзадоривала заметно захмелевшая жена.

Беляев сбросил пиджак и принялся как настоящий банщик колдовать над Скребневым: то он колотил по телу лежащего ребрами ладоней, то щипал кожу, то энергично растирал.

- Коньячку, коньячку плесни! - кричал разгоряченный Скребнев.

Жена исполнила пожелание, набрала в рот из рюмки коньяку и приснула на поясницу. А Беляев с новой энергией продолжил массаж.

Глава XV

Второго февраля семьдесят второго года мать с Германом Донатовичем улетали в Израиль. Накануне они пришли в гости с цветами и тортом, возбужденные, с горящими глазами. Мать принялась тискать полуторогодовалого Сашу, щекастого, пухленького, подвижного. А он показывал бабушке, как умеет забираться на ярко раскрашенную лошадь-качалку с визгом:

- А коня!

Лиза, несколько смущаясь своего большого живота, - она была на шестом месяце беременности, - надела просторный фартук с оборками, чтобы скрыть разросшиеся свои формы. Лиза не соглашалась с Беляевым, который говорил ей, что в период беременности она необыкновенно очаровательна и спокойна.

- Ты хочешь, чтобы я каждый год ходила с брюхом? - с улыбкой спрашивала Лиза. И он ее целовал.

- Вы идите в ту комнату, а мы тут с Лизонькой пошепчемся, - сказала мать, с любовью оглядывая Лизу.

Герман Донатович с Беляевым послушно перешли в другую комнату.

- Как ваш Христос? - сразу же спросил Беляев.

Герман Донатович сел на диван, положил ногу на ногу, пригладил редкие волосы ладонями.

- Он не мой, он общий, - сказал Герман Донатович.

- Я именно о вашем спрашиваю.

Герман Донатович как-то нервно рассмеялся. Он то укладывал руки на колени, то сцеплял их на груди, то клал на диван.

- Откровенно говоря, в последнее время совершенно некогда было заниматься. Эта нервотрепка с выездом, с ОВИРОм меня доконала, откровенно говоря. Это какой-то сущий ад, откровенно говоря.

- То есть вы ничего нового не написали?

- Кое-что сделал, но мало. Не столько, сколько рассчитывал. Теперь все надежды на Париж. А туда мы попадем только месяца через два-три...

- И все-таки, меня интересует, как вы будете трактовать чудеса?

- Так же, как и все прочее. С помощью науки.

- Например? - допытывался Беляев. Герман Донатович улыбнулся, сцепил пальцы перед собой и сказал:

- Если хорошенько подумать, то в догматах христианской религии я не нахожу ничего произвольного и случайного. Все подчиняется строгим всеобъемлющим законам мироздания. Сюда же включаются законы трансфизического и физического миров.

- Это все понятно. Вы скажите насчет конкретных чудес... Хотя бы о... - Беляев подскочил к стеллажу и выхватил с полки Библию. Он открыл Евангелие от Матфея. - ... о непорочном зачатии... "Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого", - прочитал он.

- В женском организме, - начал Герман Донатович, - каждая соматическая клетка содержит двадцать три пары хромосом. А у мужчин имеются лишь двадцать две пары... Беспорочное зача-

тие-это трансформация в лоне Девы Марии гена икс одной яйцеклетки в ген игрек, с последующим слиянием одной из яйцеклеток с вновь образованной клеткой... Этот процесс в телесных тканях шел под трансфизическим воздействием и сопровождался образованием и организацией оболочки души, куда была введена эманация духа Бога-Сына. Естественно, это объясняет чудо лишь в самых общих чертах...

Беляев рассмеялся.

- Такой схоластики я от вас, честное слово, не ожидал. Вы все преклонились перед авторитетом слова. Вас слово замучило! А не было ли там офицера?

Герман Донатович удивленно посмотрел на Беляева.

- Какого офицера? Тогда офицеров не было...

- Ну, не офицера, а, положим, римского легионера или самого Пилата?

- Коля, это кощунственно!

- Что значит кощунственно? Ничего кощунственного нет. С таким же успехом я могу считать своего Кольку производением Духа Святого! Лучше бы вы не чудеса объясняли, а попытались проанализировать силу воздействия текстов на людей. Пророк в отечестве гоним? А почему, вы не задумывались? Да потому, что он контра! Он против! Он за развал того, что есть. Это идеалист живущий мечтой, и ничего не создающий сам. Ладно, примем на веру, что он там в пустыне всех накормил хлебами. Так это взмахнул рукой - и хлеба посыпались. Но с тех пор что-то больше никого не появляется, чтобы хлебами с небес обеспечил. Он страстно, с упованием боролся с властью Рима, а заодно и с Синагогой, которая власть эту поддерживала. Спрашивается, стали бы его терпеть? Конечно, нет. Он же не призывал работать на себя, а стало быть, и на других, богатеть, наслаждаться жизнью и жить по законам морали, то есть - не мешать друг другу и не насиловать. Смириться, верить в чудесное, раздавать последнее, стремиться к равенству. Это чудесное - огромная натяжка всей Библии. Все чудеса в ней - сплошное дилетанство. Зато идеологии там напихано по горло!

- Круто ты, Коля!

- Круто?! - вскричал Беляев. - А для чего вы едете в Израиль?

- Через Израиль, - поправил Герман Донатович.

- Хорошо, через Израиль... А я бы на вашем месте походил бы в рубище по Палестине, повторил бы голодный путь Иисуса. Не

хочется, хочется комфортно пожить, книжечку пописать, по Парижу погулять... Слабо это! Слабо! Книжечку надо было здесь писать! И разложить и богоизбранный народ, и Христа, и Будду, и Магомета, и Юлиа Цезаря, и Ивана Грозного, и Хитлера, и Сталина... По-моему, они все карты из одной колоды! Магисты, гипнотизеры, пастухи, насильники. Если Христос такой хороший, что он всех пугает? Не уверуешь, сгоришь в геенне огненной!

- Почему все это вызывает у тебя такую неприязнь? - спросил Герман Донатович.

- Потому что это второй мир. Есть два мира. В первом - я живой, действующий, работающий, любящий свою жену, своих детей... Во втором - слово, живопись, кино, скульптура. То есть я хочу сказать, что второе - вымысел! Вот и все. Но это второе, обладающая магическими качествами, убивает живую, настоящую жизнь. Мы можем двести часов подряд вести спор, но на двести первый побежим в булочную. И булку не Христос пошлет, а с хлебозавода фургон привезет. Только и всего. Банально, но в этом жизнь. В Библии много этой жизни. Великолепна Нагорная проповедь. Но она только проповедь. Не больше. Мы всю жизнь слушаем проповеди, а в малом и жизненном оказываемся беспомощными. Я смотрю на Христа не с позиции какой-то абстрактной вечности, не объективно, потому что я не знаю, что такое объективность; я смотрю на него с позиции самого себя. Только так. И делаю вывод: в других я могу чтить только самого себя. Я не могу перестать быть самим собой, и никто не может меня переделать в кого-нибудь... Для умеющего рассуждать человека самое приятное свойство Бога: правосудие. Вот что! Люди хотят, чтобы где-то над ними витал арбитр. Но где был арбитр, когда миллионы гибли в зонах?! Почивал на лаврах? Да еще дикари, собирая урожай, призывали своих колдунов или жрецов, которые первым делом прославляли могущество и совершенство великого духа, а затем внедряли мысль, что они сами посланцы этого духа! И первая забота у этих жрецов была противопоставить вымысел - реальности и освободить таким образом своего Бога от неизбежной смерти! Раз мы умираем, то хоть вымысел наш пусть будет бессмертным! Вот в чем дело, вот где собака зарыта. В с л о в е! И слово действительно стало бессмертным. А все мы, в том числе и я, попадаем в знаковую систему и только таким образом, входя в эту систему, становимся бессмертными! - воскликнул с жаром Беляев.

Герман Донатович с любопытством смотрел на него и не знал, чем возразить. Всякие там кощунства, богохульства были стары как мир и на Беляева не действовали. Самое удивительное, думал Герман Донатович, Беляев гнул свое очень логично и не традиционно.

Но и Герману Донатовичу не хотелось быть традиционалистом. Он тоже вносил новизну.

- Одно другому не противоречит, - сказал Герман Донатович. - Ты рассматриваешь слово, а я то, что стоит за словом, потому что слово есть средство...

- Конечно! Но оно-то и включает в себя все бессмертное: Библию, Платона, Данте... А вы - о засохшей смоковнице!

- А что? Ведь смоковница засохла по слову Спасителя, так как под напором трансфизических частиц были вытеснены соки из каналов и межклеточных полостей дерева.

- Вы видели эту смоковницу?

- В атласе растений.

- Сами вы атлас. Вы реанимируете то, что не требует реанимации. Реанимируют живое! Живое! Поймите. А слово - бессмертно. То есть у него нет смерти. Слово "смоковница" бессмертно, как и слово "Христос"! Не трудитесь напрасно. Вы посмотрите на себя: у вас лысина уже, бородка седая, плечи опущены... Может ли с вас художник нарисовать Бога?

- Ну уж, прямо!

- Так вот Аполлона художник создает не с реального человека, с мельчайшими его подробностями, а с человека представляемого. То есть без волосатых ног, с венами, мозолями, кривыми пальцами, жилами, без дряблого и большого живота... То есть без подробностей. Художники, изображающие богов, избегают деталей, которые слишком напоминают человеческую природу. Красота, примитивно понятая, отбрасывает человеческие подробности. Говорят, Аполлон красив. А я не люблю его именно из-за этой нечеловеческой красоты. Все ищут красоту каким-то привычным способом, как счастье. Красота без человеческих подробностей погубит мир, потому что она убирает то, без чего нет живого человека - некрасивых с точки зрения моралиста подробностей. Перечислять не буду. Вы их без меня у себя насчитаете с десятком. Красота ничего общего не имеет с обыденной жизнью. Красота, таким образом, то же, что и слово. Своя знаковая система, вторая реальность.

- А иконы?

- Лики и только. Да, многие ничего. Но я не люблю эту живопись. Вообще не люблю примитивизма!

- Ты не прав, Коля, - мягко сказал Герман Донатович. - Все дело в том, что я в своей работе доказываю, что чудотворные иконы обладают трансфизическим уплотнением, постоянно связанным с мощами святых и образующим каналы, по которым происходит истечение Божественной благодати и помощи.

- А по мне, так проистекает не благодать, а ленивая инерция, отсутствие смелости смотреть правде жизни в глаза. Объединяющей идеи еще нет на земле, но она будет. И будет без всякой сусальной атрибутики, без этих килограммов золота, драгоценных камней, звезд, пятиконечных и шестиконечных, крестов, серпов и молотов, полумесяцев... Она будет написана на самой примитивной пишущей машинке. И назовут ее по-человечески просто: права человека! И все! Без смоковниц, без церковного театра, свечей и всяких ладанов...

- Человек сам по себе - традиция. И ему дана вера в Бога и возможность совершения добрых дел, угодных Богу. Поражать зло. Все, отрицающие Бога, отрицают и человека. Человек без души - некая мыслящая материя, которую следует расценивать с точки зрения ее полезности или вредности. Поэтому стало возможным лишение людей элементарных гражданских прав, попрание их достоинства, их истребление в любом...

Но Беляев нервно прервал:

- Раз стало возможным это, то Бога просто не существует! Вы сами постоянно это доказываете, Герман Донатович! Как же вы не врываетесь в это! Если бы Бог блюл справедливость, то поражал бы палача еще прежде, чем он занес топор над жертвой! Вот в чем парадокс!

- Никакого парадокса нет, потому что без Бога жизнь человека бессмысленна и бесцельна. Совершенно невозможно тогда объяснить все потенциальные способности человека и его стремление ввысь. А красота, которую ты, Коля, недооцениваешь, есть отсвет Бога, разлитый в Его произведениях!

От избытка чувств и под влиянием напористости Беляева говорил Герман Донатович певучим голосом. Он был так растроган доказыванием, как ему казалось, очевидного, что глаза его подернулись влажной пленкой и щеки порозовели. На душе его было и не-

спокойно, и грустно, и радостно. Он думал о том, как часто приходится встречаться в жизни с людьми, которые упорно не хотят принять на веру основополагающие истины. Хотя сами эти люди и разговоры с ними превращались в воспоминание и теряли для него свое реальное значение, а по прошествии двух-трех лет и образы этих людей тускнели в сознании наравне с вымыслами и легендами. И он уже видел перед собой не реальную природу, людей, животных, а какие-то муляжи, смотрел на них как на Божественную продукцию. Сразу прослеживал последовательность: стол сделан человеком, дерево создано природой, природа создана Богом. И сам себе тайно задавал вопрос: ну и что из этого вытекает? Ничего, кроме констатации. И тут же начинал доказывать сам себе с позиции Бога, то есть осмеливался как бы забираться на Божественный престол и влезать в самую Божественную оболочку, логичность предложенной последовательности и заложенный в ней смысл. Конечно, огромную веру в него вселила жена, мать Беляева, она говорила ему, что с первых же дней знакомства он поразил ее своею оригинальностью, умом, добрыми умными глазами, целеустремленностью в жизни, что она полюбила его страстно и глубоко. Благодаря ей, он уверовал в то, что его труд окончательно расставит многое в религии по своим местам, даст исчерпывающую картину Божественной вселенной и всему мирозданию.

Беляев для Германа Донатовича был трудным собеседником, отрицающим то, что по сути нельзя было отрицать. И от этого внутренне Герман Донатович злился, даже отчасти презирал Беляева за невежество и апломб, но внешне старался держаться в рамках. Говорил ли в Германе Донатовиче книжный разум, или сказывалась неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает жить людям, но только доводы и упрямство Беляева казались ему притворными, несерьезными, и в то же время какое-то чувство возмущалось в нем и шептало, что все, что он слышит от Беляева, с точки зрения Бога, не представляет никакого интереса. Но он злился на себя и винил за то, что не может пробить стену непонимания, хотя в минуты одиночества ему представлялось это не стоящим большого труда. И с глубоким сожалением Герман Донатович прибег к самому шаткому, на его взгляд, доказательству.

- Человек, Коля, принимает любую теорию, когда она становится для него несомненной. Он к ней приходит с помощью размыш-

лений, открытий, озарений, переживаний, которые помогают ее приятию. Это означает, что и вера, и знание построены на одном фундаменте. И для веры, и для знания фаза принятия обязательная, но с некоторыми различиями. Знания требуют объективной проверки, хотя кое-что принимается как априорное утверждение. В религии проверка требует большой подготовленности богословов. Остальным достаточно прислушаться к авторитетному слову церкви. Сознательно вера приходит, когда приняты как истины объекты, отличающиеся сложностью. В число таких объектов входит Бог и весь трансфизический план жизни. Непосредственное их восприятие требует особой духовной одаренности. Большинство людей не обладает такими способностями. Человек может приобщиться к трансфизической реальности, встав на путь веры. Одни принимают веру в Бога, благодаря системе отточенных доказательств. Другие - по причине ударов судьбы. У многих вера зиждется на иррациональном начале, но ее приятие часто определяется рядом ясных положений рациональной природы. Рационализм может оказать помощь людям, получившим безбожное воспитание и сбившимся с пути веры. Мой рационализм помогает прийти к вере.

- Ну, приехали! - воскликнул Беляев. - Поверь мне, говорит мошенник, что я тебе достану партию автомобилей и проведи предоплату в сто процентов! Так по-вашему?

- Бог - не мошенник! - певуче возразил Герман Донатович, хотя в душе у него громыхали электрические разряды.

- Да я не о Боге, черт возьми! - возмутился непониманием Беляев. - Я - о принципе! Вы начинаете анализировать то, что не предназначено для анализа. Вот в чем дело. Вера - само по себе слово, говорящее о неаналитичности! Вы можете поверить мне, что у меня есть сто тысяч наличными? - вдруг спросил Беляев.

Герман Донатович туманно взглянул на него и сказал:

- Не могу. Потому что в этой стране такие деньги заработать нельзя. Тем более, вам, Коля!

- А я вам, Герман Донатович, доказываю обратное... Идите сюда!

Беляев порывисто вытащил из-под письменного стола коробку из-под импортного сливочного масла, хорошую картонную коробку. Герман Донатович встал с дивана, подошел и с недоумением уставился на коробку. Беляев открыл ее. Сверху лежали химика-

ты в пакетиках для проявки пленки и фотопечати. Вытащив их на стол, Беляев поднял почти что со дна газету, под которой, плотно притертые друг к другу, лежали банковские упаковки сторублевых купюр. Десять пачек.

- Считайте! - воскликнул Беляев.

Обалдевший Герман Донатович для убедительности взял одну пачку, прочитал на упаковке:

“10. 000 руб.”, повертел в руках и с каким-то странным вздохом положил на место.

- Невероятно! - прошептал он.

- Но факт, как говорят в таких случаях. А ведь вы мне сначала не поверили. И это - жизнь, Герман Донатович! И вы, подозреваю, пишете свой труд, чтобы получить свой гонорар. Уже, догадываюсь, не в рублях, а во франках. И предъявить доказательства о существовании Бога вы мне не сумеете. И это факт. А поверить я и без вашего труда могу. И это тоже факт! - отчеканил Беляев и быстро накрыл пачки газетой, засыпал химикатами, закрыл коробку и бросил ее под стол.

- Невероятно! - повторил Герман Донатович и поковылял к дивану.

- Только, я надеюсь, у вас хватит ума не говорить об этом маме?

- Что за вопрос... Конечно, - пробормотал Герман Донатович, с трудом выдерживая натиск охвативших его чувств.

Беляев без труда заметил эту перемену в Германе Донатовиче и ему показалось, что с горя он осунулся и сузился в плечах. Беляев уже не злился на него. Он понимал, что творится у Германа Донатовича на душе. Беляеву еще раз пришлось убедиться на опыте, как мало зависит человек от теорий, которым он поклоняется и которые проповедует. Потому что в критические моменты жизни действуют не теории, а живые люди, люди, которые сначала изобрели колесо, потом деньги, а уж потом Бога единого. Конечно, Беляев против воли высунулся со своими тысячами, и даже теперь сожалел об этом, но ярче урок он вряд ли мог преподнести Герману Донатовичу. Жаль, что Беляев неосознанно причинил ему жестокое, как это было заметно, страдание. Рассекретив свои сто тысяч, он чувствовал, что как бы потерял что-то очень дорогое, близкое, чего ему уже не найти.

Герман Донатович, не имея теперь силы вести беседу о Боге и быть откровенным, ходил мрачно из угла в угол, молчал или же говорил что-то незначительное.

- Во Франции зима другая, - сказал он, останавливаясь у книжного стеллажа и рассматривая книги.

- Во Франции и вера другая.

- Как другая? То же христианство.

- Другая. Вы о филиокве слышали? - спросил Беляев. - А если слышали, то должны понимать, что другая.

Герман Донатович с большим удивлением посмотрел на Беляева и сказал:

- Не думал, что ты осведомлен и об этом.

- Филиокве - и от Сына... Не только от Бога-Отца, но и от Сына исходит Святой Дух. Наш Символ веры - Троица, а они еще добавили к нему это филиокве! Что еще раз доказывает самое что ни на есть человеческое происхождение Бога. То есть, человек сам Его создал и сам в Него уверовал. Остается ответить - для чего?

Беляев как-то решительно махнул рукой и замолчал. Показывая всем видом, что ему надоело толочь воду в ступе, он подошел к стеллажу и, кивая на него, сказал:

- У меня три полки на эту тему. Так что ваш трактат я бы исполнил месяца за три.

Послышались шаги, дверь открылась, вошла Лиза, веселая, румяная, за нею в комнату вбежали Коля и Саша.

- Папа! - воскликнул Саша и обхватил ногу Беляева.

- Он "ласточку" делал! - сказал Коля, возбужденный и вспотевший.

- А ну, покажи! - попросил Беляев. Саша выбежал на середину комнаты, расставил руки в стороны и откинул полную ножку в зеленых ползунках назад. Все захлопали ему.

- Я еще не так могу! - крикнул Коля и тут же бросился на пол и сделал кувырок через голову.

- И-и-а-а! - засмеялся Саша.

Лиза сложила руки на большом животе и смеялась. Потом она сказала:

- Пойдемте обедать. Все на столе.

Герман Донатович облегченно вздохнул, как после нудной и тяжелой работы. А в голове все свербила навязчивая мысль: "И как этому сопляку, этому мальчишке удалось заработать такие деньги?!" К этой мысли примешивалась другая, более обидная, что ли: "Почему я, отсидевший в лагерях более десяти лет, ничего

не имею и занимаюсь только возвышенными, не дающими дохода вопросами?!”

И ответить себе не мог.

Жена взглянула на его удивленное, испуганное лицо и поняла, что у них произошел спор.

- Какой замечательный борщ у Лизы! - похвалила она.

Герман Донатович рассеянно улыбнулся и сел за стол.

Сашу посадили в высокий детский стул, подвязали на шею передник и придвинули к столу. Он радостно схватил ложку и с размаху ударил по тарелке с борщом. Брызги полетели в разные стороны.

- И-и-а-а! - победно кричал Саша, оглядывая всех округленными веселыми глазами.

Сашин передник, скатерть, рубашка рядом сидящего Коли, пиджак Германа Донатовича покрылись бордовыми пятнами. Лиза подбежала к Саше, выхватила его из стула, отняла ложку, шлепнула по попке и повела в угол. Саша вопил и упирался.

- Будешь так себя вести?! - спрашивала Лиза, склонившись над ним.

- Не бую! - сквозь слезы пообещал Саша и был водворен на место.

- Ты что, дурак? - спросил у брата Коля.

- Я мая тива дью, - пробормотал Саша и стал неумело подносить ложку ко рту.

- Коля! - сказала мать Беляева. - Так нехорошо говорить.

- А чего он! - надул губы Коля. - Всю рубашку обрызгал.

- Наступило на некоторое время молчание. Все сосредоточенно ели борщ.

- Берите салат, - сказала Лиза.

- Спасибо, - сказал Герман Донатович.

- Очень вкусно! - сказал Беляев, отставляя глубокую тарелку.

- Вы бы купили себе телевизор, - сказала мать.

- Он портит детей, - сказала Лиза.

- А маленький Коля сам еще не читает? - спросил Герман Донатович.

- Я буквы знаю! - сказал Коля.

- И я бувы заю! - захотел Саша.

Вдруг Лиза шумно вздохнула и сказала:

- Франция...

Беляев, улыбаясь, передразнил:

- Америка...

Мать посмотрела на сына, и на ее лице появилась грустная улыбка, возникающая при расставании, когда все слова сказаны и остаются одни чувства, тревожащие душу. Волнение не позволяет ни на чем сосредоточиться, поскольку этот мир становится прошлым, ненастоящим, он уменьшается в размерах и в своем значении, превращается просто в какой-то пустяк, о котором и думать не следует. Взгляд души устремляется в будущее, представления о котором окрашиваются в неопределенные радостные тона, но никак не могут принять конкретных очертаний, которые можно бы было сравнить с чем-нибудь хо- рошим в этой жизни.

Глава XVI

То, что он ходил по реке, придавало ему определенную уверенность в непотопляемости. Разумеется, это была до некоторой степени условность. Но разве вторая реальность - не условность? Иногда приходилось верить во вторую реальность больше, чем в первую и, казалось бы, единственную. Вот длинный дом, тянущийся до самой Трубной площади, когда-то в его комнатах "без денег, без родных и... без будущего" жил студентом Сергей Васильевич Никитин - чеховский Учитель словесности. Представитель второй реальности: проверить невозможно, был ли он на самом деле или это сам Чехов жил в номерах Ечкина, которому принадлежал дом? Дом и Ечкин - из первой реальности. Река тоже из первой, но можно отнести ее и ко второй, поскольку река вроде бы есть, но одновременно и нет. Она где-то в трубах, под улицей.

Улицы возникали на местах бывших дорог, а эта, пожалуй, единственная в своем роде, возникла над рекой. Какая-то Венеция в Москве! Сначала и было как в Венеции: был канал. Но река меле- ла и распространяла такие миазмы, что, в конце концов, ее пришлось упрятать с глаз долой.

Снег валил целую неделю, и теперь на Неглинке у тротуаров возвышались сугробы, в которых буксовали машины. Некоторые машины, хозяева которых к ним давно не прикасались, завален-

ные снегом, сами превратились в сугробы. Беляеву нравился заснеженный пейзаж с детства любимой улицы. Переулок, где стоял его дом, стекал к Неглинке.

Он уже минут пятнадцать ожидал Комарова, но того все не было. Беляев смотрел за машинами-такси, именно на такси обещал приехать Комаров, но все они проскакивали к Трубной или к центру. Беляев переминался с ноги на ногу между сугробами близко от проезжающих машин. Вдруг перед самым носом затормозил армейский зеленый фургон, едва не задев Беляева открывшейся дверью. И Беляев увидел Комарова, сидящего на переднем сиденье рядом с шофером.

В машине было прохладно и пахло бензином. По полу под ногами Беляева катались какие-то ржавые трубы. Беляев сидел на жестком боковом сиденье за спиной шофера, держался за невысокую перегородку, отделявшую места шофера и Комарова от небольшого обшарпанного салона. Комаров назвал эту машину "буханкой".

Машина рычала, гремела, скрежетали шестерни коробки во время переключения передач и сильно свистели колодки при торможении.

Комаров продолжал начатый до появления Беляева разговор с шофером.

- Ну а ты что? - спрашивал шофер, хохоча.

- Я молчу, делаю вид, что ничего не знаю.

- А он?

- Он говорит - ты же меня за водкой послал!

- А ты что?

- Я говорю, что подошел к дверям и жду! - смеялся Комаров.

- Ну, а он? - спрашивал, продолжая хохотать, шофер.

- Где, говорит, коробка?

- Ну, а ты?

- Я, говорю, не знал, что это твоя коробка!

- А он что?

- Он кричит, зачем я ушел из двора от черного хода...

- Ну, а ты?

- Взял бутылку водки и положил в карман. А про коробку с вином, говорю, не знаю!

Машина остановилась перед светофором. Комаров обернулся, блеснул очками на Беляева и сказал:

- Взгляни вон назад под сиденье! Беляев посмотрел и увидел коробку с надписью “Винплодэкспорт”.

- Это ты про нее рассказываешь? - спросил он.

- Ну! Утром пошел для того хмыря, к которому едем, доставать водку. Прихожу к магазину полвосьмого. Закрыто. Ждать некогда. Пошел со двора. Стоит какой-то алкаш с этой коробкой. Я к нему. Говорю, возьми у грузчиков бутылку водки. Он говорит, покупай всю коробку вина. Я говорю, мне водка нужна. Дал ему деньги. Он, ничего не говоря, шнырь в подвал. Я стою, жду. Потом взял его коробку и в беседку оттащил, под лавку. А сам снаружи к магазину... Выносит этот алкаш бутылку. Нет ни коробки, ни меня. Он на улице. Я стою как ни в чем не бывало...

- А он что? - спросил шофер.

- Где, говорит, коробка?

- А ты?

- Не знаю, где твоя коробка, говорю. Там, говорю, какие-то типы подходили. А я сразу сюда вышел, говорю. Он побежал во двор, а я ноги в руки, обежал дом с другой стороны и из-за угла наблюдаю. Вижу, он пометался у черного входа и опять - на улицу. А я с этой стороны к беседке, схватил коробку, тяжелая, черт, десять бутылок, и дворами на соседнюю улицу. А тут “буханка” едет.

- Ну, ты даешь, Лева! - усмехнулся Беляев. - Не стыдно алкашей грабить?

- Да он сам эту коробку наверняка спер в магазине! - оправдался Комаров.

- Конечно, спер! - подтвердил шофер. Время от времени он как бы оборачивался к Беляеву, вернее, показывал оборот. Беляев замечал лишь его ухо и щеку с небритой щетиной.

Остановились у Даниловского рынка. Расплачиваться пришлось Беляеву, так как у Комарова больше не было денег. Тут у рынка их должен был встретить некий Володя, как сказал Комаров. Коробку с вином он поставил на снег и все время на нее поглядывал.

Комаров был в своей выдавшей виды потертой куртке. Через некоторое время он стал ежиться в ней от холода. Поглядывая на него, Беляев подумал о том, что привычка к вещам может быть у некоторых людей маниакальной. И эта маниакальность сопровождается еще неким странным представлением о моде. Напри-

мер, считается, что парням не пристало ходить в пальто, особенно в зимнем с меховым воротником, какое было теперь на Беляеве. Самое обыкновенное длинное драповое пальто с ватиновой простежкой, с черным котиковым воротником. Говорили, что в таких пальто ходят только пенсионеры. Действительно, оно выглядело мешковато и старило Беляева. Но ему в нем было тепло и удобно. А Комаров в угоду моде сутулился в своей куртке, полагая, что он не изменяет молодежным принципам. На самом деле он выглядел жалко, как ошипанный цыпленок. Длинные ноги в узких брюках были открыты и мерзли. Да к тому же Комаров не носил нижнего белья, что тоже считал привилегией своего двадцатисемилетнего возраста. Стыдился как огня этого белья, стыдился - в смысле боялся. Сохранялась таким образом какая-то придуманная честь молодого мужчины. Хотя Беляев тоже не любил нижнее белье, состоящее из кальсон и рубашки, но тренировочные брюки обязательно надевал и чувствовал себя превосходно. То есть, не растрачивал энергию на преодоление холода. А по Москве бегали Комаровы в холодных курточках и без шапок в двадцатиградусный мороз, гордясь мнимой своей закалкой. Правда, на Комарове сейчас была меховая шапка.

- Где этот хмырь! - сказал Комаров, пожимая плечами.

- А ты здесь с ним договорился встретиться? - спросил Беляев, чувствуя, что у него начал мерзнуть нос.

- Где же еще? - сказал Комаров и перешел на другую тему: - У Светки бабка в деревне умерла. Мы ездили на похороны. Вся деревня упиалась в доску. Я тоже окосел, хотя пил немного... Знаешь же, что я теперь не похмеляюсь. Зарезали целого теленка. Ели-пили три дня... Но дело не в этом. Дом теперь на Светку записали. Я литр председателю поставил и справку оформил. Дом, конечно, плохой... Фундамент уполз в землю, нижние венцы сгнили, задний двор, где раньше скотину держали, рухнул...

- Ремонтировать нужно, - сказал Беляев.

- Вот я к этому и клоню... А где взять денег? Все время со Светкой занимаем! До ручки не дотягиваем...

И Комаров пошел распространяться о трудном житье, проклиная всех и вся, на что Беляев заметил:

- Не вижу конструктивных идей!

- Где я их возьму? - огрызнулся Комаров.

- Сосражать нужно. Голова на плечах есть.

- Я соображал. Малярничал, думал, что Борода поможет заказам! Но тоже умным оказался. Сам красит, а мне не дает. Больше убытков, чем заработка...

- И не будет, если ты в сторожах будешь ходить! На что ты надеешься?

- На что, на что... Вот возьмем тачку, тебя буду возить, халтурить буду...

- Лева, какая-то странная вещь происходит, - сказал Беляев. - Мы начинали в равных условиях. Но ты все время побираешься...

- Побираюсь?! - перебил Комаров. - Да у меня так жизнь сложилась... Двое детей, Светка не работает... А я, как этот!

- Как Калигула! - засмеялся Беляев.

- Кто это?

- Да был один такой тип в Риме! Промотал все родительское состояние и вечно побирался. Когда у него родилась дочь, он потребовал от римлян подношений на ее воспитание и приданое. В первый день нового года он встал на пороге своего дворца и собирал монеты в подол. Все же император! Люди шли и бросали ему в подол деньги. Представляешь сценку! Какие у него были возможности заработать "бабки", а он побирался! Да еще как! Ввел огромное количество налогов, обирал всех. Особенно ненавидел людей предприимчивых. Он потребовал от них, чтобы они в своих завещаниях делали его сонаследником. Конечно, Калигула был чокнутым...

- Почему?

- Он своего коня сделал консулом! Четыре года он проматывал римские богатства. Рабам разрешил выступать с любыми обвинениями против своих господ и...

- Вон он идет! - перебил Комаров, кивая на парня в такой же короткой куртке, в какой и он сам был.

Тот подошел, по-деловому поздоровался и извинительно сказал:

- Машина не заводилась. Полчаса крутил ручкой...

Перешли через дорогу к его машине. Это был старенький "Москвич". Комаров нес свою коробку с вином, поглядывая под ноги, боясь поскользнуться и разбить вино. Володя-шофер заинтересованно следил за коробкой, но лишних вопросов не задавал, потому что был не уверен в своем "Москвиче", который, пока он ходил на ту сторону за приятелями, заглох и теперь было неизвестно, заведется ли он или нет. На всякий случай, еще до того, как

заводить ключом, он склонился к сиденью, достали из-под него заводную ручку и протянул ее Комарову, поставившему коробку с вином на заднее сиденье и теперь готовому покрутить эту ручку.

Машина была не прогрета, в ней было попросту холодно. Беляев это сразу почувствовал, когда сел на переднее сиденье. Володя включил зажигание, Комаров сделал несколько оборотов ручкой, машина вздрогнула, словно испугалась, и заработала. Через Серпуховку по Тульской улице выехали на Варшавское шоссе, там свернули на Каширское. Как раз на повороте заметили разбитую “Волгу”, врезавшуюся в самосвал, который в довершение к этому повалил бетонный столб. Рядом толпились люди, стояли милицейская машина и “скорая” с помятой дверью.

- Третья! - сказал Володя.

- Что? - спросил сзади Комаров.

- За сегодняшний день - третью аварию вижу...

Когда выехали за кольцевую, Беляев спросил:

- Доедем?

- Она разогреется... Не подведет...

Свернули на второстепенную дорогу и поехали через заснеженный лесок. Ни встречных, ни попутных машин не было. Через несколько поворотов показался глухой зеленый забор, окончившийся въездными решетчатыми воротами, которые были открыты, и “Москвич” свободно въехал на какую-то территорию. Свернув к двухэтажному современному строению, остановился. Сразу же бросились в глаза новые красные “Жигули”, приткнутые носом к стене, без номеров, лишь к заднему стеклу изнутри был прилеплен иногородний транзитный номер на бумаге. У Комарова алчно засветились глаза, еще до того, как он вышел из “Москвича”, этот блеск заметил Беляев, когда к нему обернулся, чтобы посмотреть на реакцию Комарова. Ему было важно увидеть реакцию Комарова, почувствовать его психологическое состояние. Да и сам Беляев при виде новой машины несколько заволновался, поскольку...

Вышли из “Москвича” и тут же бросились осматривать новый “Жигуль” пожарного цвета, а может быть, цвета гвоздики или цвета любви. Кому как нравится. Каждый сравнивает с тем, что ему нравится. Были времена, когда мода была на черный цвет. Москву бороздили мрачные черные машины, все под одну гребенку. Теперь же в автостроении появилось некое разнообразие, пусть скудное, но все же... Красный, желтый, голубой...

- Полный атас! - сказал Комаров и покачал головой. Теперь улыбка не слетала с его губ.

- Аппарат что надо! - сказал Володя-шофер, посредник, и направился в здание за хозяином машины.

Шел пока наружный осмотр машины, ключей от нее у Володи не было, он должен был привести хозяина с этими ключами.

- Надо брать! - воскликнул Комаров.

- Не спеши, - спокойно сказал Беляев, в общем-то, завидуя радости Комарова и злясь на эту радость. На пальто человек не может заработать, а тут на машину губы раскатал.

Появился Володя, но не с хозяином, который был пока занят, а с его представителем, грузным человеком в каракулевом "пирожке".

Он открыл машину, подняли капот и крышку багажника: все сияло новизной, блестела медь контактов, пахло краской, каждое номерное клеймо было отчетливо видно. Комаров с восторгом сел за руль, машина легко завелась, он дал назад, проехал несколько метров по площадке, развернулся и остановился у ног Беляева.

- Ну как? - спросил грузный в шапке-"пирожке", когда Комаров вышел из машины.

- Да-а, - протянул с улыбкой блаженства Комаров, - умеют итальянцы работать!

- Тогда надо обговорить, - сказал грузный.

Беляев подошел ближе и все стали в кружок.

- Хозяину - семь кусков, кусок - мне, и полкуска - Володьке, - сказал помощник хозяина, кивая на шофера.

- Так же не договаривались! - вскричал Комаров. - Называли же шесть с половиной!

- Мало ли что было вчера. Тут грузины узнали - отрывают за девять!

- Подумаем! - мрачно сказал Беляев и отошел в сторону. Комаров пошел за ним. А грузный с Володей отправились за хозяином.

- Ну наваривают! - процедил со злостью Комаров.

Беляев строго уставился на него и сказал:

- Сколько раз вам, балбесам, повторять, что варианты нужно прорабатывать!

Комаров с испугом взглянул в глаза Беляеву, опасаясь, что тот сейчас даст отбой и сделка не состоится.

- Надо брать все равно, - сказал неуверенно Комаров.

- Бери! - крикнул Беляев. - Есть у тебя восемь с половиной тысяч?! Бери! Привыкли за чужой счет банковать! Пошли отсюда!

Комаров вцепился в рукав зимнего пальто Беляева и взмолился:

- Коля, возьми, гадом буду, отработаю!

Теперь Беляев отчетливо понял, что это было колоссальной ошибкой, что он пообещал Комарову купить машину. Беляев не предполагал, что Комаров посягнет на новую машину, речь шла просто о машине, наподобие тех, которые сбывали из такси. Проще говоря, Беляев был теперь поставлен в ситуацию, из которой был только один выход, чтобы Комаров понял, как тяжело даются идеи, - отказать. Конечно, Беляев несколько сгущал краски, но вывод он сделал правильный, поскольку - уступи сейчас, завтра Комаров сядет на шею и Беляев же будет виноват. Да, серьезное упущение он допустил, когда пообещал машину. Но она была обещана в то время, когда Комарова нужно было вытаскивать из трясины. И, возможно, это обещание послужило неким стимулом к выправлению ситуации. Словом, сначала Беляев решил окончательно отказать, но когда Комаров взмолился, он крепко задумался, как быть.

- Ты что, Коля, не веришь мне?!

- Верят в Бога!

- Мне?! - задыхаясь, переспросил Комаров.

Тут возник еще один нюанс, и Беляев не стал бы отрицать его наличие: зачем брать машину кому-то, когда Беляев просто может взять ее себе.

Это драматическое отступление от общей концепции размышлений, впрочем, было сразу же погашено здравым и грубым аргументом: не высовывайся! Зачем привлекать внимание людей, завистливых и болтливых.

- Такая тачка! - продолжал нервно бубнить Комаров.

- Машина хорошая, - мечтательно проговорил Беляев, и Комаров понял, что в нем происходит смягчение.

- Все равно у меня денег с собой нет, - сказал Беляев,

- Как нет?! - в страхе удивления воскликнул Комаров.

- Я еще не псих, чтобы возить на встречи неизвестно с кем такие суммы! Начинали мерзнуть ноги.

- Сгоняем на володькином "Москвиче"! - сказал Комаров, дрожащий в своей курточке.

Беляев посмотрел на него ледяным взглядом, как будто Комаров его смертельно оскорбил.

- Как у тебя все легко получается! Возьмем, сгоняем! - сказал Беляев, пытаясь остановиться на каком-нибудь одном решении. - Без меня бы брал, гонял, зарабатывал! За других решать - мастера! За всю страну за полчаса решают на кухне! Как быть, что делать - все разложат по полочкам, а попросишь трояк займа - нету! Не знают, как трояк заработать, а как относиться к США - это они знают!

- Чего ты выступаешь, - без эмоций прервал его Комаров. - Что ты со мной как с нищим разговариваешь! А кто тачки из такси добывал?

- Ты свою долю имел!

- А ты свою нет? Да не было бы меня - не было бы тачек! Тоже мне, банкир выискался! Берем тачку, она в доле, я свое отработаю! Сказал же тебе. Тридцатка в день. Год работы и мы в квите! У тебя же забот не будет! Будешь барином ездить. Что, плохо, что ли? Не знаю...

- Поговори, поговори! - зло бросил Беляев, повернулся и пошел к воротам.

- Ты куда?

- Туда! - бросил, не оглядываясь, Беляев, прибавляя шаг.

Комаров не отставал.

- С ума, что ли, сошел?!

Беляев не ответил. Он стиснул зубы и окончательно решил: не поддаваться на уговоры, не брать, не реагировать и точка. У ворот Комаров его попытался схватить за локоть, но Беляев грубо ударил его по руке. Он почти что выбежал за ворота и быстрым шагом пошел вдоль забора. Комаров отстал. Только теперь Беляев расцепил сомкнутые крепко зубы, даже челюстные мышцы от напряжения свело. Он несколько раз ударил себя руками в перчатках по щекам. Он шел и с ненавистью думал о Комарове: на одну доску себя поставил с ним! Наглость неслыханная. Делает одолжение!

Забор кончился, дорога забирала вправо и уходила лесочком к шоссе. Он шел и думал, что если сейчас не поставить Комарова на место, то дальше будет хуже. И никакой задушевности! Люди этого не понимают.

Еще до того, как послышался сзади шум машины, Беляев услышал его, быстро сбежал с дороги и, утопая ногами в снегу,

бросился в кусты. За ними был снежный холмик, он и спрятался за ним.

По дороге медленно, очень медленно ехал “Москвич”. Беляев разглядел из своего укрытия Володю-шофера и прикинул к самому лобовому стеклу голову Комарова. И особенно неприятны были Беляеву эти профессорские, в тонкой бронзовой оправе очки.

Минуты через три, когда машина удалилась, Беляев выбрался на дорогу и почти что бегом ринулся к шоссе, ни на минуту не теряя бдительности, поскольку “Москвич” мог развернуться и двинуться в обратную сторону. Предвидя это, метров через двести Беляев на всякий случай вновь спрятался. Ноги и руки от холода постепенно деревенели. Беляев, лежа в сугробе, снял перчатки и принялся растирать руки снегом, пока их не зажгло и они не стали бордовыми.

Машины не было видно. Беляев медленно выбрался из укрытия и осторожно пошел по дороге, которая теперь хорошо просматривалась, ибо вела напрямую к шоссе.

В этом месте дорога была особенно красива. Справа и слева от нее стояли, освещенные неярким зимним солнцем, сочно-зеленые елки среди безлистных присыпанных снегом берез. В то время, когда природа выставляет напоказ свою красоту, человек может быть не подготовлен к ее восприятию, он лишь мельком отмечает, что это красиво, но не более, и еще глубже уходит, погружается в себя, в свои размышления о делах и проблемах насущных, без решения которых невозможно себя подготовить для восприятия этой красоты. Между тем, находится множество людей, которые умудряются отбросить все эти так называемые насущные проблемы и полностью отдаются впитыванию эстетических чудес жизни, не привнося сами в эту жизнь ровным счетом ничего. Социальное равенство обеспечивает им некий прожиточный минимум, и они существуют в этом реальном мире лишь для того, чтобы полной жизнью жить в иной реальности. Беляев пытался понять этих людей и даже до некоторой степени понимал, но смириться с их жизненной позицией не мог.

Вдали показалось шоссе, и Беляев увидел перед ним уменьшенную до точки машину. “Москвич” стоял на обочине и, по всей видимости, не решался развернуться, ибо седоки наверняка пораскинули мозгами и посчитали, что Беляев обязательно придет

на шоссе. Беляев настороженно остановился и стал соображать, как ему быть. Москва была слева, но слева же открывалось перед шоссе голое поле и, даже если бы он срезал свой путь по нему, то его бы из “Москвича” легко заметили. Тогда Беляев принял решение идти напрямую через лесок к кольцевой дороге, благо до нее, как он считал, было не очень далеко. Однако прежде чем пойти, он решил некоторое время переждать. На всякий случай он сошел с дороги, пробрался по глубокому снегу к деревьям и стал за одним деревом так, чтобы видна была машина и часть дороги.

“Москвич” не двигался. Там, вдали, мелькало множество машин. По шоссе движение было интенсивным. Микроскопические машинки скользили бесшумно в обе стороны, а перпендикулярно стоящий к ним “Москвич” не двигался.

Наконец Беляеву надоело ждать, и он пошел напрямую через лес к кольцевой дороге. В лесу снег был не столь глубок, зато в солнечном свете полудня казался девственно чистым, даже голубоватым. В движении ноги согревались. Но быстро двигаться мешали кусты, которые постоянно приходилось обходить. На какое-то время Беляев вдруг ощутил себя совершающим побег эском. Чем этот лесок не тайга? А где-то сзади идут уже по следу овчарки с конвоирами. Беляев так увлекся этим представлением, что сделал несколько петель между деревьями, чтобы запутать след. Затем совершил несколько широких прыжков, чтобы след был прерывистым. После этого стал двигаться задом, как будто он бежал не из зоны, а направлялся именно в зону.

В душе возникло какое-то необычайно острое чувство арестованности жизнью. Куда бы он ни устремлялся, всегда словно ощущал на себе взгляд невидимого конвоира, который мог в любую минуту пресечь действия Беляева. Особенно часто это чувство возникало в одиночестве, в котором сейчас находился Беляев. Он даже несколько раз оглянулся, что, в общем-то, считал для себя в незнакомом месте, да еще в лесу, простительным. Но точно такое же чувство некой опасности, слежения за ним он замечал за собой в, казалось бы, совершенно безопасных местах. Например, в комнате при свете настольной лампы, когда что-нибудь читал, или чертил, или писал, или считал, или просто так сидел, о чем-нибудь думая, он вдруг ясно осознавал, что кто-то упрямо смотрит ему в затылок из темного угла. Приходилось преодолевать страх, вставать и идти в тот угол, потом уж включать верхний

свет, чтобы убеждаться, что никого в комнате, кроме него, нет и быть не может.

Правда, однажды случился курьез. Он почувствовал взгляд на своем затылке, когда читал Библию, обернулся резко и увидел в углу, возле двери, Лизу. Она так тихо, так незаметно пробралась в комнату, что он не услышал.

- Дети спят, - сказала она. - А я хочу к тебе!

И стала снимать халатик, под которым ничего не было, она только что приняла ванну, и Беляев увидел, она стояла в профиль, ее обнаженную грудь с набухшей почкой соска.

Снег поскрипывал под ногами, Беляев нервно оглядывался и понимал, что если он и дальше будет двигаться столь же медленно, то его непременно накроют. Впереди замелькали какие-то столбы, за ними показался дощатый некрашенный забор, поверху которого шла колючая проволока. У Беляева сильно забилося сердце. Он так здорово вошел в роль, вжился в роль беглого каторжника, что и зона, подумал он, не преминула явиться. На всякий случай он взял правее, обошел зону стороной и вышел на замечательную поляну, под лучами солнца слепившую взгляд. Вдруг прямо на него откуда-то сбоку, из-за елки, вышел огромный лохматый лось с заиндевевшей мордой. Пар валил из его черных ноздрей. Именно сами ноздри были черные, два черных кольца, а вокруг них белая изморозь, иней. Беляев попятился, лось шел на него, даже, показалось Беляеву, приопустил голову с рогами.

Мгновенно оценив ситуацию, Беляев бросил взгляд на деревья, отыскивая подходящее. Подходящим деревом оказалась ветвистая береза. Беляев даже отметил на ней те ветви, за которые он сразу же схватится. Беляев знал, что лоси в черте города и сразу же за чертой довольно-таки миролюбивые, но этот черт пер упрямо на него, да еще вытягивал губы и показывал зубы. Что на уме было у этого великана, Беляев не мог предположить, поэтому стремглав ринулся к березе и через мгновение, даже не помнил какое, сидел уже на суку метрах в двух от земли. Лось снизу посмотрел на него как-то странно, даже голову набок склонил, как делаю собаки, когда ждут продолжения игры. Во взгляде лося Беляев прочитал недоумение по поводу собственных умственных способностей. Но береженого Бог бережет! Лось мирно поковылял по своим делам и скоро скрылся из виду.

В это же время из-за елок выплыла в красной куртке лыжница. Только теперь, с березы, Беляев разглядел лыжню, которая пересекала поляну. Лыжница остановилась под деревом, на котором сидел Беляев, и спросила:

- Вы мальчика на лыжах не видели?
- Нет, - ответил Беляев, не собираясь слезать.
- Странно, пошел вперед, и нет...

И покатила себе дальше через поляну. Надо же! Даже не поинтересовалась, чего это человек на дерево залез. Вот в этом и есть наше общежитие. Так думал Беляев, слезая с дерева. Лыжница уже исчезла, а напрасно. Беляев не успел спросить у нее, как пройти к кольцевой. Теперь с этим проклятым лосем он потерял ориентир. Однако отчаиваться не стал, а пошел прямо по лыжне, кромсая ее своими сапогами. На развилке он взял еще раз вправо и пошел по сильно накатанной лыжне, даже представил себе, что идет на лыжах. Навстречу шел мальчик. Наверно тот, о котором спрашивала лыжница.

- Вы, дяденька, маму не видели?
- Видел. Дойдешь до развилки и повернешь на правую лыжню.

Мальчик побежал, сверкая лыжными палками. А Беляев буквально через пять минут благополучно выбрался на дорогу, но не кольцевую, а на Каширку.

Тут же подвернулась машина, которой Беляев проголосовал. В салоне было жарко. Или так показалось Беляеву с мороза. Улыбнувшись, он уютно устроился рядом с шофером и подумал о том, что прекрасно все обошлось: и Комарова на место поставил, и прогулялся зимним лесом, и живого лося увидел. Будет что рассказать Саше и Коле.

Глава XVII

- Ты не понимаешь всех преимуществ обмена, - сказал Беляев оживленно. - Тебе не придется готовить... Достаточно будет того, что приготовит Лиза.

- Я ем как птичка, - сказал отец.
- Тем более. Никаких проблем с этим не будет.
- Будут и еще какие! Это так кажется, что не будет проблем. Там, где два человека, там уже возникают проблемы.

- Ну, что ты упрямисься?

Отец сидел на табурете и курил, затем взял тряпку, видимо, заметив на столе какое-то пятно, стал тереть этой тряпкой сначала стол, потом по инерции плиту, раковину.

- Я не упряплюсь, - сказал он. - Я смотрю на это просто: с позиции собственной независимости. Здесь я сам себе хозяин. Когда хочу, понимаешь, ложусь, когда хочу, встаю. Брожу по квартире в трусах. Могу спать днем, а бодрствовать ночью. Часто разговариваю сам с собой.

- Да ну и что? У тебя будет своя большая комната.

- Дело не в размерах. Пусть у меня тут в двух комнатках двадцать метров, но я, повторяю, свободен. И потом - твои дети. Крики, плач... Сколько маленькому? - вдруг спросил отец.

- Мишке? Полтора года...

- Да еще двое!

- У них своя комната. После смерти соседки кое-какой ремонт сделал, - сказал Беляев. - Но это все - полумеры. Эти сестры согласны с тобой поменяться. Понимаешь? И вся квартира будет наша! Дворец, а не квартира.

- Ты им, этим сестрам, пообещал, что я поеду?

- Не то что пообещал, а поговорил, что есть такой вариант. Как старуху похоронили, я и подумал о тебе, Заратустра.

Отец увлекся протиркой. Он включил воду, сыпал на тряпку порошок и драил раковину, которая и без того снежно блестела.

- Нет, Коля, это не для меня, - сказал Заратустра. - Не обижайся, но не смогу я среди вас ходить птичкой с подрезанными крыльями. Я летать хочу!

Беляев чувствовал, что его идея с пропиской отца к себе рушится, и он никак не мог с этим смириться. Как это может рушиться его идея, когда он все просчитал! На блюдечке принес отцу великолепное предложение, а он упрямится, не понимая всех выгод этого предложения, которое и Беляеву, честно надо сказать, давалось нелегко, в мучительном приятии образа отца в своей квартире, до полного завладения которой оставался один шаг, трудный, ответственный, но его необходимо было сделать. Неизвестно, что еще могут придумать эти сестры, выпишутся, а в их комнату заселят каких-нибудь лимитчиков, тогда плакала квартирка!

- Ты тут совсем сопьешься! - пустил в ход последний аргумент Беляев.

- У меня другая тактика стала. Пью по субботам, а в воскресенье иду в баню и не похмеляюсь. Так, пивка пропущу пару кружечек. Филимонов подох в подъезде, так что меня теперь соблазнять некому. И потом, почему ты решил, что я захочу жить с тобой? Я не люблю, когда за меня решают. И ты должен знать, что в этой жизни каждый должен за себя решать сам.

- Когда ты подышал от пьянства, то за себя ничего решить не мог! - повысил голос Беляев, наблюдая за тем, как отец продолжает драить раковину.

- Мог, Коля. Я был готов внутренне. Ты просто помог.

- Ну и ты помоги мне, черт возьми! Надо оперативно решить жилищный вопрос. Раз и навсегда. Ты не вечен. Потребуется уход за тобой. Заболеешь, кто за тобой будет ухаживать?

- Кто-нибудь поухаживает, - неопределенно ответил отец.

- Ты нашел себе кого-нибудь?

Беляев видел, что отец старается сосредоточиться. Некоторое время он молчал, затем перестал драить эту дурацкую раковину, подошел с тряпкой к окну и положил ее на подоконник.

- Есть, - сказал он и вновь схватил тряпку, потому что подоконник, крашенный белилами, показался ему не очень белым.

- Хорошо... Но и это не причина.

- А почему тебе так не отдают их комнату? Ты же, кажется, кандидат наук?

- На детей я получил вторую комнату, на кандидата - третью! Кто же мне четвертую даст?

- Нужно хлопотать... Заплатить кому нужно.

- У меня нет денег, - сказал Беляев, да так искренне сказал, что отец поверил, что у сына на самом деле нет денег.

- Конечно, у тебя семья, трое детей и все такое... Расходы большие. Но, пойми, у меня такое чувство, как будто ты меня тянешь в тюрьму.

- Ничего себе вывод! Человеку хочешь сделать как лучше, а он подозревает тебя в насилии!

- А кто тебе сказал, что человеку нужно сделать жизнь лучше? Нам уже всем навязали лучшую жизнь. Тот, кто собирается это делать, тот и есть преступник. Подающий - преступник. Он убивает в человеке человеческое: эгоизм, алчность, страсть работы на себя, стремление к власти. Вся эта приклатненная шелупонь в лагере лезла в начальники. И это истинно по-человечески. Люди - волки с улыбкой Красной Шапочки!

- Ты начитался Ницше.

- Я начитался жизни! - воскликнул Заратустра, и бросил тряпку в раковину. - Нам такую лучшую жизнь подкинули, что подавили в человеке это человеческое! Жертвуйте собою за лучшую жизнь, кричат! А герой не тот, кто жертвует, а тот, кто живет нормальной жизнью.

- А я тебе, что, предлагаю ненормальную жизнь? У тебя тут даже горячей воды нет, ванной нет, в баню вынужден ходить...

Заратустра прервал:

- Я в зоне месяцами не мылся! Я в нужник на волю буду бегать, но буду жить один. Из принципа! Потому что знаю, что эгоизм - самый лучший принцип в жизни. Проверено на себе - мин нет! - добавил он, ударяя себя ладонью по впалой груди. - Как я ненавижу этих маниакальных идеалистов. Сидят по теплым углам и формулы счастья всем рисуют! Право, маньяки! Все о слабых заботятся и под эту дуду закабаляют так, что все по рукам и ногам связаны!

Беляев с отчетливостью, достойной удивления, слышал как бы самого себя, такого же борца за эгоизм, как и отец. Неужели столь сильно в жизни биологическое, генетическое, неужели столь властно?! Неужели он является зеркальным отражением отца? Или каждый человек в силу именно человеческого в себе обладает в той или иной мере вживленными в него гипнотическими свойствами, которые проявляются даже в самом случайном прохожем, с которым иногда приходится обмолвиться двумя-тремя фразами, и только глаза прохожего встречаются с твоими глазами, ты видишь, ты чувствуешь подсознательно или даже вполне внятно некую силу этого гипнотического влияния, взгляд во взгляд - и протекают из души в душу слабые импульсы, говорящие о том, что все люди - из одного теста, из одного замеса, из одной квашни.

- Все ясно, о чем тут разговаривать? - сказал Беляев и потянулся к сигаретам.

Отец заметил это, сказал:

- Ты же, вроде, не куришь.

- Большого умения не требуется.

Отец опять взял эту проклятую тряпку, чтобы тереть теперь шкафчик. Он выступал против идейных маньяков, а сам был маньяком чистоты.

- У тебя есть кофе? - спросил Беляев.

- Нет. Я и так псих. Зачем мне кофе? Могу сделать чай.
- Я чай не хочу.
- Тогда выпей молока. Я утром покупал.
- Молоко не пью... Сколько ты в месяц зарабатываешь? - вдруг спросил Беляев.
- На жизнь хватает.
- Примерно?
- По-разному, но не меньше сотни.
- Все переводами кормишься?
- Переводами. Без них я бы пропал. От шкафчика отец перешел к газовой трубе над плитой, тер он ее с повышенной энергией, так что дряблая морщинистая кожа на исхудавшем лице немного по-розовела.
- Кого ты имел в виду, когда говорил о маньяках? - спросил Беляев, хотя ответ предполагал заранее.
- Отец не спешил с ответом, он драил влажной тряпкой трубу. И не стал конкретизировать ответ, а отозвался туманно:
- Всех, кто пользуется словом "должен"...
- Проповедников, нравоучителей? - уточнил Беляев.
- Тех, кто, пользуясь словом "должен", собирает свои подати. Это самый примитивный тип людей. И самый примитивный способ заработать себе на жизнь. Ты читал когда-нибудь Новый Завет?
- Читал.
- Никогда в жизни не видал более примитивного текста! А ведь были уже Гомер, Платон... Религиозные маньяки писали. Безграмотные фанатики. Правильно говорит Ницше, что Христос - это идиот!
- Ты не боишься, что тебя Бог покарает? - спросил в каком-то нервном испуге Беляев, слушая из уст отца собственные мысли.
- Бога нет! - резко бросил Заратустра, отрываясь со своей тряпкой от газовой трубы и переходя к холодильнику, старенькому, пожелтевшему "Северу".
- А вдруг все-таки есть? Ну, не такой примитивный как Христос или Иегова, или Саваоф, или Яхве, что одно и то же...
- Бога маньяков нет! Есть то, о чем маньяки не знают... Жизнь! А жизнь меня не покарает. Я уже покаранный.
- Беляев пожал плечами, явно не удовлетворившись ответом.
- Значит, для себя ты не уяснил этого вопроса, - сказал он.

Отец на мгновение прервал мойку холодильника, как-то подозрительно хихикнул и сказал:

- Бог - это я! Ты понял. Я и караю, я и жизнь даю. Например, тебе дал жизнь!

- Но и тебе кто-то дал жизнь.

- Мои родители...

- А у Бога нет родителей.

- Есть! В том-то и дело, что есть. Его родители - маньяки! Все эти Моисеи-евреи!

- Но Будду придумали не евреи.

- Евреи - это не нация, это маньяки! - сказал Заратустра.

- Ты хочешь сказать, что у китайцев и японцев есть свои евреи?

- Я хочу сказать, что у них есть маньяки.

- Нет, ты выражайся точнее, - настаивал Беляев. - Либо у китайцев и японцев есть евреи, либо их нет.

- Евреи есть в каждом народе! - вдруг сделал всемирно-историческое открытие отец.

- И у нас, у русских?

- А чем русские лучше других? В семье не без еврея! Не в смысле еврея как еврея, а в смысле русского как еврея. Смысл - все погибнут, но мы останемся. Как иеговисты, почитающие Бога-Отца, своего Саваофа-Яхве-Иегову, не верят ни в Бога, ни в черта, ни в бессмертие души, предрекают уничтожение всего человечества в битве Христа с Сатаной, кроме самих себя. А я не верю ни в концы, ни в начала, ни в народы, ни в царства... Я верю в жизнь с пояснением - эгоизм.

- А в эбеновое дерево ты веришь?

- Это черное дерево, что ли?

- Черное.

- В черное дерево верю. Оно живое.

- В оперу Вагнера "Гибель Богов" веришь?

- Только в увертюру, - сказал отец, принимаясь драить тряпкой стену кухни, крашеную в бежевый цвет.

- Почему же ты не веришь, что мы с тобой будем хорошо жить в одной большой квартире? - спросил Беляев.

- Потому что я эгоист, - сказал в ответ Заратустра.

- Я тоже эгоист и даже, может быть, больше, чем ты.

- Нет, такого эгоиста, как я, надо еще поискать!

- Не думаю, что я...

- А я думаю. Ты еще не совершенный эгоист. Тебе нужно еще поучиться, пожить. У тебя жена, трое детей! Какой же ты эгоист? Так, заменитель. Не кожа, а дерматин!

- Ну, а я у тебя есть. Значит, и ты не эгоист.

- Ты у меня есть чисто умозрительно. Я тебя год не видел, три не видел, пять не видел, а детского тебя совсем не видел!

Это он хорошо сказал, "детского", Беляеву очень понравилось это выражение.

- Зато взрослого меня зришь.

- Не очень-то приятное зрелище, - вдруг сказал отец.

- Почему?

- Потому что ты - себе на уме. Неужели я этого не чувствую. Знаю, чувствую и понимаю, что ты себе на уме.

- То есть - эгоист?

- Нет. Эгоист - это святое. Не трогай. Ты - коммунист!

- Я - коммунист? - воскликнул удивленный Беляев. - Никогда я не был коммунистом. Да, я член партии, член парткома института, но я не коммунист.

- Да я не о том, что ты там член парткома. Кто об этом говорит. Что делать, если такие правила у этих волчар. Правильно вступил. Жми-дави! Будь хоть секретарем райкома. Но не будь ты коммунистом. Это же маниакальная идея. Раскрашенный словесный маниакализм. Вывернутый идиотизм от маньяков Матфея-Марка-Луки и Ивана-пьяницы.

- Иоанна?

- Ваньки!

- Почему пьяницы? - спросил, пожимая плечами, Беляев.

- У него руки дрожали! Посмотри его Евангелие? Так и видно, что руки после перепития дрожали. Смотри, буквы так и пляшут, и линии дерганные, волнистые. Я однажды так перепил, а нужно было деньги в кассе получать. Руки дрожат зверски. Кассирша мне ведомость сует, а я попасть в свою графу не могу. Так и засадил корявую подпись в другую графу. Как говорится, после сего пришел я в Капернаум! Ну и пишет Ваня-писарь! Что за фразы! Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать... С бодуна еще не то напишешь. Руки трясутся. Все мысли о похмелье. Вот сразу и пишет во второй главе про вино, про шесть каменных водоносов, сам Ванька махнул стакан, повеселел и давай гнать штампами: мол, из цистерны воды цистерну вина Христос сделал.

Этого бы Христа сейчас все алкаши приютили, ручным сделали, чтобы он только похмелял русский народ. В такого Христа уверуют все. Вот о чем думал после перепою Иван-кустарь-самоучка-евангелист. Гомеров разных не читали, академиев не кончали!

Трудно было понять, говорит ли Заратустра с юмором или серьезно. Да и лицо он лишь изредка к сыну поворачивал, а так все в стенку смотрел, любовался, какая она чистая от мытья тряпкой. С этой тряпкой он то приседал и тер нижнюю часть стены, то поднимался, тянулся вверх, даже вставал на цыпочки, чтобы протереть верх.

- Это интересный миф, - сказал Беляев. - Но вопрос в том, сумеет ли твой миф о Иване-пьянице перебить по силе миф самого Иоанна о Христе? Вот в чем дело. Выводя свой миф ты уже и веришь в него. Он внедрен в твоё сознание, а раз так, то он - реальность, такая же, как холодильник "Север". Но через двести лет, положим, когда от этого холодильника и следа не останется, сгниет на какой-нибудь свалке, никто не вспомнит о его существовании, потому что он не попадет в сознание тех, кто будет жить через двести лет. Стало быть, твоя задача, чтобы твой миф попал в сознание людей. Для этого нужно, грубо говоря, письменно наследить. Чтобы следы этого мифа отыскились.

- Я слежу, - сказал спокойно отец.

- Seriously?

- Да. Кропаю нечто вроде лагерного евангелия... И вошел к надзирателю, свидетельствовал... Шучу, конечно. Не так. Но пишу.

- И как, получается?

- Пустяк... Но иначе нельзя. Нельзя к вещам сложным, запутанным подходить с видом академика. Будет полный провал. На серьезное дело нужно идти с юмором, с шуткой. Самый чопорный трактат развалится от пробы юмором. Христианство к чертям собачьим летит, как только начинаешь без предубеждения и с юмором ковырять его. К любой вещи такой подход применим. С обмирающим сердцем к церкви подходишь, боготворишь ее, а с юмором, как комсомольцы, так и колокола летят, главы рушатся и священники самым подлым образом из чека не вылезают, не в смысле там - мученики, а в самом прямом смысле - стукач на стукаче. Вот тебе и вся вера. То ты боготворишь березку, положим, а то ты на нее смотришь как на кол березовый. То ты цветики любимой

собираешь, то ты этот же букетик корове суешь в пасть, и она с удовольствием жует отборную сочную травку...

- Это все известно, - лениво сказал Беляев.

- Тебе-то да известно? Ничего тебе пока неизвестно. Книжки одни, книжки только, через книжки... Побывал бы в лагере!

- Это совет, Заратустра?

- Избави Бог.

- Что же ты говоришь?

- Это я так, к слову. Бывают в жизни моменты, когда кажется, весь смысл жизни разгадал. Со мной это частенько бывало, в молодости. Бил себя по лбу от удовольствия, что решил все проблемы бытия и вселенной. Но через какое-то время схемка моя ломалась. Не получалось теоретической стройности. Смотришь на зэка, рожа вроде нормальная, глаза голубые, с улыбочкой так что-то говорит, а потом как врежет сапогом по щиколотке, так и валишься с ног. По теории он этого не должен был бы делать, - медленно проговорил отец, подходя к раковине и включая воду.

На сей раз он принялся намыливать тряпку куском простого мыла и намыливал так долго, что вместо тряпки у него в руках была воздушная пена. С этой пеной он вернулся к стене и плюхнул ее прямо перед собой со смачным шлепком, а затем уж стал водить рукою по стене дугообразно, как работают щетки на стекле автомобиля, и сначала приседал, не прекращая движений рукою, а затем поднимался. Стена от влаги блестела, как лед.

- И что же? - спросил Беляев, закуривая новую сигарету.

- Отказался я от теорий и промежуточных смыслов жизни. Все эти смыслы такие неуверенные, такие скучные. Когда читаешь Канта или Шопенгауэра, еще ничего, вроде бы интересно, а как только подходишь к концу, захлопываешь крышку и, представь, ничего не остается в душе.

- Совсем ничего?

- Кое-что, какой-то туманный комок... А так - ничего. Вот в чем дело. Это я уяснил себе. Раньше, если хватался за книгу, то все искал в ней какие-то смыслы, а теперь беру только ради процесса. И ты знаешь, только теперь стал получать удовольствие от книг. Открываешь и наслаждаешься только в момент прочтения. Уже не думаешь скорее проглотить книгу, чтобы что-то там такое великое из нее почерпнуть. Потому что уже ученый, знаешь, что ничего великого из нее не почерпнешь. А вот в процессе делается очень да-

же занятно. Уходишь в понятие или в жизнь за словом, это смотря что читаешь. Ты представляешь, раньше, в молодости, до ареста, как раз тогда, когда влюбился в твою мать, память у меня была превосходная. Ну все запоминал. А теперь, как решето, черт знает что. Вываливается все из головы. Какие-то контуры лишь остаются. И уже не могу разобрать, что реально, а что миф, как ты говоришь. И уже из лагерной жизни многое мифом кажется. Сажусь писать в свою тетрадь и уже не знаю, что пишу: то ли то было на самом деле, то ли мне это уже представляется. Так много сидел и так мало высидел! - усмехнулся отец. - Время как-то спрессовалось. Прессуется время, понимаешь, и хронология событий нарушается. Не могу отчетливо вспомнить, когда мне этот голубоглазый тип щиколотку перебил - до разговора с евреем, или после. Вот в чем дело.

От стены отец вновь перешел к плите, потому что заметил какие-то пятнышки на узкой панели под черными ручками управления.

- В этом и объяснение всей второй реальности, - сказал Беляев, с долей приятности ощущая легкое головокружение от выкуриваемой сигареты.

- Какой реальности?

- Второй. Ну, всего того, о чем и ты говоришь. Если она не застолблена письменно или еще каким другим способом, то она пропадает, исчезает вместе с ее носителем, человеком.

- Да, да, именно так. Исчезает. Иногда подумает, что исчезнешь, то холодок по телу пробегает. Даже не то, что сам исчезнешь, как материя, а живая жизнь твоя исчезнет, вот что обидно.

- Значит, хочется, чтобы вторая реальность жила?

Заратустра на мгновение оторвался от плиты, взглянул на сына и сказал с хрипотцой в голосе:

- Хочется.

- А ты говоришь, Бога нет.

- Конечно, нет. Я же уже сказал, что Бог - это я. Бог-для-себя! Понимаешь. Все думают о Боге-для-всех, а я Бог-для-себя, - еще раз повторил отец.

- Ну и хорошо, - сказал Беляев. - Так вот в моей квартире не хватает именно такого Бога, как ты...

- Не пройдет! - оживленно сказал отец. - Это я никогда не буду и не разучусь повторять о своем эгоизме. Понимаешь, эгоизм

и свобода - почти что одно и то же. Но свобода - абстракция, а эгоизм - конкретика. Посягать на мой эгоизм - это посягать на мою жизнь.

Беляев погасил окурок в пепельнице.

- Ты сможешь мне быстро превратить коммуналку в собственную квартиру!

- Никому не помогаю. Это свято.

- Зря. Я бы тебе помог.

- Чем?

- Не знаю, но помог бы... А в чем ты нуждаешься?

- Ни в чем.

- Это слова. Каждый человек в чем-то нуждается. Может быть, тебе цветной телевизор нужен.

- Избави Бог!

- Новый холодильник?

- Этот неплохо работает... Морозит двести грамм масла, триста колбасы и четвертинку к субботе...

- Чем бы тебя искусить? - отчасти шутливо, отчасти серьезно спросил Беляев. - Ведь есть что-нибудь такое, что тебя искусит и заставит принять правильное решение? А?

- Не знаю. Может быть, что-нибудь такое и есть, но я не знаю об этом. И это хорошо, что я не знаю о том, что мне в жизни хочется. Это как та же книга, которую бросался читать ради смысла...

- Слушай, пап! А что, если тебе снять загородный дом, чтобы ты там писал свои лагерные записки, а прописан был у меня?

- Нет, нет и нет!

- Не понимаю, почему?

- Потому, что кончается на "у"! - крикнул отец.

Теперь Беляев испытывал хотя и смутное, но вполне определенное отвращение к отцу, к его судорожной протирке всего, на что падал глаз, к его испитой физиономии и манере держаться. Он вдруг представил себе, как отец будет так же нервно бегать с тряпкой по кухне, как будет ночью бродить, а днем спать и злиться, когда дети своими голосами ему не будут давать это делать, и Беляеву стало не по себе. Хотя еще какая-то нить связывала его с отцом, но он чувствовал, что скоро эта нить оборвется. Слишком капризен был отец, чтобы с ним можно было жить в одной квартире, слишком не от мира сего, чтобы его подпускать к детям. И как только Беляеву могла прийти в голову мысль

- просить отца об обмене с соседками! Глупая, невыполнимая идея.

- О чем задумался? - спросил отец.

- Да так, - ответил Беляев.

- Люблю чистоту, - сказал отец, отжимая тряпку под краном. - И с тобой беседую и чистоту навожу. Всегда нужно стараться делать что-то, когда с кем-нибудь разговариваешь. Лучше всего наводить чистоту, как я это делаю. Ты замечал, что когда говоришь с каким-нибудь человеком, у которого под рукой бумага и карандаш, то он во время этого разговора начинает что-нибудь машинально рисовать?

- Замечал.

- Так вот, я из практических соображений решил не переводить бумагу и карандаши, а наводить порядок на кухне. Нельзя запускать кухню. Она быстро зарастает грязью. Только что-нибудь приготовил, сразу же нужно брать тряпку и протирать. Это и успокаивает, и делает жизнь полнее! - с иронией закончил отец.

Беляев продолжал думать о квартирном вопросе. Он понимал, что несколько в лоб пошел на этот вопрос, сразу ринулся на него, как только умерла соседка и ему удалось отхлопотать себе ее комнату. Теперь Беляев поставил вопрос иначе: что нужно сделать, чтобы оставшиеся соседки из четвертой комнаты не дергались и ждали часа, когда им нужно будет выписаться, чтобы Беляев с семейством занял их комнату и, таким образом, всю квартиру. Для этого нужно было переговорить с этими сестрами-соседками и условиться о взаимоприемлемом варианте. И он стал мечтать о том, как он завтра же встретится с каждой и пообещает хорошее вознаграждение. Все это было похоже на вдохновение уже потому, что тут же в голову пришли другие соображения. Например, через Скребнева выйти на исполком, чтобы этим сестрам дали площадь, а за Беляевым оставили эту. Но главная загвоздка была в Лизе, у нее недавно случился выкидыш, и беременеть месяцев пять она не собиралась.

Теперь Беляеву было досадно, что он пришел с этой проблемой к Заратустре, что он как бы раскрылся перед отцом в своих меркантильных интересах. Он по-прежнему хотел смотреть на отца несколько свысока, как преуспевающий молодой доцент, ученый, кандидат технических наук, член парткома института. И когда он вышел на улицу и увидел над переулком луну, то подумал о пред-

ложении отцу. как о дурной случайности, которых больше не должно с ним случаться.

Было холодно, и луна как бы подчеркивала своим светом этот холод. В самом лунном свете, без всякого мороза, есть что-то холодное, металлическое. И при этом есть еще что-то в этом свете магическое, завораживающее, как будто на тебя смотрит огромный, живой глаз существа, знающего о тебе все, даже то, что ты сам о себе не знаешь.

Глава XVIII

Несмотря на вчерашнюю оттепель, в пятницу утром снова пришлось подстраиваться под минусовую температуру, надевать зимнее пальто, а не темную куртку с капюшоном, меховую, на “молнии”, которую купила ему в ЦУМе Лиза и которая едва прикрывала зад, почти как у Комарова, но эта куртка существенно отличалась от тощей комаровской медвежьей объемностью, так что Беляев в ней походил на полярника.

- Когда будешь? - спросила Лиза, когда он уходил.

- Поздно, - сказал Беляев. - На кафедре дел до черта!

Но ни на кафедре, ни в другом месте дел на этот день Беляев специально не назначал, поскольку собирался сегодня посвятить всего себя тому, что даже не сразу поддается трезвой оценке, хотя оценку той, ради которой он законспирировался перед Лизой, Беляев вчера на экзамене поставил, но с неким условием...

Снег валил как сумасшедший и дул пронзительный ветер, закручивающий этот снег в метельные вихри. В такую погоду не очень-то приятно гулять по улицам, хотя и выбеленным снегом, но все-таки мрачноватого от густой облачности, когда кажется в любое время светового дня, что либо наступает рассвет, либо приближаются сумерки.

Но часто бывает в жизни так, что мрачность внешняя не омрачает настроения и даже кажется, что природа специально создает особые погодные условия, отличая обычные дни от этого необычного с ярко выраженными стихийными возмущениями, к которым с полным основанием можно было отнести нынешнюю метель. Запечатленный образ той, к которой он спешил, преследовал его весь семестр, когда он читал лекции на ее потоке.

К чувству легкости сладостно примешивалось ожидание, даже предвосхищение близости, ставшее навязчивой идеей, столь сильной, что она вытесняла из сознания все другие помыслы, и Беляев поражался, насколько силен в человеке сексуальный запал, какая могучая энергия сообщена человеку, энергия, способная преодолевать любые условности морального толка, любые преграды с потерей собственной головы, не в буквальном смысле, а в фигуральном, когда с усмешкой о таком, как Беляев, говорят, что он от любви потерял голову. Дай Бог каждому почаще терять таким образом голову, думал Беляев, не замечая, что красно-черно-белый, в клетку, меховый шарф выбился из-под мехового воротника пальто, почти не защищая шею от ветра со снегом.

На крыше троллейбуса лежал толстый слой снега, по которому пробежала поземка, упругие мачты, обледенелые, как два рога инфернального зверя, высекали искры на развилках контактных проводов, троллейбус гудел: “у-у-у”, и этому гудению вторили снежные вихри: “шис-ши-ис-шис”. Беляев протиснулся в салон с заиндевевшими окнами и черными скважинками на них, проделанными человеческими дыханиями, теплыми, живыми, чтобы не просто ехать, а ехать и смотреть, потому что движение в закрытом пространстве, подобно первому приближению к смерти, или, смягчая это выражение, знакомству с неизвестной в темной комнате, когда буквально зрительный нерв в бездействии бунтует.

Ощущение той прежде всего было *зрительным*. Беляев как бы гладил взглядом ее несколько по-северному холодноватое лицо с белейшей кожей, гладил ее маленькое ухо с затянувшейся, едва заметной дырочкой для серьги, она почему-то была без сережек, вообще она была без украшений, и Беляев едва помнил - пользовалась ли она косметикой, этими разными тушами, тенями, румянами, помадами.

Классическое северное лицо, сдержанная улыбка и идеальный прямой нос - все это он видел в разном *освещении*, но именно в освещении, и без смущения оглядывал ее, до поры до времени избегая смотреть в глаза. Может быть, именно глаза, в которые он потом заглянул и научили в них смотреть, не пугаясь собственного смущения, вызвали в нем взрыв энергии. Глаза - это все! Они выдают любую тайну и особенно такую редкую и в то же время такую распространенную, присущую каждому человеку, будь то женщина или мужчина, тайну любви.

И он смотрел в ее глаза и поглощал из них намеки симпатии к нему, отказ виден сразу в равнодушии взгляда, в пассивности зрительного нерва, а здесь глаза *нервничали*, но, разумеется, столь незаметно, что она не теряла, хотя и была молода, очень молода, самообладания. И в этом был основной смысл взгляда, знак его и суть. Примагнитился как бы взгляд, отталкивая все прочие чувства назад, в очередь, если, конечно, можно выстроить все человеческие чувства в очередь.

Это столь трудно было уловить, но это улавливалось после нескольких внимательных взглядов: взгляд как бы туманился, зрачки расширялись и его взгляд как бы входил в ее взгляд, но не сразу, а после небольшого возбуждения зрительного нерва. Медленно, очень медленно расширялся зрачок, вызывая ощущение щекотливого возбуждения, и его взгляд медленно уходил в темное отверстие ее зрачков, уходил в неизведанные глубины с болезненным чувством перенапряжения.

Беляев держался за верхний поручень троллейбуса, наклонялся над сидящими пассажирами и заглядывал в черные скважины, которые на мгновение светлели: мелькали дома в снегу, прохожие в снегу, деревья в снегу, палатки и ларьки в снегу, снег в снегу, ветер в снегу, небо в снегу... Красный свет светофора в снегу. Красный кружок в снегу, как роза, как губы.

Когда он входил с ее одобрения в ее глаза, то у нее приоткрывались губы. Оказаться в темноте с такими губами - убийственно несправедливо. Любовь в темноте оскорбительна семейной обыденностью. Любовь, наполовину состоящая из *зрительных* ощущений, в темноте превращается в подобие нудной работы, рабского исполнения долга. Ни единой морщинки не было на ее прелестном лице, тем более вокруг губ. И когда она говорила, отвечая на вопросы экзаменационного билета, он, право, не слышал, что она говорила, он видел *только эти губы*, открывающиеся для него, больше ничего он не видел, лишь чувствовал необычайный напор крови в собственном теле, и уже через свой взгляд, своими глазами, прикасался к этим бледно-розовым губам, гладил эти губы, впитывая их влагу, касаясь белых зубов, и, когда она произносила слова, в которых было много гласных звуков, а гласные звуки заставляют довольно-таки широко открывать рот, взгляд его проникал еще дальше, к языку и по влажно-розовому языку. Она как бы чувствовала это зрительное

вхождение и специально, как ему казалось, задерживала дыхание на гласном звуке. То есть звук уже слетал с губ, а артикуляционный аппарат еще был настроен на этот звук. Потом она как бы от удовольствия сглатывала слюну и вдыхала воздух. А он в этот момент испытывал приятное облегчение с примесью восторга.

Почему губы, женские губы, девичьи губы так часто сравнивают с розой, Беляев понимал теперь очень хорошо. Потому что при поцелуе на расстоянии, который иногда бывает сильнее естественного поцелуя, ее губы источали запах розы. Губы шевелились, лились гласные и согласные звуки, губы то закрывались, то открывались, и взгляд Беляева то гладил внешнюю оболочку, то внутреннюю, то входил в нее, то выходил. Для него это были обеззвученные губы, как будто изображение пустили, а фонограмма стерлась.

Губы как бы облегали, обхватывали его взгляд, шевелился нежный, ласкающий язычок и слегка покусывали зубы. И губы, и глаза вбирали его взгляд, приковывали, *прилюбливали* к себе. Может быть, она это делала специально, но нельзя было предположить, что она опытна, что она так здорово умеет это делать, так мастерски управлять своими глазами и губами, которые она сама в этот момент *не видела*. Если бы она находилась перед зеркалом, то, возможно, у нее бы что-нибудь в этом плане полчилось. Но зеркала перед ней не было. Если, конечно, Беляева не считать зеркалом. А он мог стать таковым, поскольку темные зрачки его глаз тоже расширялись, и губы его тоже приоткрывались.

Розовая кожаца губ этой девочки истерзала взгляд Беляева.

До этого она сидела за столом и он изредка бросал на нее взгляд, как бы случайно. Он делал вид, что выслушивает экзаменационный ответ студента, а сам поглядывал на нее.

Сначала, когда она вошла в четыреста пятую аудиторию, где он принимал экзамен, и выбирала билет, он охватил всю ее долгожданым взглядом, и от этого охвачивания она просияла.

Она и без того была в достаточно приподнятом настроении, судя по ее бодрому восшествию в аудиторию, но взгляд его как бы ее встряхнул.

Она прошла к первому столу у двери и села, вплотную сдвинув колени.

Он погладил взглядом эти колени.

Она перехватила его взгляд и догадалась, куда он перенес все свое внимание, но не встрепенулась, а как бы пригласила, если ему нравится, на нее смотреть.

Он говорил себе, что смотреть на нее не нужно, даже минутую другую не смотрел, слушал ответ студента, пытаюсь вникнуть в суть этого ответа, но тут же глаза его против воли начинали смотреть на нее.

И в этот момент смотрения на нее, Беляев ухитрялся как бы увидеть себя со стороны, смотрящего на эту смазливую девочку, и ему становилось не по себе. Не потому, что он смотрел на нее, - смотреть можно на кого и на что угодно, - а то, что он смотрел на нее с определенным умыслом. Ему - со стороны - хотелось покраснеть, но он не краснел.

Удивительное состояние неподвластности самому себе!

Она положила ногу на ногу, как бы увлекаясь писанием ответа на вопрос билета, и делала вид, что ничего не происходит, как будто она сидела в джинсах, в которых можно было вытворять с ногами все что угодно, даже широко разводить колени, как торговки, когда сидят на каком-нибудь ящике, но они прикрывают свои массивные бедра подолом платья, вбивая его между ног своими тяжелыми, почти что мужскими руками.

Самое поразительное для Беляева во всем этом наблюдении было то, что он *не открывал* для себя ничего нового. Он до этого много раз видел и округлые бедра, и все, что было закрыто одеждой, но с потрясающей жадностью ему хотелось увидеть это и в этот раз! Это был какой-то бездонный колодец вечного разглядывания давно пройденного, известного, но невероятно растянутого во времени наслаждения.

Уловив, что его взгляд слишком задержался под юбкой, она начала медленно (чтобы позлить его?) сдвигать колени. Тогда он переводил взгляд на отвечающего студента, который нес какую-то околесицу, но прерывать его не хотелось, потому что можно было этим прерыванием *испортить* все на свете. Некоторое время Беляев туманно смотрел на студента, кивал ему и не заметно для самого себя вновь устремлял взгляд под стол, на ее красивые ножки. И она как бы делала этого.

Колено одной ноги медленно поднималось, приоткрывая нижнюю сторону бедра, и нога ложилась на ногу, оставляя эту нижнюю, соблазнительную часть бедра для постоянного обзора.

Он гладил взглядом это нежно-мягкое тело и уже представлял ее лежащей на животе, и это место на бедре видел уже в ином ракурсе.

Она сидела за столом, склонившись к листу бумаги, писала, а он любовался ее мальчишеской стрижкой, ее русыми волосами, почти что ежиком, но не торчащим, а с лежащими иголками. И это сравнение было не напрасно: у нее были очень жесткие волосы, не желавшие, хотя и видны были следы расчески, лепиться к коже головы. Такая прическа достигается особой технологией стрижки, при которой используются ножницы, напоминающие расческу, и специальная бритва, срезающая волосы из зажатой в руках парикмахера пряди. Или что-то в этом роде.

Недурно головку такого ежика подержать в ладонях!

Вся ее фигурка была подчеркнута специально-тесноватой одеждой. Задик казался оттопыренным из-за крепко затянутого кожаного ремешка на юбке, на самой талии, казавшейся от этой затяжки просто восхитительно тонкой. Блузка была из эластичной, облегающей тело ткани, так что хорошо вырисовывалась грудь, не очень большая, но, судя по тому, что заметны были через ткань бугорки сосков, напряженных, тревожных, она была без лифчика. Для отвлечения внимания от этой острой подробности, на шее был повязан яркий шелковый шарф, концы которого в любой момент, по желанию хозяйки, могли прикрыть грудь.

Когда подошла ее очередь отвечать и она встала, показав издали всю свою изящную фигуру, Беляев даже сглотнул слюну и заволновался. Маленькие туфельки направились к столу. Конечно, она не могла прийти в институт в этих миниатюрных, модельных туфельках. Она их принесла с собой, внизу, в гардеробе, она переоделась, сняла сапоги, распустив "молнию", и надела эти туфельки. Сначала она, конечно, села на банкетку, там, в студенческой раздевалке, стоят такие полумягкие банкетки, довольно широкие с бордовой обивкой. Потом взяла ногу за сапог и как бы подняла эту ногу, чтобы положить ее тем местом, куда приходится щиколотка, на колено другой ноги. Беляев давно заметил эту истинно мужскую позу, взятую на вооружение женщинами при снятии сапог. В таком случае колени расходятся очень широко и женщины просят закрыть их или садятся так, чтобы посторонний глаз не смог подсмотреть за ними.

Вот что поразительно: скрывается то, что давно всем известно! Если бы не было известно, тогда понятно, почему надо было скрывать. А то скрывается то, через что прошел каждый живущий, живший и будущий жить. Каждый человек это видел, это знает и все равно скрывает. Тут необъяснимо-прекрасная загадка механизма расширенного воспроизводства человечества. Обязательно закрыться. Так Лиза закрывается, хотя ее Беляев знал наизусть, как "Буря мглою...". И что самое уникальное; он от нее закрывается, когда она вдруг стучит в ванную за чем-нибудь ей в этот момент нужным, да еще скажет:

- Я не смотрю!

Нет чтобы постучать, и прямо так сказать, честно:

- Открой, я хочу на тебя голенького посмотреть.

И продолжает скрываться то, что давно всем известно. А если бы не было известно, тогда было бы понятно, почему скрывается. Но так - совершенно непонятно! Конечно, если бы механизм воспроизводства рода людского был разового, что ли, исполнения, тогда бы все обнажились, выставили бы свои прелести напоказ. А тут - не разовое исполнение... Тут всю жизнь можно рожать. Особенно мужчинам. Разумеется, не им самим, а женщинам, разным женщинам. Это в день иногда по пять воспроизводств можно было произвести, то есть где-то за год один мужчина может наштамповать порядка тысячи детей! Но где ему отыскать столько желающих женщин?

Так что, прячут потому, что еще могут, а когда уже не могут, то прячут по привычке. Такое уж существо человек, к чему привыкает, от того до смерти не откажется. И вот что еще любопытного замечал за собой Беляев: как только он начинал рассуждать об этом, грубо говоря, о последствиях любви, то сама страсть любви в нем охладевала. Из этого он делал вывод, что страсть обходится без рассуждений. Вернее, в само понятие страсти не может входить что-то еще. Страсть эгоистична, как отец, как он сам, как каждый человек, не желающий признаваться в своем эгоизме, в своем дурацком эгоцентризме.

Вот сидят в зигнем троллейбусе эгоисты и делают вид, что они альтруисты, те, которые у окон сидят, дуют на заиндевелую поверхность, хотят за жизнью наблюдать. Это законное желание каждого - наблюдать за жизнью, прятать от подобных себе предметы расширенного воспроизводства, вести производст-

венно-партийные беседы и слушать произведения Тихона Хренникова.

Им в этом праве никто не отказывал. В праве смотреть и видеть - отказано! Смотреть-то все могут, а видеть - единицы. Вот в чем парадокс текущего момента в расширенном воспроизводстве рода людского в масштабах один раз взятой большевиками страны.

Она села к столу и посмотрела на него намагниченными глазами. Зрочки сначала были маленькие, а потом медленно стали расширяться. Она как бы поглощала его взгляд и видела, что его глаза *нервничали*. Ей сначала это трудно было уловить, но она улавливала постепенно и видела, что взгляд его как бы туманился, зрочки расширялись и его взгляд входил в нее, она это остро почувствовала. Вхождение в нее его взгляда, когда все от любви становится влажным, как листья во время дождя, или как лед во время заливки. Лед поблескивает радостно и по нему легко и приятно скользить.

Можно свихнуться от мысли, что вся жизнь построена на влаге, на жидкостях, на переливаниях, вливаниях, введении, выделении, слезах, плаче, скольжении, умывании, облизывании. Какой-то несерьезный смысл во всем этом просматривается, какая-то писанина вилами по воде, какое-то переливание из пустого в порожнее, какое-то истечение рек в океаны и океанов в реки, какой-то вечный Великий Потоп, думал Беляев, поглядывая в дырку троллейбуса, окружает людей, а люди его не замечают, особенно когда влага предлагается для зрительного восприятия в виде снега, сугробов, льда и других производных этого бесподобного материала.

Вы не заметили, что самым точным определением любви качественной, то есть с рождением человечка, будет: переливание из пустого в порожнее?! Самое сексуальное, оказывается, самое эротическое выражение:

ПЕРЕЛИВАНИЕ ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ!

Оттого-то так пусто на душе мужчины становится, оттого-то у женщины животик барабанчиком надувается.

И потом он опустил глаза от ее глаз на ее губы, а потом на пестрый шарфик, концы которого она как-то машинально отвела красивыми тонкими пальцами. Грудь ее под тканью блузки была совсем рядом, стоило протянуть руку. Но... Держи себя в руках!

Уж Беляев это знал, и как будто сейчас он схватил своими руками свои руки, чтобы они знали свое место, как солдат в строю! Так! А она положила перед собой листок с ответами на вопросы билета и делала вид, что и сейчас не замечает, куда он смотрит. А ей, на самом деле, так приятен был его взгляд, что ей казалось, что он гладит ее волосы или обнимает ее, целует ее.

И Беляеву вдруг стало очевидным, что предвкушение любви гораздо сильнее самой любви, если уверен, разумеется, в том, что все пройдет по предвкушаемому плану. Когда все проходит по плану, то есть когда партнерша оказывается умнее своих прихотей и капризов, достигается полная чаша любви.

Перед собою он видел ее руки с тонкими, нежными пальцами. Красивый цвет лака на ногтях, утонченно аккуратных, придавал еще большее изящество этим пальцам. И Беляев увидел, как эти пальцы гладят его волосы, гладят его кожу, пощипывая ее, гладят медленно, осторожно и сами ощущают нервное подрагивание мышц, и от этого глажение делается более нежным и размеренно ритмичным, а потом это место под пальцами, эта кожа его тела гладится уже ее губами, ее языком. Пальцы словно прокладывают дорогу для губ, пальцы-поводыри, пальцы-разведчики.

Он смотрел на ее пальцы, и они буквально вогнали его в пот, но помимо воли он не мог отвести от них взгляда, от этих ухоженных, прекрасных девичьих пальчиков, только недавно узнавших маникюр, и поэтому особенно обворожительных.

Да, она была прелестна, когда шла от стола к нему, когда садилась перед ним, когда отвечала ему. А он смотрел в ее глаза и погружался в них. Он смотрел на ее уши и целовал их. Он видел ее грудь и гладил ее. Он любовался ее ровными ногами и гладил их. Он примеривался своими губами к ее губам и ощущал сладкую влагу поцелуя. Он проделал с ней полный цикл, но только сейчас ехал к ней в троллейбусе, ехал к самому избитому, известному месту встречи - к памяtnику Пушкину.

Он вышел из троллейбуса, ветер швырнул ему в лицо снег. Беляеву было приятно ощущать этот снег, потому что он создавал огромное расстояние между плюсом и минусом, наращивал разность потенциалов, чтобы в конце концов произошел разряжающий удар. Пушкин был на месте, никуда не ушел, стоял, вернее, как-то парил в снежной карусели. У Беляева от матери сохранилось множество открыток с видом старой Москвы, в том числе с

видами этой площади, которая образовалась в 1770-х годах, после сноса стены и башни Белого города.

Белый город, белый снег...

Москва прекрасна в своем архитектурном экспромте! Беляев смотрел на старую фотографию площади: высокая колокольня замыкает пространство там, где теперь киношка с патетическим названием "Россия". Скромности для названий не хватает: как газета, так "Правда", как наша цель, так "Коммунизм"! Нет чтобы газетку назвать "Обыватель", а цель определить как "Текущий день". Смелости не хватает! Площадь эта во многих отношениях истарила в передовых. Памятник Пушкину - первый! В 1899 году отсюда протянулась в Москве первая линия трамвая! В 1907 году именно на Страстной площади появилась стоянка первого автомобиля-такси! Первый киоск Мосгорсправки был открыт у Страстного монастыря!

И вновь она подходила к столу, и он входил с ее одобрения в ее глаза, и у нее приоткрывался рот. И он видел северное классическое лицо, чуть-чуть оживленное, без смущения оглядывал ее, любовался ею, маленькой, миленькой, с чистыми большими глазами. По-видимому, именно глаза, в которые он заглянул и привык в них смотреть, не смущаясь, вызвали в нем эротические чувства.

Глаза - это тайна любви. И он смотрел в ее глаза и втягивался в них, потому что они предлагали втянуться и нервничали, что он не слишком смело втягивается в орбиту их притяжения.

Волнение охватывало Беляева, заставляло напрягаться, да еще эта метель начинала действовать на нервы. Он прикатил на Страстную-Пушкинскую за пятнадцать минут до встречи. Все боялся опоздать! А ветер крутил вихри, задирали полы пальто у мужчин и женщин, которых и в эту погоду у Пушкина толпилось немало. Не хватает фантазии для устройства встречи где-нибудь в другом месте. Впрочем, на сей раз у Беляева тоже не хватило ее, он просто не думая ляпнул: на Пушкинской, у памятника. И все. Может быть, вообще что-то в этом месте встречи есть. Особенно женские ножки!

А, может, эта девочка от удивления согласилась с ним встретиться. Что она там несла на экзамене? Неизвестно. Он ничего не слышал, он только увидел ее, как фонограмма оборвалась. А она села за передний стол и сдвинула колени плотно-плотно, как девственница. Может быть, она в самом деле девственница, подумал

Беляев. Но дальнейшее поведение ее ног под столом, кажется, говорило о другом. Или она так была напугана билетом, что машинально ноги стали показывать себя со всех сторон. Как раз это характерно для девушек: на них находит стих забывчивости.

Сидят иногда в метро, напротив, читают книжку, а у самих *все видно*. Потому что забывают про ножки. Не забывают про них только опытные в этих делах женщины типа Валентины из архива. Та как сядет, так колени как сваркой привариваются. Со стороны какой-нибудь тип посмотрит и подумает – неприступная скала!

С другой стороны, если девочки-праведницы опасаются утратить *это*, то какого черта они надевают свои мини-юбки и нелифчики?! Носили бы платья до пят, не красились бы, не попугайничали, не выщипывали бы себе брови, не уродовали волосы разными перекисями, начесами. Но раз они этого не делают, а активненько стремятся привлечь к себе внимание, то, стало быть, вполне готовы к высшей фазе эротизма. Никакой логики, никакого смысла: прет природа, как грибы после дождя. Было бы очень просто покончить с человечеством, если бы страсти были одноразового пользования, да и те были бы не вполне совершенными, а легко обуздывались лицемерами.

Дрожь пробежала по всему телу Беляева от волнения и ожидания, от представлений и возбуждения. Красиво ветер снег кружил, подбрасывал, рассыпал. Иногда порывы ветра были столь сильны, что казалось сейчас рухнет Пушкин, но он каким-то чудом удерживался на пьедестале, поднимал руку с пистолетом и готовился стрелять в своего обидчика.

Лесок заснеженный, речка подо льдом и памятник идет стреляться...

Но тут вынырнула из метели она.

Глава XIX

С пожелтевшей елки Пожаров осторожно снимал игрушки, потому что елка сильно осыпалась, и аккуратно завертывал их в папиросную бумагу, чтобы затем уложить в картонную коробку для украшений. Беляев сидел на диване, листал журнал и изредка поглядывал за действиями Пожарова, как бы оценивая, нужна сейчас его помощь или нет. При каждом прикосновении к игрушке с

елки шумным градом сыпались иголки, переполняя комнату сухим запахом хвои и пыли.

- Ну так какое же у тебя ко мне дело? - спросил Беляев, продолжая листать журнал.

Пожаров оглянулся и некоторое время молча смотрел на Беляева, как бы вспоминая, зачем он звонил ему и пригласил зайти. Некогда пышная шевелюра Пожарова поредела, образовались довольно-таки заметные залысины, и лоб его теперь казался большим, умным, но еще не таким большим и умным, как у лысых вождей. Беляев подумал об этих лысынах, придающих лбам величие, как о природной маскировке не наличия, а отсутствия ума. В свое время у Пожарова, например, лоб был небольшой. Конечно, Беляев не хотел сказать, что у Пожарова не было ума, но все-таки что-то такое с лысынами не в порядке. Можно было предположить, что если с рождения тебе дан небольшой лоб, то ты полысеешь, а если лоб у тебя нормальный, то ходи спокойно с волосами, не полысеешь.

- Мне пять штук нужно, - сказал наконец Пожаров с некоторым смущением и отцепил с колючей ветки петлю нитки, на которой покачивался серебристый фонарик.

- Пять тысяч?! - удивленно переспросил Беляев и захлопнул журнал.

- Да. Хочу у тебя попросить взаймы. Ну провернем это дело с Григорьевым, и я тебе верну.

- Да у меня нет таких денег, - сказал, поднимаясь с дивана, Беляев.

- Врешь!

- Толя! Какая-то странная постановка вопроса...

- Что же тут странного, - пожал плечами Пожаров, и от этого загнулся уголок воротника клетчатой байковой рубашки. - Ничего странного нет. К кому мне еще обращаться?

Беляев сосредоточенно прошел несколько раз из угла в угол.

- С этим Григорьевым еще не все ясно... Я не уверен, что он возьмет всю партию плит.

- Возьмет. У него же целый поселок шабашники шарашат!

- Хорошо, - сказал Беляев. - Тогда и получишь свою долю. Как раз пять штук.

- Но мне сейчас они нужны!

- Где я их возьму? - спросил Беляев, потому что этот разговор ему начинал не нравиться.

- У тебя есть, - мягко сказал Пожаров, отводя глаза. - Что я не знаю, что ли, что у тебя есть.

- Нет ни копейки! - усилил голос Беляев.

- Ты же никуда не тратишь деньги.

- Это мне лучше знать, - сказал Беляев и, подумав, добавил: - Были какие-то деньги, но ушли на ремонт квартиры. Да этим сестричкам-соседкам отвалил!

Ремонт квартиры, после выезда последних соседок, обошелся Беляеву в две тысячи, потому что бригада строителей была из институтского ОКСа, а сестрички получили по триста рублей и были довольны. Но объясняться с Пожаровым Беляев не собирался. У Беляева были большие, слишком далеко идущие планы, и те сто пятьдесят тысяч, которые к этому дню скопились у него, ждали своего черед.

- Но мне нужно, я обещал! - сказал Пожаров.

- Обещай, это твое дело. А почему ты десять не пообещал? Я знаю, что у тебя такие деньги должны были быть...

- Откуда? Они как вода. Что я их складываю, что ли? В кабак зайдешь, туда-сюда и пусто!

- На кабак никаких денег не хватит, - мрачновато сказал Беляев. - И что тебе эти кабаки дались!

- А что делать? Скучно. А в кабаке как дашь жару!

- Женился бы ты, - вдруг сказал Беляев. Пожаров почему-то от этих слов порозовел и, снимая с почти что оголившейся елки очередную игрушку, сказал:

- Я на это и прошу. Понимаешь, ее отец, генерал, пробил однокомнатный кооператив. Ну я, по пьяне ляпнул, что сам внесу пай! Что я теперь скажу?

- Какой еще кооператив, если ты не расписан! - бросил Беляев.

- В том-то и дело, что расписались перед самым Новым годом!

- Интересные дела! А меня не пригласил...

Пожаров в смущении принялся стаскивать с елки лампочную гирлянду. Последние иголки посыпались на пол. Уши Пожарова пылали. Беляев видел эти свекольного цвета уши сзади.

- Она не хотела никого приглашать. Мы были вдвоем у нее на даче. Природа, снег, шампанское и все такое, - сказал Пожаров, не оборачиваясь.

У Беляева возникло странное, неприятное чувство обманутого. Он, Беляев, выступал в роли обманутого человека. Это было

новое, незнакомое ему чувство, сдвигавшее его на какую-то низшую ступень в человеческих отношениях.

Ничего не говоря, он развернулся и вышел в прихожую, оделся и только тут заметил вышедшего из комнаты Пожарова.

- Ты что, с цепи сорвался? - спросил он.

- Некогда, опаздываю! - резко бросил Беляев и хлопнул за собой дверью.

Ему, действительно, нужно было в институт. Он мог бы, разумеется, нормально распрощаться с Пожаровым и уйти по-человечески. Но Беляев не хотел "по-человечески", слишком "по-человечески" - люди не понимают, особенно такие типы, как Пожаров.

И даже если бы захотел уйти по-человечески, то у него бы не получилось, потому что, казалось, весь мозг его сковал спазм негодования.

За спиной Беляева Пожаров что-то будет делать, а он с ним - по-человечески?! Шиш! Несчастливая богема, оболтус! Пусть покрутится, повертится без Беляева! Придет, никуда не денется! Пять тысяч ему дай! Можно было подумать, что он делает тебе одолжение, что просит именно у тебя эти пять тысяч.

Беляев выскочил на улицу, поймал такси и поехал в институт. В три часа начиналось заседание парткома и Беляев поспел как раз вовремя. Кое-кто уже сидел за длинным и широким полированным столом, кто-то стоял в кабинете Скребнева и о чем-то трепался. Заметив Беляева, Скребнев отделился от разговаривающих и подошел к нему.

- Коля, привет! - сказал он оживленно. - Как там дела с этим, о чем я тебя просил?

- Нормально, - сказал Беляев. - Все идет по расписанию!

- Ты лучше об этом никому ничего не рассказывай.

- Что ты, Володя? Я никогда никому ничего не рассказываю.

- Это я знаю. Но все-таки, - сказал Скребнев и переменял тему: - Сегодня этого, Горелика, рассматриваем. Вот сволочь, а? Как тебе нравится?

- Подонок! - сказал Беляев. - Ты помнишь, сколько он мне нервов истрепал с диссертацией, и если бы не ты, Володя, то...

- Ладно. Ты пару слов скажи.

- Скажу, будь спокоен! - Голос у Беляева стал злой, противный. - Я ему припомню диссертацию. - Беляев смотрел на торчащие во все стороны, непокорные волосы Скребнева. - Затесалась мразь в наши ряды!

Беляев был ужасно зол на Пожарова и теперь с удовольствием готов был выплеснуть эту злость на ученого секретаря Горелика.

Из своего кабинета Скребнев пошел в комнату заседаний к своему столу, стоявшему перпендикулярно длинному полированному.

В партком вбежал с какими-то бумагами под мышкой Сергей Николаевич, пожал всем руки и отозвал Беляева в сторону, к окну, на подоконнике которого все еще благоухали цветы, хотя секретарша в парткоме была новая. Та райкомовская старуха недавно умерла от рака.

- Старик, - обратился к Беляеву Сергей Николаевич, - мне нужно свалить по делу, а у меня группа на экзамене сидит... Прими?!

- С удовольствием, но Скребнев просил выступить здесь.

- Ты выступи и прими. А я сейчас у Скребнева отпрошусь.

- Скажи группе, что через час я приду. Пусть готовятся, - сказал Беляев.

Сергей Николаевич подошел к Скребневу, который уже сидел за своим секретарским столом, как тамада на свадьбе, и в этот момент снимал наручные часы, чтобы положить их перед собой. Сергей Николаевич с видом заговорщика склонился к самому его уху и что-то зашептал. Скребнев посмотрел на Беляева и пальцем поманил его к себе. Беляев подошел.

- Коля, иди, разыщи Горелика. Мы его первым вопросом прокрутим, а потом уж прием и общежития.

- Ясно, - сказал Беляев и побежал искать Горелика.

Но тот отыскался сам: шел уже к парткому по длинному коридору. Шел медленно, как будто не знал дороги, озирался, часто моргал и был бледен, как снег за окнами.

- Где ты бродишь?! - нагло крикнул на него Беляев, хотя всегда до этого был с ним на "вы", поскольку Горелик как-то выпал из круга интересов Беляева.

По всему было видно, что Горелик готов был смириться и с таким обращением, он только, заикаясь, заметил:

- Я, Николай Александрович, уже иду, но вижу, что вы в плохом настроении.

- Ладно, пошли!

Голоса смолкли, когда Беляев ввел его в партком. Все глаза устремились на Горелика. Беляев сел на свое место за столом, придвинул красную стандартную папку, которыми снабдили всех

членов парткома, и раскрыл ее. Сверху лежала повестка заседания парткома: “27 января 1975 г. 1. Прием в партию. 2. О работе студсовета общежития. 3. Персональное дело”. Горелик остался стоять у двери. Ему не предлагали ни сесть, ни отойти от двери.

Скребнев карандашом постучал по графину и голоса смолкли. Но некоторое время Скребнев молчал и листал какие-то бумаги. Пальцы его не щадили этих бумаг, мяли их, кое-как складывали, потом эти пальцы мусолили язык, чтобы легче было бумаги листать.

Беляев наблюдал за Гореликом, руки которого, безвольно опущенные, сцепились пальцами так, словно Горелик был обнажен и прикрывал срам. Во взгляде его была полнейшая отрешенность. Лысина поблескивала в свете парткомовской люстры. Лысина у Горелика была просторная, пологая, обрамленная давно не стриженными черными, слегка вьющимися волосами, закручивающимися сзади на белом от перхоти воротнике поношенного черного пиджака.

Желтовато-лаковая лысина, черные волосы вокруг, черные глаза, черный пиджак, как будто ночь уже совершенно опустилась на партком и Горелик только что вышел из дому. Он, как и привык, направился через Кедронскую долину к Гефсиманскому саду у подножия горы, едва различимой в свете звезд. Он стоял у дверей горы Елеонской. Послышались в темноте голоса, Горелик обернулся и увидел толпу вооруженных людей с факелами. Впереди шел Иуда, обративший поцелуй в условный знак предательства.

Петр выхватил меч, огненной молнией мелькнувший в свете факелов, и отсек ухо римскому воину. Горелик сам отдался на волю победителей.

- Итак, - раздался голос Скребнева, - заседание парткома объявляю открытым.

Вдоль стола пробежал легкий говорок. Меры, которые было решено первосвященниками применить к Иисусу, соответствовали установленному праву. Судебная процедура против “соблазнителя” (мессит), который покушается на чистоту религии, разъярена в Талмуде с подробностями, способными вызвать улыбку своим наивным бесстыдством. Юридическая западня составляет в ней существенную часть уголовного следствия. Нашлись два свидетеля, машинистка ученого совета и студент, которые свидетель-

ствовали против Горелика, что он распространял в институте протоколы суда над Синявским и Даниэлем.

- Когда свидетели пришли к Скребневу, - рассказывал Сергей Николаевич, - он их конечно выслушал и отпустил. Но тут было что-то не то, - говорил Сергей Николаевич Беляеву.

Да и Беляев это прекрасно понимал, поскольку эти протоколы спокойно читали все, кому не лень, и источники были другие.

- А ты что думаешь? - спросил тогда Беляев у Сергея Николаевича.

- Слинять он хочет, вот что! - резонно догадался тот.

Никогда такого в институте не было, чтобы партком разбирался в подобных делах. Но Горелик как будто сам стремился устроить разбирательство над собой. Болтался по институту и всем встречным-поперечным жаловался, что вот, мол, перехватили у него материалы! Странная ситуация.

Скребнев читал Солженицына прямо у себя в кабинете! Закроется, говорит, над отчетным докладом буду работать, и читает! Все читали, обменивались самиздатом, а этот Горелик тучи согнал надо всеми. Беляев по просьбе Скребнева переговорил с машинисткой. Намеками так говорил. И по ее же намекам понял, что сам Горелик вроде бы просил ее, чтобы она сказала в парткоме. То же со студентом, Меламудом, какая-то хитрость проступила.

- Ну, рассказывай, Матвей Абрамыч, как ты до жизни такой дошел?! - громко сказал Скребнев и все опять обернулись на Горелика, некогда бойкого, юркого ученого секретаря, который так лихо обделывал дела, что иногда сам Скребнев мог с трудом на него повлиять. Как правило, у Горелика всегда были "объективные причины".

Горелик возвел свой отрешенный взгляд к потолку.

- Подойди поближе, к столу, - сказал Скребнев.

- А что рассказывать? - тихим голосом спросил Горелик.

- Ну, для начала, расскажи, зачем ты на себя донос устроил? - сказал с некоторым поддельным оживлением Скребнев.

- Я?

- Ты!

- Я не устраивал. Я хотел только показать, заострить внимание на безобразиях, которые творятся у нас.

Скребнев перевел взгляд на Беляева и как бы незаметно кивнул ему. Беляев поднялся, отодвигая стул, обвел взглядом сидящих членов парткома, входя в роль, и сказал:

- Мне кажется, сущность вопроса, вынесенного на партком, не очень проста. Мне кажется, что Горелику всегда не давало покоя некое ностальгическое чувство. Не так ли, Матвей Абрамович? Конечно, горько тому народу, у которого нет родины. Люди этого народа рассеяны по всему свету. И у них в душе словно подсознательно таится это ностальгическое чувство. Все, вроде бы, хорошо: и работа приличная, и квартира, и семья... Но нет! Мало этого,- мягко закончил Беляев и, садясь на место, добавил: - На родину потянуло, Матвей Абрамыч?

- Ненавижу! - вдруг взвизгнул Горелик, которого, видимо, речь Беляева достала до живого.

- Спокойнее! - сказал Скребнев, поднимая руку.

Но Горелик взбунтовался.

- Ненавижу вас всех, коммунистов! Вот вам! - он выхватил из кармана приготовленный заранее партийный билет, разорвал его и швырнул на стол.

Скребнев хотел что-то сказать, но Горелик выбежал из парткома.

- Интересно, кто ему давал рекомендацию? - спросил вслух Скребнев, но будто сам у себя.

- Он не у нас вступал, - отозвался отставной полковник, секретарь партбюро управления. - Он к нам из НИИ пришел...

- Вот, - вздохнул Скребнев. - Вот, что происходит, товарищи. Ну как можно доверяться теперь таким, как Горелик? Спрашиваю?

- Да не брать их в институт совсем! - выкрикнул кто-то из членов парткома.

- Э-э, - протянул Скребнев. - Тут легко увлечься. Для нас, коммунистов, все люди - одинаковые. Но мы должны отбирать лучших!

Беляев посмотрел на Скребнева и молчаливо указал глазами на дверь, мол, ему пора идти на экзамен. Скребнев кивнул и продолжил развивать тему о "человеческом материале".

Беляев вышел из парткома, дошел до лестницы и поднялся к кафедре. Каково же было его удивление, когда у дверей ее он узнал знакомую дубленку и пыжиковую шапку. То был Пожаров. Выражение лица у него было оживленно-просительное.

- Коля, послушай! - сказал он. - Всех обзвонил, ни у кого нету денег. А мне завтра с утра нужно вносить пай, иначе квартира уплывет!

- Ну, ты даешь! - сказал Беляев, покачивая головой. - Я же тебе сказал, что у меня нету денег.

- Может, здесь займешь у кого?

- Кто носит с собой такие суммы, Толя! Ты что, спятил.

- Да не спятил я, - занервничал Пожаров, - а жизнь толкает! Квартира уплывет!

- Ну, а я-то тут при чем?

- Помоги!

Беляев заглянул в возбужденные глаза Пожарова и одна комбинация шевельнулась в его голове.

Пожаров сам предложил подтвердить, что у Беляева нет денег. Занимать деньги для Пожарова - это и значило доказать, что сам Беляев подобной суммой не располагает. Вместе с Пожаровым он зашел на кафедру, где курили преподаватели, и при нем позвонил в профком, зная, что там всегда в сейфе есть наличные. Брусков, предпрофкома, был на месте. Беляев сказал ему, что сейчас зайдет. С Пожаровым он двинулся на второй этаж, где располагался профком института.

- Толкаешь меня на разные авантюры! - сказал Беляев, больше показывая злобу, чем злость.

- Не забуду!

- Только что еврея одного прорабатывали. В Израиль собрался.

- У нас тоже двое уезжают, - поддержал Пожаров и добавил: - И чего их держать? Пусть все едут!

- А этот, наш, не просто захотел уехать, а стать мучеником!

- Как это?

- Очень просто. Сам на себя наклепал, а теперь как бы за правду страдает. Еще, не удивлюсь, если в газетах об этом напишут. А нам на фига это?

- Он что, дурак?

- Почему дурак? Он как раз очень умный. Уедет не простым гражданином, а *мучеником* идеи! Понимаешь? Сходу получит статус политического беженца и там на эти дивиденды будет строить свою карьеру.

- Умно! - воскликнул Пожаров, снимая с головы шапку. Он только теперь догадался ее снять. А на кафедру заходил в шапке. От волнения, наверно.

- Пусть, конечно, едут, - задумчиво сказал Беляев. - Но только жаль денег, которые мы тут на них тратим.

- Все равно наши дипломы там не котируются, - сказал Пожаров.

- Я не об этом. Я о том, что нельзя на них ставку тут делать.

- Это да.

- Ты поставишь на него, а он завтра уедет.

У дверей профкома Беляев попросил Пожарова подождать, а сам нырнул в кабинет председателя, маленького, толстого Брускова.

- У тебя, Боря, пять штук до утра в несгораемом шкафу найдется? - с порога спросил Беляев.

- Сейчас посмотрим, - сказал Брусков, открыл сейф и извлек из него коробку с деньгами.

- Невооруженным глазом видно, что есть, - сказал Беляев и сунул руку в деньги. Через минуту он уже был в коридоре.

- Пойдем в сортир, что ли, - сказал он Пожарову. - А то тут народ бродит.

В уборной Пожаров закурил и предложил сигарету Беляеву, но тот отказался.

- Когда отдашь? - спросил Беляев, передавая пересчитанные пять тысяч Пожарову.

- Сказал же, как с Григорьева получим! На следующей неделе.

- Хорошо. Не подведи!

- Завтра "бабки" отдам за квартиру и сразу - к нему!

- Не подведи! - еще раз повторил Беляев. - Я на неделю взял. Деньги общественные, сам понимаешь.

- Конечно! - пробасил Пожаров.

Они вышли из уборной и Беляев проводил его до лестницы. Удивительное дело, думал Беляев, все получилось так естественно, что Пожаров в самом деле поверил, что у него нет денег. Просто замечательно, что так получилось. Это жизненная дорога, с которой нельзя сворачивать. Никакой откровенности в этих делах быть не может и не должно быть.

Он вернулся на кафедру, взял билеты, экзаменационную ведомость и пошел в четвертого седьмую аудиторию, в которой должен был принимать экзамены Сергей Николаевич. Студенты толпились возле этой аудитории. На стульях лежали пальто и сумки. Первая партия сдающих уже была в аудитории.

Беляев сел за стол, разложил билеты, предложил тянуть находящимся в аудитории, а сам все думал о Горелике и о том, как ему

самому, Беляеву, удалось ввинтить эту “ностальгию”. Он как бы бросил баскетбольный мяч, не целясь, и попал в корзину. Попадай, не целясь. Он так это экспромтом сказал и попал. Значит, действительно у евреев в душе это чувство живет, чувство постоянной ностальгии. Ты сам здесь укоренен, плохо тебе или хорошо, но ностальгия тебя не мучает. А что, если бы сейчас Беляев сидел здесь, а родина его была бы где-нибудь далеко. Что бы он чувствовал? Наверное, какое-то сладостное нетерпение, как перед встречей с любимой.

Первый подготовившийся студент сел к его столу напротив. Беляев взял у него билет, пробежал вопросы глазами и принялся слушать.

- ... расчет изгибаемых железобетонных элементов производится в две стадии: сначала определяется напряженно-деформированное состояние элемента под действием внешней нагрузки, затем производится подбор сечения арматуры, конструирование, дается непосредственная оценка прочности конструкции, - бормотал студент, а Беляев видел Горелика в роли Иисуса.

Почему, собственно, Иисус не мог выглядеть так, как Горелик? Вполне мог. Собственно, описания внешности в Новом Завете не дается. А художники рисуют эдакого красавца русоволосого, голубоглазого, как будто Христос был русским.

Хотя на византийских иконах он ближе к оригиналу: кареглаз, черноволос, даже лысоват. В красавчике Христе нет правды жизни, а в Горелике она есть. И эти его отрешенные глаза, и эта плоская лысина, и, разумеется, типичный, как национальная особенность, нос, не нос, а крючок, смуглая дуга, тронутая порослью черных ворсинок-волосиков.

Веселенькие размышления!

Может быть, не стоило сосредоточивать на них внимание, но в данном случае внимание действовало само по себе, без каких-то волевых усилий со стороны Беляева. Если брать за данность вторую реальность, то можно вести рассуждение о носе Христа. Видимо, такого рассуждения еще не было во всей теологической литературе. С таким же основанием можно поговорить и об ушах Христа.

Имеющий уши, да слышит!

Преломление форм вечности в пространствах жизни искажает вечность до сиюминутного представления, которым наделен каж-

дый живущий. Срезая кожуру с лимона, мы узнаем не только то, что лимон влажен и кисл, но еще и то, что он пахнет коньяком, который благотворно действует на психику, в разумных пределах.

Беляев думал о бесконечной связи вещей в пространстве, о неисчерпаемой цепи этих связей, возникающих, рвущихся, но неизменно ведущих к нему, Беляеву. Бывало в нем стремление вытащить из себя душу и расположить ее где-нибудь на расстоянии, как зеркало, и чтобы душа смотрела на физиологию с расстояния.

Да и вообще, вряд ли бы он тогда согласился жить, если бы он был раздвоен, и одна часть его наблюдала за другой его частью. Самого себя в себе нужно охранять, чтобы посторонний глаз не заглянул в тебя, в душу твою, и ты оставался свободным. Все проповеди Иисуса, думал Беляев, ведут не к свободе, а к рабству. И с каким восторгом поют нестройные женские голоса в церкви, однажды слышал Беляев на Ордынке, о своем рабстве: мы рабы твои, Господи! Чем же тут хвалиться?

Открывающий другому слабости свои - добровольно отдается в рабство. Это Беляев уяснял для себя почти что каждый день и все более закрывался для других, становясь малоразговорчивым, неприятным человеком.

Глава XX

Холодно было на улице, а у Иосифа Моисеевича на столике среди книг стоял горячий кофе. Как только Беляев вошел к нему в комнату, набитую книгами, просто битком набитую книгами, то он сразу же согнал мрачность со своего лица...

- Отсутствие коммуникаций и привело к этому, - очень медленно сказал Осип, чтобы лучше дошли его слова до Беляева. - То есть я хочу сказать, что в каждой точке вне контактов с другими этносами развивались свои сигнальные и коммутационные системы.

Беляев размешивал алюминиевой чайной ложкой сахар в чашке и смотрел, не отводя взгляда, на закручивающуюся черную жидкость с легкой пленочкой жира, в которой отблескивал свет лампы. В комнате Иосифа Моисеевича не было окон, поэтому всегда был включен верхний свет, к которому добавлялся еще свет настольной лампы.

Беляев сделал несколько жадных глотков горячего кофе, встал и принялся расхаживать по комнате, разглядывая книги. В другую комнатку, с кроватью и баром, дверь была приоткрыта и с плакатов на Беляева поглядывали смазливые обнаженные девочки, все те же и все с тем же.

- Ты хочешь сказать, что неминуемо сближение этносов? - для разнообразия спросил Беляев.

- Я это вижу, - сказал Иосиф Моисеевич, грузно перекатывая свое тело с одного подлокотника кресла к другому.

- Ну а ностальгия?

- По раю? - несколько двусмысленно переспросил Иосиф Моисеевич.

- Не по аду же! - с доступной в эту минуту бодростью сказал Беляев. - Кто же будет тосковать по аду...

- А вообще ты молодец, что сказал "по аду". Мне кажется, что по аду-то мы все тоскуем, по самобичеванию, по искоренению, уничтожению, по границам с колючей проволокой... О, эта гнусная человеческая природа! От рубежа - к рубежу. Никогда не успокоится... Так что ностальгия - из той же оперы. Она есть, я думаю, пока не приехал на место, по которому тебя точила ностальгия. И привет! Через неделю, месяц опять какая-нибудь неудовлетворенность будет мучить душу. Я понимаю так, что душа - это флейта, которая постоянно звучит, а само прекрасное звучание, непрерывное, изводит нас, гипнотизирует, как змею, манит-манит куда-то, за чем-то, почему-то, и мы, как слепые, идем туда за этим звуком, полагая, что звук где-то там, в раю или черт знает где, но там, где превосходно, где великолепно, где эту флейту можно, наконец-то, найти и заткнуть, чтобы от ее утомительных звуков не сойти с ума. А флейта-то у нас в душе! Вот так история! Искали, ищем и будем искать эту серебристую флейточку на стороне, а она в нас, в душе, черт возьми. Поэтому, Коля, ностальгия, как и прочие понятия, типа патриотизма, выдумка примитивных людей, которые всю жизнь и озабочены, чтобы найти флейту, и не просто флейту, а, по их представлениям, найти флейтиста, который не отрывает от своих губ эту флейту, так вот, одержимы поисками флейтиста, чтобы обнаружить его и размозжить ему черепушку. Свины и есть свиньи! Чем меньше знают себя, тем более агрессивны, - не обращая внимания на то, доходят ли до Беляева его слова, рассусоливал Иосиф Моисеевич.

Действительно, до Беляева плохо доходили слова Осипа, он слышал как бы звук, а смысл таинственным образом исчезал. Он часто замечал за собой такое состояние, когда не распознавал смысл говоримых собеседником слов, или печатный текст книги точно так же прятал смысл того, что стояло за этим печатным текстом, за словом. Он даже стал задумываться, почему это происходит и догадывался, что ни собеседник, ни книга не в состоянии постоянно в процессе общения или чтения держать тебя в напряжении, то есть в том состоянии, когда ты уходишь за слово и видишь то, или понимаешь то, что обозначено этим словом. Таким образом, в каждой речи собеседника (актера, трибуна, лектора, преподавателя...) или в каждой книге содержится минимум сорок процентов не востребованного слушателем или читателем смысла. Продолжая это рассуждение и доводя его до логического конца, Беляев понял, что в *рассказываемое* или в *написанное* нужно преднамеренно включать пустоты, или попросту умело лить воду, поскольку вода и есть основа жизни. Этого как раз не хватало библейским писателям-маньякам, которые старались говорить афоризмами, которые можно уподобить скалам, забывая про живительную влагу. Вода охлаждает, обмывает, освежает и позволяет свободно плыть внутри смысла, свободно преодолев слово, а за словом, внутри смысла, вернее, к чужому смыслу (рассказчика, писателя...) равноправно прибавлять свой собственный смысл, как бы плыть в параллельном своем смысле, подпитываясь чужим. Читаешь о Палестине, а видишь Коктебель, думаешь о Христе, а видишь Горелика. Вплетение мыслей в мысли, сцепление целой гаммы смыслов в процессе общения, чтения неотступно преследовало Беляева.

Иосиф Моисеевич продолжал разглагольствовать, Беляев кивал, изредка поглядывая на него, снимал, вернее, с трудом вытаскивал из плотно набитого стеллажа какую-нибудь книгу, листал, задерживал внимание на какой-нибудь странице, выхватывал глазами абзац, прочитывал его и вновь кивал Иосифу Моисеевичу.

- Вот поэтому чужой опыт не входит в нас, - сказал Беляев.
- Свойственено ошибаться всем людям, - сказал Иосиф Моисеевич. - Иначе бы это уже были бы не люди, а флейтисты!
- Ося, вот ты - еврей...
- Да, я - еврей, - равнодушно подтвердил он.

- У тебя есть эта тоска по родине предков, есть в тебе эта ностальгия?

- Зачем она мне? Мне некогда придаваться тоске. Я делаю свой маленький бизнес. Я с детских лет работаю книгоношей и доволен. У меня свой баланс. При чем здесь система? Музей дал мне эту квартиру для моего маленького бизнеса. И все довольны. У меня есть любая книга. Меня знают директора магазинов. Я вхожу спокойно на оптовые базы. И мне дают книги. Я беру немного, но за наличные без скидки. Меня все ценят. И что мне еще нужно? Я устраиваю своим клиентам любую подписку на любое собрание сочинений, за это я получаю любой товар от своих клиентов. И спрашивается - какая к черту мне нужна ностальгия? Я, слава Богу, купил свой маленький кооператив из двух комнаток в Филях и проживаю со своей любимой женой припеваючи. Я люблю девочек, и они приходят сюда. Я вхожу на премьеру в любой московский театр, потому что каждый актер и каждый директор знает, что самая уникальная книга ему будет разыскана Осипом. Я люблю холод, люблю снег и свежий воздух. Куда мне тосковать? Я бы задохнулся в жаре Иерусалима, я бы обливался потом... Но главное, там я не был бы тем, чем я являюсь. Там нет дефицита. А еврей без дефицита - это не еврей. Нам нужно иметь свой гешефт.

- Осип, только честно, ты хочешь слиться в Израиль?

Беляеву показалось, что Иосиф Моисеевич выслушал этот вопрос с выражением особого, напряженного внимания.

- Коля, ты - максималист! Нельзя в лоб ставить вопросы. Вообще, нельзя жить в лоб! Что значит "слиться"? Это значит, жить еврею среди евреев? Это же скучно, Коля! Я не верю в еврейское государство. Израиль - просто нонсенс!

- Но люди же туда едут.

- Некоторые. Большинство - транзитом. Беляев вспомнил о матери, хотел сказать о том, что она уехала через Израиль в Париж, но выразительно промолчал. А Иосиф Моисеевич, поглощенный собственной речью, продолжил рассуждения о невозможности существования еврейского государства. Беляев слушал с неослабевающим интересом суждения еврея об Израиле. Однако точка зрения Иосифа Моисеевича не удовлетворяла Беляева. По крайней мере, он так думал, что не удовлетворяла. Потому что он не хотел выделять евреев, в противовес их собственному выделению,

из числа прочих наций. Он как бы стремился уравнивать их со всеми прочими людьми, поэтому не отказывал им в государственности, но в том случае, если они сбросят с себя многовековые оковы собственной маниакальности. А эта маниакальность - не врожденное качество, оно приобретенное в воспитании через маниакальные тексты, через культовые предания. Их мало и они все с книгами, они все в сфере интеллекта, даже Осип, который занимается своим маленьким бизнесом.

Осадок кофейной гущи почти что спрессовался в чашке, когда Беляев попробовал его шевельнуть машинально ложечкой. И поймал себя на мысли, что это как раз было то движение, которое, по определению отца, возникает при разговоре: рисовать что-нибудь карандашом...

- И все же, Осип... Понимаешь, я хотел бы, что ли, твои чувства сверить со своими. Это смутно, но ты, книжный червяк, - сказал Беляев, подчеркивая не "червь", а "червяк", - должен меня понять. У меня какое-то постоянное чувство неприязни к евреям. Я никак не пойму, откуда оно. Может быть, ты растолкуешь.

- Как сказал бы Ильич, это коренной вопрос всей мировой истории! А ты его на себя переводишь! Чудак же ты, Коля! Локализуешь то, что всемирно!

- Всемирно?

- Конечно. Чудак человек! Это же народ библейский, народ легендарный, народ Библии!

- Народы ничего не придумывают, придумывают единицы! Библию писали не толпы... Ее писали маньяки идеи!

- Конечно, Коля, но в ней найден такой цемент, которого не найдено многими другими народами! И цементом этим пользуются половина земного шара! Вот это цементик!

- Самый парадокс в том, что русские ходят в церковь и молятся еврею Христу! Чертовщина какая-то...

- Идея общности летала... витала в воздухе, - поправился Иосиф Моисеевич. - Нельзя было не догадаться, что все люди братья, от одного корня, или от одного условия геологического развития земли, - Иосиф Моисеевич современил и продолжил: - Поэтому, Коля, Христос не может считаться евреем, как ты говоришь, он человек. Он откололся от еврейства, как, быть может, я откололся. Еврейство не нация, это, скорее, как ты сказал, маньяки идеи.

- Ну у тебя есть какие-нибудь особенные ощущения? Может быть, ты скрываешь от меня что-то? Может быть, ты действительно - богоизбран? - чуть громче и быстрее обычного сказал Беляев, и собственный голос показался ему придиричивым и ехидным.

Иосиф Моисеевич рассмеялся. Затем, подумав, сказал:

- Наверно, все же есть. Но это трудно сформулировать. Но я сейчас попробую. Это, видимо, небоязнь законоустановлений. Вот это во мне есть. Если бы верил социалистическим законам, я бы никогда не позволил себе заниматься своим маленьким бизнесом. Причем начал я им заниматься еще до войны. Сам я с пятнадцатого года рождения. Ты понимаешь? При Сталине, при терроре я носил свои книжки, торговал и не верил никаким законам. Тут мне вера помогала: кесарю - кесарево, Богу - Богово. Эти людишки напридумывали законов, отрицающих нормальную экономическую жизнь. И все как бы согласились с ними. А я для виду согласился. И тихо делал свой гешефт. Люди как-то пугаются друг друга. У одного нашивка, что он командир бригады, честь ему положено отдавать, а я на него смотрю как на покупателя книжки. И все. Поэтому я тебе сказал, что нужно грубо обращаться с людьми. На "ты" их. И это качество я бы назвал - свободой ума. Ты внешне вроде бы в рамках закона... Я вот сорок лет числюсь методистом музея! А сам свободно кумекаю, как бы мне лучше делать свое дело. А у людей лобового восприятия жизни, что характерно для русских, да и у других многочисленных народов, этого чувства свободы ума нет. Одна физическая сила. Трудом называют только то, что физически ощутимо: отбойный молоток, шахта, токарный станок, доменная печь, лопата, лом и тачка... Понятно, что без этого не обойтись, но тот, кто трудится, как раб, не думает о свободе ума. А ведь свобода ума дает возможность облегчить и эти сферы. Среди нас нет японцев, а если бы они были, то мы тоже бы их не любили за их фантастическую свободу ума в рамках, казалось бы, жесткого законодательства. И это неудивительно, ибо Ветхий и Новый Завет корнями уходят в восточную философию. И японцы со своим Дзенем вряд ли уступят евреям с их Талмудом.

Беляев с Иосифом Моисеевичем обменялись беглым взглядом, словно поняли друг друга с полуслова. Беляев мог бы сознаться в точно такой же "свободе ума", потому что совершенно не доверял законоустановлениям коммунистических властей, и вполне мог

бы признать, что сам живет в двух измерениях, как актер: на сцене, с одной стороны, и в жизни, с другой.

- Может быть, ты прав, Осип, - сказал нарочито спокойно Беляев.

- Не знаю, но мне так кажется.

Иосиф Моисеевич встал, прошел в угол комнаты, открыл дверцу небольшого несгораемого шкафа, стоявшего на полу и обложенного книгами, достал из него довольно-таки толстую книжку в мягкой обложке, обернутую газетой. Беляев заинтересованно взглянул на книгу, спросил:

- Что это?

Иосиф Моисеевич словно не расслышал вопроса, вновь опустился в кресло, а книжку положил себе на колени и прижал ее ладонью.

- У меня был один приятель, - сказал Иосиф Моисеевич, - который любил слово "беспредельно". Спросишь у него: можешь достать то-то, отвечает: могу, у меня беспредельные возможности. На чем же он основывался? На том, что слишком доверял властям. Но разве можно коту доверять сторожить сметану? Когда он работал по минимуму, все шло хорошо. Когда же принялся за солидный опт, эти же друзья его сдали...

- Вывод? - спросил Беляев.

- Прост как аш два о: держись на минимуме.

- Но это же невозможно, - сказал Беляев.

- Это, видимо, второй пункт отличия. Держаться на своем минимуме, действительно, практически невозможно. Все время тянет ввысь. Глаза разгораются. А ты держись, стой на своем. Знай, что жизнь, в принципе, требует минимума. Но постоянного. Он тогда схватил партию на триста тысяч и - каюк! Разовый доход хотел взять. А у меня по минимуму оборот за год в сто тысяч. Вот и суди, кто прав. Доход поэтому должен быть растянут во времени. Он, вроде, как бы есть, и в то же время его нет. Усидеть на минимуме - искусство!

Беляев внимательно слушал, исподтишка поглядывая на книжку в газетной обертке. И даже какое-то нетерпение охватило его, поскорее посмотреть эту книжку, узнать, что это такое.

- Понимать жизнь как процесс, а не как цель? - спросил Беляев.

- Я все больше и больше уважаю тебя, старик! - сказал Иосиф Моисеевич и быстро продолжил: - Именно! Цели, в тривиальном обывательском понимании, нет. Как таковая цель человеческой

жизни условна. Какая-то бегающая мишень, причем сменная: то лось, то кабан, то лань!

Мысли, высказываемые Иосифом Моисеевичем, для Беляева не были новыми. Эти мысли так или иначе будоражили душу Беляева. Но согласиться с предположением, что жизнь есть бесцельный процесс, он не мог. Ему все-таки хотелось отыскать какую-то цель.

- Так что цель жизни - удержаться на минимуме! - сказал с чувством Иосиф Моисеевич.

- Всего лишь?

- А что - этого мало?

- Вроде бы маловато.

- Не скажи.

- Конечно, как это понимать.

- Вот-вот. Что можно включить в минимум? Ты жив, здоров? Мало?

- В общем-то, много.

- Вот видишь! А это входит в минимум. Дальше: жена, дети, квартира. Мало?

- Достаточно, - усмехнулся Беляев.

- А я что говорю! Доход, работа, жизнь в столице. Мало?

- Немало...

- Ну, что я говорю! И это все минимум. Дальше: книги! Это отдельно. Мало? Да это максимум в нашем минимуме!

- Согласен... Но смерть... Как быть с нею?

- Не согласен на смерть? - спросил с нарочитым сочувствием Иосиф Моисеевич.

- Кто же на нее согласится!

- В том-то и беда, что не хотят согласиться. Но смерть входит в минимум! Она тебе дана в награду за жизнь.

- Интересно.

- Конечно, интересно. Я тебе, Коля, даю факты, а не пудру мозги книжным знанием. Это данности, которыми ты располагаешь. А дальше начинается максимум: сверхдоходы и неременная жажда бессмертия. Тебе Христос пообещал загробную жизнь? Вот и живи. Верь в загробную жизнь и не задавай себе вопрос, что ты там в загробной жизни будешь делать, книжки ли читать, или огород поливать. Хотя я, признаться, в эти дальнейшие жизни не верю. Загробная жизнь бессмысленна, как бес-

смысленно все вечное. И пятьдесят процентов живущих, уверовавших в вечную жизнь за гробом, спустя рукава относятся к этой, единственной, жизни, поэтому так много у нас обыкновенных потребителей.

- А ты, Осип, себя к потребителям не относишь?

- К ним - нет! - твердо сказал Иосиф Моисеевич, перекладывая книжку с одного полного колена на другое. - Но вообще к потребителям да. То есть я хочу сказать, что я и производитель и потребитель. Но мое потребление меньше произведенных услуг. То есть я рентабелен.

- Эти услуги у нас называются спекуляцией.

- Что под этим понимать. Если простую разницу между покупной и продажной ценой, то - да, это спекуляция. А если эту разницу считать оплатой моего труда, то - нет. Я вложил свой труд и получил свой процент.

Беляев взглянул на книжку, лежащую на колене у Иосифа Моисеевича, который в этот момент провел большим пальцем по торцу страниц и они зашелестели.

- Что это у тебя за книга? - спросил Беляев.

- Эта? Да так...

Иосиф Моисеевич переложил книжку на другое колено. Насколько Беляев мог понять, Иосиф Моисеевич не спешил показывать ему книжку, и это мучительно действовало на Беляева.

- Запомни, Коля, товар пользующийся постоянным спросом всегда будет уходить через посредников. В любой стране. В самой обожравшейся. Потому что человек по природе своей - посредник.

- Посредник?

- Да, *посредник*. Даже Бог через него с нами пожелал общаться. Что уж тут говорить! О чем говорить!

- Ты, Ося, хочешь сказать, что Иисус - это *посредник*?

- Именно так. Все персонажи Священного Писания-посредники. И Моисей, и Иисус Навин, и все пророки, которым несть числа, Исаяя, Иеремия, Иезекииль, Осия, Михей, Аггей...

- Это известно. Я Библию не хуже сопромата знаю, - сказал Беляев, и на его худощавом лице отобразилось выражение скуки.

Иосиф Моисеевич посмотрел на него и уловил это выражение скуки, которое можно было часто видеть в газетах на фото-клише и по телевизору на лицах партийных функционеров. Ио-

сифу Моисеевичу показалось, что Беляев похож на этих функционеров: чисто выбритое лицо, такое достигается после тщательного двойного бритья безопасной бритвой, аккуратная прическа после недавней стрижки, ровно подрезанные височки, короткие волосы расчесаны на пробор, рядовое, обычное, несколько сухощавое, волевое лицо, темно-синий костюм, белая крахмальная сорочка, темно-синий в диагональную полоску галстук. Такой весь точено-чистый, президиумный вид. Отличали от функционеров глаза. О, в них много было такого, чего никогда нельзя было увидеть в глазах функционеров провинциальной селекции. Карие, поблескивающие глаза Беляева говорили Иосифу Моисеевичу о том, что они знают гораздо больше того, что говорит их обладатель.

- Как от любой книги остается сгусток впечатления, так и от Библии у меня он остался, - сказал Беляев.

- И какой же он, этот сгусток?

- Несчастья, - вдруг сказал Беляев. Иосиф Моисеевич от удивления пошевелился в кресле, не выпуская книжку в газетной обертке из рук.

- Несчастья?

- Да.

- Хотя я догадываюсь, - сказал Иосиф Моисеевич. И, подумав, добавил: - В этом что-то есть.

- Конечно, есть, - сказал Беляев, поглощенный собственными раздумьями. - Несчастливая история, несчастный народ, страдания, исходы, поражения, даже смерть на кресте...

- В несчастьях закаляются, - сказал Иосиф Моисеевич.

- Может быть. Но... Плакаться, стонать всю жизнь - удел не нашедших себя людей. Должно быть, мне кажется, затмение жизнью. Или такая твоя собственная включенность в жизнь, которая не позволяет сосредоточиться на несчастьях.

- Это довольно-таки сложно.

- Я понимаю.

- Понимать-то понимаешь, а источаешься жизнью, не в силах повлиять на нее.

- Это так. Можно радоваться снегу, можно негодовать на него, но он от этого не прекратится.

Иосиф Моисеевич переложил книгу с колена на край стола, накрыл, как бы оперся на нее, ладонью.

- Что это все-таки у тебя за книга, черт возьми? - в который раз спросил Беляев.

- Сегодня какое число? - вдруг спросил Иосиф Моисеевич.

- Двадцатое декабря, - сказал Беляев и посмотрел на Иосифа Моисеевича с растущим раздражением.

- Где бы елку купить?

- Тебе нужна елка?

- А тебе не нужна?

- Я заказал в институте, - сказал Беляев. - Через неделю привезут...

- С корня?

- С какого корня?

- Ну, сразу срубят и привезут? Или дрянь какую-нибудь залежалую подсунут?

- Конечно, с корня... Я же сказал, что специально машину отправляем.

- На мою долю возьми.

- Нет проблем, - сказал Беляев и, немного подумав, спросил: - Тебе что, шестьдесят в этом году стукнуло?

- Откуда ты знаешь? - удивился Иосиф Моисеевич.

- Ты сам сказал, что с пятнадцатого года...

- Так это было в феврале... Я февральский. Родился в войну... В первую мировую. Да-а, - протянул он. - Даже самому не верится, что столько отмахал! Да. Что нам семьдесят шестой принесет?

- Ничего нового, - равнодушно сказал через небольшую паузу Беляев. - И в то же время - все новое.

- Лучше об этом не думать. Скромно исполнять свою посредническую роль, - сказал Иосиф Моисеевич и оглядел битком набитую книгами комнату. - Сколько жизней я прожил, благодаря книгам! - воскликнул он. - Каждая книга - новая жизнь.

- Ты много читаешь?

- Ну ты же видишь, сколько книг!

- Иметь много книг, это не значит читать их.

- В среднем - двести страниц в день. Особенно на ночь. Хоть и сплю я с женой в одной кровати... Ты, кстати, с женой спишь? - вдруг спросил он.

- С женой, - удивленно ответил Беляев.

- Это замечательно. Спать можно только с женой. Успокаивает, как снотворное. Обнимешь ее, прижмешься и засыпаешь. Но до

этого - обязательно чтение. Ночник над головой горит. И так - каждый день. Жену эту тоже воспитал - читает.

- Почему "эту"?

- Она вторая у меня. Первая с ума сошла. Тихой такой сумасшедшей стала. Потом пошла из дому, неделю ее разыскивал. Нашел в морге. Повесилась в Измайловском парке на железном заборе.

- Отчего она это?

- Болезнь. Тихо так протекала. Она директором букинистического магазина была. И вдруг стала интересоваться математикой. С какой стати, неизвестно. Придет домой и считает на листочке. Я сначала не придавал этому значения. Я тоже иногда считаю, работа требует, но чтобы каждый вечер, не приготовить ужина, исписывать горы листов, увольте! Спросил, что это она считает. Отвечает, что подсчитывает метраж книг. Я не понял, какой метраж. Она разъяснила, что авторские листы, переведенные в печатные дают страницы и что она вычисляет страницы книг в длину. Ну, если взять каждую страницу, склеить с другой и так далее... Свиток развернутый, короче. Высота текста на странице книги стандартного формата, восемьдесят четыре на сто восемьдесят в тридцать вторую долю, составляет семнадцать сантиметров. Она высчитала, что "Идиот" Достоевского где-то равен ста двум метрам. "Война и мир" метров триста сорок. И так далее... Так посчитала месяц и ушла, - сказал Иосиф Моисеевич с видом человека, овладевшего разговором. - Представь себе задачки! Так вот, ложусь я в постель, сзади ночник светит, открываю книгу и читаю. Часа два-три. Замечательно. А жена эта сначала в ванне читала. Знаешь ведь, перепады температур. В горячей ванне разомлеешь, приятно почитать. Возьмет книгу, сядет в горячую воду и читает. Один раз я ночью проснулся, шлепнул рукой рядом - нет ее. Я испугался, вскочил, смотрю на часы - половина пятого утра, а ее нет. Я в ванную. А жена спит в ней. Черт с ней, с книгой, что плавала в воде! Как жена не утонула, не понимаю. Я ее пугать не стал. Тихо так пустил воду и открыл спусковую затychку. Она глаза и открывает... Ну, я ей спокойно все рассказал. С тех пор - пятнадцать минут в ванне и - скорее в постель, ко мне под бок. И за книгу. Очки наденет и читает. Говорит, что в кровати лучше читать, потому что когда сон сладко гладит очи, стоит лишь книжку отложить и спать, почти

что не прерывая сна, не то что в ванне, лень из нее вылезать, обтираться, идти в комнату - весь сон пропадает.

- А моя Лиза так устает с детьми, что сразу же засыпает, - сказал Беляев и, подумав, добавил: - Особенно сейчас, когда беременна.

- Сколько же у тебя детей?

- Пока трое, Колька, Сашка, Мишка. Хочется девочку, - сказал Беляев устало.

- Да у тебя куча детей! - воскликнул Иосиф Моисеевич и поднялся.

Он взял книжку в газетной обертке, с которой не отводил глаз Беляев, прошел к несгораемому шкафу, сунул в него эту книжку и закрыл шкаф на ключ. Затем поднял с пола пачку, распаковал ее и достал яркую книжку в переплете большого формата.

- Это Коле.

Из другой пачки он достал другую книжку для Саши. Из третьей - для Миши. То были Линдгрэн, Милн и Чуковский.

- Мои подарки к Новому году! - сказал Иосиф Моисеевич.

- Что ты, право, - смутился Беляев, не ожидавший от него такой прыти.

- Прекрасно идут детские книжки, - сказал он.

- Хорошую детскую книжку достать практически невозможно.

- Я не знал, что у тебя столько детей. Буду тебе оставлять. У меня все, что интересного выходит, бывает.

- Буду признателен.

- А Колей в честь себя, что ли, назвал сына? Беляев вспомнил о неписанном законе - вовремя затыкаться, не заткнулся, распространился о детях, теперь получай вопросы, рассказывай, что это не твой ребенок, что ты взял жену с ребенком, что ты... Укололо его с этим вопросом чувство самолюбия. Чтобы что-то ответить, он сказал:

- В честь Николая Гумилева.

- Достойно, - сказал Иосиф Моисеевич, вновь опускаясь в свое обшарпанное кресло.

А Беляев подавлял в себе мысль о собственной неполноценности, которая мирно жила в нем все годы, прожитые с Лизой. Он гнал от себя эту мысль и, бывало, забывал о ней, но так или иначе она снова объявлялась.

Иосиф Моисеевич заговорил о книгах, которые он получит в ближайшее время. И это немного смягчило картину переживаний

Беляева. Он тупо взглянул на закрытый несгораемый шкаф в углу, стараясь догадаться, что это была за книга.

- Если бы тебя попросили назвать одного самого лучшего писателя, кого бы ты назвал? - спросил Иосиф Моисеевич.

Беляев задумался.

- Так трудно сообразить, - сказал он.

- И все же, - настаивал хозяин.

- Пожалуй, Гоголь, - медленно сказал Беляев.

- Вот это да! - воскликнул Иосиф Моисеевич. - Не ожидал.

- Чего "не ожидал"?

- Не ожидал и все.

- В каком смысле.

- Конечно, в положительном. Гоголь... В этом что-то есть.

- А ты своего назови.

- Дюма. "Три мушкетера", - назвал Иосиф Моисеевич.

- Серьезно?! - поразился Беляев.

- Вполне... Но ты молод, не поймешь... Лет через тридцать со мной согласишься... А что тебе нравится у Гоголя?

- Все. Это вулкан!

- Но все же есть что-то особенно любимое? - допытывался Иосиф Моисеевич.

- Есть. "Мертвые души".

- Да-а?

- Да. Гоголь не мог любить Божью тварь, потому что человек создан по образу и подобию зверей, а черти по образу и подобию человека. Гоголь хотел заглянуть в глаза Богу, но не нашел этих глаз, потому что Бога нет. Это гениальное прозрение Гоголя! Пусть он потом уморил себя голодом, пусть писал письма Белинскому, он сказал главное: человек рожден зверем и всю жизнь должен мучительно вылезать из звериной шкуры, чтобы хоть на мгновение приблизиться к человеческому облику...

Когда Беляев выходил от Иосифа Моисеевича и шел заснеженным переулком, с крыш домов которого сметало снег ветром и на углу Пятницкой крутило, он все думал о том, что это за книжка была в газетной обертке?

- Ну, чего, скажешь плохая машина? - сказал Комаров, дыша на руки и снова убирая их в карманы куртки.

Зеленая "Волга" выпуска десятилетней давности стояла у сарая, заснеженная и сиротливая.

Задняя правая дверь настолько проржавела, что в ней образовалась дырка с кулак величиной. Беляев с грустью взглянул на эту дырку, сказал:

- Дверь надо менять.

- Зачем менять? Я дырку эпоксидкой замажу. Не заметишь! Шпаклевочкой потом... И подкрашу! - сказал Комаров, обхаживая машину.

- Заднее крыло помято, - сказал Беляев и постучал рукой в перчатке по корпусу машины.

- Крыло Борода обещал дать.

- Входит в стоимость?

- Конечно! Он еще задний мост обещал.

- Обещал или даст?

- Даст. Он у него дома лежит.

- И сколько он просит за весь этот хлам? - с горестным вздохом спросил Беляев, глядя в глаза Комарову.

- Пять штук, - сказал тот.

- Ты что! - округлил глаза Беляев. Воротник зимнего пальто его был поднят, шапка надвинута на брови.

- Что "что"?

- Ничего. Ей цена - штука в базарный день!

- Ну ты совсем скурвился!

- А ты - мировой парень! Терпеть не могу болтунов! - с чувством выговорил Беляев. - Как рекламу давать, ты мастер, а как до товара доходит...

- Мост и коробка - новые, да еще крыло, да по мелочам.

Беляев оставался непроницаем, ходил вокруг машины с невозмутимым лицом. Комаров по его виду не мог догадаться, согласится он или нет. С четверть часа назад, пока не видел машину, говорил, что возьмет.

- Вечно какая-то липа! - сказал Беляев.

- Ну какая липа? Мне же ее делать и ездить на ней! - сказал Комаров, начиная нервничать.

- А мне - платить, - сравнительно спокойно сказал Беляев.
- Да чтоб ты подавился своими "бабками"! - заорал во всю глотку Комаров.

Беляев остановился, посмотрел на него и сказал:

- Ну чего ты орешь?
- Нервов не хватает! - чуть спокойнее ответил Комаров.
- Может быть, Борода штуку скостит?
- Да как он может скостить? Как? Хозяину - три, в парке - полторы, и Бороде - пятьсот. Вот тебе весь расклад! Ты все думаешь, что кто-то тут слишком наваривает! Ну, посуди, кто будет наваривать на мне?

- Ладно, давай оформлять, - сказал Беляев.

Комаров сорвался с места и побежал к гаражам за Бородой. Вместе с ним сели в машину. Беляеву понравилась обивка сидений, да и сами сиденья были еще не продавленные. Борода сел за руль.

Машина неплохо завелась, да и ехала прилично. Посадили хозяина, завскладом ОРСа, который всю дорогу до ГАИ хвалился, что покупает новую "Волгу". Переоформив машину на Комарова, вышли из ГАИ и, пока Комаров вешал новые номера, Беляев расплатился с хозяином, вручив ему пачку четвертаков в банковской упаковке с приложением двадцати таких же сиреневых ("лиловеньких") банкнот. Проводив хозяина, получил свою долю и Борода - двадцать стольников.

Комаров сел за руль, счастливый, этакий хлюст, полюбовался техпаспортом, куда лейтенант-гаишник занес черной тушью его фамилию, сунул его вместе с водительским удостоверением во внутренний карман пиджака, надетого под куртку, и включил педаль.

- Лева, меня подбрось до парка. Я сегодня с четырех заступаю.
- Будет сделано! - отрапортовал Комаров и прибавил скорости.

Конечно, ездил Комаров прекрасно. И зима ему была не помеха.

- Через недельку будет готов сарай, - сказал Борода.
- Какой сарай? - спросил Беляев, оборачиваясь к заднему сиденью, где сидел Борода.

- Ты не знаешь, что такое сарай? - удивился тот.
- А ты знаешь, что такое евхаристия? - в свою очередь спросил Беляев.

- Не знаю.

- Ну и я не знаю, что такое “сарай”. Я многого в жизни не знаю. И многого никогда не узнаю. Но я знаю достаточно много, чтобы тоже каждый раз что-нибудь вворачивать и спрашивать собеседника: разве ты не знаешь что это такое?

Борода пропустил ученую тираду мимо ушей и сказал:

- Коля, сарай-это пикап. “Волга”-пикап. Понятно?

- Теперь понятно, - сказал Беляев. - “Волга”-пикап - это сарай.

- Сарай, - подтвердил Комаров.

- У тебя, Коля, покупателя не найдется?

Беляев задумался, сдвинул шапку на затылок, затем спросил:

- Хау мач?

- Что?

- Ну, сколько стоит?

- Десять, - сказал Борода.

- Дорого.

- Да он почти что новый!

- Все равно дорого.

- Ну не ты же будешь платить! - повысил голос Борода.

Комаров не вмешивался в разговор, чтобы не омрачить собственного праздника. Праздник этот дался ему нелегко. Нужно было пересилить себя и позвонить Беляеву, убедить его, притащить.

Беляев минуту соображал, перебирая в уме потенциальных покупателей, и остановился на Афике Аллахвердиеве, который приехал на стажировку на их кафедру из Баку.

- Найду, - сказал Беляев, предполагая сдать машину Афику за пятнадцать.

- На следующей неделе надо забирать, - сказал Борода.

- Не забирать, а смотреть.

- Конечно! - сказал Борода. - Но там смотреть нечего. Тачка почти что нулевая.

- Все равно, покупатель же должен взглянуть на нее, - сказал Беляев, наблюдая за тем, как Комаров делает поворот с Восстания на Пресную через петлю у Герцена. - Цвет какой? - спросил он.

- Белая.

- Хороший цвет.

- Плохого не держим. А эта что, плохой? Да Левка ее пройдет немного и заиграет! Правда, Левик?

- Нет вопросов!

Комаров все время улыбался, даже если он хотел выглядеть серьезным. Его серьезность, даже если она возникала, была с оттенком улыбочности. Это у Беляева никогда такого выражения по укоренившейся внутренней привычке не было. Характерное для него выражение - недовольство, холодность. К такому человеку и подходить-то непросто, не то что задавать вопросы. Губы плотно сжаты, даже поджаты, а когда Беляев о чем-либо напряженно думал, то они, сжатые, вытягивались вперед, как у утенка.

- Кто сегодня играет? - спросил Борода.

- Во что? - удивленно спросил Беляев.

- В шайбу.

- Конюшня со "Спартаком", - сказал Комаров.

- Не скучно будет дежурить. Я старый ящик притащил в каптерку. Теперь как в кино, механики, слесаря, шоферня глазают.

Когда Борода вышел у своего таксопарка, Комаров, поправляя очки на переносице мизинцем, спросил:

- Куда прикажете, шеф? - и заржал.

- Поедем в институт за елками, - сказал Беляев.

Снег белел в свете фонарей, на некоторых площадях переливались огнями огромные елки. Казалось, в самом воздухе витал праздничный, предновогодний дух. Уютно было сидеть в машине, смотреть по сторонам: на светящиеся гирлянды над улицами, на витрины магазинов, на яркие фонари, на прохожих, на потоки машин, на многочисленные горящие окна домов.

- Чего ты, Коля, сказал "за елками"? Несколько елок, что ли, будем брать?

- Две. Одну я обещал, завезем.

- Понятно. Я уже своим поставил, - сказал Комаров. - С Бородой на "УАЗике" сгоняли за город, я местечко знаю, и срубили пять елок.

- На такой мелочи залететь можно, - сказал Беляев.

- А на чем нельзя не залететь?

- Тоже верно, - согласился Беляев.

- У нас на любой ерунде залететь можно. Подъехали к институту и остановились перед тяжелыми воротами и калиткой в них во двор. Грузовик с елками стоял у институтских боксов. Люди толпились, сверяли свои фамилии в списках, получали елки, связывали их. Предпрофкома Брусков, в телогрейке, раздавал команды. Увидев Беляева, бросил громко девушке со списком:

- Беляев, партком!

- Две? - спросила девушка.

Студенты поковырялись в елочных завалах в длинном кузове и сбросили Беляеву пару густых, сочных елок с одурманивающим запахом хвои.

- Сумасшедшие елки! - воскликнул Комаров, разматывая веревочную бухту для их обвязки. Он, слегка прищурившись, посмотрел на Беляева, как бы оценивая его положение в институте, и улыбнувшись, вполне оценил это положение.

Брусков, продолжая отдавать команды, подошел к Беляеву и спросил:

- Шоколадные конфеты в коробках нужны?

- Ассорти? - спросил Беляев.

- Первоклассное! - сказал полнощекий Брусков. - Если берешь, то зайдем ко мне.

Вынесли елки к новокупленной "Волге", Комаров стал пристраивать их на крыше, а Беляев побежал в профком.

На лестнице встретил - по пословице: "На ловца и зверь бежит" - Афика Аллахвердиева, с черным "дипломатом" в руках, в отличном костюме, с серебром на висках аккуратной прически и с тонкой полоской усиков.

- Афик, есть машина, - сразу сказал Беляев.

У Аллахвердиева вспыхнул взгляд.

- "Волга"?

- Не просто "Волга", а *сарай*.

Аллахвердиев непонимающе пожал плечами.

- Зачем "сарай", мне "Волга" покупать хотел!

- Ты не знаешь, что такое "сарай"?

- Я не знаю такой "сарай".

- А еще машину хочешь! - подзадорил его Беляев.

- Я хочу машина "Волга", - сказал растерянно Аллахвердиев, произнося название как "Вольга".

- А *сарай* брать не будешь?

- "Сарай" я не буду.

- Может быть, возьмешь *сарай*?

Аллахвердиев с непониманием смотрел на Беляева.

- А какой "сарай" марки? - вдруг хитро спросил Аллахвердиев.

- *Сарай* марки "Волга"!

- Это другая "Волга", не такая "Волга"? - осторожно спросил Аллахвердиев, пытаясь вникнуть в стиль разговора Беляева.

- Другая! Это - "Волга"-пикап!
 - Аллахвердиев изумленно возвел очи к потолку.
 - Так бы и говорил! - воскликнул он. - Такой "Волга" я только мечтал! На дачу ездить прекрасно!
 - Где у тебя дача?
 - На берегу Каспия. На Апшероне.
 - Не дурно ты, Афик, там устроился!
 - Приезжай, гостем будешь. Вино, шашлык, море! Сколько?
 - За сарай?
 - За "сарай"! - засмеялся Аллахвердиев, обнажая золотые коронки справа и слева.
 - Двадцать, - спокойно решил проверить платежеспособность Аллахвердиева Беляев.
 - Много.
 - Как хочешь, - сделал движение по лестнице Беляев, сказав это довольно равнодушно.
 - Подожди. Новый "сарай"?
 - Почти новый.
 - Какие километры? - спросил Аллахвердиев.
 - Десять тысяч.
 - Хорошо. По рукам! - сказал Аллахвердиев. - Когда смотреть буду, когда покупать буду?
 - На следующей неделе.
- У Брускова в профкоме высились коробки с конфетами, тюки с заказами, на спинке стула висел костюм Деда Мороза, а на столе лежали яркие билеты на Елку в Кремль.
- Беляев молча достал из бумажника сотню, бросил ее на стол и сказал:
- Пять коробок конфет и пять билетов в Кремль.
- Из глушителя комаровской "Волги" шел дымок. Беляев взглянул на елки, надежно привязанные к крыше (Комаров догадался пропустить веревки через салон, потому что багажника-решетки на крыше не было), открыл заднюю, пока еще дырявую дверь, и положил сверток с конфетами на заднее сиденье. Сам сел рядом с Комаровым впереди.
- Куда изволите, шеф?
 - Домой, - сказал Беляев и некоторое время внимательно смотрел на Комарова.
- И Беляеву хотелось думать, что Комаров - человек преданный, терпеливый, достаточно честный.

Комаров тронул машину, а Беляев спохватился:

- Через Пятницкую!

- Понятно, шеф! - отозвался бодро Комаров, причем слово "шеф" он произнес с едва заметным уважением, не как бывший однокашник, а как человек, принятый на работу, пусть и неофициальную.

Иосиф Моисеевич с какими-то ребятами выгружал из "Москвича" пачки с какими-то книгами. Увидев елку, Иосиф Моисеевич возликовал. Комаров пронес его елку в квартиру и, еще до того, как поставить ее в угол, обвел зачарованным взглядом книги.

- Никогда не видел столько книг. Как в книжном магазине! - сказал он Беляеву с чувством.

- Молодому человеку нужны книжки? - спросил Иосиф Моисеевич.

Комаров помялся, ему хотелось что-нибудь из книг приобрести, но у него не было денег. Беляев сам отобрал ему на свой вкус Кафку, Селинджера, Платонова, несколько детских книг и, расплачиваясь, спросил:

- Осип, что это у тебя была за книжка в газетной обертке, которую ты прячешь в сейфе?

- Какая книжка? - удивился Иосиф Моисеевич.

- Ну, та, которую ты в прошлый раз доставал из сейфа?

- Не помню, - сказал Иосиф Моисеевич. - В другой раз поищем. А что была за книжка?

- Я же говорю, она была обернута газетой.

- Черт, у меня много книг, которые я обертываю газетой. Ладно, как-нибудь в другой раз выясним.

- А это что ты разгружаешь? - спросил Беляев, кивая на пачки, хотя на них были этикетки и он мог сам нагнуться и прочитать.

- Швейцер, "Культура и этика".

- Не слышал. Интересно?

- Феноменально! - сказал Иосиф Моисеевич.

- Можно экземплярчик?

- Четвертак.

- Нет вопросов.

Комаров шепнул Беляеву на ухо:

- Возьми и мне.

Беляев удивленно посмотрел на него и так же шепотом спросил:

- Зачем тебе “Культура и этика”?

- Пригодится.

- Тогда можно парочку, Осип?

- Для тебя, Коля, все можно!

В машине, когда ехали к Беляеву, Комаров сказал:

- Здорово у тебя схвачено все!

- Что “все”?

- Ну, на работе, и у этого еврея.

- Лева, где прошел Беляев, там еврею делать нечего! - рассмеялся Беляев. - Надо преодолевать комплекс неполноценности и крутиться так, чтобы у евреев только глаза мелькали от недоумения! Комплекс из себя выколачивать нужно! Ты понял меня?

- Понял. Но не слишком-то выколотишь этот комплекс. У них все везде схвачено!

- А ты - перехватывай. Вон Борода тачки перехватил! Схватите все тачки! Я схватил стройматериалы, еще кое-что. Не зевай! Действуй на опережение! И учись у евреев.

- У них научись! Жди. Они все в секрете держат!

- Не скажи. Их нужно уметь к себе располагать. И вообще не делать из них культ.

В переулке было безлюдно. Комаров ехал медленно и через припущенное стекло было слышно, как скрипит снег под колесами. Комаров держал елку на плече, как полено, когда они остановились перед новой, поблескивающей лаком, дверью квартиры Беляева. На одной створке был вделан “волчок”. Беляев открыл сначала один замок, потом второй, а затем уж и третий специальным ключом, похожим на напильник с зазубринками и согнутым на конце. Отворив внешнюю дверь, сунул ключ в скважину внутренней, такой же новой, двери. Сразу же послышались детские голоса и, когда Комаров втащил елку в прихожую, ярко вспыхнула в ней люстра с подвесками, и Саша с Мишей подбежали к елке и захлопали в ладоши от восторга.

Комаров прислонил елку к стене, на которой в багетовых рамках висели масляные картины Коли, которого дома не было, учившегося в художественной школе. Паркет блистал под ногами золотистыми оттенками. Комаров раздевался и снимал ботинки, глядя на себя в огромное, из антиквариата, зеркало, двухметровое, от пола почти что до потолка. Вдоль другой стены высились книжные полки, застекленные, набитые книгами.

Из дальней комнаты показалась Лиза, с книгой в руках. На ней было просторное домашнее платье, несколько скрывавшее беременность.

- Елка, Лева! - оживилась она после чтения.

Комаров надел шлепанцы и с чувством музейного посетителя стал ходить по прихожей, оглядывая ее. Все в ней было основательно, добротно, ново. Двери в комнаты поражали своею старинностью и белизной, на которой очень дорого смотрелись бронзовые тяжелые ручки в виде львиных голов.

- Дворец! - произнес с придыханием Комаров, несколько лет не бывавший в этой квартире.

- Брось ты! - сказал Беляев, поднимая трехлетнего Мишу над собой и сажая его на шею.

- Мама! Мы будем сегодня наряжать елку?! - восторженно спросил Саша, с осторожностью притрагивающийся к елочным веткам.

- Как папа решит, - сказала Лиза и спросила у вошедших: - Вы голодны?

- Как звери! - сказал Беляев, снимая Мишу с плеч и ставя его возле Саши. - Сейчас мы с дядей Левою поедим, а потом займемся устройством елки. Да, ребята? - обратился он к детям.

- Да, да, да, да, да, да! - затараторил Саша весело, и Миша стал вторить ему и прыгать.

- Новый год, Новый год, он подарки принесет! - скандировал пятилетний Саша.

Комаров с Беляевым прошли в его комнату, в которой преобладали книги.

- Неужели ты все прочитал? - спросил Комаров.

- Нет, - усмехнулся Беляев, - я их держу для звукоизоляции и вместо обоев. Прекрасный интерьер?!

- Черт, столько книг?! Когда ты успел их закупить! - выражал удивление Комаров, садясь в кресло. - Ну и терпение у тебя! Из одной комнаты сделал квартиру. Потрясающее терпение! А я дурак послушал Светку, поехал в двухкомнатную. Кухня - пять метров, прихожей - ноль, двоим не разойтись, комнаты проходные... Надо было мне, как и тебе, ждать.

- Ждать, терпеть - это исключительные качества, - сказал полушутливо Беляев, - и ими обладают единицы. Человек всегда торопится. Конечно, торопиться нужно, смерть каждого поджи-

дает, но торопиться нужно с умом. В терпении торопиться. Понимаешь?

- Не очень.

- Ну, взять, например, книгу. Объемный роман. Допустим Томаса Манна "Иосиф и его братья", - Беляев обвел глазами стеллаж и с трудом вытащил два полных тома романа. - Ставишь себе задачу за две недели прочитать эти два тома...

- За две недели? Да ты что... Тут полгода нужно колупаться!

Беляев смерил его скептическим взглядом.

- Поэтому ты и ютишься в "хрущобе"! Вот тебе для проверки торопливого терпения. От доски до доски прочитать роман, последовательно, не глотая страниц, не пропуская. Нужно проверять себя. Для этого книги - замечательные тренажеры.

- Но невозможно осилить за две недели эти два кирпича!

- Ты спешишь, не начав читать. Давай прикинем, - сказал Беляев, смотря, сколько страниц в обеих книгах. - Так. Тысяча четыреста страниц. - Он взял из ящика стола микрокалькулятор и стал считать. - Две минуты на страницу. Это будет... две тысячи восьмьсот минут. Делим на шестьдесят... Получаем сорок шесть и шесть в периоде. Короче, сорок семь часов. Теперь посмотрим, сколько страниц нужно читать в день. Делим сорок семь на четырнадцать. Получаем... три, запятая, триста пятьдесят семь... Округляем, три с половиной часа. Комаров безрадостно вздохнул.

- Нет, это не для меня. - Он взял книгу, полистал. - Да и текст сложный... Ну, что это такое: "Я тоже сподобливался кой-каких откровений, когда был моложе, и то, что я увидел во сне, когда против своей воли уехал из Беэршивы и, не подозревая того, набрел на известное место и на известный подступ, может, пожалуй, потягаться с тем, что показали тебе"? Как будто человек не может сказать попроще! Выпендривается этот Манн, как муха на стекле, вязью какой-то занимается!

- Это было его задачей... Где-то в конце второго тома он сам об этом говорит. - Беляев заглянул в книгу. - Вот... "разработать до мелочей изложенное вкратце". Короче, Манн коротенькую легенду из Книги Бытия раздул на тысячу четыреста страниц!

- Зачем?

- Затем, чтобы ты, балбес, погрузился в мир мыслей, в эпоху, в другие измерения. И чтобы выковал свое терпение.

- Ты сам-то прочитал эту словесную эквилибристику?

- Последовательно, страница за страницей - нет...
- Ну, а мне говоришь...
- Но очень детально просматривал. Меня не интересовал Ио-сиф, меня интересовал сам Манн, его взгляд на библейские собы-тия.

Комаров встал, показывая всем своим видом, что его это абсо-лютно не волнует.

В комнату вбежал Миша, но сразу же остановился, смущаясь постороннего дяди. Комаров приветливо раскинул руки в сторо-ны, присел и заулыбался. Маленькие детские ручки потянулись к нему, крепенькие, полненькие ручки с грязными ноготками. Миша был любитель поползать по полу, под столами и под кроватями. Однажды он заснул под кроватью и его долго искали. Комаров втащил его к себе на колени и стал тискать, качать, щекотать, ню-хать детское тельце, целовать маленькие, пылливо-разбойничьи глазки, только что ставшие познавать мир.

Миша потащил за руку Комарова в свою комнату, устланную красным мохнатым синтетическим ковром, по которому были раз-бросаны яркие пластмассовые кубики. Миша пришел в неописуе-мый восторг, когда Комаров в мгновение ока выстроил из этих ку-биков башню.

Глава XXII

В комнате было темно, когда Беляев обнял Лизу и привлек к себе.

- Осторожно, - сказала она.
- Я хочу осмотреть твой животик, - сказал Беляев, потянулся ружку к розетке и включил елку.

И в темноте вспыхнула елочная гирлянда, целые созвездия. Лампочки, снабженные прерывателем, мигали, целые кучки вспы-хивающих и гаснущих огоньков. Лампочки были всех цветов - и зеленые, и красные, и лиловые, и желтые... Казалось, что в комна-ту залетело множество фосфоресцирующих бабочек. Они вспыхи-вали то на одной, то на другой мохнатой ветке, выхватывая из тьмы блестящие елочные украшения.

- Как красиво! - прошептала Лиза.
- Очень красиво, - согласился Беляев, лаская ее.

- Ты меня любишь?
- Да.
- Между нами - третий, - сказала она. - Осторожно.
- Я всегда люблю тебя осторожно. На потолке от елочных лампочек был цветастый луг: с травой, цветами, бабочками.
- Когда ты молчишь, о чем ты думаешь? - спросила она.
- Он сжимал в своей руке ее руку.
- Когда я молчу, я чаще всего ни о чем не думаю. Вернее, о чем-то думаю, но точно не могу сформулировать - о чем.
- Странно. У меня такое же бывает. Вроде бы думаю, а о чем - не знаю.
- Общие места.
- Да.
- Но много есть в жизни такого, о чем не хочется думать, - сказал он. - Это - запретные темы.
- Первый раз от тебя слышу о запретных темах.
- Их много и лучше о них не думать, хотя можно и думать.
- Например?
- Что тебе говорить, ты сама знаешь... Есть вещи, о которых начинаешь думать, и все становится бессмысленным...
- Молодец! Ты умный, и ты не думай о плохом.
- Стараюсь. Но елка!
- Что елка?
- Елка - самая страшная вещь! Запретная тема! А мы ее ставим каждый год.
- Почему "запретная"?
- Сигнал смерти...
- Потом они лежали и смотрели в радужный от свечения елочной гирлянды потолок.
- Вот и еще один год прошел, - сказала Лиза, прерывисто дыша.
- Нам будет по тридцать! - с грустью сказал Беляев.
- Как много...
- И как все быстро совершается, - сказал он, стараясь не смотреть на Лизу, потому что после этого ему всегда было как-то неловко смотреть на нее.
- А откуда у Левы появилась машина? - вдруг спросила она.
- Тебе это очень нужно знать?
- Да нет, не очень, но все же... Ты можешь не говорить, я сама знаю... догадываюсь. Напрасно ты это сделал.

- Что сделал?

- Купил ему машину.

- Почему ты думаешь, что это я купил ему машину?

- Не притворяйся, я все знаю и все вижу. Ты с утра до ночи бегаешь, работаешь, а он... Он очень хитрый парень. Вот увидишь, что он тебя рано или поздно бросит.

Беляев едва слышно рассмеялся.

- Это может быть только наоборот - я его могу бросить.

- Тебе так кажется. Ты думаешь, что он тебя будет возить? Ты для этого покупал машину?

В душе Беляева шевельнулась некая тревога. Не оттого, что Комаров может увести машину и сам исчезнуть, а то, что Лиза читала его мысли, его жизнь.

Это было неприятно. Чувство, похожее на ревность, возникло в нем.

- Да, я покупал машину для того, чтобы везде успевать.

- Почему ты себе... нам машину не купил? - спросила Лиза и в ее голосе послышалась обида.

- Потому что *рано* еще мне машину иметь! - достаточно грубо ответил Беляев, чтобы поставить Лизу на место.

- А Левке не рано?

Это был весомый аргумент, о котором почему-то Беляев не подумал, и этот аргумент с новой силой резанул его.

- Машина куплена для работы, - сказал он растерянно.

- И оформлена на него?

- Да куда он не денется! - огрызнулся Беляев.

- Когда денется, будет поздно, - сказала Лиза. - Тебе нужно самому ездить. Послушай меня, купи себе машину и откажись ты от Левкиных услуг. Он как пивка будет сосать тебя. Это такие люди, которые просто так не отвяжутся.

- Ты себе противоречишь, - сказал Беляев. - То ты говоришь, что он меня бросит, то - не отвяжется!

- Он тебя бросит тогда, когда поймет, что взять с тебя будет больше нечего.

Беляев пошевелил рукой, придавленной полным лизиним бедром, освободил эту руку и положил на ее гладкое и горячее бедро сверху, чтобы затекшая рука отошла.

- Ты думаешь, что наступит время, когда с меня нечего будет взять? - усмехнулся Беляев.

- Со всеми такое время наступает, - сказала Лиза и внезапно с чувством добавила: - Зачем ты держишь деньги в этой чертовой коробке!

Беляев испуганно вздрогнул.

- В какой коробке?

- Не прикидывайся дурачком! Мишка залез к тебе под стол, пока я была на кухне, и выволок эту коробку! Разбросал фотохимикаты, а потом принялся за деньги! Хорошо, что я вовремя зашла в комнату! И хорошо, что ни Сашка, ни Колька не видели этих пачек! Господи, откуда ты набрал *столько* денег?!

У Беляева перехватило дыхание и он минуту лежал в полной растерянности. Потом стал мучительно соображать, что ответить Лизе. Она ведь довольно часто повторяла, что ей не хватает денег на хозяйство, а он с завидной регулярностью отвечал, что у него нет денег. Вариантов ответа было два: либо сказать, что эти деньги не принадлежат ему, что выглядело бы достаточно глупо, поскольку кто бы ему дал такие деньги, допустим, на хранение; либо рассказать о своей коммерческой деятельности и в этом случае как бы полностью впустить Лизу в свою жизнь. Он выбрал второе, разумеется, после некоторых колебаний.

- Я догадывалась, - резюмировала Лиза после услышанного откровения Беляева. - Но я не могла предположить, что у тебя такой талант! Теперь я понимаю, почему ты медлишь со всякими покупками, с той же машиной, например. Ты *не хочешь* показать окружающим, что ты не такой как они? Теперь я понимаю. Ты создаешь иллюзию, что очень медленно скапливаешь деньги, хотя бы на ту же квартиру.

- Квартира не стоила больших затрат, - сказал он.

- Конечно! - воскликнула Лиза. - Я - бесплатная, мои дети - бесплатные! А что, если я потребую с тебя по десять тысяч за каждого ребенка?

Беляев приподнялся на локте и заглянул в глаза Лизы. Они были злые. Но и Беляев оцетинился.

- А за Колю сколько ты мне дашь?! За то, что ты повела себя тогда с этим офицером как проститутка!

- Я - проститутка?! - почти что задохнулась в крике Лиза.

- Ты!

Лиза наотмашь ударила его по лицу и вскочила с постели, голая, с большим животом, она зачем-то метнулась к елке, затем вернулась к кровати, надела ночную рубашку и сказала:

- Мне до визгу надоело твое вранье! Откуда ты такой жлоб выискался?! Что ты хочешь с этими деньгами делать?!

Беляев, стиснув зубы, дрожал в гневе.

- Исчезни! - прошипел он.

- Нет уж, теперь я не исчезну, - ехидно произнесла Лиза. - Куда мне теперь с этой оравой исчезать? Скорее ты исчезнешь. Я схожу в институт, поговорю, как это они такого типа в парткоме держат!

Беляев вскочил в бешенстве с кровати, сжав кулаки.

- Замолчи, убью!

- Убей! - крикнула Лиза и подставила лицо. - У тебя силенок не хватит убить! Ты же трус! Каким же надо быть подлым человеком, чтобы иметь такие деньги и жене ни копейки не давать. Я едва схожу концы с концами. Хорошо, что моя мама помогает, а то бы совсем... А тебе наплевать на всех!

- Мне наплевать? А эту квартиру я для кого делал? А дети, что, чужие у меня?

- Я не уверена, что ты не ходишь по блядям! - крикнула Лиза.

Беляев пораженно смотрел на нее, дивясь столь не свойственной Лизе лексике. Он явно недооценивал ее, считая, что ей многое в жизни неведомо. Как он глубоко заблуждался! В мгновение ока Лиза ему раскрыла глаза.

Она повернулась и вышла из комнаты. Беляев удрученно заходил по комнате, собираясь с мыслями и успокаиваясь. Он поглядывал на огоньки елки и как бы пугался этих огоньков, которые каждый год манили его в год будущий, который тоже имел окончание такими же огоньками на такой же елке. Сколько можно повторений, словно вопрошал Беляев, а ему из угла кто-то отвечал: "Сколько нужно, столько и будет, деточка!" Черт, откуда взялось это "деточка"? Кто-то большой и суровый следил за ним из угла, и был так страшен в своей негибимой воле, что Беляев испуганно смирился с тем, что количество повторений в жизни не будет зависеть лично от него, Беляева, и что этими повторениями будет руководить некто, хотя и догадывался Беляев - к т о, но не мог даже про себя произнести это имя.

Обнаружив, что он бродит по комнате голым, Беляев запел "Утро красит нежным светом", подошел к кровати и сел. Посидев некоторое время, наблюдая за мигающими огнями елки, он лег и укрылся одеялом. Не идти же за Лизой, не уговаривать же ее! Сама придет.

- А кто ты, собственно, такой, чтобы к тебе приходили? - услышал он вопрос из угла. - Почему ты думаешь, что к тебе будут приходиться? Ты должен уяснить одну простую мысль, что сам по себе ты никому не нужен. Приходят не к тебе, а к твоим деньгам. Помни это. Хорошенько помни и не переоценивай себя.

- И даже Лиза ко мне не придет? - спросил Беляев.

- Даже Лиза.

- А дети? Дети придут?

- И дети не придут.

- Я не верю этому! - вскричал Беляев и увидел, что в комнату вошла Лиза.

Она успела переодеться и была теперь в голубом платье, том, которое нравилось Беляеву. Лиза включила верхний свет.

- Ты долго будешь валяться?

- Что, уже утро?

- Уже утро.

- А почему на улице темно? - спросил он, глядя на темную щель в занавесках на окне.

- Потому что зимой светает поздно, - сказала Лиза. - На вот, почисть. - Она протянула ему корзинку, доверху набитую ложками и вилками, золотисто поблескивающими. Он взял ложку, тяжелую, с вензелями на ручке, совершенно новую ложку и недоуменно установил ее на нее. Что же тут чистить? Это же только что купленная ложка. Да притом не обыкновенная, а золотая. На обороте широкой ручки Беляев разглядел выдавленную пробу.

Беляев положил ложку в корзинку и вдруг увидел на своей руке, в которой он держал ложку, золотой отпечаток. Неужели она так пачкается? Он взял вновь ту ложку и увидел на ней отпечатки своих пальцев, то есть в том месте, где были отпечатки, не было золота, а был простой металл. Беляев торопливо принялся перебирать все ложки и вилки, лежавшие в корзинке. И со всех них слезла золотистая краска. Беляев догадался, что это, видимо, Коля так пошутил, покрасив ложки и вилки золотистой краской, но сам золотой порошок развел не на лаке, а на воде, как акварель, вот она и пачкается. А к чему тогда проба золота?

Пока он думал над этим, в комнату вошел Пожаров с подносом в руках.

Беляев ошалело взглянул на него и воскликнул:

- Толя, такие дела! Золото смывается!

Пожаров держал в руках увесистый поднос, серебристо поблескивающий, на котором дымилась гора раскрасневшихся раков. Усы и клешни, хвосты и панцири были влажными, словно покрытые лаком.

- Это Колька лак вместо ложек на раков пустил? - спросил Беляев, радуясь появлению Пожарова.

- Какой лак? Это я в Елисейском схватил вчера. Думаю, на Новый год в самый раз закуска будет!

- Слушай, Толя, мне однажды снились раки... А сны сбываются?

- На то они и сны, чтобы сбываться! - захохотал Пожаров голосом того, из угла.

Он поставил поднос на стол.

Беляев, забыв о нем, стал оттирать тряпкой ложки и вилки. Тряпка становилась золотой, и руки становились золотыми. Беляев вышел из комнаты и остановился у зеркала в прихожей. Он голый стоял перед зеркалом и вдруг стал натирать себя золотой тряпкой. Лицо, руки, шея, грудь становились золотыми. Тряпка была неистощимой. Она увеличилась в размерах, превратившись в целое полотенце. Беляев натер и спину, и ноги.

Он весь был золотой.

Приняв позу Аполлона, он долго любовался собою застывшим в зеркале. И волосы были золотыми! И золотыми были ресницы, и, казалось, глаза стали золотыми! И ногти на руках и на ногах были золотыми! И священный для Беляева символ оплодотворяющего или рождающего начала был золотым! И волосы вокруг фаллоса были золотыми! Мраморному Аполлону далеко было до золотого Беляева!

Но близко до золотого... осла, подумал Беляев, стараясь стереть с себя теперь краску, но она не стиралась.

- Ничего себе костюмчик, - сказал после того, как нагляделся на Беляева, Пожаров. У него в руках был кухонный молоток для отбивки мяса.

Беляев продолжал стоять в позе Аполлона.

- Ну-ка, мы сейчас попробуем, ты ли это или только статуя с твоего изображения? - сказал Пожаров и резко ударил молотком по фаллосу, который с металлическим лязгом отвалился и со звоном упал на мраморный мозаичный пол.

Беляев вышел из комнаты и подошел к своей скульптуре. Нагнулся, поднял то, что упало и ахнул. Это был его самый натуральный, с живой кожей, нежной, как лепесток розы, символ.

- Как же мне теперь жить?

- Тебе жить незачем! - сказал Пожаров, поднимая и бросая Бе-
лева на горку раков. И пока Беляев летел, успел заметить себя со
стороны, каким он вдруг стал красным, усатым и хвостатым. Он
был самым большим раком, самым красным, самым сочным, с са-
мыми большими и с самыми острыми клешнями.

- Я в Елисейский заходил, но раков не видел, - сказал Беляев.

- В рыбном отделе, - сказал Пожаров, поднимая Беляева и пе-
реламывая его пополам.

На белую скатерть брызнула кровь.

- Что это?! - вскричал Беляев.

- Это вино, - сказал Пожаров.

- Это же моя кровь!

- Твоя кровь белого цвета! - воскликнул Пожаров и расхохо-
тался.

- Почему "белого"? - испуганно спросил Беляев.

- Потому что ты *Снеговик*!

Господи, подумал Беляев, почему же он вдруг превратился в
Снеговика? Так холодно крутом, так снежно, так метельно, так
вьюжно... И так одиноко!

Он пошевелил рукой, Лизы рядом не было. Елка светилась и за
окнами был рассвет. Одеяло сползло на пол, он лежал раскрытым
и дрожал от холода, хотя в комнате было довольно-таки тепло. Это
всегда так во сне бывает холодно, если раскрываешься, подумал
он. Во сне организм охлаждается. Состояние было не из прият-
ных. Он был на грани сна и яви. Вспомнился Лизин крик. Реаль-
ный крик. И пожаровский басовитый хохот. Нереальный хохот.
Но и то, и другое Беляев слышал!

Прежде чем натягивать трусы, Беляев с каким-то страхом ос-
мотрел себя: не стал ли он золотым и осталось ли на месте то, что
со звоном упало на пол?

Затем он оделся и тут же полез под письменный стол за короб-
кой, в которой, действительно, все лежало не так. Подумав, он до-
стал со дна три пачки, сунул поспешно, оглянувшись, их в карман
домашних брюк, и стал думать, что делать с коробкой, в которой
этих пачек под химикатами год от году становилось все больше.
Наконец, ничего не придумав, он сунул коробку опять под стол.

В шкафу он нашел розовую ленточку, перевязал ею пачки из
кармана, вновь сунул их, перевязанные, с красивым бантом, в кар-

ман и пошел искать Лизу. Она спала на диване, укрытая пледом, в комнате Миши. Беляев тронул Лизу за плечо. Она медленно открыла глаза и уставилась на Беляева с некоторым остатком вчерашней враждебности.

- Это тебе к Новому году, - сказал Беляев, протягивая ей тридцатитысячный подарок.

Лиза смотрела на связанные пачки и никак не могла спросонья понять, что это.

- Это тебе, - повторил Беляев. Лиза села на диване и поспешно прикрыла оголившиеся ноги.

- Что это? - никак не могла сообразить она.

- Подарок... От меня... Деньги...

Лиза осторожно, не веря себе, взяла пачки и прижала их к груди. Глаза ее стали чистыми и веселыми.

- Мне?! - воскликнула она.

- Тебе.

Она торопливо развязала бантик и поочередно осмотрела каждую пачку, шевеля губами и шепотом прочитывая: "Десять тысяч...", "Десять тысяч...", "Десять тысяч..."

- И это все - мне?

- Ну, а кому же? Конечно, тебе.

- Дай я тебя поцелую, - сказала она и протянула к нему обнаженную руку.

Он склонился к ней, и она с каким-то крепко-благодарным жаром расцеловала его.

- Пойдем, пойдем, а то Мишку разбудим! - прошептала она.

Они вышли на кухню. Беляев взял электрическую мельницу, собираясь смолоть кофе, но тут же вспомнил про коробку.

- Лиза, - сказал он. - Раз уж у нас вышло такое...

- Какое?

- Сама знаешь... То я доверяю тебе быть хранительницей всех средств. Убери куда-нибудь коробку, чтобы дети о ней и слыхом не слыхивали.

Он поставил кофемолку и пошел с Лизой к себе в комнату, где стояла елка.

Но здесь произошло маленькое событие, которое отвлекло на некоторое время ее и Беляева от проблемы коробки.

Дело в том, что Лиза, нагнувшись под стол, ударилась коленом об угол стула, который был выдвинут из-под стола, но не отодви-

нут дальше, чтобы можно было свободно залезать под стол. Ударившись, Лиза вскрикнула, привстала и положила руки на плечи Беляеву.

- Поцелуй мое колено! - простонала Лиза и вместе с обнимающим ее Беляевым пошла к кровати.

Она легла, а Беляев прикоснулся губами к полноватому колену, а затем спросил:

- Здесь больно?

- Больно.

- А здесь?

- Немножко.

Он поцеловал ее чуть выше колена.

- Нет, там уже не больно, - прошептала она.

- А здесь?

- Здесь щекотно...

- А здесь?

- Целуй.

- А здесь?

- Целуй крепче!

Колено уже было забыто, было забыто все, потому что их захлестнула страсть.

Светлая комната стала светлее, и ангелы зашелестели белыми крылами своими, создавая эффект метели.

- Вот чем иногда кончается ушиб колена, - рассмеялась она.

- Мне приснился жуткий сон! - вдруг сказал он.

- Какой?

- Смешно сказать...

- А ты скажи.

- Мне приснилось, что я стал статуей, как Аполлон, и что у меня один варвар (он не назвал - кто), ты представляешь, отбил молотком то, что тебе так нравится.

- Ха-ха-ха! - залилась смехом Лиза. - Как бы я жила без этой радости?! Ты бы меня обрек на вечное монашество.

У Беляева мелькнул образ Валентины...

Коробку Лиза унесла к себе.

Потом, когда они пили кофе на кухне, туда прибежал босиком, в одной рубашонке Миша, весело подняв руки, закричал:

- Дей Моез!

- Где Дед Мороз? - удивленно, вскинув брови, спросила Лиза.

- Там! - выкрикнул Миша, указывая на окно, которое, как и из комнаты, выходила на улицу.

Беляев выглянул в окно, но никого не увидел, зато услышал звонок в дверь.

Он пошел открывать, а Лиза быстро умыла и одела Мишу. Со звоном в коридор высыпали Коля и Саша. А Беляев впустил в квартиру настоящего Деда Мороза.

Беляев совсем забыл, что с месяц назад записался в профкоме на "Деда Мороза". Это был Зайцев с кафедры математики, широкоплечий, пузатый ассистент, с голосом дьякона. Следом за Дедом Морозом вошла Снегурочка, Шиманская, лаборантка с сопромата. Дети радостно-испуганно застыли у стены. За спиной Деда Мороза был огромный мешок, на руках - красные рукавицы, в одной руке был толстый, суковатый посох, обмотанный серебристой лентой фольги.

- Я из лесу вышел, был сильный мороз! - прогудел Дед Мороз, не найдя более лучшего приветствия, чем это.

- Гляжу, поднимается медленно в гору! - издевательски-весело отозвался Беляев, поднимая Мишу на руки.

- Здравствуйте, детки! - сказал, подмигивая Беляеву, Дед Мороз, проходя в большую, Белявскую, комнату, где сияла своею краскою наряженная елка.

Дед Мороз вновь подмигнул Беляеву и тот догадался поставить Мишу перед елкой, а сам незаметно пробраться к розетке у кровати. Коля и Миша, раскрыв рты, смотрели на Деда Мороза и Снегурочку.

- Снегурочка! - обратился к ней Дед Мороз.

- Да, дедушка.

- Начнем праздник для детей?

- Начнем, дедушка! - весело пропищала Снегурочка, потому что у лаборантки Шиманской был известный на весь институт своей писклявостью голос.

- Раз, два, - начал басом Дед Мороз, и Снегурочка поддержала: - Три! Елочка - гори!

- ... гори! - хором поддержали дети, и Беляев ткнул штепсель в розетку.

Елочная гирлянда вспыхнула и замигала.

- Ура-а! - крикнул Саша.

В это время Снегурочка шепталась с Лизой, как приготовить праздничный пирог. После этого Дед Мороз со Снегурочкой вру-

чили подарки детям. Дед Мороз на ощупь брал в мешке подарок и, прежде чем его вытащить, спрашивал:

- Кому? - спрашивал, как какой-нибудь рыбак при дележке улова.

- Мне! - все вместе кричали дети. Когда дети ушли к себе по-трошить подарки, Беляев достал бутылку коньяка.

- Я только рюмочку! - взмолился Дед Мороз. - А то, пока всех обойду, повалюсь с катушек! Итак уже мы со Снегурочкой врезали грамм по триста!

- Что-то незаметно! - рассмеялась Лиза.

- Быстро на воздухе выветривается, - неопределенно-рассеянно сказал Дед Мороз, освобождая пальцами рот от ваты усов и бороды.

- Холодно на улице? - спросила Лиза.

- Да, ничего... - сказал Дед Мороз, опрокидывая рюмку.

- А вы, Николай Александрович, неплохо живете! - воскликнула, выпив, Снегурочка, обводя рукою комнату, но словно охватывая этим жестом всю квартиру.

- Столько лет бились! - сказала твердо, оценив ситуацию, Лиза.

- Конечно, у вас дети, - вздохнула, словно позавидовала, Снегурочка, отламывая кусочек от большой плитки шоколада, и добавила с чувством: - Везет же людям! Дети, огромная квартира!

- Да-а, - промычал Дед Мороз, с подозрительной жадностью поглядывающий на бутылку.

Беляев перехватил этот взгляд и налил всем, кроме Лизы.

- С наступающим! - сказал он, слушая, как мелодично гудит хрусталь, после того, как он чокнулся с Дедом Морозом и Снегурочкой.

- С новым счастьем! - сказала Снегурочка. Лиза посмотрела на нее и сказала:

- Мы ведь с Николаем Александровичем с комнаты начинали. С этой вот комнаты. - Притопнула ногой легонько по паркету Лиза.

- Вы такая молодая и уже трое детей! - продолжала восхищаться Снегурочка.

Беляев энергично налил по третьей рюмке.

- Если бы не было детей, не было бы квартиры. Если бы не были мы в свое время рождены, не было бы ничего! - философски воскликнул он и поднес свою рюмку к рюмке Деда Мороза.

Тот помешкал, затем весело сказал:

- Ну, дай Бог, не последняя! - и швырнул жидкость в распахнутую пасть.

- И все-таки, - продолжала Снегурочка, обращаясь к Лизе, - как вам это удается?

Лиза пожалала плечами, а Снегурочка грустно взглянула на ее живот.

Глава XXIII

Совершенно очевидно, что Скребнев заимел какой-то зуб на Сергея Николаевича, иначе бы он не завел с ректором разговор об этом при Беляеве.

Едва успели убрать портрет в траурной рамке бывшего завкафедрой Пачкова из фойе, как Скребнев вызвал Беляева и спросил его мнение о кандидатуре на так внезапно освободившуюся должность.

- Двух мнений быть не может. Сергей Николаевич, - сказал он, даже и не пытаюсь в уме выбрать еще кого-нибудь.

- Угу, - хмыкнул Скребнев, но ничего более не добавил, а предложил зайти с ним к Яковенко, ректору.

Краснолицый и седовласый Яковенко восседал в своем могучем, ленинском, кресле за огромным (откуда только такие берутся, как из горьковского кабинета в доме Рябушинского!) столом, стоящим отдельно в просторном, как зал, кабинете. Перед столом располагалось два кресла-близнеца из того же гарнитура, что и ректорское кресло, но несколько поменьше.

- Здравствуй, Павел Семенович! - опережая Скребнева, произнес Беляев грубовато, пожал мягкую ладонь ректора и сел без приглашения в кресло, закинув ногу на ногу.

Скребнев как будто этого не заметил и опустился в кресло напротив. После паузы зачем-то подмигнул Беляеву, мол, поддержи, и завел разговор о вакансии.

- Я думаю, что Серега справится, - сказал Яковенко. - Да и докторская у него на подходе.

Пошевельившись в кресле, Скребнев сказал:

- Я ничего не имею против, но...

- Что "но"? - перебил Яковенко, припадая на стол.

- Боюсь, не потянет...

У Беляева от изумления расширились глаза, и он весь как-то напряжился. Заиграли желваки на щеках и спина стала прямой, как доска. И в этом напряжении он казался еще более подтянутым в своем с иголки костюме, в выглаженной Лизой вечером белоснежной сорочке, в идеально завязанном темно-синем галстуке.

- Я этого не боюсь, - сухо проронил сквозь зубы Беляев и взглянул на ректора.

Тот пожал плечами и, подумав, спросил:

- Что-то у тебя есть?

Скребнев еще раз незаметно подмигнул Беляеву и сказал:

- У нас у каждого что-нибудь есть... Дело не в этом. Мне кажется, что Серега не потянет.

- Почему "не потянет"? - удивился Яковенко и откинулся к спинке кресла.

Беляев чмокнул губами и медленно проговорил, вполне приняв подмигивание Скребнева:

- Вообще-то стоит подумать.

Он это сказал, не понимая, куда клонит и что хочет Скребнев, но сказал, чтобы не расходиться во мнении со Скребневым. Тут нужно было четко определиться в расстановке сил. А силы были таковы, что Яковенко был в предпенсионном возрасте, в последнее время почти что отошел от дел, появлялся в институте редко, причем с подозрительно красным лицом. Волевых качеств у Яковенко явно недоставало и он более делал вид, что руководит, чем руководил огромным институтом. Оба проректора были уже в пенсионном возрасте и держались только потому, что когда-то в конце двадцатых годов создавали институт, и ныне никому не мешали. Силу набирала младая поросль, и в особенности, Скребнев, которого недавно на районной отчетно-выборной партийной конференции избрали в бюро райкома КПСС.

- Ладно, вы там думайте, - сказал Яковенко. - Потом доложите.

Выйдя из кабинета, в коридоре, Беляев спросил:

- Володя, чего ты темнишь? Бляха-муха, надумал чего-то и меня в дурацкое положение ставишь!

Скребнев по-приятельски обнял Беляева.

- Коля, запомни одно из важнейших правил партийного работника: никогда не выдавай информации, в которой ты сам еще не уверен!

Этому, конечно, Беляева учить не стоило. Но то, что именно его хотел обойти Скребнев, его уязвило.

- Слушай, ты мне доверяешь, Володя? - напрямую спросил Беляев, убирая с плеча руку Скребнева.

Скребнев молчаливо вновь подмигнул ему и сказал:

- Пошли ко мне, потолкуем.

В коридоре разговаривать, действительно, было неудобно, по тому что в нем былолюдно, несмотря на то, что шли лекции. Хлопали двери лабораторий и кафедр, студенты, сотрудники, преподаватели, свободные от занятий, ходили туда-сюда, обязательно раскланиваясь со Скребневым и Беляевым, институтскими партийными боссами.

По одной стороне шел ряд широких окон, за которыми падал медленный пушистый снег. Даже одной минуты взгляда на него было достаточно, чтобы успокоиться или задуматься. Если между собой люди так или иначе переходят на "ты", то с природой они вечно остаются на "вы".

Людочка, секретарша, печатала на машинке. Увидев Беляева, сказала, что ему звонила жена и просила ей перезвонить. Беляев кивнул и вошел следом за Скребневым в его кабинет и плотно закрыл за собою дверь, защелкнув английский замок.

- Коля, - начал сразу же Скребнев, - нужен какой-нибудь компромат на Серегу.

- Ты спятил! Это же наш кореш! - воскликнул Беляев, усаживаясь напротив Скребнева у стола.

Волнение охватило Беляева, поскольку он не ожидал, что Скребнев возьмет так круто.

Против Сергея Николаевича, с которым он живет и на кафедре, и в парткоме душа в душу!

- Так надо! - твердо сказал Скребнев.

- Что он тебе сделал?

- Лично мне - ничего.

- А кому?

- Вот это я у тебя хочу спросить.

- У меня? - поднял брови Беляев.

- Я же говорю, дай на него компромат!

- Никак не пойму. Ты что, от него избавиться хочешь?

- Иначе не получится.

- Почему?

- Ну, потом как-нибудь расскажу, - сказал, чуть порозовев, Скребнев, погромев коробком спичек, проверяя, есть ли в нем спички, и закурил.

- Что-то никак не врублюсь, - сказал, разводя руками, Беляев.

Скребнев встал и заходил по кабинету.

- Какое тебе, Коля, дело! Ты можешь для меня, как для друга, это сделать или нет?!

Беляев стал понемногу соображать и догадываться, что между Скребневым и Сергеем Николаевичем что-то произошло на личной почве, поэтому резко прекратил вопросы и, подумав еще некоторое время, сказал:

- Хорошо. Но кого ты мне сунешь в шефы?

- Это твоя прерогатива, - спокойно сказал Скребнев и вдруг нервно почти что крикнул: - Мне нужно убрать этого пидора!

Но тут же Скребнев взял себя в узду, сел и, как ни в чем не бывало, сказал:

- Поясница опять болит.

Беляев никак не мог прийти в себя от "прерогативы" в подборе кандидатуры на избрание на должность заведующего кафедры. Сначала никто ему не шел на ум, но затем он кое-что начал придумывать. Разумеется, продать эту должность нужно было как можно дороже. Это для Беляева была аксиома, как для Скребнева было аксиомой то, что Сергея Николаевича не должно быть в институте.

Беляев думал о разных вариантах, а перед глазами возникала смазливая и бойкая жена Скребнева. Ну, Серега!

- Ладно, уберем, - сказал Беляев, как о решенном, придвинул к себе телефон и позвонил домой.

Подошел сначала Саша, потому трубку взяла Лиза.

Она волнуясь, сказала:

- Звонил твой Заратустра, сказал, что умирает.

Положив трубку, Беляев заметно помрачнел.

- Что-нибудь случилось? - заметив эту резкую перемену, спросил Скребнев.

- Да так, ничего, - сказал Беляев, тупо глядя на страницу перекидного календаря с жирной цифрой "семь" посередине, над которой маячил месяц "декабрь", первый месяц шестидесятого года Великой Октябрьской социалистической революции...

Беляеву сразу же стало ясно, что отец сорвался и теперь, на выходе из запоя, лежит трупом и подыхает. Беляев даже ни на ми-

нута не позволил себе усомниться в этом. Нет характера у отца, думал он, а есть какие-то *всплески*, похожие на характер. Беляев думал о том, что в этой волчьей жизни нужно быть волком, что нужно выковывать свой характер, не подпускать к себе людей, не доверять им, держать их все время на дистанции, потому что, как только подпустишь, они сразу же начинают лезть в душу или залезать на голову. Эта человеческая особенность неискоренима и с ней бороться можно только по-волчьи.

Беляев набрал номер Комарова.

- Лева, звоню из парткома, - сказал Беляев.

Скребнев устался, не моргая, на Беляева, но тот больше ничего не говорил, а только, прикрыв трубку ладонью, слушал, так что Скребневу ловить было нечего. С того конца провода Комаров сам говорил наводящими вопросами:

- Понял. Подъезжать сейчас? Понял. Через пятнадцать минут буду. Остановлюсь, где обычно.

- Давай, - сказал Беляев и положил трубку.

Снег медленно падал на мокрый асфальт. Даже было жалко этот чистый снег, что он так бездарно заканчивал свое прекрасное парение. На капоте машины он сразу же таял, и от капота поднимался белесоватый пар.

- Только хотел пойти по магазинам, как ты позвонил, - сказал Комаров, когда Беляев сел рядом и захлопнул дверцу.

- По магазинам будешь после работы ходить! - урезонил его мрачный Беляев. - Прямо! - добавил он.

Комаров тронул свою зеленую клячу и поехал по улице прямо.

- Направо! - отрезал Беляев.

Комаров, поджав губы, поняв, что шеф не в духе, свернул направо. Комаров хотел спросить о зарплате, которую Беляев выплачивал ему каждое десятое число, но промолчал, чтобы не навлечь на себя гнева.

- У магазина остановись! - рявкнул Беляев и, как только машина остановилась, вышел, сильно хлопнув дверью.

В грязном винном отделе пахло чем-то тухлым, толкались в очереди то ли газосварщики, то ли каменщики, не уступая друг другу. Всего-то было человек пятнадцать, а подняли такую бучу, что казалось сейчас глаза друг другу выцарапают. Стоял мат-перемат в облачности пьяного дыханья. Пока длилась эта потасовка, Беляев поднял доску прилавка и быстро прошел в подсобку.

- Что у вас там происходит?! - ревизорским голосом сказал Беляев и тут же бросил на стол перед толстухой в плюшевом черном жакете, надетом поверх белого халата, "лиловенькую" бумажку: - Четыре штуки по пять двенадцать! - почти что приказал он и раскрыл портфель.

Толстуха протянула руку к ящику с водкой и по одной уложила в портфель четыре бутылки, затем выдвинула ящик стола и смахнула в него этот четвертак.

- Ни здравствуйте вам, ни до свиданья, - сказала толстуха, - ходят, как эти!

- Будешь, как этот! - огрызнулся Беляев и вышел.

Увидев грозного Беляева, продавщица крикнула в зал:

- Угомонитесь, черти!

Один тип в пластмассовой каске, проводив взглядом Беляева, крикнул, перекрывая голос продавщицы:

- Мент переодетый пошел! Тихо, а то наряд придет!

А Беляев в это время был уже в овощном отделе. Он купил квашеной капусты и килограмма три соленых огурцов.

Комаров стоял у машины и бросал снег в лобовое стекло, по которому скребли щетки, очищая его от грязи. Вся машина была черна от этой грязи. Чистый снег Комаров брал с карниза витрины магазина.

- Прыскалки не работают, - сказал Комаров, когда поехали.

От впереди идущих машин на стекло летели брызги и стекло быстро загрязнялось.

- Почему прыскалки не работают? - раздраженно спросил Беляев.

- Черт их знает, - сказал Комаров.

- Перед выездом надо машину готовить!

- Смотрел, - протянул Комаров, - но ничего не нашел. Там дырочки - с гулькин хвост. Засорились, наверно.

Стекло уже сплошь усеялось грязью. Ничего не было видно. Комаров поправлял очки, нагибался, выискивая щель, как танкист.

- Включи щетки!

- Они размажут все, хуже будет.

- Включи!

Комаров нехотя включил щетки. Они пошваркали грязь из стороны в сторону и словно покрасили стекло краской. Ничего совсем не стало видно.

- Я же говорил! - сказал Комаров.

Темнело. Зажглись фонари. Комаров осторожно, включив левый указатель поворота, остановился. Улица была с односторонним движением. Включив щетки, он выскочил из машины, нашел чистого снега и стал бросать на стекло. На нем быстро образовались два прозрачных веера.

Тронулись, но через километр стекло опять забрызгалось.

- Ну, ты и мастер! - психанул Беляев. - Тормози и открывай капот!

Комаров послушно исполнил приказание.

- Как у тебя действует система орошения? - спросил Беляев, заглядывая под капот.

- Там груша в салоне, жмешь на нее ногой, создается в бачке давление и по трубкам вода прыскает на стекло, - объяснил Комаров.

- Пневматическая?

- Пневматическая, - согласился Комаров, засовывая руки в карманы куртки. На голове Комарова была старая вельветовая, коричневая, кепка-шестиклинка с пуговкой. А вид у него был - ленивого школьника, который только перед учителем кое-как себя держит, а так бы - плюнул на все и ушел.

- Давай проволочку! - приказал Беляев.

- Где я тебе ее возьму?

- Где хочешь! - сказал Беляев. - Смотри в бардачке, в багажнике!

Комаров так же лениво, не вынимая рук из кармана, пошел в машину. Через минуту принес проволочку. Беляев просунул ее сначала в один канал прыскалки, затем в другой.

Комаров сел за руль, понажимал на грушу. Вода не лилась. Тогда Беляев посмотрел на полиэтиленовый бачок, есть ли в нем вода. Вода была. Он пошевелил подходящие к бачку резиновые шланги, затем снял с бачка крышку и обомлел.

- Голову тебе, Лева, нужно оторвать! Смотри!

Комаров, все еще держа руки в карманах, вернее, постоянно их туда засовывая, склонился, блеснув очками, к бачку. На дне лежал короткий шланг, трубочка, которая должна была быть надета на носик внутренней стороны крышки, чтобы вода под давлением воздуха шла через эту трубку в носик, из которого по длинным шлангам к прыскалкам.

Комаров виновато запустил пальцы в воду, достал трубочку... Сели в машину, тронулись. Вода всю брызгала на стекло, щетки дружно, вправо-влево, начищали веера прозрачности.

Оставив машину у подъезда, Беляев поднялся к квартире отца. Дверь была предусмотрительно не заперта. Как и ожидал Беляев, Заратустра крестом лежал на кровати и тихо стонал. В комнате был спертый воздух, и Беляев сразу же открыл форточку. В момент открывания форточки, взял себя в руки, отбросил мрачность и прочие волчьи замашки, весело запел вполголоса:

На Волге широкой, на стрелке далекой...

- Ко-оля, это-о ты-ы? - стонущим, срывающимся голосам спросил Заратустра, боясь пошевелиться.

Не отвечая, Беляев быстро разложил огурцы и капусту по тарелкам, налил пару рюмок водки и, прежде чем подносить отцу, чокнулся с его рюмкой и выпил сам, крякнув и с хрустом откусив половину крепкого пупырчатого огурца.

Он протянул рюмку отцу, глаза которого сразу же вспыхнули. Он попытался подняться, даже оторвал голову от подушки, но она так сильно задрожала, что отец бессильно уронил ее опять на подушку. Беляев, улыбаясь, обхватил отца, посадил, чувствуя, как содрогается все его тело, и подоткнул сзади подушкой. Руки отца ходили ходуном. Чтобы не пытаться судьбу, Беляев прижал к себе голову Заратустры, немного запрокинул ее и вылил водку в дрожащий рот. Сам же быстро сходил на кухню, отыскал какой-то таз и вернулся как раз вовремя, чтобы поймать этим тазом желчную струю из отцовского рта.

- У-у-у! - выл отец и, вибрируя всем телом, блевал желчью в таз.

Беляев вооружился полотенцем, вытирал рот отца. Затем принес граненый стакан и налил сразу в него две третьих объема. Взял тарелку с капустой и слил из нее рассол в рюмку. Вооружившись стаканом и рюмкой, подошел к отцу, локтем прижал его голову, чтобы не трепыхалась, и приставил стакан к его губам. Отец жадно и с омерзением выцедил все до донышка. Беляев быстро влил в рот рассол, от остроты которого отец даже всхлипнул.

Как бы вальсируя, Беляев пошел к столу, напевая:

Свиданье забыто, над книгой раскрытой...

Обратно, вальсируя, Беляев подошел к отцу с великолепным огурчиком. Отец с чувством, молча, принялся закусывать, а минут через десять подтягивал сыну:

Ой, летние ночи, буксиров гудочки...

Ровно через полчаса после прибытия Беляева Заратустра был одет, обут, руки не дрожали, глаза сияли, в зубах была сигаретка. Напевая, отец с сыном спустились к машине.

У самой машины дружно, на весь переулок, допели:

На Волге широкой, на стрелке далекой
Гудками кого-то зовет пароход.
Под городом Горьким, где ясные зорьки,
В рабочем поселке подруга живет...

Комаров ошалело смотрел на парочку, затем догадался выскочить из машины, открыть двери и усадить певцов на заднее сидение.

- Куда, шеф? - спросил Комаров, усевшись за руль.

- Рублевское шоссе!

Отец резко повернулся к сыну и застыл с широко открытыми глазами в позе непонимания. Еще мгновение до этого лицо отца было оживленно, с улыбкой на губах, а теперь эта улыбка, пойманная за хвостик, затвердела на вопрошающей ноте. Только пошло все в гору и вдруг - торможение! Затем отец пошевелился, улыбка спрятала хвостик, взгляд потух, и он сказал:

- Понял. Швартуемся в порту равноапостольных истин. Буду слабым и нищим, пусть мне подадут и сострадают сильные.

Отец откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Поза эта словно говорила о том, что он не хочет возвращаться из сферы веселья в сферу томления духа.

Почесав затылок, Комаров включил приемник и стал крутить ручку настройки. Беляев вдруг услышал обрывок голоса диктора: "...рил Заратустра", но Комаров крутил дальше.

- Верни Заратустру! - сказал Беляев с тревогой в голосе, как будто кто-то специально подсмотрел за ним и отцом и дал в эфир что-то такое про Заратустру.

Комаров послушно восстановил низкий мужской голос в приемнике.

- ...лько слов о симфонической поэме Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра", - говорил диктор. - Это единственное в своем роде произведение не только в творчестве Рихарда Штрауса, но и во всей истории музыки. Впервые философское сочинение стало объектом музыкальной интерпретации...

- О! Что говорил Заратустра?! - вдруг закричал отец.

- Да подожди ты! - осадил его Беляев.

- Обращение к "Заратустре" было, вероятно, притягательным для композитора в силу новизны и оригинальности музыкальных задач. Подобный замысел способен был отразить и характерные тенденции в настроениях немецкой интеллигенции. Интерпретируя Ницше на свой лад, Штраус постарался придать ряду отвлеченных и иносказательных образов вполне реальный, земной характер, что послужило только на пользу музыке...

Комаров проскочил мимо ресторана "Прага" и помчался по Калининскому проспекту.

Пошел снег.

Нью-йоркский симфонический оркестр заиграл.

Из тишины вдруг вырвались пронзительные, предупреждающие о конце вечности трубы. Их дикий, какой-то звериный выкрик так потряс Беляева, что он похолодел и дыхание перехватило. Призывные голоса труб завораживали на фоне гулкого баса.

Дикие нью-йоркские небоскребы, шагнувшие в Москву, на Калининский проспект, глядели сквозь снеговую завесу звериными светящимися очами. И казалось, что вопли труб идут изо всех окон и дверей, придавая какую-то невыносимую торжественность искусственным сооружениям города посреди доисторической темной природы, оклик которой проклевывался сквозь нарастающий гром барабана в минорном аккорде всего оркестра.

Беляев взглянул на отца. Отец смотрел, не мигая, в потолок машины, и на глазах его от дивной музыки показались слезы, поблескивающие в полумраке, как росинки в лунном холодном свете.

После паузы вступили скрипки и виолончели.

Умиленный великой музыкой, Заратустра тихо, чтобы музыка была слышнее его пьяного голоса, сказал:

- Я спустился с горы я увидел в лесу отшельника. Я спросил у него, что он делает, и он ответил мне, что возносит молитву Богу. Я был поражен. Этот старик не знает, что Бог *мертв*.

- Бог "*мертв*"? - спросил Беляев.

- Бог не просто *мертв*, Бог - разложившийся труп, - вторя скрипкам и виолончелям, в которые уже вмешивались потихоньку духовые, медные и деревянные, сказал мелодично Заратустра. - И я тому свидетель. Ни помощи, ни поддержки, ни утешения я не получал от него. Поэтому я плюю всем богам в лицо, особенно тем, которых придумали евреи, эти тараканы цивилизации, которые ползут только туда, где есть чем поживиться.

Тема отца звучала тихо, робко - у виолончелей и контрабасов пиццикато. Засурдиненные валторны как бы напоминали о людском помрачении в религии.

- Я говорю вам, не верьте презирающим жизнь на словах, а на деле хватающим из нее все, что попадется под руку. Не верьте им с Христами и Буддами, они придумали их, чтобы сделать вас слабыми, чтобы вы поверили в то, что к вам кто-то придет и подаст. На словах вам это скажут, а на деле подойдут и ткнут еще ногой, чтобы вы поскорее свалились в пропасть!

Пронзительные скрипки славили человека, плюнувшего в лицо Богу. Бог умер сразу же, как только появился отец-хулигатель, бесстрашный человек, лишенный предрассудков. - Бог есть у того, кто хочет иметь Бога. Бога хочет иметь неудачник. Имеющий Бога - слаб. Место Богу - на кладбище, в больнице и в инвалидном доме. Когда-то душа была шестеркой у намалеванного на стенах храмов Бога, душа - гонительница тела, - говорил отец умиленно и уверенно, укладывая свою речь в такт музыке, овладев кантиленой, - душа - это жалкое ничто, смотрела на тело с презрением, так я, пьяный, бессильный, смотрю на работающего человека с презрением, о, будь проклята душа, которая умерла вместе с Богом и хулигателями Бога. Сама душа была кровожадной, истязала тело, хотела, чтобы оно было тощим и постоянно голодным. Но на самом деле она, несуществующая, хотела сделать несуществующим тело. Миллионы тел должны были по замыслу Бога подохнуть, чтобы расчистить, - говорил Заратустра, - земные просторы для евреев, не имеющих ничего против сильного тела... своего и прелюбодеяний с обрезанием...

Комаров сидел весь внимание, пытаясь под симфоническую, нелюбимую, музыку постичь бред отца Беляева.

- Что говорил Заратустра?! - вдруг дико завизжал отец, так что не подготовленный для этого Комаров, втянул голову в плечи, но как профессиональный шофер не изменил параметров работы машины.

- Альзо шпрах? (*Так говорил? /нем./*) - откликнулся Беляев.

- Их бин хойте Заратустра! (*Я сегодня Заратустра! /нем./*) - вопил отец. Но вдруг контрапунктально тихо прошептал: - Срочно налей!

Беляев тут же извлек из портфеля джентльменский набор боборца и богохульника: стакан, бутылку и огурец.

Лишь только легкий звон горлышка о граненый стакан нарушил девственную красоту скрипичной темы.

- Нох айн маль! (*Еще один раз! /нем./*) - прошептал отец и выпил.

Глава XXIV

Пожаров, Комаров и Беляев закрылись в комнате на ключ. Беляев просил Лизу не беспокоить их, потому что у них очень важное дело.

У Комарова за плечами был рюкзак, принявший квадратную форму от коробки, помещенной в него.

Пожаров бросил шапку на диван, туда же полетели шарф и дубленка. Он потер руки и стянул с плеч Комарова рюкзак. Пока Беляев и Комаров раздевались и столь же небрежно бросали одежду на диван, хотя вполне могли бы раздеться в прихожей, как положено, но излишняя поспешность не позволила им это сделать, Пожаров расстегивал кожаные ремешки рюкзака и развязывал узел веревки.

Беляев подошел к окнам и плотно задвинул занавески, словно кто-то мог заглядывать в эти окна с соседней крыши, белой от снега, обильно валившего весь божий день.

Пожаров осторожно вытащил коробку из рюкзака и бережно передал ее Беляеву, который поставил коробку на стол и раскрыл клапаны, которые были закрыты лепесток под лепесток. Комаров дышал ему в затылок, Пожаров нависал над столом с другой стороны.

Коробка была набита деньгами, но не теми, которые любил Беляев, а сплошь тройками и пятерками, даже рубли желтели в море зелени и голубизны, как первые одуванчики на траве при голубом небосводе.

- Ну и Шарц! - прогудел Пожаров. - Наверно, на вокзалах побирался. Где он столько набрал этой рвани!

- Все затертые какие-то бумажки, - сказал Комаров, хватая трешку и глядя через нее на свет.

- Итак, - сказал Беляев и, мрачно взглянув на Комарова, выхватил у него трояк и бросил в коробку. - Комаров считает... рубли, Пожаров - тройки, а я - пятерки.

Беляев стал быстро раскидывать деньги на большом столе в три кучи: рубли к рублям, трешки к трешкам, пятерки к пятеркам. Комаров сгребал порученные ему рубли в охапку и переносил их в кресло, где решил разместиться для счета. Пожаров сдвинул одежду на край дивана и бросал трешки на него. Руки Беляева сновали как у опытного картежника, глаза горели, как, впрочем, они горели у Пожарова и Комарова.

Беляев ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, Комаров стянул через голову свитер, Пожаров сбросил с плеч потертый замшевый пиджак.

- Целый год собирал! - воскликнул Пожаров.

- Пятый пункт и не то заставит делать! - сказал бодро Беляев, не давая себе передышки - мятые деньги так и разлетались по кучам из коробки.

Вдруг Комаров прямо на лету поймал трешку, планировавшую в его рублевую кучу.

- Этого нам не надо! - крикнул он, переправляя ее Пожарову.

- Ас виду - жалкий профессоришка, - сказал Пожаров, бегая глазами от коробки к своей куче и обратно.

- Скребнев меня чуть не повесил, когда я ему сказал, что нашел Шарца. Сказал, что нам своих жидов неизвестно куда девать, а я ему еще одного ташу. Говорю, если хочешь русского бесплатно, пожалуйста. Нет, говорит, бесплатно даже мухи не летают.

Комаров на мгновение оторвал глаза от своей кучи, поправил очки в позолоченной оправе и спросил:

- А кто мухам платит?

- Мухам платит бляха! - захохотал Беляев.

Пожаров достал расческу, причесал свои темные, поредевшие, с проседью волосы, главным образом он это сделал по привычке, чем по необходимости. Время от времени Пожаров бросал взгляд на книжные полки и стеллажи, прочитывая названия и авторов по корешкам, а затем вновь с выражением особого, напряженного внимания следил за сортировкой.

- Профессор, а сидел на полставке. Понятно, докторской не было, дали профессора по совокупности...

- Или заплатил, - вставил Комаров, равнодушно уже взирая на деньги, и чувство первоначальной алчности испарилось из его глаз начисто.

- Скорее всего, - сказал Пожаров.

- Как же ты его все же расколол? - спросил Комаров.

- Я и не колол. Чего тут колоть! Спрашивал у всех, не хочет ли кто занять должность завкафедрой. Ну, какой дурак откажется. Все соглашались. А я им говорю, что, мол, одно условие есть. А условие, ясно, не выдавал. В общем, элементарно, как в букваре.

Комаров сгреб очередную кучу и перенес ее в кресло, после чего несколько размялся, помахав руками, нагибаясь к полу, отчего выбилась сзади из брюк рубашка.

- Три бутылки выдул на Новый год, - сказал вдруг Комаров. - Светка сначала к соседке вышла после двенадцати, ну я махнул стакан сразу. А под гуся, сами знаете, как слону дробинка. Пришла, я с ней тост маханул еще раз за ушедший семьдесят шестой, год тридцатилетия. Светка уткнулась в телик да и заснула. Ну я потихому выдул еще пару бутылок...

- Врешь! - засмеялся басом Пожаров. - Чтоб махом столько выпивахом? Смерть починаху быти!

- Слушай, Толя, гадом буду, чтоб я скурвился, три пузыря засадил. Сам себе не верю. И утром не похмелялся. Закусывал, как Александр Македонский. Так голова поболела утром немножко - и все! Пошел со своими в лесочек погулял, потом пришел, Светка обедом накормила, я книгу в зубы и на диван. Десять строчек прочитал и захрапел! Блаженство!

- Это он, - кивнул Беляев на Комарова, - характер выковыывает!

- Да таких, как я, раз, два и обчелся!

- Это точно! - пробасил Пожаров. - Я больше трехсот грамм перестал употреблять. Я со своей махнул бутылку шампанского и бу-

тылку коньяка. Я себя изучил, как больше трехсот граммов засажу, так наутро башка раскалывается.

- Вот уж липа! - воскликнул Беляев. - Не может у тебя после трехсот граммов болеть голова!

- Коля, я тебе говорю!

- Значит, у тебя давление, - сказал Беляев, беспрестанно раскidyвая из коробки бумажки: синие, зеленые и желтые.

- Слушай, откуда у тебя "Шарп"? - вдруг спросил Пожаров, разглядывая на одной из средних полок между книгами двухкассетник.

- Взял по случаю, - неопределенно ответил Беляев, не собираясь рассказывать, что это мать прислала из Парижа.

- В комке? - спросил Пожаров.

- В комке, - чтобы отвязаться, кивнул Беляев.

- Ты же был убежденный противник всякой радиотехники, - сказал Пожаров, перенося очередную кучу трешек на диван.

- Ты тоже был противником женитьбы, однако повесил себе хомут на шею и дочку родил! - проговорил Беляев и собственный голос, как иногда бывало с ним, показался ему ехидным и придиричивым.

На Беляева вдруг накатила мрачная волна, он с тревогой посмотрел сначала на Пожарова, потом на Комарова и подумал о том, что наверняка они ему подложат какие-нибудь гадости в дальнейшем, потому что нельзя было с ними сблизиться в этом деле, а он сблизился. Может, он уже свихнулся на доверии к ним? Конечно, с виду было все как надо: и Комаров, и Пожаров были с ним заодно, но... Очевидно, он уже начал терять бдительность, когда погнался за этими пятьюдесятью тысячами Шарца за должность заведующего кафедрой. Конечно, и Скребнев хорош, позарился на двадцать тысяч! За эту двадцатку готов был не только Шарца, но и саму Голду Мейер посадить на кафедру. И черт дернул Беляева пообещать Скребневу двадцать тысяч! Но, с другой стороны, за червонец вряд ли бы Скребнев взял Шарца. За червонец можно было бы и русского найти. Стоило только поискать. Афик готов был за сотню прикатить в Москву! Та еще публика! Деньги мешками таскают! Если память Беляеву не изменяет, Афик именно в мешке принес ему деньги за "Волгу" - "сарай", правда, в полиэтиленовом. Впрочем, это закрытая тема.

- Включи маг, - исключительно от скуки однообразной работы попросил Комаров.

Беляев подошел к стеллажу, нажал клавиши “Шарпа”. Среди тишины комнаты пропели призывно трубы, ударил барабан, подтянул орган, полились звуки скрипки и виолончели.

- Ну вот, завел! - огорчительно произнес Комаров.

- Что это? - спросил, прислушиваясь, Пожаров.

Комаров опередил Беляева:

- Какая-то капуста!

- Эх, неуч! Сам ты капуста. Это Рихард Штраус “Так говорил Заратустра”!

- Понятно, - сказал Пожаров, внимательно прислушиваясь к свободолюбивой музыке. - Сбросим всех богов, и сами станем богами?

Беляев промолчал, продолжая раскладывать деньги по кучам.

- Господи, да будет ли им когда-нибудь конец?! - взмолился Комаров, относя очередную партию рублей в кресло.

- Будет! - твердо сказал Беляев.

- Вон, еще почти что полкоробки!

- Разгребем, - сказал Пожаров, отошел от стола, сел на диван и стал внимательно слушать музыку. - Хорошо звучит, - через минуту сказал он, с некоторой завистью глядя на “Шарп”.

- Да, звук хороший, - сказал Беляев.

- Заведи чего-нибудь наше! - попросил Комаров.

- Что “наше”?

- “Битлов”, Высоцкого, - сказал Комаров.

- Не держим, - сказал Беляев. - “Битлы”, Высоцкий это не “наше” теперь, - торопливо добавил он. - “Наше” теперь это! - кивнул он на кассетник - Привыкай!

Комаров почесал лоб, склонил голову набок, как голубок.

- По-моему, я где-то эту симфонию уже слышал...

На Беляева накатила какая-то грусть.

- Не мог ты этого слышать никогда! - сказал Беляев, потому что наши оркестры “Заратустру” Штрауса не играют!

- Значит, перепутал, - согласился Комаров безобидно.

- Угу, - промычал Беляев, ускоряя темп раскидки купюр.

Коробка пустела.

- Вообще, Ницше потрясающей смелости человек! - сказал Пожаров и спросил: - Коля, у тебя курить можно?

- Нет!

Пожаров огорченно вздохнул, понес деньги к дивану и сказал:

- Ладно, перетерпим!

Наконец коробка опустела. Беляев внимательно осмотрел ее и убрал со стола. И сам без остановки стал быстро пересчитывать пятирублевые бумажки. Отсчитав первые сто пятирублевок, сходил к письменному столу и достал из ящика черные аптечные резинки.

- Это ж сколько резинок понадобится? Беляев в уме что-то прикинул, затем сказал:

- Примерно, двести...

Комаров как-то нервно рассмеялся.

- Резинок не хватит, - сказал он.

- Хватит, - успокоил его Беляев. - Полный ящик! Все предусмотрено заранее. Идем по расписанию.

- Пока прокурор не остановит! - пошутил как обычно Пожаров голосом дьякона.

Комаров оживился и неожиданно сказал:

- Вспомнил! Когда отца твоего возили в больницу, слышал этого Заратустру по приемнику!

- Может быть, - сказал Беляев, не желая развивать тему отца, и прикрикнул на Комарова: - Считай в темпе! Сегодня еще кое-что нужно обменять!

Комаров приставил стул к креслу, сел на этот стул и стал пересчитывать рубли. После пятой пачки он сказал:

- Опухнуть можно! Это ты так быстро считаешь, Коля, а у меня так не получается.

- Получится, не отвлекайся!

- Выруби музыку, я сбиваюсь! - сказал Комаров, шмыгая носом и обиженно глядя на Беляева сквозь поблескивающие стекла очков.

Беляев обхватил резинкой десятую пачку пятерок, сходил к стеллажу и выключил магнитофон. Наступила тишина, лишь шелестели бумажки в руках добровольных кассиров-инкассаторов.

Шевелились губы, нашептывая: "восемьдесят восемь, восемьдесят девять..."; "семнадцать, восемнадцать..."; "тридцать три, тридцать четыре...". Разговоры были невозможны, ни о чем другом, кроме счета, думать было нельзя, иначе сразу же сбивались, а сбиваться и начинать пересчитывать начатую пачку заново было неохота. В маниакальной сосредоточенности головы были склонены к денежным кучам, откуда отбирались одна к другой, по ри-

сунку, бумажки, складывались в пачки, пересчитывались и на цифре “сто” обжимались резинкой. У Беляева каждая пачка равнялась пятистам рублям, у Пожарова - трехстам, у Комарова - ста.

Только теперь Комаров понял, что у него самый минимальный удельный вес.

- Сколько рублей должно быть? - спросил он, запаковав очередную пачку.

Не глядя на него, Беляев цыкнул, чтобы тот молчал до окончания счета начатой Беляевым пачки. Закончив восемьдесят третью пачку, Беляев сказал, заглянув в шпаргалку, которую, при встрече, сунул ему Шарц:

- Рублевых должно быть восемьдесят пачек, столько же трояков, моих - тридцать шесть. Как раз полтинник получается...

- Э, себе меньше взял! - с ехидством бросил Комаров.

- Ты работай! С каждой пачки имеет десять процентов и еще рассуждает.

- Ты же восемьсот обещал! - воскликнул Комаров, не сообразив сразу, что десять процентов от рублевых пачек и составит эти восемьсот. Потом, видимо, смекнул и быстро продолжил работу.

Пожаров, казалось, весь ушел в дело. Он перевалил уже за сорок пачек, ухитряясь некоторые составлять за тридцать секунд. Беляев же одну махнул за рекордные пятнадцать секунд. С этой целью на столе перед ним лежали наручные часы, которые он снял, с секундной стрелкой. Но все равно работа заняла без малого три часа. Теперь предстояло обменять сорок пачек пятирублевых на сто или пятидесятирублевки, чтобы отвезти Скребневу. В худшем случае могли быть двадцатипятирублевки.

- Ну, Шарц! - воскликнул Пожаров, разминая уставшие пальцы. - До копейки точен, собака!

Беляев молча стал складывать пачки в коробку. Сначала пошли рублевые. У Комарова вновь засветились глаза. Желтые “рз” легли двумя рядами на дно коробки: сорок на сорок. Беляев полностью закрыл ряд, подумал с минуту, и затем восемь пачек поднял и передал Комарову; тот заулыбался, благодаря. То же произошло с трояками: восемь пачек, то есть десять процентов от двадцати четырех тысяч, получил Пожаров. *СОРОК* пачек пятирублевых сунули в полиэтиленовый пакет. Затем прибрались в комнате и пошли на кухню перекусить. Ели стоя, наспех, колбасу с хлебом, запивая чуть теплым чаем. Под ногами вертелись дети Беля-

ева, но на них, в азарте, никто внимания не обращал. Лиза вошла на минуту с Юрой, десятимесячным, на руках, чтобы показать его, все сделали вид, что обрадовались, но тут же заспешили в комнату, оделись, прихватили вещи и бросились вниз, к машине.

На улице было темно, горели окна и фонари, и из одного окна летела песня Высоцкого:

Дай рубля, прибью а то,
Я добытчик, али кто?
А не дашь, тогда пропью долото!

- Здорово! - воскликнул Комаров, прислушиваясь. - Долото пропьет... Здорово! Надо же придумал: пропью, говорит, долото! Это уж, значит, все пропито, одна работа осталась, но и ей, из-за вшивого рубля, наступит крышка... Долото пропьет! Лихо! - закончил восторг Комаров, заводя машину. Но мотор сразу не хотел схватывать.

- Замерзла, собака! - воскликнул заметно повеселевший Комаров.

- Давай, крутану, - сказал Пожаров.

- А чего? Крутани, - согласился Комаров, извлекая из-под сиденья заводную ручку.

После того как Пожаров энергично сделал несколько оборотов коленчатого вала, машина сразу же завелась и через минуту в салон пошел теплый воздух от печки.

- Трапезия ни к черту! - сказал Комаров. - Вообще, все рулевое нужно перебирать. В теплый бы гараж заехать.

- Заедем! - сказал Беляев. - Тормози у первой сберкассы!

Беляев сунул Пожарову шесть пачек пятирублевок. Пожаров отправился на разведку один. Минут через десять вышел довольный - операция удалась, выдали "стольниками", тридцать штук. Дело пошло. После нескольких сберкасс и касс магазинов, когда оставалось десять пачек пятирублевок, Беляев сходил сам и силой убеждения обменял в один присест у симпатичной девушки пять тысяч.

- В Гагры еду отдыхать! - для пущей важности сказал Беляев.

В машине было тепло и уютно. Но Беляев уловил некоторое изменение в поведении Комарова и Пожарова. По всей видимости, в его отсутствие они успели перемолвиться.

Первым начал Пожаров:

- Старик, у меня гарнитур на подходе...
- Ну и что?! - сразу же насторожился Беляев.
- Что-что "что"? Мало чего-то ты мне дал.
- Ма-ало?! - растянул Беляев. - А я считаю, что много. Хорошо, ты нашел покупателя. Ну и что? Ты место нашел ему?
- Я не спорю... Но ты, посмотри, сколько ты себе наварил, и сколько нам дал?

- Себе ты лихо наварил! - поддержал Пожарова Комаров.

Беляев не стал разглагольствовать, он решил пойти обходным путем. Он сказал:

- Опять, друзья, начался счет чужих денег! Опять коммунизм вам покоя не дает! Почему вы смотрите в чужой карман, а?! А вы знаете, сколько мне еще отваливать ректору, проректору и в конкурсную комиссию?

Ребята поутихли. Подействовали слова Беляева, хотя никому, кроме Скребнева, он ничего не обещал и не был должен. Но он уже завелся.

- Да у меня только семь двести останется! Тройной коэффициент. У Комарова - восемьсот. Умножаем на три - две четыреста. Еще - на три - семь двести... Да и - накладные расходы! Вот и все дела несчастного христианина!

- Чего-то ты не договариваешь, - вдруг осмелился сказать Комаров, глядя на Беляева непроницаемым взглядом.

Беляев вдруг зевнул, не открывая рта, подрагивали лишь ноздри.

Комаров еще некоторое время смотрел на него, но Беляев молчал, и Комаров понял, что на этом беседа на финансовые темы исчерпана. Для молчания Беляеву хватало упрямства. Для дальнейших расспросов Комарову такого упрямства не доставало. Пожаров в этой ситуации оказался нейтралом.

Он сказал:

- Хотелось бы сходить в Большой на балет. Помолчали.
- Чего ты там забыл? - спросил Комаров.
- Изящество, - сказал Пожаров. Комаров тронул машину.
- Я не люблю балет, - сказал он.
- А что ты любишь? - спросил Пожаров. Беляев вновь зевнул, но уже с открытым ртом.
- Футбол, - сказал Комаров.

- Я тоже люблю футбол, - сказал Пожаров. - Но я люблю и балет.

- Нет, балет я не люблю.

- Тебя никто не заставляет его любить.

- Все равно меня никто не заставит любить балет.

- Для этого нужно созреть, - сказал Пожаров.

- Значит, я никогда не созрею, - сказал Комаров.

Беляев сидел на переднем сиденье прямо и весьма сурово смотрел вперед, поджав губы. Ему хотелось подключиться к разговору, но он упрямо молчал, наказывая этим молчанием друзей, как бы становясь, как он считал, выше них.

- А ты хоть раз был на живом балете? - спросил Пожаров.

- Нет, и не буду. Пожаров вздохнул.

- Коля, а ты как относишься к балету? - спросил он у Беляева.

Беляев молчал. Подождав некоторое время, Пожаров протянул:

- Да-а... короткое замыкание! Тут хочешь приобщить их к прекрасному, а они как бараны... А хорошо сходить в балет! Побриться, надеть выходной костюм с галстуком, прийти в Большой... Ярусы, партер, золото, люстра! Прекрасно. Зрители приподняты, нарядно одеты, от женщин терпко пахнет духами... Свет гаснет. Оркестр пробует струны, занавес, освещенный рампой, волнуется... Нет, ничего вы, ребята, не понимаете...

На сей раз и Комаров не отозвался, он только хмыкнул и прибавил скорости машине. Пожаров возвел глаза к потолку и задумался. Беляев сидел все так же прямо и смотрел вперед.

- Ты чего, обиделся? - вдруг спросил у него Комаров.

Беляев молчал, просто-таки дал себе обет молчания, решил ни слова с ними не проронить, и уйти, не попрощавшись.

Так он решил! Круче с ними, круче, обрывать всяческие поползновения в казну!

- А я бы съел сейчас килограмм сыру! - ни с того ни с сего сказал Комаров. Пожаров сказал:

- Вот она вся твоя сущность, Лева!

- А что? Вот хочу сыру килограмм! Знаешь, мечтаешь иногда так, а придешь домой, суп там, картошка, а на сыр сил не хватает! А сейчас специально ничего есть не буду, кроме сыра. Специально заеду в молочный, куплю полголовы сыра, принесу домой и буду есть. Без хлеба. Возьму длинный нож, нарежу себе ноздрева-

тых ломтей и буду есть. Ничего больше из еды трогать не буду. Зверски хочу сыра! Швейцарского! Он немножко твердоват, и когда его нарежешь, то испарина на ломтиках появляется. Великолепный, жирный сыр, и ноздреватость у него такая... крупная...

Пожаров сравнительно мягко заметил:

- Обьешься и впредь на сыр смотреть не сможешь. Так я на яйца смотреть не могу, объелся в детстве, и когда кто-то мне предлагает съесть яйцо или при мне готовит эти яйца, то меня чуть не тошнит...

- Останови машину! - сказал со злобой Беляев. Комаров послушно перестроился и подъехал к тротуару.

Беляев вышел, ни слова не говоря, сильно хлопнув дверью.

Глава XXV

25 декабря 1978 года Беляев купил елку. Событие достойное быть отмеченным в анналах частной истории: тридцать вторая елка Беляева с момента появления его на свет.

Лиза - тридцать вторая елка.

Коля - одиннадцатая.

Саша - восьмая.

Миша - шестая.

Юра - вторая.

Отец - пятьдесят седьмая елка...

Мать прислала из Парижа открытку. У нее была пятьдесят пятая елка. Герман Донатович напечатал какой-то отрывочек из своей работы в "Русской мысли". Беляев бегло просмотрел ксерокопию этого кусочка, куда-то сунул его и забыл о нем. Ничего нового в кусочке не было.

Зато новым был Заратустра: год не пил. У него появилась какая-то жажда чтения. Он щелкал книги как орехи. Беляев приносил все новые и новые книги, в основном, изданные на Западе.

- Послушай, - сказал отец и надел очки. - Я вывел новую формулу творчества.

- По-моему, вы свихнулись на новизне, - сказал Беляев.

- Кто это "вы"?

- Да этот, Герман, там в Париже тоже озабочен новизной...

- Плевать я хотел на всяких там германов! Я говорю о себе.

- Ну-ну...

Отец снял очки, встал из-за стола и заходил из угла в угол. Через некоторое время он воскликнул:

- Крыса вылезла из норы со стаканом и с книгой Чехова! Уселась эдак на порожке и выпила стакан!

Беляев усмехнулся, представив крысу со стаканом, да еще с книгой.

- Крыса сказала: "Запойный писатель Чехов!"

- Чехов не пил.

- Не перебивай Заратустру! Писать нужно запойно! Крыса это поняла. Сначала появляется предчувствие. Идешь себе по улице, снежок сыплет и солнце светит. Один край неба темный, со снегом, другой - чистый, голубой, с солнцем. А у тебя на душе предчувствие, такое легкое, поэтичное: а не выпить ли рюмку? Знаешь, ведь, все наперед, что будет, а предчувствие томит душу. Знаешь, что будет начало, будет процесс, будет конец и будет выход, а тормознуть себя не можешь. Крыса свидетельствует!

- Фу! Почему крыса?

- Да потому, что я увидел крысу!

- А слона ты не мог увидеть?

- Мог бы, но не увидел. Я увидел крысу, причем довольно симпатичную. Повторяю: со стаканом и с книгой. Чехова.

- Чехов и стакан - вещи несовместные!

- Совместные, если хорошенько подумать... Крыса сидела на порожке норы и листала книгу Чехова. А в этой книге - весь Чехов. Ну, шрифт там был такой мелкий, что только крыса своими маленькими глазами могла его разобрать. В одном томе весь Чехов. Бумага тонкая-претонкая, как в Библии... Сидит крыса на порожке, читает Чехова и говорит: "Запойный писатель Чехов!" Все в нем есть: и предчувствие, и начало, и процесс, и конец, и выход. Вы-ыход! Ты понимаешь! Это же самое невозможное! На выходе-то все и рушатся! Не могут выйти сами! Я раньше сам выходил, а ты вот меня толкнул вовне. Я уже падение. Сам должен выходить! Если сам выходишь, то ты пьяница. А если не можешь сам, то алкоголик! Смекнул, в чем разница? Запой - это акт творческий. С полным циклом: предчувствие, начало, процесс, конец, выход. Алкоголик тонет в самом процессе. Не дотягивает ни до конца, ни до выхода. Его нужно силой выводить. А это уже не творческий акт. Пробиться в запредельность позволяет только запой. А вся клас-

сическая литература - запредельная литература, и, стало быть, запойная! Вот, что я хочу сказать. Причем, я это вывел не каким-то там логическим путем. Ты знаешь, логику я презираю. Логика - наука для заземленных алкоголиков. Таким образом, все люди делятся на пьяниц и алкоголиков. Пьяниц - единицы, алкоголиков - все оставшееся население. Я, разумеется, выражаюсь фигурально, образно, так сказать. Я вообще все вижу в образах. Вдруг увидел эту крысу, вылезавшую из норы со стаканом и с книгой. Даже золотое тиснение на книге увидел и прочитал: "А. П. Чехов"! И серебристую шерсть на крысе увидел, и усики, и зубки, и всю остроносую мордочку, и лапки с коготками! Вот как! А не просто словами помыслил. Я тебе скажу, что я не умею мыслить словами. Слова как-то пропадают. У меня все идет в картинках, цветных. И сам я там, в этих картинках. Иногда вижу самого себя со стороны. И слова слышу, которые сам произношу. И запахи ощущаю, и вкусы различаю...

- Одним словом, бред, - сказал Беляев.

- Вот-вот, но в бред могут выйти единицы! У бреда свои законы.

- У бреда нет законов, потому он и называется бредом.

- Э, тут ты ошибаешься. После начала идет процесс. И куда он ведет? В запредельность. Ну, можно сказать, в бред. Бывает бред закрытый, это когда ты один ему свидетель. Ты в бреду, и бред с тобой, в тебе. Без свидетелей. Ты ходишь, видишь, что я лежу пьяный на диване. И все! Больше ты ничего не видишь. Тебе неприятно лицезреть меня. Кто я? Для тебя - кто я? Пьяная свинья в лучшем случае. Скотина. А тебя для меня нет. Ты - из другой реальности. Я лежу крестом на диване, но меня нет. Я с крысой читаю Чехова! Я сначала ее испугался, а потом, ничего, разговорился. И как точно она все формулировала. Запойно, говорит, писать нужно! Это ж значит писать, как быть в бреду. Не быть здесь, но быть там. Быть, как вот с тобой сейчас. Все в полном порядке: ты здесь - живой, а там - крыса живая. Когда я ее погладил, то ощутил тепло ее тела своими пальцами. Живая - никаких сомнений. Полная реальность, не эта - другая. Вот что такое запой. Со всеми чувствами своими, со всю жизнь своей ты переходишь в другую жизнь, в запредельность. Высшая степень таланта - попасть в запредельность без вина. Все как в запое, но без самого питья. Особое состояние психики. Тут логикой ничего не добьешься. Были

такие мастера, которые гениальность хотели купить логикой. Пустая трата времени. Все белыми нитками шито! Пример? Щедрин. Дикой бездарности человек. Дичайшей. Газетный фельетонист. Логист.

- Это ты слишком, - сказал Беляев. - Салтыков-Щедрин хороший писатель...

- Что-о? Хороший писатель? Ха-ха-ха!

- Он весь наш маразм изобразил...

- А вот тут-то ты его сам ниспроверг. Почему? Да потому что Щедрин как раз и не умел изображать. Нет у него картин, не запойно он писал. Для него запредельность неведома. У него здешняя сатира. Здешняя. Все строит на логике и на этом самом... как его... подтексте. Мол, высмею этого, похочу над тем. Вот тебе и весь Щедрин. Щедрин - это сатирический Чернышевский. Обличители! Все это мертво! Было - сиюминутно. Для таких же, как они, интересно. Хватали - читали.

- А я считаю, что литература должна быть политически оппозиционной властям.

- Серьезно? Вот это да! Не думал, что ты так примитивно мыслишь, не думал. А кому оппозиционной "Вий"?! Коля, политики приходят и уходят, коммунизм начинается и кончается, а крыса со стаканом вечна! Образно говорю. Поэтому мне крыса сказала, что Чехов запойный писатель. Потому что никакой Щедрин в подметки Чехову не годится, никакой Солженицын не стоит "Палаты № 6"! Беляев даже привстал со стула.

- Ну ты даешь! Да Солженицын гениальнейший писатель! Это же... Да он...

- В бред он не выходит! Не выходит он в бред. Нет у него запредельности, кишка тонка. Это Чернышевский наших дней!

Беляев расхохотался от явного несогласия.

- Значит, у тебя получается, что только тот, кто выходит в бред и называется настоящим писателем?

- Точно так.

- Давай проверим?

- А чего тут проверять. Тут все ясно.

- А Пушкин? Где у него бред?

- Да, хотя бы, в "Пиковой даме"... А вообще, Пушкин - весь запредельность. Запойно писал... Ты не подменяй понятия. Бред в моем понимании, то есть в понимании запредельного человека,

вернее, человека, который проникал, попадал в запредельность, жил в запредельности, так вот, бред в моем понимании - это нечто другое, чем ты думаешь. Ко мне в комнату въезжал самосвал, и я его разгружал! Все это - закрытый бред, то есть, мой бред, никому не известный. А бред Пушкина - высочайший бред. Открытый нам бред. Вот тебе одна из тайн творчества. Начало, после предчувствия, процесс, конец и выход - открываются всем через знаковую систему! Нам известен запой "Пиковой дамы", "Евгения Онегина", Болдинской осени... Никакой логики, полнейшая свобода, запредельность!

- Ты не горячись. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, что эти вещи написаны на одном дыхании, на вдохновении...

- Не совсем так. Вдохновение без запредельности - это не то! Понимаешь, Щедрин тоже писал на каком-то вдохновении. Здесь именно нужен запой. От предчувствия - до выхода. Понимаешь, ведь читаешь Пушкина и часто слезы наворачиваются на глаза... Это как раз от той боли выхода, перед которым были глюки...

- Галлюцинации?

- Конечно! Не испытавший этого никогда не поймет смысла творчества. Никогда не отличит настоящего от подделки!

- Ты так говоришь, как будто сам что-нибудь написал.

Заратустра надел очки, подошел к столу и вытащил из ящика довольно толстую папку. Мимоходом взглянул на сына и развязал тесемки.

- Написал! - воскликнул он.

Беляев во все глаза уставился на папку. Но отец не спешил ее открывать. Он сел и положил локти на эту папку.

Под окнами остановились какие-то старухи, их не было видно, но отчетливо слышались их голоса. Одна громко говорила:

- Вербное воскресенье это от вербы... Вторая:

- Под Пасху, что ли, оно бывает? Вы в каком доме живете?

- В углевоке...

И ушли, и голоса исчезли.

Отец сказал:

- Никто не знает об этом прорыве в запредельность. Единицы. Гоголь - гений запредельности. Запойный писатель!

- Здесь я с тобой согласен. Гений Гоголь! Я очень люблю "Мертвые души", - сказал Беляев.

- Нам кажется, что мы управляем собою. Да, только кажется. Особенно этим остолопам непьющим. Я ненавижу непьющих людей. Это душевные кастраты. Они ничего не понимают. Веруют в реальность. А ее нет. Это обман, фикция, иллюзия. Вроде бы она есть, но ее нет. А Гоголь есть при полном своем отсутствии. Вот что значит запредельность. Ты посмотри, как он весь цикл проводит! И предчувствие, и начало, и процесс, и выход! Какая боль в выходе, как его корежит, как ломает, как тошнит и печень выворачивает, как горло перехватывает предынфарктное состояние, как затихает сердце, как дрожат руки и все тело! Гений! Он из запредельности выходит. С полным видением другого мира, но не закрытого, а открывающегося нам с гробами летающими, с носом гуляющим, с чертями, с Плюшкиными и Ноздревыми, с несущимся в русской тройке Чичиковым! И как они все интересны читателю! Как будто читатель сам впадает в запой: от предчувствия до выхода, до болезненного страдания.

- Иначе тогда писать было нельзя, - задумчиво вставил Беляев.

- Никогда нельзя писать иначе, кроме как запойно!

- Я имею в виду другое. Коммерцию, что ли. Все они: и Пушкин, и Гоголь, и особенно Достоевский знали, что, черт с тобой, без запредельности книгу не продать... Они и искали эту запредельность, эти летающие гробы, этих сумасшедших германнов, этих раскольниковых! Коммерция не позволяла писать уныло! Одни названия чего стоят! "Мертвые души"! "Идиот"! "Бесы"! Сами писали, сами печатали, сами продавали! Достоевский тираж "Бесов" из типографии к себе на квартиру привез. По объявлению приходили за книгой и спрашивали: "Здесь "Черти" продаются?"!

- А что ты думал, - поддержал Заратустра, - запой многого стоит! Такие муки испытать, такой восторг вместе с муками, такой перелет в запредельность, - и не продать задорого?! Дудки! О Достоевском уж не говорю - это великий мастер запоев. Как начнет пить, так до последней точки, до инквизиторов допивался, до мальчишка у Христа на елке!

Беляев взглянул на развязанную папку, спросил:

- Так что же ты сам написал?

Отец убрал локти с папки, но положил на нее кисти рук.

- Не торопи. К этому нужно подготовиться.

- Про крысу, что ли? - начал гадать Беляев.

- Нет, про крысу там нет ничего.

- Странно. Я думал, там будет действовать крыса.
- Почему ты так подумал?
- Потому что ты начал про крысу со стаканом...
- Запредельность, Коля, не значит сюрреализм! Сюрреализм слишком примитивен для запредельности. Сюр - это механическое, тутошнее искусство,

- Что-то я тебя перестаю понимать. Ведь, по-твоему, запредельность, - это "Вий", "Черный монах"... В общем - великий вымысел... Вымысел, который реален в пределах произведения... Рама, а в нее вставлена картина... "Бурлаки на Волге"... А лучше - Евангелия. То есть диалектика с чудесами... Можешь изменять жене, а можешь не изменять. Все равно простится после покаяния. Антилогичная логика в пределах запредельных Евангелий!

Отец тотчас отреагировал:

- Выход, выход есть в Евангелиях!

Беляев оживился. Подумав, сказал:

- О, я вижу прогресс в постижении библейских текстов! Ты же отвергал Христа...

- И сейчас отвергаю! Но не отвергаю текста. Текст-то они по всем моим тайнам творчества сделали! И предчувствие, и процесс, и конец, и выход! А каков выход? Великолепен! Улет! Вот тебе и еврейские космонавты. Я бы вместо Гагарина запулил туда какого-нибудь еврея! Пусть бы своего Яхве-Иегову поискали!

Беляев рассмеялся.

- А чего? Вместе с их ковчегом Божим запулил бы на корабле "Восток"! Для сверки, мол, библейских текстов. Устроил бы я им паралипоменон!

- Первую или вторую книгу?

- И первую, и вторую!

Беляев вновь рассмеялся и сказал:

- Заратустра, ты как Иов на гноище с Господом спорить!

- Я со всеми спорю. Ибо Заратустра не признает авторитетов! Никаких! Авторитет авторитарен, поэтому тоталитарен, и поэтому же соподчинен! Ловишь мысль мою? Лови! Библия - книга. Так? Так! Имеет форму - бумагу, переплет. Равна другим книгам! Содержание? Не соподчиняется. Равнозначно. Идеологизировано? Вот тут, братец, и пошло соподчинение. Для непьющих! Я же эту магию разгадал и не поддаюсь! Не попадаюсь в сети!

Заратустра энергично жестикулировал, и глаза его горели.

- Рассмотрим вариант номер один. На берегу реки в плохую погоду двое в трусах, черных, до колен, и в кирзовых сапогах. Мокрые, только что вылезли из воды, которая с них стекает струями. Рядом стоят корзины с раками. Эти двое ловили раков. И наловили. Небо пасмурное, темное, низкое. Берег рыжий, одна глина, она налипает к подошвам, ноги трудно оторвать от земли. Возникает вопрос: что они будут делать с этими раками?

Отец уставился на сына.

Беляев несколько растерялся и даже слегка побледнел.

- Варить? - спросил он.

- Рассматриваем вариант номер два. В одной из корзин сверху лежу я - живой, в тине, зеленоватый рак. Ты следишь за ходом мыслей? Итак, я - рак. Меня поймали и посадили в корзину. Меня могут сварить, отдать на корм свиньям, а могут и выбросить обратно в реку. Но моя рачья воля тут ничего не решает. Я вижу двоих гигантов - Богов - в трусах и кирзовых сапогах, но помочь себе ничем не могу. Хотя знаю, что эти в трусах - промежуточные Боги. По рачьему учению я знаю, что есть Боги и над этими промежуточными Богами. Возникает вопрос: кто же эти Боги? Или так, вернем в единственное число: кто этот Бог?

Беляев молчал, смотрел в пол.

- Этот Бог - я! Поэтому тут же рассматриваем третий вариант. Начальник лагеря капитан Артемьев - алкоголик. Морда всегда красная. Любит закусывать вареными раками. Вечером поставил сплетенные зэками из ивняка корзины с приманкой - тухлой бараниной, утром, после стакана, в трусах и кирзовых сапогах залез в реку и вытащил полные корзины с раками. Когда их вытащил, то один рак на глазах Артемьева вылез из корзины и превратился в человека в трусах и сапогах. Превратился в меня. Я стою рядом с Артемьевым, дрожу от холода и смотрю на корзину с раками, а Артемьев безумными глазами смотрит на меня. Потом, стуча зубами, спрашивает: "Беляев, ты что, в бега ударился?" Я отвечаю: "В какие такие бега?", когда он меня корзиной поймал. Артемьев не слушает, нагибается к куче своей формы, поднимает портулюю, из кобуры достает наган, толкает ногой корзину, раки расползаются, а он начинает стрелять по ним. После первого же выстрела я сам превратился в рака, и так как стоял близко к воде, сразу же и пополз к ней. Когда уже клешней коснулся воды, Артемьев оглянулся и крикнул: "Беляев, где ты?!" "Вот он я!" - сказал я, появляясь

из-за занавески с тазом вареных красных раков. Артемьев сунул наган в кобуру, а я в испуге увидел в полу несколько дырок от пуль...

Беляев поежился и спросил:

- Это на самом деле было?

- А я откуда знаю? Мы неделю с Артемьевым пили! Сами ли мы ловили раков, или кто принес - ничего неизвестно. Но я помню, что вроде бы мы в реку с ним лазали... Однако дырки от пуль - полнейшая реальность. Артемьев сказал, что раки поползли по полу и он их "того"!

Беляев каким-то странным голосом спросил:

- Какова доля перехода твоего сознания в мое?

Отец остановился и удивленно воззрился на сына.

- Не понял, - сказал отец и закурил.

- Я хочу понять, перешло ли твое подсознание в меня по наследству... То есть, переходит ли по наследству впечатление от жизни?

- Если я прорвался в запредельность, то, видимо, эта запредельность и есть генетический код, который существует помимо нашей воли. Этот иномир, в который входит и управление нашим развитием, и не только физиологическим, несомненно, передается из рода в род.

- Это я и хотел услышать, - сказал со вздохом Беляев.

Отец задумчиво выпустил струйку дыма.

- А вот тебе эпилог, - сказал он. - Конец Артемьева на третий день после его исчезновения. Артемьев был прямой, как бревно. Обледенел в своей длиннополой шинели и в сапогах. Отмщение эзков было элементарно: Артемьева поставили на бочку у стены, как памятник. Полчаса простоял. Но и этого достаточно. Потом уж конвоиры его сняли с постамента и унесли... Когда он исчез, была оттепель, за арматурным цехом Артемьев, пьяный в дым, споткнулся (так я предполагаю), упал в яму с водой и утонул. Ночью ударил мороз...

Отец побарабанил пальцами по папке с развязанными тесемками.

- При тебе он в раков стрелял? - все же спросил Беляев.

Отец вдруг с какой-то безгливостью посмотрел на сына и сказал:

- Слушай, ты притворяешься или на самом деле тупой?! Он людей при мне расстреливал!

На глазах у Заратустры выступили слезы. И Беляеву стало ясно, что отец страдал от воспоминаний, и от своей жизни, и от запредельности.

За окном залаяла собака, потом все стихло.

- Происходит какой-то беспримерный сдвиг во времени, и события не выстраиваются в логическую цепь, - сказал отец, немного успокоившись. - Ошибка не познавших запредельность посредственностей заключается в том, что они все хотят выстроить в затылок, в эту самую логическую цепь. А ее нет и быть не может, поскольку этим миром правит мир запредельности...

- Но разве история не есть построение событий и человеческих судеб в затылок?

- Конечно, Гоголя нельзя поставить раньше Пушкина в житейски историческом понимании. Но в понимании запредельном - можно. Тут все и сокрыто. Запредельность с позиции обывателя - ненужная вещь, болтовня, картинки, видения. Но обыватель пушкинской поры рассеялся в прах со своей тихой практичностью, а Пушкин в запредельности!

Отец говорил и время от времени посматривал в окно.

- Как ты противоречишь себе! - воскликнул Беляев. - Ты отвергаешь Христа, а сам генерируешь те же идеи... загробности... жизни за гробом! Пусть это называется у тебя запредельностью, но суть, согласишься, та же. Жертвовать собственной жизнью, благополучием ради неизвестной вечности. А ты не думал, если уж ты отвергаешь Христа, что, возможно, жизнь-то наша конечна и неповторима, и ничего за гробом не будет, ничего, потому что только в тебе и есть вечность, и со смертью твоей твоя вечность обрывается?!

- Обрывается. Я об этом и говорю. И надо знать это всем. Ничего потом не будет... Ты меня уводишь в сторону. Я же твержу о запойности творчества, а ты о вечности! Вечность - это схоластика, а запойность - реальная запредельность, в которую ты переходишь в своей собственной жизни, самовольно пробиваешься на второй этаж двухэтажного сознания! А там капитан Артемьев раков расстреливает и памятником самому себе становится, там самосвалы заезжают в комнату, там крыса со стаканом читает Чехова, и ты садишься рядом с нею на порожке, заглядываешь в текст и читаешь:

"Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили:

- Это то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел”.

Ты понимаешь, какая чертовщина - сижу на порожке с крысой и этот текст читаю. Отчетливо напечатанный на тонкой бумаге текст! Запредельный реализм! Крыса тут и воскликнула, что Чехов запойный писатель. И дьячок-то запойный! Крыса коготками страницы перевертывает...

Беляев кашлянул и как-то насупившись, медленно, подумав, сказал:

- По-моему, ты переоцениваешь Чехова. Он же придумал себе некий стереотип и гнал свои романские рассказы по нему! Эксплуатировал один и тот же прием. А большие вещи делать не мог. Слабенькое, короткое дыхание...

Отец прервал его:

- Э, брат, да ты, я смотрю, ничего в запойности не понимаешь! И скидку на возраст не могу тебе дать, ты уже достаточно взрослый, самостоятельный...

Отец в задумчивости почесал подбородок, затем надел очки, взглянул на папку, подумал, завязал тесемки и сунул папку в стол. Посидев некоторое время молча, он снял очки, положил их на байковую тряпочку возле стакана с карандашами, вздохнул, встал и вышел из комнаты.

Беляев взглянул на часы, можно было уже ехать в институт, но он медлил, потому что чувствовал, что ему в эти минуты не хочется уходить от отца, ему было интересно с отцом, и об этом он сейчас подумал и невольно улыбнулся, и как бы машинально перебирал в памяти людей, близких и далеких, с которыми бы ему было так же интересно, как с отцом, и как Беляев ни старался перебирать далеких и близких, на ум ему никто не пришел, разве что Осип-книжник.

Отец вернулся и сел на место. В глазах его была печаль.

- Я люблю Родину, - вдруг тихо сказал. - Люблю Россию.

Беляев сразу же отвлекся от всех своих мыслей, как будто этих мыслей и вовсе в нем не было. Вот уж чего не ожидал услышать он от отца. В кругу Беляева о Родине, о России говорить стыдилось, как о чем-то пошлом, придуманном.

- Ты удивлен? - спросил отец, видя вопрошающий взгляд сына.

- Представь себе, да.

- Понимаю. Для тебя жизнь - вечность. Для меня - прошлое. Это и понятно. Когда-то в юности и для меня жизнь была вечнос-

тью. Я люблю Россию не так, как ты думаешь. Я люблю ее, как самого себя. То есть, уточняя, я люблю ее, как свой эгоизм, как свою богоизбранность.

Беляев усмехнулся, но не стал прерывать отца.

Отец же, помолчав, продолжил:

- По натуре своей я очень стеснительный человек. Особенно свою стеснительность я ощущал в детстве. Вдруг ни с того ни с сего краснею. Постоянно умилялся чем-нибудь, например одуванчиками, когда они желтые, такие первые на бульваре цвели. Сорву такой одуванчик и вдруг кто-то из прохожих замечает это. Ну, просто так замечает, не делает никаких замечаний, мимо проходит, а я со стыда сгораю.

Он замолчал, и в его глазах показались слезы умиления. Но через минуту он вскочил из-за стола и буквально переменялся, вскричав:

- Что говорил Заратустра?!

Беляев вздрогнул, но тут же машинально ответил:

- Так!

- Именно! Так говорил Заратустра! Сейчас-то я понимаю, почему я такой придавленный. Я придавлен Родиной, которая есть я! Из крепостного права - в большевизм. Никогда я не был свободен и горд! То татарское иго, то болота и леса, то беззакония князей... Ты помнишь, мастерам глаза выкололи, сволочи! И крепость!

Отец нервно ходил из угла в угол и весь как-то дергался.

- И тут меня спас Заратустра! Переступить тут нашу сволочь надо! Переступить через самого себя. Но не в сторону, мол, делай все, что захочешь. Э, тут подвох для умников! Хотя я на них плевал, на всю эту интеллигентскую шантрапу. Они-то во всем и виноваты, из их среды вся эта сволочь руководящая выходила и молчала! А Заратустра спас меня от стыда моего холуйского! И теперь я свободен! Рабство свое генетическое переступил...

- Окончательно? - вновь усмехнулся Беляев.

Отец на некоторое время замялся.

Наступило молчание.

За окнами залаяла собака.

Отец прислушался к ее звонкому, с хрипотцой, лаю и молчал до тех пор, пока лай не смолк.

- Вопрос, достойный обсуждения, - сказал он, смягчаясь.

- Давай обсудим, - согласился сын.

- Неуверенность в себе и колебания, действительно бывают. В трезвом виде, - теперь уже отец усмехнулся. - Вот хочу, чтобы и в трезвом колебаний не было. А так придавлен страхом. До сих пор боюсь домоуправа, милицию, суд, прокуратуру, ЦК КПСС, советские профсоюзы... и другого человека. Вдруг да подойдет и ограбит! Вот в чем дело. Так в России издревле! Страхом задавленная страна!

Беляев прервал отца:

- Я думаю, ты глубоко заблуждаешься... Ну, то есть смотришь со своей колокольни. Да в России было и есть столько бесстрашных людей. Не буду перечислять, сам знаешь. Вот даже по себе сужу, хотя я и твой сын, но страха у меня нет. Кого бояться? Себе подобных? Перебьются! Пусть они меня боятся! Твой страх, теперь я понимаю, происходит от безделья, от невовлеченности в жизнь...

- Не правда! - вскричал отец. - Это я-то невовлеченный? Да я в лагерях полжизни провел!

- Да ну и что! - заорал сын и встал. - Ты был пассивен. Тебя и посадили! Но были же те, которые сажали!

- Ты хочешь сказать, что я...

Беляев взмахнул рукой и крикнул пронзительно:

- Молчи! Ты думаешь, только тебе позволено говорить! Что ты всю жизнь даешь себя объезжать?! Тебя же равные объезжают, а ты им дорогу даешь. А по какому праву?! Они что, не так ли, как и ты родились? Да плюнь им в рыло! "Кто такой?" - спроси. И лезь сам. О, это я понял! Дорогу им давать не собираюсь! Кто-то залез во власть, а я буду сокрушаться, что он меня угнетает? Не выйдет! - сын погрозил пальцем перед глазами отца. - Я сам полезу, и долезу! Вот все, что я думаю о любви к Родине! Поэтому про эту любовь помалкиваю, и душу я им никогда не открою!

Беляев сел, а отец как-то сокрушенно отошел к окну.

- Я-то думал, ты такой, как я, - сказал отец.

- Такой же, - успокоил его сын, - из того же теста, только позиция у меня другая.

- Какая же?

- Я высказал ее тебе только что. Бесстрашная!

- Ого!

- Да! Стеснение побоку! Нужно смело входить в любое учреждение, как к себе домой, смело, и смотреть людям прямо в глаза! Сразу о тебе скажут - ты человек смелый и честный, тебе нечего

скрывать! И смотреть нужно так неотрывно, чтобы тот опускал глаза! Вот он опустит глаза и подумает, что ты о нем что-то знаешь!

- Умно! - вдруг похвалил отец. - Летит коршун над землей, взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в небе, словно задумавшись о скуке жизни...

Беляев, изредка заглядывая в бледно-голубые глаза отца, вдруг сообразил, что глаза у них с отцом разные. У отца - голубые, у Беляева - карие.

- Интересно, - сказал Беляев, - почему я родился не с голубыми, как у тебя глазами?

- Что? - как бы выходя из задумчивости, переспросил отец.

- Я говорю, у тебя голубые глаза, а у меня карие. Почему?

- А, да... материнские у тебя глаза, - сказал отец. - Видно, и манера жить у тебя материнская, - добавил он.

- Что значит "манера"?

Отец каким-то пронзительным, новым взглядом, взглянул на сына и, чуть помедлив, сказал:

- Еврейская манера!

Беляев усмехнулся, как бы давая понять этой ухмылкой, что он давно избавился от предрассудков и стоит в своем интеллектуальном развитии выше национальных проблем. Но отец, не обратив внимания на эту ухмылку, продолжил:

- Между прочим: некоторые факты биографии твоей матери... Ты, короче, должен знать, что твоя мать - *еврейка*!

Беляев продолжал бы по инерции усмехаться, но против воли по телу его пробежал холодок.

Овладев собой, он сказал:

- Расскажи, пожалуйста...

- Что тут рассказывать! Она не Семеновна, а Самуиловна, и девичья фамилия ее - Фидлер! А папаша ее - Самуил Израилевич - работник НКВД! Так-то...

Наступило молчание.

Беляев смотрел в пол, усмешка его застыла на губах.

- Что-то я не совсем понимаю, - растерянно сказал он.

- Тут и понимать нечего! - вскричал отец, но тут же преобразился, вскочил из-за стола, обнял голову сына и прижал ее к своей груди.

Прошла, наверно, минута.

- Старый дурак! - сказал с чувством отец. - Зачем я тебе это рассказал! Черт с ней, с дурой, уехала - скатертью дорожка.

Беляев высвободил голову из объятий и тихо сказал:

- Национальность - это условное, то есть, собственно, вымышленное понятие. Его эффект заключается в поддельном почтении или ненависти... Правильно, что рассекретил. Правильно. Я какими-то новыми глазами увидел мать... И себя.

- Что ж делать! - вздохнул отец. - Узнал, так узнал, ну, и Бог с ней. Ты-то мой сын. Беляев Николай Александрович. Русский. В паспорте русский. Лицо - русское. А что глаза... Так у русских любые глаза бывают, как и у евреев. Я даже допускаю, что евреев можно считать людьми.

Беляев опять усмехнулся.

- Почему же она мне не сказала об этом?

- Зачем? - пожал плечами отец. - Она штука та еще!

- Для тебя она "штука". А для меня же - мать!

- Она как мать тебя и оберегала.

- Ты думаешь?

- Тут и думать нечего, - сказал Заратустра, - Удивительной хитрости, ловкости и дальновидности женщина! Впрочем, дело прошлое, а ты - плюнь и разотри! Я не говорил, ты - не слышал. Вот и вся песня. Самое главное в человеке - это умение держать в себе. У каждого свои тайны, которые он никогда, ни при каких обстоятельствах не откроет другому, такие тайны, которые даже в исповедь не помещаются, поэтому исповедь и невозможна, и этот Руссо - просто идиот!

Глава XXVI

С чего начинается преследование? С того, что ты замечаешь преследователя. Солнечный день.

Снег поблескивает.

Настроение самое замечательное.

В этот момент Беляев оглянулся и заметил идущего за ним человека в пыжиковой шапке. Через некоторое время еще раз оглянулся. Пыжиковая шапка следовала неотступно. В глазах Беляева образы стали двоиться и тени походили на нечто такое, чего на свете не бывает.

Презрительная улыбка пыжиковой шапки, надменное выражение и вся его плотная фигура, двоясь и мелькая, нагнетали страх на Беляева.

Психологию страха Беляев исследовал довольно подробно, но вот когда страх коснулся его самого - растерялся. Что делать? Идти, не останавливаясь! Может быть, это просто туда же следующий человек.

Тогда нужно, для проверки, изменить маршрут.

Беляев свернул в не нужный для него переулок. Пройдя метров десять, оглянулся. Преследователь шел за ним.

Беляев подумал о том, что существенно, исходя из ситуации, время, в течение которого уяснились им первоначальные впечатления.

Беляев спешил вперед и думал, что можно все-таки сделать неожиданный маневр, махнуть в один из знакомых с детства дворов, а там через внутренний подъезд опять выскочить в переулок. Он даже поумерил шаг, чтобы как следует обдумать этот маневр.

Он свернул в другой переулок и шел уже по теневой его стороне, как бы отгородившей его от счастливого солнечного зимнего дня. И тут же прибавил шагу к знакомой подворотне, нырнул во двор и вскочил в подъезд, а там уже и в переулок.

Беляев оглянулся, преследователя не было видно. Но через некоторое время, когда Беляев еще раз оглянулся, тот появился. Волнение охватило Беляева. Он пошел быстрее, почти что побежал, ноги сами несли под горку, но заснеженная пыжиковая шапка преследователя не отставала. Беляев резко остановился, а преследователь тут же свернул во двор. Беляев стоял на месте и смотрел в то место, где только что находился преследователь.

Никого не было.

Постояв еще немного, Беляев продолжил движение к Цветному бульвару, на ходу перебирая в голове судорожные мысли о причинах преследования, но ни на одной из этих мыслей не мог сосредоточиться, поскольку, оглянувшись, увидел пыжиковую шапку. Беляев даже сделал попытку пойти навстречу преследователю, но тот, моментально это почувствовав, пошел назад.

Не преследовать же преследователя!

Выйдя на Цветной, Беляев заметил остановившийся на остановке троллейбус, бросился к нему и успел вскочить на подножку. Двери за спиной захлопнулись, и Беляев облегченно вздохнул.

Он доехал до угла Цветного бульвара и Садового кольца, вышел и осмотрелся. Пока он так осматривался, метрах в ста остановилась черная “Волга” и из нее, как ни в чем не бывало, вылез обладатель пыжиковой шапки. У Беляева душа ушла в пятки. А преследователь сделал вид, что никакой Беляев его не интересует: он стоял в позе человека, собирающегося переходить дорогу, вот только транспорт сейчас пропустит и пойдет на ту сторону, взгляд преследователя был обращен в сторону Центрального рынка.

Беляев, забыв страх, пошел прямо на преследователя, но тот, не боясь машин, поспешил на ту сторону, добежал до черной ограды бульвара, перемахнул через нее, как прыгун в высоту, и остановился в снегу. Черная “Волга”, громко газанув, умчалась из-под носа Беляева. А он смотрел на преследователя и не знал, что ему делать. Преследователь же оказался любителем деревьев: снял перчатку и гладил, внимательно разглядывая кору, ствол дерева.

У Беляева учащенно билось сердце и было такое состояние, как будто он попал в чужой город, где у него не было ни родных, ни друзей. Краем глаза Беляев заметил приближающийся к остановке троллейбус, но всем видом своим показывал, что ему нет никакого дела до этого троллейбуса. Преследователь тем временем уперся почти что в ствол в разглядывании фактуры коры. Тимирязев да и только! Сволочь, даже и не смотрит на Беляева! Может быть, у него на затылке глаза?!

Едва троллейбус успел остановиться и открыть двери, выпустив пассажиров, как Беляев рванул к нему, вскочил на площадку, протиснулся к заднему стеклу. Троллейбус тронулся. Преследователь перелез через ограду, но транспортный поток был столь интенсивен, что ему пришлось ожидать его окончания.

Фигурка преследователя быстро уменьшалась, поскольку троллейбус стремительно пересек Садовое кольцо и устремился к Театру Советской Армии.

Беляев решил не выходить из троллейбуса, сделать на нем круг: доехать до Останкино и обратно. Но уже где-то на Трифоновской передумал, вышел и стал голосовать такси. Машина не замедлила явиться, Беляев сел и, когда таксист поехал, стрельнул у него закурить.

У театра Беляев попросил свернуть на Селезневку. Когда свернули, он оглянулся и посмотрел через заднее стекло: так и есть -

следом шла черная “Волга”. Спина похолодела. Где-то у 2-го линейного отделения ГАИ Беляев еще раз посмотрел назад: “Волга” исчезла. У Беляева отлегло от сердца. Мало ли черных машин в Москве!

Свернули на Суцевскую улицу и поехали по трамвайным путям мимо типографии “Молодая гвардия”. За такси Беляева теперь пристроилось сразу три черных “Волги”. Ну и что? Из-за каждой теперь дрожать? Да мало ли они куда едут!

Беляев не говорил таксисту места назначения, просто указывал куда повернуть и куда ехать. Беляев на ходу придумывал маршрут. От Савеловского вокзала он сказал ехать к “Динамо”.

Да, никогда в жизни не было такого с Беляевым. Уверенность покидала его. Он чувствовал, что оказался во власти каких-то неведомых сил. Что его воля, оказывается, не имеет никакого значения. Что он вынужден из-за какой-то пыжиковой шапки бегать-ездить по Москве бесцельно!

Таксист через некоторое время стал косо поглядывать на пассажира. Беляев уловил этот взгляд, достал бумажник и, чтобы таксист не переживал, сунул ему четвертной билет задатка, хотя на счетчике было всего чуть больше двух рублей.

Черные “Волги” между тем не отставали. Беляев перестал обращать на них внимание. Он старался расслабиться и беспечно смотреть по сторонам. На какое-то время это ему удавалось. А затем мрачные мысли полезли в голову. Самой мрачной была мысль, что ему некуда податься. Дом? Институт? Что еще? Он одинок, он беззащитен, он никому не нужен.

У стадиона “Динамо” Беляев стал мучительно соображать, куда ему ехать дальше. А пока попросил свернуть на Ленинградский проспект в сторону “Сокола”. По тротуарам, заснеженным и скользким, как ни в чем не бывало передвигались прохожие. Беляев завидовал им: ведь за ними никто не следил. Тут он подумал, что поездку все-таки нужно проводить хоть с какой-то мало-мальской пользой, и дал указание таксисту остановиться у молочного магазина возле станции метро “Аэропорт”. Из портфеля он достал матерчатую сумку и несколько полиэтиленовых пакетов.

Он вышел из такси и сделал вид, что пересчитывает деньги в бумажнике, а сам посматривал на дорогу: не остановится ли сейчас за желтой машиной такси черная. Никто не останавливался, и

Беляев пошел в магазин. Он купил шесть пакетов молока, столько же пакетов кефира, килограмм российского сыра и полкило сливочного масла.

Перед тем, как выйти на улицу, он посмотрел туда через стекла витрины. За такси стояла черная “Волга”. Беляев от душевной боли стиснул зубы. На переднем сиденье черной “Волги” сидел человек в пыжиковой шапке. Беляев затравленно оглянулся по сторонам. Стучала касса, стояли очереди, раздавались голоса. Беляев увидел за прилавком дверь в подсобку. Если есть эта дверь, значит, можно через нее попасть во двор.

Не обращая внимания на оклик продавщицы, он быстро пошел в подсобку и через минуту был во дворе. Через пять минут он уже шагал по Красноармейской улице в сторону “Динамо”. Потом остановил свободное такси, сел и вспомнил о портфеле, оставленном в той машине. Что было в портфеле? Пара книжек, две тетрадки, газета и все! В этом отношении Беляев был опытен: не складывал все яйца в одну корзину. Пусть портфель останется на память тому таксисту.

Беляев облеченно вздохнул и на всякий случай оглянулся. И вздрогнул: черная “Волга” ехала по пятам. У Беляева моментально родился иной план. У метро он расплатился, вышел, такси уехало, черная “Волга” остановилась. Но человека в пыжиковой шапке в ней не было. Из нее вышел полковник в фуражке с голубым околышем, подошел, улыбаясь, к женщине в роскошной шубе, взял ее под руку и пошел к стадиону.

Беляев, усмехнувшись своему страху, взглянул на сумку, набитую молочными продуктами и направился в метро. На эскалаторе он несколько раз оглядывался, но ничего подозрительного не замечал.

Все! Можно ехать домой, отвезти продукты.

Он вошел в вагон и увидел человека в пыжиковой шапке. Тот сразу же отвернулся. А Беляев сообразил, что они пользуются радиосвязью. И никуда ему от них не деться. Подавляя волнение, Беляев подошел к человеку в пыжиковой шапке и спросил, нагнувшись:

- Вы хотели со мной поговорить?
- У сидящего округлились глаза.
- Зачем? - спросил он.
- Это вас нужно спросить - “зачем”?

- Не понял?

- Так это не вы... ну... хотели со мной поговорить?

- Нет. Не я, - с некоторым испугом посматривая на Беляева, сказал человек в пыжиковой шапке.

- Извините, - сказал Беляев и покраснел. Он поспешно протиснулся к дверям и вышел из вагона. Это была станция "Белорусская". Испарина выступила на лбу у Беляева. Он сел на скамейку, поставил рядом сумку. И стал думать о том, почему человек в пыжиковой шапке не сознался. Почему нормально нельзя подойти и объясниться, что им нужно? Почему нужно устраивать эту запугивающую слежку? Беляев с подозрением смотрел на людей, ожидающих поезда на перроне. И вдруг - точно! - увидел преследователя. Вне всяких сомнений, это был он. Да, это был тот самый, который обнюхивал дерево на бульваре.

Из тоннеля вырвался с грохотом и лязгом голубой поезд. Воспользовавшись общим замешательством, Беляев ринулся не к поезду, а в противоположную сторону, под арку, в центральный зал, а затем и к другой платформе, где из открытых дверей вагона несло: "Осторожно, двери закрываются!", и с этим голосом Беляев успел проскочить мимо сдвигающихся плоскостей в ярко освещенный вагон. А тот, в пыжиковой шапке, опоздал. Беляев видел, как он в отчаянии взмахнул рукой. Но поезд уже набирал скорость. Только тут Беляев вспомнил о сумке с молочными продуктами, которая осталась на скамейке.

Черт с ней! Тут не до сумки. Значит, облава продолжается. Выходить в центре ни в коем случае нельзя! Сейчас тот по рации передаст... другой пыжиковой шапке... Беляева осенило: они все ходят в пыжиковых шапках! Раньше носили серые каракулевые шапки, теперь же - в пыжиковых! Стало быть, вся эта беготня от них бесполезна: у них армия сотрудников, у них транспорт, у них связь!

Но почему они не подходят к нему и не заговаривают? Видимо, решили попутать. Для какой цели? Ага! Мать за границей, отец бывший эзк... Угу! А сам он подпольный миллионер... Стук, стук, стук... В лесу одни дятлы. Комаров? Пожаров? Сергей Николаевич?

- На следующей будете выходить? - спросил низкий голос.

Беляев оглянулся и побледнел. За ним стоял тот самый в пыжиковой шапке. Беляев в знак того, что будет выходить, кивнул. И тут же весь сжался, даже язык прикусил до боли.

Когда двери открылись, Беляев вышел, сделал пару шагов к выходу с платформы, оглянулся - пыжиковая шапка шла на него. Но не такой уж простак Беляев! Он сделал шаг в сторону и тут же молнией метнулся опять в вагон. Пыжиковая шапка растерянно оглянулась, когда уже двери съехались.

Беляев подошел к схеме метрополитена и стал определять маршрут, чтобы запутать преследователей. Пусть у них рации, пусть транспорт пусть армия сотрудников! Беляев сейчас доедет до конечной и смеется от них! Как? А вот увидите! Беляев огляделся, увидел свободное место и сел. В вагоне было очень шумно, потому что были приоткрыты окна. До ушей Беляева долетело справа:

- Мы его сейчас возьмем!

Беляев краем глаза увидел у других дверей человека в пыжиковой шапке. И подумал, что они все на одно лицо. Безликая армия запугивания. Первым движением было встать, подойти к нему и поговорить. Но Беляев решил махнуть на них рукой.

Так. Ситуация! Доехать до "Речного" и зайти к Феликсу. Однако опасно. Хвост к Феликсу приводить не нужно. Лучше выйти у "Водного стадиона", взять такси, попетлять, чтобы черных машин сзади не было, купить коньяку и - к Феликсу.

Беляев на всякий случай стал с нетерпением ожидать следующей станции, и, как только поезд остановился, он тотчас выскочил на платформу. Но и человек в пыжиковой шапке не спеша вышел из вагона. Беляеву ничего не оставалось делать, как стремглав вернуться в вагон. Двери закрылись.

Беляев опустился на свободное сиденье и стал напряженно размышлять о сложившейся ситуации. Конечно, все эти люди в пыжиковых шапках не могут наблюдать за ним. Ему от возбуждения просто кажется, что они за ним наблюдают. Кажется от страха. Но тот, на Сретенке? Он же действительно преследовал Беляева, и на черной "Волге" ехал он, и на Цветном бульваре выходил из машины он, и перебегал дорогу, и перепрыгивал ограду он, и осматривал кору дерева. Это же не было видением!

Теперь оставалось логически осмыслить происшедшее: да, за ним следили, но он сумел оторваться от преследователей. С

какой целью следили - неизвестно. Но, по-видимому, причина была.

Как тяжела неизвестность!

Во всяком случае, та неизвестность, которая распространяется даже на час вперед.

Беляев осмотрел пассажиров вагона. Ни одного человека в пыжиковой шапке не было. И это открытие принесло некоторое успокоение Беляеву. Он откинулся к спинке сиденья и уставился в темное окно напротив себя. Ритмичный перестук колес успокаивал, вносил некоторую ясность в создавшееся положение.

Движение под землей поистине гениальная выдумка. Перед станцией Беляев беспокойно переменял позу, как будто собирался встать, но не вставал, а во все глаза смотрел на двери. Наконец они открылись, люди выходили и входили в вагон. Вдруг дрожь пробрала Беляева: вошел высокий молодой человек в злополучной пыжиковой шапке, огляделся и сел на свободное место прямо против Беляева, и уставился на него. Беляев не выдержал взгляда и опустил глаза в пол. Мысли куда-то исчезли, и в голове образовалась пугающая пустота. Беляев не задумывался даже о том, что все это может кончиться плохо - или был уверен в невозможности такого исхода.

Может быть, он даже притворялся перед собой, что ничего не происходит. Чтобы поддерживать нейтральную пустоту в голове, он старался отгонять надвигающиеся мысли. Но они пульсировали где-то на периферии сознания, и одна из них говорила: все пройдет. Хотя тут же Беляев отчетливо услышал и другую, о том, что, между прочим, часто бывает, что с какого-то пустякового эпизода начинается важная полоса в жизни человека.

С усилием он еще раз попытался взглянуть на человека в пыжиковой шапке. Тот продолжал неотрывно смотреть на него. И у него стало опять нехорошо на душе. Вероятно, думал он, если человека с его энергией начинают тормозить извне, мешать работать, это значит, что в самом плане работы, в охране тайн этой работы допущен просчет. От мысли, что сейчас ему придется объясняться с этим человеком, Беляев ощутил свинцовую тяжесть в ногах. И странное нетерпение овладело им. Поскорее бы объяснить, развязать узел, поставить точку, подвести черту!

Беляев закрыл глаза, чтобы убаюкать сознание. Но оно никак не хотело убаюкиваться.

Беляев встал и подошел к дверям.

Он вышел на улицу, огляделся, не зная, куда пойти. И все же пошел, перестав оглядываться, в магазин, купил коньяку и направился к дому Феликса. У подъезда все же оглянулся, но никого не увидел.

Шел снег, и с дыханием попадали в нос мокрые снежинки, таяли на лице, и, казалось, в самой погоде была какая-то безысходность.

Квартира Феликса была погружена во мрак, и под стать этому мраку черноволосый и полнотелый Феликс был облачен в черное кимоно. В комнатах неярко светились торшеры и бра, звучала приглушенная музыка. В одной из комнат работал огромный цветной телевизор, показывали хоккей, красные и синие фигурки, как в калейдоскопе, кружили на экране.

У Беляева разболелась голова, он сел к столу, налил себе рюмку и выпил. По комнате ходили какие-то люди, курили. Кто-то внес ящик пива и стал, протирая каждую бутылку тряпкой, ставить пиво на стол.

Феликс сел возле Беляева, сказал:

- Я достал тебе "Камень".

Беляев удивленно вскинул на него брови.

- Какой?

- Тот, что ты просил.

Беляев никак не мог вспомнить, какой это камень он просил у Феликса.

Тот встал, достал с полки книжку и бросил ее на стол перед Беляевым. Беляев разглядел обложку: "О. Мандельштам. "Камень". Стихи. "Гиперборей". Петроград, 1916".

- Второе издание, - сказал Феликс. - Но я и первое достану.

- Сколько с меня? - спросил Беляев.

- Две сотни.

Феликс вновь сел рядом, закурил, выпустил тонкую струйку дыма, а затем уж спросил:

- Ты ничего странного сегодня не заметил? - И уставился на Беляева непроницаемым взглядом темных маслянистых глаз.

- А что я должен был заметить? - испуганно ответил Беляев.

- Так... Вообще... Но кое-кто хочет с нас получать "капусту".

Беляев открыл книжку и навскидку вслух прочитал:

Из омота злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша...

Полутьма комнаты, казалось, меняла оттенки, то золотом, то зеленой вспыхивали в ней огоньки сигарет, то яркий кадр на экране телевизора белой полосой освещал стол. Беляеву вдруг показалось, что вокруг него пустота - пустая комната, пустой дом, пустой вечер. Только по экрану беззвучно бегают хоккеисты...

Беляев и Феликс посмотрели друг на друга в упор. Присутствие Феликса, такого реального в своем черном кимоно, с каплями пота на полном лице, вернуло Беляеву душевное равновесие. Он откинулся к спинке стула, весь отдавшись блаженному ощущению покоя, не желая ни о чем думать.

Феликс пересел на диван, освещенный голубоватым слабым светом торшера, заговорил с человеком, сидевшим на этом диване.

- Коля согласен, - сказал Феликс.

- Тридцать шесть процентов, - сказал дубоватым голосом человек.

Беляев слушал и думал про себя, что тридцать шесть процентов от валютного оборота - непомерно большая цена даже за столь пугающую мумифицированную слежку. Хотел услышать ответ - услышал. Ну и что? Жизнь не дает ответов на вопросы. И составная часть этой жизни - смерть, которая сама по себе есть большой вопрос. То есть жизнь, оканчивающаяся смертью, есть вопрос. Никаких ответов не будет. Эти мысли, как вино, горячей волной разлились по телу и ударили в голову.

Тот, кто ранее принес ящик пива, теперь появился в комнате с огромным серебряным подносом, на котором горой лежали красные дымящиеся раки. Разговоры смолкли, люди облепили стол. И Беляев, словно во сне, взял, обжигаясь, упитанного рака с черными булавками глаз.

Захрустели панцири, защелкали металлические пробки на бутылках, забублькало в стаканы пенистое пиво.

Беляев, как бы во искупление происшедшего с ним сегодня, накиннулся на раков и пиво с удвоенной энергией, чтобы хоть слабым проблеском света смягчить еще какой-то час назад надвигавшуюся на него тьму. И подумал Беляев, что за тьмой всегда следует свет!

Время от времени он посматривал по сторонам, иногда даже оглядывался, проникая взглядом в самые потаенные уголки комнаты. И вновь с выражением напряженного внимания вгрызался в белое мясо раков, всецело поглощенный звуками собственного жевания. Ему казалось, что он уже свихнулся, если когда-то давно-давно снившиеся красные вареные раки обрели реальность, и он их вот так свободно берет и жует.

Эти раки казались ему теперь какою-то книгой за семью печатями. И с этой мыслью он закрыл глаза и увидел слова, и строки, и буквы. И сначала растерялся, потому что прежде никогда так отчетливо не видел подобного, что открыл глаза и в страхе огляделся, но ничего подозрительного не заметил. Он снова закрыл глаза и как будто на большом экране, белом-белом, снизу вверх поплыли четкие черные строки, которые он свободно, без напряжения, стал читать про себя:

“И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле. И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых; и поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати; ибо Ты был заклан, и кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле. И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и пре-

мудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землю и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч. И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиник (*малая хлебная мера*) пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; еля же и вина не повреждай. И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными. И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святыи и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь; и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои; и небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих; и цари земные и вельможи, и богатые и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор...

Беляев на мгновение оторвался от строк, осмотрелся и вновь погрузился в чтение:

“...когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб...”

На этом месте текст оборвался.

У Беляева выступила испарина на лбу и было такое ощущение, что в мозгу произошла какая-то подвижка, словно приоткрылась тайная часть этого мозга, соприкоснулась с явной, коммуникабельной, чтобы продемонстрировать свои сверхъестественные способности, свою фотографическую память. Может быть, там еще есть память историческая и генетическая?

Как бы расшевелить и вызвать эту память?!

Беляев отпил пива и потянулся за новым раком.

Глава XXVII

Звери созданы по образу и подобию людей? Или люди - по образу и подобию зверей? Смотри: бежит собака, у нее, как и у человека, глаза, уши, рот... Смотри и думай. Если человеку дать рога, то это уже будет черт знает что - черт! Рога - это ум. С умом в царство Божее не допускают. Нужно сделаться, как дети... Если не сделаешься, как дети, не войдете в царство Божее. Уйти в детский возраст. А зачем уходить, если вот они - дети.

Беляев закрыл Библию, потянулся и посмотрел в окно. Шел снег. В комнате было светло. Из-за двери слышались монотонные звуки флейты. Это играл Коля. Он ходил в музыкальную школу.

Беляев подумал, что человек - это флейта, как дунешь, так и прозвучит. Значит, чтобы войти в царство Божее, нужно стать флейтой, то есть сжечь свой ум. Наличие ума отличает взрослого от ребенка. То же можно сказать и о животном. Смотри: бежит собака, у нее нет ума, одни рефлексы. Куда бежит собака? В царство Божее. Бог не любит конкурентов, то есть не любит ум. А тот, кто наделен умом, кто он есть? Бог! Либо подобие и образ его. Стало быть, противоречие! Чтобы войти в царство небесное, нужно распрощаться с умом, просто-напросто сойти с ума. Но это значит распрощаться с образом и подобием.

И так во всем! Видимая логика оказывается в итоге схоластикой, бессмыслицей. Наивных принимают, умных отвергают!

Но где этот приемный пункт?

На кладбище? В крематории? В церкви?

Во сне. Во сне жизни, и во сне смерти.

Флейта уже действовала на нервы.

В комнату заглянул четырехлетний Юра, сказал:

- Папа, тебя зовет мама.

Беляев отвлекся от размышлений, взглянул на Юру, у которого в руках был молоток и сплюснутый металлический грузовичок.

Лиза лежала на диване. На лбу у нее была влажная тряпка.

- Голова раскаляется, - сказала она. - Посмотри там суп.

Беляев поплелся на кухню. Снял крышку с кастрюли. Мясо закипало, поднималась пена. Беляев принялся снимать ее большой ложкой и смывать под струей горячей воды в раковине, располагавшейся рядом с плитой. Он снимал пену и думал о предстоящем Новом годе. Должен был приехать Комаров и привезти елку. Беляев послал его с доверенностью прямо в лесничество.

На кухне появился восьмилетний Миша с гирляндой елочных лампочек, провод с вилкой тянулся по полу.

- Папа, давай распутаем, - сказал он, протягивая Беляеву клубок из проволоки и лампочек.

- А где Саша? - спросил Беляев.

- За хлебом пошел.

- Тогда иди к Коле.

- Я хочу с тобой.

- Ты видишь, я же занят, - сказал Беляев.

- Чем?

- Думаю.

- А ты думай и распутывай лампочки, - сказал Миша.

Сняв пену, Беляев убавил огонь и накрыл кастрюлю крышкой, но не плотно, а оставив щель. Беляев в задумчивости взглянул на Мишу, и ему не захотелось возвращаться в детство. А если бы и захотелось, то он не смог бы этого сделать. Его жизнью управляет кто-то другой, а не герой Евангелий, и не персонажи Библии... Он это чувствовал, но пока не мог сформулировать.

Когда он распутывал с Мишей гирлянду, пришел Саша с хлебом.

- Я ирисок купил на сдачу! - воскликнул он.

- Дай мне! - обрадованно попросил Миша.

- Нет. Мы их на елку повесим, - сказал Саша серьезно, положил сумку с хлебом на стол, а кулек с ирисками унес с собой.

Беляев посмотрел ему вслед, затем перевел взгляд на Мишу и подумал: да ведь это же какие-то фантомы, и Миша, и Саша, и Юра, который колотит по грузовику молотком, и Коля, мучающий флейту, и он сам, Беляев, и Лиза, и множество, множество им подобных.

Разбуженная материя. Кто ее будил? Не Беляев же с Лизой разбудили ее, лишь кое-какое участие принимали, самое минимальное, механическое. Созидательная работа шла помимо их воли и сознания. С ума можно сойти! И войти в царство Божее. Самый обычный и радостный путь без эфемерных усилий. Тот, кто вступил, обречен на сумасшествие. Но ни на что не может повлиять.

Наконец-то замолкла флейта и через некоторое время на кухне появился Коля.

- Коля, - сказал Коля, - давай в шахматы сыграем.

Коля теперь называл Беляева "Колей", это случилось после того, как с ним повстречался офицер, доказавший, что он, офицер, и есть его отец.

- Сыграй с Сашей, - сказал Беляев.

- Он не хочет, - сказал Коля. - Он собирается пересаживать рыбок в новый аквариум.

- Сыграй со мной, - сказал Миша.

- Чего с тобой играть! Детский мат в четыре хода...

Миша угрюмо уставился на лампочки, а Коля, подумав, ушел с кухни.

Беляев задумчиво уставился на струйку пара, витавшую над кастрюлей.

Бегущая собака, ангелы, Бог, снег и Новый год... Все можно понять, объяснить, но ничего нельзя изменить, нельзя затормозить развитие живой ткани.

Беляев перевел взгляд на пластиковую белую поверхность кухонного стола, по которой не спеша шествовал таракан с длинными усамы. Таракан, словно почувствовав взгляд Беляева, изменил маршрут (он шел к хлебнице) и ускорил шаг, чтобы скрыться за тарелкой. Этот таракан понравился Беляеву своим экстерьером. Красивый был таракан.

Подумав, Беляев зашел к Лизе, сел рядом.

- Закипело мясо? - слабым голосом спросила она.

Беляев кивнул и положил свою руку ей на грудь. Раздался звонок в дверь. Вздыхнув, Беляев пошел открывать. Но его опередил Коля. Это Комаров притащил елку.

- Привет! - воскликнул Комаров, привалил елку к стене, снял запотевшие от перепада температур очки и принялся протирать их.

- Хороша! - сказал Беляев, оглядывая обтянутую шпагатом елку.

- В потолок упрется, - проговорил Коля. - Надо будет подпилить.

- Это мы можем! - сказал Комаров. - Отпилим, поставим, укрепим. Крест есть?

- Могильный? - с усмешкой спросил Беляев.

- Могильный рановато, - сказал Комаров, надевая очки. - Елочный крест.

- Он на антресолях, - сказал Коля. - Я сейчас достану.

- Нет я! - выбегая из комнаты со стулом, сказал Юра.

Беляев уставился на Комарова и спросил:

- А ты знаешь, когда мне понадобится могильный крест?

Комаров рассмеялся и сказал:

- Об этом знает только рогатый!

Юра взобрался на стул и протянул ручки к антресолям. Коля подошел к нему сзади и пощекотал. Юра залился смехом. Миша оттер Колю и снял Юру со стула, а сам пошел за лестницей-стремянкой, принеся которую, полез за елочным крестом на антресоли, но не нашел его там. Тогда его заменил десятилетний Саша. Он проворно подтянулся с лестницы и сам взобрался на антресоли и исчез в их темном провале.

Сначала на пол упал резиновый пыльный сапог, затем пластмассовое ведро, следом абажур с дыркой...

- Что ты там швыряешься! - повысил голос Беляев.

В этот момент вниз полетела картонная коробка, по пути из которой посыпались, как листовки в пятом году, деньги.

Беляев присвистнул, а Комаров на лету ухватил десятидолларовую купюру. Сама коробка аппетитно плюхнулась на пол, углом, и как по заказу, на ней раскрылись створки. Коробка была полна денег.

Юра хлопал в ладоши от удовольствия, а Миша, видя в руке Комарова купюру, кричал:

- Это американская!

Беляев спокойно взял у Комарова бумажку, быстро подобрал другие бумажки, среди которых преобладали отечественные сот-ни, сунул в коробку и, закрыв ее, поднял и понес в свою комнату.

На пол упал крест.

Когда Комаров, войдя следом, прикрыл дверь, Беляев сказал:

- Вот обормоты! Теперь придется в другое место прятать. Это не мои. Дали поддержать на время.

- Верю, - не веря сказал Комаров и спросил: - Сколько же в этой коробке?

- Не считал, - соврал Беляев.

- Состояние! - сказал Комаров.

- Это не деньги.

- Не деньги?! - психанул Комаров от зависти. - Тут пашешь, как лосяра, а ему не деньги.

- Это нетрудовые доходы! - рассмеявшись, осадил его Беляев.

Комаров застыл и вдруг тоже рассмеялся, чтобы скрыть алчность.

Беляев между тем смотрел на коробку, которую поставил на письменный стол и, как бы что-то припоминая, вслух размышлял:

- Деньги были упакованы в пачки, как же они могли разлететься? - Он обернулся к Комарову и спросил: - Поможешь пересчитать?

- Нет вопросов согласно социалистической законности.

- Вопросы задавать неприлично, - сказал Беляев. - Тут где-то опись была. Ох, уж мне этот предновогодний бардак. Дети, наверно, вчера еще на антресоли лазали. Лампочки-то уже тут...

Комаров почесал затылок. У Беляева на лице отразилось недоумение, он никак не мог найти опись.

- Какой сейчас курс рубля к доллару? - спросил Комаров.

- По официальному... копеек семьдесят за доллар можно дать.

- У них жратва, говорят, дорогая.

Беляеву надоело рыться в коробке, и он, перевернув ее, высыпал содержимое на стол. И опись (четвертушка бумаги) легла сверху.

- Жратва - это жизнь, а жизнь бесценна, - сказал Беляев. - Точнее, очень дорогая.

- Дорогая, - согласился, вздохнув, Комаров. - Вообще-то, мне "бабки" нужны. Жена просит на шубу.

- Просить не воспрещается. Зарабатывать запрещается.
- Да она глупая, не понимает.
- Прости ее.

Как опытные кассиры, друзья довольно-таки быстро привели денежную кучу в порядок, перехватили пачки аптечными резинками и уложили в коробку.

Комаров с некоторым почтением поглядывал на Беляева, завидя его невозмутимости, его уму, его хитрости, наконец. О себе же Комаров думал, как о слабовольном человеке. Эти мысли частенько посещали его, но о них он никогда никому не говорил. Но вот это сознание своей слабости, своей незащищенности угнетало Комарова. И теперь угнетало. Он же наверняка понимал, что деньги принадлежат Беляеву, и что Беляев, в конце концов, должен с ним поделиться, если Комаров начнет настаивать на этом, но просить так прямо ему мешал стыд. Как будто в нем кто-то сидел и наблюдал за тем - преодолет себя Комаров или нет. И этот, наблюдающий, как прокурор, строг, даже свиреп. Нет-нет, а взглядывал на его высокое кресло Комаров и сжимался, опасаясь немедленной кары. В Беляеве же Комаров такого прокурора не предполагал. Комаров считал, что такой, как в нем, внутренней борьбы у Беляева нет. Откуда у него эта борьба? Вон как тонкие пальцы смело работают с деньгами! Ну что он так носитя с этими деньгами! Что их хранить-то, не понимал Комаров. Должно поделить и баста! Все будет довольны. И опять шевелить рогом, придумывать варианты, делать "бабки". А этот, как скопидом, все пересчитывает, прячет, от нас скрывает. Что за натура! Что за жлобство!

Настроение у Комарова стало прескверным, как будто его кто-то ни с того ни с сего оскорбил или даже ударил.

- Вот и порядок! - сказал Беляев, упрятав коробку в шкаф. - А то через пару дней нужно отдавать.

- Порядок, - вяловато согласился Комаров.

Беляев заметил перепад настроения в Комарове.

- Ну что, поставим елку? - спросил Беляев.

Комаров задумчиво посмотрел в потолок, затем сказал:

- Надо бы Пожарова пригласить.

- Зачем? Елку поддерживать?

Комаров встал и прошелся по комнате, то расправляя плечи, то сутулясь. Руки его при этом были в карманах брюк.

- Шарашим вместе, а вот доход как-то неопределенно распределяется... Сколько раз я предлагал определиться в этом. Да не надо мне чужого! Отдай мне мой процент! Хоть три десятых процента! Зато я буду знать наперед свою долю.

Беляев напряженно следил за вышагивающим по комнате Комаровым. Следил, злился и молчал.

Комаров же между тем разговорился:

- Постоянный доход, определенный в процентах, повысит мой жизненный тонус. Именно мой. Я наверняка буду знать, что мне отломится от той или иной операции. Мне не нужна твоя, Коля, милость, мол, если у тебя хорошее настроение, ты тогда дашь мне побольше, а плохое... Во всем нужна определенность. Неопределенность мучительна. Сколько я всего сделал, а результат близок к нулю! Вот что меня бесит. Крутишься, крутишься, а все впустую. У тебя, вон, квартира! А я в своей "хрущобе" замучился! Теснотища! Что мне делать. Сам знаю ответ - крутиться. Я и кручусь. Но нужно знать, за что крутиться. Тебе эта мысль в голову не пришла?

Беляев молчал.

- Мне тридцать четыре года, - продолжал Комаров, - а я ничего не нажил! Постоянно хожу без денег. Жена клянчит, а где я ей возьму?! Так что нужно определяться по процентам. Давай пригласим Пожарова, поговорим, определимся по доле участия каждого, установим процентную ставку от дохода и все будет в порядке.

Беляев не реагировал. Он только перестал злиться и теперь, подойдя к окну и откинув занавеску, смотрел на тусклые огни переулка, на заснеженные крыши и ни о чем не думал. Некоторая протрация овладела им с предчувствием хорошего настроения. Это предчувствие не определяется словесно, оно как бы сновидно, ирреально, как падающий снег.

- Ну что ты молчишь! - вскричал Комаров.

Беляев молчал.

- Неприятно то, что я говорю?

- А что ты говоришь? - как-то задумчиво отозвался Беляев.

- Я говорю... Ты что, не слушаешь?!

- Слушаю, но не понимаю.

- За кого ты меня держишь? - спросил Комаров и остановился в напряжении.

- Я тебя не держу.

- Ах, вон как ты заговорил. Как тачку брать - Комаров! А как долю праведную выколачивать - это он не слышит. Хорошо устроился! Слушаешь только то, что тебе нравится.

- По-моему, это ты едешь на собственной тачке, а не я, - сказал Беляев, продолжая смотреть в окно. - У меня своей машины нет.

Сердце Комарова забило тревожно: не намек ли это на то, что Беляев отберет у него машину? В отстаивании своего процента дохода Комаров как-то забыл про машину, как будто ее и не было. Что имеем, о том не помним. А машина была! Записана на Комарова.

Стало быть, что же это он, Комаров, прибудняется? Ведь он же знает характер Беляева: нахрапом у него ничего не возьмешь. Нужна постепенность, даже определенная хитрость, чтобы что-то от Беляева получить.

Комаров сменил тон:

- Ну что, займемся елкой?

- А когда будем заниматься собой? - спросил Беляев как бы между прочим совершенно будничным голосом.

- В каком смысле?

- В смысле постижения последних вопросов бытия, - тем же тоном сказал Беляев и сел за свой письменный стол.

- Ну и как же мы их будем постигать? - спросил Комаров, удивленно взирая на Беляева, хотя внутренне порадовался тому, что разговор ушел от скользкой темы машины.

- А как люди вообще что-либо постигают? - вопросом на вопрос ответил Беляев и включил настольную лампу, которая ярко осветила белый лист, которым был накрыт стол.

- Ну... разговаривают или читают...

- Или думают.

- Ну давай посидим, подумаем.

Беляев выдвинул ящик письменного стола, машинально взял оттуда ножницы и стопку бумаги для заметок.

- Ты в каком году родился? - спросил Беляев и разрезал одну бумажку.

Удивленно пожав плечами, Комаров ответил:

- В том же, что и ты.

- Я тебя спрашиваю.

- В сорок шестом.
- От Рождества Христова?
- Наверно, - неуверенно сказал Комаров.
- Ты хочешь сказать, что ты родился в первом веке.
- Нет... Я родился в двадцатом веке.
- С чего это ты взял?
- В календаре напечатано! - выкрутился Комаров.
- А кто печатал-то?
- Люди печатали.
- Угу. А, может быть, ты в миллион триста тридцать шестом году родился? - очень серьезно спросил Беляев.
- Это с какой стороны считать.
- Считаю с какой угодно, - сказал Беляев, разрезая другую бумажку на треугольники. - Ну, с какой стороны тебе угодно считать?
- Мне-то угодно, да вот, хочешь - не хочешь, а в тысяча девятьсот восемьдесят первый год вступить придется, - довольно вятно и полностью назвал год Комаров.
- Беляев с любопытством посмотрел на него.
- Значит, ты признаешь счет времени от Христа.
- Все признают, и я признаю. Что я не русский, что ли!
- Оказывается, дело в малом: признать все то, что до тебя люди напридумывали. Так что же нас держит, чтобы признать откровения тех людей, бывших до нас, иллюзией? Конечно, не так сразу выбежать на площадь и закричать, что все, бывшее до нас - обман. А почему обман? Очень даже много мудрого в этих обманах. Человек мечтает о таких материях, которые противоречат его сущности. Рабский биологический факт мечтает о свободе, хотя против же собственной воли водворен на этот свет. Таким образом, мы завязаны одной веревкой человеческого рабства. Не свободы, а рабства. И все законоуложения - от кодекса до Библии - говорят нам о том, что мы в диком, небывалом рабстве. Главное свойство этого рабства - безволие. То есть я хочу сказать, что как бы мы ни напрягались, мы не можем выйти из биологической предопределенности и биологического течения времени. Вот что я имел в виду, когда спрашивал тебя о твоём годе рождения. Итак, твой год рождения очень приблизителен, условен. Отсчитан от некоего Христа, который, благодаря пропаганде и агитации, внедрен в сознание множества живущих как сверх-

точка отсчета. В чем же тут дело? Во влиянии. Вот оно главное! Не человек, а ткань, подверженная влиянию. В себе это чувствую. Только родился - и уже повлияли! А во влияние входит все: и язык, и Христос, и денежные знаки. Мы песчинки, как и до нас были песчинки! Но каждая песчинка добавляет своего влияния или не добавляет... Но почему одна песчинка Христос, а другая Комаров?!

- Ну, а чего ты сразу - Комаров! Может, Беляев?

- Пусть будет Беляев. Но в данности - равенство. Вот в чем дело! Это-то ты уясняешь?

- Не очень.

- Почему?

- Да потому, что Христос это ого-го! - при этих словах Комаров возвел очи к потолку. - Он же Бог, а кто я или ты?

- Ну, началось выяснение. Я же тебе сказал, что Комаров и Христос абсолютно равны!

- Нет.

- А я говорю - да! С оговорочкой малой - равны изначально, как песчинки, но абсолютно не равны по степени своего влияния на людей, на массы. И главное наше безумие заключено в том, что ни Христос, ни Комаров, ни Беляев не вольны в самих себе. Степень влияния - это одно, а вольность в самих себе это другое. То есть, я хочу сказать, что мы рабы биологической цепи. Христос родился тогда и только тогда, как генетическая комбинация, отведенная ему во времени, и мы так же. И дети мои... Это я с Лизой соединился, и родились они. Теперь дети могут быть хоть Христами, хоть Гениями Последней Инстанции. Все дело в идее, ее универсальности и степени пропаганды и агитации. То есть влиянии на массы. Но, увы, время упущено. При всеобщей координации удельный вес богов сокращается. Впрочем, я далеко хватил - по богам. Тут, в этой жизни, и без богов разобраться можно. Главное понять два фактора - влияние и степень извлечения доходов. По моему, тебя крайне интересует последнее.

- Кого доход не интересует?

- Отвечу. Мертвых. Неродившихся. Остальные так или иначе интересуются доходом. Доход может быть материальным, идеальным и трансцендентальным. Девяносто девять процентов из ста интересуются только доходом материальным, выраженным в денежных знаках, квартирах, колбасах, шубах... В силу общей чело-

веческой заземленности, то есть привязанности ко времени и месту, как то зима, северный ветер, извлечение материального дохода так или иначе необходимо буквально или поголовно всем, и все, опять-таки же, в силу способностей, таланта занимаются этим извлечением дохода. Кто из чего. Один идет, как раб Господен, в шесть утра к своему токарному станку, другой - за руль, третий - к своим мозгам. Вот этот - третий - нас интересует больше всего. Ибо мы свой доход, товарищ Комаров, извлекаем исключительно благодаря нашим мозгам. Не так ли?

Комаров пожал плечами, затем неуверенно сказал:

- Это ты вроде бы так, а я, как ты сказал, иду, как раб Господен, за руль.

- Ну да, идешь за руль, шевеля все-таки мозгами. Иначе зачем бы ты стал говорить о своей доле, да еще о каких-то процентах. Для этого, мол, еще и Пожарова привлекать. Эдакий маленький партком собрать, обсудить, проголосовать и поделить. Так вот, товарищ Комаров, запомни, в нашем деле никаких парткомов и голосований не будет. Если как степень влияния я тебя устраиваю, довольствуйся тем, что есть. Не обделю!

Эти слова Беляев произнес с неким торжеством во взоре, не намекая, а прямо указывая Комарову на то, что он бездарен и беспомощен без Беляева.

Комаров это уловил, но виду не подал. Если уж быть хитрым, то нужно быть хитрее самого Беляева.

- Я понимаю, что не обделишь, - все-таки сказал Комаров, - но жене все мало. Я и сам понимаю, что в семье расход большой, но уж она очень много тратит.

- Видишь ли, - начал Беляев, - деньги для того и придуманы, чтобы они крутились. Ошибаются те, которые хотят задержать их у себя, как воду в плотине. Но и в плотине нужно сделать отверстие, чтобы спускать воду, чтобы через край не пошло и не залило все на свете. Нам нужен хлеб, чтобы есть, нужны деньги, чтобы тратить, нужны книги, чтобы читать, идеи, чтобы их воплощать. Проще - хлеб едим и идеи едим.

- И деньги проедаем! - чуть бодрее прежнего вставил Комаров.

- Чтобы проедасть, нужно добывать, чтобы добывать, нужно уметь, чтобы уметь, нужно уметь, чтобы уметь, нужно книги читать и в процессе чтения мыслить, генерировать идеи, все подвергать сомнению и узнавать, почему люди поддаются одной идее, но

противятся другой? Связующая идея нужна, как некий цемент, основа против свободолюбия каждого отдельного человека. А то он не так поймет свободу, возьмет нож и пойдет, радуясь свободе, резать других. Э-э... Тут цемент нужен для непросветленных, некая узда на стадо нужна. И я в узде, и я признаю законы и в этой узде-то, по этим правилам играя, чувствую огромную свободу действий. В клетке-то оно свободнее. Но когда сам распоряжаешься своей клеткой. И ключик у тебя в кармане. Сам свой тюремщик. Иначе нельзя.

- Свой ключик - это хорошо, - согласился Комаров. - Да вот все в каком-то напряжении живешь, страдаешь, переживаешь. Утром выйдешь на улицу - тоскливо. Погода мрачная, снег на улице грязный. Россия! Так и думаешь, что согнали нас сюда когда-то греки или римляне. Им-то хорошо жить - море, солнце, тепло и все такое вместе с виноградом. Самая большая в мире страна. А толку?! Снег, грязь, холод. Месяца два в году тепло и все! Все наши победы - одно сплошное поражение. И Россия наша - несчастная страна грязных снегов. Машина не заводится. Аккумулятор подсел. Утром крутишь-крутишь! Холод, мрак! В общем, когда шел дележ земель, Россию обделили. Или мы страна каких-то изгнанных, каторжников?! Те же греки древние или римляне ссылали сюда своих уголовников... Вот от них и пошло-поехало.

Беляев не спеша резал бумажки ножницами, слушал и внутренне радовался тому, что разговорил Комарова на высокий лад и тем самым сбил с него азарт в доходной части бытия.

Глава XXVIII

Он уже им стал. Вторым секретарем райкома КПСС. Два дня прошло. Как и обычно, была зима и падал снег. Чистые белые крыши из окна квартиры Скребнева казались ангельскими крыльями.

- Коля, помни одно - я с тобой! - воскликнул Скребнев, срывая с шеи галстук.

В квартире было жарко, а водка была еще жарче.

Беляев смотрел на заснеженные крыши и причмокивал губами. Он был глянцевито выбрит, в новом костюме, прям и немного пьян.

- Я с тобой! - повторил Скребнев и налил по целой. - Давай!
Беляев молча сел в кресло, поставил рюмку на колено, поднес к губам и, ухватив рюмку зубами, откинул голову и без рук выпил.
Скребнев постарался повторить то же самое, но облился.
- Вова, - обратился к нему Беляев, - вот этим я от тебя отличаюсь. - И закусил.

Скребнев закашлялся и прослезился.
- Ладно, ты пошел в гору, - после паузы, промокая полотенцем водку на груди, сказал Скребнев. - Объехал меня, так сказать, на повороте...

Он замолчал и долго, не моргая, смотрел прямо в глаза Беляеву. Но тот не только выдержал вполне спокойно этот взгляд, но заставил этим взглядом опустить глаза Скребневу.

- Вова, я тебя не объезжал, и ты меня не объезжал, - заговорил Беляев, ощущая приятнейшую теплоту в душе. - Никто, никогда и никого не объезжает. Это ты должен знать.

- Объехал, - сказал Скребнев.
- Ерунда...
- А я говорю - объехал! И почему я, дурак, тогда на конференции не выступил?! Все некогда, некогда, некогда... Беляев вот хорошо выступает. А Беляев и рад, залез на трибуну и давай шарашить без бумажки! И откуда ты такой взялся, а? Коля, а? Ты же не веришь в то, что говоришь. Ну, сознайся, а?!

- Ерунда...
- Нет, Коля, это не ерунда. Сознайся?! А?
- Как-то ты, Володька, примитивно мыслишь, - вздохнул Беляев. - Мне иногда кажется, что ты не осознаешь своей тупости...
- Чего?! - вскричал Скребнев.

- Наливай! - тут же отреагировал Беляев и, последовав примеру Скребнева, стащил с себя галстук.

- Правильно! А то... Ты у меня договоришься! Как дам в лоб! - Скребнев пьяненько рассмеялся. - Тупости... Был бы я секретарем парткома! Тупости...

Выпили. Беляев продолжил:
- Именно тупости. Если бы ты знал, что ты туп, и как бы со стороны смотрел на свою тупость, то ты бы эту тупость мог бы продуктивно использовать. Я говорю о степени анализа трансцендентного в себе.

Скребнев встряхнулся, спросил:

- Анализа чего?

- Трансцендентного, - внятно повторил Беляев.

- Первый раз слышу.

- То-то и оно, - вновь вздохнул Беляев. - Ты, Вовчик, отгородился от непрофильного. Трансценденция - это непрофильность! А я, скажу тебе по секрету, непрофильный человек. Я сам себя вывел из профиля. Понимаешь, о чем я глаголю?

- Более или менее. Только меня уличать в тупости - глупо. Я Шекспира читал. Не всего, конечно. Но "Гамлета" от корки до корки.

- Очень слабая пьеса. Примитивно слабая, - мягко сказал Беляев. - Впрочем, написана специально для секретарей парткомов: быть или не быть. Это вопрос для профильных людей, не могущих выйти из сущего в ничто. В великое Ничто! По сути дела, Вовчик, мы с тобой ничто. Влияние потока вечности.

Захихикав и потеряв руки, Скребнев съязвил:

- Ты как налим, скользкий! Болтаешь, болтаешь, болтаешь, а о чем болтаешь, ей Богу, не пойму!

- А зачем ты все хочешь понимать? Ты что, из каждого понимания извлекаешь выгоду? Что толку, что ты понимаешь, что земля крутится вокруг солнца?!

Скребнев оживился, видимо, от понимания предметности вопроса.

- Ну, хотя бы знать о том, что солнце взойдет с востока.

- Ничего другого я от тебя и не ожидал услышать, - в который уж раз вздохнул Беляев. - Какое солнце?! С какого востока?! Когда я тебе сказал, что земля крутится вокруг солнца. Значит, земля подъедет к солнцу с запада!

- Как это? - задумался Скребнев и забормотал: - Одну минуту... Правильно. Солнце... если восходит с востока по отношению к наблюдающему... то есть ко мне, - он поднял рюмку, приняв ее за солнце, а вилкой стал крутить вокруг нее, - выходит, что земля... подходит к солнцу...

- С запада, - подсказал Беляев.

- Нет, подожди, я сам разберусь... земля крутится у нас как? Вот так, по часовой стрелке...

- Кто тебе сказал?

- А что, разве не по часовой? - удивился Скребнев.

- Это - откуда смотреть! - усмехнулся Беляев и выковырнул из банки вилкой крепкий соленый огурчик.

- А откуда я еще могу смотреть?! Я могу смотреть только из эсэ-эсэра... Да, - провел он вилкой по часовой стрелке вокруг рюмки, - в этом случае мы подъезжаем к солнцу с запада... М-да, что за бред... Так мы, значит, с запада на восток едем с одной стороны, а потом с востока на запад с другой и, выходит, при вращении самой земли по часовой стрелке мы солнце ранним утром увидим... слева. Так. А слева у нас все-таки восток, если стоять спиной к экватору, а лицом к северному полюсу... Подожди... А если я буду стоять на солнце и смотреть на землю, то... А как я буду стоять, вверх головой или вниз головой?

- Мы сейчас сидим вниз головой, - сказал Беляев, похрустывая пупырчатым огурчиком.

- Это почему же... Ах да, относительность... - Скребнев смахнул пот со лба.

- Очень слабенкая теория, - сказал Беляев, поморщившись. - Эйнштейн - дилетант.

- Ого!

- Он не проникся литературной гипнотичностью героизма. Человек по рождению - ничто, вакуум, всасывающий все бывшее до него, и наиболее успешно всасывает тот, кто не верит ни одному предшествующему персонажу. Стоит лишь какому-нибудь из них поверить, как идет отрицание других, а стало быть, закрывается всасывающая заслонка. Человек подпадает под влияние. Он - загипнотизирован. Мысль сковывается. Движение остановлено. Поверить всему сразу невозможно. Абсурд! - Беляев говорил с чувством, все тело его подергивалось. Наконец он вскочил и торопливо заходил по комнате. - Все в мире построено на недоверности. Все абсолютно. Ты - Бог, я - Бог, он - Бог! И все мы - миф, легенда, воздух, вакуум! Вам, господа присяжные заседатели, доказательства требуются. Пожалуйста - литературные персонажи! Вот они! - вскричал Беляев, резко выкидывая руку в сторону книжных полок. - Ленин, Гебельс, Магомет, Ваншенкин, Аристотель, Чичиков, Христос, Евгений и бедная Лиза в придачу!

- А при чем здесь Ленин! - тормознул его Скребнев.

- А при том!

- Да он же в мавзолее лежит, чудаков человек! - возразил Скребнев, наливая по полной.

- Да, ты прав. Там лежит Ленин, - скороговоркой проговорил Беляев, схватил рюмку и моментально поставил ее на стол. Пус-

тую. - Именно, Ленин лежит там. А позвольте вас спросить, господин хогоший, - тут уж у бегущих слов Беляева появилась ленинская интонация и "букву "р" не произносит", - да-с, позвольте спгосить, где в настоящий момент пгебывает товагищ Ульянов?! Да! Где пгебывает товагищ Ульянов?

- Там же! - подтвердил Скребнев, качнулся и икнул. - Ладно об этом. - И прижал палец к губам. - Ты мне лучше скажи, возьмешь меня на завотделом строительства?

Остановившись посреди комнаты, Беляев устался на стол, где поблескивала льдинками хрустальная ваза с яблоками. Так она хорошо поблескивала, как елка, что Беляев невольно вспомнил, о Новом годе, и какая-то чудесная радость возникла в его душе, и ему стало вдруг легко и беспечно. Он подошел к Скребневу, склонился к нему, обнял и поцеловал, как близкого родственника.

- Вова, если бы об этом просил какой-нибудь хмырь из института, я бы ему, разумеется, вежливо отказал. Но я же не держу тебя за хмыря? - спросил Беляев, распрямляясь.

- Еще бы!

- Так вот, Вова, как я только всю райкомовскую раскадровку уясню, сразу же решу твой персональный вопрос. Сделаем сразу же, как я защищу докторскую.

- Нет вопросов. Ты первый, Коля, идешь. Ты у нас самый сильный ученый. Я вообще, смотрю на тебя и поражаюсь, какой ты сильный ученый, какой ты сильный человек, вот прямо нашей коммунистической закваски, - Скребнев говорил медленно, как и подобает говорить подвыпившим людям, при этом в паузах между словами он скрипел зубами, - такой ты хороший. Все кругом такая рвань - ни выпить, ни поговорить, ничего! А с тобой я, как с родным, обо всем шарашим, про Эйнштейнов и Гамлетов, про солнце и коммунизм. Про баб сколько влезет говорим, - Скребнев остановился, как бы что-то соображая, затем сказал: - Мои будут в понедельник, на лыжах в Истре катаются, а у меня, - Скребнев долго искал взглядом глаза Беляева, нашел и подмигнул, - внизу, в нашем магазине торгашунечка одна есть, во-от с таким задом, - Скребнев округленно обвел руками кресло, в котором сидел, и продолжил: - Мы сейчас с тобой должны... выйдем прогуляться. Иначе нам крышка... Мы пока сухой закон объявляем! - Скребнев хотел встать, но не смог. - У-у, как тяжело на свете сидеть в креслах, - уже промычал он, и голова его упала на грудь.

Между тем Беляев плеснул себе еще водки, выпил, закусив кусочком атлантической, пряного посола, селедки, потер руки и направился к телефону в прихожую.

- Лиза?! - крикнул он в трубку, услышав голос жены. - Я у Скребнева. Мы пьем. Он уже, а я... Лучше я здесь упаду. - И положил трубку.

Поглядев на себя в огромное зеркало, Беляев надел галстук, причесался и почувствовал еще большую игривость в своем организме. Из прихожей он громко крикнул:

- Коммунист Скребнев, партбилет на стол!

Из комнаты послышалось какое-то мычание. Беляев, войдя в комнату, поразился позе Скребнева. Тот сполз с кресла и растянулся на ковре возле стола. Беляев поднял его за плечи и потащил к дивану, на ходу спрашивая:

- В каком отделе работает торгашечка?

- В ба-анано-овом, - промычал Скребнев и, почувствовав мягкость дивана, затих.

В гастрономе Беляев был через две минуты. В овощном отделе торговала какая-то поджарая старуха с папиросой во рту. Когда ее спросил Беляев о полненькой, онаотреагировала криком:

- Тоська, выдь!

Спустя минуту-другую из подсобки выплыла высокая полная женщина лет пятидесяти с сильно покрашенными губами.

- Кого тут?!

- Это я тебя спросил, - сказал почти что шепотом Беляев.

Тоська склонилась к нему вопрошающе, положив локти на прилавок. На ней был грязный белый халат.

- А чего тебе, симпатичный? - улынулась Тоська с придыханием.

От этого придыхания некая дрожь пробежала по телу Беляева, и он тупо уставился на оттопыренный тяжелой грудью халат. Через долю секунды, как бы очнувшись, Беляев сказал:

- Я от Володи, сверху.

Тоська зарделась. Беляев продолжил:

- Мы там вздрогнули с ним по поводу моей новой работы. Ну и, разумеется, не хватило. - Беляев обвел быстрым взглядом магазин и вновь уставился на Тоськину грудь. - Вина бы бутылочек десять, хорошего, а у вас в магазине, смотрю, нет.

- Не волнуйся, как тебя?

- Коля.

- Не волнуйся, Коля. Давай деньги и подожди на улице.

Беляев выделил нужную сумму и вышел на воздух. Смеркалось. Огромное багровое солнце скрылось за горизонтом, но край неба угадиво полыхал. Шел медленный, как бы нехотя, снежок.

Тоська появилась мигом, в искрящейся шубе и в такой же искрящейся папахе.

- Держи, Коля, - сказала она, поблескивая золотым зубом, который Беляев только что заметил, и протянула ему тяжелую хозяйственную сумку с позвякивающими бутылками. - Пойдем, я на минуту поднимусь к себе, мне нужно переодеться.

- Ты же прекрасно одета! - удивился Беляев.

- Мне там, - провела Тоська ладонью по груди вниз, - нужно переодеться.

У пятиэтажки за домом Скребнева Беляев ожидал Тоську минут пять. Она выбежала свежая, с сильным запахом дорогих духов.

- Пошли.

В лифте Беляев, не без волнения, поглядывая на Тоську, сказал:

- Ты красивая!

Скребнев храпел со свистом.

- У вас же море водки! - воскликнула Тоська, оглядывая стол. - Зачем же еще винища набрали, только башка будет трещать!

- Посмотрим. Садись к столу. Тоська села. На ней было цветастое шелковое платье, подчеркивающее всю ее цветастую фигуру.

- Я догоню маненько! - хохотнула она и налила себе фужер водки.

- Догоняй! - разрешил Беляев, терзая Тоську взглядом.

И минут через двадцать Тоська догнала и запела:

Зачем вы, девушки, красивых любите...

Беляев с чувством подпевал и как бы плыл по реке любви, обеспечивающей вечность субъективизма

- Потрогай меня за грудь, что ли! - захохотала Тоська.

И Беляев потрогал.

- Пойдем на кухню! - приказала Тоська.

Она сняла с вешалки свою дорогую шубу и войдя в кухню, бросила ее на пол.

- Раздевайся! - приказала Тоська.

Он как замороженный, приговоренный к любви, смотрел на обнаженную рубенсовскую красоту.

- Ну, что ты никак не справишься со своим ремнем! - прикрикнула Тоська.- Ложись так, я сама!

Через полчаса они сидели за столом, а через час спали в обнимку на кухонном полу.

Утром Беляева тошнило, болела голова, мелко дрожали руки. Он лежал на кухне один, вслушивался в свою болезнь и никак не мог понять где он, что с ним, почему ему так плохо, и почему он всего боится. Так он лежал до тех пор, пока не вошла на кухню какая-то полная пожилая женщина, прямо-таки старуха, сказавшая:

- Коля, плохо?

Он лишь сигнализировал закрытием глаз. И подумал про себя, смутно вспоминая вчерашний день, неужели он совокуплялся с этой старухой. Она вышла, но мигом вернулась с фужером водки и соленым огурцом.

- Я не-е бу-уду, - простонал, едва отмахнувшись слабой рукой, Беляев. - Я никогда на другой день не-е бу-уду...

- Как миленький будешь! - приказным тоном сказала старуха и приподняла ладонью голову Беляева. - Пей немедленно! Смотри, на кого ты похож! Стыд и срам. Совсем зеленый! - Она стала заливать ему в рот водку.

Водка не хотела идти внутрь, наталкивалась на плотины, но старуха упрямо заливала ее в рот, пока что-то не открылось в Беляеве и он не проглотил целый фужер, тут же зажевав его огурцом.

- Теперь лежи тихо, не шевелись! - приказала старуха и ушла.

Сначала Беляев почувствовал огонь в желудке, потом ощутил прилив крови к голове. Через минут пятнадцать вдруг все исчезло. Не все то, что радовало, а все то, что болело. Тело стало легким, воздушным, хотелось радости, праздника.

Беляев быстро поднялся, заскочил в ванную, умылся, побрился и причесался.

С порога комнаты он с улыбкой и довольно громко промолвил:

- Я человек праздничный!

Скребнев и Тоська, сидевшие за столом спиной к двери, обернулись и захлопали в ладоши. При этом Скребнев столкнул рюмку

на пол. Тоська тут же нагнулась и подняла ее. Рюмка не разбилась,

- А вот мы сейчас и устроим праздник! - поддержала Тоська. - Сегодня же Введение!

- Вот-вот! - радостно пробурчал Скребнев, наливая по полной.

Когда выпили, Тоська сразу же похорошела и стала в глазах Беляева такой же привлекательной, как накануне. Она встала из-за стола и сказала:

- Вы тут посидите, а я сейчас горячего приготовлю!

Как только она удалилась, Скребнев спросил:

- Я вчера ничего такого себе не позволял?

- Да вроде, нет, - сказал Беляев.

- Еле встал, - пожаловался Скребнев.

- Не говори! Я тоже.

- И чего мы завелись, - сказал Скребнев. - Ладно, сегодня еще попьем для поправки и амба! Завтра жена придет.

- Амба! - согласился Беляев.

- А эта где спала? - спросил Скребнев, кивая в сторону кухни.

- Как где? - не понял Беляев. - С тобой, наверно.

- Да что ты! Я как труп один на диване валялся...

- А я на кухне на полу, - сказал Беляев, - чтобы вам не мешать...

Помолчали, затем выпили.

Тоська принесла горячее: картошку с антрекотами. Под это дело хорошо выпили и запьянели. Хотелось петь, шуметь, говорить. Скребнев вдруг стал долго и нудно говорить о том, как он руководит институтом и воспитывает студентов.

Беляев слушал, слушал, слушал, затем как заорет:

- Что говорил Заратустра?!

Стекла задрожали от этого душераздирающего вопля. Тоська побелела и ее изнутри охватил страх. А Скребнев вжался в кресло.

Беляев уже стоял в центре комнаты, нервно сжимал кулаки и, трепеща всем телом, напряженно смотрел на сидящих, как будто хотел сейчас же убить их. Ножа ему не хватало в руке.

- Я повторяю вопрос, - медленно, с дрожью в голосе, но все же с известной долей металла, проговорил Беляев: - Что говорил Заратустра?!

Тоська и Скребнев немного приободрились.

- А черт его знает, что он там говорил! - отмахнулся было Скребнев.

Беляев вновь прокричал:

- Что говорил Заратустра?!

В паузе он увидел, что Тоська и Скребнев опять напугались. Тогда он сбросил обороты, шагнул к столу и, улыбнувшись, разъяснил:

- Так! Так говорил Заратустра! То есть, когда я выкликаю призывно вопрос: "Что говорил Заратустра?!", вы тут же хором отвечаете сначала: "Так!", а через антракт добавляете: "Так говорил Заратустра!" Ясно? Есть восторженные вопросы?

- Вопросов нет! - сказала Тоська, облегченно вздыхая.

- Тогда репетнем, - сказал Беляев и без предупреждения вскричал пуще прежнего: - Что-о-о го-оворил Заратустра-а-а-а?!

- Так! - как танковый залп, грянул Скребнев, а Тоська запоздала.

Беляев прошелся по комнате, набычившись, как бы оценивая качество услышанного ответа.

- А ну еще раз! - приказал Беляев и на смертельно высокой ноте проскулил: - Что говорил Заратустра?!

- Так! - в унисон бухнули ответ и после малой паузы - добавили: - Так говорил Заратустра!

- Так говорил Заратустра!

- Годится! - похвалил учеников Беляев, сел к столу и как ни в чем не бывало налил всем по полной.

Он поднял рюмку, подумал и встал.

- Итак, я вынужден произнести небольшую речь, поскольку вижу, что праздник, не начавшись, может печально закончиться. Времени у нас, - он взглянул на часы, - десять часов и эти десять часов мы должны провести в карнавальном веселии. Есть возражения?!

- Нет, - сказала Тоська, хохоча заранее.

- Нет, - сказал Скребнев, принимая праздник.

- Итак, я продолжаю читать тезисы доклада к юбилейной конференции праздничной комиссии, созданной для подготовки к празднованию круглой эллиптической даты введения непосвященных в посвященные в праздники. - Беляев чуть качнулся и плеснул из своей поднятой рюмки водку на цветастое платье красавицы Тоськи. Но Тоська не обратила на это внимания. - Я чело-

век праздничный! Я вижу жизнь не как уныние, а как великое магическое поле своего вечного праздника. Но праздник - это не значит полудурковатое веселье. Праздник - это нечто возвышенное! Нас здорово дурачили разные Грозные, Сталины, Христы...

Беляев на мгновение замер, почувствовав, что отец вошел в него в эту минуту, отнял его голос и воткнул свой, более ядовитый. И уже, казалось Беляеву, не он говорит, а говорит отец. И она никак не мог остановить отца. Он и сам как будто вылетел из своей оболочки, сидел на люстре и смотрел на себя, стоящего под этой люстрой и говорящего голосом отца:

- Мы рабы авторитетов. Любой, овладевший гипнотизмом слова, способен повести стадо человеческое за собой. Но я предостерегаю вас от этого...

Беляев сопротивлялся отцу, и когда тот хотел высказаться о писателях, которые суть евреи, Беляев откусил голос отца, переборов в себе отца, увел тему в сторону, но в какую-то другую, не предполагавшуюся им для этого праздничного слова. Беляев вновь возвысил голос до крика:

- Я - Фидлер! Сотрудники НКВД - ко мне! Смирно!

Скребнев не отводил глаз от бледного, по-волчьи злого лица Беляева. А тот вдруг затих, выронил рюмку и зарыдал. Так стонут деревья во время урагана.

Тоська вскочила и прижала его голову к своей груди. Через минуту-другую Беляев успокоился, махнул рукой, сел за стол. Скребнев моментально налил ему полную. Выпили, закусили. Беляев улыбнулся Скребневу и закурил. Ему вдруг стало нестерпимо хорошо в этом кругу. Не хотелось ни говорить, ни спорить, а просто вот так сидеть, наслаждаться покоем и курить. Беляев как бы окончательно похмелился, сбросил с себя груз вчерашнего, протрезвел. И новый день увиделся им через прозрачные занавески. Небо было синее, светило солнце и виднелись снежные крыши.

Хорошо.

Он был совершенно трезв, как льдинка, как хрусталь.

И ему хотелось веселья. Не ему самому даже, а тому, кто был в нем сейчас и руководил им. Значит, отец временно исчез. Это приятно. Беляев встал, походил по квартире, как бы что-то придумывая. Скребнев о чем-то весело и беззаботно трепался с Тоськой.

Наконец Беляев увидел хозяйственную сумку с вином. Подумал. Направился в ванную, взял таз, эмалированный. С тазом и с

сумкой вошел в комнату. Поставил таз на пол. Взял нож, чтобы срезать с бутылок полиэтиленовые пробки. Срежет пробку и стоит - льет вино в таз. До краев наполнил.

Скребнев с Тоськой молча наблюдали за ним.

Беляев встал на колени и принялся лакать вино из таза. Тут же Тоська присоединилась. Она лакала так смачно, что Скребнев не заставил себя ждать.

- До дна! - изредка кричал Беляев, давая себе передохнуть.

Толкались головами, хотя таз был довольно-таки широкий, хотали, сопели, булькали.

- И я не отрицаю в себе животность, - в паузу мягко заметил Беляев.

- А хорошо! - вопила Тоська.

Потом как-то все стало гаснуть и, как бы сопротивляясь темноте, Беляев выкрикнул в эту темноту:

- Что говорил Заратустра?!

И далеким эхом из этой темноты донеслось:

- Так! Так говорил Заратустра.

Глава XXIX

- Заратустру зарезали как собаку туранцы во взятом ими Балхе две с половиной тысячи лет назад, а ты тут сидишь и заратуструешь! Все вы, заратустры, убегаете от жизни, как только понимаете, что не можете пробыть в этой жизни среди равных вам по рождению людей, убегаете в отрицание устоявшегося быта, сшибаете с пьедесталов богов, как будто в богах все дело. Дело в людях, создающих этих богов. Но ты, Заратустра, на Бога не тянешь. Нет, не тянешь, - усмехнулся Беляев, более или менее приходя в себя после пьянки.

Отца неприятно волновало, что сын ввалился к нему вчера поздно вечером в состоянии положения риз. То было словно во сне или в бреду, отец никак не мог поверить в то, что сын напьется, как и он напивался. Зеркало! Отвратительное зеркало. Отцу неприятно было смотреть на самого себя. И сейчас, когда витийствовал поправившийся водкой сын, отец как-то съезжился, дыхание стало

тяжелым и частым, все тело болело от усталости, и почему-то слезы потекли у него по лицу. Жалко было сына. Отец и не предполагал, что вся его, как он сам называл, “сволочная” сущность передается сыну. А почему она не должна была передаться сыну, если он двадцать лет выступал перед ним именно в моменты разнузданных пьянок? В этот же момент водка для самого отца была противна, и он не пил, был трезв и стар.

Он смахнул слезы со щек и для успокоения сына, для поддержания беседы сказал:

- Зарезали тело, но не зарезали существа идеи. Впрочем, тот персидский Заратуштра мне менее всего интересен, как и все огнепоклонники. Мне интересен тип человека Заратустры, каковым и я сам являюсь. Это тип - отбросок общества.

Беляев что-то промышчал, желая попасть вилкой в огурчик, который плавал на дне большой банки и никак не хотел попадаться на острые зубцы. Беляеву даже показалось, что это какой-то живой огурец, вроде головастика, которых он в детстве, в пионерлагере, ловил собственным чулком, когда чулок походил на змею, съедающую будущего лягушонка в крапинку, пупырчатого как маринованный огурчик, который не хотел попадаться на вилку.

- А я - сердце и ум общества, - сказал Беляев, проткнув огурец.

Он поднял вилку с огурцом и долго смотрел на него, как бы прикидывая, откусить сразу или после рюмки. Решил - после рюмки, и выпил. Водка показалась слишком сладкой и слабой. И огурчик не подчеркнул ее свежести.

- Люблю я тебя, отец! - воскликнул Беляев и полез обниматься, что особенно было неприятно отцу, но он терпел.

- И я тебя люблю, - тихо сказал отец, когда Беляев отстранился. - Как же я могу тебя не любить, когда ты мой ребеночек. Я смотрю на тебя и не верю, что ты мыслишь, говоришь, живешь, действуешь в этой проклятой жизни. И я боюсь за тебя.

- Почему?

- Потому что и ты умрешь! - всхлипнул отец. - Все мы смертники на этом свете, и все утешаем себя, что каким-то образом будем жить на небесах, Страшно, страшно мне, Заратустре!

Беляев слушал своего отца и вспоминал, как когда-то, много-много лет назад, во сне, он увидел себя в красном гробу, проснулся в ужасе и с криком, после чего мать никак не могла его успокоить и он не мог заснуть до самого утра.

- Подбадривать нужно себя, подбадривать, - сказал Заратустра. - Все религии и все философии мира - род подбадривания. Я чувствую, по себе чувствую, что человек от рождения очень печален. Эти чертовы мысли о смерти преследуют меня всю жизнь. А я все живу, живу, живу и никак не доживу до могилы...

- Живи пока, - сказал Беляев.

- Живу и ничего не понимаю, хотя напихал в свою память всякую всячину - Сократа, Ницше, Христа, Аристотеля, Платона, Шопенгауэра, Сервантеса, Толстого, Конфуция, Чехова, Сартра, Достоевского, Моисея, Марка и Иоанна, Заратустру, Монтеня, Эпиктета, Аврелия, Будду, Эразма Роттердамского, Франциска Ассизского, Паскаля, Джона Рескина, - имена вылетали из уст отца, как из автомата, - Лессинга, Чаадаева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Кропоткина, Карлейля, Магомета, благодаря тебе - самиздат и тамиздат, и "Пирсы Валтасара" Искандера!

Выстрелив именами, отец встал, хрипло закашлялся и закурил.

- А что говорил Заратустра? - с некоторым пьяньским ехидством спросил Беляев, наливая себе очередную рюмку.

- Так! - умышленно взвизгнул отец, чтобы поддержать уровень хорошего самочувствия сына.

Беляев не удовлетворился ответом.

- Заратустра говорил, - начал Беляев, - что не обрабатывающий землю будет вечно стоять у чужих дверей с протянутой рукой, вечно будет пользоваться отбросами богатых.

Говоря это, Беляев как бы намекал на бездеятельность отца и подчеркивал то, что он сам, Беляев, достиг в жизни всего, что доступно человеку в его положении. Однако и у Беляева оставалось сомнение, не все было ясно, чего-то еще недоставало, и все еще казалось, что у него нет чего-то самого главного, а что такое в жизни самое главное - он не знал. В виде подмены этого главного могли им ставиться какие-то цели, но они для того и ставятся, чтобы их достигать, и как очередная цель достигалась, на месте этого главного образовывалась колоссальная черная дыра неизвестности, что же дальше, что в этой загадочной и одновременно примитивной жизни главное?! И в настоящем, как и прежде, как и много лет назад, волнует все та же надежда на будущее. И в этом будущем, где-то далеко, стоит и светит сумеречным светом сигнальный огонек смерти.

Заратустра вдруг преобразился, принял величественную позу, такую позу, когда все люди кажутся маленькими, испуганными и виноватыми, и отчеканил:

- Так! говорил Заратустра! Через тебя, семя мое, я обрабатываю землю и повелеваю людям быть послушными мне!

- Молодец! - вскричал Беляев. - Ты - гениальный человек, Заратустра, что замешал меня на еврейской крови!

После этого Беляев, как и Заратустра, прослезился и долго от волнения не мог выговорить ни слова, затем встал, подошел к отцу и стал страстно целовать его, как единственную в жизни драгоценную душу.

- Ад скрыт за наслаждениями, а рай - за трудами и бедствиями, - зашептал он на ухо отцу. - Но уж очень привлекателен ад!

- Не познавший ада - не узнает и рай, - сказал отец.

Он усадил сына на место, а сам зажег газ и принялся готовить ему горячий завтрак. Вчерашнее картофельное пюре, которое он замешивал на кипяченом молоке, выложил на горячую сковороду, положил сливочного масла, рядом с пюре устроил две сосиски и разбил на них три яйца, аппетитно глянувшие тремя солнышками желтков.

- Все живое боится мучений, - сказал Заратустра, - все живое боится смерти. Это я какой-то выродок, уже умер, а все живу.

Он положил на тарелку горячую еду и поставил ее на стол перед сыном.

- Как гудит у меня голова! - сказал Беляев.

- Пройдет.

- Я знаю, что пройдет, но знание не успокаивает.

- Поешь, легче будет.

- Не идет в меня еда.

- А ты - потихоньку, - посоветовал отец.

Беляев подцепил вилкой яйцо и поднес ко рту, затем усилием воли заставил себя проглотить насильно это яйцо.

Посидев некоторое время молчливо, Беляев вдруг встрепенулся, как бы что-то вспоминая, и сказал:

- Заратустра, отведи меня домой. Я больше не желаю пить! Отведи меня, а то я могу и возжелать. Отведи меня домой. Сам я могу не дойти, а моя Лиза не знает, где я и что со мной.

Отец с некоторой приподнятостью пожелал помочь сыну одеться, но тот сам, как бы трезвея от поставленной ближайшей

цели - попасть домой, - ловко попал руками в рукава новой дубленки.

- Говорит Первый - посидим вечерок. Ну и посидели - недельку! Он пьет и не пьянеет! Я упаду, засну, открою глаза, а он сидит за столом как ни в чем не бывало. Бывают же такие русские типы! Бочками пьют и не падают!

- Ты мне о Первом ничего не говорил.

- А что о нем, борове, говорить, - махнул куда-то за стену рукой Беляев. - Млекопитающее. Плохо говорит на родном языке, книг не читает, охотник. Говорит, что любит охотиться на уток, гусей и кабанов. Стрелять лучше всего в глаз. Пили, а он все мне про этот глаз! Думаю, что он и человеку, ближайшему родственнику гуся и кабана, в глаз запросто выстрелит!

Отец оделся и они вышли на улицу.

Светило солнце. Сверкал серебром снег. Близился Новый, 1982 год.

От солнца и синего неба Беляев повеселел.

- Как хорошо дышать морозным воздухом! - воскликнул он. - Надо отходную сделать! - добавил он твердо и потащил отца к Краснопролетарской улице.

Отец повиновался и, когда, увидев церковь, понял замысел сына, как-то подтянулся и расправил плечи.

Сняв шапки, вошли в церковь.

Шла служба. Беляев стал страстно, даже неистово креститься. Отец тоже хотел наложить на себя крестное знамение, но рука не поднялась, словно окаменела.

Заратустра остановился перед большим образом, ярко написанным на золотом фоне, и прислушался к пению.

Пели простые женщины, одетые скромно, в платочках, подвязанных под горло.

Пели они плохо, вразнобой, и чувствовалось, что они не понимают того, что поют.

Беляев купил свечу, зажег ее от другой свечи, как его жизнь зажглась от жизни отца и матери, поставил в подсвечник, и крестясь часто, как заведенный, хотя до этого ни разу не крестился так, и не был крещен вообще, повторял:

- Господи Христос еврейской крови, во мне тоже течет кровь пастухов и Моисея, я русский еврейского происхождения, я и еврей русского происхождения, убереги меня от ада земного, не дай

мне сил впадать в разнузданный образ жизни, отведи от меня чашу с водкой. Очень прошу, отведи!

Закончив столь своеобразную молитву, которую он проговорил тихо, как бы про себя, еще раз перекрестился и, не глядя на Заратустру, вышел из храма.

Отец нагнал его и взял под руку.

- Ты веришь в Христа? - спросил с удивлением отец.

- Надо поверить, - каким-то странным голосом сказал Беляев. - Я бессознательно почувствовал, что надо поверить. Это неплохая традиция. Можно не называть Бога, не произносить его имени, но не признавать Его нельзя. Как-то все меркнет, если нет Бога. В этом смысле евреи - гении, что создали Христа. А все остальные заратустры - плагиат! Во всяком случае для меня. Где храмы твои, Заратустра?! - вдруг закричал на всю улицу Беляев, так что прохожие стали останавливаться.

- Потихе, - попросил отец и продолжил: - Мои храмы - колючая проволока, мои верующие - зэки, мои пастыри - конвоиры. Вот какие храмы у Заратустры.

- Врешь! - громче прежнего вскричал Беляев. - Ты, мелкая душонка, ненавидишь евреев! А я - еврей! Да, я еврей. И друг мой отныне не Заратустра, а Христос!

- Прекрати, неудобно, люди же смотрят, - стал уговаривать его отец.

- Пусть смотрят! Пусть видят, как по советской улице вышагивает еврей! Очень хороший человек еврей.

- Ты русский.

Беляев вдруг действительно понял, что на него смотрят, поэтому сам подхватил отца под руку и зашагал проворнее.

- Я двуедин, как острый меч Господа, - прошептал он. - Я могу быть и русским и евреем. И могу запросто доказать, что я - испанец! Ты понял, какую диалектику ты во мне разбудил, Заратустра? Я - сын солнца, властелин Ханаана, плотник Ноева ковчега и Второй секретарь райкома партии! Я - ось времени, и злак полей Иерусалима. Моисей говорил Богу: "Где я найду Тебя, Господи?" - Бог ответил: "Ты уже нашел Меня, когда ищешь Меня".

Глава XXX

Представители исполкома внимательно следили за Беляевым, ожидали, что он скажет по предложенной программе развития района. Беляев не спешил. Он знал, что пауза необходима для управления вниманием. Овладев паузой, Беляев строго поочередно заглянул в глаза каждому присутствующему, причем переводил свой взгляд на следующего только тогда, когда тот, в чьи глаза смотрел Беляев, ни в чем, казалось, не виноватый перед Беляевым, повинно опускал глаза.

Глаза Беляева были как бы неподвижны, но это были живые глаза, однако, которые нельзя было ни полюбить, ни возненавидеть, которые сами по себе не вызывали ни участия, ни сочувствия, ни жалости, ни настороженности, ни одобрения, ни порицания. Этот взгляд Беляева, отвечающий его глубинным, непрофильным установкам, имеющим для самого Беляева статус аксиоматических, которыми он умело пользовался, признавая в себе некий роковой дефект, который в самом общем виде он для себя обозначал как нарушение иерархии способов восприятия “правильного” мира, так вот этот взгляд Беляева повергал в уныние любого собеседника.

Когда это уныние утвердилось, Беляев твердо и внятно сказал:

- Разве я буду возражать против нового жилого строительства? Или двух школ и детского сада? Или развития транспортной сети района? Или введения в строй новых продовольственных магазинов, то есть против расширения сферы торговых услуг? Нет, нет и нет! Поэтому проводить совещания об очевидностях не имеет смысла, они должны решаться в рабочем, плановом порядке. Но коль скоро мы собрались здесь, я должен вас спросить: какой человеческий фактор мы хотим получить, исходя из предложенной программы? Мы хотим получить этот фактор во всех отношениях опрятным, чтоб, как говорится, и лицо, понимаете ли, и одежда!.. А что для этого нужно? Отвечаю - самые современные, по последнему слову, бани! - Беляев в строгости наигрывал, но профессионально, как коммунист, а в глубине души вспоминал дом с мавританским двориком Сандуновских бань, раннее утро, когда он шел с фибровым чемоданчиком и березовым веником под мышкой в эту водную цитадель, по пути прихватывая Комарова с Пожаровым; то был еженедельный ритуал высокой поэзии чистоты и

здоровья, сбрызнутый пивком! Кто был москвич, тот знает, что такое Сандуны! Между тем, Беляев строго продолжал: - Это должны быть не просто бани, это должны быть такие бани, в которые человек бы приходил, как в родной дом, чтобы посидеть в кресле, поговорить с писателем, художником, полюбоваться произведениями живописи и скульптуры, искупаться в бассейне, заглянуть в сауну, а потом и в русскую половину, с парной...

Все это Беляев говорил медленным металлическим голосом без всякого чувства, как и подобает номенклатурному работнику, уверенному в своих силах. И работники исполкома тут же стали конспектировать выступление второго секретаря в своих блокнотах, чтобы это выступление сразу же стало руководством к действию...

После совещания вызвал Первый, сказал:

- Николай, тут мне позвонили насчет инструктора... Ты у меня уже больше года работаешь. Парень ты деловой, ухватистый. Так что вот держи, - он протянул Беляеву записку, - и дуй на Старую. Ты им подойдешь. Претендентов там хватает, но я о тебе звонил.

Первый - Андреич - был сед, упитан, и во всем его облике читалось, что этот человек знает себе цену и место. А его место было здесь, на районе, и он просидел на нем уже двадцать лет. Вторые при нем не задерживались, поскольку он сам быстро подыскивал им работу, как бы этим оберегая свое вечное место. К тому же место это уверенно оберегал весь райкомовский аппарат, на восемьдесят процентов пришедший вслед за Первым двадцать лет назад. В число двадцати процентов новичков вошел полгода назад Скребнев.

К нему в отдел и заглянул Беляев, уже одетый, по пути к своей черной, только что с завода, "Волге".

- Володя, ты не занят? - машинально спросил Беляев. - Меня на Старую вызывают. У меня к тебе дельце.

- Нет вопросов! - отложив бумаги, сказал Скребнев и встал.

Беляев достал из портфеля пачку денег в банковской упаковке и, бросив ее на стол перед Скребневым, сказал:

- Отнеси Андреичу, чтобы я второй раз к нему не ходил.

Скребнев почтительно склонил голову, при этом успев разглядеть на пачке: "10. 000".

- И еще. Возьми на контроль строительство новых бань. Я только что совещание по этому вопросу провел.

Скробнев склонился к перекидному календарю и сделал на нем пометку, которая как раз легла возле даты: "23 декабря. 1982 год". Увидев эту дату Беляев подумал о скором Новом годе, о том, что нужно готовиться к волшебному празднику.

И пока он спускался к машине, мельком заметив, как милиционер на вахте отдал ему честь, думал о Новом годе, о прекрасном ритуале праздника, с помощью которого и его средствами снимаются знаковые проблемы и ставятся надзнаковые, где невозможно противопоставление жизни и смерти, где в душе человека возникают другие коллизии.

Увидев Беляева, Комаров подъехал к подъезду и открыл ему дверь машины. Шел редкий снег, выбеливал серое здание райкома.

Беляев сел в машину.

- Куда? - спросил Комаров.

Ответа не последовало. Беляев продолжал думать о ритуале. Комаров тогда откинулся удобно на спинку сиденья, зевнул и распахнул пошире кожаную на меху куртку. В машине было жарко натоплено.

- Вчера со своей поругался, - сказал Комаров. - По-моему, фингал ей поставил.

- Интересно! - очнулся Беляев.

- Кому интересно, а кому...- буркнул Комаров, поправляя очки. - Сказала, в милицию заявление понесет.

- Не понесет.

- Уверен?

Беляев негромко засвистел и сказал:

- На Старую!

Комаров, посопев, послушно тронулся.

- А чего там? - спросил он.

- Берут на работу в ЦК, - сердито ответил Беляев.

- Екалэмэнэ! - с откровенной завистью воскликнул Комаров. - Не пойму, как ты ломишься?! Кажется, только вчера в школу ходили, а он - в ЦК!

Комаров вдруг улыбнулся насмешливо и жалобно.

- Ты не знаешь, как я мучился весной, когда автобиографию писал. Какая у меня автобиография? Пять строчек. Родился, школу окончил, рулю - и все? И ничего как будто в моей жизни нет. А ты рядом. Институт, кандидатская, докторская, профессор,

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

пять человек детей, двухсотметровая квартира, жена в мехах, дача, денег, как обоев! Язык подвешен, как у вождя мирового пролетариата!

У него показались на глазах слезы, на красном, у светофора, он приподнял очки и смахнул их кулаком.

- Ты видел когда-нибудь самозакрывающуюся книгу? - спросил Беляев.

- Нет.

- Это когда, знаешь, еще в школе, открываешь учебник перед собой на нужной странице, а она закрывается. Или толстую книгу читаешь за едой, а она все время закрывается, пока ты ее не придавишь чем-нибудь. Так и человек. Он закрыт, он в переплете. И не то что кто-то другой желает его открыть, а он сам бы хотел себя открыть на нужной странице, но эта страница тут же захлопывается. И однажды вечером, матери не было дома, я открыл толстую книгу, пока прижимал страницы рукой, читал, а потом отпустил и взял хлеб, я ел, книга захлопнулась и потом я никак не мог найти ту страницу, которую читал. Собственно, когда я читал, я не смотрел на номер страницы. Это так часто бывает, когда читаешь, не видишь этого номера. Я плюнул. Положил книгу на письменный стол, доел, выпил чаю. И потом как будто кто-то заставил сесть меня за письменный стол и, не отводя взгляда, смотреть на эту книгу. По прошествии многих лет, я часто вспоминаю тот момент. Я сидел, как последний идиот, и смотрел на закрытую толстую книгу...

Помолчали.

- А что это была за книга? - спросил Комаров.

- Ты не догадался?

- Нет.

- Это была книга моей жизни! Я сходил на кухню, потом кто-то звонил мне по телефону. Когда я вернулся в комнату, этой книги на письменном столе не было.

*В книге "Так говорил Заратустра",
Москва, издательство "Книжный сад", 1994*

МАЛЕНЬКИЙ

рассказ

Художник, рисующий очень маленькие крестики на очень огромных холстах, лишился нескольких своих картин, потому что доверился американскому коллекционеру, маленькому человечку с длинным носом. А все началось с того, что Гера Ефремов, главный редактор тоненького журнала на скрепках, высоченный и худющий молодой человек, оповестил 1 сентября 1989 года, что из Америки приезжает знаменитый коллекционер, то есть Маленький. Дело было серьезное и Художник решил достойно, не ударив в грязь лицом, встретить Коллекционера (в дальнейшем - Маленького).

Итак, 1 сентября того года, решили встретить Маленького у Горловской, которая жила на Мархлевке и работала у Ефремова ответственным секретарем. Надо сказать, что квартира у Горловской была выдающаяся - бывшая коммуналка, которую удалось полностью выкупить, поскольку у Горловской муж работал в Цэкамоле. Длинный коридор, и направо и налево большие комнаты, а столовая - целый зал с красным роялем.

Ефремов сам поехал в аэропорт встречать Маленького, которого Художник еще не знал, как Маленького, то есть маленького роста, а полагал, что это представительный американец с животом во фраке, в черном цилиндре и с обязательной гаванской сигарой в зубах. Художник помогал Горловской по хозяйству: открывал бутылки, таскал вместе с Поэтом, Дипломатом, КГБешником, Певцом, Журналистом, Телевизионщиком блюда с закусками, стулья, сдвигал столы и до посинения курил на балконе.

- А ты помнишь, он в Манеже скандал устроил? - говорил один.
- А ты помнишь, его бульдозерами? - говорил другой.
- А, кстати, кто сжигал картины из его коллекции?
- Кажется, в крематории на Салтыковке. КГБешники свозили туда картины со всей Москвы, - со знанием дела сказал КГБешник.

Наконец приехал сам Маленький, оказавшийся маленьким евреем, поскольку, как уже сказано, все ожидали большого американца. Маленький не вошел, а вбежал в квартиру и побежал сквозь толпу встречавших прямо в конец, как будто знал, что там находится уборная, но в уборную он не вбежал, а повернув в сторону, ввалился в детскую, где уже спала дочка Горловской. Все начали ловить Маленького, чтобы показать ему столовую и его место, но Маленький вырывался, выскальзывал, как уж:

- Мне некогда! - говорил он на чистом русском языке.

"Эмигрант!" - мелькнуло в голове у Художника.

"Диссидент!" - мелькнуло в головах остальных.

На Маленьком были какие-то детские кроссовки, по всей видимости, мальчикового размера, дудочкой джинсы, потертые, синие (мечта фарцовщиков!) и из грубого полотна ковбойка цвета парусины. Маленький скакал туда-сюда, курил беспрерывно, хлопал каждого ладошкой и восклицал:

- Мне некогда, я бегу. В семь у меня встреча в ЦК, потом в МИДе.

Художник осмелился вымолвить:

- Я бы хотел показать свои работы?!

Маленький скользнул по нему мутными голубыми глазами, скользнул, как по витрине универмага, которая его не интересует, и бросил:

- Завтра в пять утра устроит на 4-й Тверской-Ямской?

- Устроит! - радостно воскликнул Художник.

Маленькому вынесли стопку водки и гриб на вилке; он торопливо съел сначала гриб, а потом выпил водку. Утерся запястьем, сунул сигарету в рот и подбежал к выходной двери. Ефремов убежал с ним, а все облегченно вздохнули и сели выпивать.

Утром Художник взял такси, погрузил четыре своих ударных холста и поехал к Маленькому. Тот уже выбежал из подъезда к машине, легкой, с прицепом. Художник едва успел пожать руку Маленькому, как шофер его машины перекинул картины Художника под брезент кузова. Маленький сел рядом с ним и они исчезли. Художник взглянул на часы: было 5 часов 02 минуты.

Художник зевнул, отпустил такси и поплелся на метро, потому что денег на обратную поездку не было.

От Маленького вестей в течение полугода не было. Художник звонил Ефремову, тот говорил, что Маленький в Америке. Через

полгода Маленький просвистел по Москве за неделю. Художник успел с ним пересечься в Доме журналистов на полторы минуты.

- Как прошла выставка?

- Окей! - на бегу сказал Маленький. - Давайте еще работы!

- А те где?

- Они отобраны на аукцион в Мадрид!

- Куда подвозить новые работы? - спросил Художник.

- Мне некогда! - уже выбегая из ДЖ на улицу к машине, сказал Маленький, на одну секунду сосредоточился и бросил: - Завтра в 6-25 утра у входа в ЦДЛ!

И укатил куда-то. Художник удовлетворенно покачал головой, сочувствуя Маленькому. "Как же они там в Америке вкальвают! - поражался он. - Все по минутам расписано!" И не спеша пошел в бар выпить что-нибудь на червонец...

Через полгода Маленький сам позвонил, появившись в Москве:

- Вы куплены в Мадриде!

- А где деньги?

- Деньги я уплатил за таможенный сбор и за транспортировку ваших картин.

- Ах, да, - понимающе сказал Художник.

Маленький говорил:

- Завтра открываю выставку здесь. Нужны ваши работы!

- Сколько?

- Четыре штуки! - и повесил трубку.

Художник попытался выяснить, где будет выставка, но выяснить было не у кого. Маленький убежал. Художник на другой день узнал и повез картины в пыльный покосившийся особняк на Бульварном кольце, вход со двора. Маленького не было и никто не знал о выставке. Художник прождал часа три, читая "Вечерку". Наконец, вздымая пыль, в плаще, ворвался Маленький, в руках у него была какая-то фанерка, как от посылочного ящика. Он бросил на ходу:

- Вот работа Н. Другие подвели.

Он положил фанерку на подоконник, взглянул на часы и сказал:

- Так, ладно. Вешайте работы. Сейчас что-нибудь придумаем.

И убежал.

Художник повесил свои работы на веревках в зале, больше подходящем на прихожую квартиры в хрущобе, повесил и фанерку художника Н.: все синее и белилами профиль Гоголя.

Часа через четыре явился Маленький бросил в угол два каких-то канделябра-треуха и сказал:

- Скульптуру поставьте как-нибудь повиднее! - и убежал. Через полчаса прибежал, сказал, что больше никого из участников не будет и убежал. Художник позвонил приятелю, тот подвез несколько работ.

На другой день в зале набилось порядочно народу, телекамеры, блицы. Маленький тут перестал бегать. Маленький с видом Наполеона вышел вперед к микрофону и сказал:

- Недавно в Нью-Йорке прошла огромная выставка, организованная мною. Это современное искусство жертв тоталитарных режимов. Сегодня я показываю троих художников, которых угнетал советский режим...

Художник покраснел от такого поворота событий, но никто его покраснения не заметил.

Вечером, в новостях, в разделе культуры, по всем каналам шел материал: Маленький в кадре, крупно, за кадром голос диктора:

- Выдающийся коллекционер, искусствовед организовал в Москве замечательную выставку... Долгие годы железный занавес не позволял...

Утром раздался в квартире Художника звонок, в 6 часов.

- Мой помощник уволился. Мне не с кем везти работы в Нью-Йорк. Не могли бы вы...

Художник воспарил к потолку. Через неделю он летел с Маленьким в Америку. Бесплатно. За Маленького платила авиакомпания. Художник думал, что увидит роскошные апартаменты Маленького, но... От аэропорта едва хватило денег до самой дальней окраины Нью-Йорка. Остановились у какого-то покосившегося то ли контейнера, то ли барака. В тесной комнатке с проломленным полом валялись картины, какие-то узлы, книги, чемоданы. Художник опешил.

- Вы здесь живете?

- А что?

- М-да.

- Я жил на Пятой улице, но развелся. Она оказалась сволочью. Ладно... Побежали.

Побежали в его выставочный зал, больше похожий на овощной ларек с Коптевского рынка.

Художник опустил руки, но ничего не спрашивал. Денег не было. Взять было негде.

- Кому же вы продаете работы?

Маленький даже не ответил, только махнул рукой желтой машине. Поехали в центр. Небоскребы, как в ущелье, улицы. Остановились у какого-то офиса. Маленький сбегал, принес 500 долларов. Отстегнул сотню Художнику.

- И это все? - удивился Художник.

- Все, милый мой! Борьба с СССР закончена, и они закрыли финансирование.

Вернулись в Россию. 1992 год. Инфляция. Приватизация.

Художнику удалось своими силами продать пару холстов банку. Явился Маленький, сказал, что совсем. Жилья у него не было. Он спал в комнатке без окон в Бабушкине. Но по-прежнему бегал, не подпуская близко Художника. Потом попросил Художника свести его с руководством художественного комбината; на ходу, потому что спешил, под проект современной галереи взял 1000 долларов. Тут же отобрал несколько холстов у Художника и укатил на Берлинский аукцион.

Вернулся радостный, сунул Художнику копию с газеты, где воспроизводилась картина Художника. Он хотел что-то сказать, но Маленький убежал.

Года на два Маленький исчез. Появился снова как муж известной актрисы, с которой разошелся через месяц.

- Зачем ты ему даешь работы? - спросил Поэт, когда его случайно у ЦДЛ встретил Художник.

- Да пусть бегаёт по свету. Все же реклама.

Последний раз Маленького Художник видел 1 сентября 1997 года в подвальной конуре в Хлебном переулке, где ему дал возможность ночлега бывший художник, а ныне дворник.

Маленький все так же бежал, опаздывал, не унывал, просил работ для Римского и Амстердамского аукционов, готовил выставку в ЦДХ...

О прошлых делах - ни слова. Правда, сунул Художнику "Вечерний Брайтон", в которой за подписью известного искусствоведа было написано о Художнике в самых возвышенных тонах. А ради этого стоило опять дать Маленькому несколько холстов. Пусть бегаёт.

Да, многие говорят, что так бегают сейчас агенты туристических фирм, говорят вам, что вы что-то уже выиграли, что вам осталось доплатить всего лишь 600 долларов и вы - в Париже!, или агенты, сбывающие оргтехнику, которые лезут к вам на улице с

МАЛЕНЬКИЙ

якобы бесплатными утюгами или телефонами, то есть и с бытовой и другой техникой, говорят - это вам бесплатно, а это - суют коробку вам в руки, за 100 долларов. Очень быстро, моментально, не давая продыха.

Так действует и Маленький. Это его стиль. Раньше в СССР так действовали цыгане на вокзалах. И вот теперь так действуют представители рыночной экономики. Не дать клиенту одуматься, штурмовать его, ошарашить информацией, сделать из каждого покупателя. Однако возникает странная нелогичность: продавцы это делают в целях личного благополучия. Маленький живет в норах, ничего не имеет. Что ведет по жизни Маленького? Непонятно Художнику. Слава? Известность?

А может быть, это подвижничество? Но подвижничество осуществляется за свой счет. Маленький же подвижничает за чужой счет. Ну и что? Какая разница.

Вот он идет на сцену дворца, зал аплодирует, никто его личную жизнь не знает, хотя почти что все что-то слышали о нем. Он останавливается перед микрофоном, постаревший, с сединой и начинает лекцию о тоталитаризме и судьбе художника, о...

Художник с сожалением вздыхает и переключает телевизор на другой канал.

Россия медленно запрягает. Это общеизвестно. Но мало известно то, что Россия непревзойденный мастер затяжных войн. Маленький выдохся. У него нет перспектив в затяжной войне победить. Но уехать в Люксембург или в Лихтенштейн он уже не может. Стар. А в России ему уже ловить нечего. Перестройка кончилась. И лохи перевелись.

Теперь Художник и сам, без посредников, выставляет свои холсты и здесь, и там.

Но это уже другой рассказ.

Круг деятельности Маленького сузился до точки. С прошлого года его уже никто не видел.

ЖЕНА УМЕРШЕГО ГЕРОЯ

рассказ

Посвящается поэту Александру Еременко

Знаменитого Н. в гробу красного дерева с откидной дверцей выставили для прощания на подиуме колонного зала, на сцене театра Вахтангова, в фойе театра на Таганке, на сцене театра Красной Армии, в большом дворце Кремля, в Храме Христа и в доме офицеров московского гарнизона. Очередь выстроилась от пересечения Каширского шоссе с Варшавским, от Дубининской улицы и улицы Щипок до Таганки и Лубянки, от Алтуфьевского шоссе до Дмитровского, от Ленинских гор до Мамаева кургана, от Ваганькова до Еврейского кладбища, от Барвихи до Жуковки, от Шуйской Чупы до Авангардной улицы, где живет Гена Самойленко, от проспекта Вернадского до Переделкино, от Малой Грузинской до Большой Бронной, от улицы Цандера до улицы Академика Челомея, от улицы Академика Варги до улицы Академика Павлова, от Матвеевского до Братеево, от Марьино до Яузских ворот, от Большого Каретного переуллка до Цветного бульвара, от улицы Чаплыгина до Большого Левшинского переуллка, от Зубовской площади до Мытищ, от Якиманской набережной до Староконюшенного переуллка, от Бибирева до Бутова (северного и южного), от Труженикова переуллка до Находки, от Варшавы до Курил, от Гагаринского переуллка до Собачьей площади...

Заплаканная жена знаменитого Н. сидела у гроба с носовым платочком в руках. Семидесятилетняя, покрашенная под тридцатилетнюю, со школьными двумя косичками, с распущенными волосами парижских манекенщиц, с подтянутой кожей щек, поблескивающих, как грузинские яблоки, с золотыми кольцами и перстнями на длинных тонких пальцах, с брильянтовыми кольцами на жирных пальцах с только что сделанным маникюром, с подчеркнута прямой спиной, молодящейся, с набитым ватой бюстгалтером, в лоснящихся новомодных колготках, в туфлях-бульдогах, с не-

русским говором, то ли хохлацким, то ли французским, то ли нижегородским, то ли вологодским...

Знаменитый Н. в дорогом выставочном гробу сделался сразу жалким на фоне этой бой-бабы, этой правительницы мира, этой разнузданной мемуаристки, этой матери нескольких детей-наркоманов, деток, снимающих кино, рисующих картины, пьющих водку, пишущих романы, владеющих газетами, носящих славное имя знаменитого Н. и благодаря этому имени ведущих себя нагло, вызывающе, в замшевых пиджаках, брито-стриженных, усато-лысоватых, барвихо-перedelкинских, коттеджно-мерсовых и джипо-красных, союзно-социалистических и пустопорожне-многословных, сценических и дипломатических, президентско-отельных, американско-свердловских, колхозно-импортных, элитарно-бомжовых, кредитно-долларовых, многосерийно-бездарных...

Жена умершего героя хотела выглядеть величественнее, чем умерший герой. Сколько она знала об умершем такого, что другим и не снилось. Помнится, как знаменитый Н. в трусах, обросший щетиной дрожал после блядства и запоя, умолял ее не уходить и блевал желчью на капот "Победы"; помнится, как он подло летел в МГК КПСС по первому зову вступать в члены КПСС, как пил со Сталиным, с Поскребышевым, с Хрущевым, с Берией, с Брежневым, с Горбачевым, с Николаем II, с Распутиным, с Геббельсом, с Гитлером, с Чубайсом, с Ельциным, с Лившицем, с Березовским, со всеми, падал, пил, а кричал о свободе и демократии и брэнчал на своей паскудной гитаре, мол:

Я пил с Мандельштамом на Курской дуге.
Снаряды взрывались и мины.
Он кружку железную жал в кулаке
и плакал цветами Марины.

И к нам Пастернак по окопу скользя,
сказал, подползая на брюхе:
"О, кто тебя, поле, усеял тебя
седыми майорами в брюках?"

... Блиндаж освещался трофейной свечой,
и мы обнялись спросонок.

Пространство качалось и пахло мочой -
не знавшее люльки ребенок.

А когда знаменитый Н. летал в космос, она испрямила в гордости свою спину так, что все падали ниц, ниц, ниц, чтобы вспомнить о Ницце, о Ницше и о Неточке Незвановой, а он на грузовике полетел без всяких удобств - герой! настоящий герой! герой Советского Союза! - в космос, как жлоб, как кусок мяса, как человек без нервов, как плоть от плоти народа, как ее - плоти - составная часть, как безотцовщина, как колхозник сын колхозницы, как новая кровь, как выходец из самой глухой народной гущи, как талант, взял и полетел на грузовике в чине лейтенанта, младшего лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, но не старше, капитаном полетел туда, куда никогда, никто не летал: ни эти засранцы со знаменитыми фамилиями, ни эти жены с косичками и из Парижа! Он - никто, стал всем, благодаря самому себе и стакану! Наркологи штопаные! Только стакан способен был вывести знаменитого Н. на околоземную орбиту, а не все эти жены-подстилки!

- О, как я ненавижу жену! - говорил он Василию в заплеванной пивной на рельсах, то есть у поилки на Покровке, рядом с Чистыми. Он говорил надрывно, хрипло в вечных своих обтягивающих задницу джинсах, в приבלатненной кепочке-шестиклинке, с тяжелой нижней челюстью.

- Я тоже ненавижу всех этих блядей, закрывающих двери на цепочки, чтобы я не вошел в квартиру, всех этих советских дур, перевоспитывавших гениев-алкоголиков! - кричал Василий после первого полета по орбите.

И гении-ребята шли из пивной в ресторан, потому что свои понимающие кореша заняли-перезаняли три червонца! Вот кто понимает гениев, которым уготован подиум и самый дорогой гроб, полированный, из красного дерева, стоящий сейчас в концертной студии Останкино, чтобы жены в черном строили такую гнусную физиономию, чтобы все льющиеся потоки прощающихся людей понимали, как этот знаменитый Н. измучил ее своими командировками, запоями, грубостью, неуправляемостью. А жены уж скорчат такую зауспокойную рожу, что выть захочется: рожа старухи, готовой к положению во гроб, а все молодится, сучка, косички заплетает и делает вид, что что-то в чем-то понимает.

А когда знаменитый Н. звал ее в пивную, она говорила: что, я с ума, что ли сошла, чтобы с этой рванью стоять рядом. А кто она такая - эта жена? Случайно за знаменитого Н. выскочила, когда его еще никто не знал, и он только поступил в училище, только тронул струну, только умножил два на два, а она - жена - только ноги подняла и развела, чтобы он в нее спустил свое животное вдохновение и на этом основании - что ноги разводила - она теперь сидит у гроба и делает вид, что сопричастна гениальности мужа! Это надо же, как говорят на кухне в коммуналке, где они прожили первые пять лет! Ни стыда, ни совести! Примазывается, не понимая, что такое слава!

О, как тяжела эта ноша, как неподъемна! Идти туда, куда никто не ходил, и испытывать такое жгучее одиночество, которое, быть может, понял только Аркадий Гайдар в "Судьбе барабанщика".

Да, лежит в гробу на сцене колонного зала знаменитый барабанщик, один, как перст, лежит и говорит всем, смотрите на меня: я был безвестен и стал знаменит. Самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи, потому что все остальные живут в толпе, в коллективе НИИ, завода, Кремля, политбюро, сборной команды. А я шел в другую сторону, как одинокий волк... Я голодал, мне было тяжело, но я никогда не жаловался, не хныкал, потому что я - мужчина! Мужественный. Я умел только стискивать зубы и переть, как катерок, против течения, а эти шкуры все - по течению в "Ауди" и в "Порше", с гонорарами и собраниями сочинений, со звездами на погонах и орденами, с квартирами и домработницами, с охранниками и блядьми...

Я был один, я был пьян и нищ. Но я делал и говорил то, что хотел. Я был одиноким сумасшедшим. А таких, как я, любят у нас, любят везде, потому что хотят стать такими, но совесть не позволяет говорить то, что думаешь, и делать то, что хочется. Кишка слаба, то есть тонка! И от этой тонкой кишки такая зависть ко мне, потому что у меня кишка была толста! Вот это сравнение для вас, козлы, из гроба: у меня толста кишка, и срал я на вас всех по отдельности и на всех вместе!

Я никогда не буду понят!

Он, знаменитый Н., лежащий в дорогом гробу на телеэкране среди цветов, белых и красных, среди лент на венках: от президента, от Верховного Совета СССР, от Совета Министров СССР, от посольства США, от общества глухонемых, от болельщиков команды "Спартак", от космического агентства, от Союза писателей СССР, от коллектива журнала "Новый мир", от Министерства ино-

странных дел и лично от товарищей Литвинова, Громыко и Примакова, от Министерства обороны СССР и от бывшего начальника охраны Ельцина тов. Коржакова. Вот как получилось, товарищи жены. Вы не пускали ночевать пьяных и сраных космонавтов, а их теперь на всю ивановскую хоронят. И сынки в замшевых пиджаках стоят и никак не могут понять, почему этих алкашей так хоронят, они же ничего из себя не представляют, они такие же, как мы.

Нет. Не такие! Они из другого мира, куда может броситься только гений, как с вышки нырятьщик! Они не жили в вашем расчетливом и вечно реформируемом мире, они не считали рубли и доллары, потому что пропивали их сразу, чтобы лишиться сразу и толстой кишки и луженой глотки; перебинтовали гению горло, и он без голоса ездил пьяный в Салтыковку на электричке, к Егору на кладбище, чтобы похмелиться, поскольку жены выгнали на улицу, рубля никогда не давали, а могильщик Егор из многотиражной газеты "Горняцкая смена" всегда похмелит, а потом и позволит помочь покойничков позарывать, а прощающиеся бутылку другую белого сунут. Это не с вами, интеллигенты, знаменитый Н. откровенничал, к вам он приходил скрытный, когда выходил из запоя, а с Егором на кладбище, под кустом сирени, чтобы потом прокатиться на электричке до Храпунов, где был сарай на огородном участке у Леньки Иванова и у Славки Варывдина из "Советского спорта", чтобы с утра там как следует полечиться водочкой и малосольными огурчиками, и чтобы ни одна тварь женского пола не попадалась на глаза!

"Москва - Петушки", мать вас за ногу! Читатели женского полу, числящиеся женами, измученные тяжелой неволей жизни. Зачем вы родились на свет и жили? А мы с огромными огнетушителями красного шли в бараки к гениям, небритым и нестриженным.

Так Зимний был захвачен нами.

И стал захваченным дворец.

И над рейхстагом наше знамя
горит, как кровь наших сердец!

МОСКВИЧИ

рассказ

Вера работала бухгалтером на фабрике, но ее уволили, а саму фабрику продали французам, которые ее перепрофилировали. Подруги говорили Вере, что бухгалтеру найти работу просто, ныне они везде нужны. Но при бухгалтере состоит человек. При профессии бухгалтера состояла Вера, сорокалетняя одинокая женщина с двумя детьми. Она жила в самом центре, на Кировской, около рыбного магазина, в коммуналке, правда, в большой комнате с двумя окнами. С нею сейчас была лишь дочь, тринадцатилетняя Зина, а пятнадцатилетний Вова сидел в колонии для несовершеннолетних преступников в Кимрах. Сколько его Вера воспитывала, палкой била, а все прошло даром: хулиганил, водку пил с десяти лет, а потом с друзьями убил милиционера на Коптевском рынке, где грузчиком подражался.

И все Вера делала для детей, а они... Зина мужиков стала водить домой, пока Вера работала, а сейчас пропадает сутками черт-те где. Теперь Вере необходима работа. Но кто ее, неграмотную, с семилеткой и тремя курсами финансового техникума, возьмет? На фабрику в свое время устроила преподаватель техникума.

Зина утром пришла пьяная и сразу легла отдыхать, сказав:

- Ты меня, мамка, не буди, а то я Ваське все скажу!

Вера протянула ее по заднице бельевой веревкой и заплакала. Той же хоть бы хны. Уснула, заголив грязный подол. Еды в холодильнике не было. Вера села за стол перед маленьким зеркалом: увидела себя постаревшую, с длинным конопатым носом и толстыми губами.

Срочно нужно было искать работу. Лучше, конечно, бухгалтером. Баланс делать и сдавать. Перебирала в памяти подруг и никого не нашла. Да и подруг-то не было. Вера - деревенская, изпод Орла. Приехала после семи классов в техникум. Тут же и родила на первом курсе, а его в армию взяли. Потом опять родила, а

этого в тюрьму посадили; на Маломосковской в составе останкинской банды дрался с Измайловской бандой, ну и зарезал кого-то, хотя и ему по морде лезвием полоснули.

Впрочем, это дело прошлое. Нужна была работа, а то денег совсем не осталось.

Вера посмотрела на разметавшуюся в постели дочь. И жалко ее стало. Хорошая она. Красивая. Ну, чего ж не погулять? Пусть погуляет. А там и Вовка вернется. Кормильцем, глядишь, станет. Пишет, что под амнистию может попасть, как малолетний и осознавший.

И тут Вера вспомнила деревенскую подругу Пашу, которая в свое время приехала с ней вместе из деревни. Лет десять не видались. Вера разыскала номер ее телефона, вышла в коридор, позвонила.

После долгих гудков трубку сняли, но сказали, что Павлина Егоровна переехала и что телефон у нее такой-то. В общем, Вера дозвонилась, договорилась и тут же, бросив пьяную дочку, поехала в Бибирево к Павлине. Долго ехала и все проклинала огромную Москву, но гордилась тем, что сама жила в престижном районе, в центре. Все рядом: и Кремль, и ГУМ, и “Детский мир”.

Но, найдя высокий, красивый, современный двадцатидвухэтажный дом, несколько поубавила свой пыл. Еще не входя в подъезд, стала завидовать Пашке. И поднявшись в квартиру, совсем пришла в уныние: сто метров! четыре комнаты! высоко - всю Москву видать! лифт! телефон! мусоропровод! два санузла! две застекленные лоджии!

И сама Павлина Егоровна хороша - в шелковом халате с цыганскими цветами, располнела, груди разрослись, в тапочках с бантами шаркает по коврам. В сервантах - хрусталь и серебро. И на стенах - ковры. Вера как села в кресло, так и заплакала. Пашка не стала успокаивать ее, а оставила в комнате с огромным цветным телевизором поплакать, а сама пошла на кухню готовить стол.

Отплакавшись, Вера вышла на кухню, десятиметровую, где тоже стоял телевизор, был диванный уголок и стол, накрытый поцарски: холодная водка “смирнофф”, красная икра, огурцы, помидоры, рыбка, колбаска, вилочки-тарелочки, хреночек-горчичка. Вера смахнула слезу, а Павлина, наливая холодную водку в красивые хрустальные рюмки, сказала:

- Не боись, Верка, поможем, чем можем! И выпили по первой и сразу по второй. Голова у Веры закружилась. А Пашка пошла рассказывать:

- Мой-то в Киржаче дом купил. М-да. Цельными годами тама. Лошадь завел, пашет. И я тама живу. Ты меня случайно застала.

- На что ж вы живете? - спросила Вера. - Такая квартирища!

- Да это ему от завода дали. М-да. Еще до Горбачева. Пенсию дали. По инвалидности. Я тоже инвалидность оформила. М-да. У mine знакомая хорошая есть. Хочешь, тебе оформим?

- Да мне бы работу, - сказала Вера, сама себе наливая.

Павлина расправила тяжелые плечи, встала и включила магнитофон, который стоял возле телевизора. Запела Людмила Зыкина:

Издалека долго
Течет река Волга...

Павлина села на стул, который скрипнул под ней, и сказала:

- Это и будет твоя работа. С компенсацией на детей будешь получать больше, чем зарплату, и всегда вовремя! У тебя же двое?

Вера шмыгнула носом, сказала:

- Вовка сейчас в тюрьме. Зинка только...

- Ну, вот. На Зинку напишем тысяч двести... Тебе инвалидность и за вредность... Там и выслугу... Вера повеселела, спросила:

- А в деревне-то что делаете?

- Торгуем в Киржаче клубникой, огурцами, картошкой. Я сюда приезжаю за деньгами. М-да. За себя и за мужа получаю.

Вера обвела огромную кухню, сказала:

- Какая квартира! А я в комнате на Кировской...

- Жить надо уметь, - сказала Павлина. - Вон мой партийным был, в бюро, значит... Вот квартиру и выхлопотал. Потом дом за три ящика водки в деревне купил. Деловой он у меня.

- А где дети? - спросила Вера.

- Нинка замуж выскочила. М-да. Родила уж. Ее муж в Капотне квартиру купил. Бельзином торгует. М-да. А Колька сейчас со школы придет.

И тут же услышали, как дверь открылась. Пришел Коля, ученик седьмого класса. Он скинул башмаки в прихожей, в носках по коврам зашел на кухню, не поздоровавшись, крикнул:

- Мамка, я жрать хочу... Скорее, а то к Димке бежать... У него новые диски!

Павлина Егоровна вскочила, как ошпаренная, и принялась разогревать щи для сына...

- А кем ты будешь, когда вырастешь? - задала вопрос Вера.

Коля словно только что увидел постороннюю, усмехнулся и сказал:

- Конюхом!

- Нет, правда?

-Он к отцу собрался после школы, - сказала Павлина. Вера, подумав,спросила:

- Зачем же в Москву-то ты тогда приезжала? Павлина пожала плечами и, ничего на это не ответив, налила по новой рюмке...

Через месяц Вера оформила инвалидность и пособие на ребенка, на Зину, которая в тот раз ушла из дому и до сих пор не возвращалась, хотя уже шел сентябрь.

ОДИНОКАЯ

рассказ

Ночью она открыла окно и встала на подоконник. Внизу светились огни. Вверху бледнела луна. Ветерок обвевал ее тело. Нервы немного успокоились, она слезла с подоконника, прошла на кухню, включила “маяк”, достала из холодильника пакет молока, налила в чашку, но пить не стала, зашла в ванную, уставилась в зеркало: на нее смотрела изможденная Вера Владимировна с очень умными глазами, да и все лицо выражало какую-то огромную мысль. Но вот что это была за мысль, сама Вера Владимировна не знала. Она иногда даже не понимала значение самого слова “мысль”. Что это за слово? И что значит мыслить? Но Вера Владимировна считала себя очень умной, умнее всех подруг и знакомых, умнее директора НИИ, в котором она отработала 35 лет, занимаясь закрытыми разработками локационного оборудования подводных лодок. А уж умнее правительства тем более!

Таким образом, как говорят в народе, у Веры Владимировны был характер. Семьи у Веры Владимировны не было, а характер был. В чем он заключался? В отношении ко всем свысока. И это главное. Откуда у нее все это? Наносное? Мать была какой-то нищенкой. Не в смысле побиралась на улицах, а в самом стиле жизни. Вечно шила на руках лоскутные одеяла, по десяти раз штопала носки, которые можно было давно выкинуть в помойку, склеивала копеечные чашки клеем БФ, который просила Веру принести из института, ходила постоянно в засаленном халате, в грязном фартуке и, главное, что бесило Веру Владимировну, - постоянно грызла ногти, превращая свои руки в совершенно мужские. Иногда Вера Владимировна чуть-чуть начинала догадываться о столь странной манере жить: она, мать, маскировалась, чтобы ее не засекли члены КПСС, что она “бывшая”. Отец матери, дед Веры Владимировны, владел одноэтажным особняком на Таганке - и небольшим винным погребом на Разгуляе. В революцию он успел

сбежать в Париж, бросив мать с дочерью. Правда, дочь училась уже на женских курсах. Вписалась в революцию, как вписываются в жаркую погоду, или в мороз, или - куда ветер дунет. Мать надела красную косынку, устроилась на стройку и стала грызть ногти. Вышла замуж за прораба, уроженца Воронежской губернии, родила Веру. Получили комнату в Кривоарбатском переулке.

Мать-дворянка замаскировалась настолько, что не ходила в кино, ничего не читала, даже газет, не ходила в театр, даже на Красной площади не была ни разу. В войну, правда, побывала на станции метро "Маяковская", как в бомбоубежище, вместе с Верой. А так - больше в метро не ездила. Она была 1905 года рождения, прожила всего 60 лет и вместе со свержением Никиты отошла на покой. Потом умер и коренастый, упрямый, или как говорят сейчас, упертый, папаша, Владимир Поликарпович. Не пил, не курил, матом не ругался, выходные проводил дома на диване с газетой "Правда", ставил Веру в угол, не давал смотреть телевизор, изредка за тройки порол узким ремнем. Когда получил от управления садовый участок под Дмитровом, гонял туда и Веру, хотя ей хотелось побыть в компании. Изможденные, они долбили глину, разносили компост, крутили огурцы. Зачем? Банки взрывались. Отец не закусывал. Мать шила лоскутные одеяла. А Вера познакомилась с Эдиком. Эдик был ниже нее ростом, постоянно краснел и потел, а Вера смотрела на него сверху вниз, говоря этим взглядом, что она самая умная и властная. Потом Эдик куда-то пропал, даже не осмелившись поцеловать Веру, а Вера поступила в инженерно-строительный институт на факультет фундаментов. Прочувшись два года - бросила, поступила в институт электронного машиностроения.

Вечерами с подругами ходила в театр. Если подруги хвалили спектакль, она ругала, если ругали - Вера хвалила. Она с умным видом шла с ними, отдаляя их от себя этим умным видом. Потом не могла понять, почему подруги не звонят ей. После окончания института распределили в НИИ, где за ней, вроде, стал ухаживать военпред, майор, рыжий, конопатый, с бесцветными губами. Вера отдалась ему, и они поженились. Но у нее случился выкидыш, а военпред не ходил с нею в театр. Она называла его "хануриком" и орала так, что майор завязал глаза и сбежал. Она осталась одна в однокомнатной кооперативной квартире на улице Героев Панфиловцев, в панельной пятиэтажке. Книг она, как и мать, как и отец,

не читала, хотя у нее было две полки с книгами. То из Константинова, куда плавала на теплоходе по Москве-реке и Оке, сборник Есенина привезла, то из Ростова-Великого альбом, то из Риги альбом...

Каждый вечер Вера Владимировна постоянно куда-то шла, а если не шла, то садилась в тоске у телевизора и злилась на телевизор, потому что все программы были глупее нее. Театр тоже был глупее нее. Все были глупее. За столом в компании она брала управление на себя и начинала долго, очень громким голосом рассказывать что-нибудь, как правило, выеденного яйца не стоившее. Например, как она встретила одноклассника в Малом театре. Рассказ обычно начинался из такого далека, что слушать было невыносимо скучно. Нет, чтобы сказать, я встретила в театре такого-то и такого-то, поговорила, он работает там-то. Нет! Вера Владимировна кричала на весь стол:

- Да тихо вы! Представляете, в четверг я была в Большом на Плисецкой. Умопомрачительно, великолепно, какой прыжок, какое лицо, какие руки!

- Да, у нее руки! - вклинивался кто-то.

- Помолчи! - ревниво кричала Вера Владимировна. - После Большого я зашла в гастроном....

Шел подробный рассказ, как она встала в очередь в кулинарию. Потом она с напором рассказывала, как ехала домой, как в метро к ней пристал пьяный, как она потом под дождем ждала автобуса, как шла от автобуса до квартиры, как кормила кошку, как не могла долго заснуть под впечатлением от Плисецкой, как утром встала, каким кремом смазала руки, каким - ноги, каким - лицо, во что оделась, как вышла из квартиры, как доехала до работы, что ела в буфете, что ела на обед, как потом добиралась до театра, как, наконец, увидела в фойе очкарика, Шурку Белова, как обрадовалась ему, а он ей и т.д. и т.п.

Многие уже стали бояться Веру Владимировну приглашать куда-нибудь. Но не все же ей могли отказать от стола. Наташа Горькова, тоже жившая в Тушино, например, не могла. Они учились в одной школе, жили в Кривоарбатском переулке, считали себя элитарными москвичами, из центра, с Арбата, еще бы! Хотя Наташа Горькова жила в семиметровой комнате, в полуподвале, воспитывалась без отца матерью-дворничихой. А Вера стояла в углах... Теперь же они показывали себя как неких дворянок, ходили с

кольцами и брошами, с открытыми плечами и грудью, не замечая своего старения. А кожа везде была уже сморщенная, как на мумии, особенно на лице, похожем на лица алкоголиков. Высшим шиком было вообще не подкрашивать лицо, оно все было покрыто сеткой морщин, короткая стрижка придавала какой-то блатной вид, а развязная, даже наглая манера говорить, нет, не говорить, а судить, вызывала иногда просто отвращение.

При всем при том Вера Владимировна одевалась модно. Вот идет на высоком каблуке, в чулке со стрелкой, виляет задом, коротко стриженная, сумочка на очень длинном ремешке, ногтей на пальцах нет, тоже стала сгрызать, как посмотрит ядовито и с глубокой мыслью на челе, так упадешь, побоишься заговорить. А у нее в этот момент пусто в голове, как, впрочем, почти всегда, только набор готовых фраз да определенный алгоритм поведения на работе, где польза от нее равнялась минус единице. Ничего она не изобрела, потому что переключивалась 35 лет бумажки с места на место, а теперь держится там по инерции, получая и пенсию, и зарплату.

Не умением, а числом брала оборонная промышленность. И вот дооборонялись до того, что без боя сдали половину страны, а Афганистану и Чечне вчистую войны проиграли. А она идет на высоком каблуке в консерваторию и не думает об этом, в эту сторону у нее и мозги-то не приварены, вообще, такое впечатление, что нет мозгов. А смотрит? А вид такой умный, что закачаешься, оторопеешь, когда хрипловатым баском что-нибудь спросит у соседа, и тот, взглянув на нее, подумает: какая необыкновенная женщина, какая современная, стильная.

- Какое прекрасное исполнение! - говорит сосед в перерыве.

Вера Владимировна бросает на него вольтеровский взгляд, от которого сосед уже вянет, и громко басит:

- Что вы, любезный! Абсолютное отсутствие нового взгляда, перемалывание старых зерен, я не вижу новаторства, эксперимента!

И дальше все в том же роде. И видно, что концерт ее шокировал. Так понял ее тираду сосед. И тут нельзя было спорить, потому что соседу показалась тут не поза, а искреннее чувство. Ему чудилось что-то грозное в самой ее простоте, которую, однако, она сама не в силах была понять.

Вот так, сосед замолчал, но и без слов ясно, как он подавлен. А у Веры Владимировны даже слуха музыкального не было, был лишь неизвестно откуда взявшийся ритуал хождения по театрам,

ОДИНОКАЯ

концертным залам и художественным выставкам. Особенно она хорошо смотрелась, когда брала на фуршете бокал шампанского, отходила в угол на своих высоченных каблуках, в плотно облегающем платье, с бусами, крестиками, перстнями, кольцами, брошами, смотрела на какую-нибудь картину и взгляд ее был полон философского прозрения. Она хрипловатым баском, словно принадлежащем какому-нибудь развязному кинорежиссеру или алкоголику-грузчику, говорила:

- Здесь новизна вплетается в угрюмость!

И многозначительно замолкала...

Она быстро находила язык с незнакомыми людьми. С захлестом расскажет, как встретила однокашника, так тот и отпадает или прилипает, потому что сам никогда бы не сумел рассказывать минут эдак 40-50 такую муру! А Вера Владимировна великолепно заполняла время мурой, считая, видимо, что в молчании ужас жизни. Объятая ужасом жизни, она уже несколько раз вставала на подоконник и хотела полететь с шестнадцатого этажа, но так как у нее был всего лишь второй этаж хрущобы, то лететь не хотелось, не было бы в этом полете подвига.

“Маяк” передавал песню Пахмутовой “Надежда”, которая, как компас; хотя Вера Владимировна не обладала музыкальным слухом, но эту песню, как и все советские шлягеры, напевала похоже, сносно. Вера Владимировна стала подпевать песне хрипловатым ритмичным полупшепотом, вкладывая в каждое слово смысл, которого в нем не было раньше и не оставалось потом, такие ритмичные исчезающие смыслы, как исчезающие жизни, как исчезающие песни, как исчезнувшие родители, смыслом которых была временная Вера Владимировна, но с ее исчезновением они все, весь их род исчезнет, не зацепившись в исторической памяти народа, впрочем... Когда мелодия шла вверх, голос, следуя за ней, мягко сбивался на речитатив, как это часто бывает с грудным контральто, и при каждом таком переходе кругом словно разливалось немножко волшебного живого тепла.

БУФЕТ В УГЛУ

рассказ

Референт депутата Госдумы Н. на черной машине подъехала к концертному залу. У дверей ее окликнул товарищ из администрации президента. Он стал ее расспрашивать, как проходит закон о введении семи новых налогов. Она - Мацылевич - со всем поддельным вниманием выслушала и дала соответствующие разъяснения, не прибегая к дополнительным сведениям о некоторых затруднениях, которые испытывал ее депутат в связи с сильным давлением на него демократов, те стремились упразднить налоги, оставив для предприятий всего лишь два: один, 10 процентов, с каждой поступившей на счет суммы, другой - 12 процентов из зарплаты работника... Мацылевич говорила и чувствовала, как пот выступает на всех участках ее красивого тела. Они стояли на солнце, день был очень жаркий, под 30 градусов.

Товарищ из администрации все расспрашивал ее, а она все отвечала, он расспрашивал, она отвечала, он... В общем, вел себя не тактично. Не понимал, что нельзя так на улице останавливать даму и доканывать ее вопросами. Но, Мацылевич прекрасно это понимала и знала, о воспитанности чиновников говорить не приходилось: то, что им было нужно, они выцарапывали любой ценой. Тем более такой недорогой, как у референта. Мацылевич сама смеялась над разросшимся аппаратом Госдумы и прочих аппаратов; имела точное представление о том, как этот аппарат разрастается; имела об этом размножении аппарата рассказывать каждое воскресенье на даче в Барвихе матери, свекрови и деверю. Те слушали, раскрыв рты, и не верили тому, что рассказывала Мацылевич. Наконец, товарищ из администрации отвязался, Мацылевич облегченно вздохнула, почувствовав колоссальную жажду.

Она вошла в просторное фойе, огляделась и увидела буфет в углу. Пока пересекала мраморно-колонное пространство, думала

о товарище из администрации, который с нетерпением ожидал прохождения закона о семи новых налогах, то есть попросту ждал огромных сумм, которые отнимут у подышающих последних юридических лиц и отдадут в карманы заинтересованных лиц. Мацылевич вспомнила Пушкина:

И потекут сокровища мои
В атласные дырявые карманы...
Он грязь елеем царским напоит.
Он расточит! А по какому праву?
Мне разве это даром все досталось
Или шутя, как игроку, который
Гремит костями да груды загребает?
Нет, выстрадай сперва себе богатство,
А там посмотрим - станет ли несчастный
То расточать, что кровью приобрел?!

На ходу Мацылевич достала из сумки кошелек и подошла к холодильной витрине буфета, не глядя на буфетчицу, а глядя через стекло на напитки. Мацылевич выбрала минеральную воду. Подняла глаза на буфетчицу, стоявшую к ней спиной и считавшую что-то на калькуляторе. Очереди в буфет не было. Мацылевич стояла одна. Буфетчица не оборачивалась, как будто не чувствовала, что к ней подошел клиент. Но Мацылевич молчала. Она рассматривала буфетчицу со спины. Обычная женщина без всяких отличительных примет. Только волосы огненно-рыжие привлекали внимание под белой наколкой в стиле сарафанно-ряженой Руси. Наконец буфетчица обернулась, и Мацылевич закусила от неожиданности губу. Это была Шиманская!

Тридцать лет назад, в середине 60-х годов, Шиманская приехала в Москву покорять ее; она провалилась в театральное училище, устроилась дворником на Арбате, получила подвальную комнату, тридцати метровую, и устроила там притон, или, помягче, салон собственного имени. Кого только в этом салоне не было! Какие-то непризнанные писатели, артисты, джазмены, гомосексуалисты, лесбиянки, художники... Шиманская подавала необыкновенные надежды, поэтому с ней сожительствовали, или, помягче, любили ее: второй режиссер второразрядного театра и художник, автор всего двух акварелей, спившийся с круга и, в конце концов, умерший прямо на руках у Шиманской.

К Шиманской шли после спектаклей, выпить и закусь, а то и попеть, поплясать, почитать стихи, послушать новые произведения каких-нибудь молодых гениев из СМОГа или бардов. Каждый второй алкоголик-оборванец считал себя бардом. Все ходили с гитарами и с бутылками. Мацылевич помнила, как и она попала в подвал к Шиманской с одним театральным студийцем, который там же и полюбил Мацылевич при всех; так было принято у Шиманской. При свете свечей, при огромном количестве оплывающих свечей, начитавшись Булгакова, наслушавшись Окуджаву, надекламировавшись Пастернака, любил он Мацылевич прямо на полу, на шинели, голую - этот самый студент, которого даже имени теперь не помнит Мацылевич. Но оргазм тот отчетливо помнит, потому что за студента, как только тот отпустил Мацылевич, взялась сама Шиманская: попросту взяла его детородный орган в рот, после чего читала стихи Гумилева:

Шел я улицей незнакомой...

Всех и вся Шиманская называла бездарностями, чувствовала себя уже знаменитой актрисой, знала наизусть несколько прозаических отрывков, множество стихов и басен... Но на следующий год ее опять не принял Гончаров в ГИТИСе, а во МХАТе Массальский, в "Щуку" же не успела... Пришлось опять всю зиму колупаться по ДК, по самостоятельным студиям. И каждую ночь бордель-бардачить, совокупляться на глазах у всех, пить помногу, а утром в связи с хроническим безденежьем похмеляться разбавленным пивом. Мацылевич ходила к Шиманской года два. После каждого посещения клялась себе, что больше не придет. Но страстное желание обладать мужчиной вспыхивало каждую неделю вновь и вновь, и Мацылевич, взяв пару бутылок водяры и что-нибудь типа кильки в томате закусь, брела в грязный, старый двор в подвал, выпивала свой стакан и отдавалась какому-нибудь потному, бородатому гению.

Летом сама Мацылевич поступила в институт, конечно, в Историко-архивный, на факультет делопроизводства, как будто специально созданный для людей без призвания. А уже осенью на Мацылевич положил в метро глаз один человек с бородкой, оказавшийся сотрудником отдела химической промышленности ЦК КПСС, и отдалась она ему, не задумываясь и физиологически, и

юридически. На следующий год новая семья получила большую квартиру в большом доме в центре и стала жить-поживать, детей рожать, вещи приобретать, разные там телевизоры, машины, холодильники, дубленки, видаки и т.д. А тут перестройка началась, революция, и Мацылевич с мужем не растерялись - лихо вписались в новую номенклатуру. Муж приватизировал значительную часть химической промышленности, а Мацылевич стала постоянным референтом Госдумы. От одного депутата переходила к другому.

Мацылевич смотрела на буфетчицу Шиманскую в упор, но та не узнавала ее или не хотела узнавать. И у Мацылевич отпала охота напоминать о себе, тем более выглядела Мацылевич теперь совершенно иначе, в стиле Екатерины Лаховой, строго, государственно, с прической под лаком.

Взяв бутылочку минеральной и пластмассовый стаканчик, Мацылевич отошла к столику, села на стул, налила пузырящейся воды, отпила. Вода была в меру холодна и приятно освежала. А Мацылевич все смотрела на буфетчицу, на типичную бесформенную женщину за прилавком, и не могла поверить, что это была та самая Шиманская, лидер молодых в середине 60-х, пусть какой-то малой части этих молодых, но... Не возникало в голове Мацылевич никакой логической связи явлений прошлого и настоящего.

Мацылевич пила воду и думала, что все в этой жизни случайно, что нет никакого линейного развития истории, что все перепутано, что...

Допив воду, Мацылевич встала и пошла в сторону зала, но вдруг услышала резкий, такой знакомый, даже не постаревший, голос Шиманской:

- А посуду за собой убирать кто будет? А?! У нищих слуг нету!

ОТЧАЯНИЕ

рассказ

Он вышел и пошел. Ей так показалось, что он именно вышел и пошел. Куда пошел? Ольга приподняла голову с подушки: Николай снимал книги со стеллажа и ставил их назад. Снимал и ставил. Даже не заглядывая на название. Просто так снимал и ставил. А сначала Ольге показалось, что он вышел из комнаты и пошел в уборную. Или в ванную. Или на кухню. У Ольги глаза были закрыты. Она еще спала, но уже не спала. А Николай встал и пошел. Или, теперь, когда глаза у Ольги открылись, стало ясно, что Николай встал и, подойдя к стеллажу, стал одну за другой снимать книги.

- Что ты ищешь? - сонно спросила Ольга.

- Заткнись! - грубо ответил Николай и под майкой зашевелились мускулы.

Он продолжал снимать и ставить. Ольга с шумом повернулась на другой бок, лицом к стене, открыла глаза на узор обоев и сразу же закрыла их. Открыла и закрыла. Хорошая сволочь все же Николай, подумала Ольга, сдерживая в себе кипение. Ну что он там ищет? Ольга легла на спину, взглянула на Николая. Он продолжал снимать и ставить. Ольга шумно, чтобы упрекнуть его, вздохнула, но Николай не обратил на ее вздох никакого внимания. Ольга устала смотреть в потолок, тоскливый, безвыходный. Конечно, какой выход может быть с потолка? Да еще такого скучного, как этот?

Наконец, Ольга увидела, Николай застыл. Достал то, видимо, что нужно. Раскрыл книгу, приблизил к глазам, он был подслеповат, и пошел, читая, к столу. Шел медленно и читал. Читал и шел. И губы шевелились у дурачка. Ольга давно его уже так называла. Дурачок шел и читал. Очень медленно шел и читал. Глаза бегали слева направо. Глаза следили за строчками. Шел и следил. Следил и перебаривал. Ольга видела это. И вскипала. У дурачка новый приступ творчества. Дурачку что-то на ум пришло. Он шел, шеле-

стя тапочками по паркету, и читал, шевеля бесшумно губами, тонкими, синими. Почему у него посинели губы? Дурачок, Ольга знала, что он дурачок, знала, Ольга. Она.

Ольга лежала и думала, чем себя занять. С этим дурачком она уже лет пять никуда не ходила. Дурачок все время сидел за столом. С тех самых пор как его НИИ захлопнули, как коробку с долларами. Доллары кладут в коробки. Интересно. Встал и пошел. С коробкой, через проходную. Ольга видела это и знала. Знала и видела. Она сбросила с себя одеяло и встала. Встала и потянулась.

- Нашел, придурок?

- Заткнись.

- Отвечай, когда старшие спрашивают!

- Иди ты!

- Пойду. Нашел?

- Как ты со мною разговариваешь! - вскричал, не поднимая на Ольгу глаз, Николай.

- А как с тобой разговаривать?

- Как с ученым!

- А ты ученый?

- Ученый!

- Дурак ты!

- Сама дура!

- Дурак!

- Дура!

- Я тебя содержу!

Николай прикусил губу, поскольку пуля Ольги попала не в бровь, а в глаз, и этот глаз вытек на страницу книги. Последний раз Николай получил что-то в прошлом году. Теперь он делал работу по заданию трубного института. Говорил, что обещали хорошо заплатить, если он трубу изобретет. А как изобрести трубу, когда их никто в глаза ни разу не видел? Что такое труба? Никто не знал. А Николай хотел узнать и бился над расчетами. Доллары теперь не в коробках будут носить, а в трубах. Как сделать так, чтобы по трубам ходили доллары? Сами. Без помощи человека. Формировали. Источники. Финансирование. Бюджет. Налог. Алог. Лог. Ог. Г. Николай, думай!

Ольга напряглась и ей захотелось ударить Николая по голове чем-нибудь тяжелым, металлическим, гантелей, утюгом, шаром, молотком. Ничего на глаза не попало, и Ольга вышла из комна-

ты. Встала, подумала об ударе металлом по голове, и вышла. Встала и вышла.

Была суббота. После зимы еще не были на даче. Но разве с этим трубопроводом съездишь? Ольга толкнула дверь в комнату сына. Сын спал, сопел, с кошкой в ногах. Кошка тут же встала и вышла. Очень умная кошка. Тоже, как Ольга, встала и вышла. Мяукнула на кухне.

- Что? - спросила Ольга.

- Хочу есть, - сказала кошка.

- А что я тебе могу дать? - спросила Ольга. Ольга, высокая, худая, с короткой стрижкой, русая, нос короткий, как стрижка, или стрижка короткая, как нос. Широкий и короткий, ноздри видны, открыты ноздри, что дурнит Ольгу. Ольга подошла к окну и отдернула занавески. Шел снег. Снег, подумала Ольга, уже встал и шел. Шел и встал. Ольга работала на вертолетном заводе в конструкторском бюро. На Красной Пресне, недалеко от зоопарка. С шестьдесят пятого года. А родилась Ольга в 1941 году, 22 июня.

- Война фашистская! - кричал на Ольгу Николай.

- Недоносок! - мягко возражала Ольга, раздвывая и без того огромные ноздри.

- Я не могу вести с тобой диалог, - тенорил Николай, - ты сразу переходишь на личности.

- Ты узнал себя в "недоноске"?

- Сволочь военно-морская!

- Слушаю, сэр.

- А почему "сэр"?

- Из вежливости.

- Всего хорошего, дорогая.

- Всего хорошего, дорогой.

И опять кулинария, валокордин, валидол, сердце, кулинария и штопка носков. Сын, Никита, учился в авиационном, а ел дома. Хорошо устроился. Учился и ел. Ел и учился. Плита электрическая. Ольга любила утку в духовке готовить в чугунной утятнице. Гусятнице. Гуся тоже можно было в чугуне готовить. А Никита и этот изобретатель трубопровода съедали утку или гуся за один присест, без гарнира, хотя Ольга писала записку, на столе, лежит, чтобы картошку купили и нажарили. Они даже записку не видели, пришли и сели, сели и съели. Сели, пришли и съели. Как вам это понравится? И ей не оставили. Валокордин. Сердце. Война, 1941

год, 22 июня. Все кричат - война! А Ольга родилась и стоит у окна. Шел снег. Хорошо все-таки родиться, встать у окна и смотреть, как идет снег. Нет, в самом деле, в этом что-то есть: муж дебил, сын обжора и она у окна, хотя и Ольга. А почему, собственно, Ольгой ее нельзя называть? Никто и не спрашивает об этом. Она с кристальной честностью, Ольга Анатольевна, встала и стоит. Стоит и встала. И есть не хочется. Впрочем, сразу Ольга никогда и не ела. Так, чаю немножко или кофе. Но сердце, валокордин, аптека, поликлиника, завод. Работа, оклад. Дают, через раз. А Николай с ума сошел: трубу изобретает, договор подписал пять лет назад и с тех пор все изобретает. Ну что, изолировать его? От кого? Когда кругом такие же кристально честные и все подряд приватизированные. Поголовно. Как в родильном доме. Ольга. Встала и стоит у окна. На шестом этаже. Напротив такой же девятиэтажный дом, как уборная, кафельный. Как же можно ненавидеть человека, чтобы дома кафелем облицовывать, как уборные. Кафель, уборная, ванная, станция метро "Смоленская", как уборная, и все с кафелем - уборные. Ольга сказала, так и будет. Встала и стоит.

Отошла в сторону. Кошка сказала:

- Ольга Анатольевна, дайте Христа-ради поесть.

- А где я тебе возьму?

- В холодильнике, - сказала сообразительная кошка.

- Там не растет.

- А где растет?

- В море.

- Я не была на море, - сказала кошка.

- Да и я давно там не была, - сказала Ольга. - А хотелось бы съездить на море, в Крым или на Кавказ.

- Чтобы тебе дали в глаз, - в рифму сказала кошка. Вот так и стоишь столбом каждый выходной, пока не сообразишь, что предпринять, чтобы развеяться. Ольга стояла у окна, потому что она встала. Стояла, потому, что встала. А если бы еще лежала, то видела бы Николая, который встал и книги на полках перебирал.

- Ну, вот что, - сказала Ольга. - Пожалуй, я поеду на дачу.

Она это машинально сказала и сразу же повеселела. То стояла без дела, потому что встала, а тут сразу повеселела и открыла холодильник, в котором можно было катать шары, никелированные, металлические, которыми хорошо по голове, сзади, со всей силы, было дать, шаром, с футбольный мяч, дать Николаю, чтобы скорее

трубу изобрел, на которую договор подписал, на сто тысяч долларов. Ольга вытащила мисочку, прикрытую пластмассовой тарелочкой, макароны холодные, положила кошке и подсолнечным маслом немного полила. Кошка раза три или четыре кругом блюда обошла и физиономию корчила такую, что не надо, не надо нам таких физиономий, и все же принялась, а что делать прикажете, есть. Принялась есть. Ходила и принялась. Смотрите, как глагол жжет сердца людей: ходила и принялась, встала и стоит, ходит и принялась. Скажем по-другому: кошка настолько умна, что глаголом зажгла сердца людей, от которых делегатом на кухне была Ольга. Тоже человек. Люд. Людя. Единственное число от "людей" - люда. Имя хорошее. Младшая сестра у Ольги есть Людмила.

- Каждый день макароны! - воскликнула кошка, когда все подчистую подмела,

- Скажи спасибо, что макароны!

- Спасибо макаронам! - сказала кошка.

- Макароны, макаронам, макаронами, о макаронах, макарон, - сказала Ольга и почесала бок под рубашкой.

Постояла еще у окна, поговорила с кошкой и пошла приводить себя в порядок в ванную, у зеркала над раковиной, а в раковине волосы. Волосы Ольги. Лезут волосы. Сколько же ей теперь лет, что волосы-то лезут? 97 отнять 41 равняется 56. Всего-то ничего, а сын взрослый, заканчивает авиационный институт, есть любит дома, домой ходит все время, некоторые молодые люди из дому бегут, а этот домой идет, один и сидит за столом с учебниками и логарифмической линейкой. Ему бы компьютер, а он с линейкой логарифмической. Рейсфедер еще любит и ватман. Ольге самой нравится ватман и рейсфедер. Ватман и рейсфедер. Встал и пошел. Николай.

Ольга отражается в зеркале. Зеркало, между прочим, старое и по краям зашелушилось и пожелтело, а в центре ничего себе - серебрится и ноздри Ольгины показывает и желтую кожу, морщинистую, лицо показывает. Тут стоит еще рассказать о том, кто опоздал к нашему репортажу, что Ольга сначала встала, а потом отразилась, если бы не встала, то не отразилась бы, встала и отразилась. Лицо и зеркало. Ноздри. Чуть-чуть опустить голову, наклонить и ноздри исчезают. Но тогда кажется, что Ольга бодается. Нет уж, пусть будет так, как есть. Это очень важно - не обращать внимания на свои физические недостатки и смело шагать по жиз-

ни. С ноздрями. Такими. Встала и ноздри. Лицо и стоит. Снег и лежит. Лежит и идет. Шаркая. Глаголом их, паразитов! Глаголом и шаром. Глаголом и молотком. По затылку молотком. По затылку глаголом. Чтобы пробрало до самых ногтей.

Еще воду не пустила, а эта уже мяукает за дверью:

впустите, мол. Кошка спит каждый день с сыном, в ногах, а ходит за матерью. Спит с сыном, а ходит за Ольгой. Ольга открыла дверь, впустила кошку, кошка вспрыгнула на край раковины и уставилась на Ольгу, отразившись в зеркале: заплатанная, рыжая с белым, там, сям, рыжая, белая, вошла и вспрыгнула. Ловко очень. С кристальной честностью. Валокордин, аптека, ноздри и зеркало.

- У меня что-то побаливает голова, - сказала кошка.

- А у меня прошла, - сказала Ольга.

- Ты поедешь?

- Поеду.

- Одна?

- А с кем же еще?

- С этим.

- Дурачком?

Она собралась и вышла. Собралась в подъезд и на улицу. В метро стояла и ехала. Народ стоял в проходе, у дверей, стоял, народ, стоял и ехал, стоя ехал, передвигался так под землей.

Ольга вошла в вагон, нашла место, реечки, желтые, сиденье. И даже у окна. Ехать полтора часа, с книгой и у окна. Вошла и села. Пахло снегом и драпом. В пальто. Вошла и села. И все сидели и бригадир, и подполковник, и толстая продавщица, и столяр и еще многие люди. Ольга вошла и села. Сумку повесила на крючок. Огляделась. Лица оглядываются. Лицо и лица. В вагоне электрички. Шелестят газетами. Снег идет. Платформа грязная, серая, в лужах. Тоскливо, но ехать надо. На дачу. Встала и вошла. Чем бы и кем бы они не были населены, все равно поедут рано или поздно. И точно. Доехала на метро, думала пустой вагон подадут для Ольги, а тут - нате вам! Сидят, набились, едут.

- Вы далеко едете? - спросила она у соседки.

- Недалеко.

- Я до конца.

- А я нет.

- Снег идет.

- Вчерась шел.

Народ сидит в электричке и едет. Над землей. Сидит над землей и едет. Не то, что в метро. Сидит и стоит, в проходе и под землей. А тут сидит и едет. Сразу так это едет сидя. И в окнах все мелькает. Особенно встречные электрички. Залпом. Пулей. Скорости складываются и свистят. Бах! И вагон как бы в сторону отскакивает. Встречная и в сторону. Бах и свист. И мелькает, и мелькает, и мелькает в окнах: вжих, вжих, вжих, вжих, вжих! Девять или двенадцать? Чего? Вагонов! В электричке сколько вагонов? Четыре раза по три, в связке.

Ольга сидит с книгой у окна и не читает. С раскрытой книгой, но не читает. Смотрит, как за окном все мелькает и летит назад, назад, назад. Едет и назад, назад и едет, сидя, над землей, летит и назад. Вперед. Едет. Дет. Ет. Т. Ольга.

А книгу не читает!

Платформа и скрип тормозов тяжелой электрички. Дергается, шипит открываемой дверью и дергается. Одновременно: шипит и дергается или вздрагивает. Под ногами асфальт мокрый, снег ленивый, ему надоело идти, а он все идет, идет, падает, еще как можно сказать?, спускается, опускается, парит и еще. И еще идет и парит, как Ольга. Идет Ольга в пальто, драповом, от которого пахнет вагоном, теплым и влажным. Так бы и не просыпаться, потому что все опротивело: и асфальт грязный, и откосы заплыванные, и заборы, и столбы, и так называемые дачи. Сарай щитовые. Четыре щита и из старых рам так называемая терраса. У всех. У всех одинаковые террасы. Под пропитанной нефтью бумагой, то есть под рубероидом. Нищие. Бомжи. А друг другу гордо: “Еду на дачу!”. Как будто у них там каменные с белыми колоннами особняки!

Асфальт быстро кончился и пошла грязь, глина, помои, осколки битого стекла; из оврага пахнет гнилью, там помойка, куда ходят жители шалашей, то есть по-советски - дач, и вываливают мусор всякий и отходы. Ходят и вываливают. Вываливают и ходят. Уже тридцать лет. По шесть соток дали еще при Никите Хрущеве Сергеевиче, или Сергеевиче Никите Хрущеве. Дали. Кому? Отцу дали. То нельзя, это нельзя, то - нельзя больше 16 квадратных метров, это - нельзя второй этаж, нельзя фундамент. Яму в углу - согласовать с ЦК КПСС. Согласовали. И срут по углам до сих пор. Все без денег. Бомжи. Банки свои вскрывают и едят. И в угол, в уборную.

Ольга дошла по улочке, присыпанной щепенкой, к своему участку. Голые ветви, влажные ветви сирени с метелками бывших со-

цветий нависают над покосившейся, гнилой калиткой. Тридцать лет. Замочек на ней от почтового ящика. Так - одно название. Без ключа открывается. На участке лежит снег и не тает. Белый, а не тает. А все белое должно таять. Так учили в школе и в институте. Даже белое движение и то растаяло.

Одни ели сопротивляются бесцветию и таянию: стоят назло зеленые. Стоят и зеленые. Зеленые, значит, как учили - окисленные. Окси - значит зеленый. Кислород. Умрешь и зазеленеешь. Ольга ненавидит зеленый цвет, цвет смерти. Все умирающее покрывается зеленью. Зеленые флаги означают мертвые нации, без перспектив, окисленные. Поэтому сопротивляется смерти только кровь, то есть жизнь - красная. Красная кровь. Красная жизнь. Красное знамя. Серп и молот на красном. Труд. Труд побеждает смерть под красным знаменем, Николай изобретает доллары. Россию потому что превратили в казино. Играют на деньги. Не работают, а играют. Зеленые. Похороним!

С ели Ольга перевела взгляд на крыльцо и заметила чьи-то следы. Взгляд остановился. Ольга остановилась. Чьи следы? Сердце кольнуло. Испугалась. Кольнула иголка, которой нет, и испугалась. Ольга и испугалась. Не вела плавно предложение, как положено, а рвала его. Она и рвала. Уже лет пять как рвала, только захочет успокоиться, а не может уже. Дрожит вся и рвет. Рвет и дрожит. Всю ненависть хочет успокоить и внятно высказаться, но не может, закипает и рвет фразу. То одни глаголы идут, то одни столы и стулья.

Кто? Следы и зелень, снег и крыльцо.

Ольга медленно пошла. Пошла и решила. Решила пойти к крыльцу и пошла. Замок выломан. Щепки на крыльце. Прислушалась, нет ли кого в доме? Тишина. Очень тихо. Птица какая-то только по компостной куче у забора... Посмотрела. Ворона. Ворона затихла и тоже посмотрела. Прекрасный кадр: Ольга обернулась и посмотрела на ворону, и ворона обернулась и посмотрела на Ольгу.

- Привет! - пытаюсь выглядеть смелее своего страха, сказала Ольга.

- Здорово! - сказала бесстрашная ворона.

- Как дела?

- Что за идиотский вопрос! - воскликнула ворона.

- Кто тут был?

- Фраера сопливые.
- Какие?
- Сопливые, говорю, фраера, лет по четырнадцать, стриженные наголо, в черных вязаных шапочках и в очень коротких черных кожаных на "молниях" курточках, пьяные.
- Ты видела?
- Если б не видела, неговорила бы, - сказала ворона.
- Не может быть! - воскликнула Ольга.
- Это не так говорят.
- Как?
- Разве ты не читала Эдгара По в переводе Владимира Жаботинского?
- Никогда? - спросила Ольга.
- Невермор, - каркнула ворона и взлетела.

Ольга вошла на террасу. Подтвердилось самое худшее. Стекла были выбиты. Посуда побита. На столе - сковорода с остатками гречки. Ели, сволочи. Грязные стаканы. Дверь в комнату сломана. На полу выпотрошенные подушки: пух-перо, разрезанный матрац, сломанные стулья. Стол с отломанными ножками. Разбитый приемник. Торчат провода и детали. Тряпье разбросано.

Разбито и разбросано. Осквернено и опустошено. Унесли все вилки и ложки. Нет керосинки. Сорвана люстра. Кругом окурки и следы от них на стенах, на полу и даже на потолке, оклеенном белой бумагой. На белом черные отпечатки окурков.

Ольга села на край изуродованной кровати и заплакала. Села и заплакала. Николай и трубопровод. Зеленые и смерть. Красное запрещено. Ольга и приехала.

Минут через пять, постанывая, Ольга начала убираться. Стала и начала. Или встала и начала? Одним словом, заглаголила.

КАК ТЕЧЕТ РЕКА?

рассказ

Стоянка обнесена глухим высоким железным забором, выкрашенным ядовитой зеленой краской, в том смысле, что эта яркая краска ест глаза. Впрочем, Мандриков Виктор не смотрел на нее. А когда красил, специально сделал цвет поядовитее, чтобы префект за версту видел, что поручение выполнено. У Виктора Мандрикова квартира, однокомнатная, в панельной пятиэтажке, постройки 1963 года, была на первом этаже; дом стоял торцом к стоянке, через небольшой проезд от нее, и окно комнаты выходило прямо на зеленый забор. И зимой виделось Мандрикову Виктору лето. Известно, что каждый русский любит лето и не любит зиму.

Мандрикову Виктору было пятьдесят лет. Он окончил среднюю школу, отслужил в армии и сразу устроился сторожем на стоянку. Сначала это была просто большая асфальтированная площадка, обнесенная невысоким прозрачным металлическим штакетником. Машин в личном пользовании у граждан было мало. Дом, в который вселился Мандриков Виктор с матерью, населяли довольно-таки интеллигентные люди: журналист из АПН, профессор медицины, генеральный конструктор и др. В общем, начало 60-х было временем расцвета хрущевских пятиэтажек. Интеллигенция жила бедно в коммуналках центра и наиболее состоятельные представители ее покупали новые квартиры. Хотя и не состоятельные тоже покупали, энергичные, на занятые деньги, с перспективой отдачи в течение нескольких лет.

Виктор Мандриков занимался машинами с 15 лет. На старой квартире на Покровке он помогал в гаражах во дворе дяде Грише, подрабатывал. В 18 лет, перед армией, купил старый “Москвич”, отделал его, покрасил и продал в два раза дороже, взяв новый, 408-й. В армии работал в мастерских автобательона, потом возил начальника штаба на козле. Вернувшись из армии, продал 408-й и обзавелся “Волгой” из такси, перекрасил, починил и продал в три раза дороже.

Мать Виктора Мандрикова была неграмотная деревенская женщина. На Покровке они жили в подвальной девятиметровой комнате. Уже тогда Мандриков Виктор сумел убедить мать сменить жилье; свои деньги вложил в новую квартиру и занял у профессора медицины, который жил на втором этаже и которому с дядей Гришей чинил машину.

Как только переехали, Мандриков Виктор собрал собрание жильцов и предложил организовать кооперативную стоянку, пока место не заняли. Владельцы автомашин дружно согласились и поручили энергичному 17-летнему парню руководить этим делом. До армии он успел заасфальтировать пустырь, обнести его забором, нанять троих сторожей и бухгалтершу. Пришел из армии, ездил на черной "Волге" три дня как таксист, а четвертый дежурил на стоянке. Обычно представляется, что дежурить - это сидеть на месте. Мандриков все время был в деле: то к нему идут алкоголики с завода, предлагая вынести с завода все, только бы Мандриков Виктор похмелил их, то подъезжают на ремонт. А Виктор Мандриков уже яму в боксе сделал и слесаря нанял...

В начале семидесятых обнес стоянку железным глухим забором и сделал гаражи, на пятьдесят машин. Потом районное начальство попросило поставить блатных десять машин и под это дело выделило еще земли, прямо до магазина. Передвинули, удлинив, забор: поставили еще десять гаражей. Переделали ворота, помощнее поставили, с мотором: жмешь из будки кнопку, они открываются.

Виктор Мандриков был экономным во всем: еде, питье, одежде. Кормила его мать, а когда он дежурил, приносила кастрюли непосредственно на рабочее место - в будку на стоянку. Виктор Мандриков отрывался от сварочных, покрасочных, слесарных работ и, протерев руки концами в бензине, быстро ел прямо из кастрюль. После "Волги" он купил "Жигули", первую модель. Маневренная машина. На ней удавалось в день заработать половину месячной зарплаты какого-нибудь токаря.

В середине 80-х решили будку сторожей поднять как бы вторым этажом, а под ней сделать еще один гараж. При монтажных работах Виктор Мандриков упал с высоты, ударившись головой об асфальт. Его отвезли в больницу, лечили месяца полтора. Выписали вполне нормальным. Но с тех пор Виктор Мандриков стал чуть-чуть странным - он начал читать. До этого совершенно ничего не читал, а тут глотает газеты, книги, журналы.

Гараж под будкой выделили писателю Н., который получил квартиру в Крылатском (стоянка Виктора Мандрикова располагалась недалеко от метро “Молодежная”). Писатель ездил на “Форде”. Он подарил Виктору Мандрикову свою книгу, надписав: “Дорогому Виктору Мандрикову, чтобы он прочитал мою книгу, потому что тот, кто не прочитал мою книгу, тот не жил!” И - подпись. Мандриков Виктор повертел книгу, взглянул на портрет автора и ничего не понял.

Он сразу же начал читать книгу, в будке, включив настольную лампу; дело было осенью, шел дождь и быстро темнело. И вот Мандриков Виктор втянулся в чтение, не веря, что это написал обычный человек, чья машина стоит под будкой. Почти что после каждого рассказа или повести Виктор Мандриков плакал. Что уж такое дергал в его душе писатель, Виктор Мандриков не знал, хотя и пытался понять, но понять не мог. После прочтения всей книги догадался, что писатель писал о хрупких людях, которые жили очень короткие жизни, рождались, не успевали увидеть солнце и сразу же умирали.

И сердце сжимала тоска.

В любом месте Виктор Мандриков открывал книгу, и там - такая же тоска и слезы. Какие-то дожди на дороге, какие-то небритые люди на телегах, буксующие машины, полустанки, бараки, плачущие дети, вокзалы, цыгане, старухи, снег, метель, ночь... Виктор Мандриков откладывал книгу и смотрел в темное окно, в одну точку. По стеклам стекали дождевые капли.

Как пролетело пятьдесят лет его жизни? Как? Как? Как? И еще раз - как? Ответить Виктор Мандриков не мог. Вся жизнь состояла из семи машин, которые он поменял, “козла” в армии, матери, которая лежала теперь при смерти и которую он уже не мог выходить... Один раз, правда, он женился, и умно сделал, что прописывать не стал: через год попросил ее покинуть “расположение части”. Теперь была у него просто подруга, к которой он заходил раз в неделю. И этого довольно. Но как он мог жить всю жизнь без книг? Уму не постижимо!

Он вновь принимался листать книгу и никак не мог врубиться в технологию изготовления грусти и печали. Никак!

Когда писатель приходил на стоянку, Виктор Мандриков бросал все дела и подбегал к нему. Он смотрел на писателя как на небожителя, как на человека, знающего что-то такое, чего другие не знают,

как на загадочную, хотя и очень просто сработанную икону, как на восход солнца или на свет зеленой звезды И терялся, и не знал, что спросить у писателя, чтобы понять, чтобы углубиться, чтобы...

- А вот тот старик, который помер в этом рассказе... Почему он к сыну в город не поехал? - спрашивал первое пришедшее на ум Виктор Мандриков.

- Не знаю, - говорил писатель, чем приводил в изумление Мандрикова Виктора.

Мандриков Виктор был светловолос, с маленьким носом, с серыми глазами... И стоял Виктор Мандриков среди двора и пожимал плечами: как это так, чтобы писатель не знал, что стало с его же героями.

Писатель перехватывал это недоумение и в свою очередь спрашивал:

- А вы знаете, как течет река?

Садился в свой "Форд" и уезжал.

И Мандриков Виктор начинал маяться этим вопросом, и не мог ответить на него. Сначала ему казалось, что это не вопрос, а так себе: ерунда. Ну, течет себе река и течет. А потом, вдруг, прозревая, бил себя по затылку: а кто толкает-то реку? А? И предполагал, что - родник, что кто-то из-под земли воду выдавливает, или она сама выдавливается, потому что там, под землей, уже тесно уже полна кастрюля и льется через край. Но дальше опять затруднения: почему это Волга впадает в Каспийское море, а не в Северное? Почему одни реки текут на север, а другие на юг? И вяз в этих вопросах и не мог ответить на главный: как течет река?

А как она течет?

Но это еще полбеды! Дальше он переходил на воду и вообще упирался в стену. Почему вода-то? Что это такое? Вновь открывал книгу, вновь начинал читать ее с самого начала и опять, от страницы к странице, сердце сжималось, на глаза лезли слезы. Он в отчаяньи захлопывал книгу и кричал на всю будку:

- Не понимаю!

ЛЕТЧИК

рассказ

В половине седьмого утра пришел дядя Володя, в шапке, в валенках с галошами; лицо было красное, с мороза. И тут же закурил, присев на табурет на кухне. С галош, конечно, потекло на линолеум.

Лида покосилась на дядю Володю, посопела, но ничего не сказала, лишь укоризненно взглянула на мужа, Геннадия, который в трусах стоял в дверях и, костлявый, шумно потягивался, хрустел суставами, сглатывал и зевал во всю глотку, и кадык со щетиной ходил вверх и вниз.

Придерживая на большой груди створки халата, чтобы не разъехались и не показали бабьей дар, Лида бросила к валенкам дяди Володи мешковину и потерла могучей своей ногой в тапочке лужу. И когда терла, зад ее широкий вздрагивал под облегающим халатом. Вздрагивали и щеки, и второй подбородок, мясистый, белый, кровь с молоком; а губы полные были недовольно сомкнуты.

Геннадий положил ладонь на ее зад и сжал мясо. Лида вся вспыхнула и, бросив протирку, ушла с кухни.

На кухонном самодельном столе, покрытом выцветшей и потертой клеенкой, стояла сковородка со вчерашней гречкой, валялись грязные ложки и вилки, чашки и стаканы. Взяв стакан, Геннадий налил в него холодной воды из-под крана и жадно выпил; затем, посмотрев на стакан изучающе, подумал и положил его в раковину к грязным тарелкам.

Дядя Володя нагнулся, загасил папиросу о мокрую подошву галоши и сказал:

- Досок напилели. Димка ждет.
- А Серега? - спросил Геннадий, почесывая грудь.
- Серега должен сейчас подъехать. Давай, собирайся.

Геннадий не спеша пошел в комнату. Лида лежала под одеялом на боку, лицом к стене и делала вид, что спит. Геннадий на-

гнулся к ней, став коленом на кровать, просунул руку под одеяло. Лида наотмашь ударила его. Геннадий охнул, отскочил, почувствовав ожог на коже, но не ответил и не обиделся.

Одеяло соскочило с Лиды и белые огромные груди с темно-вишневыми, как блюдца, сосками легли направо и налево от крупного торса. Геннадий захохотал, а Лида зевнула, показав ряд белых крепких зубов, и лениво натянула на себя ватное одеяло в розовом пододеяльнике с голубыми цветочками. Опять отвернулась к стене, колыхнув густыми каштановыми волосами.

Одежда Геннадия была свалена на полу, в углу, за коробками. Сначала Геннадий надел трикотажные лиловые шаровары, на них черные, от старого костюма, шевиотового, брюки, натянул байковую клетчатую рубашку, на нее - безрукавку, потом - старый серый пиджак. Надел меховые форменные унты на застежках, офицерскую серую шапку, и, наконец, куртку на бараньем меху, на "молнии", с металлическими заклепками.

Когда выходил из комнаты, с кровати донесся легкий храпоток; видно, Лида заснула.

Дядя Володя уж курил новую папиросу; на его широком, рябом, скуластом лице бродила улыбка. Увидев собранного Геннадия, сказал с усмешкой, выпустив клуб дыма:

- Надька вчерась кастрюлю сожгла.

- Как?

- Да уснула перед телевизором.

В подъезде были исчерканы все стелы, выбиты стекла; кругом валялись окурки, было наплевано среди битого стекла, банок из-под пива, банановой кожуры, пакетов из-под хрустящей картошки. Поддавая ногами банки, хрустя стеклом, дядя Володя и Геннадий вышли в морозную тьму. Лампочка у подъезда была разбита.

Снег захрустел под ногами. Пошли прямыми по тропинке к оврагу мимо сараев. Взобравшись на горку около бетонного забора, двинулись вдоль него, потом пролезли в пролом, миновали водочачку и вошли на двор лесопилки.

Грузовик Сереги уже всюю светил фарами и приятно урчал. Сам Серега, в солдатском бушлате, с красными прыщами и вдавленной переносицей, подтаскивал доски к кузову. Пахло еловой смолой. Когда Серега бросил доску, она зазвенела на морозе, как музыкальная. Принялись за погрузку. Все-таки много напилили досок, около пяти кубометров.

Серегин КамАЗ-длинногруз брал сразу и по восемь кубов. Однако шестиметровые доски грузить было нелегко. Наладились попеременно парами ходить: то Геннадий с Серегой, то Серега с дядей Володей, то дядя Володя с Геннанидем. И брали сразу с двух концов по четыре доски, сороковки. Димка нехотя помог пару раз.

Сели перекурить, хотя курил только дядя Володя. Геннадий снял брезентовые рукавицы и стал рассматривать свои руки, просто так, без всякого смысла. Серега глядел в темноту. Дядя Володя пускал клубы дыма в ночь. Лампочка горела под металлическим абажуром. С железнодорожного узла доносился гудок тепловоза, протяжный, жалобный, словно тепловоз исполнял роль одинокого волка, которому не осталось места в гарнизоне.

- Машка вчера мне вельветовую рубашку купила, - сказал Серега.

- За сколько? - спросил Геннадий, продолжая сосредоточенно рассматривать линии на ладонях.

- За тридцатку.

- Дорого, - сказал Геннадий. - Моя Лидка за двадцать пять брала. Дядя Володя снял шапку и смахнул пот с лысины.

- Я вот что скажу, - сказал он. - Теперича жить стало хуже. Нельзя выбирать, когда много всякого кругом. Дразнить нас. Раньше такого чтобы было! Вот тебе три рубля, а вот тебе за два восемьдесят семь! Не по-русски все это!

Слушая со вниманием рассуждения дяди Володи, Серега с удовольствием выдавливал прыщи и стирал гной с кровью пальцами, которые потом облизывал.

- Не, ты не прав, дядь Володь. Не прав. Ты старый и ничего не понимаешь. Выбирать здорово. Она сколько мебели навезли. Мы с Машкой наметили мягкие кресла с диваном купить.

- И мы! - вставил Геннадий. - Лидка просто балдеет от этих кресел!

- Под ейный зад и кресел-то не подберешь! - усмехнулся дядя Володя, широко расставляя руки.

- Как раз и не так, - сказал Геннадий, выковыривая указательным пальцем из носа козявку. - Вот под ее зад-то и пошла мебель: два метра шириной!

Дядя Володя и Серега громко рассмеялись, а Геннадий для особого заострения внимания поднял указательный палец вверх. Его лицо, вытянутое, узкое, с длинным носом и близко посаженными

ми маленькими глазами, выглядело напряженно-серьезным и подтверждало, что Геннадий очень любит свою Лиду, с которой расписался всего лишь полтора месяца назад. И тут сам Геннадий не выдержал и начал хохотать до слез, представляя зад своей Лидки в два метра шириной.

Конечно, широк зад был у его Лидии, но не в два метра. Как-то он даже для смеха прикинул сантиметром: всего-то было семьдесят три - в дверь с трудом проходила, но уж не два метра!

Смахнув слезу, первым встал к доскам дядя Володя, как самый сознательный в силу возраста; за ним и - молодежь. Когда шли от штабеля к машине, от них на притоптанный снег падали длинные тени. Конус света от лампочки разрывал непроглядную зимнюю тьму.

В новом, только что смонтированном доме делали ремонт. Странно. Но это так. Строители, не получив обещанных денег, подали в суд, снялись и уехали. Минобороны прекратило финансирование. Теперь дело было за самими новоселами. Геннадию дали трехкомнатную квартиру: без пола, без дверных коробок, без оконных переплетов, без сантехники, даже без труб и электропроводки. Каждый день приходилось что-нибудь делать: то унитаза ставить, то потолок белить, а то вот доски завозить - пол делать и прочую столярку. Завтра обещали поставить трубы.

Выглянул из каптерки косоглазый Димка, покачался в проеме, икнул и хрипло, срывающимся голосом спросил:

- Скоро вы там?

Усмехнувшись и присвистнув, Геннадий бодро ответил:

- Отдыхай! Сейчас смотаемся.

Дело в том, что доски эти были левые, и Димка их просто решил уворовать за столярку плюс литр, как водится. Вообще, Димка был свойский парень, но уж очень сильно выпивал; иногда пил целыми неделями, а когда напрочь пропивался, ходил по квартирам и кланчил денег или похмелки.

Дядя Володя посмотрел на Димку дружелюбно; белесоватые насупившиеся брови его разошлись, и от серых, всегда прищуренных для строгости глаз, кругами, как после камня, брошенного в воду, расплылась по морщинкам необычная для него смущенная улыбка, и он сказал искренне:

- Не пил бы ты уж с утра, что ли, милый человек.

Икнув еще раз и при этом очень громко, Димка бросил:

- Поучи тут меня еще! - и исчез в каптерке.

Дверь протяжно скрипнула и, подтягиваемая пружиной, хлопнулась. После этого предупреждения задвигались чуть проворнее, хотя чувства страха перед возможной опасностью не было. Все в гарнизоне так делали, а что, Геннадию нельзя?

Длинный железный ребристый кузов заполнился уже до высоты бортов. Серега залез на доски и сунул между ними и бортами бруски, поставив их вертикально, чтобы еще сверх положенного грузить, по принципу - бери пока дают, а там разберемся, лишнего не будет.

И в этот момент от дальних ворот, из тьмы, послышался чей-то крик. Серега круто, всем корпусом обернулся и испуганно взгляделся в темноту, и в черных глазах его было такое стремительное выражение, какое, должно быть, бывает у летящей птицы. Моментально он соскочил с кузова и рванулся к кабине.

Все это произошло так быстро, что Геннадий ничего не заметил. Дядя Володя от крика встrepенулся, но продолжил с Геннадием нести доски к кузову. Серега в это время дернул машину и поехал из-под навеса; фары скользнули по дальним воротам, от которых быстро двигался кто-то: похоже - бежал.

Геннадий, не выпуская досок, растерянно смотрел на приближающуюся фигуру, пока не узнал в ней дневального первой эскадрильи, правда, фамилии его не помнил. Дневальный, восточного типа приземистый солдат, с красной повязкой на рукаве, остановился против Геннадия, вскинул руку к виску и, задыхаясь, выкрикнул:

- Товарищ капитан, тревога!

Облегченно вздохнув, Геннадий сплюнул и, отпустив доски, воскликнул:

- Только собрался поработать!

Рядовой смущенно пожал плечами и медленно вымолвил:

- Я не виноват, товарищ капитан...

И лицо Геннадия стало серьезным, неподвижным. А дядя Володя и особенно Серега облегченно вздохнули, даже заулыбались; никакой опасности не случилось, все нормально, вот только догружать машину, а потом везти и разгружать придется им вдвоем, уже без Геннадия. Эта необходимость делать что-то другое, что не задумано, раздражала Геннадия.

Еще на подходе к дому он заметил автобус, собиравший офицеров по тревоге; дневальный вскочил в переднюю дверь и плюх-

нулся на боковое сиденье возле шофера, а Геннадию же надо было зааскочить домой.

Лидия все еще спала и он не стал ее будить; тихо переоделся в полевую форму, схватил на кухне пару кусков хлеба и соленый огурец и, жуя на ходу, помчался в автобус, и как только вскочил в него, дверь за спиной закрылась и автобус тронулся.

Люди сидели мрачные и сонные, молчаливо поглядывали в темные окна, сопели, кашляли. Геннадий отыскивал глазами свободное место, как раз возле майора Зыкова, своего штурмана, сел, пожимая ему руку, но ни о чем не спрашивая, и откинулся на спинку сиденья. Только сейчас почувствовал, как устали руки и ноги от погрузки досок. Он потянулся, широко вдыхая воздух носом, и зевнул: мог бы еще часика два поспать.

Автобус был стар, скрипел и кашлял, подпрыгивая на колдобинах, рычал надрывно, готовый вот-вот заглохнуть, но после короткой паузы вновь “схватывал” свое рычание: “па-а-ааа-па”

Справа за окном показались огоньки и по мере приближения, все более разрастались; вот уже и прожектора взлетки стали видны и свет в высокой застекленной будке командного пункта. Автобус все трясло и качало, так что с задремавшего Зыкова свалилась шапка, которую Геннадий на лету подхватил и надел на рыжеватую голову майора. Зыков встрепенулся, открыл глаза, большие, синие и, ежась, чертыхнулся. Когда он посмотрел на Геннадию, то тот заметил в них идущую с самого глубокого дна застарелую усталость, как будто Зыкову на все в этой жизни было наплевать. Но это было не так. Он был общительным, приятным человеком, имел троих детей и хорошую жену, директора гарнизонной библиотеки, в которой и Лидия работала.

Из раздевалки первой эскадрильи, в комбинезоне на многочисленных молниях, с металлическими поблескивающими клепками, прихватив шлемофон, Геннадий вместе со всеми выбежал на построение. Наискосок через рулежку, в отстойнике, стояла в свете прожекторов машина Геннадия, без номеров и опознавательных знаков, черная, как сама ночь, с хищным застекленным рылом. Возле нее пыхтел многотонный рыжий автозаправщик и крутились механики в синих куртках с меховыми воротниками.

Полковник Самойло в серой каракулевой папахе, поглядывая в планшетку, давал разъяснение по выполнению срочно пришедшего из штаба округа приказа. У полковника было лицо цыгана и гово-

рил он с сильным южным акцентом, украинским акцентом, припадая на “було”. По отработанной во многих занятиях схеме, Геннадю с Зыковым достался вариант номер пять дробь семнадцать. И после команды: “По машинам!” - Геннадий первым по приставной металлической лестнице вскочил на плоскость и, ухватившись за откиннутый колпак кабины, впрыгнул на сиденье пилота с высокой спинкой, которая была как бы надета на толстый ствол пиропатрона катапульты. Следом на плоскость ступил Зыков и прошел чуть вперед, где ниже кабины пилота располагалась кабина штурмана.

Механики убрали из-под стоек шасси колодки, красные, похожие на крабов, и, облепив машину, на руках выкатили ее на рулежку. В наушниках уже звучал хохлацкий голос все того же Самойло, успевшего подняться на командный пункт (у него под рукой всегда был “козел”): управлял полетами как правило он сам; последовала его команда “на старт”.

К борту подключили “катюшу” - передвижную электростанцию. Геннадий снял с предохранителя кнопку запуска первого двигателя, потом второго. Начал запуск машинально, бегло поглядывая на показания приборов. Двигатели приемисто откликнулись и стройно загудели на малых оборотах.

Некоторое время Геннадий прогревал машину, проклиная эту “тревогу”, помешавшую ему заниматься квартирой; подумал о досках, хороших, молодец Димка, лучший материал дал. Потом переключился на обои, которые еще предстояло покупать. А денег нет. Конечно, дядя Володя правильную идею предложил, помочь по столярке соседям по подъезду (а там из военторга люди были) и, стало быть, подзаработать. Были бы руки и материал. Ну и, разумеется, инструмент хороший. Геннадий достал у знакомых электропилу, электрорубанок и дрель, тоже электрическую, немецкую. Вслед за этим вспомнил Лиду...

Вздыхнув, взял на себя ручку газа и тут же, махнув механикам крагой, захлопнул прозрачный и герметичный колпак кабины. Машина сначала медленно тронулась с места, а затем все быстрее покатила по рулежной дорожке на стартовую позицию в начале взлетно-посадочной полосы, постукивая шасси на стыках бетонных плит. Поинтересовался в микрофоны делами у Зыкова; тот спокойно, зевая, ответил что все идет штатно.

Вырулив на старт, Геннадий доложил командиру о готовности. После некоторой паузы последовало разрешение на взлет. Генна-

дий посопел, вдыхая кислород, и перевел ручку газа в положение “форсаж”. Все вокруг завибрировало, завывало, засвистело.

Машина сорвалась с места и тут же бетонка раскрутилась, исчезла под машиной, которая нырнула в небо, сначала черное, а потом вдруг ослепительно яркое.

Светлый шар покатился в глаза Геннадию, потрескивая искрами, как от наждачного круга; Геннадий упал на левую плоскость, сделал вираж и лег на курс: на юг. Звук оторвался от машины и остался далеко позади...

Теперь машина как бы перестала мчаться, остановилась, замерла в голубой солнечной вышине, в полной, абсолютной тишине. Лишь земля далеко внизу медленно подкручивалась под машину. Показалась знакомая, поскольку тысячу раз видел, синяя лужица Черного моря с едва различимыми щепками кораблей. Тут же выглянула Турция, для пролета над которой не требовалось никакого коридора, поскольку машина Геннадия шла на высоте, не доступной никаким радарам; к тому же она была невидимой. Буквально над самой Анкарой Геннадий взял восточнее, на Багдад, подправил еще чуть левее и слева же зашел на Персидский залив. Тут начал работу Зыков: отснял через телевики с разрешением в два метра всю американскую технику, потом с усмешкой сказал Геннадию:

- Ген, взгляни чуть правее, под нами, американец летит, давай шлепнем его!? Тоже мне, стелс, невидимка, мать твою так-то!

- Ты мне лучше скажи, где обои недорогие достать? - спросил Геннадий, не обратив внимание на антиамериканские настроения штурмана.

- А черт его знает, - отозвался Зыков, - все кругом дорого.

Отработав, Геннадий сделал кружок вдоль Аравийского полуострова, прошел по Красному морю, потом вдоль Нила, от Асуана, мельком заметив пирамиды, и двинул себе спокойно домой, во тьму, в берлогу гарнизона. Шел и думал о дяде Володе с Серегой, которые сейчас, наверное, таскают доски в подвал, к верстаку, а он тут шныряет по белу свету, на компьютере кнопки жмет, автопилотом балуется.

Между тем, земля закрылась ватой облаков и пора было нырять в них, как к Лидии под одеяло.

НЕ ИЗВЕСТНЫЙ СКУЛЬПТОР

рассказ

Есть скульптор Эрнст Неизвестный, при упоминании которого Иван Фурсов начинает мелко дрожать, вздывать кулаки к потолку своей мастерской от негодования. Иван Фурсов не просто не любит Эрнста Неизвестного, он его ненавидит, как может ненавидеть любитель Шишкина творчество Пикассо или Кандинского.

Ивану Фурсову шестьдесят пять лет; он народный художник СССР, автор более сотни никому не известных памятников: сталевару Гудкову, доярке Шмариной, шахтеру Стаханову, слесарю Иванову (герою соцтруда), летчику Нечушкину и др. Иван Фурсов непомерно толст, живот выпадает из-за пояса брюк, костюмы он шил прежде в ателье на заказ, потому что даже в “Богатыре” не мог подобрать себе подходящего, ибо был невысок, но очень широк. У него к тому же одна рука много короче другой, и вместо левой ноги - протез, но не на войне Иван Фурсов потерял ногу; он родился одноногим.

У Ивана Фурсова совершенно круглая физиономия с бордовым носом, с тройным подбородком и вислыми щеками; густые седые брови почти что скрывают маленькие глаза; лохматые жесткие волосы Иван Фурсов красит в паркетный цвет, лишь виски серебрятся сединой. Ходит он медленно, с одышкой, после каждого слова шумно выдыхает воздух и кажется, что он сейчас задохнется.

Его пятидесятиметровая мастерская размещается в зеленой школе; вся школа в свое время, за год до 100-летия В.И. Ленина, была передана Союзу Советских Художников специально для скульпторов, таких, как Иван Фурсов. К тому юбилею Иван Фурсов отлил из бронзы двадцать три головы вождя, вырубил из гранита одного в полный рост из трех частей: голова, торс, ноги. Иван Фурсов состоял в бюро КПСС, а также в профбюро, занимаясь жилищно-бытовыми вопросами. В то время он сумел купить пять квартир,

так хорошо вознаграждался его труд, нужный, как он считал, советскому обществу. Иван Фурсов пять раз состоял в браке и пять раз с ним разводились жены и перевозили его на новую квартиру. Поживет он в новом кооперативе месяц-другой один и приводит женщину. Та рождает ему ребенка, потом ребенка оставляет себе, а Фурсова Ивана перевозит в новую кооперативную квартиру.

Иван Фурсов ходил по мастерским и давал всем скульпторам указания. Одному скажет: “Ты тут маненько руку подруби”, другому: “Сними ему маненько с горба” и т.д., но везде слышалось это его коронное словечко “маненько”. Сам у себя он рубил только для показа, а потом эксплуатировал студентов, поскольку Иван Фурсов был еще профессором. Молодые в его присутствии старались сдерживать улыбки, а когда Иван Фурсов выходил куда-нибудь, хотали над его работами, восклицали: “Ну и дуб! Ну и мосховец!” Но сразу сникали, когда Иван Фурсов отстегивал им наличными.

Тут уж они, считавшие себя гениальными, приструнивались, не рассуждали о вреде вмешательства критики в процесс творчества молодых, потому что тоже, как и Иван Фурсов, любили счет денежкам, любили их и без счета, оставаясь при своем мнении, что творческие порывы таланта должны быть инстинктивными и бессознательными, потому что непосредственность таланта делает их творчество правдивым и наивным.

Конечно, Иван Фурсов отстаивал похожесть в искусстве, а другого искусства он просто не замечал, или реагировал на, допустим, кубистику Эрнста Неизвестного, дрожью во всем жирном теле и вздыманием кулаков к потолку.

Живет Иван Фурсов теперь один, в однокомнатной квартире девятиэтажного панельного дома рядом с литейным комбинатом. К девяти утра он идет в комбинат руководить литьем. За литье он берет небольшие деньги. Скульпторы обеднели. Скульптуру и прежде плохо покупали, а теперь и вовсе не покупают. Потом в середине дня едет в мастерскую. В мастерской он ставит чайник и нарежет колбасу на доске. Пьет чай и закусывает. Сидит смирно и смотрит на свои работы, забившие стеллажи и все свободное пространство: мускулистые сталевары и летчики, доярки и шахтеры...

В куче на широком топчане валяются пыльные каталоги общих и персональных выставок. И там фотографии, черно-белые и цветные, все тех же не известно на кого похожих мужиков и баб. В жизни таких нет, и в искусстве таких нет.

Раздается стук в дверь, и входит скульптор Бугорков, в комбинезоне на голое тело, бородатый, в шапке из газеты; ему на вид лет сорок, он худощав и подвижен, руки в мелу.

- Вань, пойдем, глянешь на моего Христа.

- Не гомонись, - спокойно, шумно выдохнув, говорит Иван Фурсов. - Попей чайку.

- Да я уж пил.

Но все равно Бугорков садится на топчан, берет чашку, наливает себе чаю и пьет без сахара, прихватывая руками колбасу.

- Как там в литейке? - спрашивает Бугорков.

- Нормально. Маненько, правда, печь барахлит.

- Мне коней надо отлить, - говорит Бугорков, бегая глазами по социалистическим фигурам мастерской и усмехаясь. - В Швейцарию отослать на конкурс.

Иван Фурсов сопит очень сильно и говорит:

- И чего они тебя везде таскают! Ты ж лепить-то не научился! И рисунка у тебя нет!

Бугорков молчит на это, жует еще активнее предложенную колбасу.

- Ты, прямо, как этот... как Эрнст Неизвестный... - Иван Фурсов смеется, и все его толстое тело скачет в смехе.

- Его - знают, а тебя нет, - беззлобно говорит Бугорков.

- Знают, потому что у них - мафия! - преображаясь, с язвительной злобой выдыхает Иван Фурсов.

- Не без того, - мирно соглашается Бугорков. - Но, как бы тебе сказать... Они яркие, узнаваемые. А ты - как все... советские скульпторы... А вас - семьсот рыл в одной Москве!

- Молод еще указывать-то нам! - грозно говорит Иван Фурсов.

- Мы голодали, из деревень пришли по зову Родины! А вы все американцам продались, сволочи!

- Ну, я, положим, не продавался...

- Еще бы мой ученик американцам Родину продавал!

Тут Иван Фурсов чувствует невольный подъем; в самом деле. Бугорков, ныне очень модный скульптор, был в свое время его учеником, в этой самой мастерской долбил бюсты Ильича для Ивана Фурсова.

- Вообще, Вань, твоя ошибка в том, что ты перепутал искусство с государственной службой. Ты долбал своих монстров по заказу таких же монстров. Вот и все. И нечего обижаться. Денег зато

имел много. А творить нормально может только свободный человек. А кто свободнее всех? Тот, кто завоевал себе независимость, так как она всегда завоевывается непохожестью! А ты сразу хотел быть, как природа, копировал природу, а это, значит, ты был как все! А нужно поперек идти...

- Унитазы выставлять, как Гельман, в подвале?

- Зачем же так. Не надо унитазов. Вон Церетели Петра выставил...

Иван Фурсов сначала зеленеет, а потом белеет. Он вскидывает кулаки к потолку и кричит:

- Да это же издевательство над родным народом! Это же урод, а не Петр! Да это... да это...

- Не кипятись, Вань. Ты проиграл ему.

- Я?! Ему?!

- Ему. Вы были в равной ситуации. Сварганил бы ты Петра, поставил бы там, на стрелке, и ходил бы поплевывал себе...

- Да у Церетели все схвачено, он с правительством обнимается! - вопит Иван Фурсов.

- А тебе кто мешал с правительством снюхаться? А? Так что, Вань, талант - это осуществление. Не мечта: мол, я могу и то, и это. А - осуществление. Ты понимаешь меня. Не твой Петр над рекой стоит, запомни, а Церетели! И стоять будет всегда, потому что это гениальная работа. А вы все тля, тараканы МОСХа! - чуть повышает голос Бугорков.

- Это мы еще посмотрим, - говорит Иван Фурсов.

Они выходят в широкий полутемный, но сплошь заставленный гипсовыми бюстами Ленина, Пушкина, Маркса и других заказных товарищей, коридор и идут в конец его к мастерской Бугоркова. В открытую дверь туалета замечают Туркину, скульпторшу, моющую окурцы; сейчас начнет просить денег, поэтому они бегут.

В мастерской Бугоркова все так же заставлено, как и у Ивана Фурсова, но другим заставлено, другим. Здесь теснятся странные типы и искаженные фигуры, срезанные черепа и безглазые портреты на дорических колоннах... Но!

И реализм (похожесть на объект), и авангард, и модерн, и пост-модерн, и стилизация, и черт в мешке, и всякие направления только тогда становятся искусством, когда они идут от искреннего чувства и веры в себя скульптора. В работах Бугоркова - был сам Бугорков, все дышало им, все его душой было наполнено. И каж-

НЕ ИЗВЕСТНЫЙ СКУЛЬПТОР

дый раз, входя в его мастерскую, Иван Фурсов это ощущал. И именно поэтому всегда восклицал:

- Искривлялся весь! Маненько бы пособраннее!

В центре мастерской стоит огромная глыба белого известняка, даже не стоит, а удлинненным конусом уходит, улетает к высокому потолку, взлетает фигура Христа, на белом камне бронзовая голова с провалами глаз, в терновом, из колючей проволоки, венке; с боков бронзовые кисти рук с очень длинными и тонкими пальцами; худые ноги, слабо напоминающие человеческие, это очень тонкие, хрупкие, узкие, вытянутые конечности какой-то птицы, которых и на Земле-то не существует.

- Не похож! - сразу говорит Иван Фурсов, напрягаясь, как будто он только что видел Христа там, где Туркина мыла огурцы.

Бугорков наливает ему своего чаю из прозрачного чайника, подставляет блюдо с зеленью, помидорами и огурцами. Сам берет головку чеснока, отделяет зубчик и кидает его в рот. Потом не спеша, прожевав, дыхнув на Ивана Фурсова запахом этого чеснока, говорит:

- Эх, Ваня. Ничего ты не понял в искусстве, потому что шел по волне! Не сближался тесно с природой идеи. А у работы обязательно должна быть идея. Своя. Чтобы поперек. Тогда идея предохранит тебя от всего. Надо идти по внутреннему течению, а не по волне. Тогда всегда будешь ближе к правде и к красоте!

Иван Фурсов тяжело дышит, отпивает из чашки, потом начинает с ненавистью клеймить Эрнста Неизвестного и Зураба Церетели.

“Наша улица”, № 1-1999-(пилотный)

ЩЕБЕНКА

рассказ

У Муртазаева волосы были как конские: жесткие, черные, свистящие на ветру. Мартазаев стоял на недостроенном одиннадцатом этаже; и кричал крановщику:

- Вира!

Шел дождь со снегом, и быстро темнело. Луч прожектора ослеплял. Муртазаев прикрывал глаза мокрой рукавицей, а другой рукой подводил панель к стыку. Напарник, Хайроло, придерживал огромную бетонную панель с другой стороны. Крановщик Байрам точно опустил панель, и ребята стали варить ее к месту.

У Муртазаева прохудились сапоги, и палец правой ноги высовывался. Муртазаеву было холодно, голодно и тоскливо, но он постоянно успокаивал себя мыслью, что скоро дадут деньги и он поест. Как следует. У Хайроло по редкой рыжей бороде стекала вода. Глаза у него тоже были грустные. Хайроло, как и Муртазаев, хотел есть.

В конце работы они некоторое время постояли на дождевом ветру, вглядываясь в даль московской окраины, словно собираясь увидеть горы своей среднеазиатской родины. Но кроме огоньков машин, идущих по кольцевой дороге, далеко-далеко, ничего рассмотреть не могли.

Крановщик Байрам спустился с крана, и все трое пошли ночевать в вагончик. Хайроло растопил круглую печку, сделанную из металлических бочки и поставил на печку алюминиевый совсем черный чайник с помятым боком. Муртазаев достал пакет с заплесневелым хлебом. Ребята грязными руками поделили хлеб и жадно принялись есть его, запивая кипятком.

- Домой хочу, - мечтательно сказал Байрам.

- Дома стреляют, - сказал Муртазаев.

За дверью раздался робкий лай с поскуливанием. Муртазаев, вздохнув, поднялся с тюфяка и пошел открывать, из мокрой

темноты в вагончик запрыгнул хромой черный, с висящими ушами, пес.

- Пришел опять, - сказал Муртазаев.

- При-ишел, - сказал Хайроло.

- Ночевай, - сказал Байрам, указывая рукой на кучу тряпья в углу невдалеке от печки.

Пес грустно взглянул на Муртазаева, помедлил и пошел, прихрамывая на заднюю левую, в указанное место. Муртазаев, чмокнув губами, бросил ему кусок позеленевшего черного хлеба. Пес понюхал, отвернулся, лег, затем дотянувшись до куска зубами, принялся насильно жевать хлеб, чтобы не обидеть хозяев. Погасили лампочку под газетой и легли.

Утром дождь продолжался. Ветер немного стих. Ребята полезли по местам.

- Вира!

- Майна!

Крановщик Байрам заметил черный джип, подъехавший к дому. Из машины вышел жирный человек в дорогом костюме, над ним распахнул зонт охранник. К приехавшему подскочил начальник участка, и они пошли в вагончик, где располагалось СМУ.

Последнюю плиту четырнадцатого этажа ставили в полном мраке, потому что сгорел прожектор. Есть совсем было нечего, а просить Муртазаев, бригадир, не мог. Они полгода как приехали в Москву и без всяких документов стали работать на хозяина на строительстве этого семнадцатизэтажного жилого дома.

В окна стучал дождь. Попили кипятку с остатками сахара. За дверью опять раздался знакомый лай, и хромой черный пес принес в зубах рулон краковской колбасы.

Он положил колбасу в центре грязного пола, а сам удалился в угол, всем видом своим сытым и довольным говоря, что таких кружочков колбасы он уже напробовался. Муртазаев задумчиво нагнулся, поднял колбасу, поднес ее к носу, внимательно понюхал, разломил на три части и протянул их ребятам. Те молча приняли и в один присест съели. Пес во сне, лежа на боку, перебирал ногами и радостно поскуливал. Муртазаев, прежде чем гасить свет, погладил его.

Утром опять шел дождь. К вечеру доделали семнадцатый этаж. А завтра был выходной, потому что начальник сказал, что бетона не будет.

Пес ночевал с пустым желудком. Утром Муртазаев, Байрам и Хайроло пошли пешком к метро. У них с прошлого раза сохранилось три жетона. Других ценностей у ребят не было. До метро было идти трудно и долго, через глинистое распаханное поле, потом леском, потом по улице. Все трое надели выходные серые халаты, стеганные, подпоясались платками и надели тюбетейки. В метро было шумно и многолюдно. Ребята с хмурыми лицами встали у не работающих дверей и так молча ехали до самого центра. Там они уже знали куда идти. Поднялись до бульвара и сели под мелким дождем на травянистый скат у черной ограды перед светофором, где тормозили машины. На грудь повесили картонные таблички: "Помогите беженцам".

И протянули руки.

Мало кто из шоферов подавал, но все же к концу дня ребята набрали тысяч сто. Молча снялись с места. Молча дошли до метро, купили три жетона туда и три на всякий случай. На своей конечной станции быстро направились на оптовый палаточный рынок, где накупили хлеба, рису и чаю.

- Домой бы, - в поле сказал Байрам.

- Хорошо домой, - согласился Муртазаев.

- Нельзя, стреляют, - сказал Хайроло.

Ноги вязли в глине. Из темноты показался прожектор, их вагончик. У крыльца сидел черный пес, дрожал от дождя и холода. Ребята тоже все промокли, но еда в пленочных пакетах была суха. Вскипятили воды, заварили настоящий чай, нарезали хлеба. Пес неохотно жевал черняшку и улыбался ребятам.

На другой день монтаж окончательно закончили. Пришел начальник и сказал, что денег не будет.

- Почему?

- Нет финансирования.

- А как же нам быть? - грустно спросил Муртазаев.

- Не знаю, - пожал плечами начальник, и его вороватые глаза опустились в пол. - Может, щебенку разбросаете пока, а там и деньги будут.

Ребята переглянулись и как бы молча согласились.

Шел дождь. Гуськом шли за хорошо экипированным начальником в резиновых сапогах. Подошли к котловану, на дне которого профилировал землю бульдозер.

Начальник объяснил, что делать, и ушел. Бульдозер уехал из котлована. Подъехало сразу несколько больших самосвалов. Ре-

ЩЕБЕНКА

бьята из котлована кричали: “давай!” Самосвалы по очереди стали ссыпать в котлован, где должны были быть подземные гаражи, щебенку. Вдруг под всеми троими ребятами земля пошла вниз, они молча поехали в провал, а сверху их заживо засыпала щебенка.

Муртазаев почувствовал резкую боль, задохнулся и все погасло.

- Домой! - слабо прокричал Байрам.

А Хайроло ничего не прокричал.

Только разгрузившись, шофера догадались заглянуть вниз: ни ребят, ни щебенки, все провалилось в тартарары. В строящуюся шахту метрополитена.

Подъехал начальник.

- Как же с ребятами? - спросил один шофер.

- Да хер с ними! - бросил начальник и уехал.

Утром шел дождь. В доме работали отделочники из Молдавии. Без всякого оформления.

Черный пес сидел у крыльца и мок. Потом, почуяв неладное, потрусил к котловану. Затем спустился в яму и, воя, стал рыть землю лапами.

Через полгода на фасаде развернули транспарант:

“Продаем квартиры в этом доме. 1 кв.м. - 950 \$”.

“Наша улица”, № 1-1999-(пилотный)

ТЕЛЕВИЗОР

рассказ

Чтобы свет из окна не падал на экран, Валентина заставила все же себя встать с кресла и задернуть штору. Труда ей стоило это большого, потому что в Валентине было килограммов двести и ноги ее не держали. Оторваться от телевизора она не могла, очень интересную мексиканскую жизнь показывали. Хотя отрываться приходилось, чтобы сходить на кухню, приготовить что-нибудь к приходу из школы Васи, сына, пятиклассника. В самый момент поцелуев появился Вася, швырнул портфель под кровать, схватил сушку из вазы на столе и быстро начал переодеваться, чтобы бежать гулять.

- Куды?! - всплеснула толстыми руками Валентина. - Щей сейчас принесу.

- Не хочу я твоих щей! - крикнул Вася, пучеглазый худющий школьник. - Хоть разок бы котлетами покормила!

- Это не ко мне. К отцу обращайся! Он, паразит, третий месяц получку пропивает! Ща припрется пьяной...

- Не "пьяной", а пьяный, - поправил Вася, натягивая тренировочные рейтузы.

- Помолчи мне тут, - огрызнулась Валентина и уставилась в экран.

Надев штаны, Вася сбегал в ванную, сполоснул руки и сел за стол. Валентина во все глаза, поблескивающие соперничеством мексиканским героям, глядела в телевизор. Вася тоже попытался заглянуть туда, но его низкорослые мулаты не заинтересовали, так же не заинтересовали пальмы и хижинки.

- Давай, мамка, щей своих, жду ведь?? - повысил голос Вася.

Валентина, не отводя глаз от экрана, мотнула толстыми щеками.

- Щас!

Вася поставил локти на стол и, подавшись вперед, спрятал лицо в ладонях.

- Скоро? - спросил он минут через пять.

- Сынок, сходи сам на кухню да налей себе, - сказала ушедшая совсем в экран Валентина.

Она была не из тех, кто бросает дело из-за какого-то обеда для сына. Делом ее жизни с самого начала перестройки стал просмотр латиноамериканских сериалов. По виду Валентины можно было подумать, что сериалы эти возникли еще раньше Горбачева и шли без перерыва с того дня, как она появилась на свет.

- Мамка, ну ты что - издеваешься? - простонал уже Вася.

- Ща как дам по затылку! Не мешай!

Вася тихо встал из-за стола и вышел из комнаты. Валентина не заметила, как он ушел играть в футбол на пустырь. Фильм кончился, пошли титры. Валентина утерла тыльной стороной жирной ладони слезу, с трудом поднялась из любимого кресла и пошла на кухню. Потрогала кастрюлю, щи были теплые. Подумав, Валентина налила себе миску. И бодро, облизываясь, съела. Затем, поглядев в окно, налила добавков и съела с ломтем черного хлеба еще миску. Помыла миску, взглянула на часы с кукушкой и побежала в комнату к телевизору смотреть другой фильм по второму каналу. Показались скуластые с раскосыми глазами лица метисов и Валентина застыла от предвосхищения новых событий.

" - Дон Педро вчера сказал, что он видел Сильвию в Сан-Хуэ.

- Да. Дон Педро не может этого придумать.

- И я ее видела!

- Кого, радость моя?

- Сильвию.

- Не может быть!

- Поцелуй меня, прошу.

- Я не могу тебя поцеловать, потому что ты целовалась с Хорхе Гарсиа Де Насименто Рохо!

- Кто тебе сказал?

- Вальдано с Коба Кабана. - Ничтожный!

- Кто?

- Рохо. Дон Педро совершенно справедливо не пускает его на ранчо.

- А ты была на ранчо Дона Педро?

- Да.

- До чего же ты хорошо объяснила, просто прелесть.

- Ты читала "Негритенок Самбо"?

- Как странно, что ты меня об этом спросила. Он нагнулся, взял ручку Дебиллы и спросил:

- Тебе понравилось?

Вошел Дон Дебилл, низкорослый метис в белой ковбойке.

- Дебилла, ты видела Дона Кретина?

- Что?

- Дон Пидор вчера познакомил меня с Лесбией.

- Где?

- На Плайя Хирон.

- А тигры бегали вокруг дерева?

- Не знаю.

- Ты любишь меня?

- Люблю. А ты меня?

- Люблю.

- Спой мне, Хорхе Луис Пидор Рохо, спой мне колыбельную песню, чтобы я сладко, запутавшись в сахарных соплях, уснула у тебя на коленях под рокоты чудесного бразильянского кофе типа Пеле.

Он, цыган, что ли, запел:

Туда, где роща корабельная лежит и смотрит, как живая, выходит девочка дебильная, по желтой насыпи гуляет...

- Как ты прелестно поешь, мой дорогой Хорхэ Хулио Хуэли!

- Как ты прелестно слушаешь, моя прелесть полукровная..."

В этот момент Валентина услышала стук входной двери. Не отводя глаз от экрана, она сжалась, предчувствуя появление пьяного Николая, мужа. В одно мгновение проскользнула в ее сонном, жирном мозгу мысль: ну, неужели Николай не может разговаривать с ней так ласково, как этот Хулио?

Сквозь стеклянную дверь Валентина увидела, что Николай с двумя огромными сумками прошел на кухню, не взглянув в ее сторону и, кажется, что странно, трезвый. Валентина прикусила губу, но не могла оторваться от сериала на жизни цыган. Машинально потянулась к столу и взяла газету с программой. Следом за бразильяно-цыганским шел цыганско-латиноамериканский сериал. Она вновь радостно улыбнулась и впиалась в экран. Дальней мыслью прикидывала, что там на кухне может делать Николай. Нетерпение охватило ее, но сериал не отпуская.

Часа через полтора Николай принес на стол жареного гуся и бутылку водки.

- Ты чего это? - вылупила глаза Валентина, и тройной подбородок задрожал.

- Новую жизнь начал, - сказал Николай, худой и злой.

Валентина оторвалась от телевизора, впилась в него взглядом:

- Как это?

- Так это! Где Васька?

- Гуляет.

Николай, хлопнув дверью, пошел на улицу. Валентина просмотрела титры этого фильма и переключила телевизор на четвертый канал, где начинался новый сериал из жизни цыгано-индейцев.

Только начался завораживающий диалог:

"- Ты не видела Хорхэ, Мария?

- Нет, я не видела Хорхэ.

- Спой мне, любимый, песню.

Он, черный в белом, запел:

Но Будда нас учил: у каждого есть шанс,
Никто не избежит блаженной продрозверстки.
Я помню наизусть все 49 Станц,
Чтобы не путать их с портвейном "777".

Когда бы не стихи, у каждого есть шанс.
Но в прорву эту все уносится со свистом:
И 220 вольт, и 49 Станц,
И даже 27 бакинских коммунистов...

- Как ты хорошо поешь, Хорхе.

- Я пою хорошо, Мария, но Хулио Иглесиас поет лучше.

- Хулио?

- А Хули..."

Тут Николай привел красного, взъерошенного, потного Васю.

- Она меня совсем не кормит! - услышала Валентина голос сына из коридора.

Валентина сжала кулачки, затаила злобу на этих едоков, которые вот уже без малого десять лет отравляют ей жизнь, не дают спокойно смотреть сериалы.

Умытый Вася сел за стол. Николай поставил рюмки, тарелки, положил вилки, принес отварной картошки со сливочным маслом, нарезанные сочные помидоры, отдельно огурцы, разделанную се-

ледочку. Вздыхнув, он сел и хотел было уже заговорить, но остановился, потому что шли новости:

“- Чеченская республика... Ельцин... Чечня... Ельцин... К урегулированию конфликта в Боснии и Герцеговине... Ельцин... Чечня... Ельцин... К урегулированию конфликта... Ельцин... Чеченская республика... Ельцин... Чеченская республика... Ельцин... Чеченская республика... Чубайс, Чубайс, Чубайс... Чеченская республика... Лившиц... Чубайс... Уринсон... Ясин... Ельцин... Гайдар... Чеченская республика... К урегулированию конфликта... Лившиц... Вульффонсон... Чубайс... Чеченская республика... Ельцин... Гайдар... Чеченская республика... Лифшиц... Гусинский... Уринсон... Вульффонсон... Гусинский... Чеченская республика... Березовский... Лифшиц... Чубайс... К урегулированию конфликта... Ясин... Лифшиц... Березовский... Ельцин... Гусинский... Лебедь... Чеченская республика... К урегулированию конфликта... Лифшиц... Ельцин...”

Телевизор продолжал бубнить, Николай взял бутылку в руки, но не за туловище, а за горло, как гранату и с криком:

- Завязываем раз и навсегда!

...подлетел к телевизору и со всей силы ударил бутылкой по экрану. Раздался оглушительный взрыв, мелкие осколки с дымом полетели во все стороны, внутри что-то загорелось и языки пламени вырвались из экрана. Кровь потекла по рукам Николая. Валентина побелела. Вася застыл с открытым ртом. Николай хладнокровно отряхнул руки, сходил на кухню, принес кастрюлю воды и выплеснул на телевизор.

Внутри запищало и все погасло.

Николай сел к столу, взял рюмку, осмотрел ее внимательно, сдул пылинки и, перевернув вверх дном, поставил на тарелку.

ШТАНГЕЛЬ

рассказ

Теперь он вернулся в Москву из Караганды, то есть как бы из-за границы, из другого государства, из Казахстана: ему - государству этому - свой стул в ООН дали. Начальник исправительного учреждения Симаков, полковник, вернулся, одним словом, в Москву. С большими трудами. Дочь помогла деньгами, купила отцу с матерью квартиру в Бутово, в новом доме, кухня - 10 метров и две комнаты с холлом.

Сухощавый, с впалыми щеками, Симаков ходил теперь по Москве и умилялся памятникам архитектуры и новому строительству, с удовольствием закусывал в "Макдональдсе", пил пиво в ирландских барах и постоянно вспоминал детство и юность. Родился Симаков в Останкино, на Кашенкином лугу. Сразу съездил туда. Конечно, бараков нет уже, и место изменилось, но дух уловил. Вспомнил, как играл в расшибалочку у серого дома, потом вспомнил, как копали котлован под фундамент Останкинской телебашни в конце пятидесятих годов.

Симаков походил у пруда, полюбовался башней и корпусами телецентра. Отвык, конечно, он от Москвы, ходил, как экскурсант по музею, сдерживался от критики, разговаривал в транспорте и в магазинах вежливо, не как с заключенными. Хотя никак не мог отказать от мысли, что все вокруг заключенные.

Потом на автобусе доехал до метро "Алексеевская" на проспекте Мира. И сердце забило от волнения. Но и здесь все изменилось. Вместо низких домов стояли высокие. Симаков постоял у магазина "Океан" и пошел на улицу Годовикова, где раньше помещался кинотеатр "Титан", а у линии железной дороги располагался завод "Калибр". В 1961 году Симаков после семилетки поступил в ремесленное училище при этом заводе.

Поглядывая острыми глазами по сторонам, Симаков шел по улице Годовикова и ничего не узнавал: справа торцами стояли из

красного кирпича жилые дома (прежде их не было). Симаков вышел к перпендикулярной улице, хорошо заасфальтированной, с новыми бортовыми камнями, с молоденькой травкой на газонах. Это была Большая Марьинская улица. И тут Симаков ничего не узнавал, как ни напрягал память. Столько лет прошло. И здания училища не находил.

Подумав, Симаков перешел на другую сторону и взял немного левее. Вышел к производственному зданию новой планировки, а за ним - ликуя - увидел родное серое старое здание ремеслухи. Симаков даже остановился. Ногу занес для другого шага, но остановил шаг, не поставил ногу. Перенесся на тридцать с лишком лет назад, на без малого сорок лет назад. Справа шел бетонный забор с воротами. В глубине у дверей грузилась машина. Симаков догадался, что там склад, сдали, видимо, в аренду какой-нибудь фирме. А раньше там была учебная мастерская, стояли станки, зеленые, скрипящие, старые, немецкие, на которых учился работе Симаков.

Он перевел взгляд на вход и обомлел: над входом висел транспарант: Международный славянский университет им. Г. Р. Державина.

- Ничего себе! - прошептал восторженно Симаков и подумал: разве он мог знать тогда, в юности, что в его ремеслухе разместится университет, да еще международный, да еще славянский, да еще имени Державина!

Очень славян любил Симаков, особенно теперь, когда славян уж совсем заобижали и вытеснили из телевизора и от всех денег оттеснили. С политруком, бывало, выпив, разговорятся, и Симаков ему скажет знающе: "Вот смотри, как нужно определять, где деньги". "Как?" - заинтересованно спрашивал политрук, майор. "А так, - говорил раскрасневшийся Симаков, - деньги крутятся там, где евреи! Вот как увидишь, где евреи, там, значит, и деньги".

Теперь Симаков понял, что тут денег нет, в этом международном, в этом славянском, коли в нищенском здании бывшей ремеслухи расположился. Двери были распахнуты, поскольку светило солнце и было жарко. Симаков нерешительно двинулся в подъезд. Справа сидел за стеклом вахтер, что-то читал и на Симакова не обратил никакого внимания.

Прямо и направо был цех раньше. А сейчас туда прохода не было, стояла железная стена и замок амбарный на воротцах. Си-

маков, разглядывая ступени, поднялся на второй этаж. Ступени были теми же, старыми, стершимися, родными, почти что тюремными, какими-то засаленными, цементными, от которых пахло то ли сортиром, то ли столовой. Хотелось зажать нос и бежать на свежий воздух. За перила держаться было неприятно, они были такими же сальными, как ступени. По этой лестнице давным-давно бегали подростки, такие же, как Симаков.

Он вошел в коридор второго этажа. Тут было более или менее подкрашено. Краска, конечно, не понравилась Симакову сразу: то ли желтая, то ли зеленая, не поймешь. Смесь какая-то. Коридор неуютный. Но раньше было еще мрачнее. Тут располагались классы.

Чего уж учил Симаков? Помнится - технологию металлов и еще что-то. Прямо перед входом Симаков увидел стенд с объявлениями.

Мелькнуло: актерский факультет. Зачем актерский? Потом: юридический. Зачем юридический? Повернул голову налево Симаков, увидел двух женщин за двумя столами. Подошел к ним, спросил:

- А что, извините, дипломы государственного образца здесь выдаются? Женщины взглянули на седовласого невысокого человека в тенниске, одна из них сказала:

- Мы аттестацию сейчас проходим.

Симаков не совсем понял. Посопел, оглядывая столы, на которых лежала наглядная агитация.

- Значит, не государственные дипломы, - сказал он.

- Пока нет, - сказала толстощекая, моложавая. Симаков потрогал целлофанированные проспекты. Все походило на какую-то клубную агитацию.

- А почему "международный"? - спросил Симаков.

- Не знаю, - сказала женщина. - Это у учредителей нужно спросить.

- А кто у вас учредители? - спросил Симаков. Женщина пальчиком с маникюром указала на стену сзади себя, где была приклеена бумажка с компьютерным набором: земская община.

- Что, земская община учредитель?

- Да.

Симаков опять помялся, полистал справочник, посмотрел на стенд, где были выставлены образцы дипломных корок, проходя-

щие на какие-то самодельные корки, которые теперь может делать каждый.

Розовая, с будто бы водяными знаками бумага внутренностей корок походила на почетные грамоты того исправительного учреждения, начальником которого был Симаков. Он посопел своим длинным острым носом, опять подошел к столу, посмотрел другие бумаги. На одной сообщалось, что аккредитацию университет будет проходить в Министерстве общего и профессионального образования, а не высшего.

- Почему общего? - пожимая плечами, спросил Симаков.

- Молчим, - сказала женщина и замолчала.

И другая замолчала.

Помолчали. По их лицам Симаков догадался, что они сами толком не знали, где работали. Но во всем чувствовалась если не липа, то какая-то махровая художественная самодеятельность.

- А вы хотите кого-то к нам устроить? - спросила одна. Симаков взглядом, смешанным с презрительной усмешкой, оглядел женщину и не спеша сказал:

- Мои дети уже давно с высшим образованием.

И прошелся от стенда с дипломами к двери и обратно.

- Так что же вы хотите?

Симаков шумно вздохнул, усмехнулся и промолвил:

- Да так. Учился я здесь в начале шестидесятых годов. Тут ремесленное училище помещалось при заводе "Калибр".

- Хорошие кадры училище, значит, готовило! - воскликнула одна из сидящих.

Симаков некоторое время помолчал, подошел к объявлению на стене, прочитал среди прочего, что за семестр здесь берут со студентов 4238 рублей.

- Это что же, - только тут сообразил Симаков, - у вас университет коммерческий?

- Конечно.

Заложив руки за спину, Симаков пошел в даль коридора строгим шагом, как по бараку в зоне. В конце коридора он развернулся, пошел назад. Женщины с некоторым недоумением смотрели на непонятого посетителя.

- Что вы, собственно, хотите? - спросили.

- Воспоминания нахлынули, - сказал нервно Симаков, и один глаз у него дернулся. - Вы знаете, что такое ремеслуха тех лет?

- Кадры готовили.

- Бандитов! - выкрикнул визгливо Симаков. - Какие кадры! Шпана. Весь район здесь трепетал, когда мы кодлой шли по улице! В черных гимнастерках, подпоясанные широкими ремнями с бляхами, в черных фуражках, в бутсах из кирзы. Водку пили прямо из горла! Это в пятнадцать-то лет. Мы били всех встречных-поперечных. Останкино и Сокольники трепетали, когда мы всем училищем, а это кодла рыл в сто, приезжали на танцплощадку.

Женщины переглянулись. Лица их посерьезнели.

- И я был главарем. Удар с правой у меня был нокаутирующий, несмотря на то, что я выступал в полулегком весе. "Трудовые резервы".

- Ну и что?

- Да позакрывать нужно было эти рассадники уголовщины.

- А вы уголовником стали?

- Я-то как раз не стал. Я стал полковником. Закончил военное училище, потом академию. После ремеслухи поработал год на заводе, и меня взяли в армию. Попал в роту охраны. Тюрьму охранял. В ужасе выводил заключенных: разных душегубов, воров, насильников. И все думал, как меня пронесло, как я на их месте не оказался. Ведь я же убил, наверно, человек десять, а то и больше.

Женщины совсем побледнели, съежились. А Симаков ходил перед столами, корчил жуткую физиономию, размахивал руками и распространялся:

- С правой по сусалам, с левой финкой в пах - и готово дело! И ногой так это в кусты затолкаешь, и идешь дальше. Бычок в углу рта дымит, кепочка на брови сдвинута, брюки клеш, походочка морская, и сзади кодла моя, банда моя ремесленная человек в пятьдесят! Вот как было.

- Страшно!

- Не то слово! - поддержал Симаков. - Душил бы таких, как я, собственными руками. Не нужны эти РУ, ПТУ! Нужно давать обязательное среднее образование и только!

Одна из женщин шевельнулась, увидев в дверях робкую девушку. Та подошла к столу. Симаков заметил у нее в руках аттестат зрелости. Девушка пришла поступать. Присела возле одной из женщин на стул. А Симаков, не обращая на нее внимания, продолжал:

- Все эти ПТУ позакрывал бы! - А как же готовить кадры? - спросила свободная женщина.

- Не нужны такие кадры! У всех кроме меня - страшная судьба. Наверно, и в живых-то уже никого нет. Спились, подошли, некоторых поубивали.

Он остановился, исподлобья оглядывая коридор, столы, сидящих. Походил некоторое время. Потом как крикнет:

- Встать, сволочи! Какое вы имеете право деньги брать с людей, а?! Женщины и абитуриентка испуганно вжались в стулья.

- Вы же не университет, а хуже, чем наша ремеслуха! Где у вас тут славянские дисциплины? Кто учредитель? Какое еще такое земство?

- Но Дума же есть? - робко возразила одна.

- Дума записана в конституции. А земства никакого нет. Кто ваш учредитель?

- Не знаем.

- А я знаю, кто! - воскликнул Симаков, и вены синие надулись у него на шее. - Это мне известно, кто вокруг денег крутится! Я вас всех закрою!

Он размахнулся и ударил кулаком по столу, так что некоторые предметы попадали на пол. Женщины в страхе вскочили и вместе с абитуриенткой побежали по коридору, и скрылись в конце в одной из комнат.

Негодующий Симаков, сжимая кулаки, пошел к лестнице. Пока спускался, негодование все больше охватывало его: ну надо же, аферисты устроились в моем родном училище! В деньги играют.

Клуб сельский университетом называется. Проходимцы. Раньше хоть честно было - ремеслуха так ремеслуха. А теперь ремеслуха университетом назвалась. Да еще славянским, да еще имени Г. Р. Державина. А факультеты юридический, менеджерский и актерский. Почему актерский-то? Это просто невыносимо! Клуб!

Симаков шел к метро, вспоминал ужас своей молодости, черную форму, пьянки, драки, убийства, и ему хотелось навести порядок во всей стране, чтобы покончить со всеми этими деньгодралами, аферистами, монетаристами, но Симаков не знал, с чего начать.

Ненависть его была абстрактна и быстро гасла. Около метро он купил мороженое и с удовольствием его съел.

Когда уже спускался по лестнице, вспомнил, что кличка у него в то время была - Штангель. Симаков все любил измерять, оценивать. И сразу хорошо освоил штангенциркуль, с нониусом рабо-

ШТАНГЕЛЬ

тал, с микрометром. Ребята подносили к Симакову болванки, а он их измерял с умным видом. Ребята были настолько тупы, что так и не научились работе с измерительными инструментами, которые, собственно, ребят и готовили делать на заводе "Калибр".

Симаков от этих воспоминаний улыбнулся. И ему послышалось, что кто-то закричал на всю станцию:

- Атаc, Штангель идет с кодлой!

И станция "Алексеевская" тут же опустела.

"Знамя", № 3-1999

ХРИЗАНТЕМА

рассказ

Дождь застучал по отливу, в комнате стало темно, собака подняла уши, уставилась на окно, затем встала и застыла в ожидании. Чего ждала собака?

- Лежать! - подал нестрогую команду Матвеев, зная свою собаку, не любящую всякую непогоду.

То у собаки давление подсказывало, то аппетит пропадал, то она на работу не ходила, врача вызывала, то отказывалась от кофе, то от первого, то от второго. Матвеев, лысый в тридцать два года, очень худой, выполнил команду и лег на место: под стол, где лежала собачья подстилка. Лег и положил голову на лапы, то есть на передние ноги, то есть на руки. Лежал и смотрел на окно. По стеклам растекались струйки воды. Дождь усилился. Вдали, на совершенно свинцовом небе, вспыхнула молния, и все застыло в ожидании. Матвеев наострил острые уши и задрожал. Он так сильно задрожал, что не мог даже стакан в руке держать. В одной руке, правой, не мог держать стакан. В страхе он зажмурился и поставил стакан на стол. И тут ударило, да так сильно, что сорвалась с потолка люстра и упала на стол, под которым лежал Матвеев.

Заскулив по-волчьи от бессилия перед стихией, Матвеев сел за стол и включил телевизор пультом дистанционного управления. Как обычно, по телевизору показывали грозу, сверкали молнии и освещали дворовых лохматых и злобных собак, сгрудившихся у покосившегося забора городской столовой № 2, где работала Валентина Михайловна, соседка Матвеева. Она позвонила в дверь звонка в прихожей музыкально исполнил короткую детскую мелодию, Матвеев вылез из-под стола, всем телом отряхнулся, от гривы до мохнатого хвоста, и пошел открывать. Разумеется, для порядку сначала взглянул в "волчок" и остановился. Там стояла не Валентина Михайловна, а другая собачка, с бантиком, беленькая, с белым цветочком на длинном стебле в руке, в лапе.

- Кто? - через дверь спросил Матвеев.

- Ромбикова. Я от главного режиссера Зухенмахера, - через дверь донесся приятный женский голос.

Это штамп, подумал Матвеев и переиначил авторскую фразу так: голос женщины с хризантемой. Зачем эти стершиеся эпитеты? Ведь правильно Станиславский говорил Матвееву: исключайте, сударь, из речи все эти эпитеты, все эти не достойные мужчин прилагательные, все эти сопливые определения. Итак, сказала собачка с хризантемой, что она от Герки Зухенмахера, кореша и начальника Матвеева. Матвеев лизнул себя под хвостом, бросив быстренько зад на коврик, тут же вскочил и открыл дверь.

Родинка у Ромбиковой была на левой щеке, и, когда Ромбикова улыбнулась, обнажив клыки, Матвеев определил по клыкам ее возраст ~ полтора года. Под белой маечкой виднелась мраморная грудь, а сама маечка под грудью оканчивалась: белый живот с пупочком сразу хотелось потрогать. Матвеев, конечно, не стал трогать живот, опустил глаза на в меру широкие бедра, обтянутые белыми джинсами. Опустил до босоножек на платформе, до малинового маникюра на ровных ноготках.

Но Ромбикова сама для начала вильнула хвостом, обежала Матвеева и понюхала у него сначала под хвостом, а потом под брюхом.

Матвеев поднял заднюю левую ногу и окропил угол столовой № 2. И побежал. Так это резво рванул с места. Ветер гладил его шерсть, а Матвеев все бежал, приоткрыв рот и свесив малиновый язык. Бежал вдоль линии железной дороги по травке. Он бежал, не оглядываясь, зная, что Ромбикова бежит за ним.

- Это вам, - протянула Ромбикова длинный цветок.

Матвеев взглянул на ромашковую белесть хризантемы, на темно-зеленый каскад листьев на голенастом стебле, поднес хризантему к носу, понюхал. Хризантема пахла полынью. Или так Матвееву показалось. А там, за холмом, куда он выбежал, сопровождаемый Ромбиковой, было море и широкая полоса пляжа, на котором не было людей, но были только собаки, которые бежали в даль пляжа к скалам, за которыми начинался конец света. Туда, в Новый Свет, ни разу не бегал Матвеев. Да и стоит ли бегать в конец света? Зачем собаке конец света или смена вех? Ну, скажите на милость. Зачем?

Он стоял в прихожей с хризантемой, а за Ромбиковой вошел в дубленке до пят (не свой размер схватил) Пилькин, иностранец русского происхождения (на самом деле, он был еврей). Пилькин был маленького роста, поэтому самая маленькая дубленка, которая ему досталась на распродаже, была ему до пят. Дубленка на белом меху была распахнута, чтобы был виден красный галстук и белый пиджак. Из кармана Пилькин достал рулончик, раскатал его перед лежащим под столом Матвеевым и сказал:

- Это подлинник Пикассо.

Матвеев взгляделся в рисунок: три красные полосы пересекались тремя черными. Конечно, это был не Пикассо, но Матвеев спорить не стал, тем более что Пилькин жил с Ромбиковой. Сошлись они сразу же, как Пилькин вернулся на родину из Америки. Из-под стола Матвееву вылезать не хотелось, тем не менее, он вылез, хотя у него было повышенное давление, потому что за окном шел дождь, сильный, не желавший останавливаться, и, если прислушаться, за голосами гостей, все время усиливающимися, можно было разобрать стук дождя об оцинкованное железо отлива.

Неся хризантему перед собой, Матвеев встретился в широком коридоре с женою, она воскликнула:

- Какая роскошная хризантема!

И Матвеев знал, что это не обычная хризантема, а роскошная: стебель метра в два, а сам белый цветок размером с поднос, на котором жена пронесла в комнату вымытые хрустальные рюмки для водки. У Матвеева всегда было по-простому несмотря на то, что его позавчера на общем собрании избрали академиком. Матвеев пил только водку и только водку, если бы он пил, скажем, портвейн, то он никогда бы не стал академиком, и нос у него не был бы в его тридцать с небольшим лет таким бордовым. У Матвеева был солидный круглый большой бордовый нос. В сочетании с лысиной Матвеев выглядел не на свои тридцать с небольшим, а на все пятьдесят. Поэтому всем своим ученикам Матвеев после лекции говорил, что бы пили только русскую водку и как можно чаще. Некоторые аспиранты и студенты возражали. Но Матвеев настаивал на своем:

- Кто не пьет по-русски водку запоем, тот ничего в этой жизни не добьется!

Так произнес Матвеев, этот лохматый пес, и лег на бок под своим столом, вытянувшись во всю длину. Только кончиком пушисто-

го хвоста шевелил. Хвост у него вместо третьего глаза был, с тылу. А то сзади враги всегда окружают и ударят. Матвеев же этот тактический просчет учел и заимел пушистый хвост. Конечно, и у Пилькина был хвост. Иначе бы он не был на хорошем счету в центре имени Эспозито в Калифорнии (а там неплохой коллектив математиков, в который входил Пилькин).

Матвеев вылез из-под стола и сел за стол рядом с Пилькиным. Пилькин был с кудрявыми бакенбардами и курил трубку. Единственно, что его роднило с Матвеевым, – это лысина. Белый блин и черные кудри вокруг. Пилькин, конечно, сразу стал анекдоты рассказывать. А что еще ждать от евреев, на большее они не способны. Подавай им еврейский треп. Матвеев все время по долгу службы вился с евреями. Но иногда вскидывался на них, потом отходил, правда.

Хризантему в вазе поставили в центре стола, между салатом из крабов и свежими огурцами. Ромбикова сразу запьянела, потому что выпила подряд три рюмки водки. За окном в это время громыхнуло, и Матвеев не усидел под столом, выскочил, уши навестирил и в окно уставился. А там, за стеклом, как еще полыхнет, черное небо сразу газосварочным стало, так что Матвеев задрожал пуще прежнего, так задрожал, как еще никогда в своей жизни не дрожал, до сотрясения внутренностей, даже сердце на язык дрожащее выкатилось, он насилиу его втолкнул на место, а встать не может и к Ромбиковой обратиться не может, чтобы она ему похмелиться водки дала. Сердце опять на языке оказалось и дрожит, нет сил языком шевельнуть и сказать Ромбиковой или Пилькину на худой конец, чтобы принесли и налили. Но где там! Подыхай под столом один во время грозы. Герка Зухенмахер догадался бы позвонить. Дождь еще больше усилился, колотил по стеклам, как град, а по небу уже листовое железо летало вместе с рекламными щитами и деревьями.

В это время Матвеев заметил, что хризантема на глазах стала расти: пошли боковые побеги, а в воде длинные корни. Просто Матвеев не заметил, как проскочило в пьянках полгода. Отмечал все свое избрание в академики. А хризантема росла. Причем до Матвеева дошло, что Зухенмахер Герка разозлился на него и снял с роли академика, и вообще собирался уволить Матвеева из театра. Сволочь, конечно, между нами говоря, Герка Зухенмахер. Когда Матвеев шаршил ему роль Валентина в “Валентине и Валенти-

не" (как это?), правда, один раз упал во время действия со сцены в оркестровую яму, но какой артист не падал?

Ромбикова эмигрировала в Израиль. А Пилькин спился к чертовой матери в России. В Америке он не смог спиться, надо ему было в Россию приезжать, чтобы тут спиться. Последний раз его видели в пивной на Разгуляе. А хризантема все растет. Из воды жена Матвеева пересадила ее в землю. За три месяца она вымахала до потолка, пришлось секатором срезать побеги, а она новые по бокам выпустила. Какая-то бессмертная оказалась хризантема. Жена ее побеги по всем подоконникам растащила, и на даче теперь две клумбы этих осенних цветов.

Вот что значит от всего сердца подарила Ромбикова. Любила она Матвеева, под хвостом нюхала. А он? Хотя бы разок у нее под хвостом понюхал! Нет же. Упрямый. Вот и укатила барышня в Израиль. А что говорил Станиславский? Станиславский говорил: "Искусство создают не века, народы и история, а отдельные гении и таланты, которые рождаются в веках, народах и истории". Такие гении, как Матвеев.

Есть ли артисты сильнее Матвеева, который был однофамильцем того Матвеева, а потом спился и умер на сцене в детском спектакле, исполняя непохмеленным роль собаки?!

Нет ответа.

НЕТ ОТВЕТА

рассказ

Не всякое утро бывает добрым.

Жена пришла пьяная под утро, к тому же в рваной юбке и с синяком под глазом. У самого Пушкина три головы, казалось, за ночь выросло. Узкая комната с зарешеченным окном троилась и поэтому выглядела огромной. Жена рухнула под вешалкой у шифоньера. Пушкин мысленно стал бить ее ногами, но реально не мог пошевелить рукой.

За ночь три раза его тошнило. Так что запах в конуре стоял соответствующий. Пушкин пошарил глазом по полу, потом поднял на стол. Грязные стаканы и пустые зеленые бутылки. Одна была разбита. Отдельно лежали у ножки стола донышко, стенка и горлышко.

Пушкин набрался храбрости и сел на постели, спустив синие ноги на заплеванной пол. Наташкины ноги, то есть ноги жены, в рваных и заштопанных чулках выглядывали из-под вешалки. На пятках, черных, были дыры.

Пушкин, рыжий, кудрявый, с сивым большим носом, вдруг покраснел до свекольного цвета, задрожал и его вырвало на синие колени зеленой желчью. Из глаз полились слезы.

Он знал, что после припадка тошноты, минут на пятнадцать отпустит. Так и вышло. Пушкин встал, худой, высокий, с длинными руками, быстро надел брюки и все остальное, качаясь, и побежал на улицу по дощатому коридору общей квартиры.

Шел то ли дождь, то ли снег. Понять было невозможно. Ботинки, надетые на босу ногу, хлюпали в жиже. Перебежав на ту сторону, Пушкин дернул дверь проходной. Чирков, дежурный, спал на столе. А возле него, на подоконнике, стояла бутылка водки, полная почти что. Пушкин перегнулся через спящего Чиркова, схватил бутылку, и одним махом, дрожа, выдул всю ее до дна. И не пошла назад. Хотя мысль такая была.

Бросил бутылку под стол и не спеша вышел на улицу. Постепенно вернулось зрение, затем слух и обоняние.

Пахло только как-то неприятно.

Пушкин принялся вдумчивее и догадался, что пахло от него. Опять во сне опростоволосился. Приятно пьянея, Пушкин вбежал в комнату, схватил ведро из-под лавки и побежал на кухню набирать воды. Колонку нагревать не стал, так холодной водой вымыл свой зад и все что положено, стоя над ведром на корточках посередине комнаты. Затем поскидывал в это ведро простыни и другие тряпки, пожмычал без мыла, а потом уже понес вешать на забор у выносного сортира.

До сих пор удобства у Пушкина находились во дворе, как впрочем и у всех девяти семей этого то ли барака, то ли шалаша, благополучно сохранившегося в самом центре Москвы между улицами Горького и Герцена.

Пушкин пил по-черному всю жизнь. Однако каждый божий день ходил на работу, на ту сторону, где в проходной спал Чирков. Стройка шла какой уж месяц, а все на одном и том же месте находилась, потому что прекратили выделять финансы, и работали теперь на этой стройке такие, как Пушкин и Чирков. В конце позапрошлого года, под Новый год, Пушкин устроился сюда. Удобно, прямо рядом с домом.

Убравшись, Пушкин некоторое время как бы трезвым взглядом смотрел на Наташку и трудно думал: бить ее или не бить? Гуляет она по чем зря! Передумал бить, за ноги подволок к раскладушке, поднял и бросил отдыхать. На всякий случай пошарил по карманам блузки. Е-мое, столик обнаружил! Постоял, разглядывая купюру на свет, повеселел еще более, говорить захотелось. Принялся, все еще пахло уборной. Отворил форточку, потом свернул войлочный свой матрас и понес его на помойку. Матрас не отмоешь, пропах “наскрозь”!

С легким сердцем кинул сверток в помойный бак у забора стройки.

Заглянул в проходную: Чирков спал, перевернувшись на другой бок. Сладко сопел. Подумав, Пушкин нагнулся, подобрал пустую бутылку и пошел с хорошим настроением в магазин. Взял для начала литрочку, полбуханки бородинского и жирную скумбрию. Рассовал все по карманам. Оказалось, сам только что заметил, что на нем была рабочая телогрейка и на голове желтая

пластмассовая каска. Если был в каске, то менты никогда не подходили.

Домой идти не хотелось. Да и снежный дождь кончился. Прошел дворами на Тверской бульвар. Сел невдалеке от Есенина на скамейку, разложил закуску на бумаге, сорвал зубами пробку и махнул для бодрости треть бутылки. Затем разорвал золотистую рыбу и принялся закусывать. Подошел какой-то дед в мокрой шапке и сел на другом краю его скамейки. Пушкин покосился на него. Потом подсел, переместив закуску с собой.

- Я ведь ей говорил, - начал Пушкин, не глядя на деда. - Не приходи пьяной! Нет. Опять не ночевала и пришла пьяной!

Пушкину показалось, что дед очень внимательно его слушает. Поэтому Пушкин более детально стал растолковывать:

- Я ей говорил в прошлый раз, что лучше вместе выпивать, а она. Нет. Сестра ее приезжала и у нас месяц жила. Я молчал, как бычок. После моего брата не пустила, когда я на смене был. Сам я из Коврова, - пояснил Пушкин, видя, что дед с еще большим вниманием прислушивается к разговору. - Брата не пустить! Это как такое выяснить? Ума не приложу! Я ж говорил, что аванс не дадут. А мне чем мать кормить? Я в Ковров посылал каждый месяц по три сотни! Наташка раньше так не пила... А ты, - обратился прямо Пушкин к деду, - как относишься к женщинам?

Дед молчал, смотрел как-то недоуменно на Пушкина и молчал.

- Ты что молчишь? Ладно, молчи.

Пушкин достал из внутреннего кармана бутылку, приложился и, подумав, протянул деду. Тот испуганно замахал руками, мол, не пьет он.

- Ну, теперь мне ясно! - рассмеялся Пушкин, чувствуя приятную оторопь всего тела.

Ах, как хорошо стало Пушкину. Вдруг и небо расчистилось, заголубело, солнце появилось косым лучом, погладило бронзу Есенина.

- Никак не пойму, зачем нужно было ей с кем-то обниматься, когда я всю ночь ее ждал, чтобы обнять? - спросил Пушкин. - Обидно, честное слово! У меня в голове не помещается, как это можно с другими мужиками всю ночь обниматься, а? Но мы вчерась, дали, можно сказать, крепко.

Дед сосредоточенно смотрел на говорящего и жестикулирующего работягу в желтой каске. Глаза у деда были водянистые, ко-

жа лица чисто выбритая. Пушкину показалось, что дед спросил у него фамилию.

- Пушкин, - сказал Пушкин. - У нас в деревне под Ковровом все Пушкины! А?

Но дед молчал.

- Чего ты все время молчишь? Ты что, шпион что ли, а?

В это время к деду подошла моложавая женщина. Дед улыбнулся и начал вертеть пальцами и шевелить губами. Женщина тоже замахала руками и зашевелила губами. Дед встал, продолжая шевелить пальцами, скрещивать пальцы правой руки с левой. "Ё, немые!" - догадался Пушкин.

Дед взял под руку женщину и они пошли к Никитским воротам по бульвару.

- Немые! - вслух вполголоса сказал Пушкин и выпил, счастливый.

КНИГА С ВЕРХНЕЙ ПОЛКИ

рассказ

В хранилище перегорели почти что все лампочки, а новых не было; горело в длинном коридоре всего штук пять, и те - слабенькие, от них шел жидкий желтый свет. На отполированном за многие годы цементном полу этот свет отражался как масло. К тому же было прохладно: еще перед новым годом прорвало отопление, потом кое-как наладили, но было не выше десяти градусов.

Лена ежилась в пальто, хотя, когда только пришла, здесь показалось тепло. Это потому, что сегодня подморозило. Окна в трамвае были покрыты толстым слоем инея. Лена забыла дома перчатки. Теперь то держала руки, красные, в карманах, то подносила их ко рту и дышала на них. Так что очки запотевали. Чуть слышно играло радио, мосгорсеть. Старый динамик, пластмассовый с клетчатой тряпкой, пел голосом Бернеса:

Враги сожгли родную хату...

Лене было уже без месяца 55 лет: Пенсия - вот она. Оставалось честно отсидеть, отработать. Матвеева, заведующая, заходила к ней не чаще раза в квартал. Все тихонько умирало, покрываясь плесенью.

- Да кому теперь нужны книги! - восклицала Матвеева, сдавшая в аренду под склад целый этаж на Варшавке и покушавшаяся теперь и на это помещение, - большое, метров 500. Можно "сникерсы" хранить, можно японские телевизоры, можно даже автомобили хранить, если расширить оконный проем. Уже приходили, примерялись, курили и швыряли окурки по углам.

Да Лене было наплевать на них всех. Настроение у нее было замогильное: полгода назад умерла в больнице от рака дочь,

тридцати лет, незамужняя. После нее осталась на руках у Лены пятилетняя Оля, которая ходила в сад.

Лена села на старый стул у своего маленького письменного стола, покрытого газетами, включила электрический чайник, налила заварки в граненый стакан. По радио все еще пел Бернес, уже другую песню:

Мне тебя сравнить бы надо...

Прижав холодные руки к щекам, Лена устала в одну точку в конце пролета между высокими стеллажами, потом облокотилась на стол. Чайник приятно зашумел. В конце коридора шмыгнула через проход тощая крыса, которую Лена по мере сил и возможностей подкармливала.

Лена воспитывалась в детском доме. Ко всяким трудностям привыкла. Считала их не наказанием, а проверкой на прочность. Так надо. На газету падала интересная тень от стакана: в белом пятне золотое искрение. Может быть, электрический свет тем приятнее для созерцания, чем он больше преломляется, светит не напрямую, а через грани. В данном случае свет дробился о грань стакана. Лена чуть повернула стакан и это золотое искрение тут же пропало. Закипел чайник. Лена налила кипятка в заварку. Поставила чайник на металлическую подставку, приложила ладони к стакану, нежно обняв его, как ствол дерева, как какую-нибудь стройную березку.

Когда заведующая говорила, что никто не читает книг, Лена пыталась мягко возражать, но в глубине души соглашалась с Матвеевой, потому что самой Лене книги тоже порядком надоели. Конечно, она много хороших книг прочитала за свою жизнь; в разгар оттепели жадно читала журналы, машинописи, ксерокопии, полагая, что жизнь ее от этого изменится к лучшему. Не так, разумеется, примитивно полагала, но как бы чувствовала. Однако течение времени, этой безжалостной реки, смывало все впечатления, все настроения, все предположения. Что-то слабым отблеском оставалось в памяти и исчезало вскоре совсем.

Сделав несколько глотков несладкого чая, Лена встала, взяла лестницу-стремянку и пошла к ближайшему от нее стеллажу, установила лестницу, залезла на нее и сняла с верхней полки первую попавшуюся книгу в переплете: на корешке золотые виньетки

тиснения, на переплете такое же золотое тиснение: “В.Н. Корноухов. В чем слабость мышления Канта”. Лена сдула пыль с книги. Не слезая с лестницы, открыла титульный лист. Издано Госполитиздатом в 1949 году.

Спустившись вниз, Лена отнесла стремянку в угол, села за стол и пыталась углубиться в книгу, но не могла, автор всячески препятствовал этому. Но Лена зачем-то сунула книгу в матерчатую сумку, словно собираясь потом, дома, все же вникнуть в ход размышлений Корноухова. Ведь не мог же Корноухов просто так критиковать Канта? Ведь имел же определенную цель Корноухов?

Незаметно подошел к концу рабочий день и Лена, обесточив помещение, взяла амбарный замок, связку ключей, свою сумку и вышла на лестничную клетку подвала. Сначала закрыла на внутренний замок железную дверь, потом подняла металлическую перекладину, висевшую на косяке со стороны петель, прорезью надела на пробой, вставила дугу замка и закрыла его.

Во дворе было темно, лишь под аркой ворот слабо светилась лампочка под металлическим абажуром: она качалась от сквозняка, и свет с правой стены подворотни быстро перебежал на левую. Шел снег, несильный, его крутило и вздымало на сугробы. Лена вышла на улицу, тоже слабо освещенную. Лена подняла голову, посмотрела в отсутствующее небо. Какая жуткая погода, какая нечеловеческая география: холод, тьма, снег!

С одной стороны стояли белые, “евроремонтные”, палатки со спиртным, “сникерсами” и жвачкой, с другой - железные, оцинкованные, ребристые, “социалистические”, контейнеры с овощами. Но так как денег у Лены не было ни копейки, то ни туда, ни сюда она не пошла, а остановилась против ворот на трамвайной остановке. С одной стороны, Кант стремился выяснить то, что в познании обусловлено деятельностью самого сознания. Человек как субъект познания исследовался Кантом в качестве существа деятельного, а его сознание - как активный синтез данных опыта. С другой стороны, деятельность сознания противопоставлялась у Канта предметному, независимому от сознания содержанию действительности, отрывалась от своей основы, которая провозглашалась недоступной для познания. Противоречие это являлось основным в системе Канта. Им обусловлены многочисленные производимые противоречия, пронизывающие всю философию Канта.

Трамвая все не было. Стали мерзнуть ноги в старых сапогах. На левом вообще была небольшая дырочка, которую Лена замазывала постоянно пластилином. Наконец трамвай показался: луч прожектора побежал, громяхая металлом, по булыжной мостовой, засеребрились струны рельсов. Народ на остановке зашевелился, готовясь штурмовать одновагонный “чехословацкий”, потому что от остановки уже было видно, что вагон идет переполненный пассажирами, как и всегда в это время, когда все едут с работы.

Лена встала в центр течения толпы и ее просто внесли в вагон и остановили в центре; до самой “Павелецкой” так и стояла, а там вынесли на улицу. В трамвае Лена совершенно ооченела: вагон не отапливался. В метро сразу же запотели стекла очков, а руки отказывались держать сумку, хотя и не тяжелую. Лена с трудом достала проездной, прошла на эскалатор почти что на ощупь, остановилась у спины какого-то военного, сняла очки и протерла их. Тепло приятно окутывало Лену. Она доехала до “Октябрьской” по кольцу и перешла на свою линию - до “Профсоюзной”. Удалось сразу же сесть и заглянуть в Корноухова, у которого Кант пытался на основе трансцендентального идеализма создать учение, что при ближайшем рассмотрении, оказывается - и как учение о бытии, и как учение о познании - философией субъективного идеализма. Попытки преодоления этого идеализма были сделаны самим Кантом, но не привели - и не могли привести на основе предпосылки Канта - к удовлетворительному результату. Вот так. Только и всего. Зато Корноухову удалось осуществить преодоление этого субъективизма и решить положительно все вопросы бытия и сознания. Лена сунула книгу в сумку, поскольку голос по вагону объявил, что следующая станция “Профсоюзная”.

Лена вышла в конец поезда, свернула за угол и направилась мимо магазина обоев к своей улице Ивана Бабушкина. Заглянула в сад за Ольгой. В саду было жарко и пока Оля одевалась, Лена вспотела.

Потом дворами двинулись к себе. Во дворе строители сжигали мусор. Огонь ярко вспыхивал при новой порции и отблески его делали снег розовым.

- Мы сначала зайдем домой, - сказала Лена, когда Оля бросилась на детскую горку, - а потом погуляем. Я перчатки надену.

- Хоешо баушка, - согласилась Оля, румяная уже.

Первым делом, войдя в квартиру, Лена дала Ольге черный подсоленный сухарь. Сама взяла большую спортивную сумку и сложила в нее с полки все книги, и Корноухова к ним присовокупила. Всего-то у Лены книг было с десяток. Дома и без них теснотища: однокомнатная квартира. Два шкафа, сервант с посудой, пианино, холодильник...

Сумка все равно показалась Лене тяжелой; это из-за энциклопедического, "советского", словаря, в котором все нужные Лене слова отсутствовали, а присутствовали ненужные. Также среди книг были: "О вкусной и здоровой пище", "В мире мудрых мыслей", "Политэкономия"...

Ольга в своей серой овчинной шубке казалась барашком, когда на четвереньках взбиралась по лесенке на горку, а когда она с радостным визгом съехала вниз, Лена высыпала книги в костер. Языки пламени аппетитно лизнули переплеты и как бы, пробуя, раскрыли их. Книги, чернея, разбухли, растопырились страницами и ярко вспыхнули.

- Гоить! - крикнула в восторге Оля.

- Горит! - поправила Лена, зная, что через каких-нибудь полгода внучка заговорит под ее руководством правильно.

НА МАРШРУТЕ

рассказ

Отсидев два года за ограбление табачного киоска в городе Львове, гражданин Украины Долбоносов Виктор Гаврилович, тридцати четырех лет, прибыл в Москву и по лимиту устроился шофером автобуса. Долбоносов был узколиц и низкоросл, лицом приятен; вообще, стоит заметить, что узколицые, как правило, приятны лицом, а круглолицые лицом неприятны.

Сам он родился не во Львове, а в Коломые, в семье потомственного алкоголика и железнодорожника. Окончил восемь классов и железнодорожное училище. Еще в училище выучился воровать, лазить по карманам. У узколицых, приятных лицом, пальцы тонкие такие, с аккуратными ногтями - залезет в карман, не заметишь. Подворовывал Долбоносов всюду и всегда. Это у него такая вторая натура была - приворовывать.

На теле - никаких примет; чистое тело, без наколок. И глаза такие круглые, светлые, приятные. Смотрит на тебя, улыбается, вряд ли подумаешь о таком плохо.

А о том, о ком подумаешь плохо, тот вообще никогда не воровал. А воруют те, которые с приятными лицами. Но зачем он вдруг взломал табачный киоск, ответить до сих пор не может. Едет на красно-белом автобусе-"мерседесе", смотрит сквозь просторное лобовое стекло на дорогу, а ответить не может. На светофоре поток транспорта остановился, и Долбоносов нажал на педаль тормоза, встал перед тентованной "газелью". Помутнение какое-то наступило и полез в табачный киоск.

А зачем сегодня в метро вытащил из шубки девушки столярник? Не мог ответить Долбоносов, улыбающийся, узколицый, прямо-таки античный какой-то.

Дали зеленый, поехали.

У метро Долбоносоев открыл переднюю дверь. Пассажиры потянулись к выходу, покорно клали на полочку в окошко водителя по три рубля, монетками. Кое у кого монеток не было, тем Долбоносоев давал сдачу. Слева в окошке для блезире висел на проволочке рулончик билетов, но никто их не отрывал. Другие двери Долбоносоев не открывал, чтобы каждый платил за проезд. Высадив всех, Долбоносоев закрыл дверь, сделал круг у метро и подал автобус на посадку.

Включил магнитофон: "Автобус коммерческий. Цена проезда 3 рубля. Проездные и служебные удостоверения, пенсионные книжки не действительны". Кое-кто из пассажиров, случайно влетевших в автобус этот платный, выскакивал, так как привык ездить в кризисное время бесплатно, как, впрочем, и в другие времена.

Долбоносоев приветливо улыбнулся всем, глядя в зеркало, закрыл двери и тронулся. Хорошая маминa "мерседес", приемистая, мощная. Несмотря на ледок и снежные заносы, ходит уверенно, устойчиво. От метро до нового района - пятнадцать минут. Человек пятьдесят возьмишь, вот тебе и сто пятьдесят рублей. Ходки никто не учитывал в прошлом году. Теперь поставили учетчицу. Но что она будет учитывать, если сразу же Долбоносоев ей сунул три сотни?

Правильно в парке придумали эти коммерческие маршруты. А то из банка деньги не вытацишь на зарплату, а если вытацишь, то в налоги нужно половину отдать. Пошли бы они подальше с этими налогами. Долбоносоев так себе рассуждал: третий нам в работе не нужен. Третьим он считал государство. Вот, предположим, стоят на рынке продавец и покупатель, а к ним подходит третий по фамилии Государство и требует себе половину, не ударив в работе палец о палец. Нет, так дело не пойдет.

Долбоносоев притормозил у гастронома, потому что одному из пассажиров потребовалось выходить. Долбоносоев тормознул, пассажир положил три монетки рублевых на полочку. Долбоносоев открыл дверь, пассажир не выходил. Долбоносоев моментально оторвал билетик, сунул пассажиру, а три монетки ссыпал себе на ладонь и бросил в ящичек под стеклом. Пассажир вышел, не понимая, зачем ему дали билет.

Тронувшись, Долбоносоев прикинул в уме, сколько он сегодня сдаст в парк, а сколько оставит себе. И так, с восьми утра до восьми вечера Долбоносоев делает примерно ходок тридцать-сорок.

По сто пятьдесят, как уже говорилось, рублей за езду. Ну вот и получится на круг, то есть на день, 4-6 тысяч рублей. Трюльник постоянно в парк сдает. Трюльник себе берет, а чистыми - тысяча. Две раздает: механику, учетчице, слесарям... Надо делиться.

Да из карманов, дня не проходит, чтобы сотню-другую не вытянул: в метро ли, в автобусе ли...

В прошлом месяце Долбоносова с семьей наконец-то прописали в новой квартире. Трежкомнатную купил. В Москву прибыл Долбоносов в 92 году, по лимиту, как уже говорилось вначале; женился в 93-м на поварихе столовой; жили на квартире, снимали. И вот своя квартира. Двойню Зина, повариха-жена, родила сразу. Теперь дома сидит, воспитывает. Долбоносов набрал уже средств на машину. Нашу брать не хочет, быстро, говорит, ржавеет. "Хонду" собрался покупать.

Отработав смену, Долбоносов, устало шагал, как в песне поется, с работы домой, поднимался в лифте на свой пятнадцатый этаж, грыз семечки, держа их в горсти, сплевывал шелуху на пол и на стены.

Некоторая черно-белая шелуха со слюной прилипла к испанским стенкам лифта.

Долбоносов очень любил семечки.

В ПАРИКМАХЕРСКОЙ

рассказ

Пенсионер Ерошкин, шестидесяти пяти лет, пошел с утра в воскресенье в парикмахерскую, которая располагалась за прудом. Ерошкин надел соломенную шляпу и темные очки; в последнее время от яркого солнца у него стали болеть глаза. Но около воды он снял очки, оперся на ограждение и засмотрелся в воду, в которой хорошо различимы были плавающие рыбы, какой марки, Ерошкин не знал, так как не был рыболовом. Зато Ерошкин любил есть рыбу, главным образом навагу, которая почему-то теперь пропала, и он ел пикшу, очень похожую на треску; но в пруду плавало что-то красноперо-золотистое - видимо, карась. Полюбовавшись рыбой, Ерошкин перешел через дорогу к кубу здания, одноэтажного, в котором с одной стороны располагалось кафе, а с другой парикмахерская.

Бетонные ступеньки в парикмахерскую наполовину разрушились и были покаты, щебенка валялась под ногами. На площадке курили мужчины. Ерошкин прошел мимо них в парикмахерскую, где в фойе было много народу, и мужчин, и детей, и женщин, как в старое время. Тогда все время в парикмахерскую было много народу. Потом, правда, когда пошла мода на длинные, до плеч, волосы, в парикмахерской народу стало поменьше.

Ерошкин оглядел очередь, подошел к дверям мужского зала, через который впрочем, был проход в женский, дальний, зал; возле косяка были приклеены к стене два листка бумаги с машинописью прейскуранта. Ерошкин снял и убрал темные очки в карман, вчитался в первый листок, но тот был для женских причесок. На втором листке шли страшные для Ерошкина цены: 45, 30, 25 тысяч рублей! Это ж просто невозможно. Но, вчитавшись, нашел великолепную - по своему карману - строчку: "полубокс для пенсионеров" - 5 тысяч руб.! Так и было написано - "полубокс для пенсио-

неров". Здорово! И уважение к себе Ерошкин почувствовал. И весело спросил:

- Кто последний в мужской?

- Там на улице, - сказал какой-то парень.

В зале ожидания было очень душно, женщины обмахивались газетами, а мужчины сидели, боясь, видимо, потерять свою очередь и потели. Сняв шляпу, Ерошкин вышел на крыльцо и увидел тех мужчин, мимо которых он сначала невнимательно проскочил. То были темноволосые, смуглые, средних лет, и все с жирком, в светлых рубашках с короткими рукавами, нерусские какие-то. Ерошкин прислушался к их оживленной речи, которая текла, как ручей с гор, красиво и резво.

- Кто последний из вас? - спросил Ерошкин.

- Мы, - сказали сразу все.

- Как это сразу так все?

- Пройдем и твоя за нами, - ответили те по-русски и сразу перешли на свой ручей.

Ерошкин ради поверхностного знакомства спросил:

- Вы какой, значит, нации будете?

Те опять прервали свой язык и ответили любопытному старику:

- С Армении.

- Армянской нации, значит, - сказал Ерошкин и, подумав, добавил, ископав из своей памяти сведение: - Ной у вас останавливался на горке?

- У нас.

И снова весело на свой язык перешли; и говорили они как-то приподнято, заразительно. Так русские не умеют говорить, думал Ерошкин. Русские с вдохновением только по-матерному шабашут. Тут подошла молодая женщина в белой кофточке, но не кофточка привлекла внимание Ерошкина: за руку она вела мальчишку лет пяти, негра, который обращался к ней: "мама" и говорил по-русски. Вот это номер. И волосья у мальчика-негра были коротенькими колечками. Интересно, его она будет стричь или сама пойдет накручивать себе лохмы? Ерошкин недовольно отвернулся, сразу обругав русскую за то, что она нагуляла ребенка от негра. Ну, спрашивается, зачем такое дело?

- За кем можно занять? - войдя в фойе, спросила женщина.

- В какой зал? - спросил у нее за спиной Ерошкин, заинтригованный, кто из них будет стричься.

- В женский, - сказала мать негра.

Ерошкин, значит, угадал, что она будет накручивать волосы, и вышел на ветерок. Мужчины армянской нации по-прежнему весело болтали. Ерошкин спустился по разбитым ступенькам и сел в тени клена на решетку ограды. Негритенок выскочил на улицу, осмотрелся, спустился по ступенькам и тоже вдруг сел на барьер возле Ерошкина. Ерошкин опешил, но тут же опомнился и спросил:

- А ты какой нации будешь, мальчик?

- Я - русский! - очень громко и четко, причем звук "р" вышел твердо, даже тверже, чем нужно, ответил негр.

Ерошкин удивленно покачал головой и сказал:

- А отец у тебя тоже русский?

- Русский, - благожелательно ответил мальчик. - Он у метро на рынке торгует.

- А он, того, ну... как это... у... - Ерошкин смутился, но выдавил: - Он негр?

- Негр, русский! - сказал мальчик.

Выглянула его мать, сказала:

- Ваня, побегай, что ты сидишь!

Черный Ваня встал и начал бегать по аллейке. Из парикмахерской выходили подстриженные. Люди армянской нации вошли внутрь. Ерошкин поднялся на крыльцо. К парикмахерской подошли невысокие люди с узкими глазами, круглыми желтыми лицами.

- Ви крайние? - спросили тенорком.

- Ми, - смягчил Ерошкин, разглядывая черноволосых восточных людей. - А вы - русские?

Те удивленно уставились на пенсионера, любезно ответили:

- Нет. Ми не русски. Ми ниппон!

- Какой еще ниппон?

- Солнце восходит, - сказал один, очертив руками что-то вроде круга, мяча, или солнца. - Ниппон. Апони!

Ерошкин врубился, шлепнул себя по бокам ладонками:

- Японской нации вы будете, значит!

- Ниппон!

Японской нации люди заняли очередь за Ерошкиным, который вошел за армянскими людьми в фойе и сел на освободившееся место напротив женщин. У некоторых были сильные разрезы на

юбках и обнажались ноги, белые, много выше положенного. Ерошкин стеснялся смотреть под юбки, поэтому заводил глаза к потолку.

Настала очередь первого из армянской нации. Ерошкин в уме прикидывал, что они сейчас будут закатывать себе самую дорогую стрижку, тысяч на 50. Да еще с одеколоном!

Так и было: когда первый вышел, то отчетливо была видна модельная стрижка с яркой скобой сзади: черные волосы, коротко подправленные, отделялись от белой кожи шеи резкой чертой.

Когда наступила очередь Ерошкина, он уже сильно размяк и стричься как бы и не хотел, как было тогда, когда он шел сюда и смотрел на рыбу в пруду.

Парикмахерша, черноволосяя, высокая, в зеленом халатике, накидывая на Ерошкина сначала белую простыни, а затем завязав под горло зеленый фартук, спросила:

- Как вас стричь?
- Простой полубокс, - сказал Ерошкин.
- А что, бывает сложный?
- Это я так.

Парикмахерша включила электрическую машинку и первые седые совершенно белые волосы легли на зеленый фартук, как снег на еще зеленые листья.

- А сверху как?
- Сверху ничего не надо.
- У вас тут неровно.
- Ну и пусть. Последние десять лет я не обращаю внимания на прическу. Слежу за тем, что под прической, - сказал Ерошкин.

Парикмахерша улыбнулась:

- Это важнее!

КЫЙ

рассказ

Который был толстым и длинноволосо-лысым, в красных запорожских шароварах и в расшитой белой свитке, сказал:

- Разрешите представиться: Иванов-Кый.

- Рад, товарищ Ивановский! - сказал подтянутый, в поблескивающих сапогах Адольф, любясь искусственно склоненными над винницким бункером соснами, вызолоченными малороссийским солнцем.

- Не Ивановский, а Иванов-Кый, через черточку или, если говорить филологически, через дефис: Иванов дефис Кый!

- Ивандефискиев? Вроде Худайбердыева?

Иванову-Кыю это, судя по всему, не понравилось, он быстро заглянул в мозг Адольфа, как в интернет, помедлил, увидел Алоиса Шикльгрубера, плавающего в круглом бассейне Центральных бань будущего ресторана "Серебряный век", увидел тридцать третий год в Театральном проезде и прочитал имя "Адольф" в ЦО "Правда".

- Так что же такое Кый? - бархатным голосом переводчика спросил Адольф, заведя руки в белых перчатках за спину.

Иванов-Кый надул румяные щеки, воздух выпустил без свиста, но всё же сивухой пахнуло:

- Русский язык сформировался на базе и вокруг этого словечка - "Кый"! Русский язык и русская литература начались с Кыя.

- Вы украинский националист? - прямо спросил Адольф и протянул собеседнику подушечку "Дирола без сахара с ксилитом и карбамидом".

- Я-я, их бин хойте нацист! - он бросил подушечку в рот и, жуя, продолжил: - И ничего не могу с собой поделать. Язык

Юрий КУВАЛДИН

свидетельствует: Московс-Кый, Бродс-Кый, Достоевс-Кый (а, ведь, мог бы быть просто Достоевым!), хитлеровс-Кый... И даже - Тимофеев с Кый! Ну, спрашивается, зачем это нужно было Тимофееву? Ладно уж Достоев. А то Тимофеев! Ходил бы себе Тимофеевым по лужам с бутылкой неуклюже и ходил. Так нет! Подайте и ему Кья!

- И американцев покорил Киев?

- Прапамять в Киеве! С Кьева началась цивилизация, а не с Месопотамии и Египта. Потому что в слове "египетс-Кый" слышится власть Кьева!

"Наша улица", № 1-2000

ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬГИ

рассказ

Там где Ленинский проспект раздваивается: одна часть так и идет по Ленинскому, а другая вправо сворачивает на Ленинские горы, на Воробьевы горы, на улицу Косыгина, там стоит дом, в котором живет бывший инструктор МГК КПСС товарищ Плотников с женой в малогабаритной двухкомнатной квартире, построенной им на кооперативных началах в середине 60-х годов. Плотников ходит в очках и в белой профессорской бородачке, говорит на повышенных тонах, спорит со всеми и с каждым. Например, спускаясь в разболтанном исписанном лифте, говорит случайному попутчику:

- Когда не было лифтов, то и писать негде было!

Попутчик поднимает удивленные брови, вступает в диалог:

- Но на десятый этаж мне ногами подниматься тяжело.

- Зато надписей этих, - Плотников указывает пальцем на неприличное слово, выцарапанное глубокими линиями, словно в лифте работал гравер, - не читали бы! ...Он выходил во двор, оглядывался на разбитую деревянную дверь подъезда, на грязь перед подъездом и восклицал:

- Вот следы мужичья!

И забывал, куда и зачем, в смысле почему, он выходил из квартиры, потом нащупывал в кармане записку, доставал и читал: "Сахар, масло, хлеб, молоко".

Заходил в гастроном и начинал искать по карманам деньги, но не находил; поэтому возмущался и комментировал свои действия, стоя в центре зала:

- Ведь была же десятка, ведь брал... Какой-то толстый грузин подошел, к нему, положил тяжелую руку на плечо и протянул десять тысяч, сказав:

- Дедуля, бери!

Плотников от ужаса подачки отскочил от грузина, потому что вспомнил, что забыл десять тысяч, одной бумажкой, на пианино, куда обычно клала деньги для него жена, ушедшая на работу. Но,

отскочив, Плотников с быстротой молнии сообразил, что и эта десятка, протянутая толстяком, пригодится ему, хотя как стыдно попросайничать, но разве он попрошайничал?! Плотников, взяв себя в руки, принял деньги и вежливо поклонился, проговорив:

- Первый раз вижу в нашем гастрономе культурного человека! А то все мужичье! Вы знаете, мужики одолели! Лифт весь исписан, в подъезде грязь, не просто грязь, а какие-то помои!

Грузин, отходя, с улыбкой посоветовал:

- Э-э, дорогой, зачем грязь, поставь домофон!

Эта идея ошарашила Плотникова; он не в состоянии был себе представить, чтобы так можно было просто покончить с грязью в подъезде, с вечным сидением в нем каких-то мужиков, пьяных, небритых, с бутылками, с папиросами, пьющих и испражняющихся. Раньше, при Викторе Васильевиче Гришине такого не было; в подъезде под лестницей дежурила консьержка, дверь запиралась, имелся звонок. Потом многие коммунисты разбогатели, купили себе огромные квартиры и коттеджи и разъехались из подъезда, а их квартиры заняли мужики!

Вот заходит вислозадый мужик в ватных брюках с третьего этажа в подъезд и первым делом начинает грызть семечки; то есть, на улице он их не грыз, берег до подъезда, и тут, пока поднимается, заплывает все площадки и лестницы. Другой, военный подполковник, с одиннадцатого этажа, постоянно швыряет в мусоропровод бутылки. Ладно бы днем швырял, а он в двенадцать ночи швыряет, и летит стекло, бьется, будит звоном громким весь дом. А дворничиха потом руки режет, уминая бак для загрузки в машину-помойку. Этому подполковнику, видимо, кажется, что бутылки куда-нибудь исчезают, а они всего лишь летят по широкой трубе в мусорный бак.

Получив десятку, Плотников купил двести грамм песку развесного, сто грамм масла, батон самый дешевый, и маленькую пачку молока, то есть маленький пакетик, полиэтиленовый. Уложился ровно в десятку. Шел домой, и все время думал о предложении грузина поставить в подъезде домофон. Это же выход из нервных перегрузок, которые Плотников постоянно испытывает, как только выходит из квартиры в подъезд, или входит в подъезд с улицы. Вот и сейчас, войдя в него, Плотников обнаружил, - здорово живешь! - под лестницей какого-то валяющегося пьяного мужика. Ну, что ты тут будешь делать! Плотников взгляделся во тьму под лестницей (в подъезде стоял постоянный полумрак: лампочки выбивались сразу же, как

их только вкручивали) и увидел лакированные черные штиблеты, красные носки, песочного цвета брюки, клетчатый пиджак, золотую цепь на запястье и... кровь. Из-под лежащего сочилась кровь и собиралась лужицей. Плотников сильно испугался, а когда испугался, увидел возле лежащего маленькую черную сумочку, которую носят на кожаной петле. Из любопытства, возбужденного страхом, Плотников нагнулся, оглядевшись, взял сумочку и с ходу сунул ее в пакет к продуктам. И пошел к лифту, не оглядываясь.

В квартире он сразу же включил свет в прихожей, тесной, заставленной книжными полками, тумбочками, какими-то коробками, в которых хранились совершенно забытые вещи, и открыл сумочку: в ней лежали доллары, не очень толстой пачечкой, паспорт на имя Крайко Вадима Григорьевича и визитные карточки на то же имя с припиской: "Председатель правления "Крайко-Банка". Плотников моментально извлек доллары, не пересчитывая, сунул их в карман своего плаща, который висел на вешалке, мгновение постоял, соображая, и побежал к лифту.

Господин Крайко, по всей видимости, уже отдавший концы, лежал все в той же позе. Лужа стала значительнее. Плотников, дрожа от страха, бросил возле трупа сумочку и как можно невозмутимее вышел из подъезда. Поблизости никого не было и Плотников, заложив руки за спину, не спеша, прогулочным шагом обогнул дом и вышел на улицу Косыгина, перешел ее на пешеходном переходе, пропустив машины, и пошел тропинкой по Воробьевым горам в тени деревьев к реке. Цвела сирень. У некоторых кустов Плотников останавливался и буквально замирал от великолепного запаха. Плотникову не верилось, что наступила весна, быстро перешедшая в лето. В России это такая радость! Потому что зима в этом году особенно надоела своей бесконечностью, короткими днями и долгими ночами. И вся-то жизнь казалась теперь Плотникову прожитой, наступил последний ее этап, как эта весна, после долгой зимы жизни. Хотя, нет. Бывало, когда работал в горкоме, много было хороших минут. Надеялся на лучшее всегда. Ездил за границу, в санаториях с женой отдыхал, машину купил, но сам не ездил, а передал по доверенности сыну, который теперь работает в Америке в нашем посольстве, на "Линкольне" ездит.

Плотников дышал свежим воздухом, и настроение у него с каждой минутой улучшалось. Дело в том, что он решил сегодня же, сейчас же, как только пройдет некоторое время, за которое ус-

пеют обнаружить труп господина Крайко в подъезде и убрать его, пустить эти деньги на установление домофона в подъезде. За свой счет. Потому что говорить с мужичьем бесполезно. Им ничего не нужно!

Спустя два часа Плотников вернулся с прогулки, в подъезде было пусто и лужи не было; он поднялся к себе, закрылся и достал доллары из кармана плаща. Тут позвонила по телефону с работы жена, спросила, купил ли он то, что она ему велела. Он сказал, что все выполнил и положил трубку. В пачке было три тысячи долларов. Плотников по газетным объявлениям выписал несколько телефонов фирм, устанавливающих железные двери и домофоны, связался с одной...

Жене, когда она пришла вечером, ничего не сказал; ему интересно было сделать все так, чтобы она ничего не узнала и, глядя на нее, даже подумал, что и жильцам скажет, что он все это делает не на свои деньги, а по поручению благотворительной городской организации, в которую он, как пенсионер, обратился за помощью с тем, чтобы подъезд, наконец, был приведен в порядок.

Жена, потная с жаркой улицы, первым делом распахнула балконную дверь и села перед нею в кресло. Ее обдувало ветерком.

- Кого-то в подъезде нашем убили, - как бы между прочим сказала она через некоторое время, сбрасывая с ног босоножки и поднимая ноги на стул.

- Кого? - сделав испуганный вид, спросил Плотников.

- Какого-то банкира, - зевая, сказала жена и тут же встала и энергично пошла в ванную, крикнув: - Потри мне спину!

Плотников послушно зашел в ванную. Жена уже сняла платье и стояла в огромном лифчике, потому что у неё была огромная грудь, и когда Плотников растянул его, то два огромных конуса с малиновыми сосками упали до жирного живота. Плотников потрогал груди без всякого чувства, а жена, покачав бедрами, сняла трусы, обнажив черные колечки волос на широком лобке.

- Ну, что ты, как импотент! - с хохотом сказала она и нагнулась, подставив мужу широкий и мягкий зад.

Плотников постарался соответствовать ситуации...

После ужина Плотников сел перед телевизором с газетой. Утром, когда жена ушла на работу, Плотников принялся ожидать мастера. Тот явился ровно в десять, как и условились. Он обмерил дверную коробку внизу, принял деньги, оставил квитанцию и, ска-

ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬГИ

зав, что завтра будет, удалился. Плотников попил чаю и пошел, как и обычно, гулять на Ленинские горы.

Друзья, люблю я Ленинские горы...

Взял с собой газету. Сидел на пеньке под деревом и, наслаждаясь сочным воздухом, читал. Поодаль обнаженные по пояс мужики косили траву, и аромат долетал до Плотникова. Вечером с женой смотрел по телевизору балет. А ночью ему приснился страшный сон: какой-то окровавленный мужик грозил ему кулаком и говорил, что те деньги, которые он украл у тупа, проклятые.

Утром Плотников, почесывая впалую грудь, долго смотрел на себя в зеркало и думал, что бы этот сон мог значить?! И Плотников догадался, что никакого мастера не будет, что квитанцию ему тот мужик выдал липовую и что пели эти деньги свою песенку! Но не тут-то было. В назначенное время мастер позвонил в дверь и втащил в прихожую сумку с проводами и телефонными трубками.

Плотников с ним спустился вниз: там уже другие работяги сверлили отверстия в кладке для установки железной дверной коробки. Сама дверь лежала в кузове небольшого грузовика.

Вышел мужик в ватных брюках, щелкал семечки и плевал на асфальт, спросил:

- Накой это мне сдалось?

- Порядок будет, - сказал заискивающе Плотников.

- Побачим, - неопределенно пробурчал мужик и пошел кривого на улицу.

Вечером мастера пошли по квартирам, все были дома, и всем жильцам поставили трубки. Некоторые спрашивали:

- За чей счет?

- За счет домоуправления, - отвечали, как и договорились с Плотниковым, мастера.

Другие жильцы ничего не спрашивали, принимая все как должное; делают - значит надо.

Вечером он сидел в ожидании возвращения жены с работы: она снизу набирала на домофоне номер квартиры, трубка звонила, Плотников снимал ее и говорил:

- Слушаю!

- Это я, - говорила жена, - открывай!

Он нажимал кнопку сбоку, раздавался приятный писк, и дверь внизу открывалась. Жена могла сама ключом открывать дверь, но Плотников просил ее звонить снизу: так интереснее.

- Собственно, вот то, что мы называли коммунизмом. Наконец-то в подъезде стало тихо, - говорил он за ужином жене.

Несколько дней кряду Плотников выходил в подъезд с порошком и тряпкой: мыл стены, чистил подоконники. Никто из жильцов подобного рвения не проявлял.

Увидев подполковника, который накануне ночью бросал опять бутылки в мусоропровод, Плотников сказал ему:

- Не могли бы вы, любезный, выносить бутылки вниз руками?

- Зачем?

Плотников пожал плечами, но тут же вспоминал себя спорящего, и восклицал:

- Чтобы в подъезде тишина была! Надоело хамство!

- Что?

Плотников развернулся и пошел мыть пол в лифте. Через неделю, ночью, Плотников проснулся от страшного грохота в подъезде. Жена тоже проснулась. Они подошли к двери, из-за которой разносились какие-то дикие матерные выкрики, звук ударов металла о металл, бой стекла. Плотников в ужасе дрожал у двери и шептал жене:

- Вот мужики нагрязнули! Я как чувствовал! Проклятые деньги!

- Какие деньги? - спросил жена, более равнодушная к мужицкому урагану.

Плотников что-то промышчал и пошел на кровать затыкать уши подушкой.

Утром он вместе с женой вышел в подъезд. Все стекла на лестничных площадках в окнах были выбиты. Стены исписаны красной краской. В основном рисовали свастику, звезды, серпы и молоты. В лифте были сорваны дверцы, выбиты фонари, и он не работал. Но самое удивительное ожидало Плотникова внизу: двери металлической не было. А у потолка завитком торчал оборванный экранированный провод. На стене подъезда той же красной краской крупно было написано:

- Мы еще вернемся!

КОМПОЗИТОР

рассказ

Из окна был виден зеленый овраг, за оврагом новый высокий дом, только что построенный, с широкой пристройкой магазина. Алла подолгу смотрела в окно на овраг, на новый этот дом, на экскаватор, который рыл землю у входа в будущий магазин. Алла вторую неделю болела, сидела дома и смотрела в окно. Сбоку нового дома она заметила дворовых собак; собаки залезли в подвал под лестницу, ведущую в магазин. Издалека Алла не могла разглядеть как следует собак, но их было много.

Три месяца назад Алла переехала сюда, в Бутово; она развелась и разъехалась с мужем. Никак не могла привыкнуть к новому месту, к этой однокомнатной квартире, к новым домам, к диковатой публике Бутова, к диким оптовым рынкам, к диким физиономиям жителей. Алле казалось, что здесь жили не люди, а какие-то неандертальцы, которые не читают книг, не знают что такое театр, классическая музыка. Лица у всех жителей были скуластые, тупые, красные и пьяные. Особенно пугала Аллу молодежь, наглая, хамская, матерщинная. Десятилетние ублюдки пили водку, били бутылки об углы домов, объединялись в стаи, курили, совокуплялись в подъездах, куда проникали, несмотря на домофоны, замки и прочие препятствия. Они варварски выкорчевывали домофоны, разбивали стекла, поджигали плафоны в лифтах, исписывали стены жутким матом.

В каких семьях рождались эти недоноски? Алла сначала задавала себе этот вопрос, потом, наблюдая за дворнягами, перестала его задавать. Жители представлялись Алле теперь такой же дикой стаей дворняг.

Прежде Алла жила на Селезневке, недалеко от театра Советской Армии, в приличном доме, где не было таких страшных рож, как в Бутове. Не поехать сюда Алла не могла: иного варианта раз-

мена не было. С мужем, бухгалтером нефтефирмы, у них была квартира в 120 метров; причем куплена квартира была на доллары мужа. До замужества Алла жила с родителями в Сокольниках. Родители и сейчас там живут в трехкомнатной квартире на Оленьем валу, с двумя детьми, сыном и дочерью, соответственно братом и сестрой Аллы. Алла сделала неудачный аборт и не могла рожать. Муж-бухгалтер, (сексуально озабоченный, иногда он брал Аллу подряд раз пять) нашел себе другую, скандалов не было, поскольку Алла понимала, что ее доли в разделе жилплощади не было. Алла закончила училище Гнесиных и работала учителем музыки в школе на Краснобогатырской. В Бутово никогда, наверно, не пустят метро, ездить на работу не удобно, и эти лица, эти физиономии, эти рожи, эти морды пассажиров в автобусах, битком набитых, убивали в Алле все живое. Она понимала теперь, почему кремлевские деятели отгораживаются от народа глухим высоким зеленым забором. Алле тоже захотелось отгородиться от своего народа глухим забором. Жуткие улицы с вытопанными газонами, с грязью автобусных остановок, с пугающими пространствами, с огромными типовыми домами. Это не Москва, а какой-то ад, вместительное для бомжей, для стада животного, это не город, это зона, лагерь, в который добровольно съехалась вся Россия, бросив свои серые гнилые избы и покосившиеся сараи.

А так все хорошо начиналось в ее жизни: после училища, которое закончила три года назад, вышла замуж, и не просто вышла, а села сразу в личный джип мужа, черный, лаковый, никелированный. Вошла в огромную квартиру на Селезневке, на ковры и паркеты... И вот все быстро кончилось. Алла смотрела в окно на зеленый овраг, на новый дом за оврагом и плакала. Жизнь казалась конченной, и Алла не знала, что делать. Искать нового мужа? Чтобы он также бросил ее? Без мужа жить нельзя, это ясно Алле, потому что она хочет любви, очень хочет, чтобы кто-нибудь ее приласкал, пожалел. Но Алла размякла только перед собой, один на один, в одиночестве, в исповедальной прострации. Для других она была закрыта, даже перед родителями держалась мужественно, говорила, что все ерунда, что найдет себе настоящего человека, а не клюнет на деньги, как клюнула в истории с мужем. Конечно, он ей и как мужчина нравился, но ореол богатства все же затмил те качества характера мужа, которые в обнаженном бы виде подсказали Алле, что он ей не пара. Во-первых, муж был равноду-

шен к музыке, во-вторых, не воспринимал поэзию. А без поэзии Алла существовать не могла. Но Алле нравилось, что муж был одержим работой: сидел с утра до ночи в своей бухгалтерии у компьютера, играя цифрами, отслеживая танкеры и трубы, скважины и финансовые потоки. Его шеф, дружок, двадцатисемилетний, втерся в доверие в нефтеминистерстве, получил право присосаться к бывшей нефтетрубе СССР; и потекли доллары в карманы юнцов. Мужу Аллы было 29, а самой Алле 26.

Она смотрела в окно. Собаки вылезли из-под лестницы и стали греться на солнце. Особое внимание Аллы привлекли две маленькие беленькие собачки, должно быть щенки, которые опрокинулись от неведомого Алле счастья на спину и стали радостно дрыгать ногами. Черные и прочие большие собаки серьезно наблюдали за малышами, лежали на животе, вытянув лапы и положив морды на эти лапы. Алле захотелось поближе рассмотреть этих собак.

Утром она собрала куриные кости, вялые сосиски, остатки мяса и пошла через овраг к новому дому. В овраге пели птицы, и пахло черемухой. Стоял май, и к зелени Алла еще не привыкла. Но уже одно то, что пели птицы, и пахло черемухой, улучшило настроение Аллы. У дома были свалены кучи гравия и песка, видимо, строители собирались асфальтировать территорию вокруг будущего магазина. Хотя никакого магазина еще не было: пустые оконные проемы, и огромный бетонный бункер внутренностей ждали отделочников. У лестницы лежал черный пожилой пес с умудренным жизненным опытом взглядом. Возле него вилял хвостом разноцветный, похожий на колли, пес. Другой черный, лайкообразный, внимательно следил за Аллой, и когда она вытащила из пакета первое что попало - сосиску, он был тут как тут. Алла с удовольствием сунула ему эту сосиску. Черный старик встал и подошел к Алле, она и ему сунула сосиску. Тут из подвала раздался веселый лай многих собак: из-под лестницы показалась лисья белая морда гладкошерстной собачки, за нею две щенячьих белых, с вислыми ушами, мордочки. Алла улыбнулась.

Сзади посышались шаги по гравию, Алла оглянулась и увидела мужчину с рыжей большой собакой. Белые щенки и большая белая собака бросились к ним и стали в буквальном смысле слова целовать рыжую собаку, которая задирала от смущения морду, гарцевала, как конь, стараясь увернуться от любвеобильных щенят и белой собаки.

- Вижу, и вы кормите их? - сказал мужчина приветливо.
- Да, - сказала Алла. - Вот принесла им поесть.
- А что же вы по кусочкам бросаете. Им за столом нужно есть,

- сказал мужчина.
- А у них есть стол?

Мужчина достал газету и расстелил ее перед входом, перед норой, под лестницу, придавил углы газеты камнями, чтобы ее не унесло ветром, достал из сумки пакет с гречкой и вывалил ее на газету. Собаки жадно набросились на гречку.

- Они кашу едят? - удивилась Алла.

- Конечно, - сказал мужчина. - Этих, - он указал на щенят, - я кормлю каждый день с рождения. И каждый день приношу что-нибудь новое; то рис, то макароны, то гречку, а то и щи. Они очень все это любят. Я добавляю в кашу растительное масло. Они тоже очень любят, когда пища заправлена маслом. А эта, - кивнул он на белую с лисьей мордой собаку, - их мамаша. Сначала зимой, когда я впервые увидел щенят, думал, что они одни. Стал носить им еду. Иду на прогулку со своим Рихардом...

- Вашу собаку Рихардом зовут? - спросила удивленно Алла.

- Да. Потому что я очень люблю Рихарда Вагнера, - сказал мужчина.

- Вагнера... Он же очень помпезный...

Мужчина остановил взгляд на Алле, чмокнул губами, подумал и сказал:

- Мне тоже так казалось... Давно, очень давно казалось, что Вагнер помпезен... Теперь я так не считаю. Теперь я думаю, что это самый торжественный, самый мудрый, самый верный композитор. Величественный. Для великих людей. А всех прочих я бы просто уничтожил, - мягко закончил мысль мужчина.

Алла вздрогнула. Эти мысли не раз и не два, и не три приходили ей в голову, когда она видела эти рыла жителей Бутова, тупые и пьяные.

- У меня есть куриные кости. Можно их дать?

- Да. Только большие. А то они подавятся.

Алла положила на газету свои припасы. Щенки наелись и устали, ища место взрослым собакам. Рыжий Вагнер сидел в сторонке, наострив уши, и наблюдал за тем, как питаются дворняги. На Вагнере был широкий, дорогой, с клепками, ошейник. Взгляд был направлен строго в одну точку, на газету. Когда она опустела, Ваг-

КОМПОЗИТОР

нер взял газету зубами, выдернул ее из-под камней и поднес к хозяину.

- Они считают его своим кормильцем, а меня как бы не замечают, - сказал мужчина.

- А я в окно видела их, вот и решила покормить.

- А меня ни разу не видели?

- Нет.

- Понятно. Я быстро кормлю их и ухажу работать.

Алла посмотрела на мужчину и спросила:

- А вы кто?

- Композитор.

У Аллы вдруг вырвалось:

- Разве может композитор жить в Бутове?

Мужчина не удивился этому вопросу, он усмехнулся и ответил:

- Я понимаю ваш вопрос. Поэтому я люблю Вагнера. Не каждый человек достоин жизни. Не каждый. Я бы разрешил иметь детей только людям с образованием, культурным, которые могли бы воспитать своих детей.

- Значит, не каждый человек имеет право иметь детей? - спросила Алла.

- Не каждый.

- А как же быть? Ведь не проконтролируешь.

Мужчина улыбнулся, взял своего рыжего Вагнера на поводок, сунул газету в пакет и сказал:

- С этого вопроса я начался как композитор... Ну, мы пошли.

И он, не оборачиваясь, пошел за угол быстрым магом. Алла даже не успела рот раскрыть, как он и его красивая собака исчезли.

Алла тоже пошла, свернула за угол, но композитора и Вагнера нигде не было.

Да и может ли жить Вагнер в Бутове?

В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ

рассказ

Утром Иван долго бродил в трусах по новой квартире, хлопал дверями и все не верил, что ему удалось загнать свою убогую трехкомнатную квартиру в девятиэтажном панельном доме у Курского вокзала, а на вырученные купить эту четырехкомнатную квартиру с холлом и кухней в 10 метров в Новокосино. За окнами только-только светлело. От стука поднялась сначала Дарья, жена, а потом и обе дочери, Нина и Зина.

И в одну сторону в окна были видны типовые семнадцатизэтажные дома, и в другую сторону - такие же. Иван постоял у окна в кухне, потом у окна в спальне, потом у окна в большой комнате, потом в комнате дочерей, с балконом. Иван был мощным человеком: размер ноги и кулака как раз подходил для службы во вневедомственной охране пивзавода. Щеки у него были до того толстые, что даже лоснились, как воздушные шары и, казалось, сейчас они лопнут.

Дарья, сходя в уборную, сразу встала у плиты, электрической, а на старой квартире был газ. Это - минус. Стояла у плиты в сиреневой ночной рубашке, толстая, кубышка, квадратная, с редкими волосами и с бельмом на глазу. Дочери, двойняшки, десятилетние, тоже упитанные, вышли помогать. Иван в это время взял дрель и начал сверлить дырки в стенах: он наметил химическим карандашом сразу на всех стенах, чтобы уж с ходу отсверлиться. Победитовое сверло со свистом и скрежетом врзалось в бетон. Для ковра дырки сделал сразу и стал вколачивать молотком деревянные пробки. В дверь позвонили. Иван взглянул в зрачок. Стоял какой-то тощий тип в очках.

- Что? - не открывая, через дверь, спросил Иван.

- Не могли бы вы отложить сверление на более позднее время?

Иван даже перекоксился от замечания; он грубым басом своим послал:

- Иди в угол!

И вернулся к дрели. Шел седьмой час утра. Дарья подала на стол, а Иван в этот момент монтировкой разбирал стенной шкаф, сделанный строителями, сделанный халтурно, и он тут был не нужен, потому что тут встанет гардероб. Доски скрипели, ломались под медвежьей силой Ивана. Дарья крикнула завтракать. Он успел взять охапку досок, выйти на балкон и швырнуть их вниз с пятого этажа. Раздался дикий грохот на асфальте. Иван ударил ладонь о ладонь, провел ими по трусам и пошел к столу. Сначала он съел миску гречки с молоком, потом отварной картошки с салом, потом пять кусков жирной селедки и выпил большую кружку кефира. Жена и девки ели так же охотно. Рыгнув, Иван встал из-за стола и пошел собираться на прогулку, о которой еще договорились вечером всей семьей перед сном, на который отошли в восемь часов вечера.

Иван надел брюки от старого костюма и камуфляжную куртку, которую дали в охране. Дарья вырядилась в трикотажное красное платье с кроличьим воротничком. Девки надели учебные юбки. Все взяли по большой сумке и вышли к лифту. Из соседней квартиры вышел очкарик, давешний, и сказал:

- Я преподаватель вуза, из-за вашего стука я не выспался и не могу с такой головой идти на лекцию!

- А нам-то что?! - взвизгнула Дарья, закрывая своими габаритами мужа и детей.

- Но вы же шумели?

Иван тут из-за плеча жены сказал:

- Я ж работал. Это мое время утром работать.

Подошел лифт, и они сели. Очкарик остался размышлять в одиночестве на площадке; странный человек, если он спит, то и все должны спать, что ли, так всю жизнь проспичь. В гастроном заходить и не подумали, а сразу направили стопы свои на оптовый рынок, где уже всю толпился всякий народ. Разноцветные палатки занимали не менее двух гектаров, и все палатки обошли они. Иван и Дарья покупали по давно известному принципу: подешевле и побольше. Купили каких-то потрохов за бесценно, битых помидоров, полугнилых огурцов, ржавой селедки и еще всякой дряни, чтобы приготовить из нее побольше всяких блюд и закусок для гостей.

Дело в том, что на сегодня они пригласили на новоселье. Тащили сумки с видом победителей. Девки хотели испортить настроение, спросили:

- Пап, купи магнитофон?!

Иван громко плюнул в сторону и крикнул на весь рынок:

- Ща как врежу по жопе, тогда будет гнитофон!

- Чего ты, как этот! - огрызнулись девки.

Но Дарья вступилась за мужа и дала обеим по затылку.

Те хотели заплакать, но Иван смилостивился и купил им одно на двоих мороженое за две с половиной тысячи. Девки заткнулись. Они тащили сумки, согнувшись под их тяжестью. Дарья сказала Ивану:

- Потроха потушу с капустой и уксусом!

Иван согласно кивнул. Затем, подумав, сказал:

- Если Женька напьется, я его пошлю на хуй!

- И правильно.

К двум часам уже стали собираться гости. Екатерина с мужем прапорщиком пришла первая, сдала бутылку самогона и коробку конфет.

Дарья тихо шепнула Ивану:

- Могла бы, сволочь, хоть скатерть подарить!

А для неё:

- Ой, Катенька, какие конфетки!

Прапорщик сразу отвел Ивана в сторону и с зеленым лицом спросил:

- Не нальешь сразу? А то помру! Вчера, бля, влындили с корешами!

- Пошли! - сказал Иван и повел прапорщика на балкон.

Там стоял ящик с водкой. Он открутил пробку с бутылки и протянул прапорщику, тот дрожащими руками отпил сразу полбутылки.

Остальное как нечего делать махнул сам Иван. Зажевали коркой.

Прапорщик пришел в форму и, оглядев балкон, увидел идущую по нему, через балкон от соседей сверху к соседям вниз пожарную лестницу.

- Это не дело! Надо убрать и застеклить, - сказал прапорщик.

- Давай, - согласился Иван и принес инструмент.

Через десять минут Иван заорал вниз:

- Берегись!

И бросили с прапорщиком лестницу на асфальт, чуть не убив какую-то бабу, выходившую в это время из подъезда. Пустую бу-

В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ

тылку Иван, размахнувшись, метнул через дорогу в газон, где только вчера какие-то армяне посадили мертвые высоченные деревья.

Пришли другие гости: Семен с Марусей, Гришка в тельняшке, уже пьяный, электрик. Иван сразу к нему:

- Гриня, давай со счетчиком займемся, а то уже, гад, накрутил копейку!

Гришка рванул тельняшку на груди и в самом деле разорвал её и вскричал:

- Наливай, у нас рука не дрогнет!

Дарья поднесла ему стакан водки и на тарелке трясущийся холодец с горчицей. Гришка выпил, как лимонад, а от закуски отказался. Иван вручил ему отвертку и пассатижи. Пошли к щитку на площадке. Гришка, хоть и пьяный, дело знал: открутил ведущий куда-то в бок провод в белом хлорвиниле, переткнул его в другое место и закрутил винт. Счетчик встал намертво. Он стоял даже тогда, когда врубали весь свет, всю нагрузку вместе с электрической плитой. Когда крутили, показался очкарик.

- А что это вы тут делаете? - вежливо спросил он.

- Тута конденсатор сгорел, - произнес, заплетаясь, Гришка. - Меня вызвали, я и ставлю.

Очкарик подозрительно оглядел обоих и, ничего не сказав, сел в лифт. Тут подъехал Борька Бугров с гармошкой и двумя девицами, очень сильно накрашенными. Ему Дарья сразу поднесла. Борька вдарил цыганочку. Гришка бросился плясать, но упал, и его тут же вырвало. Бабы быстро, правда, тряпками смыли все это дело, а Гришке дали сразу штрафной стакан, после которого он, действительно, плясал очень умело.

К шести часам почти что все разъехались, а кто не смог, тот повалился здесь же. Иван лег с Дарьей в семь часов и еще сумел взобраться на нее и пару раз кончить. И радостно было засыпать, глядя в потолок.

Все же - новая квартира!

ВАСЯ

рассказ

По рядам вещевого рынка, обнесенного забором, ходит милиционер Вася. На нем мешком сидит серая, цвета тряпки после мытья полов, форма, по всей видимости, специально придуманная не умеющими думать модельерами МВД, чтобы такие, как Вася, казались еще уродливее. Дело в том, что у Васи все широкоскулое с носом-картошкой лицо было в бордовых гноящихся угрях; сам Вася, разумеется, считал его красивым. Поэтому он сватался ко всем женщинам, торговавшим на этом рынке, а те это расценивали как обычное вымогательство и без разговоров совали ему измятые пятидесятитысячные бумажки. Вася с ухмылкой прихватывал женщин за мягкое место, убирая деньги небрежно, как бумагу в карман.

После смены Вася брал обязательную бутылку, отдавал половину выручки капитану Лукину, лысому и невысокому, затем шел с земляком Гришей в подвал к азербайджанцам выпивать и закусывать. Там Вася переодевался, надевал гражданские тренировочные брюки с белой полосой вместо лампасов и футболку с надписью на спине “адидас”.

В деревне под Тулой жила его мать с тремя детьми, младшими. Сначала мать ждала Василия, а потом перестала, когда он написал, что после службы в армии подает прямо в милицию, чтобы “в эту поганую деревню не вертаться!”. Москва всем нравилась Васе, особенно тем, что работать было не нужно; милицию он не считал за работу - ходи смену руки в боки и складывай деньги в карман; и еще тем, что девок было тут очень много, особенно в фабричном общежитии, куда он повадился каждый божий день, куда и сегодня с Гришей собирался.

Бутылку на двоих выпили сразу. Закусили зеленью и двумя

огурцами. Потом Алик, ихний начальник, поставил им бутылку коньяка, чтобы отведили от его магазина сержанта второго взвода Баева. Это взял на себя Гриша, потому что их койки в общежитии стояли рядом. Коньяк пошел тяжелее, хотя и под ананас, разрезанный Аликом длинным ножом. Жаль, что арбузов еще не было, но когда пойдут, поедят вдоволь.

Потом зашла продавщица Валька, грудастая, широкозадая, как корова. Вася задрал ей подол и забил болт по самое не могу, как говорится, не отходя от кассы. Валька только блядовито поскуливала.

Вышли повеселевшие из подвала и пошли дворами к общежитию девчат. По пути Вася пересчитывал деньги, оставшиеся у него сегодня после смены: денег оказалось полтора миллиона. Не очень, конечно, много, но жить было можно. Девки брали по триста тысяч, и Вася хотел сегодня обнять и приласкать троих, не больше. Те же расчеты были и у Григория.

Отец Василия погиб в деревне три года назад, когда пьяный поехал за новой бутылкой на своем тракторе, но заехал и перевернулся насмерть в траншею, выкопанную под силос. Похоронили отца над рекой, на деревенском кладбище. Его брат Семен, прав да, тоже тут же помер на другой день, потому что опился. Ему жена все время говорила, чтобы закусывал, а он свое - сыт, и все тут с костями!

За гаражами, где они проходили, выпивали какие-то пацаны лет по пятнадцать, в черных майках, с крестиками на шее, с кольцами в ушах. Василий молча отодвинул одного с дороги, но тот зартачился, тогда Вася двинул ему в зубы тяжелым кулаком; тут не известно, откуда на Васю навалилось человек десять Гриша хотел заступиться, но и того подмяли под себя бритоголовые.

С визгливым матом били обоих милиционеров ногами, не зная, что бьют представителей власти, а то бы бить не стали. Но тут били как оглашенные. Вася потерял сознание.

Когда он пришел в себя, то увидел, что лежит на тропинке за гаражами, а рядом лежит Гриша и из груди у него торчит рукоятка огромного ножа, каким ананас, наверно, резали. Вася хотел подняться, но не мог. Он лежал и тупо смотрел в звездное небо. Через какой-то промежуток времени послышались шаги. Вася простонал, но шаги затихли, а потом побежали в другую сторону.

Вася снова потерял сознание.

Проснулся он в светлом помещении. Луч солнца падал на его кровать, и казалось, что он лежит в снегу. Кто-то в белой шапочке спросил:

- Ну, как?

Вася хотел ответить, но язык не шевелился. И как будто самого языка не было. Вася заснул и ему снилось, что он голый едет на лошади верхом к реке и что сейчас зайдет с нею в воду.

Кто-то тронул его за плечо и спросил:

- Жив?

- Вроде, - еле слышно ответил Вася.

- А вот Гришку убили.

Вася посопел и заплакал. И его рука на одеяле шевельнулась, словно желая ухватить или погладить солнечный луч.

“Наша улица”, 10-2000

Нина Краснова

КУВАЛДИН ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Роман “Так говорил Заратустра” - новое слово в нашей литературе, которое не дошло до наших глухих и слепых критиков. Впрочем, это касается всего творчества Кувалдина, а не только одной его вещи. Бог знает, с чем и с кем носятся наши критики, Бог знает, кого они раскручивают, тех, кто ничего из себя не представляет по большому Гамбургскому счету. А “слона”-то и не примечают.

О ГАМБУРГСКОМ СЧЕТЕ ИРИНЫ РОДНЯНСКОЙ И О ЮРИИ КУВАЛДИНЕ

Перечитала я недавно одну из статей Ирины Роднянской “Гамбургский ежик в тумане”. Она там очень хорошо объясняет, что такое гамбургский счет, - “это большой эстетический счет в литературе, в искусстве”, “выявление первых-вторых-последних мест на шкале” подлинных художественных ценностей. Большой он постольку, поскольку противостоит “малым счетам”, который ведется “официозом”, разными “группировками”, “тусовками” в своих “ситуативных” интересах. Эти группировки и тусовки, со своими экспертами, могут провозгласить пешку ферзем и ввести публику в заблуждение. Но Время все расставит по своим местам. И пешку поставит на свое место, а ферзя - на свое. Только Время, только оно, беспристрастный и справедливый судья, рассеет туман и определит, кто есть кто, и кто войдет в Вечность по этому большому счету, а кто нет, и кто в каком порядке туда войдет, по какому порядку номеров.

Сам термин “гамбургского счет” пошел от соревнований борцов в гамбургском трактире, “в комнате с закрытыми дверями и занавешенными окнами”, без антрепренеров и экспертов, которые могли подыграть тому или другому борцу. Там - по профессиональному и ни по какому другому признаку и по тому, у кого какой счет в борьбе - выяснялось, кто из борцов - сильнейший, и кто из них чемпион.

Главная задача критиков, этого литературного жюри, - заключается в том, чтобы угадать, кто войдет в Вечность по большому гамбургскому счету, пишет Роднянская. И она пытается сделать это в своей статье. И, блистая своей литературоведческой эрудированностью и ослепительными литературными терминами, типа “аскетизм

григорианского хорала”, “эстетический резистанс”, “неперсонифицированность народно-потехи”, “имморализм” и т.д., перебирает, как картошку на рынке, имена новых прозаиков и анализирует и оценивает их сочинения, опубликованные на страницах “толстых” журналов. Причем делает это так скрупулезно... Но имена-то и авторы-то - все какие-то в основном мелкие, как семенная картошка... Впрочем, из мелкой семенной картошки может вырасти и большая. На это и надеется Ирина Роднянская? Но если она называет великого поэта Серебряного века Тинякова “скандальным” “талантливым циником”, и только, и не понимает, какого масштаба этот поэт, и говорит, что любовь молодых художников нашего времени к Тинякову свидетельствует о “тупики”, в который зашло наше литературное искусство, то с ней и с ее авторами, которых она выдвигает на конкурс гамбургского счета, все ясно.

Правда, та же Роднянская, кажется, когда-то сказала Кувалдину - не в печати, а в своем письме к нему, что: “Прежде всего, хочу сказать Вам, что прочитала Вашу книгу. Пока только одну - “Избушку на елке”, но, конечно, прочту и более раннюю. Надо сказать, что я некоторое время откладывала это чтение - прежде всего из-за ужасной занятости, но из страха тоже: а вдруг меня эта проза оттолкнет? как-никак Вы мой благодетель по части издания книжки, а врать я не умею в таких случаях, пришлось сказать бы правду. Какова же была моя радость от того сильного, яркого впечатления, которое произвела на меня Ваша проза в этой книжке!”, - но афишировать свое мнение она почему-то побоялась. Побоялась, что никто не поверит в это? И все скажут ей, что она ошиблась? - Вот как раз в случае с Кувалдиным-то она и не ошиблась. И об этом говорит, например, его роман “Так говорит Заратустра”, который мог написать только гений, и только Кувалдин. ...Но гений не может быть много, по сто тонн с гектара на одном литературном поле...

КАК КУВАЛДИН ЛЕПИТ СВОИХ ГЕРОЕВ?

Кувалдин лепит своих героев, как Бог лепил Адама и Еву из глины (в советское время по ЦТВ артисты-кукольники Театра Образцова показывали, как Бог это делал). Но Кувалдин лепит своих героев не из глины, а из ничего, из нематериальной материи, а точнее - из слов. И герои получаются у него не живыми куклами, а живыми, полнокровными людьми. Более выразительными, чем многие живые люди.

Вот как он лепит, например, главного героя романа “Так говорил Заратустра”, Белева-старшего, Александра, который приходится другому главному герою, Белеву-младшему, Николаю, отцом.

Кувалдин вылепливает фигуру с “узкими опущенными плечами” (которые бывают у людей слабовольных, нерешительных, не уверенных в себе, не пробивных, не преуспевающих в жизни, забытых ею и затурканых), с “длинной шеей (которая бывает у людей тонкой внутренней организации, склонных к искусствам и философии), с длинными ногами (которые бывают у людей недомоседных, шалтай-болтаистых) и с “изможденным лицом” (которые бывают у людей, измученных, измотанных самими собой, своими вечными персональными проблемами и плохой жизнью или плохим образом жизни).

На эту фигуру Кувалдин надевает “рамино потертое” пальто, которое болтается на ней, то есть на нем, на герое, “как на висельнике”, а на голову ему он надевает

“видавшую виды кроличью шапку”, а на ноги ему он надевает “какие-то тряпочные летние полуботинки, стоптанные”, один шнурок на которых развязался и напоминает извивающегося “мокрого червячка”.

Внешний портрет Беляева-старшего готов. И он не требует комментариев.

Потом Кувалдин вдвухает (вдыхает) в него жизнь и заставляет его двигаться и говорить.

И наблюдает за ним, как Бог с неба, и приставляет к нему “ассистента”, Беляева-младшего, сына, который увидел его на улице, на Сретенке, и стыдится подойти к нему и наблюдает за ним со стороны (как таинственный зритель-китайчик в книге “Китайский эрос”), подглядывает за ним “из-за угла”. И что же он видит и слышит?

Его папаша побирается, клянчит у прохожих деньги, у кого рубль, у кого три, у кого пять рублей, себе на вино. Но не просто подходит к прохожему и говорит: “Подайте (мне) копейку...”. А перед каждым из них он разыгрывает свой мини-спектакль, как настоящий артист, лицедей, и выступает в разных амплуа, в разных лицах, по сценариям, которые сам же и придумывает, экспромтом, в зависимости от ситуации, то есть делает это очень талантливо, если посмотреть на это глазами режиссера.

Вот он, существо среднего рода, которого автор так и называет как существо среднего рода – “оно”, “изможденное лицо” – обращается к “мужчине в пыжиковой шапке с портфелем”, говорит ему обрывочными фразами, что вот, я оказался в “дурацкой ситуации”, приехал в Москву из Орла, в командировку... командировочный я... поймите меня правильно... мне не хватает “три рубля... на билет”. “Мужчина с портфелем сделал грозную мину и отчеканил: “Не подаю!”. “Изможденное лицо” посмотрело на “пыжиковую шапку” с презрением, высмотрело в толпе, у книжного магазина интеллигентную женщину, которая рассматривала обложки книг на витрине. И, покашляв, обратился к ней: “Извините милостиво... (мне) даже неудобно обращаться (к вам)... Только что (я) у булочной потерял кошелек... Кхи-кхи... А там - билет... Трех рублей не хватает (мне, на новый билет из Москвы в Орел)... Из Орла я, командировочный...” Эллипсисы в речи “изможденного лица” (пропуски связующих слов между словами и фразами) передают его волнение. Женщина “брезгливо” взглянула на него, достала из своей сумочки “зелененькую бумажку” (не доллар, в советское время у граждан не было долларов, а советскую купюру, три рубля) и протянула ее ему. - “Премного (вам) благодарен!” - скривилось изможденное лицо, приложило костлявую руку к своей груди и поклонилось”.

Потом “оно” “перемахнуло” на другую улицу, Дзержинского, остановилось около телефонной будки, высмотрело военного, полковника, перевоплотилось по системе Станиславского в капитана в отставке Морозова, который “резко” (по-военному) подошел к полковнику и отрапортовался: “Капитан в отставке Морозов. Разрешите, товарищ полковник, обратиться?” - И прицелился стоптанными башмаками”. И сказал ему: “Я сам из Питера третьего дня приехал... На сварочном заводе (по долгу службы выполнял особое задание)... сегодня отбываю назад... Дал одному десятку, чтобы (он) выпить (чего-нибудь) взял... А он... - тут “капитан в отставке” соорил такую физиономию, что полковник сочувственно закивал (ему), - слинял”. Полковник откинул полу своей шинели и вытащил из кармана своих брюк бумажник и дал “изможденному” “трояк”.

После этого “оно” сменяло “диспозицию”, зашагало к Мархлевке, потом к Кировской и там, на Почтамте, выпросило денег у женщины в “дорогой шубе”, сказала ей,

что оно посеяло кошелек или его у него украли и ему на телеграмму не хватает... она дала ему рубль и "красненькую бумажку" (пятерку), потом у магазина "Инструменты" этот артист из погорелого театра, пользуясь "всем арсеналом своего бесовского таланта", представился морскому офицеру капитаном Близначевым из Калининграда... и получил от него "трешку"... Причем у всех он просил деньги как бы в долг и у всех спрашивал адрес, как бы для того, чтобы потом вернуть им по этому адресу свой долг, и даже держал наготове блокнотик с карандашом, чтобы записать адрес, которого ему, естественно, никто не давал. В общем он "наскалкал", насобирав себе денег на шесть бутылок вина "по рубль тридцать семь" (самого дешевого, которое раньше, в советское время, называлось "бормотухой") и на хлеб... Тут сын и застучал его с поличным. И что же? Беляев-старший не растерялся. Сказал сыну, откуда взял деньги, сказал, что сегодня получил в "Книжной палате" гонорар за свои переводы с испанского языка на русский... Как говорится, соврал, недорого взял.

Читаешь обо всем этом у Кувалдина в книге - и как будто художественный фильм смотришь, цветную кинокомедию в духе Эльдара Рязанова. До того все там здорово "экранизировано". И ухохатываешься. Получаешь моральное и эстетическое удовольствие.

Но роман этот - вовсе не кинокомедия и вообще не комедия, хотя там много смешного. Это серьезнейший философский роман, пронизанный идеей Ницше (авторе труда "Так говорил Заратустра") о сверхчеловеке, о человекобоге.

Беляев-старший, пьяница, алкоголик, который выглядит в глазах людей и в глазах своего собственного сына отребьем, отбросом общества, опущенным типом, считает сам себя не кем-нибудь, а Богом и Заратустрой.

Беляев-старший - совершенно новый литературный тип, которого создал Кувалдин и которого раньше не было.

У них с сыном есть своя игра в вопрос-ответ: что говорил Заратустра?

- Что говорил Заратустра?! - кричит отец сыну в самые, казалось бы, неподходящие для этого моменты.

И сын выкрикивает:

- Так! Т а к! говорил Заратустра!

Кстати сказать, и Беляев-младший - тоже совершенно новый литературный тип, как нова и сама эта пара - отец и сын.

СЕНСАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ РОМАНА

...30 октября 1993 года Юрий Кувалдин, у которого тогда только что вышла новая книга "Избушка на елке", выступал в радиоэфире, по программе "Радио-1", по художественному каналу "Вечера на улице Качалова". Ведущая программы Нателла Светликова сказала тогда, что он "стремится в своем творчестве докопаться до самых истоков нравственного падения человека". И спросила:

- Юрий Александрович, скажите, пожалуйста, а над чем вы работаете сейчас?

Гость студии и спонсор программы Юрий Кувалдин сказал:

- Я продолжаю писать начатый мною года три назад роман. Думаю, что в следующем году он будет закончен. Роман, в общем-то, не очень характерен для меня. Те-

ма у него - довольно-таки сложная. Там два главных действующих героя. Это отец и сын. (Беляев-старший и Беляев-младший. - Н. К.) Меня в данном случае интересовала искривленность, изломанность судьбы отца. Отец как бы перенес все возможные муки, дарованные мыслящему интеллигентному человеку большевизмом (сидел в лагерях во времена Сталина. - Н. К.). Отец настаивает на том, что в жизни не существует никаких авторитетов. Авторитет - прежде всего он сам. И он выводит некую теорию оправдания собственного эгоизма (который развился в нем с годами как защита от какого бы то ни было посягания на личность человека и на его свободу. - Н. К.). И в своих отрицаниях авторитетов он доходит до того, что он отрицает и Христа и приходит к тому, что он (Беляев-старший) - сам живой Бог. Роман называется просто, и в то же время, может быть, он вызовет некоторые дополнительные ассоциации (с Ницше), - роман называется "Так говорил Заратустра".

Артист Малого театра Анатолий Торопов прочитал по "Радио-1" отрывок из нового романа Юрия Кувалдина "Так говорил Заратустра", из IX главы, и, надо сказать, сделал он это блистательно, разыграв отрывок по ролям и как нельзя лучше подчеркивая голосом и соответствующими интонациями образ отца и образ сына, двух антитипов, и образ их мыслей.

В IX главе Беляев-старший излагает перед сыном свою философскую - сногшибательную, еретическую - концепцию на такое явление, как Христос, к которой он пришел "путем двадцатилетней дедукции", когда еще сидел в лагере и дружил с салагерниками-евреями, с Финкельштейном и прочими:

- Христа не было никогда!.. Он - литературный герой!

(Это же мы потом услышим в повести Кувалдина "День писателя", но в ином контексте.)

По концепции Беляева-старшего, Христа и всю историю его жизни, то есть евангелие, выдумали писатели древности, в угоду сильным мира сего, по их "социальному" заказу, для того, чтобы сильным мира было удобнее править миром и господствовать над ним, "чтобы нами, дураками, управлять" и чтобы все народы в повиновении и в подчинении держать. Писатели древности были в основном евреями, как и писатели нашего времени. Поэтому они и Христа сделали евреем, чтобы возвысить свою нацию. Они "раскрыли закон гипнотизма слова", который действует на стадо.

- Стадо человеческое тупо и слепо. Этому стаду нужен поводырь, но к каждому человеку поводыря не приставишь... И вот слово стало поводырем (слово Христа, его учение, христианство). ...Сами для себя (они) особую веру имеют, так сказать, для избранных, для кабинета министров земного шара, а нам Иисуса подкинули, но тоже своего... Не написали же, что грек там какой-нибудь проповедовал смирение, или итальянец, а именно написали, что еврей! Ты понял?

Но завоевать земной шар у них не получилось по причине существования других религий ("Слава Будде, Слава Аллаху, Слава Заратустре!") и по причине существования атеистов, считает Беляев-старший...

Беляев-младший не разделяет концепции своего отца и говорит ему:

- Какой-то у тебя примитивный взгляд... Я думаю, у тебя какая-то болезненная неприязнь к евреям...

И не говорит, а кричит:

- При чем здесь это - что Христос еврей? - "он всечеловек, без национальности"!..

Беляев-старший свергает все авторитеты, свергает Христа, свергает Сталина, свергает Ивана Грозного и всех ставит в один ряд, на одну доску:

- Я думаю, что нас здорово дурачат разные Грозные, Сталины, Христы...

Свою концепцию, свои "откровения Святого Александра", он излагает после того, как сын принес ему водки с закуской и дал ему опохмелиться. До этого отец чувствовал тоску, головную боль и упадок сил и едва не плакал, так ему хотелось выпить, и был жалким и забитым, а когда выпил, почувствовал во всем теле "теплоту с оттенком радости", расправил плечи и почувствовал себя "праздничным человеком" и даже сверхчеловеком и Богом и стал ниспровергать авторитеты, скидывать их с постаментов.

Сын смотрел на него как на "отребье" и время от времени говорил ему: "Ты ешь! Ешь!" (а не только пей). И думал о том, что "какие бы умные мысли ни высказывал пьяница, все они будут неприятны, все они будут пьяными истинами, которым грош цена".

Потом сын посоветовал отцу лечь отдохнуть и, когда тот упал с табурета на пол, сам отволоч его, "как мешок с цементом" (ух, какое тяжелое и страшное сравнение!), на кровать, туда, где несколько часов назад лежала покойная, сожительница отца, которую увезли в морг, и положил его на ее место, тоже, можно сказать, как покойного, как погибшего, конченного человека.

...А все же Беляев-младший воспринял концепцию своего отца, но в трансформированном варианте.

У него, как и у отца, тоже был внутренний конфликт с внешним миром, внешний мир - с его вечными посяганиями на свободу личности - был врагом его внутреннего мира, в котором он жил с детства и к защите которого стремился. "По характеру своему Беляев принадлежал к людям, отрицательно реагирующим на окружающую среду и склонным протестовать" против нее. Он всегда стоял в стороне от "человеческого стада", в которое эта среда пыталась загнать его. Он с детства считал себя исключительным человеком, единственным, неповторимым, избранным. И захотел стать сверхчеловеком не только в своих собственных глазах, но и в глазах людей, и стал большим начальником, хозяином и властелином жизни, не брезгуя никакими средствами на пути к своей цели. Он достиг всего, чего хотел, но ему все казалось, что он не достиг чего-то самого главного, "а что такое в жизни самое главное - он не знал". Постепенно он стал превращаться в копию своего отца. И говорить его словами, готовыми блоками слов:

- Нас здорово дурачили разные Грозные, Сталины, Христы.

- Мы рабы авторитетов. Любой, овладевший гипнотизмом слова, способен повести стадо человеческое за собой. Но я предостерегаю вас от этого...

- Ты - Бог, я - Бог, он - Бог! И все мы миф, легенда... литературные персонажи... Ленин, Гебельс, Магомет, Ваншенкин, Аристотель, Чичиков, Христос, Евгений и бедная Лиза в придачу!...

И так же, как отец спрашивал у него: "Что говорил Заратустра?!", - так и он стал спрашивать у всех:

- Что говорил Заратустра?!

И учил всех отвечать, что говорил Заратустра:

- Так говорил Заратустра!

И еще он стал считать себя “праздничным человеком”, как отец, для которого “праздник - это нечто возвышенное”, и стал говорить точь-в-точь, как отец: “Я человек праздничный”, - и научился пить, как отец, “до положения риз”, и временами превращаться в животное, которое совокупляется с какой-то “торгашунечкой” из подсобки магазина Тоськой, с какой-то старухой, как богемный поэт Тиняков, и которому она кажется по пьянке не старухой, а очень привлекательной женщиной, рубенсовского типа, и который лакает вино из эмалированного таза на полу, вместе с ней и с “нужным” ему для его карьеры человеком Скребневым. Сцена, когда он лакает вино из таза, - кульминационная сцена его “нравственного падения”, которую автор написал с таким юмором, литературным озорством, куролесеньем и эпатажем, что она, наверное, станет классической...

Ницше считал, что человек по сравнению со сверхчеловеком - это обезьяна, то есть животное по сравнению с человеком. Чтобы почувствовать себя сверхчеловеком, Богом, надо побывать в шкуре животного. Когда сын побывал в шкуре своего отца, он стал лучше понимать его.

И сказал ему:

- Ты - гениальный человек, Заратустра...

И прослезился вместе с ним и “подошел к отцу и стал страстно целовать его, как единственную в жизни драгоценную душу”.

Здесь и читатель прослезится вместе с ними обоими. Такие трогательные краски и приемы нашел автор, чтобы нарисовать эту сцену - примирения и взаимопонимания отцов и детей.

...Тема смысла жизни и неизбежности смерти волнует героев романа и самого автора. Как говорил Монтень, эта одна из главных вечных тем, которая должна волновать художника и заслуживать его внимание.

Беляев-младший достиг в жизни вроде бы всего, чего хотел. И думает: а что дальше? А дальше он видит перед собой “черную дыру неизвестности”. А еще дальше - “сигнальный огонек смерти”. Беляев-младший думает о будущем, как в юности, связывает с ним какие-то свои надежды. Но с каким будущим связывать свои “надежды на будущее” он не знает, потому что будущее, которое светит ему, это смерть. И она светит не только ему, но и его отцу, и всем людям.

- Все мы смертники на этом свете (все умрем), и все утешаем себя, что каким-то образом будем жить на небесах (в раю), - говорит отец. - Эти чертовы мысли о смерти преследуют меня всю жизнь. А я все живу, живу, живу и никак не доживу до могилы...

- Живи пока, - сказал сын.

Беляев-отец считает, что люди придумали Бога и религии и рай на небесах, чтобы утешать и подбадривать себя, чтобы жить и не бояться смерти.

- Беляев-сын говорит:

- Можно не называть Бога, не произносить его имени, но не признавать Его нельзя. Как-то все меркнет, если нет Бога. В этом смысле евреи - гении, что создали Христа.

...По своему жанру роман Юрия Кувалдина “Так говорил Заратустра” я бы определила бы как философско-религиозный или витально-метафизический. Подобных которому у нас нет.

Есть такие засушенные интеллектуальные авторы, которые как начнут умничать в своих произведениях, говорить о высоких материях, так у них ни одного слова не пой-

мешь из того, что они говорят и хотя бы сказать, да и сами они не понимают того, что говорят. Потому что они не владеют художественным языком и не умеют излагать свои мысли просто, живо и облекать их в совершенную литературную форму (да и мыслей-то у них, если разобраться - кот наплакал, то есть и нет никаких мыслей, одна терминология, которую высмеял в "Анатомии музыки" автор "Нашей улицы" Эмиль Сокольский, "плетение мертворожденных словес" типа "семантическая амбивалентность без парадигм"). А Кувалдин умеет не только просто излагать свои мысли (которых у него в голове больше, чем у какого-нибудь Сократа и Аристотеля), но и умеет облечь их в совершенную форму. Причем он не обрушивает свои мысли на читателей сплошным потоком, таким тропическим дождем "эзнийо", монологом страниц на тридцать, чтобы читатель утонул в них с ручками, а умеет гармонично, дозированно распределить их по тексту между своими героями, одному даст одну мысль, и он выскажет ее своими словами, в своем стиле, репликой или абзацем... другому даст другую мысль, может быть, альтернативную, и он выскажет ее своими словами, в своем стиле... третьему даст третью... и все это он дает вперемешку с художественным изображением каких-то действий, поступков, внешних черт своих героев, с изображением каких-то предметов, пейзажей и т.д. И получается роман, который читаешь и отрываешься от него не можешь, потому что он доставляет тебе и интеллектуальное, и эстетическое удовольствие, и радость. И заряжает тебя сильнейшей энергетикой автора, которая пронизывает все страницы романа.

...Реализм у Кувалдина в прозе сочетается с сюрреализмом и с мистикой. Причем в его сюрреализм и в его мистику ты веришь так же, как и в его реализм (который на самом деле тоже является сюрреализмом и мистикой, потому что он - такой же плод его творческой фантазии, как и сюрреализм и мистика... Кажется, что все, что происходит в прозе Кувалдина, было на самом деле, а на самом деле ничего этого не было, по крайней мере в тех вариантах и в тех интерпретациях, в каких это есть там).

Беляеву-младшему когда-то привиделась на письменном столе книга. Он на некоторое время вышел из комнаты на кухню, а когда вернулся в комнату, "этой книги на письменном столе уже не было".

Мистика, да и только. Но она воспринимается читателем и даже самими героями как реализм и самая настоящая реальность.

"- А что это была за книга? - спросил Комаров.

- ...Это была книга моей жизни!" - ответил Беляев-младший.

Этим эпизодом Кувалдин как бы показал, что подосознательно каждый человек, даже и не писатель, хотел бы написать книгу своей жизни, чтобы эта жизнь не исчезла, как жизнь какой-нибудь букашки или тушканчика, чтобы увековечить ее и таким образом себя и остаться жить на земле после своей смерти.

Беляев-младший не написал такой книги, как и Беляев-старший, как и никто из других героев романа Кувалдина "Так говорил Заратустра". Ее написал за них за всех Кувалдин.

Писатели для того и приходят в мир, чтобы писать книги, и за себя, и за героев (и прототипов героев) своих книг, которые не могут писать их.

Роман Кувалдина "Так говорил Заратустра" настолько интересен, смел, нов, необычен, что после него одноименный труд Ницше кажется мне не настолько интересным, да простит меня Ницше, которого я не успела прочитать, а значит и полюбить

раньше, чем Кувалдина, а теперь уже едва ли и люблю сильнее, чем его. Не Кувалдин пришел ко мне через Ницше, а Ницше через Кувалдина. И для меня Заратустра - это не кто-то из героев Кувалдина, а - сам Кувалдин, автор, который находится над ними, как Бог.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О ДЕНЬГАХ

В романе Юрия Кувалдина "Так говорил Заратустра" (как, впрочем, и всех его произведениях) много лирических отступлений. Некоторые придают его прозе особую художественную глубину, насыщенность, объемность и полифоничность.

Есть у него и лирическое отступление о деньгах. Ну такое лирическое... что оно невольно вызывает у читателя улыбку недоумения. Когда начинаешь читать его, думаешь, что сейчас пойдет речь о чем-то таком возвышенном, и никак не думаешь, что речь пойдет о деньгах и польется ода этому презренному "металлу", за который "люди гибнут" и отдают душу дьяволу.

"Хорошо сидеть за столом в зимний долгий вечер, когда на улице мороз, когда скрип снега под ногами прохожих в тишине разносится на целый квартал, когда в комнате, жарко натопленную двумя старыми батареями, вливается свежий воздух, хорошо сидеть в свете настольной лампы (правда, хорошо сидеть в такой приятной обстановке, мастерски созданной автором, ах, как хорошо! - Н.К.)", сидеть и... что делать? мечтать о чем-то красивом и возвышенном? читать книгу - допустим, Ницше или Фрейда? нет! сидеть "и считать деньги!", как это делает Беляев-младший, который сидит за столом и считает деньги и думает, как хорошо "сидеть за столом в зимний долгий вечер..." и считать деньги. Ах ты, Господи! Вон оно что! "Беляев думал, что в деньгах есть все: и свобода, и власть, и счастье, и благополучие, и страдание, и тревога, и страх, и преступление. Сколь же велико по значению изобретение денег! Самое гениальное, радовался Беляев, изобретение в мире после колеса". Ну и ну!

Да нет ли в этом лирическом отступлении скрытой иронии автора, его внутренней насмешки над русским Крезом, для которого главная ценность в мире - это деньги, а не что-то другое, более главное? Если и есть, то автор не показывает ее.

А лирическое отступление набирает обороты и поднимается до поэтического пафоса... Деньги начинают звенеть, как аллитерации, золотым звоном: день-день-день! - и как колокола в "Поэтории" Родиона Щедрина.

"День. День проходит. Деньги день находит. Что-то есть родственное в этих словах: день делает деньги".

Вот к чему приводит Беляева любовь к деньгам: к поэтическим находкам, которые дороже денег!

Читатель начинает разделять поэтическое восхищение Беляева деньгами, как эстетической и лингвистической категорией. Пока тот не начинает заговариваться и бормотать: "День плюс ги равняется деньги! А что такое ги? Или га, при - деньга?"

Тогда читатель вдруг раздражается смехом, а потом настораживается и думает: а не поехала ли у Беляева крыша, как у Германа из "Пиковой Дамы"? Крыша ведь может поехать у человека не только тогда, когда он теряет много денег, но и когда он обретает их. И читатель начинает подозревать, что вся эта ода деньгам, со звоном колоколов в их честь - розыгрыш автора, на который попались наивные читатели.

А тут еще звон денег сливается с телефонным звонком отца, который сообщает ему, что у него (у отца) умерла его “старуха”, и который просит сына приехать к нему домой и купить ему бутылку водки. И лирическое отступление прерывается. И поэтический туман рассеивается. Но звон денег Беляева, как художественная находка (день-день-день), остается в душе читателя и разносится там на целый квартал, эхом с резонансами, как “скрип снега под ногами... в тишине”.

ГЛАВНЫЕ СЮЖЕТНЫЕ ЛИНИИ И ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ РОМАНА

В романе две главные сюжетные линии, которые переплетаются между собой: первая - это отношения между Беляевым-старшим и Беляевым-младшим, с проблемой отцов и детей, которая сначала кажется неразрешимой, а потом оказывается очень даже разрешимой, самым неожиданным образом, и где отец проявляется как далеко не примерный отец и как жалкий, ничтожный в глазах окружающих и в глазах сына человек, стыдящийся сам себя, но оригинально мыслящий философ, со своим (крамольным) взглядом на мир и со своим чувством собственного достоинства, а сын проявляется как сын поневоле, вроде бы и помогающий своему отцу в трудные минуты, но презирающий и не уважающий и не понимающий его и ни в чем не сочувствующий ему, стыдящийся его и воспринимающий его как свой тяжелый крест, который ему надо тащить на себе всю жизнь, но потом у него не меняется взгляд на отца в лучшую сторону и они приходят к консенсусу.

А другая линия - это отношения Беляева-младшего с Лизой, своей невестой, а потом и женой и со своими друзьями-приятелями, сослуживцами, женщинами и т.д., где Беляев проявляется как человек с разных сторон в разные периоды своей жизни и где видна его эволюция от скромного, честного, добропорядочного молодого человека со светлыми романтическими взглядами на жизнь и на любовь до прагматичного, авантюристичного, самоуверенного, высокомерного, преуспевающего начальника, второго секретаря исполкома, который смотрит на людей как на своих подчиненных и как на своих конкурентов и делает свою служебную карьеру и устраивает свою жизнь, не считаясь с моральными принципами. Этаким Штольц нашего времени, но в ухушенном советском варианте, с отпечатком своего времени.

Вообще же все герои у Кувалдина - это и не плохие и не хорошие люди, или не только плохие и не только хорошие. А а и плохие и хорошие, в одном лице, как в жизни. Каждый из них в чем-то плохой, а в чем-то хороший или в чем-то хороший, а в чем-то плохой. И поэтому все они у него - живые, не искусственные, не ходульные, не схематичные, и все интересные с художественной, литературной точки зрения. С этой точки зрения они все вызывают у меня восхищение, с каких бы даже и очень плохих сторон они ни проявлялись. Может быть, и в жизни надо смотреть на людей, как на литературных героев? Тогда ты будешь больше любить их и меньше не любить и будешь более снисходителен и терпим к ним и к их недостаткам и слабостям? И будешь веселее и мудрее смотреть на жизнь?

...Беляев-младший говорит любовнику своей матери Герману Донатовичу:

- Человек сам Бога создал и сам в Него уверовал.

Кувалдин сам создал своих героев. А читатель уверовал в них, потому что они у него получились живые, и, когда ты читаешь прозу Кувалдина, то думаешь, что все они существуют на самом деле. А они и правда существуют на самом деле, как существуют все литературные персонажи, которых создали великие писатели. Они живее всех живых людей, если говорить словами самого Кувалдина, они живут вместе с нами в нашей жизни, как и те великие писатели, которые создали их, даже если сами авторы давно умерли и истлели в своих могилах.

НЕОДНОМЕРНЫЙ КУВАЛДИН

Кувалдин когда-то приклеил к Солженицыну эпитет “одномерный Солженицын”. О самом же Кувалдине я бы сказала, что он неодномерный. И его герои - тоже. Взять того же Беляева-младшего. С одной стороны, в глазах людей он выглядит строгим чиновником, а с другой стороны, в душе - он очень лирический, поэтический и даже сентиментальный человек.

На заседании исполкома он вносит предложение о строительстве новых бань: мы хотим получить нового человека, такого, чтобы у него, как говорится, “и лицо, понимаеете ли, и одежда” (были прекрасны, по Чехову)... - говорит он.

- А что для этого нужно? Отвечаю - самые современные, по последнему слову, бани!

Беляев говорит все это строгим голосом, со строгим видом, как должен говорить коммунист, на заседании исполкома. Но всю эту строгую манеру он наигрывал, как профессионал, “а в глубине души вспоминал дом с мавританским двориком Сандуновских бань, раннее утро, когда он шел с фибровым чемоданчиком и березовым венником под мышкой в эту водную цитатедь, по пути прихватывая (своих друзей) Комарова с Пожаровым; то был еженедельный ритуал высокой поэзии чистоты и здоровья, сбрызнутый пивком! Кто был москвич, тот знает, что такое Сандуны!”

Читаешь эту ностальгическую песню Беляева о прошедших годах его юности, спрятанную им в своей душе от всех участников заседания, и тебе почему-то рыдать хочется, как от “Москвы кабацкой” Есенина. И ты заглядываешь в душу этого оратора, как в Сандуновскую баню, и проникаешься симпатией к нему, этому строгому человеку, который стоит на трибуне, застегнутый на все пуговицы, как человек в футляре, и тебе хочется погладить его по голове и пойти с ним в Сандуновскую баню и потереть ему спину.

“Между тем Беляев... продолжал:

- Это должны быть не просто бани, это должны быть такие бани, в которые человек приходил бы, как в родной дом, чтобы посидеть в кресле, поговорить с писателем, художником, полюбоваться произведениями живописи и скульптуры, искупаться в бассейне, заглянуть в сауну, а потом в русскую половину, с парной...

Все это Беляев говорил медленным металлическим голосом без всякого чувства, как и подобает номенклатурному работнику, уверенному в своих силах. И работники

исполкома тут же стали конспектировать выступление второго секретаря в своих блокнотах, чтобы это выступление сразу же стало руководством к действию...”

Художник Герасимов рисовал на своих картинах разные заседания советского правительства в Кремле, во главе с Лениным и Сталиным, в стиле “классического” социалистического реализма, и эти картины получались у него тенденциозные и плоские. А Кувалдин нарисовал картину заседания исполкома, но в стиле своего кувалдинского реализма, и она заиграла у него разными смысловыми оттенками и получилась объемной и многоплановой, с очень точной характеристикой и самого заседания, и всех персонажей этого театрального действия.

На неоднородных героев Кувалдина, как и на него самого, надо смотреть неоднородным взглядом, только тогда ты сможешь полюбить его героев и его самого, автора своих книг. Но тогда уж ты только и будешь бредить его героями и его книгами. И жить в сотворенном им неоднородном мире, из которого тебе не захочется выходить, хотя это не мир сказочника Андерсена или братьев Grimm.

ОБРАЗ ЕЛКИ И НОВОГО ГОДА В ПРОЗЕ КУВАЛДИНА НА ПРИМЕРЕ РОМАНА “ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА”

Я другого такого писателя не знаю, в прозе которого праздник Новый год, елка и само ощущение и предощущение Нового года играло бы такую важную художественную и философскую роль, как у Кувалдина, и который умел бы писать про Новый год, про елку, про ощущение и предощущение этого праздника лучше, чем Кувалдин. Нет такого другого писателя во всей русской и мировой литературе. И роман “Так говорил Заратустра...” является, пожалуй, самым ярким наглядным подтверждением этих моих слов, потому что вся композиция этого романа, вся жизнь его героев строится на периодах от одного Нового года до другого, от елки до елки, на своеобразных рефренах времени, которое идет по кругу, как стрелки часов, на цикличности жизни, которая напоминает цикличность знаков зодиака по европейскому и восточному гороскопу. А елки служат своеобразными вехами, верстовыми столбами периодов и циклов жизни человека, его пути от рождения к смерти.

- А помнишь, под Новый год (мы) бежали с Трубной в горку?! Шел снег, и Лева поскользнулся и разбил бутылку водки?! - напоминает один герой романа другому.

(Да, такое не забудешь!)

“Трамвай на Трубной делал круг и со звончком поднимался по Рождественскому бульвару в горку к Сретенским воротам, а дальше к Чистым прудам. Куда бежали? К кому? Разве это важно! Главное - падал снежок, наступал Новый год (и всех друзей) ждал стол с крахмальной скатертью, и было легко бежать быстрее трамвая”.

Кувалдин описывает, как его герои - Коля Беляев (Беляев-младший), Лева Комаров и Толя Пожаров, три друга, встречали с тремя девушками, Лизой, Верой и Светкой, дома у одной из них, у Светки, Новый год.

...1963 год. “Всем по семнадцать! (Все) вступают в шестьдесят четвертый, в год совершеннолетия”.

Кувалдин описывает все это очень подробно. И как друзья пришли к Светке, и как они из прихожей увидели “накрытый стол, елку с шарами”, “лампочки на елке”, и как они сели рядом с девушками и провожали Старый год, пили водку, которую до

этого никогда “ни разу... не пили”, такие все они были еще неискушенные и неопытные во всем, и в застольях, и в любви, они не только водку еще ни разу не пили, но и с девушками-то еще ни разу не целовались и не спали. И как часы пробили двенадцать, и как все пошли на улицу кататься на санках... и смотреть на звезды в небе.

- Надо же, звезды!.. Как это здорово! Новый год, снег, звезды!”

Этот Новый год с елкой стал для главного героя Коли Беляева и для его друзей точкой отсчета новой жизни. Беляеву он подарил Лизу, которая позже, еще очень не скоро станет его женой, его спутницей жизни. А Комарову он подарил Светку.

Смены лет и смены одного Нового года на другой Новый год совпадают у героев Кувалдина не только со сменой елок в доме, но и с переменами в судьбе кого-то из них и самого главного героя.

...Близился новый... - 1966 - год.

“- Ель - дерево вечнозеленое! - изрек Комаров и после значительной паузы, как некий сюрприз, преподнес (своим друзьям свою главную новость - о своей женитьбе на Светке и о конце своей холостой жизни): - В Новый год приглашаю Вас на свадьбу!.. Хочу венчаться к тому же, а не просто через загс! - торжественно сказал Комаров. (Это в 1966-м-то году, когда атеистические советские законы запрещали советским гражданам и венчаться и креститься! - Н. К.)... А что? Чтобы жизнь была вечнозеленой! - захохотал Комаров”.

В дальнейшем сюжете романа у Кувалдина уже не фигурируют цифры очередного Нового года, а фигурируют только елки, которые и говорят о том, что наступил или наступает Новый год.

“Пожаров взглянул на часы, и в это время раздался звонок в дверь. Приехал шофер отца и привез елку, завернутую в плотную бумагу и обвязанную бечевкой. В прихожей приятно запахло хвоей (на страницах книги - тоже. Н. К.). Когда шофер ушел, Пожаров вопросительно посмотрел сначала на завернутую елку, похожую формой на кипарис, потом на Беляева и спросил:

- Нарядим?

- Давай нарядим”.

И Кувалдин подробно, со вкусом и с каким-то душевным сладострастием ребенка, и с какой-то внутренней старательностью - описывает, как друзья устанавливают елку, живую, какими сейчас мало кто пользуется, как они наряжают ее... И вся эта церемония - под пером Кувалдина - обретает ореол священнодействия и напоминает собой чуть ли не языческий ритуал древних инков.

“Поставили елку в ведро с песком, за которым сбегал с детской песочнице во дворе Беляев. Сначала расчистил снег, затем надолбил совком мерзлого песку. Елочные игрушки были в трех коробках, которые Пожаров достал с антресолей. Еще в одной коробке лежали лампочки с серебристыми отражателями. Елка оказалась густой, с толстыми игловками и поэтому очень колючей. Чтобы она не качалась и вдруг не упала, ее привязали веревками к трубе и к шкафу”.

Когда друзья установили и закрепили елку, они “отошли в сторону полюбоваться ею. ...Что-то с елкой произошло (к ним) такое, чего не было весь год, и все разговоры, да и все дела показались в сравнении с этой красавицей мизерными. Друзья сели на диван и некоторое время молчаливо смотрели на нее. На душе (у всех) вдруг стало хорошо. Беляев открыл одну из коробок и увидел... там... яркие разноцветные флажки.

- Давай их сначала повесим (на елку)! - сказал он, беря эти флажки и... растягивая их на веревке, на которую они были нанизаны.

Пожаров сосредоточенно задумался, потом сказал:

- Нет. Сначала лампочки.

И Беляев согласился.

Пожаров встал на стул и стал закреплять гирлянду лампочек, подаваемую ему другом, на верхних ветках елки”.

Когда читаешь все это, то будто присутствуешь дома у Пожарова, около елки, вместе со всеми героями романа и будто вместе с ними устанавливаешь и наряжаешь ее и вдыхаешь запах хвои, которой она пахнет, и одурманиваешься им. И у тебя на душе становится хорошо, как и у них. Кувалдин умеет создать словами атмосферу праздника на страницах своего романа, и в душе читателей.

И когда отец Пожарова говорит:

- Великолепная елка... -

Читатели видят эту елку, как живую, в гирляндах лампочек и флажков, в игрушках, в золотых и серебряных шарах.

И когда отец Пожарова появляется в дверях “с тремя рюмками и бутылкой коньяка” и ставит их на стол и снимает с себя свой пиджак и оправляет свой жилет и садится на стул и говорит:

- Грядет Новый год, лучший праздник на свете! -

Никто из читателей не может не согласиться с ним. Потому что все они находятся под кайфом ожидания Нового года, как будто налили и выпили по рюмке коньяка из бутылки Пожарова.

Поэтичность, вечно новую новизну, загадочность и андерсоновскую и русскую народную сказочность, волшебность и чудесность этого праздника Кувалдин подчеркивает образом Деда Мороза, маску которого напяливает на себя отец Пожарова, и образом Снегурочки, в которую превращается Лиза на санках и в постели (в начале и в середине романа), и образом Снежной Королевы, о которой вспоминают герои, то есть некими символами детства, которые Кувалдин вводит в картину праздника и без которых Новый год не Новый год, как и без елки. Главной новостью этого Нового года стала для Беляева измена его невесты Лизы. Лиза закрутила роман с офицером и ушла от Беляева.

...Следующий Новый год на время вернул ему Лизу, у которой уже был ребенок от офицера. Беляев встретил ее на Страстном бульваре и пригласил к себе домой. И они занимались там “неконтролируемой” любовью, которая, по убеждению автора, и есть истинная любовь. И он называл Лизу своей Снегурочкой и своей королевой снежной и елочкой своей новогодней, лучше которой что может быть на свете по системе образов Кувалдина?

...“Новый, 1970-й, год Беляев решил встречать в одиночестве. Он купил маленькую елку”. “Он подметил одну особенность: оттого, как он встречал Новый год, зависел весь год. Он не хотел, чтобы в его жизнь лез внешний мир, и одиночество в новогоднюю ночь сулило ему надежду на свободу от внешнего мира на год”.

“И елка, и тишина, и одиночество - все радовало Беляева”. Он сел читать книгу Флоренского “Столп и утверждение истины”.

Но Фортуна устроила ему другой праздник. Она привела к нему Лизу. И Новый год он встретил с ней и с жареным гусем. И сделал ей “предложение о законном браке”. И она стала его женой и спутницей жизни.

... “ - Двадцатое декабря, - сказал Беляев (через какой-то период времени) и посмотрел на Иосифа Моисеевича...”

И по этим словам читатели тут же поняли, что приближается очередной Новый год и герои думают о елке.

“ - Где бы елку купить? - спрашивает Иосиф Моисеевич.

- Тебе нужна елка?

- А тебе не нужна?

- Я заказал в институте (у себя на работе. - Н. К.), - сказал Беляев. - Через неделю привезут...

- С корня?... сразу срубят и привезут? Или дрянь какую-нибудь залежалую подсунут?”

Никогда Беляев не назвал бы дрянью даже и самую плохую елку. А Иосиф Моисеевич назвал. И таким образом охарактеризовал сам себя, для которого елка - просто плохой или хороший товар, и ничего больше.

...Последний по роману Новый год, к которому собирается готовиться главный герой романа Беляев-младший, далеко продвинувшийся по служебной лестнице, добившийся высокого административного положения, в романе “Так говорил Заратустра”, 1983-й.

Кувалдин сообщает об этом через перекидной календарь Скребнева (то есть прибегает к непрямолинейному приему).

“Скребнев склонился к перекидному календарю и сделал на нем пометку, которая как раз легла возле даты: “23 декабря. 1982 год”. Увидев эту дату, Беляев подумал о скором Новом годе, о том, что нужно готовиться к волшебному празднику.

И пока он спускался к машине, мельком заметив, как милиционер на вахте отдал ему честь, думал о Новом годе, о прекрасном ритуале праздника, с помощью которого и его средствами снимаются знаковые проблемы и ставятся надзнаковые, где невозможно противопоставление жизни и смерти, где в душе человека возникают другие коллизии”.

Время действия романа “Так говорил Заратустра” - 20 лет, с 1963 по 1983. Это целая эпоха в истории жизни его героев (как и в истории жизни страны). И она представляет из себя некую аллею времени, на которой через одни и те же интервалы в 365 дней стоят и сверкают огнями и игрушками живые новогодние елки.

“ - Свет, ты не знаешь, зачем живые деревья... Я имею в виду елку... Зачем их ставят? - спросил, чтобы что-то спросить, Беляев и взглянул на Комарова.

- Философский вопрос! - усмехнулся Пожаров.

- Не знаю, - простодушно усмехнулась Света.

- И я не знаю, - сказал Беляев, хотя прекрасно знал”.

Их ставят затем, чтобы отделить один год от другого. Но сейчас для этого существуют искусственные елки, которых раньше не было: елки-символы - символы праздника Нового года, как, допустим, есть слоники-символы - символы счастья (особенно если их семь), или зодиаки-символы. Совсем не надо ставить живых слоников на комод, или в Год Тигра привозить в Москву домой живого тигра из Африки, а в Год Змеи - Змею, чтобы они выполняли свою роль символов, для этого лучше использовать не живых животных, а их искусственные варианты, в форме игрушек, талисманов. Точно так же не надо рубить в лесу и ставить в домах или на улицах, на площа-

дях живые елки, чтобы они выполняли роль символов. Их с успехом выполняют искусственные елки. И Кувалдин, который любит новогодние елки, как никто из писателей, он любит их и как атрибуты самого лучшего для него праздника - Нового года, и как атрибуты своей художественной прозы, один из первых поднял в своем романе "Так говорил Заратустра" вопрос о том, чтобы никто не рубил живые елки "на дрова", то есть на два-три дня празднования Нового года, а использовал для этого искусственные, пластмассовые, фольговые и т. д.

Собственно говоря, новогодние елки - это еловые (по аналогии с осиновыми) колы на могиле очередного Старого и Нового года. Недаром они однажды вдруг вызвали у Беляева "чувство утраты", связанное со смертью праздника, который вчера был, а сегодня его уже нет.

"- Елка - самая страшная вещь!.." - восклицает Беляев.

"- Почему...?" - удивляется Лиза.

"- Сигнал смерти..." - который напоминает о том, что "вот и еще один год прошел" и приблизил нас к нашей смерти.

Такого взгляда на елку никто из философов не имел, по крайней мере не высказывал, кроме Кувалдина. Философия печали звучит у него не только в романе "Философия печали", а во всех его произведениях, даже в теме праздника.

Кувалдин показывает елку до, во время и после Нового года. После праздника она представляет собой жалкое зрелище, как женщина, которая блистала и сверкала своей красотой и вдруг в одночасье превратилась в старуху и в труху.

"С пожелтевшей елки Пожаров осторожно снимал игрушки, потому что елка сильно осыпалась, и аккуратно завертывал их в папиросную бумагу, чтобы затем уложить в картонную коробку для украшений... При каждом прикосновении к игрушке с елки шумным градом сыпались иголки, переполняя комнату сухим запахом хвои и пыли".

У древних римлян был обычай - во время какого-нибудь праздника вносить в пиришественный зал урну с прахом покойного. Чтобы он напоминал людям о бренности жизни.

Елка - символ Нового года, новой жизни, но она же и символ смерти, который напоминает нам о ней. Как в романе Кувалдина "Так говорил Заратустра".

ЛЮБОВЬ С ЭРОТИЗМОМ В РОМАНЕ "ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА"

Работая над своими комментариями к произведениям 10-томника Юрия Кувалдина, я заметила за собой нечто такое, что может показаться кому-то из читателей странным и совершенно излишним. - Я, прежде чем что-то сказать читателям о том или другом произведении, начинаю вкратце пересказывать им сюжет этого произведения. Почему я это делаю? Потому что я уверена, что большинство читателей не читали Кувалдина (как не читали они и не только его, но и много кого из тех, кого следовало бы читать, в том числе и меня, и читали много кого из тех, кого читать не следовало бы)? И мне хочется, чтобы они имели хоть какое-то представление о том произведении, о котором я говорю, и чтобы они таким образом лучше понимали меня. Это - во-первых. А во-вторых, почему бы не пересказать вкратце сюжет произведения, даже если читатели и читали его? Пересказывает же Святослав Бэлза по телеканалу "Культура" зрителям сюжеты опер,

перед тем, как зрители смогут посмотреть и послушать эти оперы (хотя не исключено, что кто-то из зрителей уже смотрел и слушал их). Он делает это для того, чтобы зрители - зная сюжет, его внешнюю канву, могли лучше воспринять оперу с ее художественно-эстетической стороны, чтобы они могли сидеть и наслаждаться искусством композитора, певцов, музыкантов, декораторов, костюмеров, осветителей, то есть чистым искусством, не тратя свои силы на то, чтобы разобраться в сюжете, не отвлекаясь на это от главного. К тому же сам по себе сюжет может быть довольно примитивным (что для оперы как раз и хорошо: чем он проще, тем и лучше).

Допустим, сюжет оперы Пуччини "Мадам Баттерфляй" (или "Чио-Чио-сан")... В нем нет ничего такого сложного и оригинального. Английский капитан приезжает служить в Японию. Ему, по местному обычаю, дают временную жену - гейшу, эту самую Чио-Чио-сан, хотя в Англии у него есть законная жена. Он влюбляется в Чио-Чио-сан, а она в него. Потом он уезжает в Англию и возвращается в Японию через несколько лет, со своей законной женой. Чио-Чио-сан ждала его все эти годы, родила от него сына. А когда узнала, что у ее временного мужа есть законная жена, сделала себе хакари и умерла. Вот и все. Да вообще почти все сюжеты у всех опер довольно просты, если не сказать банальны. И у "Кармен", и у "Тоски", и у "Евгения Онегина". По сюжету той или иной оперы никак нельзя судить, хороша ли сама опера. Потому что главное в ней - не сюжет, а искусство ее создателей и исполнителей, красота музыки, голосов, сольных партий, дуэтов, хоров, оркестра, художественного оформления спектакля и т.д.

И в прозе то же самое. Сюжет - далеко не самое главное в ней (в мировой литературе вообще существует всего 26 ходовых сюжетов с вариациями, то есть по идее они все банальны, и существуют произведения вообще без сюжета, есть они и у Кувалдина). Самое главное в прозе (как, впрочем, и в поэзии) - художественное искусство, мастерство автора, язык его произведений, то есть не то, о чем они написаны, а то, как они сделаны, если говорить словами Кувалдина.

Если рассматривать произведения Кувалдина с этой стороны, то видишь, что они напоминают собой оперы гениальных авторов в постановке гениальных режиссеров с участием гениальных артистов. Таков и роман "Так говорил Заратустра".

Одна из главных сюжетных линий этого романа - это история любви Беляева и Лизы: выпускник школы, студент института Беляев встретил со своей одноклассницей Лизой, тоже студенткой, но иного института, Новый год, в компании своих друзей и в компании Лизиних подруг, влюбился в нее, а она любила его еще с девятого класса, они стали встречаться, потом она завела себе офицера, который был на 10 лет старше нее, и вышла замуж за этого офицера и родила от него ребенка (или не от него, а от Беляева? вот в чем вопрос), потом разочаровалась в своем муже, случайно опять встретила на улице с Беляевым и пришла к нему домой... а потом развелась с мужем и вышла замуж за Беляева, который к концу романа стал большим начальником. Вот и все. Это, так сказать, внешняя линия, внешняя канва сюжета "оперы", в котором, казалось бы, нет ничего такого. Но сама "опера" - это Песнь Песней советского времени, 60 - 80 годов XX века, Песнь Песней в прозе, где Суламифь - Лиза, а царь Соломон - Коля Беляев. Я говорю об этом без иронии и без преувеличения. Потому что только с Песней Песен и можно сравнить любовь между этими двумя героями, по искусству изображения Кувалдиным этой любви и по поэтичности изображения. Или еще - с драмой Шекспира "Ромео и Джульетта", но тогда Лиза - Джульетта, а Коля Беляев - Ромео. Только у Ку-

валдина все это еще интереснее и волнительнее. Потому что и смелее в художественном плане, и откровеннее, и жизненнее, и эротичнее.

В начале романа оба героя - она и она (да и их друзья и подруги - тоже) - молодые, неопытные в любви люди, которые не знают, как вести себя друг с другом.

Когда Беляев сидел рядом с Лизой, ему "было уютно и напряженно. Все время (его)... мучило смущение. Внутренне он готов был стать разговорчивым и веселым, но смущение не позволяло. И он молчал. А касаясь руки Лизы, краснел. Да и Лиза... краснела".

Когда друзья собирали деньги на водку к празднику, на "водяру", Беляев спросил Леву Комарова:

"- Лева, где нас потом искать (когда мы выпьем водки, которую никогда не пили раньше. - Н. К.)?!.

Не моргнув глазом, Комаров ответил:

- В постели!

И сам покраснел, и Пожаров покраснел, и Беляев покраснел". Потому никто из них еще не был в постели с девушкой, в том числе и Комаров, который строил из себя опытного Дон Жуана и "завязтого пьянчугу".

И когда Беляев поднял за столом рюмку водки, она стала ассоциироваться у него "с этой самой постелью, не с конкретным, допустим, диваном или кроватью, которые стояли в комнате Светы, а с постелью, как с чем-то загадочным, расплывчатым, какими-то белыми складками простыней и пододеяльников, наволочек и, главное, с нежным девичьим телом, таким притягивающим и прекрасным...".

Лучше Кувалдина никто из писателей не описывал постель, как чистое, нетронутое ложе любви, предмет не низких, а возвышенных мечтаний молодого человека, символ неизведанных им мужских удовольствий, окутанных некоей романтической аурой, и никто лучше Кувалдина не передал через эту постель затаенные физические желания молодого человека, "предчувствия неведомого".

А образ девушки в прозрачных чулках... Это самый чистый и самый эротический образ девушки в русской прозе, которого до Кувалдина не было в нашей литературе и которого никто не смог бы и не смог написать лучше Кувалдина.

Перед глазами Беляева "возникал образ Лизы, к которому примешивались совершенно свадебные аксессуары с розовыми гвоздиками, распущенной косой и почему-то прозрачными чулками. Ему вдруг представилось, как Лиза... снимает со своих стройных ножек прозрачные чулки..." Прозрачные - значит, телесного, розового цвета.

Прозрачные розовые чулки на ногах девушки у Кувалдина в его прозе - намного эротичнее, чем у кого-то в так называемых эротических сочинениях примелькавшиеся всем голые груди, ляжки, попки и неприкрытые трусами лобки... Эти чулки стоят самых интимных эротических художественных деталей, они даже интимнее и эротичнее кружавчиков на нижнем белье.

Опофеозом и кульминацией любви Беляева и Лизы в романе "Так говорил Заратустра" стала сцена их любовного сближения, которая произошла дома у Беляева и которую Кувалдин показал так, что она воспринимается как библейская "Песня Песней" нового времени, по возвышенности и поэтичности чувств обоих героев и по своему художественному стилю. Причем Беляев как бы противопоставляет свою се-

верную девушку Суламифи и всем египетским фараоншам и считает, что никто не может ни в чем сравниться с ней. “Кто может сравниться с Матильдой моей?” - Никто.

- Королева ты моя снежная, Снегурочка ты моя... Елочка ты моя новогодняя! - говорит он ей. - ...Глаза твои цвета неба над заснеженным ельником...

Эта обновленная и, я бы сказала, новаторская “Песнь Песней”, этот гимн любви на языке и материале нового времени - яркий пример ритмической прозы, как и библейская. И классический пример изображения любовных сцен со всей откровенностью и в то же время без пошлой клубнички и слащавости.

Диалоги между Беляевым и Лизой, наивные в глазах опытных людей, как между школьниками, но такие чистые и трогательные, хочется запомнить наизусть, как стихи:

“- Что ты мне хочешь сказать? - спросила она.

- То, что ты хочешь услышать.

- Я хочу услышать слово “люблю”!

- Слушай его: люблю!

- Ты только меня любишь?

- Только тебя!..

- И я - только тебя!

- Одуреть можно...

...Прекрасно тело твое в снежном свете! Светлее светлого свет глаз твоих!

- Как ты любишь меня? - спросила она...

- Очень крепко, крепче крепкого!

- Ты всегда меня будешь любить?

- Всегда”.

В тот же день Беляев принимал в институте экзамены у студентов, а потом по пьянке переспал с сотрудницей института Валентиной, которую он не любил и которая была ему вроде бы абсолютно не нужна. Жизнь человека состоит из контрастов и противоречий и из ирреальных поступков, которые человек не может объяснить сам себе. И Кувалдин показывает это и в своем романе “Так говорил Заратустра”, и во всем своем творчестве.

...В середине романа Лиза - уже опытная женщина, которая побывала замужем, и Беляев - опытный мужчина. Они занимаются любовью друг с другом, опрокидывая “все теоретические знания о любви”, которых успели набраться на стороне. Он “сжимал ее груди, мямл их в каком-то диком экстазе, придавал ее ногам, рукам, всему телу какие-то немислимые положения, от которых и у него, и у нее... захватывало дух, как будто они, свившись в клубок, летят в пропасть, но вдруг у них вырастают крылья... и начинается плавное парение...” Я не могу назвать писателей, которые умели бы передавать ощущения половых партнеров до полового акта, во время него и после него так, как это умеет Кувалдин. И при этом не впадать в порнографию.

...А уж как Кувалдин умеет показать бесконтактный - визуальный - половой акт, через глаза, и показать, какой это экстравагантный вид эротического удовольствия, утонченнейший и изысканнейший, этого вообще никто из писателей не умеет, и мало кто догадывается, что кроме трехсот способов “Камасутры”, в том числе традиционного (женщина находится под мужчиной. а мужчина - на женщине), существует еще и этот, который один стоит всех.

“Глаза - это все!” - пишет Кувалдин. - Это не только зеркало души, которое выдает любую тайну человека, в том числе и тайну любви. Глаза - это сексуальные органы, гениталии, через которые мужчина может входить в женщину и через которые она может впустить его в себя. Что и делают герои Кувалдина, Беляев и его студентка, которой он увлекся.

“Его взгляд как бы входил в ее взгляд”, но не сразу, а медленно (как половой член). Ее зрачки начинали расширяться, как расширяется вагина, когда хочет впустить в себя мужчину. “Когда он входил с ее одобрения в ее глаза, то у нее приоткрывались губы” (как во время полового акта). “Она как бы поглощала его взгляд... его взгляд входил в нее”.

Более новаторской эротической сцены, чем эта, нет во всей мировой литературе.

Кувалдин своими книгами, с изображением любви в “высокой фазе эротизма”, может довести читателя до оргазма, не только до эстетического, но и до физического, то есть до самого натурального. Такова сила таланта Кувалдина. Такова сила его орудия труда, которое, если говорить фигурально, называется “стило” (а “стило”, по теории символов Фрейда, является синонимом фаллоса).

...Я не побоюсь сказать, что Кувалдин - самый эротический писатель нашего времени, нашего - это значит: конца XX и начала XXI века (кажется, я уже говорила это где-то, в какой-то из своих статей, но почему бы мне и не повторить здесь то, что я говорила где-то, свои же слова, свою же мысль?). Он - Король эротической прозы.

Я не боюсь сказать это при том, что у нас в стране на книжных лотках и прилавках сейчас столько эротической литературы, сколько ее не было за все предшествующие 1000 лет. Но вся эта литература в большинстве своем - не литература, а ширпотреб, попса, жвачка для масс. А эротическая литература Кувалдина - это высокая литература, это русская классика нашего времени, хотя пока мало кто это понимает. Кроме меня, может быть, почти никто не понимает. Потому что Кувалдина пока еще не изучают в школах и вузах и потому что его пока мало кто читает, потому что он недоступен для широкого круга читателей из-за не марининских - не донцовских - не акунинских тиражей. А если бы он был доступен читателям, и если бы они раскусили его, то они только его и читали бы и ума и культуры набирались бы, и вставали бы и ложились бы с ним, с его томами. А девочки-школьницы и целомудренные, застенчивые женщины держали бы его книги у себя под подушками, как национальные бестселлеры и художественные справочники, энциклопедии любви, и учились бы по этим книгам азам интимного общения с предметами своего сердца, языку любви и искусству любви. На Чукотке уже есть такие девочки и женщины. Одна из них - автор “Нашей улицы” Анжела Ударцева - пропагандистка творчества Кувалдина на Чукотке, в Певеке.

Как пишет о любви Кувалдин, так не писал никто из наших русских классиков: ни Карамзин, ни Гоголь, ни Тургенев, ни Достоевский, ни Чехов, ни Толстой, ни Бунин, ни Горький, ни Булгаков, ни Платонов... До Кувалдина самым эротическим писателем мне казался Виктор Астафьев. Я зачитывалась его “Звездопадом” и его “Пастухом и пастушкой”, где почти все действие происходит у героев в постели (поскольку герой - раненый солдат - лежит в госпитале)... Но Кувалдин в эротической теме переплюнул даже самого Астафьева. А о других я и не говорю.

ПРИЕМ ВВОДА КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЗЕ КУВАЛДИНА, НА ПРИМЕРЕ РОМАНА “ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА”

У Кувалдина как прозаика есть одна особенность, то есть она у него не одна, у него их много, но в том числе и вот эта особенность, о которой нельзя не сказать. Он любит подмешивать в основной текст своего произведения какую-нибудь культурную информацию, как подмешивают витамин “Ц” в кефир или как в зеленый чай подмешивают какой-нибудь жасмин или в самый обычный индийский чай добавляют мяту или зверобой или душицу или в пустой рис для большей полезности этого риса добавляют изюм или как в простое блюдо подсыпают какую-нибудь специю, и читатель употребляет, проглатывает все это вместе с основным текстом и порой даже сам не замечает, как насыщает себя этой культурной информацией, только чувствует, что у прозы Кувалдина какой-то свой вкус, а не поймет, в чем дело, что такое в ней есть, чего нет в прозе других прозаиков.

Вот, например, Беляев-младший стоит на Сретенке, наблюдает за своим отцом, удивляется своей неожиданной встрече с ним и вдруг, как бы между прочим, вспоминает о том, что название Сретенки происходит от слова “сретение”, то есть “встреча” (по народному и по рязанскому это будет “встретение”. - Н. К.), именно здесь в XIУ веке состоялась встреча москвичей с иконой Богоматери, привезенной из Владимира, она должна была охранять Москву от Тимур-хана, который угрожал столице своим нашествием.

И таким образом читатель вместе со словом Сретенка проглатывает еще и культурную информацию о ней, которая хорошо усваивается им, потому что она растворена в самом тексте, а не подается тебе в виде скучной лекции, как если бы в виде горькой таблетки, которую надо запивать водой и которую кто-то не запивает водой, а просто выплевывает изо рта, а то и даже в рот не берет, а просто выбрасывает.

Иногда и даже чаще всего Кувалдин вкладывает культурную информацию, небольшими, приемлемыми для читателей порциями в прямую речь какого-нибудь своего героя, как, например, в романе “Философия печали” он вложил в уста Дубовского лекцию об истории автомобилей, об авто- и моторостроении, о создании братьями Вайнерами первого в мире практического мотоцикла, а Борисом Луцким - автомобиля “Мерседес”, от которого ведут свой род все современные машины... и в уста этого же Дубовского он вложил кулинарные рецепты о консервировании огурцов и о приготовлении из черноплодной рябины пюре с сахаром. Никто из персонажей романа не слушает Дубовского, все затыкают уши, он надоед всем со своими лекциями и со своей болтовней, но зато таким образом Кувалдин через него дает читателям ценную информацию, которую читатели, в отличие от персонажей романа, с удовольствием впитывают в себя и приобретают нужные для себя знания.

(Другие примеры приема ввода культурной информации в текст, в прозу, читатели, я надеюсь, найдут сами, если зададутся такой целью. Я не буду показывать их здесь, чтобы не перегрузить ими свое эссе.)

ОЗВУЧИВАНИЕ ПРОЗЫ МУЗЫКОЙ, СТИХАМИ, ЛИТЕРАТУРНЫМИ ЦИТАТАМИ, НА ПРИМЕРЕ РОМАНА “ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА”

Все свои произведения Юрий Кувалдин озвучивает, как художественные фильмы. Он озвучивает их голосами своих героев, или домашних животных, или птиц, или шумами и звуками города, звоном трамваев, шелестом листвы, скрипом заборов и т.д. Если ты начинаешь смотреть на его произведения с этой стороны, то у тебя начинается открываться особое зрение и начинает прорезаться особый слух, и ты начинаешь видеть в страницах книги то, чего не замечал, и слышать то, чего как бы не слышал.

“На лестнице было тихо, точно все (в доме) спали. И только внимательно прислушавшись, можно было различить за дверями слабые голоса или работающий телевизор”.

Ночные звуки большого дома. Они вплетаются в ночную сонату тишины, тихо исполняя каждый свою музыкальную партию, как инструменты в оркестре под управлением Силантьева.

Герои Кувалдина отличаются повышенной звукочувствительностью и звуковосприимчивостью.

“Еще до того, как сзади послышался шум машины, Беляев услышал его, быстро сбежал с дороги и, утопая в снегу, бросился в кусты”.

Повышенная звукочувствительность и звуковосприимчивость героев Кувалдина происходит от этих же самых качеств самого Кувалдина, у которого, кстати сказать, абсолютный слух, как у какого-нибудь гениального музыканта, композитора или певца, и, кстати сказать, очень вокальный голос, высокий, чистый, гибкий баритон с очень приятными вибрациями и обертонами. Кувалдин любит петь и любит слушать музыку, и его герои - тоже.

Кувалдин озвучивает свои произведения и музыкальными сочинениями разных композиторов, и песнями, и стихами.

В романе “Так сказал Заратустра” у него, в четырех стенах, в узком кругу друзей, например, звучат записи “Битлов”, которые являются характерной приметой 60-х годов, когда “Битлов” нельзя было купить в магазине, в отличие, допустим, от пластинок Зыкиной, и их доставали из-под полы.

А в подворотне дома, под аркой, у него звучит песня Окуджавы “Ах, какие удивительные ночи!..”, которую ребята поют во дворе под аркой дома, взяв друг друга “под руки”, словно в песне того же Окуджавы “Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке”, которая не звучит, но как бы подразумевается в подтексте.

А на темной улице, где горели окна и фонари, “из одного окна летела песня Высоцкого:

Дай рубля, прибью а то,
Я добытчик, али кто?
А не дашь, тогда пропью долото!”

Комаров, а через него, естественно, Кувалдин, дал блестящий, не лишенный юмора, анализ этой песни, свое нестандартное толкование. Лирический герой Высоцкого грозит пропить долото, значит - уже все пропил, только работа у него и осталась, но без долота какая будет у него работа? - никакой, и ему наступит крышка, из-за какого-то рубля, которого не дает ему его благоверная.

А в комнате Скребнева, “нужного” Беляеву человека, “хриплый голос” Высоцкого пел на кассете:

В меня влюблялася вся улица
И весь Савеловский вокзал...

И Скребнев подпевал ему.

А в квартире у девушек за дверью слышится первая часть второго концерта для скрипки и фортепьяно Малера. А в звонок у них вмонтирована мелодия Мусоргского из “Рассвета на Москве-реке”, первая фраза. И это свидетельствует о том, что у девушек есть тяга к высокому музыкальному искусству и вообще к чему-то возвышенному. (И откуда бы она взялась у них, если бы не было ее у самого Кувалдина?)

А в другом месте романа слышится опера Вагнера “Гибель Богов”, а в другом месте - симфоническая поэма Рихарда Штрауса “Так говорил Заратустра” (написанная будто бы не под влиянием философского сочинения Ницше, а под влиянием одноименного романа Кувалдина). И все это бьет в тему, а не просто так себе - звучит и все, с потолка, не поймешь для чего.

А что поет Пожаров, когда получает долгожданную красную книжечку члена партии, которая дает ему “зеленый свет прямо до Нью-Йорка”, то есть перспективу в его научной карьере? Он ходит из угла в угол по ковру и напевает песню “Для нас открыты солнечные дали”.

Если выписать все музыкальные номера романа на листочек, это будет грандиозный концерт, в духе больших праздничных телеконцертов советского времени, но с очень неординарной для того времени программой...

В романе Кувалдина “Так говорил Заратустра” и вообще в его прозе есть цитаты и из Гоголя, и из Гете, и из Ницше, и из Мандельштама, и из Апулея, и из Канта, и из Шопенгауэра, и из Чехова, и из Высоцкого, и из кого только нет. Герои Кувалдина могут быть в чем-то и необразованными, и культурно неразвитыми, но сам автор - образованнейший человек, развитый во всех культурных областях. И если читать Кувалдина и не читать больше никого из писателей, в том числе и Гоголя, и Гете, и Ницше, и Мандельштама, и Апулея, и Канта, и Шопенгауэра, и Чехова... ты пройдешь такие университеты, каких не пройдешь ни в одном вузе, и будешь очень образованным человеком, развитым во всех культурных областях. Если будешь читать Кувалдина не по диагонали, а с карандашом в руках и перечитывать не один раз.

...О прозе Кувалдина, в том числе и об искусстве озвучивания Кувалдиным своей прозы, о ее музыкально-литературном оформлении, на примерах из нее, можно писать учебник теории прозы, для студентов и преподавателей Литературного института... Потому что у Кувалдина есть чему поучиться, и студентам, и профессорам, и докторам наук, и академикам академии Российской словесности, и начинающим писателям, и маститым.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О ЛЮБВИ НА РАССТОЯНИИ

Есть у Кувалдина лирические отступления лирического характера, как, например, о любви на расстоянии и не на расстоянии.

“Лиза хороша (для Беляева)... когда находится на расстоянии. Он уже знает это, когда ездил летом на Север, на быструю и холодную порожистую речку, деревенская девушка была далека, потом стала близка до противного, видеть ее не мог больше...”

Любовь на расстоянии всегда хороша (и всегда лучше, чем не на расстоянии?). Она всегда более совершенна, чем любовь не на расстоянии?

“Сближение (с предметом сердца) убивает впечатление (об этом предмете), - рассуждает Кувалдин через своего героя Беляева. - Должен быть люфт (между двумя предметами сердца). Воздух. Расстояние до объекта. Иначе объект исчезает, просто-напросто сам ты его поглощаешь и больше нечем любоваться”.

Тут есть над чем подумать и над чем задуматься. А дальше идет очень образный, очень поэтический и при этом очень суровый афоризм Кувалдина, который звучит как приговор всем людям, которые любят друг друга не на расстоянии и не платонической любовью:

“Яблоком можно любоваться до съедения”.

Этот приговор обжалованию не подлежит, так сказать. Но мне почему-то хочется опротестовать его и сказать следующее. - Конечно, яблоком можно любоваться только до его съедения, пока ты его не съел. Притом яблоком, которое ты еще не съел и даже не надкусил и которое находится от тебя на расстоянии, на высокой ветке, можно любоваться и думать, что оно лучше того, которое ты откусил и ешь. А оно, то яблоко (на ветке), может оказаться невкусным и червивым, намного хуже того, которое находится у тебя в руках... и которое, кстати, может оказаться таким большим, что тебе жизни не хватит съесть его, и ты будешь есть его всю жизнь и всю жизнь любоваться им.

...Я прочитала лирическое отступление Кувалдина о любви на расстоянии и вдруг по-новому восприняла библейскую заповедь: “Возлюби ближнего своего”. Я когда-то задавалась вопросом: почему - возлюби ближнего, а не дальнего? И теперь увидела особую мудрость этой заповеди.

Дальнего (или дальнюю) возлюбить и любить легче, чем ближнего (или ближнюю). Ты не видишь его, дальнего (или ее, дальнюю) каждый день, не общаешься с ним (или с нею) каждый день, ты не знаешь его (или ее) в повседневности, в будничности, в каких-то прозаических моментах жизни, в конкретной обстановке, а только представляешь себе, какой он (или какая она) есть, и, конечно, думаешь о нем (или о ней) лучше, чем он (или она) есть на самом деле. И подстраиваешь его (или ее) под себя и думаешь, что он (или она) - это то самое, что подходит тебе больше всех. Дальнего (дальнюю) ты идеализируешь и наделяешь - в меру своей фантазии и своего воображения - какими-то положительными качествами, которых на самом деле у него (или у нее), может быть, и нет или которые ты сильно преувеличиваешь. Чем богаче твоя фантазия и твое воображение, тем больше положительных качеств ты приписываешь своему далекому предмету сердца и тем больше ты его любишь (потому что ты не можешь увидеть, что никаких этих качеств у него на самом деле нет и что он совсем не подходит тебе, а значит ты не можешь разочароваться в нем). А своего ближнего (или ближнюю), того, кто находится рядом с тобой и на самом деле, может быть, намного лучше того, кто находится на расстоянии, ты не ценишь и не любишь.

Возлюби ближнего своего! А дальнего пусть возлюбят его ближние. И он пусть возлюбит ближних своих. Тогда все на земле будут любить друг друга, любить реальных, пусть в чем-то и не совершенных людей, а не некие идеальные фантомы, искус-

Кувалдин по гамбургскому счету

ственные конструкции, которые, может быть, “рассыпятся” на твоих глазах и разочаруют тебя, как только ты узнаешь их поближе, и разочаруют тем больше, чем больше ты их идеализировал.

ОБ ОЦЕНОЧНОСТИ

Кувалдин в беседах о литературе говорит своим авторам, авторам журнала “Наша улица”, что надо избегать в своих произведениях оценочности какого-то своего персонажа или предмета или явления... никогда не говорить, например, что эта женщина или эта улица или эта клумба красивая, а - показать это с помощью художественных средств, чтобы читатели сами увидели и поняли и могли сказать, что она красивая... и никогда не говорить о ком-то из своих персонажей, например, что он плохой или, наоборот, хороший человек, а - опять же показать это.

Мне хотелось бы избежать оценочности в характеристике Кувалдина как писателя. Но я не могу избежать ее и хочу сказать, что Кувалдин - гениален, и в своем романе “Так говорил Заратустра”, и вообще в своем творчестве. Если судить о нем по большому, то есть по гамбургскому счету. Надеюсь, что я сумела в какой-то степени показать это в своих комментариях и что читатели уже и сами видят, что он и правда гениален, и согласятся со мной и с моей оценочностью, за которую да простит меня Кувалдин.

Приложение

Фридрих Ницше

Ессе Ното (*Экце хомо, лат. - Вот человек*), как становятся самим собой

Ницше датировал появление книги промежутком от 15 октября (днём своего рождения) до 4 ноября 1888 г., однако работа над текстом продолжалась в течение всего уже столь короткого срока отведённой ему сознательной жизни - последний отрывок, принадлежащий к "Ессе Ното", датирован 2 января, т.е. днём, предшествующим катастрофе. О приведении в порядок всего материала, разумеется, не могло быть и речи; этим занялся Архив в лице Э. Фёрстер-Ницше, сестры писателя, и П. Гаста.

Рукопись увидела свет в 1908 г. Спустя 53 года, в 1961 году, Э. Ф. Подаху путём тщательной работы в Архиве Ницше удалось восстановить полный текст в хронологической последовательности отрывков. Результаты оказались самыми неожиданными: выяснилось, что самой книги просто не существует и что речь идёт о серии многочисленных вариантов и параллелей, так и не дождавшихся последней авторской правки и композиции. Тем не менее, значимость этой публикации и относительная цельность традиционного издания позволяет всё-таки включить это сочинение в раздел книг Ницше, хотя и на самой грани, за которой начинается раздел черного наследия.

Произведение публикуется по изданию: Фридрих Ницше, сочинения в 2-х томах, том 2, издательство "Мысль", Москва 1990.

Перевод - Ю. М. Антоновского.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1

В предвидении, что не далёк тот день, когда я должен буду подвергнуть человечество испытанию более тяжкому, чем все те, каким оно подвергалось когда-либо, я считаю необходимым сказать, кто я. Знать это в сущности не так трудно, ибо я не раз "свидетельствовал о себе". Но несоответствие между величием моей задачи и ничтожеством моих современников проявилось в том, что меня не слышали и даже не видели. Я живу на свой собственный кредит, и, быть может, то, что я живу, - один предрассудок?.. Мне достаточно только поговорить с каким-нибудь "культурным" человеком, проведшим лето в Верхнем Энгадине, чтобы убедиться, что я не живу... При этих условиях возникает обязанность, против которой в сущности возмущается моя обычная сдержанность и ещё больше гордость моих инстинктов, именно обязанность сказать: Выслушайте меня! ибо я такой-то и такой-то. Прежде всего не смешивайте меня с другими!

Я, например, вовсе не пугало, не моральное чудовище, - я даже натура, противоположная той породе людей, которую до сих пор почитали как добродетельную. Между нами, как мне кажется, именно это составляет предмет моей гордости. Я ученик философа Диониса, я предпочёл бы скорее быть сатиром, чем святым. Но прочтите-ка это сочинение. Быть может, оно не имеет другого смысла, как объяснить названную противоположность в более светлой и доброжелательной форме. "Улучшить" человечество - было бы последним, что я мог бы обещать. Я не создаю новых идолов; пусть научатся у древних, во что обходятся глиняные ноги. Моё ремесло скорее - низвергать идолов - так называю я "идеалы". В той мере, в какой выдумали мир идеальный, отняли у реальности её ценность, её смысл, её истинность... "Мир истинный" и "мир кажущийся" - по-немецки: мир изолганный и реальность... Ложь идеала была до сих пор проклятием, тяготевшим над реальностью, само человечество, проникаясь этой ложью, извращалось вплоть до глубочайших своих инстинктов, до обоготворения ценностей, обратных тем, которые обеспечивали бы развитие, будущность, высшее право на будущее.

- Тот, кто умеет дышать воздухом моих сочинений, знает, что это воздух высот, здоровый воздух. Надо быть созданным для него, иначе рискуешь простудиться. Лёд вблизи, чудовищное одиночество - но как безмятежно покоятся все вещи в свете дня! как легко дышится! сколь многое чувствуешь ниже себя! - Философия, как я её до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание среди льдов и горных высот, искание всего странного и загадочного в существовании, всего, что было до сих пор гонимого моралью. Долгий опыт, приобретённый мною в этом странствовании по запретному, научил меня смотреть иначе, чем могло быть желательно, на причины, заставлявшие до сих пор морализировать и создавать идеалы. Мне открылась скрытая история философов, психология их великих имён. - Та степень истины, какую только дух переносит, та степень истины, до которой только и держат дух, - вот что всё больше и больше становилось для меня настоящим мерилом ценности. Заблуждение (вера в идеал) не есть слепота, заблуждение есть трусость... Всякое завоевание, всякий шаг вперёд в познании вытекает из мужества, из строгости к себе, из чистоплотности в отношении себя... Я не отвергаю идеалов, я только надеваю в их присутствии перчатки... *Nititur in vitium*: этим знамением некогда победит моя философия, ибо до сих пор основательно запрещалась только истина.

- Среди моих сочинений мой Заратустра занимает особое место. Им сделал я человечеству величайший дар из всех сделанных ему до сих пор. Эта книга с голосом, звучащим над тысячелетиями, есть не только самая высокая книга, которая когда-либо существовала, настоящая книга горного воздуха - самый факт человек лежит в чудовищной дали ниже её - она также книга самая глубокая, рождённая из самых сокровенных недр истины, неисчерпаемый колодезь, откуда всякое погрузившееся ведро возвращается на поверхность полным золота и доброты. Здесь говорит не "пророк", не какой-нибудь из тех ужасных гермафродитов болезни и воли к власти, которые зовутся основателями религий. Надо прежде всего правильно слушаться в голос, исходя-

Фридрих Ницше

щий из этих уст, в этот халкионический тон, чтобы не ошибиться в значении его мудрости. “Самые тихие слова - те, что приносят бурю. Мысли, приходящие как голубь, управляют миром”. -

Плоды падают со смоковниц, они сочны и сладки; и, пока они падают, сдирается красная кожица их. Я северный ветер для спелых плодов.

Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам эти наставления, друзья мои; теперь пейте их сок и ешьте их сладкое мясо! Осень вокруг нас, и чистое небо, и время после полудня. -

Здесь говорит не фанатик, здесь не “проповедуют”, здесь не требуют веры: из бесконечной полноты света и глубины счастья падает капля за каплей, слово за словом - нежная медленность есть темп этих речей. Подобные речи доходят только до самых избранных; быть здесь слушателем - несравненное преимущество; не всякий имеет уши для Заратустры... Тем не менее не соблазнитель ли Заратустра?... Но что же говорит он сам, когда в первый раз опять возвращается к своему одиночеству? Прямо противоположное тому, что сказал бы в этом случае какой-нибудь “мудрец”, “святой”, “спаситель мира” или какой-нибудь decadent... Он не только говорит иначе, он и сам иной...

Ученики мои, теперь ухожу я один! Уходите теперь и вы, и тоже одни! Так хочу я.

Уходите от меня и защищайтесь от Заратустры! А ещё лучше: стыдитесь его! Быть может, он обманул вас.

Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.

Плохо оплачивает тот учителя, кто навсегда остаётся только учеником. И почему не хотите вы ощипать венки мой?

Вы уважаете меня; но что будет, если когда-нибудь падёт уважение ваше? Берегитесь, чтобы статуя не убила вас!

Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре? Вы - верующие в меня; но что толку во всех верующих!

Вы ещё не искали себя, когда нашли меня. Так поступают все верующие; потому-то вера так мало значит.

Теперь я велю вам потерять меня и найти себя; и только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам...

Фридрих Ницше

В тот совершенный день, когда все достигает зрелости и не одни только виноградные грозди краснеют, упал луч солнца и на мою жизнь: я оглянулся назад, я посмотрел вперед, и никогда не видел я сразу столько хороших вещей. Не напрасно хоронил я сегодня мой сорок четвертый год, у меня было право хоронить его - что было в нем жизненно, было спасено, стало бессмертным. Первая книга Переоценки всех ценностей, Песни Заратустры, Сумерки идолов, моя попытка философствовать молотом - сплошные дары, принесенные мне этим годом, даже его последней четвертью! Почему же мне не быть благодарным всей своей жизни? - Итак, я рассказываю себе свою жизнь.

ПОЧЕМУ Я ТАК МУДР

Счастье моего существования, его уникальность лежит, быть может, в его судьбе: выражаясь в форме загадки, я умер уже в качестве моего отца, но в качестве моей матери я еще живу и старею. Это двойственное происхождение как бы от самой высшей и от самой низшей ступени на лестнице жизни - одновременно и *decadent*, и начало - всего лучше объясняет, быть может, отличительную для меня нейтральность, беспартийность в отношении общей проблемы жизни. У меня более тонкое, чем у кого другого, чутье восходящей и нисходящей эволюции; в этой области я учитель *par excellence* - я знаю ту и другую, я воплощаю ту и другую. - Мой отец умер тридцати шести лет: он был хрупким, добрым и болезненным существом, которому суждено было пройти бесследно, - он был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью. Его существование пришло в упадок в том же году, что и мое: в тридцать шесть лет я опустился до самого низшего предела своей витальности - я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В то время - это было в 1879 году - я покинул профессуру в Базеле, прожил летом как тень в Санкт-Морице, а следующую зиму, самую бедную солнцем зиму моей жизни, провел как тень в Наумбурге. Это был мой минимум: "Странник и его тень" возник тем временем. Без сомнения, я знал тогда толк в тенях... В следующую зиму, мою первую зиму в Генуе, то смягчение и одухотворение, которые почти обусловлены крайним оскудением в крови и мускулах, создали "Утреннюю зарю". Совершенная ясность, прозрачность, даже чрезмерность духа, отразившиеся в названном произведении, уживались во мне не только с самой глубокой физиологической слабостью, но и с эксцессом чувства боли. Среди пытки трехдневных непрерывных головных болей, сопровождавшихся мучительной рвотой со слизью, я обладал ясностью диалектика *par excellence*, очень хладнокровно размышлял о вещах, для которых в более здоровых условиях не нашел бы в себе достаточно утонченности и спокойствия, не нашел бы дерзости скалолаза. Мои читатели, должно быть, знают, до какой степени я считаю диалектику симптомом декаданса, например, в самом знаменитом случае: в случае Сократа. - Все болезненные нарушения интеллекта, даже полубомрок, следующий за лихорадкой, оставались до сего времени совершенно чуждыми для меня вещами, о природе которых я впервые узнал лишь научным путем. Моя кровь бежит медленно. Никому никогда не удавалось обнаружить у меня жар. Один врач, долго лечивший меня как нервнобольного, сказал наконец: "Нет! больны не Ваши нервы, я сам лишь болен нервами". Конечно, хотя этого и нельзя доказать, во мне есть частичное вырождение; мой организм не поражен никакой гастрической болезнью, но вследствие общего истощения я страдаю крайней слабостью желудочной системы. Болезнь глаз, доводившая меня подчас почти до слепоты, была не причиной, а только следствием; всякий раз, как возрастали мои жизненные силы, возвращалось ко мне в известной степени и зрение. - Длинный, слишком длинный ряд лет означает у меня выздоровление - он означает, к сожалению, и обратный кризис, упадок, периодичность известного рода *decadence*. Нужно ли после этого говорить, что я испытан в вопросах *decadence*? Я прошел его во всех направлениях, взад и вперед. Само это филигранное искусство схватывать и понимать вообще, это указатель *piaces*, эта психология оттенков и изгибов и все, что образует мою особенность, все это было тогда впервые изучено и составило истинный дар того времени, когда все во мне утончилось, само наблюдение и все органы наблюдения. Рассматривать с точки зрения больного более здоровые понятия и ценности, и наоборот, с точки зрения полноты и самоуверенности более богатой жизни смотреть на таинственную работу инстинкта декаданса - таково было мое длительное упражнение, мой действительный опыт, и если в чем, так именно в этом я стал мастером. Теперь у меня есть опыт, опыт в том, чтобы перемещать перспективы: главное основание, почему одному только мне, пожалуй, стала вообще доступна "переоценка ценностей". -

2

Если исключить, что я decadent, я еще и его противоположность. Мое доказательство, между прочим, состоит в том, что я всегда инстинктивно выбирал верные средства против болезненных состояний: тогда как decadent всегда выбирает вредные для себя средства. Как *summa summarum*, я был здоров; как частность, как специальный случай, я был decadent. Энергия к абсолютному одиночеству, отказ от привычных условий жизни, усилие над собою, чтобы больше не заботиться о себе, не служить себе и не позволять себе лечиться, - все это обнаруживает безусловный инстинкт-уверенность в понимании, что было тогда прежде всего необходимо. Я сам взял себя в руки, я сам сделал себя наново здоровым: условие для этого - всякий физиолог согласится с этим - быть в основе здоровым. Существо типически болезненное не может стать здоровым, и еще меньше может сделать себя здоровым; для типически здорового, напротив, болезнь может даже быть энергичным стимулом к жизни, к продлению жизни. Так фактически представляется мне теперь этот долгий период болезни: я как бы вновь открыл жизнь, включил себя в нее, я находил вкус во всех хороших и даже незначительных вещах, тогда как другие не легко могут находить в них вкус, - я сделал из моей воли к здоровью, к жизни, мою философию... Потому что - и это надо отметить - я перестал быть пессимистом в годы моей наименьшей витальности: инстинкт самовосстановления воспретил мне философию нищеты и уныния... А в чём проявляется в сущности удачность! В том, что удачный человек приятен нашим внешним чувствам, что он вырезан из дерева твёрдого, нежного и вместе с тем благоухающего. Ему нравится только то, что ему полезно; его удовольствие, его желание прекращается, когда переступается мера полезного. Он угадывает целебные средства против повреждений, он обращает в свою пользу вредные случайности; что его не губит, делает его сильнее. Он инстинктивно собирает из всего, что видит, слышит, переживает, свою сумму: он сам есть принцип отбора, он многое пропускает мимо. Он всегда в своём обществе, окружён ли он книгами, людьми или ландшафтами; он удостоивает чести, выбирая, допуская, доверяя. Он реагирует на всякого рода раздражения медленно, с тою медленностью, которую выработали в нём долгая осторожность и намеренная гордость, - он испытывает раздражение, которое приходит к нему, но он далёк от того, чтобы идти ему навстречу. Он не верит ни в "несчастье", ни в "вину"; он справляется с собою, с другими, он умеет забывать, - он достаточно силён, чтобы всё обращать себе на благо. Ну что ж, я есмь противоположность decadent: ибо я только что описал себя.

3

Этот двойной ряд опытов, эта доступность в мнимо разъединённые миры повторяется в моей натуре во всех отношениях - я двойник, у меня есть и "второе" лицо кроме первого. И, должно быть, ещё и третье... Уже моё происхождение позволяет мне проникать взором по ту сторону всех обусловленных только местностью, только национальностью перспектив; мне не стоит никакого труда быть "добрым европейцем". С другой стороны, я, может быть, больше немец, чем им могут быть нынешние немцы, простые имперские немцы, - я последний антиполитический немец. И однако, мои предки были польские дворяне: от них в моём теле много расовых инстинктов, кто знает? в конце концов даже и *liberum veto*. Когда я думаю о том, как часто обращаются ко мне в дороге как к поляку даже сами поляки, как редко меня принимают за немца, может показаться, что я принадлежу лишь к краплёным немцам. Однако моя мать, Франциска Элер, во всяком случае нечто очень немецкое; так же как и моя бабка с отцовской стороны, Эрдмута Краузе. Последняя провела всю свою молодость в добром старом Веймаре, не без общения с кругом Гёте. Её брат, профессор богословия Краузе в Кенигсберге, был призван после смерти Гердера в Веймар в качестве ге-

нерал-суперинтенданта. Возможно, что их мать, моя прабабка, фигурирует под именем "Мутген" в дневнике юного Гёте. Она вышла замуж вторично за суперинтенданта Ницше в Эйленбурге; в тот день великой войны 1813 года, когда Наполеон со своим генеральным штабом вступил 10 октября в Эйленбург, она разрешилась от бремени. Она, как саксонка, была большой почитательницей Наполеона; возможно, что это перешло и ко мне. Мой отец, родившийся в 1813 году, умер в 1849. До вступления в обязанности приходского священника общины Рёккен близ Лютцена он жил несколько лет в Альтенбургском дворце и был там преподавателем четырёх принцесс. Его ученицами были ганноверская королева, жена великого князя Константина, великая герцогиня Ольденбургская и принцесса Тереза Саксен-Альтенбургская. Он был преисполнен глубокого благоговения перед прусским королём Фридрихом-Вильгельмом IV, от которого и получил церковный приход; события 1848 года чрезвычайно опечалили его. Я сам, рождённый в день рождения названного короля, 15 октября, получил, как и следовало, имя Гогенцоллернов - Фридрих Вильгельм. Одну выгоду во всяком случае представлял выбор этого дня: день моего рождения был в течение всего моего детства праздником. - Я считаю большим преимуществом то, что у меня был такой отец: мне кажется также, что этим объясняются все другие мои преимущества - за вычетом жизни, великого утверждения жизни. Прежде всего то, что я вовсе не нуждаюсь в намерении, а лишь в простом выжидании, чтобы невольно вступить в мир высоких и хрупких вещей: я там дома, моя сокровеннейшая страсть становится там впервые свободной. То, что я заплатил за это преимущество почти ценою жизни, не есть, конечно, несправедливая сделка. - Чтобы только понять что-либо в моём Заратустре, надо, быть может, находиться в тех же условиях, что и я, - одной ногой стоять по ту сторону жизни...

4

Я никогда не знал искусства восстанавливать против себя - этим я также обязан моему сравнительному отцу, - в тех даже случаях, когда это казалось мне крайне важным. Я даже, как бы не по-христиански ни выглядело это, не восстановлен против самого себя; можно вращать мою жизнь как угодно, и редко, в сущности один только раз, будут обнаружены следы недоброжелательства ко мне, - но, пожалуй, найдется слишком много следов доброй воли... Мои опыты даже с теми, над которыми все производят неудачные опыты, говорят без исключения в их пользу; я приручаю всякого медведя; я и шутов делаю благонравными. В течение семи лет, когда я преподавал греческий язык в старшем классе базельского Педагогиума, у меня ни разу не было повода прибегнуть к наказанию; самые ленивые были у меня прилежны. Я всегда выше случая; мне не надо быть подготовленным, чтобы владеть собой. Из какого угодно инструмента, будь он даже так расстроен, как только может быть расстроен инструмент "человек", мне удастся, если я не болен, извлечь нечто такое, что можно слушать. И как часто слышал я от самих "инструментов", что еще никогда они так не звучали... Лучше всего, может быть, слышал я это от того непрестительно рано умершего Генриха фон Штейна, который однажды, после заботливо испрошенного позволения, явился на три дня в Сильс-Мария, объясняя всем и каждому, что он приехал не ради Энгадина. Этот отличный человек, погрязший со всей стремительной наивностью прусского юнкера в вагнеровском болоте (и кроме того, еще и в дюринговском!), был за эти три дня словно перерожден бурным ветром свободы, подобно тому, кто вдруг поднимается на свою высоту и получает крылья. Я повторял ему, что это результат хорошего воздуха здесь наверху, что так бывает с каждым, кто не зря поднимается на высоту 6000 футов над Байрейтом, - но он не хотел мне верить... Если, несмотря на это, против меня прегрешали не одним малым или большим проступком, то причиной тому была не "воля", меньше всего злая воля: скорее я мог бы - я только что указал на это - сетовать на добрую волю, внесшую в мою жизнь немалый беспорядок. Мои опы-

ты дают мне право на недоверие вообще к так называемым “бескорыстным” инстинктам, к “любви к ближнему”, всегда готовой сунуться словом и делом. Для меня она сама по себе есть слабость, отдельный случай неспособности сопротивляться раздражениям, - сострадание только у decadents зовётся добродетелью. Я упрекаю сострадательных в том, что они легко утрачивают стыдливость, уважение и деликатное чувство дистанции, что от сострадания во мгновение ока разит чернью и оно походит, до возможности смешения, на дурные манеры, - что сострадательные руки могут при случае разрушительно вторгнуться в великую судьбу, в уединение после ран, в преимущественное право на тяжёлую вину. Преодоление сострадания отношу я к аристократическим добродетелям: в “Искушении Заратустры” я описал тот случай, когда до него доходит великий крик о помощи, когда сострадание, как последний грех, нисходит на него и хочет его заставить изменить себе. Здесь остаться господином, здесь высоту своей задачи сохранить в чистоте перед более низкими и близорукими побуждениями, действующими в так называемых бескорыстных поступках, в этом и есть испытание, может быть, последнее испытание, которое должен пройти Заратустра, - истинное доказательство его силы...

5

Также и в другом отношении я являюсь еще раз моим отцом и как бы продолжением его жизни после слишком ранней смерти. Подобно каждому, кто никогда не жил среди равных себе и кому понятие “возмездие” так же недоступно, как понятие “равные права”, я запрещаю себе в тех случаях, когда в отношении меня совершается малая или очень большая глупость, всякую меру противодействия, всякую меру защиты, - равно как и всякую оборону, всякое “оправдание”. Мой способ возмездия состоит в том, чтобы как можно скорее послать вслед глупости что-нибудь умное: таким образом, пожалуй, можно еще догнать ее. Говоря притчей: я посылаю горшок с вареньем, чтобы отделаться от кислой истории... Стоит только дурно поступить со мною, как я “мщу” за это, в этом можно быть уверенным: я нахожу в скором времени повод выразить “злодею” свою благодарность (между прочим, даже за злодеяние) - или попросить его о чем-то, что обязывает к большему, чем что-либо дать... Также кажется мне, что самое грубое слово, самое грубое письмо все-таки вежливее, все-таки честнее молчания. Тем, кто молчит, недостает почти всегда тонкости и учтивости сердца; молчание есть возражение; проглатывание по необходимости создает дурной характер - оно портит даже желудок. Все молчалники страдают дурным пищеварением. - Как видно, я не хотел бы, чтобы грубость была оценена слишком низко, она является самой гуманной формой противоречия и, среди современной изнеженности, одной из наших первых добродетелей. - Кто достаточно богат, для того является даже счастьем нести на себе несправедливость. Бог, который сошел бы на землю, не стал бы ничего другого делать, кроме несправедливости, - взять на себя не наказание, а вину, - только это и было бы божественно.

6

Свобода от ressentiment, ясное понимание ressentiment - кто знает, какой благодарностью обязан я за это своей долгой болезни! Проблема не так проста: надо пережить ее, исходя из силы и исходя из слабости. Если следует что-нибудь вообще возразить против состояния болезни, против состояния слабости, так это то, что в нем слабеет действительный инстинкт исцеления, а это и есть инстинкт обороны и нападения в человеке. Ни от чего не можешь отделаться, ни с чем не можешь справиться, ничего не можешь оттолкнуть - всё оскорбляет. Люди и вещи подходят назойливо близко, переживания поражают слишком глубоко, воспоминание предстает гноящей-

ся раной. Болезненное состояние само есть своего рода *ressentiment*. - Против него существует у больного только одно великое целебное средство - я называю его русским фатализмом, тем безропотным фатализмом, с каким русский солдат, когда ему слишком в тягость военный поход, ложится наконец в снег. Ничего больше не принимать, не допускать к себе, не воспринимать в себя - вообще не реагировать больше... Глубокий смысл этого фатализма, который не всегда есть только мужество к смерти, но и сохранение жизни при самых опасных для жизни обстоятельствах, выражает ослабление обмена веществ, его замедление, своего рода волю к зимней спячке. Еще несколько шагов дальше в этой логике - и приходишь к факиру, неделями спящему в гробу... Так как истощался бы слишком быстро, если бы реагировал вообще, то уже и вовсе не реагируешь - это логика. Но ни от чего не сгорают быстрее, чем от аффектов *ressentiment*. Досада, болезненная чувствительность к оскорблениям, бессилие в мести, желание, жажда мести, отравление во всяком смысле - все это для истощенных есть, несомненно, самый опасный род реагирования: быстрая трата нервной силы, болезненное усиление вредных выделений, например желчи в желудок, обусловлены всем этим. *Ressentiment* есть нечто само по себе запретное для больного - его зло: к сожалению, также и его наиболее естественная склонность. - Это понимал глубокий физиолог Будда. Его "религия", которую можно было бы скорее назвать гигиеной, дабы не смешивать ее с такими достойными жалости вещами, как христианство, ставила свое действие в зависимость от победы над *ressentiment*: освободить от него душу есть первый шаг к выздоровлению. "Не враждою оканчивается вражда, дружбою оканчивается вражда" - это стоит в начале учения Будды: так говорит не мораль, так говорит физиология. - *Ressentiment*, рожденный из слабости, всего вреднее самому слабому - в противоположном случае, когда предполагается богатая натура, *ressentiment* является лишним чувством, чувством, над которым остаться господином есть уже доказательство богатства. Кто знает серьезность, с какой моя философия предприняла борьбу с мстительными последышами чувства вплоть до учения о "свободной воле" - моя борьба с христианством есть только частный случай ее, - тот поймет, почему именно здесь я выясняю свое личное поведение, свой инстинкт-уверенность на практике. Во времена *decadence* я запрещал их себе как вредные; как только жизнь становилась вновь достаточно богатой и гордой, я запрещал их себе как нечто, что ниже меня. Тот "русский фатализм", о котором я говорил, проявлялся у меня в том, что годами я упорно держался за почти невыносимые положения, местности, жилища, общества, раз они были даны мне случаем, - это было лучше, чем изменять их, чем чувствовать их изменчивыми, - чем восставать против них... Мешать себе в этом фатализме, насильно возбуждать себя считал я тогда смертельно вредным: поистине, это и было всякий раз смертельно опасно. - Принимать себя самого как фатум, не хотеть себя "иным" - это и есть в таких обстоятельствах само великое разумение.

7

Иное дело война. Я по-своему воинствен. Нападать принадлежит к моим инстинктам. Уметь быть врагом, быть врагом - это предполагает, быть может, сильную натуру, во всяком случае это обусловлено в каждой сильной натуре. Ей нужны сопротивления, следовательно, она ищет сопротивления: агрессивный пафос так же необходимо принадлежит к силе, как мстительные последыши чувства к слабости. Женщина, например, мстительна: это обусловлено её слабостью, как и её чувствительность к чужой беде. - Сила нападающего имеет в противнике, который ему нужен, своего рода меру, всякое возрастание проявляется в искании более сильного противника - или проблемы: ибо философ, который воинствен, вызывает и проблемы на поединок. Задача не в том, чтобы победить вообще сопротивление, но преодолеть такое сопротивление, на которое нужно затратить всю свою силу, ловкость и умение владеть оружием, - равного противника... Ра-

венство перед врагом есть первое условие честной дуэли. Где презирают, там нельзя вести войну; где повелевают, где видят нечто ниже себя, там не должно быть войны. - Мой праксис войны выражается в четырёх положениях. Во-первых: я нападаю только на вещи, которые победоносны, - я жду, когда они при случае будут победоносны. Во-вторых: я нападаю только на вещи, против которых я не нашёл бы союзников, где я стою один - где я только себя компрометирую... Я никогда публично не сделал ни одного шага, который не компрометировал бы: это мой критерий правильного образа действий. В-третьих: я никогда не нападаю на личности - я пользуюсь личностью только как сильным увеличительным стеклом, которое может сделать очевидным общее, но ускользающее и трудноуловимое бедствие. Так напал я на Давида Штрауса, вернее, на успех его дряхлой книги у немецкого "образования", - так поймал я это образование с поличным... Так напал я на Вагнера, точнее, на лживость, на половинчатый инстинкт нашей "культуры", которая смешивает утончённых с богатыми, запоздалых с великими. В-чвёртых: я нападаю только на вещи, где исключено всякое различие личностей, где нет никакой подоплёки дурных опытов. Напротив, нападение есть для меня доказательство доброжелательства, при некоторых обстоятельствах даже благодарности. Я оказываю честь, я отличаю тем, что связываю своё имя с вещью, с личностью: за или против - это мне безразлично. Если я веду войну с христианством, то это добавляет мне, потому что с этой стороны я не переживал никаких фатальностей и стеснений, - самые убеждённые христиане всегда были ко мне благосклонны. Я сам, противник христианства de rigueur, далёк от того, чтобы мстить отдельным лицам за то, что является судьбой тысячелетий. -

8

Могу ли я осмелиться указать ещё одну, последнюю черту моей природы, которая в общении с людьми причиняет мне немалые затруднения? Мне присуща совершенно жуткая впечатлительность инстинкта чистоты, так что близость - что говорю я? - самое сокровенное, или "потроха", всякой души я воспринимаю физиологически - обоняю... В этой впечатлительности - мои психологические усики, которыми я ощущиваю и овладеваю всякой тайною: большая скрытая грязь на дне иных душ, обусловленная, быть может, дурной кровью, но замаскированная побелкой воспитания, становится мне известной почти при первом соприкосновении. Если мои наблюдения правильны, такие не примиримы с моей чистоплотностью природы относятся в свою очередь с предосторожностью к моему отвращению: но от этого они не становятся благоухающими... Как я себя постоянно приучал - крайняя чистота в отношении себя есть предварительное условие моего существования, я погибаю в нечистых условиях, - я как бы плаваю, купаюсь и плескаюсь постоянно в светлой воде или в каком-нибудь другом совершенно прозрачном и блестящем элементе. Это делает мне из общения с людьми немалое испытание терпения; моя гуманность состоит не в том, чтобы сочувствовать человеку, как он есть, а в том, чтобы переносить само это сочувствие к нему... Моя гуманность есть постоянное самопреодоление. - Но мне нужно одиночество, я хочу сказать, исцеление, возвращение к себе, дыхание свободного, лёгкого, играющего воздуха... Весь мой Заратустра есть дифирамб одиночеству, или, если меня поняли, чистоте... К счастью, не чистому безумству. - У кого есть глаза для красок, тот назовёт его алмазным. - Отвращение к человеку, к "отребью" было всегда моей величайшей опасностью... Хотите послушать слова, в которых Заратустра говорит о своём освобождении от отвращения?

Что же случилось со мной? Как избавился я от отвращения? Кто омолодил мой взор? Как вознёсся я на высоту, где отребье не сидит уже у источника?

Разве не само моё отвращение создало мне крылья и силы, угадавшие источник? Поистине, я должен был взлететь на самую высь, чтобы вновь обрести родник радости! -

О, я нашёл его, братья мои! Здесь, на самой выси, бьёт для меня родник радости! И существует же жизнь, от которой не пьёт отребье вместе со мной!

Слишком стремительно течёшь ты для меня, источник радости! И часто опустошаешь ты кубок, желая наполнить его.

И мне надо ещё научиться более скромно приближаться к тебе: ещё слишком стремительно бьётся моё сердце навстречу тебе:

моё сердце, где горит моё лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное, - как жаждет моё лето-сердце твоей прохлады!

Миновала медлительная печаль моей весны! Миновала злоба моих снежных хлопьев в июне! Летом сделался я всецело, и полуднем лета!

Летом в самой выси, с холодными источниками и блаженной тишиной - о, придите, друзья мои, чтобы тишина стала ещё блаженней!

Ибо это - наша высь и наша родина: слишком высоко и круто живём мы здесь для всех нечистых и для жажды их.

Бросьте же, друзья, свой чистый взор в родник моей радости! Разве помутится он? Он улыбнётся в ответ вам своей чистотой.

На дереве будущего вьём мы своё гнездо; орлы должны в своих клювах приносить пищу нам, одиноким!

Поистине, не ту пищу, которую могли бы вкушать и нечистые! Им казалось бы, что они пожирают огонь, и они обожгли бы себе глотки.

Поистине, мы не готовим здесь жилища для нечистых! Ледяной пещерой было бы наше счастье для тела и духа их!

И, подобно могучим ветрам, хотим мы жить над ними, соседи орлам, соседи снегу, соседи солнцу - так живут могучие ветры.

И, подобно ветру, хочу я когда-нибудь ещё подуть среди них и своим духом отнять дыхание у духа их - так хочет моё будущее.

Поистине, могучий ветер Заратустра для всех низин; и такой совет даёт от своим врагам и всем, кто плёёт и харкает: остерегайтесь харкать против ветра!..

ПОЧЕМУ Я ТАК УМЁН

1

Почему я о некоторых вещах знаю больше? Почему я вообще так умён? Я никогда не думал над вопросами, которые не являются таковыми, - я себя не расточал. - Настоящих религиозных затруднений, например, я не знаю по опыту. От меня совершенно ускользнуло, как я мог бы быть "склонным ко греху". Точно так же у меня нет надёжного критерия для того, что такое угрызение совести: по тому, что судачат на сей счёт, угрызение совести не представляется мне чем-то достойным уважения... Я не хотел бы отказываться от поступка после его совершения, я предпочёл бы совершенно исключить дурной исход, последствия из вопроса о ценности. При дурном исходе слишком легко теряют верный глаз на то, что сделано; угрызение совести представляется мне своего рода "дурным взглядом". Читть тем выше то, что не удалось, как раз потому, что оно не удалось, - это уже скорее принадлежит к моей морали. - "Бог", "бессмертие души", "искупление", "потусторонний мир" - сплошные понятия, которым я никогда не дарил ни внимания, ни времени, даже ребёнком, - быть может, я никогда не был достаточно ребёнком для этого? - Я знаю атеизм отнюдь не как результат, ещё меньше как событие; он разумеется у меня из инстинкта. Я слишком любопытен, слишком загадочен, слишком надменен, чтобы позволить себе ответ, грубый, как кулак. Бог и есть грубый, как кулак, ответ,

неделикатность по отношению к нам, мыслителям, - в сущности, даже просто грубый, как кулак, запрет для нас: вам нечего думать!.. Гораздо больше интересует меня вопрос, от которого больше зависит "спасение человечества", чем от какой-нибудь теологической курьезности: вопрос о питании. Для обиходного употребления можно сформулировать его таким образом: "как должен именно ты питаться, чтобы достигнуть своего максимума силы, *virtu* в стиле Ренессанс, добродетели, свободной от моралина?" - Мои опыты здесь из ряда вои плохи; я изумлен, что так поздно внял этому вопросу, так поздно научился из этих опытов "разуму". Только совершенная негодность нашей немецкой культуры - ее "идеализм" - объясняет мне до некоторой степени, почему я именно здесь отстал до святости. Эта "культура", которая наперед учит терять из виду реальности, чтобы гнаться за исключительно проблематическими, так называемыми "идеальными" целями, например за "классическим образованием", - как будто уже не осуждено наперед соединение в одном понятии "классического" и "немецкого"! Более того, это действует увеселительно - представьте себе "классически образованного" жителя Лейпцига! - В самом деле, до самого зрелого возраста я всегда ел плохо - выражаясь морально, "безлично", "бескорыстно", "альтруистически", - на благо поваров и прочих братьев во Христе. Я очень серьезно отрицал, например, благодаря лейпцигской кухне, одновременно с началом моего изучения Шопенгауэра (1865), свою "волю к жизни". В целях недостаточного питания еще испортить себе и желудок - эту проблему названная кухня разрешает, как мне казалось, удивительно счастливо. (Говорят, 1866 год внес сюда перемену.) Но немецкая кухня вообще - чего только нет у нее на совести! Суп перед обедом (еще в венецианских поваренных книгах XVI века это называлось *alla tedesca*); вареное мясо, жирно и мучнисто приготовленные овощи; извращение мучных блюд в пресс-папье! Если прибавить к этому еще прямо скотскую потребность в питье после еды старых, отнюдь не одних только старых немцев, то становится понятным происхождение немецкого духа - из расстроенного кишечника... Немецкий дух есть несварение, он ни с чем не справляется. - Но и английская диета, которая по сравнению с немецкой и даже французской кухней есть нечто вроде "возвращения к природе", именно к каннибализму, глубоко противна моему собственному инстинкту; мне кажется, что она дает духу тяжелые ноги - ноги англичанок... Лучшая кухня - кухня Пьемонта. - Спиртные напитки мне вредны; стакана вина или пива в день вполне достаточно, чтобы сделать мне из жизни "юдоль скорби", - в Мюнхене живут мои антиподы. Если даже предположить, что я несколько поздно понял это, все-таки я переживал это с самого раннего детства. Мальчиком я думал, что потребление вина, как и курение табака, вначале есть только суета молодых людей, позднее - дурная привычка. Может быть, в этом терпком суждении виновно также наумбургское вино. Чтобы верить, что вино просветляет, для этого я должен был бы быть христианином, стало быть, верить в то, что является для меня абсурдом. Довольно странно, что при этой крайней способности расстраиваться от малых, сильно разбавленных доз алкоголя я становлюсь почти моряком, когда дело идет о сильных дозах. Еще мальчиком вкладывал я в это свою смелость. Написать и также переписать в течение одной ночи длинное латинское сочинение, с честолюбием в перо, стремящимся подражать в строгости и сжатости моему образцу Саллюстия, и выпить за латынью грог самого тяжелого калибра - это, в бытность мою учеником почтенной Шульпфорты, вовсе не противоречило моей физиологии, быть может, и физиологией Саллюстия, что бы ни думала на сей счет почтенная Шульпфорта... Позже, к середине жизни, я восставал, правда, все решительнее против всяких "духовных" напитков: я, противник вегетарианства по опыту, совсем как обративший меня Рихард Вагнер, могу вполне серьезно советовать всем более духовным натурам безусловное воздержание от алкоголя. Достаточно воды... Я предпочитаю местности, где есть возможность черпать из текущих родников (Ницца, Турин, Сильс); маленький стакан следует всюду за мною, как собака. *In vino veritas*: кажется, и здесь я опять не согласен со всем миром в понятии "истины" - для меня дух носит-

ся над водою... Еще несколько указаний из моей морали. Сытный обед переваривается легче небольшого обеда. Приведение в действие желудка, как целого, есть первое условие хорошего пищеварения. Величину своего желудка надо знать. По той же причине не следует советовать тех продолжительных обедов, которые я называю прерванными жертвенными торжествами, - таковы обеды за *table d'hôte*. - Никаких ужинов, никакого кофе: кофе омрачает. Чай только утром полезен. Немного, но крепкий; чай очень вреден и делает больным на целый день, если он на один градус слабее нужного. У каждого здесь своя мера, часто в самых узких и деликатных границах. В очень раздражающем климате не следует советовать чай сначала: нужно начинать за час до чаю чашкой густого, очищенного от масла какао. - Как можно меньше сидеть; не доверять ни одной мысли, которая не родилась на воздухе и в свободном движении - когда и мускулы празднуют свой праздник. Все предрассудки происходят от кишечника. - Сидячая жизнь - я уже говорил однажды - есть истинный грех против духа святого. -

2

С вопросом о питании тесно связан вопрос о месте и климате. Никто не волен жить где угодно; а кому суждено решать великие задачи, требующие всей его силы, тот даже весьма ограничен в выборе. Климатическое влияние на обмен веществ, его замедление и ускорение, заходит так далеко, что ошибка в месте и климате может не только сделать человека чуждым его задаче, но даже вовсе скрыть от него эту задачу: он никогда не увидит ее. Животный *vigor* никогда не станет в нем настолько большим, чтобы было достигнуто то чувство свободы, наполняющей дух, когда человек признает: это могу я один... Обратившейся в привычку, самой малой вялости кишечника вполне достаточно, чтобы из гения сделать нечто посредственное, нечто "немецкое"; одного немецкого климата достаточно, чтобы лишить мужества сильный, даже склонный к героизму кишечник. Темп обмена веществ стоит в прямом отношении к подвижности или слабости ног духа; ведь сам "дух" есть только род этого обмена веществ. Пусть сопоставят места, где есть и были богатые духом люди, где остроумие, утонченность, злость принадлежали к счастью, где гений почти необходимо чувствовал себя дома: они имеют все замечательно сухой воздух. Париж, Прованс, Флоренция, Иерусалим, Афины - эти имена о чем-нибудь да говорят: гений обусловлен сухим воздухом, чистым небом - стало быть, быстрым обменом веществ, возможностью всегда вновь доставлять себе большие, даже огромные количества силы. У меня перед глазами случай, где значительный и склонный к свободе дух только из-за недостатка инстинкта-тонкости в климатическом отношении сделался узким, кропотливым специалистом и брюзгой. Я и сам мог бы в конце концов обратиться в такой случай, если бы болезнь не принудила меня к разуму, к размышлению о разуме в реальности. Теперь, когда я, вследствие долгого упражнения, отмечаю на себе влияния климатического и метеорологического происхождения, как на тонком и верном инструменте, и даже при коротком путешествии, скажем, из Турина в Милан вычисляю физиологически на себе перемену в градусах влажности воздуха, теперь я со страхом думаю о том зловещем факте, что моя жизнь до последних десяти лет, опасных для жизни лет, всегда протекала в неподобающих и как раз для меня запретных местностях. Наумбург, Шульпфорта, Тюрингия вообще, Лейпциг, Базель, Венеция - все это несчастные места для моей физиологии. Если у меня вообще нет приятного воспоминания обо всем моем детстве и юности, то было бы глупостью приписывать это так называемым моральным причинам, - например бесспорному недостатку удовлетворительного общества: ибо этот недостаток существует и теперь, как он существовал всегда, но не мешал мне быть бодрым и смелым. Невежество *in physiologicis* - проклятый "идеализм" - вот действительная напасть в моей жизни, лишнее и глупое в ней, нечто, из чего не выросло ничего доброго, с чем нет примирения, чему нет возмещения. Последствиями этого "идеализма" объясняя

я себе все промахи, все большие инстинкты-заблуждения и “скромности” в отношении задачи моей жизни, например, что я стал филологом - почему по меньшей мере не врачом или вообще чем-нибудь раскрывающим глаза? В базельскую пору вся моя духовная диета, в том числе распределение дня, была совершенно бессмысленным злоупотреблением исключительных сил, без какого-либо покрывающего их трату притока, без мысли о потреблении и возмещении. Не было никакого более тонкого эгоизма, не было никакой охраны повелительного инстинкта; это было приравнение себя к кому угодно, это было “бескорыстие”, забвение своей дистанции - нечто, чего я себе никогда не прошу. Когда я пришел почти к концу, именно потому, что я пришел почти к концу, я стал размышлять об этой основной неразумности своей жизни - об “идеализме”. Только болезнь привела меня к разуму. -

3

Выбор пищи; выбор климата и места; третье, в чем ни за что не следует ошибиться, есть выбор своего способа отдыха. И здесь, смотря по тому, насколько дух есть *suī generis*, пределы ему дозволенного, т. е. полезного, очень узки. В моем случае всякое чтение принадлежит к моему отдыху: следовательно, к тому, что освобождает меня от себя, что позволяет мне гулять по чужим наукам и чужим душам - чего я не принимаю уже всерьез. Чтение есть для меня отдых именно от моей серьезности. В глубоко рабочее время у меня не видать книг: я остерегся бы позволить кому-нибудь вблизи меня говорить или даже думать. А это и называю я читать... Заметили ли вы, что в том глубоко напряжении, на какое беременность обрекает дух и в сущности весь организм, всякая случайность, всякий род раздражения извне влияют слишком болезненно, “поражают” слишком глубоко? Надо по возможности устранить со своего пути случайность, внешнее раздражение; нечто вроде самозамуровывания принадлежит к первым мудрым инстинктам духовной беременности. Позволю ли я чужой мысли тайно перелезть через стену? - А это и называлось бы читать... За временем работы и ее плодов следует время отдыха: ко мне тогда, приятные, умные книги, которых я только что избегал! - Будут ли это немецкие книги?... Я должен отсчитать полгода назад, чтобы поймать себя с книгой в руке. Но что же это была за книга? - Прекрасное исследование Виктора Брошара, *les Sceptiques Grecs*, в котором хорошо использованы и мои *Laertiana*. Скептики - это единственный достойный уважения тип среди от двух- до пятимысленной семьи философов!.. Впрочем, я почти всегда нахожу убежище в одних и тех же книгах, в небольшом их числе, именно в доказанных для меня книгах. Мне, быть может, не свойственно читать много и многое: читальная комната делает меня больным. Мне не свойственно также много и многое любить. Осторожность, даже враждебность к новым книгам скорее принадлежит к моему инстинкту, чем “терпимость”, “*largeur du coeur*” и прочая “любовь к ближнему”... Я всегда возвращаюсь к небольшому числу старших французов: я верю только во французскую культуру и читаю недоразумением все, что кроме нее называется в Европе “культурой”, не говоря уже о немецкой культуре... Те немногие случаи высокой культуры, которые я встречал в Германии, были все французского происхождения, прежде всего госпожа Козима Вагнер, самый ценный голос в вопросах вкуса, какой я когда-либо слышал. - Что я не читаю Паскаля, но люблю как самую поучительную жертву христианства, которую медленно убивали сначала телесно, потом психологически, люблю как целую логику ужаснейшей формы нечеловеческой жестокости; что в моем духе, кто знает? должно быть, и в теле есть нечто от причудливости Монтеня; что мой артистический вкус не без злобы встает на защиту имен Мольера, Корнеля и Расина против дикого гения, как Шекспир, - все это в конце концов не исключает возможности, чтобы и самые молодые французы были для меня очаровательным обществом. Я отнюдь не вижу, в каком столетии истории можно было бы собрать столь интересных и вместе с тем столь деликатных психологов, как в ны-

нешнем Париже: называю наугад - ибо их число совсем не мало - господя Поль Бурже, Пьер Лоти, Жип, Мельяк, Анатолю Франс, Жюль Леметр или, чтобы назвать одного из сильной расы, истого латинянина, которому я особенно предан, - Ги де Мопассан. Я предпочитаю это поколение, между нами говоря, даже их великим учителям, которые все были испорчены немецкой философией (господин Тэн, например, Гегелем, которому он обязан непониманием великих людей и эпох). Куда бы ни простиралась Германия, она портит культуру. Впервые война "освободила" дух во Франции... Стендаль, одна из самых прекрасных случайностей моей жизни - ибо все, что в ней составляет эпоху, принес мне случай и никогда рекомендация, - совершенно неоченим с его предвосхищающим взглядом психолога, с его схватыванием фактов, которое напоминает о близости величайшего реалиста (*ex ungue Napoleoneum*); наконец, и это немалая заслуга, как честный атеист - редкая и почти с трудом отыскиваемая во Франции *species* - надо воздать должное Просперу Мериме... Может быть, я и сам завидую Стендалю? Он отнял у меня лучшую остроту атеиста, которую именно я мог бы сказать: "Единственное оправдание для Бога состоит в том, что он не существует"... Я и сам сказал где-то: что было до сих пор самым большим возражением против существования? Бог...

4

Высшее понятие о лирическом поэте дал мне Генрих Гейне. Тщетно ищу я во всех царствах тысячелетий столь сладкой и страстной музыки. Он обладал той божественной злобой, без которой я не могу мыслить совершенства, - я определяю ценность людей, народов по тому, насколько неотделим их бог от сатиры. - И как он владел немецким языком! Когда-нибудь скажут, что Гейне и я были лучшими артистами немецкого языка - в неизмеримом отдалении от всего, что сделали с ним просто немцы. - С Манфредом Байрона должны меня связывать глубокие родственные узы: я находил в себе все эти бездны - в тринадцать лет я был уже зрел для этого произведения. У меня нет слов, только взгляд для тех, кто осмеливается в присутствии Манфреда произнести слово "Фауст". Немцы неспособны к пониманию величия: доказательство - Шуман. Я сочинил намеренно, из злобы к этим слащавым саксонцам контрвертю к Манфреду, о которой Ганс фон Бюлов сказал, что ничего подобного он еще не видел на нотной бумаге: что это как бы насилие над Евтерпой. - Когда я ищу свою высшую формулу для Шекспира, я всегда нахожу только то, что он создал тип Цезаря. Подобных вещей не угадывают - это есть или этого нет. Великий поэт черпает только из своей реальности - до такой степени, что наконец он сам не выдерживает своего произведения... Когда я бросаю взгляд на своего Заратустру, я полчаса хожу по комнате взад и вперед, неспособный совладать с невыносимым приступом рыданий. - Я не знаю более разрывающего душу чтения, чем Шекспир: что должен выстрадать человек, чтобы почувствовать необходимость стать шутом! - Понимают ли Гамлета? Не сомнение, а несомненность есть то, что сводит с ума... Но для этого надо быть глубокоим, надо быть бездною, философом, чтобы так чувствовать... Мы все боимся истины... И я должен признаться в этом; я инстинктивно уверен в том, что лорд Бэкон есть родоначальник и саможиводер этого самого жуткого рода литературы, - что мне до жалкой болтовни американских плоских и тупых голов? Но сила к самой могучей реальности образа не только совместима с самой могучей силой к действию, к чудовищному действию, к преступлению - она даже предполагает ее. Мы знаем далеко не достаточно о лорде Бэконе, первом реалисте в великом значении слова, чтобы знать, что он делал, чего хотел, что пережил в себе... К черту, господя критики! Если предположить, что я окрестил Заратустру чужим именем, например именем Рихарда Вагнера, то не хватило бы остроумия двух тысячелетий на то, чтобы узнать в авторе "Человеческого, слишком человеческого" провидца Заратустры...

Здесь, где я говорю о том, что служило отдохновением в моей жизни, я должен сказать слово благодарности тому, на чем я отдыхал всего глубже и сердечнее. Этим было, несомненно, близкое общение с Рихардом Вагнером. Я не высоко ценю мои остальные отношения с людьми, но я ни за что не хотел бы вычеркнуть из своей жизни дни, проведенные в Трибшене, дни доверия, веселья, высоких случайностей - глубоких мгновений... Я не знаю, что другие переживали с Вагнером, - на нашем небе никогда не было облаков. - И здесь я еще раз возвращаюсь к Франции, - у меня нет доводов, у меня только презрительная усмешка против вагнерианцев и против *hos genus omne*, которые думают, что чтят Вагнера тем, что находят его похожим на самих себя... Таким, как я есть, чуждый в своих глубочайших инстинктах всему немецкому, так что уже близость немца замедляет мое пищеварение, - я вздохнул в первый раз в жизни при первом соприкосновении с Вагнером: я принимал, я почитал его как заграницу, как противоположность, как живой протест против всех "немецких добродетелей". - Мы, которые в болотном воздухе пятидесятых годов были детьми, мы необходимо являемся пессимистами для понятия "немецкое"; мы и не можем быть ничем иным, как революционерами, - мы не примиримся с положением вещей, где господствует лицемер. Мне совершенно безразлично, играет ли он теперь другими красками, облачен ли он в пурпур или одет в форму гусара... Ну что ж! Вагнер был революционером, он бежал от немцев... У артиста нет в Европе отечества, кроме Парижа; *delicatesse* всех пяти чувств в искусстве, которую предполагает искусство Вагнера, чутье *nuances*, психологическую болезненность - всё это находят только в Париже. Нигде нет этой страсти в вопросах формы, этой серьезности в *mise en scene* - это парижская серьезность *par excellence*. В Германии не имеют никакого понятия о чудовищном честолюбии, живущем в душе парижского артиста. Немец добродушен - Вагнер был отнюдь не добродушен... Но я уже достаточно высказался (в "По ту сторону добра и зла" II 724 сл.) [II 377 сл.], куда относится Вагнер, кто его ближние: это французская позднейшая романтика, те высоко парящие и стремящиеся ввысь артисты, как Делакруа, как Берлиоз, с неким *fond* болезни, неисцелимости в существе, сплошные фанатики выражения, насквозь виртуозы... Кто был первым интеллигентным приверженцем Вагнера вообще? Шарль Бодлер, тот самый, кто первый понял Делакруа, первый типический *decadent*, в ком опознано себя целое поколение артистов, - он был, возможно, и последним... Чего я никогда не прощал Вагнеру? Того, что он снизошел к немцам - что он сделался имперсконемецким... Куда бы ни проникала Германия, она портит культуру. -

Если взвесить все, то я не перенес бы своей юности без вагнеровской музыки. Ибо я был приголовен к немцам. Если хочешь освободиться от невыносимого гнета, нужен гашиш. Ну что ж, мне был нужен Вагнер. Вагнер есть противовоидие против всего немецкого *par excellence* - яда, я не оспариваю этого... С той минуты, как появился клавираусцуг Тристана - примите мой комплимент, господин фон Бюлов! - я был вагнерианцем. Более ранние произведения Вагнера я считал ниже себя - еще слишком вульгарными, слишком "немецкими"... Но и поныне я ищу, ищу тщетно во всех искусствах произведение, равного Тристану по его опасной обольстительности, по его грозной и сладкой бесконечности. Вся загадочность Леонардо да Винчи утрачивает свое очарование при первом звуке Тристана. Это произведение положительно *pop plus ultra* Вагнера; он отдышал от него на Мейстерзингерах и Кольце. Сделаться более здоровым - это шаг назад для натуры, каков Вагнер... Я считаю первостепенным счастьем, что я жил в нужное время и жил именно среди немцев, чтобы быть зрелым для этого произведения: так велико мое любопытство пси-

холога. Мир беден для того, кто никогда не был достаточно болен для этого “сладострастия ада”: здесь позволено, здесь почти приказано прибегнуть к мистической формуле. - Я думаю, я знаю лучше кого-либо другого то чудовищное, что доступно было Вагнеру, те пятьдесят миров чуждых восторгов, для которых ни у кого, кроме Вагнера, не было крыльев; и лишь такой, как я, бывает достаточно силен, чтобы самое загадочное, самое опасное обращать себе на пользу и через то становиться еще сильнее; я называю Вагнера великим благодетелем моей жизни. Нас сближает то, что мы глубоко страдали, страдали также один за другого, страдали больше, чем люди этого столетия могли бы страдать, и наши имена всегда будут соединяться вместе; и как Вагнер, несомненно, является только недоразумением среди немцев, так и я, несомненно, останусь им навсегда. - Прежде всего два века психологической и артистической дисциплины, господа германцы!.. Но этого нельзя наверстать. -

7

- Я скажу еще одно слово для самых изысканных ушей: чего я в сущности требую от музыки? Чтобы она была ясной и глубокой, как октябрьский день после полудня. Чтобы она была причудливой, шаловливой, нежной, как маленькая сладкая женщина, полная лукавства и грации... Я никогда не допущу, чтобы немец мог знать, что такое музыка. Те, кого называют немецкими музыкантами, прежде всего великими, были иностранцы, славяне, кроаты, итальянцы, нидерландцы - или евреи; в ином случае немцы сильной расы, вымершие немцы, как Генрих Шютц, Бах и Гендель. Я сам все еще достаточно поляк, чтобы за Шопена отдать всю остальную музыку: по трем причинам я исключаю Зигфрид-идиллию Вагнера, может быть, некоторые произведения Листа, который благородством оркестровки превосходит всех музыкантов; и в конце концов все, что создано по ту сторону Альп - по эту же сторону... Я не мог бы обойтись без Россини, еще меньше без моего Юга в музыке, без музыки моего венецианского maestro Pietro Gasti. И когда я говорю: по ту сторону Альп, я собственно говорю только о Венеции. Когда я ищу другого слова для музыки, я всегда нахожу только слово “Венеция”. Я не умею делать разницы между слезами и музыкой - я знаю счастье думать о Юге не иначе как с дрожью ужаса.

В юности, в светлую ночь
раз на мосту я стоял.
Издали слышалось пенье;
словно по влаге дрожащей
золота струи текли.
Гондолы, факелы, музыка -
В сумерках всё расплывалось...

Звуками теми втайне задеты,
струны души зазвенели,
и гондольеру запела,
дрогнув от яркого счастья, душа.
- Слышал ли кто ее песнь?

8

Во всем этом - в выборе пищи, места, климата, отдыха - повелевает инстинкт самосохранения, который самым несомненным образом проявляется как инстинкт самозащиты. Многого не видеть, не слышать, не допускать к себе - первое благоразумие, первое доказательство того, что

человек не есть случайность, а необходимость. Расхожее название этого инстинкта самозащиты есть вкус. Его императив повелевает не только говорить Нет там, где Да было бы “бескорыстием”, но и говорить Нет так редко, как только возможно. Надо отделять, устранять себя от всего, что делало бы это Нет все вновь и вновь необходимым. Разумность здесь заключается в том, что издержки на оборону, даже самые малые, обращаясь в правило, в привычку, обуславливают чрезвычайное и совершенно лишнее оскудение. Наши большие издержки суть самые частые малые издержки. Отстранение, недопущение приблизиться к себе есть издержка - пусть в этом не заблуждаются, - растроченная на отрицательные цели сила. От постоянной необходимости обороны можно ослабеть настолько, чтобы не иметь более возможности обороняться. - Предположим, я выхожу из своего дома и нахожу перед собою вместо спокойного аристократического Турина немецкий городишко: мой инстинкт должен был бы насторожиться, чтобы отстранить все, что хлынуло бы на него из этого плоского и трусливого мира. Или мне предстал бы немецкий большой город, этот застроенный порок, где ничего не произрастает, куда все, хорошее и дурное, втаскивается извне. Разве не пришлось бы мне обратиться в ежа? - Но иметь иглы есть мотовство, даже двойная роскошь, когда дана свобода иметь не иглы, а открытые руки...

Второе благоразумие и самозащита состоит в том, чтобы свести до возможного минимума реагирование и отстранять от себя положения и условия, где человек обречен как бы отрешиться от своей “свободы” и инициативы и обратиться в простой реагент. Я беру для сравнения общение с книгами. Ученый, который в сущности лишь “переворачивает” горы книг - средний филолог до 200 в день, - совершенно теряет в конце концов способность самостоятельно мыслить. Если он не переворачивает, он не мыслит. Он отвечает на раздражение (на прочтенную мысль), когда он мыслит, - он в конце концов только реагирует. Ученый отдает всю свою силу на утверждение и отрицание, на критику уже продуманного, - сам он не думает больше... Инстинкт самозащиты притупился в нем, иначе он оборонялся бы от книг. Ученый есть *decadent*. Это я видел своими глазами: одаренные, богатые и свободные натуры уже к тридцати годам “позорно начитанны”, они только спички, которые надо потереть, чтобы они дали искру - “мысль”. - Ранним утром, в начале дня, во всей свежести, на утренней заре своих сил читать книгу - это называю я порочным! -

9

В этом месте нельзя уклониться от истинного ответа на вопрос, как становятся сами собою. И этим я касаюсь главного пункта в искусстве самосохранения - эгоизма... Если допустить, что задача, определение, судьба задачи значительно превосходит среднюю меру, то нет большой опасности, как увидеть себя самого одновременно с этой задачей. Если люди слишком рано становятся сами собою, это предполагает, что они даже отдаленнейшим образом не подозревают, что они есть. С этой точки зрения имеют свой собственный смысл и ценность даже жизненные ошибки, временное блуждание и окольные пути, остановки, “скромности”, серьезность, растроченная на задачи, которые лежат по ту сторону собственной задачи. В этом находит выражение великая мудрость, даже высшая мудрость, где *nosce te ipsum* было бы рецептом для гибели, где забвение себя, непонимание себя, умаление себя, сужение, сведение себя на нечто среднее становится самим разумом. Выражаясь морально: любовь к ближнему, жизнь для других и другого может быть охранительной мерой для сохранения самой твердой любви к себе; это исключительный случай, когда я против своих правил и убеждений становлюсь на сторону “бескорыстных” инстинктов - они служат здесь эгоизму и воспитанию своего Я. Надо всю поверхность сознания - сознание есть поверхность - сохранить чистой от какого бы то ни было великого императива. Надо остерегаться даже всякого высокопарного слова, всякой высокопарной позы! Это сплошные опасности, препятствующие слишком раннему “самоуразумению” инстинкта. - Между тем в

глубине постепенно растёт организующая, призванная к господству "идея" - она начинает повелевать, она медленно выводит обратно с окольных путей и блужданий, она готовит отдельные качества и способности, которые проявятся когда-нибудь как необходимое средство для целого, - она вырабатывает поочередно все служебные способности еще до того, как предположит что-либо о доминирующей задаче, о "цели" и "смысле". - Если рассматривать мою жизнь с этой стороны, она представится положительно чудесной. Для задачи переоценки ценностей потребовалось бы, пожалуй, больше способностей, чем когда-либо соединялись в одном лице, прежде всего потребовалась бы противоположность способностей без того, чтобы они друг другу мешали, друг друга разрушали. Иерархия способностей, дистанция, искусство разделять, не создавая вражды; ничего не смешивать, ничего не "примирять"; огромное множество, которое, несмотря на это, есть противоположность хаоса, - таково было предварительное условие, долгая сокровенная работа и артистизм моего инстинкта. Его высший надзор проявлялся до такой степени сильно, что я ни в коем случае и не подозревал, что созревает во мне, - что все мои способности в один день распустились внезапно, зрелые в их последнем совершенстве. Я не помню, чтобы мне когда-нибудь пришлось стараться, - ни одной черты борьбы нельзя указать в моей жизни. Я составляю противоположность героической природы. Чего-нибудь "хотеть", к чему-нибудь "стремиться", иметь в виду "цель", "желание" - ничего этого я не знаю из опыта. И в данное мгновение я смотрю на своё будущее - широкое будущее! - как на гладкое море: ни одно желание не пенится в нём, я ничуть не хочу, чтобы что-либо стало иным, нежели оно есть; я сам не хочу стать иным... Но так жил я всегда. У меня не было ни одного желания. Едва ли кто другой на сорок пятом году жизни может сказать, что он никогда не заботился о почестях, о женщинах, о деньгах! - Не то, чтобы у меня их не было... Так, сделался я, например, однажды профессором университета - я даже отдалённым образом не помышлял об этом, потому что мне едва исполнилось 24 года. Так, двумя годами раньше сделался я однажды филологом: в том смысле, что моя первая филологическая работа, моё начало во всяком смысле, была принята моим учителем Ричлем для напечатания в его "Rheinisches Museum" (Ричль - я говорю это с уважением - единственный гениальный учёный, которого я до сих пор видел. Он обладал той милой испорченностью, которая отличает нас, тюрингенцев, и при которой даже немец становится симпатичным - даже к истине мы предпочитаем идти окольными путями. Я не хотел бы этими словами сказать, что я недоостаточно высоко ценю моего более близкого соотечественника, умного Леопольда фон Ранке...).

10

- Меня спросят, почему я собственно рассказал все эти маленьки и, по распространённому мнению, безразличные вещи; этим я вружу себе самому тем более, если я призван решать великие задачи. Ответ: эти маленьки вещи - питание, место, климат, отдых, вся казуистика себялюбия - неизмеримо важнее всего, что до сих пор почиталось важным. Именно здесь надо начать перечисляться. То, что человечество до сих пор серьёзно оценивало, были даже не реальности, а простые химеры, говоря строже, ложь, рождённая из дурных инстинктов больных, в самом глубоком смысле вредных натур - все эти понятия "Бог", "душа", "добродетель", "грех", "потусторонний мир", "истина", "вечная жизнь"... Но в них искали величия человеческой природы, её "божественность"... Все вопросы политики, общественного строя, воспитания извращены до основания тем, что самых вредных людей принимали за великих людей, - что учили презирать "маленькие" вещи, стало быть, основные условия самой жизни... Когда я сравниваю себя с людьми, которых до сих пор почитали как первых людей, разница становится осязательной. Я даже не отношу этих так называемых первых людей к людям вообще - для меня они отбросы человечества, выродки болезней и мстительных инстинктов: все они нездоровые, в отличие неизлечимые чудови-

ща, мстящие жизни... Я хочу быть их противоположностью: моё преимущество состоит в самом тонком понимании всех признаков здоровых инстинктов. Во мне нет ни одной болезненной черты; даже в пору тяжёлой болезни я не сделался болезненным; напрасно ищут в моём существовании черту фанатизма. Ни в одно мгновение моей жизни нельзя указать мне самонадеянного или патетического поведения. Пафос поэты не есть принадлежность величия; кому нужны вообще поэты, тот лжив... Берегитесь всех живописных людей! - Жизнь становилась для меня лёгкой, легче всего, когда она требовала от меня наиболее тяжёлого. Кто видел меня в те семьдесят дней этой осени, когда я, без перерыва, писал только вещи первого ранга, каких никто не создавал ни до, ни после меня, с ответственностью за все тысячелетия после меня, тот не заметил во мне следов напряжения; больше того, во мне была бьющая через край свежесть и бодрость. Никогда не ел я с более приятным чувством, никогда не спал я лучше. Я знаю только одно отношение к великим задачам - игру: как признак величия это есть существенное условие. Малейшее напряжение, более угрюмая мина, какой-нибудь жёсткий звук в горле, всё это будет возражением против человека и ещё больше против его творения!.. Нельзя иметь нервов... Страдать от безлюдья есть также возражение - я всегда страдал только от "многолюдья"... В абсурдно раннем возрасте, семи лет, я знал уже, что до меня не дойдёт ни одно человеческое слово, - видели ли, чтобы это когда-нибудь меня огорчило? - И нынче я также любезен со всеми, я даже полон внимания к самым низменным существам - во всём этом нет ни грана высокомерия, ни скрытого презрения. Кого я презираю, тот угадывает, что он мною презираем: я возмущаю одним своим существованием всё, что носит в теле дурную кровь... Моя формула для величия человека есть *amor fati*: не хотеть ничего другого ни впереди, ни позади, ни во веки вечные. Не только переносить необходимость, но и не скрывать её - всякий идеализм есть ложь перед необходимостью, - любить её...

ПОЧЕМУ Я ПИШУ ТАКИЕ ХОРОШИЕ КНИГИ

1

Я одно, мои сочинения другое. Здесь, раньше чем я буду говорить о них, следует коснуться вопроса о понимании и непонимании этих сочинений. Я говорю об этом со всей подобающей небрежностью, ибо это отнюдь не своевременный вопрос. Я и сам ещё не своевременен, иные люди рождаются посмертно. Когда-нибудь понадобятся учреждения, где будут жить и учить, как я понимаю жизнь и учение; будут, быть может, учреждены особые кафедры для толкования Заратустры. Но это совершенно противоречило бы мне, если бы я теперь уже ожидал ушей и рук для моих истин: что нынче не слышат, что нынче не умеют брать от меня - это не только понятно, но даже представляется мне справедливым. Я не хочу, чтобы меня смешивали с другими, - а для этого нужно, чтобы и я сам не смешивал себя с другими. - Повторяю ещё раз, в моей жизни почти отсутствуют следы "злой воли"; я едва ли мог бы рассказать хоть один случай литературной "злой воли". Зато слишком много чистого безумия!.. Мне кажется, что, если кто-нибудь берёт в руки мою книгу, он этим оказывает себе самую редкую честь, какую только можно себе оказать - я допускаю, что он снимает при этом обувь, не говоря уже о сапогах... Когда однажды доктор Генрих фон Штейн откровенно жаловался, что ни слова не понимает в моем Заратустре, я сказал ему, что это в порядке вещей: кто понял, т. е. пережил хотя бы шесть предложений из Заратустры, тот уже поднялся на более высокую ступень, чем та, которая доступна "современным" людям. Как мог бы я при этом чувстве дистанции хотя бы только желать, чтобы меня читали "современники", которых я знаю! Моё превосходство прямо обратное превосходству Шопенгауэра - я говорю: "*non legor, non legar*". - Не то, чтобы я низко ценил удовольствие, которое мне не раз доставляла невинность в отрицании моих сочинений. Ещё этим летом, когда я своей веской, слишком тяжеловесной литературой мог бы вывести из

равновесия всю остальную литературу, один профессор Берлинского университета дал мне благосклонно понять, что мне следует пользоваться другой формой: таких вещей никто не читает. - В конце концов не Германия, а Швейцария дала мне два таких примера. Статья доктора В. Видмана в "Bund" о "По ту сторону добра и зла" под заглавием "Опасная книга Ницше" и общий обзор моих сочинений, сделанный господином Карлом Шпиттелером в том же "Bund", были в моей жизни максимумом - остерегаюсь сказать чего... Последний трактовал, например, моего Заратустру как высшее упражнение стиля и желал, чтобы впредь я позаботился и о содержании; доктор Видман выражал свое уважение перед мужеством, с каким я стремлюсь к уничтожению всех пристойных чувств. - Благодаря шутке со стороны случая каждое предложение здесь с удивлявшей меня последовательностью было истиной, поставленной вверх ногами: в сущности, не оставалось ничего другого, как "переоценить все ценности", чтобы с замечательной точностью бить по самой головке гвоздя - вместо того чтобы гвоздем бить по моей голове... Тем не менее я попытаюсь дать объяснение. - В конце концов никто не может из вещей, в том числе и из книг, узнать больше, чем он уже знает. Если для какого-нибудь переживания нет доступа, для него нет уже и уха. Представим себе крайний случай: допустим, что книга говорит о переживаниях, которые лежат совершенно вне возможности частых или даже редких опытов - что она является первым словом для нового ряда опытов. В этом случае ничего нельзя уже и слышать, благодаря тому акустическому заблуждению, будто там, где ничего не слышно, ничего и нет... Это и есть мой средний опыт и, если угодно, оригинальность моего опыта. Кто думал, что он что-нибудь понимал у меня, тот делал из меня нечто подобное своему образу, нечто нередко противоположное мне, например "идеалиста"; кто ничего не понимал у меня, тот отрицал, что со мной можно и вообще считаться. - Слово "сверхчеловек" для обозначения типа самой высокой удачливости, в противоположность "современным" людям, "добрым" людям, христианам и прочим нигилистам - слово, которое в устах Заратустры, истребителя морали, вызывает множество толков, - почти всюду было понято с полной невинностью в смысле ценностей, противоположных тем, которые были представлены в образе Заратустры: я хочу сказать, как "идеалистический" тип высшей породы людей, как "полусвятой", как "полугений"... Другой ученый рога-тый скот заподозрил меня из-за него в дарвинизме: в нем находили даже столь зло отвергнутый мною "культ героев" Карлейля, этого крупного фальшивомонетчика знания и воли. Когда же я шептал на ухо, что скорее в нем можно видеть Чезаре Борджа, чем Парсифаля, то не верили своим ушам. - Надо простить мне, что я отношусь без всякого любопытства к отзывам о моих книгах, особенно в газетах. Мои друзья, мои издатели знают об этом и никогда не говорят мне ни о чем подобном. В одном только особом случае я увидел однажды воочию все грехи, совершенные в отношении к одной-единственной книге - дело касалось "По ту сторону добра и зла"; я многое мог бы рассказать об этом. Мыслимое ли дело, что "Nationalzeitung" - прусская газета, к сведению моих иностранных читателей, - сам я, с позволения, читаю только Journal des Debats - дошла совершенно серьезно до понимания этой книги как "знамения времени", как бравой правой юнкерской философии, которой недоставало лишь мужества "Kreuzzeitung"??.

2

Это было сказано для немцев: ибо всюду, кроме Германии, есть у меня читатели - сплошь изысканные, испытанные умы, характеры, воспитанные в высоких положениях и обязанностях; есть среди моих читателей даже действительные гении. В Вене, в Санкт-Петербурге, в Стокгольме, в Копенгагене, в Париже и Нью-Йорке - везде открыли меня: меня не открыли только в плоскомании Европы, в Германии... И я должен признаться, что меня больше радуют те, кто меня не читает, кто никогда не слышал ни моего имени, ни слова "философия"; но куда бы я ни пришел, например, здесь, в Турине, лицо каждого при взгляде на меня проясняется и добреет. Что мне до

сих пор особенно льстило, так это то, что старые торговки не успокаиваются, пока не выберут для меня самый сладкий из их винограда. Надо быть до такой степени философом... Недаром поляков зовут французами среди славян. Очаровательная русская женщина ни на одну минуту не ошибется в моем происхождении. Мне не удастся стать торжественным, самое большое - я прихожу в смущение... По-немецки думать, по-немецки чувствовать - я могу всё, но это свыше моих сил... Мой старый учитель Ричль утверждал даже, что свои филологические исследования я конципирую, как парижский *romancier* - абсурдно увлекательно. Даже в Париже изумлялись по поводу "toutes mes audaces et finesse" - выражение господина Тэна; я боюсь, что вплоть до высших форм дифирамба можно найти у меня примесь той соли, которая никогда не бывает глупой - "немецкой": *esprit*... Я не могу иначе. Помогите мне, Боже! Аминь. - Мы знаем все, некоторые даже из опыта, что такое длинноухое животное. Ну что ж, я смею утверждать, что у меня самые маленькие уши. Это немало интересует бабенок - мне кажется, они чувствуют, что я их лучше понимаю?... Я *Antiochæ* *rag excellens*, и благодаря этому я всемирно-историческое чудовище, - по-гречески, и не только по-гречески, я Антихрист...

3

Я несколько знаю свои преимущества, как писателя; отдельные случаи доказали мне, как сильно "портит" вкус привычка к моим сочинениям. Просто не переносишь других книг, особенно философских. Это несравненное отличие - войти в столь благородный и утонченный мир: для этого отнюдь не обязательно быть немцем; в конце концов это отличие, которое надо заслужить. Но кто приближается ко мне высотой хотения, тот переживает при этом истинные экстазы познания: ибо я прихожу с высот, которых не достигала ни одна птица, я знаю бездны, куда не ступала ни одна нога. Мне говорили, что нельзя оторваться ни от одной из моих книг, - я нарушаю даже ночной покой... Нет более гордых и вместе с тем более рафинированных книг: они достигают порою наивысшего, что достижимо на земле, - цинизма; для завоевания их нужны как самые нежные пальцы, так и самые храбрые кулаки. Всякая дряхлость души, даже всякое расстройство желудка устранены из них раз и навсегда: никаких нервов, только веселое брюхо. Не только бедность и затхлый запах души устранены из них, но в еще большей степени все трусливое, нечистоплотное, скрытное и мстительное в наших внутренностях: одно мое слово гонит наружу все дурные инстинкты. Среди моих знакомых есть множество подопытных животных, на которых я изучаю различную, весьма поучительно различную реакцию на мои сочинения. Кто и знать ничего не хочет об их содержании, например мои так называемые друзья, тот становится при этом "безличным": меня поздравляют с тем, что я снова зашел "так далеко", - говорят также об успехе в смысле большей ясности тона... Совершенно порочные "умы", "прекрасные души", изолгавшиеся дотла, совсем не знают, что им делать с этими книгами, - следовательно, они считают их ниже себя, прекрасная последовательность всех "прекрасных душ". Рогатый скот среди моих знакомых, немцы, с вашего позволения, дают понять, что не всегда разделяют моего мнения, но все же иногда... Это я слышал даже о Заратустре... Точно так же всякий "феминизм" в человеке, даже в мужчине, является для меня закрытыми воротами: никогда не войдет он в этот лабиринт дерзновенных познаний. Никогда не надо щадить себя, жесткость должна стать привычкой, чтобы среди сплошных жестких истин быть веселым и бодрым. Когда я рисую себе образ совершенного читателя, он всегда представляется мне чудовищем смелости и любопытства, кроме того, еще чем-то гибким, хитрым, осторожным, природным искателем приключений и открывателем. В конце концов я не мог бы сказать лучше Заратустры - к нему одному в сущности я и обращаюсь: кому захочет он рассказать свою загадку?

Вам, смелым искателям, испытателям и всем, кто когда-либо плывал под коварными парусами по страшным морям, -

вам, опытным загадками, любителям сумерек, чья душа привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине:

- ибо вы не хотите нащупывать нить трусливой рукой и, где можете вы угадать, там ненавидите вы делать выводы...

4

Вместе с тем я делаю ещё общее замечание о моём искусстве стиля. Поделиться состоянием, внутренней напряжённостью пафоса путём знаков, включая сюда и темп этих знаков, - в этом состоит смысл всякого стиля; и, ввиду того что множество внутренних состояний является мой исключительностью, у меня есть много возможностей для стиля - самое многообразное искусство стиля вообще, каким когда-либо наделён был человек. Хорош всякий стиль, который действительно передаёт внутреннее состояние, который не ошибается в знаках, в темпе знаков, в жестах - все законы периода суть искусство жеста. Мой инстинкт бывает здесь безошибочен. - Хороший стиль сам по себе - чистое безумие, сплошной "идеализм": всё равно что "прекрасное само по себе" или "доброе само по себе" или "вещь сама по себе"... При том непренном условии, что есть уши - уши, способные на подобный пафос и достойные его, - что нет недостатка в тех, с кем позволительно делиться. - Мой Заратустра, например, ещё ищет их - ах! он будет ещё долго искать их! - Нужно быть достойным того, чтобы испытывать его... А до тех пор не будет никого, кто бы понял искусство, здесь расточенное: никогда и никто не расточал ещё столько новых, неслыханных, поистине впервые здесь созданных средств искусства. Что нечто подобное было возможно именно на немецком языке - это ещё нужно было доказать: я и сам раньше решительно отрицал бы это. До меня не знали, что можно сделать из немецкого языка, что можно сделать из языка вообще. Искусство великого ритма, великий стиль периодичности для выражения огромного восхождения и нисхождения высокой, сверхчеловеческой страсти, был впервые открыт мною; дифирамбом "Семь печатей", которым завершается третья, последняя часть Заратустры, я поднялся на тысячу миль надо всем, что когда-либо называлось поэзией.

5

- Что в моих сочинениях говорит не знающий себе равных психолог, это, быть может, есть первое убеждение, к которому приходит хороший читатель - читатель, которого я заслуживаю, который читает меня так, как добрые старые филологи читали своего Горация. Положения, в отношении которых был в сущности согласен весь мир - не говоря уже о всемирных философах, моралистах и о прочих пустых горшках и кочанах, - у меня являются как наивности заблуждения: такова, например, вера в то, что "эгоистическое" и "неэгоистическое" суть противоположности, тогда как само его есть только "высшее мошенничество", "идеал"... Нет ни эгоистических, ни неэгоистических поступков: оба понятия суть психологическая бессмыслица. Или положение: "человек стремится к счастью"... Или положение: "счастье есть награда добродетели"... Или положение: "радость и страдание противоположны". Цирцея человечества, мораль, извратила - обморалила - все *psychologica* до глубочайших основ, до той ужасной бессмыслицы, будто любовь есть нечто "неэгоистическое"... Надо крепко сидеть на себе, надо смело стоять на обеих своих ногах, иначе совсем нельзя любить. Это в конце концов слишком хорошо знают бабёнки: они ни черта не беспокоятся о бескорыстных, просто объективных мужчинах... Могу ли я при этом высказать предпо-

ложение, что я знаю бабёнок? Это принадлежит к моему дионисическому приданому. Кто знает? может, я первый психолог Вечно-Женственного. Они все любят меня - это старая история - не считая неудачных бабёнок, "эмансипированных", лишённых способности деторождения. - К счастью, я не намерен отдать себя на растерзание: совершенная женщина терзает, когда она любит... Знаю я этих прелестных ваханок... О, что это за опасное, скользкое, подземное маленькое хищное животное! И столь сладкое при этом!.. Маленькая женщина, ищущая мщениа, способна опрокинуть даже судьбу. - Женщина несравненно злее мужчины и умнее его; доброта в женщине есть уже форма вырождения... Все так называемые "прекрасные души" страдают в своей основе каким-нибудь физиологическим недостатком, - я говорю, не все, иначе я стал бы меди-циником. Борьба за равные права есть даже симптом болезни: всякий врач знает это. - Женщина, чем больше она женщина, обороняется руками и ногами от прав вообще: ведь естественное состояние, вечная война полов, отводит ей первое место. Есть ли уши для моего определения любви? оно является единственным достойным философа. Любовь - в своих средствах война, в своей основе смертельная ненависть полов. - Слышали ли вы мой ответ на вопрос, как излечивают женщину - "освобождают" её? Ей делают ребёнка. Женщине нужен ребёнок, мужчина всегда лишь средство: так говорил Заратустра. - "Эмансипация женщины" - это инстинктивная ненависть неудачной, т. е. не приспособленной к деторождению, женщины к женщине удачной - борьба с "мужчиной" есть только средство, предлог, тактика. Они хотят, возвышая себя как "женщину в себе", как "высшую женщину", как "идеалистку", понизить общий уровень женщины; нет для этого более верного средства, как гимназическое воспитание, штаны и политические права голосующего скота. В сущности, эмансипированные женщины суть анархистки в мире "Вечно-Женственного", неудачницы, у которых скрытым инстинктом является мщение... Целое поколение хитрого "идеализма" - который, впрочем, встречается и у мужчин, например у Генрика Ибсена, этой типичной старой девы, - преследует целью отравление чистой совести, природы в половой любви... И для того, чтобы не оставалось никакого сомнения в моём столь же честном, сколь суровом взгляде на этот вопрос, я приведу ещё одно положение из своего морального кодекса против порока: под словом "порок" я борюсь со всякого рода противоестественностью или, если любят красивые слова, с идеализмом. Это положение означает: "проповедь целомудрия есть публичное подстрекательство к противоестественности. Всякое презрение половой жизни, всякое осквернение её понятием "нечистого" есть преступление перед жизнью, - есть истинный грех против святого духа жизни". -

6

Чтобы дать понятие о себе как психологе, привожу любопытную страницу психологии из "По ту сторону добра и зла" - я воспеваю, впрочем, какие-либо предположения относительно того, кого я описываю в этом месте. "Гений сердца, свойственный тому великому Таинственному, тому богу-искусителю и прирожденному крысолову совестей, чей голос способен проникать в самую преисподнюю каждой души, кто не скажет слова, не бросит взгляда без скрытого намерения соблазнить, кто обладает мастерским умением казаться - и не тем, что он есть, а тем, что может побудить его последователей все более и более приближаться к нему, проникаться все более и более глубоким и сильным влечением следовать за ним, - гений сердца, который заставляет все громкое и самодовольное молчать и прислушиваться, который полирует шероховатые души, давая им отведать нового желания - быть неподвижными как зеркало, чтобы в них отражалось глубокое небо, - гений сердца, который научает неловкую и слишком торопливую руку брать медленнее и нежнее; который угадывает скрытое и забытое сокровище, каплю благодати и сладостной гениальности под темным толстым льдом, и является волшебным жезлом для каждой крупички золота, издавая погребенной в своей темнице под илом и песком; гений сердца, после соприкосновения с ко-

торым каждый уходит от него богаче, но не осыпанный милостями и пораженный неожиданностью, не несчастливенный и подавленный чужими благами, а богаче самим собою, новее для самого себя, чем прежде, раскрывшийся, обвеянный теплым ветром, который подслушал все его тайны, менее уверенный, быть может, более нежный, хрупкий, надломленный, но полный надежд, который еще нет названья, полный новых желаний и стремлений с их приливами и отливами...”

РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ

1

Чтобы быть справедливым к “Рождению трагедии” (1872), надо забыть о некоторых вещах. Эта книга влияла и даже очаровывала тем, что было в ней неудачного, - своим применением к вагнерщине, как если бы последняя была симптомом восхождения. Именно поэтому это сочинение было событием в жизни Вагнера: лишь с тех пор стали связывать с именем Вагнера большие надежды. Еще и теперь напоминают мне иногда при представлении Парсифаля, что собственно на моей совести лежит происхождение столь высокого мнения о культурной ценности этого движения. - Я неоднократно встречал цитирование книги как “Возрождения трагедии из духа музыки”: были уши только для новой формулы искусства, цели, задачи Вагнера - сверх этого не услышали всего, что эта книга скрывала в основе своей ценного. “Эллинизм и пессимизм”: это было бы более недвусмысленным заглавием - именно, как первый урок того, каким образом греки отделялись от пессимизма, - чем они преодолевали его... Трагедия и есть доказательство, что греки не были пессимистами. Шопенгауэр ошибся здесь, как он ошибался во всем. - Взятое в руки с некоторой нейтральностью, “Рождение трагедии” выглядит весьма несвоевременным: и во сне нельзя было бы представить, что оно начато под гром битвы при Верте. Я продумал эту проблему под стенами Метца в холодные сентябрьские ночи, среди обязанностей санитарной службы; скорее можно было бы вообразить, что это сочинение старше пятьдесятю годами. Оно политически индифферентно - “не по-немецки”, скажут теперь, - от него разит неприлично гегелевским духом, оно только в нескольких формулах отдает трупным запахом Шопенгауэра. “Идея” - противоположность дионисического и аполлонического - перемещенная в метафизику; сама история, как развитие этой идеи; упраздненная в трагедии противоположность единству, - при подобной оптике все эти вещи, еще никогда не смотревшие друг другу в лицо, теперь были внезапно противопоставлены одна другой, одна через другую освещены и поняты... Например, опера и революция... Два решительных новшества книги составляют, во-первых, толкование дионисического феномена у греков - оно дает его первую психологию и видит в нем единый корень всего греческого искусства. - Во-вторых, толкование сократизма: Сократ, узанный впервые как орудие греческого разложения, как типичный *decadent*. “Разумность” против инстинкта. “Разумность” любой ценой, как опасная, подрывающая жизнь сила! Глубокое враждебное умолчание христианства на протяжении всей книги. Оно ни аполлонично, ни дионисично; оно отрицает все эстетические ценности - единственные ценности, которые признает “Рождение трагедии”: оно в глубочайшем смысле нигилистично, тогда как в дионисическом символе достигнут самый крайний предел утверждения. В то же время здесь есть намек на христианских священников как на “коварный род карликов”, “подпольщиков”...

2

Это начало замечательно сверх всякой меры. Для своего наиболее сокровенного опыта я открыл единственное иносказание и подобие, которым обладает история, - именно этим я первый

постиг чудесный феномен дионисического. Точно так же фактом признания decadent в Сократе дано было вполне недвусмысленное доказательство того, сколь мало угрожает уверенности моей психологической хватки опасность со стороны какой-нибудь моральной идиосинкразии, - сама мораль, как симптом декаданса, есть новшество, есть единственная и первостепенная вещь в истории познания. Как высоко поднялся я в этом отношении над жалкой, плоской болтовней на тему: оптимизм contra пессимизм! - Я впервые узрел истинную противоположность - вырождающийся инстинкт, обращённый с подземной мстительностью против жизни (христианство, философия Шопенгауэра, в известном смысле уже философия Платона, весь идеализм, как его типичные формы), и рождённая из избытка, из преизбытка формула высшего утверждения, утверждения без ограничений, утверждения даже к страданию, даже к вине, даже ко всему загадочному и странному в существовании... Это последнее, самое радостное, самое чрезмерное и надменное утверждение жизни есть не только самое высокое убеждение, оно также и самое глубокое, наиболее строго утверждённое и подтверждённое истиной и наукой. Ничто существующее не должно быть устранено, нет ничего лишнего - отвергаемые христианами и прочими нигилистами стороны существования занимают в иерархии ценностей даже бесконечно более высокое место, чем то, что мог бы одобрить, назвать хорошим инстинкт decadence. Чтобы постичь это, нужно мужество и, как его условие, избыток силы: ибо, насколько мужество может отважиться на движение вперёд, настолько по этой мерке силы приближаемся и мы к истине. Познание, утверждение реальности для сильного есть такая же необходимость, как для слабого, под давлением слабости, трусость и бегство от реальности - "идеал"... Слабые не вольны познавать: decadents нуждаются во лжи - она составляет одно из условий их существования. - Кто не только понимает слово "дионисическое", но понимает и себя в этом слове, тому не нужны опровержения Платона, или христианства, или Шопенгауэра, - он обоняет разложение...

3

В какой мере я нашёл понятие "трагического", конечное познание того, что такое психология трагедии, это выражено мною ещё в Сумерках идолов (II 1032) [II 636]: "Подтверждение жизни даже в самых непостижимых и суровых её проблемах; воля к жизни, ликующая в жертве своими высшими типами собственной неисчерпаемости, - вот что назвал я дионисическим, вот в чём угадал я мост к психологии трагического поэта. Не для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы, очиститься от опасного аффекта бурным его разряжением - так понимал это Аристотель, - а для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, быть самому вечной радостью становления, - той радостью, которая заключает в себе также и радость уничтожения..." В этом смысле я имею право понимать самого себя как первого трагического философа - стало быть, как самую крайнюю противоположность и антипода всякого пессимистического философа. До меня не существовало этого превращения дионисического состояния в философский пафос: недоставало трагической мудрости - тщетно искал я её признаков даже у великих греческих философов за два века до Сократа. Сомнение оставил во мне Гераклит, вблизи которого я чувствую себя вообще теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте. Подтверждение исчезновения и уничтожения, отличное для дионисической философии, подтверждение противоположности и войны, становление, при радикальном устранении самого понятия "бытие" - в этом я должен признать при всех обстоятельствах самое близкое мне из всего, что до сих пор было помыслено. Учение о "вечном возвращении", стало быть, о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, - это учение Заратустры могло бы однажды уже существовать у Гераклита. Следы его есть по крайней мере у стоиков, которые унаследовали от Гераклита почти все свои основные представления. -

Из этого сочинения говорит чудовищная надежда. В конце концов у меня нет никакого основания отказываться от надежды на дионисическое будущее музыки. Бросим взгляд на столетие вперёд, предположим случай, что моё покушение на два тысячелетия противоестественности и человеческого позора будет иметь успех. Та новая партия жизни, которая возьмёт в свои руки величайшую из всех задач, более высокое воспитание человечества, и в том числе беспощадное уничтожение всего вырождающегося и паразитического, сделает возможным на земле преизбыток жизни, из которого должно снова вырасти дионисическое состояние. Я обещаю трагический век: высшее искусство в утверждении жизни, трагедия, возродится, когда человечество, без страдания, оставит позади себя сознание о самых жестоких, но и самых необходимых войнах... Психолог мог бы еще добавить, что то, что я слышал в юные годы в вагнеровской музыке, не имеет вообще ничего общего с Вагнером; что когда я описывал дионисическую музыку, я описывал то, что я слышал, - что я инстинктивно должен был перенести и переволплотить в тот новый дух, который я носил в себе. Доказательство тому - настолько сильное, насколько доказательство может быть сильным, - есть мое сочинение "Вагнер в Байрейте": во всех психологически-решающих местах речь идет только обо мне - можно без всяких предосторожностей поставить мое имя или слово "Заратустра" там, где текст дает слово: Вагнер. Весь образ дифирамбического художника есть образ предсуществующего поэта Заратустры, зарисованный с величайшей глубиной, - без малейшего касания вагнеровской реальности. У самого Вагнера было об этом понятие; он не признал себя в моем сочинении. - Равным образом "идея Байрейта" превратилась в нечто такое, что не окажется загадочным понятием для знатоков моего Заратустры: в тот великий полдень, когда наиболее избранные посвящают себя величайшей из всех задач, - кто знает? призрак праздника, который я еще переживу... Пафос первых страниц есть всемирно-исторический пафос; взгляд, о котором идет речь на седьмой странице, есть доподлинный взгляд Заратустры; Вагнер, Байрейт, все маленькое немецкое убожество суть облако, в котором отражается бесконечная фатаморгана будущего. Даже психологически все отличительные черты моей собственной природы перенесены на натуру Вагнера - совместность самых светлых и самых роковых сил, воля к власти, какой никогда еще не обладал человек, безоглядная смелость в сфере духа, неограниченная сила к изучению, без того чтобы ею подавлялась воля к действию. Всё в этом сочинении возведено наперед: близость возвращения греческого духа, необходимость анти-Александров, которые снова завяжут однажды разрубленный гордиев узел греческой культуры... Пусть вслушайтесь во всемирно-исторические слова, которые вводят (I 34 сл.) понятие "трагического чувства": в этом сочинении есть только всемирно-исторические слова. Это самая странная "объективность", какая только может существовать: абсолютная уверенность в том, что я собою представляю, процедиравалась на любую случайную реальность, - истина обо мне говорила из полной страха глубины. На стр. 55 описан и предвосхищен с поразительной надежностью стиль Заратустры; и никогда не найдут более великолепного выражения для события Заратустра, для этого акта чудовищного очищения и освящения человечества, чем на стр. 41-44.

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ

1

Четыре Несвоевременных являются исключительно воинственными. Они доказывают, что я не был "Гансом-мечтателем", что мне доставляет удовольствие владеть шпагой, - может быть, также и то, что у меня рискованно ловкое запястье. Первое нападение (1873) было на немецкую

культуру, на которую я уже тогда смотрел сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели: сплошное “общественное мнение”. Нет более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этой культуры или даже в пользу ее победы над Францией... Второе Несвоевременное (1874) освещает все опасное, все подтачивающее и отравляющее жизнь в наших приемах научной работы: жизнь, больную от этой обезличенной шестеренки и механизма, от “безличности” работника, от ложной экономии “разделения труда”. Утрачивается цель - культура: средства - современные научные приемы - низводятся на уровень варварства... В этом исследовании впервые признается болезнью, типическим признаком упадка “историческое чувство”, которым гордится этот век. - В третьем и четвертом Несвоевременном, как указание к высшему пониманию культуры и к восстановлению понятия “культура”, выставлены два образа суровейшего эгоизма и самодисциплины, несвоевременные типы *par excellence*, полные суверенного презрения ко всему, что вокруг них называлось “Империей”, “образованием”, “христианством”, “Бисмарком”, “успехом”, - Шопенгауэр и Вагнер, или, одним словом, Ницше...

2

Из этих четырех покушений первое имело исключительный успех. Шум, им вызванный, был во всех отношениях великолепен. Я коснулся уязвимого места победоносной нации - что ее победа не культурное событие, а возможно, возможно, нечто совсем другое... Ответы приходили со всех сторон, и отнюдь не только от старых друзей Давида Штрауса, которого я сделал посмешищем как тип филистера немецкой культуры и *satisfait*, короче, как автора его распливочного евангелия о “старой и новой вере” (- слово “филистер культуры” перешло из моей книги в разговорную речь). Эти старые друзья, вюртембергцы и швабы, глубоко уязвленные тем, что я нашел смешным их чудо, их Штрауса, отвечали мне так честно и грубо, как только мог я желать; прусские возражения были умнее - в них было больше “берлинской хмели”. Самое неприличное выкинул один лейпцигский листок, обесславленные “Grenzboten”; мне стоило больших усилий удержать возмущенных базельцев от решительных шагов. Безусловно высказались за меня лишь несколько старых господ, по различным и отчасти необъяснимым основаниям. Между ними был Эвальд из Гёттингена, давший понять, что мое нападение оказалось смертельным для Штрауса. Точно так же высказался старый гегельянец Бруно Бауэр, в котором я имел с тех пор одного из самых внимательных моих читателей. Он любил, в последние годы своей жизни, ссылаться на меня, чтобы намекнуть, например, прусскому историографу господину фон Трейчке, у кого именно мог бы он получить сведения об утраченном им понятии “культура”. Самое глубокомысленное и самое обстоятельное о моей книге и ее авторе было высказано старым учеником философа Баадера, профессором Гофманом из Вюрцбурга. По моему сочинению он предвидел для меня великое назначение - вызвать род кризиса и дать наилучшее разрешение проблемы атеизма; он угадывал во мне самый инстинктивный и самый беспощадный тип атеиста. Атеизм был тем, что привело меня к Шопенгауэру. - Лучшее всего была выслушана и с наибольшей горечью воспринята чрезвычайно сильная и смелая защитительная речь обыкновенно столь мягкого Карла Гиллебранда, этого последнего немецкого гуманиста, умевшего владеть пером. Раньше его статью читали в “Augsburger Zeitung”, а теперь ее можно прочесть, в несколько более осторожной форме, в собрании его сочинений. Здесь моя книга представлена как событие, как поворотный пункт, как первое самосознание, как лучшее знамение, как действительное возвращение немецкой серьезности и немецкой страсти в вопросах духа. Гиллебранд был полон высоких похвал форме сочинения, его зрелому вкусу, его совершенному такту в различении личности и вещи: он отмечал его как лучшее полемическое сочинение, написанное по-немецки - именно в столь опасном для нем-

цев искусстве, как полемика, которое не следует им рекомендовать. Безусловно утверждая, даже обостряя то, что я осмелился сказать о порче языка в Германии (теперь они разыгрывают пуристов и не могут уже составить предложения), высказывая такое же презрение к “первым писателям” этой нации, он кончил выражением своего удивления моему мужеству, тому “высшему мужеству, которое приводит любимцев народа на скамью подсудимых”... Последующее влияние этого сочинения совершенно неосцимо в моей жизни. Никто с тех пор не спорил со мною. Теперь все молчат обо мне, со мною обходятся в Германии с угрюмой осторожностью: в течение целых лет я пользовался безусловной свободой слова, для которой ни у кого, меньше всего в “Империи”, нет достаточно свободной руки. Мой рай покоится “под сенью моего меча”... В сущности я применил правило Стендаля: он советует озаглавить свое вступление в общество дуэлью. И какого я выбрал себе противника! первого немецкого вольнодумца!.. На деле этим был впервые выражен совсем новый род свободомыслия; до сих пор нет для меня ничего более чуждого и менее родственного, чем вся европейская и американская species “libres penseurs”. С ними, как с неисправимыми тупицами и шутами “современных идей”, нахожусь я даже в более глубоком разногласии, чем с кем-либо из их противников. Они тоже хотят по-своему “улучшить” человечество, по собственному образцу; они вели бы непримиримую войну против всего, в чем выражается мое Я, чего я хочу, если предположить, что они это поняли бы, - они еще верят совокупно в “идеал”... Я первый имморалист. -

3

Я не хотел бы утверждать, что отмеченные именами Шопенгауэра и Вагнера Несвоевременные могут особенно служить к уяснению или хотя бы только к психологической постановке вопроса об обоих случаях - исключая, по справедливости, частности. Так, например, с глубокой уверенностью-инстинктом здесь обозначен главный элемент в натуре Вагнера, дарование актера, извлекающее из своих средств и намерений свои собственные следствия. В сущности, вовсе не психологией хотел я заниматься в этих сочинениях: не сравнимая ни с чем проблема воспитания, новое понятие самодисциплины, самозащиты до жестокости, путь к величию и всемирно-историческим задачам еще требовали своего первого выражения. В общем я притянул за волосы два знаменитых и еще вовсе не установленных типа, как притягивают за волосы всякую случайность, дабы выразить нечто, дабы располагать несколькими лишними формулами, знаками и средствами выражения. Это отмечено напоследок с особой тревожной прозорливостью на стр. 350 третьего Несвоевременного. Так Платон пользовался Сократом, как семиотикой для Платона. - Теперь, когда из некоторого отдаления я оглядываюсь на те состояния, свидетельством которых являются эти сочинения, я не стану отрицать, что в сущности они говорят исключительно обо мне. Сочинение “Вагнер в Байрейте” есть видение моего будущего; напротив, в “Шопенгауэре как воспитателе” вписана моя внутренняя история, мое становление. Прежде всего мой обет!.. То, чем являюсь я теперь, то, где нахожусь я теперь, - на высоте, где я говорю уже не словами, а молниями, - о, как далек я был тогда еще от этого! - Но я видел землю - я ни на одно мгновение не обманулся в пути, в море, в опасности - и успехе! Этот великий покой в обещании, этот счастливый взгляд в будущее, которое не должно остаться только обещанием! - Здесь каждое слово пережито, глубоко, интимно; нет недостатка в самом болезненном чувстве, есть слова прямо кровоточащие. Но ветер великой свободы проносится надо всем; сама рана не действует как возражение. - О том, как понимаю я философа - как страшное взрывчатое вещество, перед которым все пребывает в опасности, - как отделяю я свое понятие философа на целые мили от такого понятия о нем, которое включает в себя даже какого-нибудь Канта, не говоря уже об академических “жвачных животных” и прочих профессорах философии: на этот счет дает мое сочинение бесценный урок, да-

же если, в сущности, речь здесь идет не о “Шопенгауэре как воспитателе”, а о его противоположности - “Ницше как воспитателе”. - Если принять во внимание, что моим ремеслом было тогда ремесло ученого и что я, пожалуй, хорошо понимал свое ремесло, то представится не лишенный значения суровый образец психологии ученого, внезапно выдвинутый в этом сочинении: он выражает чувство дистанции, глубокую уверенность в том, что может быть у меня задачей, что только средством, отдыхом и побочным делом. Моя мудрость выражается в том, чтобы быть многим и многосущим для умения стать единым - для умения прийти к единому. Я должен был еще некоторое время оставаться ученым.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

С двумя продолжениями

1

“Человеческое, слишком человеческое” есть памятник кризиса. Оно называется книгой для свободных умов: почти каждая фраза в нём выражает победу - с этой книгой я освободился от всего не присущего моей натуре. Не присущ мне идеализм - заглавие говорит: “где вы видите идеальные вещи, там вижу я - человеческое, ах, только слишком человеческое!..” Я лучше знаю человека... Ни в каком ином смысле не должно быть понято здесь слово “свободный ум”: освободившийся ум, который снова овладел самим собою. Тон, тембр голоса совершенно изменился: книгу найдут умной, холодной, при случае даже жестокой и насмешливой. Кажется, будто известная духовность аристократического вкуса постоянно одерживает верх над страстным стремлением, скрывающимся на дне. В этом сочетании есть тот смысл, что именно столетие со дня смерти Вольтера как бы извиняет издание книги в 1878 году. Ибо Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть прежде всего *grandseigneur* духа: так же, как и я. - Имя Вольтера на моем сочинении - это был действительно шаг вперед - ко мне... Если присмотреться ближе, то здесь откроется безжалостный дух, знающий все закоулки, где идеал чувствует себя дома, где находятся его подземелья и его последнее убежище. С факелом в руках, дающим отнюдь не “дрожащий от факела” свет, освещается с режущей яркостью этот подземный мир идеала. Это война, но война без пороха и дыма, без воинственных поз, без пафоса и вывихнутых членов - перечисленное было бы еще “идеализмом”. Одно заблуждение за другим выносятся на лед, идеал не опровергается - он замерзает... Здесь, например, замерзает “гений”; немного дальше замерзает “святой”; под толстым слоем льда замерзает “герой”; в конце замерзает “вера”, так называемое “убеждение”, даже “сострадание” значительно остывает - почти всюду замерзает “вещь в себе”...

2

Возникновение этой книги относится к неделям первых байрейских фестпийлей; глубокая отчужденность от всего, что меня там окружало, есть одно из условий ее возникновения. Кто имеет понятие о том, какие видения уже тогда пробежали по моему пути, может угадать, что творилось в моей душе, когда я однажды проснулся в Байрейте. Совсем как если бы я грезил... Где же я был? Я ничего не узнавал, я едва узнавал Вагнера. Тщетно перебирал я свои воспоминания. Трибшен - далекий остров блаженных: нет ни тени сходства. Несравненные дни закладки, маленькая группа людей, которые были на своем месте и праздновали эту закладку и вовсе не нуждались в пальцах для нежных вещей: нет ни тени сходства. Что случилось? - Вагнера перевели на немецкий язык! Вагнерианец стал господином над Вагнером! Немецкое искусство! немецкий ма-

эстро! немецкое пиво!.. Мы, знающие слишком хорошо, к каким утонченным артистам, к какому космополитизму вкуса обращается искусство Вагнера, мы были вне себя, найдя Вагнера увешанным немецкими “доброделателями”. - Я думаю, что знаю вагнерианца, я “пережил” три поколения, от покойного Бренделя, путавшего Вагнера с Гегелем, до “идеалистов” Байрейтских листов, путавших Вагнера с собою, - я слышал всякого рода исповеди “прекрасных душ” о Вагнере. Полцарства за одно осмысленное слово! Поистине, общество, от которого волосы встают дыбом! Ноль, Поль, Коль - грациозные *in infinitum*! Ни в каком ублюдке здесь нет недостатка, даже в антисемите. - Бедный Вагнер! Куда он попал! - Если бы он попал еще к свиньям! А то к немцам!.. В конце концов следовало бы, в назидание потомству, сделать чучело истинного байрейтца или, еще лучше, посадить его в спирт, ибо именно спиритуальности ему и недостает, - с надписью: так выглядел “дух”, на котором была основана “Империя”.... Довольно, я уехал среди празднеств на несколько недель, совершенно внезапно, несмотря на то, что одна очаровательная парижанка пробовала меня утешить; я извинился перед Вагнером только фаталистической телеграммой. В Клингенбрунне, глубоко затерянном в лесах местечке Богемии, носил я в себе, как болезнь, свою меланхолию и презрение к немцам и вписывал время от времени в свою записную книжку под общим названием “Сошник” тезисы, сплошные жесткие *psychologica*, которые, может быть, встречаются еще раз в “Человеческом, слишком человеческом”.

3

То, что тогда во мне решилось, был не только разрыв с Вагнером - я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные промахи которого, называясь они Вагнером или базельской профессурой, были лишь знамением. Нетерпение к себе охватило меня; я увидел, что настала пора сознать себя. Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было потрачено - как бесполезно, как произвольно было для моей задачи все мое существование филолога. Я стыдился этой ложной скромности... Десять лет за плечами, когда питание моего духа было совершенно приостановлено, когда я не научился ничему годному, когда я безумно многое забыл, коря над хламом пыльной учености. Тщательно, с большими глазами пробираться среди античных стихотворцев - вот до чего я дошел! - С сожалением видел я себя вконец исхудавшим, вконец изглодавшимся: реальностей вовсе не было в моем знании, а “идеальности” ни черта не стоили! - Поистине, жгучая жажда охватила меня - с этих пор я действительно не занимался ничем другим, кроме физиологии, медицины и естественных наук, - даже к собственно историческим занятиям я вернулся только тогда, когда меня повелительно принудила к этому моя задача. Тогда же я впервые угадал связь между избранной вопреки инстинкту деятельностью, так называемым “привлечением”, к которому я менее всего был призван, - и потребностью в заглушении чувства пустоты и голода наркотическим искусством - например, вагнеровским искусством. Осторожно оглядевшись вокруг себя, я открыл, что то же бедствие постигает большинство молодых людей: одна противоестественность буквально вынуждает другую. В Германии, в “Империи”, чтобы говорить недвусмысленно, слишком многие осуждены принять несвоевременно какое-нибудь решение, а потом, под неустрашимым бременем, зачихнуть... Эти нуждаются в Вагнере как в опиуме - они забываются, они избавляются от себя на мгновение... Что говорю я! на пять, на шесть часов! -

4

Тогда неумолимо восстал мой инстинкт против дальнейших уступок, против следования за другими, против смешения себя с другими. Любой род жизни, самые неблагоприятные условия,

болезнь, бедность - все казалось мне предпочтительнее того недостойного "бескорыстия", в которое я поначалу попал по незнанию, по молодости и в котором позднее застрял из трусости, из так называемого "чувства долга". - Здесь, самым изумительным образом, и притом в самое нужное время, пришло мне на помощь дурное наследство со стороны моего отца, - в сущности, предопределение к ранней смерти. Болезнь медленно высвобождала меня: она избавила меня от всякого разрыва, всякого насильственного и неприличного шага. Я не утратил тогда ничего доброжелательства и еще приобрел много нового. Болезнь дала мне также право на совершенный переворот во всех моих привычках; она позволила, она приказала мне забвение; она одарила меня принуждением к бездействию, к праздности, к выжиданию и терпению... Но ведь это и значит думать!.. Мои глаза одни положили конец всякому буквоедству, по-немецки: филологии; я был избавлен от "книги", я годами ничего уже не читал - величайшее благодеяние, какое я себе когда-либо оказывал! - Глубоко скрытое Само, как бы погребенное, как бы умолкшее перед постоянной высшей необходимостью слушать другие Само (- а ведь это и значит читать!), просыпалось медленно, робко, колеблясь, - но наконец оно заговорило. Никогда не находил я столько счастья в себе, как в самые болезненные, самые страдальческие времена моей жизни: стоит только взглянуть на "Утреннюю зарю" или на "Странника и его тень", чтобы понять, чем было это "возвращение к себе": самым высшим родом выздоровления!... Другое только следовало из него. -

5

Человеческое, слишком человеческое, этот памятник суровой самодисциплины, с помощью которой я внезапно положил конец всему привнесённому в меня "мошеничеству высшего порядка", "идеализму", "прекрасному чувству" и прочим женственностям, - было во всем существенном написано в Сорренто; оно получило свое заключение, свою окончательную форму зимою, проведенною в Базеле, в несравненно менее благоприятных условиях, чем условия Сорренто. В сущности, эта книга лежит на совести у господина Петера Гаста, тогда студента Базельского университета, очень преданного мне. Я диктовал, с обвязанной и большой головой, он писал, он также исправлял - он был в сущности писателем, а я только автором. Когда в руках моих была законченная вконец книга - к глубокому удивлению тяжелобольного, - я послал, между прочим, два экземпляра и в Байреит. Каким-то чудом смысла, проявившегося в случайности, до меня в то же время дошел прекрасный экземпляр текста Парсифаля с посвящением Вагнера мне - "моему дорогому другу Фридриху Ницше, Рихард Вагнер, церковный советник". - Это было скрепление двух книг - мне казалось, будто я слышал при этом зловещий звук. Не звучало ли это так, как если бы скрестились две шпаги?.. Во всяком случае мы оба так именно и восприняли это: ибо мы оба молчали. - К тому времени появились первые Байрейтские листки: я понял, чему настала пора. - Навероятно! Вагнер стал набожным...

6

Что я думал тогда (1876) о себе, с какой чудовищной уверенностью я держал в руках свою задачу и то, что было в ней всемирно-исторического, - об этом свидетельствует вся книга, и прежде всего одно очень выразительное в ней место: с инстинктивной во мне хитростью я и здесь вновь обошел словечко Я; но на сей раз не Шопенгауэра или Вагнера, а одного из моих друзей, превосходного доктора Пауля Рэ зозарил всемирно-исторической славой - к счастью, он оказался слишком тонким животным, чтобы... Другие были менее хитры: безнадежных среди моих читателей, например типичного немецкого профессора, я всегда узнавал по тому, что они, основы

ваясь на этом месте, считали себя обязанными понимать всю книгу как высший реализм. В действительности она заключала противоречие лишь пяти-шести тезисам моего друга: об этом можно прочесть в предисловии к "Генеалогии морали". - Это место гласит: каково же то главное положение, к которому пришел один из самых сильных и холодных мыслителей, автор книги "О происхождении моральных чувств" (lisez: Ницше, первый имморалист), с помощью своего острого и пронизательного анализа человеческого поведения? "Моральный человек стоит не ближе к умопостигаемому миру, чем человек физический, - ибо не существует умопостигаемого мира"... Это положение, ставшее твердым и острым под ударами молота исторического познания (lisez: переоценки всех ценностей), может некогда в будущем - 1890! - послужить секирой, которая будет положена у корней "метафизической потребности" человечества, - на благо или проклятие человечеству, кто мог бы это сказать? Но во всяком случае, как положение, чреватое важнейшими последствиями, вместе плодотворное и ужасное и вззирающее на мир тем двойственным взглядом, который бывает присущ всякому великому познанию...

УТРЕННЯЯ ЗАРЯ

Мысли о морали как предрассудке

1

Этой книгой начинается мой поход против морали. Не то чтобы в ней, хотя бы едва, чувствовал запах пороха - скорее в ней распознают совсем другие, и гораздо более нежные, запахи, особенно если предположить некоторую тонкость ноздрей. Ни тяжелой, ни даже легкой артиллерии; если действие книги отрицательное, то тем менее отрицательны ее средства, из которых действие следует как заключение, а не как пушечный выстрел. Что с книгой расстанутся с боязливой осторожностью ко всему тому, что до сих пор почиталось и даже боготворилось под именем морали, это не находится в противоречии с тем, что во всей книге не встречается ни одного отрицательного слова, ни одного нападения, ни одной злости, - скорее она лежит на солнце, круглая, счастливая, похожая на морского зверя, греющегося среди скал. В конце концов я сам был им, этим морским зверем: почти каждое положение этой книги было измышлено, выскользнуло в том сумбуре скал близ Генуи, где я одиночествовал и имел общие с морем тайны. Еще и теперь, при случайном моем соприкосновении с этой книгой, почти каждое предложение становится крючком, которым я снова извлекаю из глубины что-нибудь несравнимое: вся ее кожа дрожит от нежной дрожи воспоминаний. Искусство, которое она предполагает, есть немалое искусство закреплять вещи, скользящие легко и без шума, закреплять мгновения, называемые мною божественными ящерицами, закреплять, правда, не с жестокостью того юного греческого бога, который просто прокалывал бедных ящериц, но все же закреплять при помощи некоторого острия - пером... "Есть так много утренних зорь, которые ещё не светили" - эта индийская надпись висит на двери к этой книге. Где же ищет её автор того нового утра, ту до сих пор ещё не открытую нежную зарю, с которой начнётся снова день? - ах, целый ряд, целый мир новых дней! В переоценке всех ценностей, в освобождении от всех моральных ценностей, в утверждении и доверчивом отношении ко всему, что до сих пор запрещали, презирали, проклинали. Эта утверждающая книга изливает свой свет, свою любовь, свою нежность на сплошь дурные вещи, она снова возвращает им "душу", чистую совесть, право, преимущественное право на существование. На мораль не нападают, её просто не принимают в расчёт... Эта книга заканчивается словом "или?" - это единственная книга, которая заканчивается словом "или?"...

Моя задача - подготовить человечеству момент высшего самосознания, великий полдень, когда оно оглянется назад и взглянет вперёд, когда оно выйдет из-под владычества случая и священников и поставит себе впервые, как целое, вопросы: почему? к чему? - эта задача с необходимостью вытекает из воззрения, что человечество само по себе не находится на верном пути, что оно управляется вовсе не божественно, что, напротив, среди его самых священных понятий о ценности соблазнительно господствует инстинкт отрицания, порчи, инстинкт decadence. Вопрос о происхождении моральных ценностей оттого и является для меня вопросом первостепенной важности, что он обуславливает будущее человечества. Требование, чтобы верили, что всё в сущности находится в наилучших руках, что одна книга, Библия, даст окончательную уверенность в божественном руководительстве и мудрости в судьбах человечества, это требование, перенесённое обратно в реальность, есть воля к подавлению истины о жалкой противоположности сказанного, именно, что человечество до сих пор пребывало в наисквернейших руках, что оно управлялось неудачниками и коварными мстителями, так называемыми святыми, этими мироухителями и человекоосквернителями. Решающий признак, устанавливающий, что священник (включая и затаявшихся священников - философов) сделался господином не только в пределах определённой религиозной общины, но и всюду вообще, есть мораль decadence, воля к концу, которая ценится как мораль сама по себе и заключается в безусловной ценности, приписываемой началу неэгоистическому и враждебному всякому эгоизму. Кто в этом пункте не заодно со мною, того считаю я инфицированным... Но весь мир не заодно со мною... Для физиолога такое противопоставление ценностей не оставляет никакого сомнения. Если в организме самый незначительный орган хотя бы в малой степени ослабляет совершенно точное проявление своего самоподдержания, возмещения своей силы, своего "эгоизма", то вырождается и весь организм. Физиолог требует ампутации выродившейся части, он отрицает всякую солидарность с нею, он стоит всего дальше от сострадания к ней. Но священник хочет именно вырождения целого, вырождения человечества: оттого и консервирует он вырождающееся - этой ценой господствует он над ним... Какой смысл имеют ложные, вспомогательные понятия морали - "душа", "дух", "свободная воля", "Бог" - как не тот, чтобы физиологически руинировать человечество?.. Когда отклоняют серьёзность самосохранения и увеличения силы тела, т. е. жизни, когда из бледной немочи конструируют идеал, из презрения к телу - "спасение души", то что же это, как не рецепт decadence? - Утрата равновесия, сопротивление естественным инстинктам, "самоотречение" - одним словом, это называлось до сих пор моралью... С "Утренней зарёй" предпринял я впервые борьбу против морали самоотречения. -

ВЕСЁЛАЯ НАУКА

("la gaya scienza")

"Утренняя заря" есть утверждающая книга, глубокая, но светлая и доброжелательная. То же, но ещё в большей степени, применимо и к la gaya scienza: почти в каждой строке её нежно держатся за руки глубокомыслие и резвость. Стихи, выражающие благодарность самому чудесному месяцу, январю, который я пережил - вся книга есть его подарок, - в достаточной степени объясняют, из какой глубины "наука" стала здесь весёлой:

Ты, что огненною пикой
Лёд души моей разбил,
И к морям надежд великих

Бурный путь ей проложил:
И душа светла и в здравье,
И вольна среди обуз
Чудеса твои прославит,
Дивный Януариус! -

Может ли тот, кто видит, как заблистала, в заключение четвёртой книги, алмазная красота первых слов Заратустры, может ли он сомневаться в том, что называется здесь “великой надеждой”? - Или тот, кто читает гранитные строки в конце третьей книги, с помощью которых впервые отливаются в формулы судьба всех времён? Песни принца Фогельфрай, в лучшей своей части написанные в Сицилии, весьма выразительно напоминают о том провансальском понятии “*gaya scienza*”, о том единстве певца, рыцаря и вольнодумца, которым чудесная ранняя культура провансальцев отличалась от всех двусмысленных культур; самое последнее стихотворение “к Мистралю”, бурная танцевальная песнь, где, с позволения! пляшут над моралью, есть совершенный провансализм. -

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА
Книга для всех и ни для кого

1

Теперь я расскажу историю Заратустры. Основная концепция этого произведения, мысль о вечном возвращении, эта высшая форма утверждения, которая вообще может быть достигнута, - относится к августу 1881 года: она набросана на листе бумаги с надписью: “6000 футов по ту сторону человека и времени”. Я шел в этот день вдоль озера Сильваплана через леса; у могучего, пирамидально нагроможденного блока камней, недалеко от Сурлея, я остановился. Там пришла мне эта мысль. - Когда я отсчитываю от этого дня несколько месяцев назад, я нахожу, как предзнаменование, внезапную и глубоко решительную перемену моего вкуса, прежде всего в музыке. Может быть, всего Заратустру позволительно причислить к музыке - несомненно, возрождение искусства слышать было его предварительным условием. В Рекоаро, маленьком горном курорте, близ Винченцы, где я провел весну 1881 года, я открыл вместе с моим *maestro* и другом Петером Гастом, тоже “возрожденным”, что феникс Музыка пролетел мимо нас в перьях более легких и светоносных, чем когда бы то ни было. Если, напротив, я считаю от этого дня вперед до внезапного и при самых невероятных условиях протекавшего разрешения в феврале 1883 года от бремени - заключительная часть, та самая, из которой я цитировал несколько изречений в Предисловии, была дописана как раз в тот священный час, когда умер в Венеции Рихард Вагнер, - то оказывается восемнадцать месяцев беременности. Это число, именно восемнадцать месяцев, могло бы навести на мысль, по крайней мере среди буддистов, что я в сущности слон-самка. - Промежуточному времени принадлежит “*gaya scienza*”, которая несет сто предзнаменований близости чего-то несравнимого; наконец она дает даже самое начало Заратустры, она дает в предпоследнем отрывке четвертой книги основную мысль Заратустры. - Этому же промежуточному времени принадлежит и тот Гимн к жизни (для смешанного хора и оркестра), партитура которого вышла два года тому назад у Э. В. Фришца в Лейпциге: может быть, это - не малозначительный симптом для состояния этого года, когда утверждающий пафос *par excellence*, названный мною трагическим пафосом, был мне присущ в наивысшей степени. Позднее его некогда будут петь в память обо мне. - Текст, отмечая ясно, ибо по этому поводу распространено недоразумение, принадлежит не мне: он есть изумительное вдохновение молодой русской девушки, с которой я тогда был

друзен, - фрейлейн Лу фон Саломе. Кто сумеет извлечь вообще смысл из последних слов этого стихотворения, тот угадает, почему я предпочел его и восхищался им: в них есть величие. Страдание не служит возражением против жизни: "Если у тебя нет больше счастья, чтобы дать мне его, ну что ж! у тебя есть еще твоя мука..." Быть может, и в моей музыке в этом месте есть величие. (Последняя нота кларнета в строе ля cis, а не с. Опечатка.) - Следующую затем зиму я жил в той уютно тихой бухте Рапалло, недалеко от Генуи, которая врезается между Кьявари и мысом Портофино. Мое здоровье было не из лучших; зима выдалась холодная и чрезмерно дождливая; маленькая гостиница, расположенная у самого моря, так что ночью прилив просто лишил сна, представляла почти во всем противоположность желательного. Несмотря на это и почти в доказательство моего утверждения, что все выдающееся возникает "несмотря", в эту зиму и в этих неблагоприятных условиях возник мой Заратустра. - В дообеденное время я поднимался в южном направлении по чудесной улице вверх к Зоальи, мимо сосен и глядя далеко в море; после обеда, так часто, как только позволяло мое здоровье, я обходил всю бухту от Санта-Маргериты до местности, расположенной за Портофино. Эта местность и этот ландшафт сделали еще ближе моему сердцу благодаря той любви, которую чувствовал к ним император Фридрих III; случайно осенью 1886 года я был опять у этих берегов, когда он уже в последний раз посетил этот маленький забытый мир счастья. - На обоих этих дорогах пришел мне в голову весь первый Заратустра, и прежде всего сам Заратустра, как тип: точнее, он снизошел на меня...

2

Чтобы понять этот тип, надо сперва уяснить себе его физиологическую предпосылку; она есть то, что я называю великим здоровьем. Я не могу разъяснить это понятие лучше, более лично, чем я уже сделал это в одном из заключительных разделов пятой книги "gaya scienza". "Мы, новые, безымянные, труднодоступные, - говорится там, - мы, недоноски еще не доказанного будущего, - нам для новой цели потребно и новое средство, именно, новое здоровье, более крепкое, более умудренное, более цепкое, более отважное, более веселое, чем все бывшие до сих пор здоровья. Тот, чья душа жаждет пережить во всем объеме прежние ценности и устремления и обогнуть все берега этого идеального "Средиземноморья", кто ищет из приключений сокровеннейшего опыта узнать, каково на душе у завоевателя и первопроходца идеала, равным образом у художника, у святого, у законодателя, у мудреца, у ученого, у благочестивого, у предсказателя, у пустынножителя старого стиля, - тот прежде всего нуждается для этого в великом здоровье - в таком, которое не только имеют, но и постоянно приобретают и должны приобретать, ибо им вечно поступаются, должны поступаться!.. И вот же, после того как мы так долго были в пути, мы, аргонавты идеала, более храбрые, должно быть, чем этого требует благоразумие, подвергшиеся стольким кораблекрушениям и напастьм, но, как сказано, более здоровые, чем хотели бы нам позволить, опасно здоровые, все вновь и вновь здоровые, - нам начинает казаться, будто мы, в вознаграждение за это, видим какую-то еще не открытую страну, границ которой никто еще не обозрел, некое по ту сторону всех прежних земель и уголков идеала, мир до того богатый прекрасным, чуждым, сомнительным, страшным и божественным, что наше любопытство, как и наша жажда обладания, выходит из себя - ах! и мы уже ничем не можем насытиться! Как смогли бы мы, после таких перспектив и с таким ненасытным голодом на совесть и весть, довольствоваться еще современным человеком? Довольно скверно: но и невозможно, чтобы мы только с деланной серьезностью взирали и, пожалуй, даже вовсе не взирали на его почтеннейшие цели и надежды. Нам предносится другой идеал, причудливый, соблазнительный, рискованный идеал, к которому мы никого не хотели бы склонить, ибо ни за кем не признаем столь легкого права на него: идеал духа, который наивно, стало быть, сам того не желая и из бьющего через край избытка полноты

и мощи играет со всем, что до сих пор называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным; для которого то наивысшее, в чем народ по справедливости обладает своим ценностным мерилом, означало бы уже опасность, упадок, унижение или, по меньшей мере, отдых, слепоту, временное самозабвение; идеал человечески-сверхчеловеческого благополучия и благоволения, который довольно часто выглядит нечеловеческим, скажем, когда он рядом со всей бывшей на земле серьезностью, рядом со всякого рода торжественностью в жесте, слове, звучании, взгляде, морали и задаче изображает как бы их живейшую непроизвольную пародию, - и со всем тем, несмотря на все то, быть может, только теперь и появляется впервые великая серьезность, впервые ставится вопросительный знак, поворачивается судьба души, сдвигается стрелка, начинается трагедия..."

3

Есть ли у кого-нибудь в конце девятнадцатого столетия ясное понятие о том, что поэты сильных эпох называли инспирацией? В противном случае я хочу это описать. - При самом малом остатке суеверия действительно трудно защититься от представления, что ты только инкарнация, только рупор, только медиум сверхмощных сил. Понятие откровения в том смысле, что нечто внешне запню с несказанной уверенностью и точностью становится видимым, слышимым и до самой глубины потрясает и опрокидывает человека, есть просто описание фактического состояния. Слышишь без поисков; берешь, не спрашивая, кто здесь дает; как молния, вспыхивает мысль, с необходимостью, в форме, не допускающей колебаний, - у меня никогда не было выбора. Восторг, огромное напряжение которого разрешается порою в потоках слез, при котором шаги невольно становятся то бурными, то медленными; частичная невменяемость с предельно ясным сознанием бесчисленного множества тонких дрожаний до самых пальцев ног; глубина счастья, где самое болезненное и самое жестокое действуют не как противоречие, но как нечто вытекающее из поставленных условий, как необходимая окраска внутри такого избытка света; инстинкт ритмических отношений, охватывающий далекие пространства форм - продолжительность, потребность в далеком напряженном ритме, есть почти мера для силы вдохновения, своего рода возмещение за его давление и напряжение... Все происходит в высшей степени непроизвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, силы, божественности... Непроизвольность образа, символа есть самое замечательное; не имеешь больше понятия о том, что образ, что сравнение; все приходит как самое близкое, самое правильное, самое простое выражение. Действительно, кажется, вспоминая слова Заратустры, будто вещи сами приходят и предлагают себя в символы. ("Сюда приходят все вещи, ластясь к твоей речи и ластясь тебе: ибо они хотят скакать верхом на твоей спине. Верхом на всех символах скачешь ты здесь ко всем истинам. Здесь раскрываются тебе слова и ларчики слов всякого бытия: здесь всякое бытие хочет стать словом, всякое становление хочет здесь научиться у тебя говорить - ".) Это мой опыт инспирации; я не сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто вправе мне сказать: "это и мой опыт". -

4

Потом я лежал несколько недель больной в Генуе. Вслед за этим последовала тоскливая весна в Риме, куда я переехал жить, - это было нелегко. В сущности меня сверх меры раздражало это самое неприличное для поэта Заратустры место на земле, которое я выбрал не добровольно; я пытался освободиться - я хотел в Аквилу, понятие, противоположное Риму, основанное из вражды к Риму, как и я когда-нибудь осную место, воспоминание об атеисте и враге церкви comme il faut, моим ближайшем родственнике, великом императоре Гогенштауфене, Фридрихе II. Но во

всем этом был рок: я должен был вернуться. В конце концов я удовлетворился piazza Barberini, после того как меня утомили заботы об антихристианской местности. Боюсь, что однажды, во избежание по возможности дурных запахов, я справлялся даже на palazzo del Quirinale, нет ли там тихой комнаты для философа. В loggia, высоко над вышеназванной piazza, откуда виден Рим и слышно внизу журчание fontana, была создана самая одинокая песнь, какая когда-либо была создана. Ночная песнь; в это время носилась вокруг меня мелодия несказанной тоски, напев которой я снова нашел в словах: "мертвый от бессмертия"... Летом, вернувшись домой, к священному месту, где мне сверкнула первая молния мысли о Заратустре, я нашел вторую его часть. Десяти дней было достаточно; ни на первую, ни на третью и последнюю часть я ни в коем случае не употребил больше времени. В следующую затем зиму, под халкионическим небом Ниццы, которое тогда заблестало впервые в моей жизни, нашел я третью часть Заратустры - и был готов. Меньше года хватило на все. Много заброшенных уголков и высот из ландшафта Ниццы освящены для меня незабвенными мгновениями; та решающая часть, которая носит название "О старых и новых скрижалях", была создана при труднейшем восхождении от станции к чудесному мавританскому горному гнезду Эца - ловкость мускулов была у меня всегда наибольшей, когда и творческая сила текла в избытке. Тело одухотворено: оставим "душу" в покое... Меня часто видел танцующим; я мог тогда, без понятия об утомлении, быть пять-шесть часов в пути в горах. Я хорошо спал, я много смеялся - у меня была совершенная выносливость и терпение.

5

За вычетом этих десятидневных творений, годы во время и главным образом после Заратустры были несравнимым бедствием. Дорого искупается - быть бессмертным: за это умираешь не раз живьем. - Есть нечто, что называю я rapscallie великого: все великое, всякое творение, всякое дело, однажды содеянное, немедленно обращается против того, кто его содеял. Именно потому, что он его содеял, он слаб теперь, он не выдерживает больше своего дела, он не смотрит больше ему в лицо. Иметь за собой нечто, чего никогда не смел хотеть, нечто, в чем завязан узел в судьбе человечества, - и иметь это теперь на себе!.. Это почти придавливает... Rapscallie великого! - Второе, это ужасная тишина, которую слышишь вокруг себя. У одиночества семь шкур; ничто не проникает сквозь них. Приходишь к людям, приветствуешь друзей: новая пустыня, ни одного приветного взора. В лучшем случае нечто вроде возмущения. Такое возмущение, но в очень различной степени испытывал и я, и почти от каждого, кто был мне близок; кажется, ничто не оскорбляет глубже, чем если вдруг дать почувствовать дистанцию, - благородные натуры, которые не могут жить без глубокого почитания, бывают редки. - Третье - это абсурдная раздражительность кожи к маленьким уколам, своего рода беспомощность перед всем маленьким. Она кажется мне обусловленной той огромной тратой всех оборонительных сил, которая является предпосылкой всякого творческого действия, всякого действия, прирастающего из наиболее личного, наиболее интимного, наиболее сокровенного. Маленькие оборонительные силы как бы уничтожены; они не имеют никакого притока сил. - Я решаю еще указать, что ухудшается пищеварение, начинаешь неохотно двигаться, часто подвергаешься ознобу, также и чувству недоверия - того недоверия, которое во многих случаях есть простая этиологическая ошибка. В таком состоянии почувствовал я однажды приближение стада коров, прежде чем я увидел его, - благодаря возвращению более нежных, более человеколюбивых мыслей: в этом есть теплота...

Произведение это стоит совершенно особняком. Оставим в стороне поэтов; быть может, вообще никогда и ничто не было сотворено от равного избытка силы. Моё понятие “дионисическое” претворилось здесь в наивысшее действие; применительно к нему вся остальная человеческая деятельность выглядит бедной и условной. Какой-нибудь Гёте, какой-нибудь Шекспир ни минуты не могли бы дышать в этой атмосфере чудовищной страсти и высоты, Данте в сравнении с Заратустрой есть только верующий, а не тот, кто создаёт впервые истину, управляющий миром дух, рок, - поэты Веды суть только священники, и не достойны даже развязать ремни башмаков Заратустры; но всё это есть ещё минимум и не даёт никакого понятия о той дистанции, о том лазурном одиночестве, в котором живёт это произведение. У Заратустры есть вечное право сказать: “я замыкаю круги вокруг себя и священные границы; всё меньше поднимающихся со мною на всё более высокие горы; я строю хребет из всё более священных гор”. Пусть соединят воедино дух и доброту всех великих душ: и совокупно не были бы они в состоянии произнести хотя бы одну речь Заратустры. Велика та лестница, по которой он поднимается и спускается; он дальше видел, дальше хотел, дальше мог, чем какой бы то ни было другой человек. Он противоречит каждым словом, этот самый утверждающий из всех умов; в нём все противоположности связаны в новое единство. Самые высшие и самые низшие силы человеческой природы, самое сладкое, самое легкомысленное и самое страшное с бессмертной уверенностью струятся у него из единого источника. До него не знали, что такое глубина, что такое высота, ещё меньше знали, что такое истина. Нет ни одного мгновения в этом откровении истины, которое было бы уже предвосхищено, угадано кем-либо из величайших. Не было мудрости, не было исследования души, не было искусства говорить до Заратустры; самое близкое, самое повседневное говорит здесь о неслыханных вещах. Сентенция дрожит от страсти; красноречие стало музыкой; молнии сверкают в не разгаданное доселе будущее. Самая могучая сила образов, какая когда-либо существовала, является убожеством и игрушкой по сравнению с этим возвращением языка к природе образности. - А как Заратустра спускается с гор и говорит каждому самое доброжелательное! Как он даже своих противников, священников, касается нежной рукой и вместе с ними страдает из-за них! - Здесь в каждом мгновении преодолевается человек, понятие “сверхчеловека” становится здесь высшей реальностью, - в бесконечной дали лежит здесь всё, что до сих пор называлось великим в человеке, лежит ниже его. О халкионическом начале, о лёгких ногах, о совмещении злобы и легкомыслия и обо всём, что вообще типично для типа Заратустры, никогда ещё никто не мечтал как о существенном элементе величия. Заратустра именно в этой шире пространства, в этой доступности противоречиям чувствует себя наивысшим проявлением всего сущего; и когда услышат, как он это определяет, откажутся от поисков ему равного.

- душа, имеющая очень длинную лестницу и могущая опуститься очень низко, -
- душа самая обширная, которая далеко может бегать, блуждать и метаться в себе самой; самая необходимая, которая ради удовольствия бросается в случайность, -
- душа сущая, которая погружается в становление; ищущая, которая хочет войти в волю и в желание, -
- убегающая от себя самой и широкими кругами себя догоняющая; душа самая мудрая, которую тихонько приглашает к себе безумие, -
- наиболее себя любящая, в которой все вещи находят своё течение и своё противотечение, свой прилив и отлив -

Но это и есть понятие самого Диониса. - Именно к нему приводит ещё и другое размышление. Психологическая проблема в типе Заратустры заключается в вопросе, каким образом то,

кто в неслыханной степени говорит Нет, делает Нет всему, чему до сих пор говорили Да, может, несмотря на это, быть противоположностью отрицающего духа; каким образом дух, несущий самое тяжкое бремя судьбы, роковую задачу, может, несмотря на это, быть самым лёгким и самым потусторонним - Заратустра есть танцор, - каким образом тот, кто обладает самым жестоким, самым страшным познанием действительности, кто продумал "самую бездонную мысль", не нашёл, несмотря на это, возражения против существования, даже против его вечного возвращения, - напротив, нашёл ещё одно основание, чтобы самому быть вечным утверждением всех вещей, "говорить огромное безграничное Да и Аминь"... "Во все бездны несу я своё благословляющее утверждение"... Но это и есть ещё раз понятие Диониса.

7

Каким языком будет говорить подобный дух, когда ему придётся говорить с самим собою? Языком дифирамба. Я изобретатель дифирамба. Пусть послушают, как говорит Заратустра с самим собою перед восходом солнца: таким изумрудным счастьем, такой божественной нежностью не обладал ещё ни один язык до меня. Даже глубочайшая тоска такого Диониса всё ещё обращается в дифирамб; я беру в доказательство Ночную песнь - бессмертную жалобу того, кто из-за приизбытка света и власти, из-за своей солнечной природы обречён не любить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь только пробуждаются все песни влюблённых. И моя душа тоже песнь влюблённого.

Что-то неутолённое, неутолимое есть во мне; оно хочет говорить. Жажда любви есть во мне; она сама говорит языком любви.

Я - свет; ах, если бы быть мне ночью! Но в том и одиночество моё, что опоясан я светом.

Ах, если бы быть мне тёмным и ночным! Как упивался бы я соцами света!

И даже вас благословлял бы я, вы, звёздочки, мерцающие, как светящиеся червяки, на небе! - и был бы счастлив от ваших даров света.

Но я живу в своём собственном свете, я вновь поглощаю пламя, что исходит из меня.

Я не знаю счастья берущего; и часто мечтал я о том, что красть должно быть ещё блаженнее, чем брать.

В том моя бедность, что моя рука никогда не отдыхает от дарения; в том моя зависть, что я вижу глаза, полные ожидания, и просветлённые ночи тоски.

О горе всех, кто дарит! О затмение моего солнца! О алкание желаний! О ярый голод среди пресыщения!

Они берут у меня; но затрагиваю ли я их душу? Целая пропасть лежит между дарить и брать; но и через малейшую пропасть очень трудно перекинуть мост.

Голод вырастает из моей красоты; причинить страдание хотел бы я тем, кому я свечу, ограбить хотел бы одарённых мною - так алчу я злости.

Отдёрнуть руку, когда другая рука уже протягивается к ней; медлить, как водопад, который медлит в своём падении, - так алчу я злости.

Такое мщенье измышляет мой избыток; такое коварство рождается из моего одиночества.

Моё счастье дарить замерло в дарении, моя добродетель устала от себя самой и от своего избытка!

Кто постоянно дарит, тому грозит опасность потерять стыд; кто постоянно раздаёт, у того рука и сердце натирают себе мозоли от постоянного раздавания.

Мои глаза не делаются уже влажными перед стыдом просящих; моя рука слишком огрубела для дрожания рук наполненных.

Куда же девались слёзы из моих глаз и пушок из моего сердца? О одиночество всех дарящих! О молчаливость всех светящих!

Много солнц вращается в пустом пространстве; всему, что темно, говорят они своим светом - для меня молчат они.

О, в этом и есть вражда света ко всему светящемуся: безжалостно проходит он своими путями.

Несправедливое в глубине сердца ко всему светящемуся, равнодушное к другим солнцам - так движется всякое солнце.

Как буря, несутся солнца своими путями, в этом - движение их. Своей неумолимой воле следуют они, в этом - холод их.

О, это вы, тёмные ночи, создаёте теплоту из всего светящегося! О, только вы пьёте молоко и усладу из сосцов света!

Ах, лёд вокруг меня, моя рука обжигается об лёд! Ах, жажда во мне, которая томится по вашей жажде!

Ночь: ах, зачем я должен быть светом! И жажду тьмы! И одиночеством!

Ночь: теперь рвётся, как родник, моё желание - желание говорить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь пробуждаются все песни влюблённых. И моя душа тоже песнь влюблённого. -

8

Так никогда не писали, никогда не чувствовали, никогда не страдали: так страдает бог, Дионис. Ответом на такой дифирамб солнечного уединения в свете была бы Ариадна... Кто, кроме меня, знает, что такое Ариадна!.. Ни у кого до сих пор не было разрешения всех подобных загадок, я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь даже видел здесь загадки. - Заратустра определил однажды со всей строгостью свою задачу - это также и моя задача, - так что нельзя ошибиться в смысле: он есть утверждающий вплоть до оправдания, вплоть до искупления всего прошедшего.

Я хожу среди людей, как среди обломков будущего, - того будущего, что вижу я.

И в том моё творчество и стремление, чтобы собрать и соединить воедино всё, что является обломком, загадкой и ужасной случайностью.

И как мог бы я быть человеком, если бы человек не был также поэтом, отгадчиком и избавителем от случая!

Спасти тех, кто миновали, и преобразить всякое "было" в "так хотел я" - лишь это я назвал бы избавлением.

В другом месте он со всей возможной строгостью определяет, чем может быть для него "человек" - ни предметом любви, ни даже предметом сострадания, - и над великим отвращением к человеку стал Заратустра господином: человек для него есть бесформенная масса, материал, безобразный камень, требующий ещё ваятеля.

Не хотеть больше, не ценить больше и не созидать больше: ах, пусть эта великая усталость навсегда останется от меня далёкой!

Даже в познании чувствую я только радость рождения и радость становления моей воли; и если есть невинность в моём познании, то потому, что есть в нём воля к рождению.

Прочь от Бога и богов тянула меня эта воля: и что осталось бы созидать, если бы боги - существовали!

Но всегда к человеку влечёт меня сызнова пламенная воля моя к созиданию; так устремляется молот на камень.

Ах, люди, в камне дремлет для меня образ, образ моих образов! Ах, он должен дремать в самом твёрдом, самом безобразном камне!

Теперь дико устремляется мой молот на свою тюрьму. От камня летят куски; какое мне дело до этого?

Завершить хочу я этот образ: ибо тень подошла ко мне - самая молчаливая, самая лёгкая приблизилась ко мне!

Красота сверхчеловека приблизилась ко мне, как тень. Что мне теперь - до богов!..

Я отмечаю последнюю точку зрения: подчёркнутая строфа даёт доступ к ней. Для дионисической задачи твёрдость молота, радость даже при уничтожении, принадлежит решительным образом к предварительным условиям. Императив: "станьте тверды!", самая глубокая уверенность в том, что все созидающие тверды, есть истинный отличительный признак дионисической природы.

ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА Прелюдия к философии будущего

1

Задача для воспоследовавших затем лет была предначертана со всей возможной строгостью. После того как утверждающая часть моей задачи была разрешена, настала очередь негативной, неактивной (*neïntuende*) половины: переоценка бывших до сего времени ценностей, великая война - заклинание решающего дня. Сюда относится и осторожный взгляд, ищущий близких, таких, которые из силы протянули бы мне руку для разрушения. - С этих пор все мои сочинения суть рыболовные крючки; возможно, я лучше кого-либо знаю толк в рыбной ловле?... Если ничего не ловилось, то это не моя вина. Не было рыбы...

2

Эта книга (1886) во всём существенном есть критика современности, не исключая и современных наук, современных искусств, даже современной политики, наряду с указаниями, отсылающими к противоположному типу, который отмечен решительным минимумом современности, к благородному, утверждающему типу. В этом последнем смысле книга представляет собою школу *gentilhomme*, беря названное понятие более духовно и более радикально, чем его брали когда-либо. Нужно иметь мужество во плоти, чтобы выдержать его, нужно не знать страха... Все вещи, которыми так гордится наш век, пережиты здесь как противоречие этому типу, почти как дурные манеры, например знаменитая "объективность", "сочувствие ко всему страждущему", "историческое чувство" с его раболепством перед чужим вкусом, с его ползанием на животе перед *petits faits*, "научность". - Если вспомнить, что эта книга следует за Заратустрой, то легко угадать тот диететический *regime*, которому она обязана своим возникновением. Глаз, избалованный чудовищной принудительностью быть дальновзорким - Заратустра дальновиднее самого царя, - вынужден здесь остро схватывать ближайшее, время, обстание. Во всех отношениях, и прежде всего в форме, легко найти как бы добровольный разрыв с теми инстинктами, из которых стал возможным Заратустра. Рафинированность в форме, в замысле, в искусстве молчать стоит здесь на переднем

плане, психология трактуется с намеренной твёрдостью и жестокостью - книга отклоняет всякое добродушное слово... На всём этом можно отдохнуть: впрочем, кто угадает, какого рода отдых нужен после такой траты доброты, как Заратустра?.. Говоря теологически - пусть прислушиваются, ибо я редко говорю как теолог, - сам Бог улёгся в конце своего трудового дня, подобно змее, под древо познания: так отдыхал он от обязанности быть Богом... Он сотворил всё слишком прекрасным... Дьявол есть только праздность Бога в каждый седьмой день...

ГЕНЕАЛОГИЯ МОРАЛИ
Полемическое сочинение

Три рассмотрения, из которых состоит эта генеалогия, быть может, с точки зрения выражения, цели и искусства изумлять есть самое зловещее, что до сих пор было написано. Дионис, как известно, есть также бог мрака. - Каждый раз начало, которое должно вводить в заблуждение, - холодное, научное, даже ироническое, нарочито выпирающее, нарочито останавливающее на себе. Постепенно больше беспокойства; местами молнии; очень неприятные истины, слышные издали с глухим рокотом, - пока наконец не достигается tempo feroce, где всё мчится вперёд с чудовищным напряжением. В конце, каждый раз, среди поистине ужасных раскатов, новая истина становится видимой среди густых туч. - Истина первого рассмотрения есть психология христианства: рождение христианства из духа ressentiment, а не из "духа", как часто думают, - по существу движение назад, великое восстание против господства аристократических ценностей. Второе рассмотрение даёт психологию совести: она не есть "голос Бога в человеке", как часто думают, - она есть инстинкт жестокости, обращённый назад, внутрь, после того как он уже не может разрядиться вовне. Жестокость впервые освещается здесь как одно из самых старых и самых неустранимых оснований культуры. Третье рассмотрение даёт ответ на вопрос, откуда происходит чудовищная власть аскетического идеала, идеала священника, несмотря на то что он есть идеал вредный par excellence, воля к гибели, идеал decadence. Ответ: не потому, что Бог действует за спиной священников, как обыкновенно думают, а faute de mieux - потому, что это был до сих пор единственный идеал, ибо он не имел конкурентов. "Ибо человек предпочитает хотеть Ничто, чем ничего не хотеть"... Прежде всего недоставало противоидеала - вплоть до Заратустры. - Меня поняли. Здесь три решающие предварительные работы психолога для переоценки всех ценностей. - Эта книга содержит первую психологию священника.

СУМЕРКИ ИДОЛОВ
Как философствуют молотом

1

Это сочинение менее чем в 150 страниц, весёлое и зловещее по тону, демон, который смеётся, - произведение столь немногих дней, что я стесняюсь назвать их число, - является вообще исключением среди книг: нет ничего более богатого содержанием, более независимого, более опрокидывающего - более злого. Если хотя бы вкратце составить себе понятие о том, как до меня всё стояло вверх ногами, пусть начинают с этого сочинения. То, что называется идолом на титульном листе, есть попросту то, что называли до сих пор истиной. Сумерки идолов - по-немецки: старая истина приходит к концу...

2

Нет ни одной реальности, ни одной “идеальности”, которая в этом сочинении не была бы затронута (- затронута: какой осторожный евфемизм!..). Не только вечные идола, но и самые молодые, следовательно, самые хилые. “Современные идеи”, например. Великий ветер пронесется между деревьями, и всюду падают плоды - истины. В этом расточительность слишком богатой осени: спотыкаешься об истины, некоторые из них даже придавлены насмерть - до того их много... Но то, что остаётся в руках, это уже не проблематичное, это уже решения. У меня впервые в руках масштаб для “истин”, я впервые могу решать. Как если бы во мне выросло второе сознание, как если бы “воля” зажгла во мне свет для себя над кривою тропой, по которой она до сих пор спускалась вниз... Кривая тропа - её называли путём к “истине”... Кончилось всякое “тёмное стремление”, именно добрый человек меньше всего смыслил в настоящем пути... И, говоря вполне серьёзно, никто до меня не знал настоящего пути, пути вверх: только с меня начинаются снова надежды, задачи, предписывающие пути культуры, - я их благостный вестник. Именно поэтому являюсь я роком...

3

Непосредственно за окончанием только что названного произведения и не теряя ни одного дня приступил я к чудовищной задаче Переоценки, с чувством царской гордости, с которым ничто не может сравниться, каждую минуту сознавая своё бессмертие и высекая с уверенностью рока знак за знаком на медных скрижалях. Предисловие появилось 3 сентября 1888 года: когда утром, после написания его, я вышел на воздух, предо мною был самый прекрасный день, какой когда-либо показывал мне Верхний Энгадин, - прозрачный, сверкающий красками, вмещающий в себя все контрасты и нюансы между льдом и Югом. - Лишь 20 сентября покинул я Сильс-Марию, задержанный наводнениями и в конце концов оставшийся единственным гостем этого чудесного места, которому благодарность моя приносит в дар бессмертное имя. После путешествия, полного случайностей и даже опасности для жизни в залитом водою Комо, которого я достиг лишь глубокой ночью, я прибыл 21-го днём в Турин, моё доказанное место, мою резиденцию отныне. Я снял ту самую квартиру, которую занимал весной, на via Carlo Alberto 6, III против колоссального palazzo Carignano, где родился Vittorio Emanuele, с видом на piazza Carlo Alberto и за ним далее на страну холмов. Не колеблясь и не давая ни на минуту отвлечь себя, вернулся я к работе: оставалось ещё написать последнюю четверть произведения. 30 сентября день великой победы; седьмой день; отдых Бога на берегах По. В тот же день написал я ещё предисловие к “Сумеркам идолов”, корректура их печатных листов была моим отдыхом в сентябре. - Я никогда не переживал такой осени, даже никогда не считал что-нибудь подобное возможным на земле - Клод Лоррен, продуманный в бесконечное, каждый день - день равного беспредельного совершенства. -

КАЗУС ВАГНЕР

Проблема музыканта

1

Чтобы отнестись справедливо к этому сочинению, надо страдать от судьбы музыки как от открытой раны. Отчего страдаю я, страдая от судьбы музыки? - Оттого, что музыка лишена своего миропрославляющего, утверждающего характера, - оттого, что она сделалась музыкой *decadence*

и уже перестала быть свирелью Диониса... Но если кто-нибудь, подобно мне, чувствует в деле музыки собственное дело, историю собственных страданий, то он найдёт это сочинение всё ещё слишком снисходительным, слишком мягким. Быть весёлым в таких случаях и добродушно высмеивать попутно самого себя - *ridendo dicere severum*, - где *verum dicere* оправдало бы всякую суровость, - это сама гуманность. Кто собственно сомневается в том, что я, как старый артиллерист, могу выкатить против Вагнера моё тяжёлое орудие? - Всё решительное в этом деле я оставил при себе - я любил Вагнера. - Впрочем, в смысле и на пути моей задачи лежит нападение на более тонкого "незнакомца", которого другой не легко разгадает - о, мне предстоит открыть ещё совсем иных "незнакомцев", чем какого-то Калиостро музыки, - и конечно же более сильное нападение на становящуюся в духовном отношении всё более и более трусливой и бедной инстинктами, всё более и более делающуюся почтенной немецкую нацию, которая с завидным аппетитом продолжает питаться противоположностями и без расстройства желудка проглатывает "веру" вместе с научностью, "христианскую любовь" вместе с антисемитизмом, волю к власти (к "Империри") вместе с *evangile des humbles*... Это безучастие среди противоположностей! Эта пищеварительная нейтральность и это "бескорыстие"! Этот здравый смысл немецкого нёба, которое всему даёт равные права, - которое всё находит вкусным... Без всякого сомнения, немцы - идеалисты... Когда я в последний раз посетил Германию, я нашёл немецкий вкус озобоженным представлением равных прав Вагнеру и трубочу из Зэкингена; я сам был свидетелем того, как в Лейпциге, в честь самого настоящего и самого немецкого музыканта в старом смысле слова, а не только в смысле имперского немца, мастера Генриха Шютца, был основан ферейн Листа с целью развития и распространения извилистой церковной музыки... Без всякого сомнения, немцы - идеалисты...

2

Но здесь ничто не должно помешать мне стать грубым и сказать немцам несколько жёстких истин: кто сделает это кроме меня? - Я говорю об их непристойности *in historicis*. Немецкие историки не только утратили широкий взгляд на ход, на ценности культуры, но все они являются шутами политики (или церкви): они даже подвергают остракизму этот широкий взгляд. Надо прежде всего быть "немцем", "расой", тогда уже можно принимать решения о всех ценностях и не-ценностях *in historicis* - устанавливать их... "Немецкое" есть аргумент, "Deutschland, Deutschland über alles" есть принцип, германцы суть "нравственный миропорядок" в истории; по отношению к *impegium Romanum* - носители свободы, по отношению к восемнадцатому столетию - реставраторы морали, "категорического императива"... Существует имперская немецкая историография, я боюсь, что существует даже антисемитская, - существует придворная историография, и господину фон Трейчке не стыдно... Недавно, в качестве "истины", обошло все немецкие газеты идиотское мнение *in historicis*, тезис, к счастью, усопшего эстетического шваба Фишера, с которым должен-де согласиться всякий немец: "Ренессанс и Реформация вместе образуют одно целое - эстетическое возрождение и нравственное возрождение". - При таких тезисах моё терпение приходит к концу, и я испытываю желание, я чувствую это даже как обязанность - сказать наконец немцам, что у них уже лежит на совести. Все великие преступления против культуры за четыре столетия лежат у них на совести!.. И всегда по одной причине: из-за их глубокой трусости перед реальностью, которая есть также трусость перед истиной, из-за их, ставшей у них инстинктом, неправдивости, из-за их "идеализма"... Немцы лишили Европу жатвы, смысла последней великой эпохи, эпохи Ренессанса, в тот момент, когда высший порядок ценностей, когда аристократические, жизнелюбивые и обеспечивающие будущее ценности достигли победы в самой резиденции противоположных ценностей, ценностей упадка, - и вплоть до инстинктов тех,

кто там находился! Лютер, этот роковой монах, восстановил церковь и, что в тысячу раз хуже, христианство в тот момент, когда оно было побеждено... Христианство, это ставшее религией отрицание воли к жизни... Лютер, невозможный монах, который по причине своей "невозможности" напал на церковь и - следовательно! - восстановил её... У католиков было бы основание устраивать празднества в честь Лютера, сочинять театральные представления в честь Лютера... Лютер - и "нравственное возрождение"! К чёрту всю психологию! - Без сомнения, немцы-идеалисты. - Дважды, когда с огромным мужеством и самопреодолением был достигнут правдивый, недвусмысленный, совершенно научный способ мышления, немцы сумели найти окольные пути к старому "идеалу", к примирению между истиной и "идеалом", в сущности к формулам на право отклонения от науки, на право лжи. Лейбниц и Кант - это два величайших тормоза интеллектуальной правдивости Европы! - Наконец, когда на мосту между двумя столетиями decadence явилась forse majeure гения и воли, достаточно сильная, чтобы создать из Европы единство, политическое и экономическое единство, в целях управления землёй, немцы с их "войнами за свободу" лишили Европу смысла, чудесного смысла в существовании Наполеона, - оттого-то всё, что пришло после, что существует теперь, - лежит у них на совести: эта самая враждебная культуре болезнь и безумие, какие только возможны, - национализм, эта nevrose nationale, которой больна Европа, это увековечение маленьких государств Европы, маленькой политики: они лишили самое Европу её смысла, её разума - они завели её в тупик. - Знает ли кто-нибудь, кроме меня, путь из этого тупика?.. Задача достаточно великая - снова связать народы?..

3

И в конце концов, почему бы не предоставить слова моему подозрению? Немцы и в моём случае опять испробуют всё, чтобы из чудовищной судьбы родить мышшь. Они до сих пор компрометировали себя во мне, я сомневаюсь, что в будущем им удастся это лучшим образом. - Ах, как хочется мне быть здесь плохим пророком!.. Моими естественными читателями и слушателями уже и теперь являются русские, скандинавы и французы, - будет ли их постоянно всё больше? - Немцы вписали в историю познания только двусмысленные имена, они всегда производили только "бессознательных" фальшивомонетчиков (Фихте, Шеллинг, Шопенгауэр, Гегелю, Шлейермахеру) приличествует это имя в той же мере, что и Канту и Лейбницу; все они только шлейермахеры: они никогда не дождутся чести, чтобы первый правдивый ум в истории мысли, ум, в котором истина произносит свой суд над подделкой монет в течение четырёх тысячелетий, был отождествлён с немецким духом. "Немецкий дух" - это мой дурной воздух: я с трудом дышу в этой, ставшей инстинктом, нечистоплотности in psychologicis, которую выдаёт каждое слово, каждая мина немца. Они не прошли вовсе через семнадцатый век сурового самоиспытания, как французы, - какой-нибудь Ларошфуко, какой-нибудь Декарт во сто раз превосходят правдивостью любого немца, - у них до сих пор не было ни одного психолога. Но психология есть почти масштаб для чистоплотности или нечистоплотности расы... И если нет чистоплотности, как может быть глубина? У немца, как у женщины, не добраться до основания, он лишён его: вот и всё. Но при этом нельзя быть даже плоским. - То, что в Германии называется "глубоким", есть именно этот инстинкт нечистоплотности в отношении себя, о котором я и говорю: нет никакого желания разобратся в себе. Не могу ли я предложить слово "немецкий" как международную монету для обозначения этой психологической испорченности? - В настоящий момент, например, немецкий кайзер называет своим "христианским долгом" освобождение рабов в Африке: среди нас, других европейцев, это называлось бы просто "немецким" долгом... Создали ли немцы хоть одну книгу, в которой была бы глубина? У них нет даже понятия о том, что глубоко в книге. Я познакомился с учёными, которые считали Канта глубоким; при прусском дворе, я боюсь, считают глубоким гос-

подина фон Трейчке. А когда я при случае хвалю Стендаля, как глубокого психолога, случается, что немецкий университетский профессор просит назвать это имя по слогам...

4

И почему бы мне не идти до конца? Я люблю убирать со стола. Слыть человеком, презирающим немцев *rag excellence*, принадлежит даже к моей гордости. Своё недоверие к немецкому характеру я выразил уже двадцати шести лет (Третье Несвоевременное) - немцы для меня невозможны. Когда я измышляю себе род человека, противоречащего всем моим инстинктам, из этого всегда выходит немец. Первое, в чём я "испытываю утробу" человека, - вопрос: есть ли у него в теле чувство дистанции, видит ли он всюду ранг, степень, порядок между человеком и человеком, умеет ли он различать: этим отличается *gentilhomme*; во всяком ином случае он безнадежно принадлежит к великодушному, ах! добродушному понятию *canaille*. Но немцы и есть *canaille* - ах! они так добродушны... Общение с немцами унижает: немец становится на равную ногу... За исключением моих отношений с некоторыми художниками, прежде всего с Рихардом Вагнером, я не переживал с немцами ни одного хорошего часа... Если представить себе, что среди немцев явился самый глубокий ум всех тысячелетий, то какая-нибудь спасительница Капитолия вообразила бы себе, что и её непрекрасная душа по крайней мере также принимается в расчёт... Я не выношу этой расы, среди которой находишься всегда в дурном обществе, у которой нет пальцев для *puances* - горе мне! я есть *puance*, - у которой нет *esprit* в ногах и которая даже не умеет ходить... У немцев в конце концов вовсе нет ступней, у них только ноги... У немцев отсутствует всякое понятие о том, как они пошлы, но это есть суперлатив пошлости - они не стыдятся даже быть только немцами... Они говорят обо всём, они считают самих себя решающей инстанцией, я боюсь, что даже обо мне они уже приняли решение... Вся моя жизнь есть доказательство *de gêneur* для этих положений. Напрасно я ищу хотя бы одного признака такта, *delicatesse* в отношении меня. Евреи давали их мне, немцы - никогда. Моя природа хочет, чтобы я в отношении каждого был мягок и доброжелателен, - у меня есть право на то, чтобы не делать различий, - это не мешает, однако, чтобы у меня были открыты глаза. Я не делаю исключений ни для кого, меньше всего для своих друзей, - я надеюсь в конце концов, что это не нанесло никакого ущерба моей гуманности в отношении их. Есть пять-шесть вещей, из которых я всегда делал себе вопрос чести. - Несмотря на это, остаётся верным, что каждое из писем, полученных мною в течение лет, я ощущаю как цинизм: в доброжелательстве ко мне больше цинизма, чем в какой-нибудь ненависти... Я говорю в лицо каждому из моих друзей, что он никогда не утруждал себя изучением хотя бы одного из моих сочинений: я узнаю по мельчайшим чертам, что они даже не знают, что там написано. Что касается особенно моего Заратустры, то кто из моих друзей увидел бы в нём больше, чем недозволенную, к счастью, совершенно безразличную самонадеянность?... Десять лет: и никто в Германии не сделал себе долга совести из того, чтобы защитить моё имя от абсурдного умолчания, под которым оно было погребено; лишь иностранец, датчанин, впервые обнаружил достаточную тонкость инстинкта и смелости и возмущился против моих мнимых друзей... В каком немецком университете были бы возможны ныне лекции о моей философии, которые читал в Копенгагене последней весной и этим ещё раз доказанный психолог д-р Георг Брандес? - Я сам никогда не страдал из-за всего этого; необходимое не оскорбляет меня; *amor fati* есть моя самая внутренняя природа. Но это не исключает того, что я люблю иронию, даже всемирно-историческую иронию. И вот же, почти за два года до разрушительного удара молнией Переоценки, которая повергнет землю в конвульсии, я послал в мир "Казус Вагнер": пусть же немцы ещё раз бесмертно ошибутся

во мне и увековечат себя! для этого как раз есть ещё время! - Достигнуто ли это? - Восхитительно, господа германцы! Поздравляю вас...

ПОЧЕМУ ЯВЛЯЮСЬ Я РОКОМ

1

Я знаю свой жребий. Когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чём-то чудовищном - о кризисе, какого никогда не было на земле, о самой глубокой коллизии совести, о решении, предпринятом против всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что считали священным. Я не человек, я динамит. - И при всём том во мне нет ничего общего с основателем религии - всякая религия есть дело черни, я вынужден мять руки после каждого соприкосновения с религиозными людьми... Я не хочу "верующих", я полагаю, я слишком злобен, чтобы верить в самого себя, я никогда не говорю к массам... Я ужасно боюсь, чтобы меня не объявили когда-нибудь святым; вы угадаете, почему я наперёд выпускаю эту книгу: она должна помешать, чтобы в отношении меня не было допущено насилия... Я не хочу быть святым, скорее шутом... Может быть, я и есмь шут... И не смотря на это или, скорее, несмотря на это - ибо до сих пор не было ничего более лживого, чем святые, - устами моими глаголет истина. - Но моя истина ужасна: ибо до сих пор лож называлась истиной. - Переоценка всех ценностей - это моя формула для акта наивысшего самосознания человечества, который стал во мне плотью и гением. Мой жребий хочет, чтобы я был первым приличным человеком, чтобы я сознавал себя в противоречии с ложью тысячелетий... Я первый открыл истину через то, что я первый ощутил - вынохал - лож как лож... Мой гений в моих ноздрях... Я противоречу, как никогда никто не противоречил, и, несмотря на это, я противоположность отрицающего духа. Я благостный вестник, какого никогда не было, я знаю задачи такой высоты, для которой до сих пор не доставало понятий; впервые с меня опять существуют надежды. При всём том я по необходимости человек рока. Ибо когда истина вступит в борьбу с ложью тысячелетий, у нас будут сотрясения, судороги землетрясения, перемещение гор и долин, какие никогда не нислись. Понятие политики совершенно растворится в духовной войне, все формы власти старого общества взлетят в воздух - они покоятся все на жи: будут войны, каких ещё никогда не было на земле. Только с меня начинается на земле большая политика. -

2

Вы хотите формулы для такой судьбы, которая становится человеком? - Она проставлена в моём Заратустре.

- и кто должен быть творцом в добре и зле, поистине, тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности.

Так принадлежит высшее зло к высшему благу, а это благо есть творческое.

Я гораздо более ужасный человек, чем кто-либо из существовавших до сих пор; это не исключает того, что я буду самым благодетельным. Я знаю радость уничтожения в степени, соразмерной моей силе уничтожения - в том и другом я повинуюсь своей дионисической натуре, которая не умеет отделять отрицания от утверждения. Я первый имморалист: поэтому я истребитель *par excellence*. -

Меня не спрашивали, меня должны были бы спросить, что собственно означает в моих устах, устах первого имморалиста, имя Заратустры: ибо то, что составляет чудовищную единственность этого перса в истории, является прямой противоположностью мне. Заратустра первый увидел в борьбе добра и зла истинное колесо в движении вещей – перенесение морали в метафизику, как силы, причины, цели в себе, есть его дело. Но этот вопрос был бы в сущности уже и ответом. Заратустра создал это роковое заблуждение, мораль: следовательно, он должен быть первым, кто познает его. Не только потому, что он имеет здесь более долгий и богатый опыт, чем всякий другой мыслитель; вся история есть не что иное, как экспериментальное опровержение тезиса о “нравственном миропорядке”, – гораздо важнее то, что Заратустра правдивее всякого другого мыслителя. Его учение, и только оно одно, считает правдивость высшей добродетелью – это значит, противоположностью трусости “идеалиста”, который обращается в бегство перед реальностью; у Заратустры больше мужества в теле, чем у всех мыслителей вместе взятых. Говорить правду и хорошо стрелять из лука – такова персидская добродетель. Понимают ли меня?.. Самопреодоление морали из правдивости, самопреодоление моралиста в его противоположность – в меня – это и означает в моих устах имя Заратустры.

В сущности в моём слове имморалист заключаются два отрицания. Я отрицаю, во-первых, тип человека, который до сих пор считался самым высоким, – добрых, доброжелательных, благодетельных; я отрицаю, во-вторых, тот род морали, который, как мораль сама по себе, достиг значения и господства, – мораль *decadence*, говоря осязательнее, христианскую мораль. Можно на второе отрицание смотреть как на более решительное отрицание, ибо слишком высокая оценка доброты и доброжелательства в общем есть для меня уже следствие *decadence*, симптом слабости, несовместимый с восходящей и утверждающей жизнью: в утверждении отрицание и уничтожение суть условия. – Я останавливаюсь прежде всего на психологии доброго человека. Чтобы оценить, чего стоит данный тип человека, надо высчитать цену, во что обходится его сохранение, – надо знать его условия существования. Условие существования добрых есть ложь: выражаясь иначе, нежелание видеть во что бы то ни стало, какова в сущности действительность; я хочу сказать, она не такова, чтобы каждую минуту вызывать доброжелательные инстинкты, ещё менее, чтобы допускать ежеминутное вмешательство близоруких добродушных рук. Смотреть на бедствия всякого рода как на возражение, как на нечто, что подлежит уничтожению, есть *piâiserie par excellence*, есть вообще истинное несчастье по своим последствиям, роковая глупость, – почти столь же глупая, как глупа была бы воля, пожелавшая уничтожить дурную погоду, – из-за сострадания, например, к бедным людям... В великой экономии целого ужасы реальности (в аффектах, желаниях, в воле к власти) в неизмеримой степени более необходимы, чем эта форма маленького счастья, так называемая доброта; надо быть очень снисходительным, чтобы последней – ибо она обусловлена инстинктом лживости – уделить вообще место. У меня будет серьёзный повод доказать чрезмерно зловещие последствия оптимизма, этого исчадия *homines optimi*, для всей истории. Заратустра был первый, кто понял, что оптимист есть такой же *decadent*, как и пессимист, и, пожалуй, ещё более вредный; он говорит: “Добрые люди никогда не говорят правды. Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые; во лжи добрых были вы рождены и окутаны ею. Добрые всё извратили и исказили до самого основания”. К счастью, мир не построен на таких инстинктах, чтобы только добродушное, стадное животное находило в нём своё узкое счастье; требовать, чтобы всякий “добрый человек”, всякое стадное животное было голубо-

Фридрих Ницше

глазо, доброжелательно, “прекраснодушно”, или, как этого желает господин Герберт Спенсер, альтруистично, значило бы отнять у существования его великий характер, значило бы кастрировать человечество и низвести его к жалкой китайщине. - И это пытались сделать!.. Именно это называлось моралью... В этом смысле именует Заратустра добрых то “последними людьми”, то “началом конца”; прежде всего он понимает их как самый вредный род людей, ибо они отстаивают своё существование за счёт истины, равно как и за счёт будущего.

Ибо добрые - не могут созидать: они всегда начало конца -
- они распинают того, кто пишет новые ценности на новых скрижалях, они приносят себе в жертву будущее - они распинают всё человеческое будущее!

Добрые - были всегда началом конца...

И какой бы вред ни нанесли клеветники на мир, - вред добрых самый вредный вред.

5

Заратустра, первый психолог добрых, есть - следовательно - друг злых. Когда упадочный род людей восходит на ступень наивысшего рода, то это может произойти только за счёт противоположного им рода, рода сильных и уверенных в жизни людей. Когда стадное животное сияет в блеске самой чистой добродетели, тогда исключительный человек должен быть оценкою низведён на ступень злого. Когда лживость во что бы то ни стало овладевает для своей оптики словом “истина”, тогда всё действительно правдивое должно носить самые дурные имена. Заратустра не оставляет здесь никаких сомнений; он говорит: познание добрых, “лучших” было именно тем, что внушило ему ужас перед человеком; из этого отвращения выросли у него крылья, чтобы “улететь в далёкое будущее”, - он не скрывает, что его тип человека есть сравнительно сверхчеловеческий тип, сверхчеловечен он именно в отношении добрых, добрые и праведные назвали бы его сверхчеловека дьяволом...

Вы, высшие люди, каких встречал мой взор! в том сомнение моё в вас и тайный смех мой: я угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека - дьяволом!

Так чужда ваша душа всего великого, что вам сверхчеловек был бы страшен в своей доброте...

Из этого места, а не из какого другого следует исходить, чтобы понять, чего хочет Заратустра: тот род людей, который он конципирует, конципирует реальность, как она есть: он достаточно силен для этого - он не отчуждён, не отдалён от неё, он и есть сама реальность, он носит в себе всё, что есть в ней страшного и загадочного, только при этом условии в человеке может быть величие...

6

- Но ещё и в другом смысле я избрал для себя слово имморалист, как мой отличительный знак, как мой почётный знак; я горд тем, что у меня есть это слово, выделяющее меня из всего человечества. Никто ещё не чувствовал христианскую мораль ниже себя; для этого нужна была высота, взгляд в даль, до сих пор ещё совершенно неслыханная психологическая глубина и бездонная пропасть. Христианская мораль была до сих пор Цирцеей всех мыслителей - они были у неё

в услужении. - Кто до меня спускался в пещеры, откуда несётся вверх ядовитое дыхание от этого рода идеала - клеветы на мир? Кто хотя бы только осмеливался предчувствовать, что это пещеры? Кто вообще до меня был среди философов психологов, а не его противоположностью, "мошенником более высокого порядка", "идеалистом"? До меня ещё не было никакой психологии. - Здесь быть первым может оказаться проклятием, во всяком случае это рок: ибо и презираешь, как первый... Отращение к человеку есть моя опасность...

7

Поняли ли меня? - Что меня отделяет, что отстраняет меня от всего остального человечества, так это то, что я открыл сущность христианской морали. Поэтому я нуждаюсь в слове, которое имело бы значение вызова всем. Чем здесь не раскрыли глаз раньше, я считаю это величайшей нечистоплотностью, какая только имеется у человечества на совести, самообманом, обращённым в инстинкт, принципиальной волей не видеть ничего происходящего, никакой причинности, никакой действительности, фабрикацией фальшивых монет in *psychologicis*, доведённой до преступления. Слепота перед христианством есть преступление *par excellence* - преступление против жизни... Тысячелетия, народы, первые и последние, философы и старые бабы - за исключением пяти-шести моментов истории и меня, как седьмого, - все стоят друг друга в этом отношении. Христианин был до сих пор "моральным существом", *sigisum* вне сравнения, а как "моральное существо" был более абсурдным, более лживым, более тщеславным, более легкомысленным и более вредным самому себе, чем это могло бы присниться даже величайшему из презирающих человечество. Христианская мораль - самая злостная форма воли ко лжи, истинная Цирица человечества: то, что его испортило. Не заблуждение как заблуждение возмущает меня в этом зрелище, - не тысячелетнее отсутствие "доброй воли", дисциплины, приличия, мужества в духовном отношении, которое обнаруживается в его победе: меня возмущает отсутствие естественности, тот совершенно невероятный факт, что сама противоестественность получила, как мораль, самые высокие почести, осталась висеть над человечеством как закон, как категорический императив!.. В такой мере ошибаться, не как отдельный человек, не как народ, но как человечество!.. Учили презирать самопервейшие инстинкты жизни; выдумали "душу", "дух", чтобы посрамить тело; в условиях жизни, в половой любви, учили переживать нечто нечистое; в глубочайшей необходимости для развития, в суровом эгоизме (- уже одно это слово было хулой! -), искали злого начала; и напротив, в типичном признаке упадка, в сопротивлении инстинкту, в "бескорыстии", в утрате равновесия, в "обезличивании" и "любви к ближнему" (- одержимости ближним!) видели высочайшую ценность, что говорю я! - ценность как таковую!.. Как! значит, само человечество в *decadence*? и было ли оно в нём всегда? - Что твёрдо установлено, так это только то, что его учили лишь ценностям декаданта, как высшим ценностям. Мораль самоотречения есть мораль упадка *par excellence*, факт "я погибаю" перемещён здесь в императив: "вы все должны погибнуть" - и не только в императив!.. Эта единственная мораль, которой до сих пор учили, мораль самоотречения, избличает волю к концу, она отрицает жизнь в глубочайших основаниях. - Здесь остаётся открытой возможность, что не человечество в упадке, а только паразитический класс людей, священников, которые благодаря морали долгались до звания определителей его ценностей, которые угадали в христианской морали своё средство к власти... И на самом деле, моё мнение таково: учителя, вожди человечества, все теологи были вместе с тем и *decadents*: отсюда переоценка всех ценностей в нечто враждебное жизни, отсюда мораль... Определение морали: мораль - это идиосинкразия *decadents*, с задней мыслью отомстить жизни - и с успехом. Я придаю ценность этому определению. -

Поняли ли меня? - Я не сказал здесь ни одного слова, которого я не сказал бы уже пятью годами раньше устами Заратустры. - Открытие христианской морали есть событие, которому нет равного, действительная катастрофа. Кто её разъясняет, тот forse majeure, рок, - он разбивает историю человечества на две части. Живут до него, живут после него... Молния истины поразила здесь именно то, что до сих пор стояло выше всего; кто понимает, что здесь уничтожено, пусть посмотрит, есть ли у него вообще ещё что-нибудь в руках. Всё, что до сих пор называлось "истиной", признано самой вредной, самой коварной, самой подземной формой лжи; святой предлог "улучшить" человечество признан хитростью, рассчитанной на то, чтобы высосать самое жизнь, сделать её малокровной. Мораль как вампиризм... Кто открыл мораль, открыл тем самым негодность всех ценностей, в которые верят или верили; он уже не видит ничего достойного почитания в наиболее почитаемых, даже объявленных святыми типах человека, он видит в них самый роковой вид уродов, ибо они очаровывали... Понятие "Бог" выдуманно как противоположность понятию жизни - в нём всё вредное, отравляющее, клеветническое, вся смертельная вражда к жизни сведены в ужасающее единство! Понятие "по ту сторону", "истинный мир" выдуманы, чтобы обесценить единственный мир, который существует, чтобы не оставить никакой цели, никакого разума, никакой задачи для нашей земной реальности? Понятия "душа", "дух", в конце концов даже "бессмертная душа" выдуманы, чтобы презирать тело, чтобы сделать его больным - "святым", чтобы всему, что в жизни заслуживает серьёзного отношения, вопросам питания, жилища, духовной диеты, ухода за больными, чистоплотности, климата, противопоставить ужасное легкомыслие! Вместо здоровья "спасение души" - другими словами, folie circulaire, начиная с судорог покаяния до истерии искупления! Понятие "греха" выдуманно вместе с принадлежащим сюда орудием пытки, понятием "свободной воли", чтобы спутать инстинкт, чтобы недоверие к инстинктам сделать второю натурой! В понятии человека "бескорыстного", "самоотрекающегося" истинный признак decadence, податливость всему вредному, неумение найти свою пользу, саморазрушение обращены вообще в признак ценности, в "долг", "святость", "божественность" в человеке! Наконец - и это самое ужасное - в понятие доброго человека включено всё слабое, больное, неудачное, страдающее из-за самого себя, всё, что должно погибнуть, - нарушен закон отбора, сделан идеал из противоречия человеку гордому и удачному, утверждающему, уверенному в будущем и обеспечивающему это будущее - он называется отныне злым... И всему этому верили как морали! - Ecrasez l'infame!

- Поняли ли меня? - Дионис против Распятого...

Книги, изданные Юрием Кувалдиным с 1988 года по настоящее время

- Лев Аннинский. "Серебро и чернь". Поэты Серебряного века.
Михаил Арцыбашев. "Ужас".
Антон Антонов-Овсеенко. "Сталин без маски".
Сергей Антонов. "Рельеф Кандинского". Рассказы.
"Азь". Альманах. Два выпуска.
Владлен Бахнов. "Опасные связи". Повести и рассказы.
Евгений Бачурин. "Я ваша тень". Стихи и песни.
Андрей Белый. "Начало века".
Евгений Блажеевский. "Лицом к погоне". Стихи.
Владимир Буйначев. "Новое прочтение "Слова о полку Игореве"".
Михаил Бутов. "Изваяние пана". Рассказы и повесть.
Андрей Бычков. "Черная талантливая музыка для глухонемых".
"Вежи". Сборник статей о русской интеллигенции.
Мария Голованивская. "Двадцать писем Господу Богу". Роман.
Дон-Аминадо. "Парадоксы жизни". Стихи и проза.
Фазиль Искандер. "Детство Чика". Рассказы.
Фазиль Искандер. "Сандро из Чегема". Первая полная редакция.
Геннадий Калашников. "С железной дорогой в окне". Стихи.
Анатолий Капустин. "Куровское-Лобня". Рассказы.
Н. М. Карамзин. "История Государства Российского". В 6-ти книгах.
Эдуард Клыгуль. "Столичная". Повести и рассказы.
Кирилл Ковальджи. "Лирика".
Кирилл Ковальджи. "Невидимый порог".
Кирилл Ковальджи. "Обратный отсчет". Проза и стихи.
Лев Копелев. "Хранить вечно".
Сергей Костырко. "Шлягеры прошлого лета". Повести и рассказы.
"Краеведы Москвы". Выпуск 1.
"Краеведы Москвы". Выпуск 2.
Нина Краснова. "Цветы запоздалые". Проза и стихи.
Юрий Крохин. "Профили на серебре". Поэт Леонид Губанов. и СМОГ.
Юрий Кувалдин. "Так говорил Заратустра". Роман.
Юрий Кувалдин. "Кувалдин-критик". Выступления в периодике.
Юрий Кувалдин. "Родина". Повести и роман.
Юрий Кувалдин. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ в 10 томах.
Л. Лазарев. "Шестой этаж". Мемуары.
Семен Липкин. "Квадрига". Повесть, мемуары.
Юрий Малецкий. "Убежище". Роман, повести и рассказы.
Всеволод Мальцев. "Парализованная кукла". Повести и рассказы
Мандельштамовский сборник "Сохрани мою речь". Два выпуска.
Игорь Меламед. "В черном раю". Стихотворения, переводы, статьи.
Сергей Михайлин-Плавский. "Гармошка". Рассказы и повести.
А. Н. Михайлов. "Культурология в текстах и комментариях".
Юрий Нагибин. "Дневник".

"Наша улица". Ежемесячный журнал современной русской литературы
(Основан Юрием Кувалдиным в 1999 году. К ноябрю 2006 года -
60-летию Юрия Кувалдина - выпущено 84 номера)

Ольга Новикова. "Женский роман".
Вл. Новиков. "Заскок". Пародии, эссе, размышления критика.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 1. 2003 год.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 2. 2004 год.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 3. 2005 год.

Сергей Овчинников. "Танюша". Повести и рассказы.
Димитрий Панин. "Лубянка-Экибастуз: Лагерные записки".
Димитрий Панин. "В человеках благоволение".
Вадим Перельмутер. "Стихо-Творения".
Вадим Перельмутер. "Звезда разрознённой плеяды". О Вяземском.
Петроний Арбитр. "Сатирикон".
Валерий Поздеев. "Наполеон Федя Пряшкин". Повести и рассказы.
Франсуа Рабле. "Гаргантюа и Пантагрюэль".
Лев Разгон. "Плен в своем отечестве".
Станислав Рассадин. "Очень простой Манделъштам".
Станислав Рассадин. "Русские, или из дворян в интеллигенты".
Эрнест Ренан. "Жизнь Иисуса".
Ирина Роднянская. "Литературное семилетие". Статьи.
Русские сказки.
Алексей Саладин. "Прогулки по кладбищам Москвы".
Андрей Сахаров. "Конституционные идеи".
Джонатан Свифт. "Путешествия Лемюэля Гулливера".
Павел Сиркес. "Горечь померанца".
Словарь американского сленга.
А. и Б. Стругацкие. "Понедельник начинается в субботу". Полная редакция.
Ирина Сурат. "Жизнь и лира". О Пушкине.
Игорь Тарасевич. "Сквозь стекло". Повести и рассказы.
Александр Тимофеевский. "Песня скорбных душ".
М. Н. Тихомиров. "Средневековая Москва".

Александр Трифонов. "Художник Александр Трифонов"
(Альбом. Новый русский авангард. Фигуративный экспрессионизм)

Александр Трофимов. "Записки сумасшедшего". Рассказы и повести.
Михаил Холмогоров. "Авелева печать". Роман, повести.
А. В. Храповицкий. "Памятные записки".
В. М. Фридкин. "Чемодан Клода Дантеса". Рассказы.
Л. А. Чарская. "Княжна Джаваха".
Лидия Чуковская. "Процесс исключения".
"Эквинокс" (Равноденствие). Литературно-философский сборник.

ТОМ 4
СОДЕРЖАНИЕ

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА. Роман	3
МАЛЕНЬКИЙ. Рассказ	326
ЖЕНА УМЕРШЕГО ГЕРОЯ. Рассказ	332
МОСКВИЧИ. Рассказ	337
ОДИНОКАЯ. Рассказ	341
БУФЕТ В УГЛУ. Рассказ	346
ОТЧАЯНИЕ. Рассказ	350
КАК ТЕЧЕТ РЕКА? Рассказ	359
ЛЕТЧИК. Рассказ	363
НЕ ИЗВЕСТНЫЙ СКУЛЬПТОР. Рассказ	371
ЩЕБЕНКА. Рассказ	376
ТЕЛЕВИЗОР. Рассказ	380
ШТАНГЕЛЬ. Рассказ	385
ХРИЗАНТЕМА. Рассказ	392
НЕТ ОТВЕТА. Рассказ	397
КНИГА С ВЕРХНЕЙ ПОЛКИ. Рассказ	401
НА МАРШРУТЕ. Рассказ	406
В ПАРИКМАХЕРСКОЙ. Рассказ	409
КЫЙ. Рассказ	413
ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬГИ. Рассказ	415
КОМПОЗИТОР. Рассказ	421
В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ. Рассказ	426
ВАСЯ. Рассказ	430
Комментарий	433
Нина Краснова “Кувалдин по гамбургскому счету”	433
Приложение	458
Фридрих Ницше “Ессе Ното”	458
Книги, изданные Юрием Кувалдиным с 1988 года по настоящее время	509

Юрий Александрович Кувалдин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Том 4

Редактор Юрий Кувалдин
Художник Александр Трифонов

ЛР № 061544 от 08.09.99.

Сдано в набор 21.02.06. Подписано к печати 25.04.06. Формат 60х88 1/16.

Бумага офсетная. Гарнитура "Newton". Печать офсетная.

Усл. печ. л. 32,0. Усл. кр.-отт. 32,0. Уч.-изд. л. (авторских листов) 31,07.

Тираж 2000 экз.

Издательство "Книжный сад", Москва, Складочная ул. 1, стр. 5.

Для писем: 125167, Москва, а/я 40.

Отпечатано на Фабрике Печатной Рекламы.